NON-FICTION



Влас Дорошевич

САХАЛИН

КАТОРГА ПРЕСТУПНИКИ

«АЗБУКА»

Сахалин. Каторга. Преступники

Влас Михайлович Дорошевич

Аннотация
Дорошевич В. Сахалин. Каторга. Преступники
Часть первая
Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, средний и южный сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма
Первые впечатления
Лазарет
Каторжное кладбище
Тюрьма
Наряд
Тюрьма ночью
Раскомандировка
Тюрьма кандальная
Вольная тюрьма
Мастерские
Околоток
Женская тюрьма
Карцеры
«Исправился»
Два одессита
Убийцы

Гребенюк и его хозяйство
Паклин
Поселенцы
Сожительница
Сожитель
Добровольно последовавшая
Домовладельцы
Резцов
Свободные люди острова Сахалин
Каторжный театр
Каторжные артисты
Бродяга сокольский
Преступление в Корсаковском округе
Отъезд
Настоящая каторга
Столица Сахалина
Приговаривается к каторжным работам
Кто правит каторгой
Смотрители тюрем
Смертная казнь
Палачи
Телесные наказания
Нравы каторги
«Иваны»
«Храпы»
«Игроки»

«Жиганы»
«Шпанка»
Горе «Матвея»
Бессрочный «испытуемый» Гловацкий
Каторжные типы
Посвящение в каторжники
Интеллигентные люди на каторге
Тальма на Сахалине
Картежная игра
Законы каторги
Язык каторги
Песни каторги
Каторга и религия
Сектанты острова Сахалин
Преступники и преступления
Преступники и суд
Женская каторга
Несчастнейшая из женщин
Добровольно следующие
Уроженцы острова Сахалин
Часть вторая
Золотая Ручка
Полуляхов
Знаменитый московский убийца
Специалист
Людоеды

Каторжанка баронесса Геймбрук
Ландсберг
«Дедушка русской каторги»
Святотатец
Аристократ каторги
Плебей
Отцеубийца
Шкандыба
Наемные убийцы
Самоубийца
Оголтелые
Интеллигент
Поэты-убийцы
Преступники душевнобольные
Сахалинское Монте-Карло
Вклейка

Аннотация

Влас Михайлович Дорошевич (1865–1922) – один из самых известных русских публицистов и критиков рубежа XIX и XX веков, прозванный «королем фельетона». Дорошевич отправился на Сахалин на пароходе с партией каторжан. Журналист не получил официального разрешения на поездку и столкнулся с многочисленными противодействиями, но не отказался от цели: «Если я увижу каторгу, я увижу ее такою, какова она есть, а не такою, какою ее угодно будет показать мне». В очерках о Сахалине «король фельетонистов» рассказал о судьбах преступников и историях преступлений, описал наказания и повседневную жизнь на «каторжном» острове, не изменяя своему кредо – доверять только собственным глазам.

Дорошевич В.
Сахалин. Каторга. Преступники

© Оформление ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

* * *

NON-FICTION



Влас Дорошевич

САХАЛИН

КАТОРГА
ПРЕСТУПНИКИ



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Часть первая

Татарский пролив. – Климат. – Природа. – Северный, средний и южный сахалин. – Сахалинская дорога. – Остров-тюрьма

Это было 16 апреля.

Дул порывистый, холодный, пронизывающий норд-вест, пароход кидало с бока на бок.

Я стоял на верхней палубе и всматривался в открывающиеся суровые, негостеприимные, скалистые, покрытые еще снегом берега.

Первое впечатление было безотрадное, тяжелое, гнетущее.

Словно какое-то чудовище, с покрытой буграми спиной, вытянулось, замерло и выжидает добычи.

— Вон место, где погибла «Кострома», — указывает мне капитан.

Я спускаюсь на нижнюю палубу.

Около иллюминаторов на палубе сменяются лица арестантов.

Смотрят, вглядываются в берега острова, где придется кончать свой век.

Замечания краткие, мрачные:

— Сакалин!

— Зима еще!

— Дай поглядеть!

— Не на что и глядеть. Все под снегом.

Качка усиливается. Мы идем Лаперузовым проливом.

Налево — Крильонский маяк. Направо — кипят и пенятся валуны, покрывая «Камень Опасности». Впереди надвигается полоса льда. Льдины застилают весь горизонт.

Право, это звучит горькой насмешкой.

Провезти людей чуть не кругом света. Показать им мельком уголок земного рая — пышный, цветущий Цейлон, дать «взглянуть одним глазом» на Сингапур, этот роскошный, этот дивный, этот сказочный сад, что разросся в полутора градусах от экватора, дать полюбоваться на чудные, живописные берега Японии, при входе в Нагасаки, — на берега, от которых глаз не оторвешь, для того, чтобы привезти после всего этого к скалистым, суровым берегам, покрытым снегами в половине апреля, в эту страну пурги, штормов, туманов, льдин, вьюг и сказать:

— Живите!

Сахалин…

— «Кругом — вода, а в середине — беда!», «Кру-

гом — море, а в середине — горе!» — как зовут его каторжные.

— Остров отчаяния. Остров бесправия. Мертвый остров! — как называют его служащие на Сахалине.

Остров — тюрьма.

Если вы взглянете на карту Азии, то увидите в правом уголке вытянувшееся вдоль берега, действительно что-то похожее на чудовище, раскрывшее пасть и словно готовое проглотить лежащий напротив Мацмай.

И крутые паденья угольных пластов, и зигзагообразные, ломаные линии обнаженных слоев угольного сланца — все говорит, что здесь происходила когда-то великая революция.

Извивалась спина «чудовища». Гигантскими волнами колебалась земля. Волны шли с северо-востока на юго-запад.

Недаром сахалинские горы похожи действительно на огромные застывшие волны, а долины, или «пади», как их здесь называют по-сибирски, — напоминают собою пропасти, что разверзаются между волнами во время урагана.

Ураган кончен. Чудовище стихло и лишь по временам слегка вздрагивает — то там, то здесь.

Это остров-нелюдим.

Он отделен от земли Татарским проливом, самым вспыльчивым, самым буйным, своенравным, злобным проливом в мире.

Проливом, где зимой зги не видно в снежной пурге, а летом штормы сменяются густыми туманами, настолько густыми, что среди этой белой пелены еле мерещится верхушка мачты собственного парохода.

Идя этим проливом, штурманскому офицеру приходится спать урывками, по четверти часа, не раздеваясь.

Здесь штиль сменяется свирепым штормом в пять, десять минут.

Полный штиль — вдруг засвистело в снастях, — поднимай, а то и руби якоря и уходи в море, если не хочешь быть вдребезги разбитым о камни.

Здесь море — предатель, а берег — не друг, а враг моряка. Здесь надо бояться и моря, и земли.

Сахалин не любит, чтобы останавливались у его крутых, обрывистых скалистых берегов. На всем западном побережье ни одного рейда. Дно — гладкая и ровная плита, на которой вас не удержит в шторм ни один якорь.

И сколько пароходов пошло ко дну, похоронено в этом проливе!

Сахалин — суровый и холодный остров.

Его скалистый берег лижет холодное северное течение, в незапамятные времена прорвавшееся Татарским проливом.

Здесь суровая, лютая зима. Здесь неделями продолжается пурга, крутит огромные снежные смерчи, по крышу засыпает дома.

Здесь безрадостная весна похожа на осень.

Короткое, холодное, туманное лето.

И только осень еще похожа на что-нибудь.

20 мая я приехал в Онор — дальнее поселье в самом центре острова, — а 21-го, проснувшись утром, увидал ясное, свежее, прекрасное зимнее утро.

За ночь выпал снег. Снежная пелена в пол-аршина покрывала все — крыши и землю, тюрьму и поселье. Снег продержался два дня и сошел только 23 мая. Вот то, что называется на Сахалине «климатом».

Извилистая спина «чудовища», словно дыбом вставшими иглами, покрыта густой хвойной тайгой.

Высокий, обрывистый, отвесный, неприступный берег, по которому зигзагами идут желтые пласты глины, дымчатые — угольного сланца, белые — песчаника. Кое-где проступает ржавчина железной руды.

А наверху — тайга.

Ели и сосны, оголенные, совсем лишенные ветвей с наветренной стороны. Они растут в одну сторону. Вершины сосен вытянулись по ветру, словно дым от пароходной трубы. Словно эти великаны-деревья, вытянув руки, бегут от этого ужасного берега, от этого сурового, холодного, жестокого моря и ветра.

Заберемтесь вглубь.

Мертвая тишина. Только валежник хрустит под ногами. Остановишься — и ни звука. Ни птичьей песни, ни писка…

Жутко становится, как в пустой церкви.

Молчанье сахалинской тайги — это тишина заброшенного, оставленного храма, под сводами которого никогда не раздается шепота молитвы.

Глубже в эту страну вечного молчания.

Вот уж и света не видно. Тьма кругом.

Словно огромный баобаб стоит на своих десятках стволов.

Это ветер сбил вершины сосен в одну огромную шапку, сколотил их ветви и иглы. Образовалась плотная крыша, по которой, кажется, можно ходить!

Здесь давит. Здесь тяжко.

Здесь тяжко даже деревьям. Здесь больны даже

эти гиганты. Их стволы искривлены огромными болезненными наплывами.

Вот вам картина природы Северного Сахалина.

Тридцать лет тому назад здесь бродили медведи да гиляки — жалкие, несчастные дикари, вряд ли в умственном и нравственном отношении стоящие многим выше своих товарищей по тайге.

Недаром же гиляки верят, что у медведя такая же точно душа, как у гиляка, что душа медведя точно так же идет после смерти к «хозяину», богу тайги, жалуется ему на гиляков, и хозяин судит их как равных. Что медведь даже «женат на гилячке»! До того эти жалкие дикари ставят знаки духовного равенства между собой и медведями.

Теперь в этой стране медведей и гиляков кое-где разбросаны поселья.

Жалкие, типичные сахалинские поселья.

Дома для «правов», построенные только для того, чтобы иметь право получить крестьянство, брошенные, разоренные, полуразрушившиеся.

И здесь ни звука. То же вечное молчание.

— Да есть ли живой человек?

В двух-трех домах еще живут. Остальные — пустые.

— Ну что? Как живете?

— Какая уж жизнь? Маемся.

— Садите, сеете что?

— Что здесь растет! Одна картошка, да и то с грехом пополам.

Живут молча, угрюмо, каждый уйдя, замкнувшись в себя, тоскливо выжидая, когда кончится срок поселенья, можно будет получить крестьянство и уйти «на материк».

Дальше, дальше от этой безотрадной стороны.

Тараторят, заливаются, стонут звонки под дугой.

Тройка низкорослых, приземистых, коренастых, крепких, выносливых, быстрых сахалинских лошадей с горки на горку, из пади в падь, несет нас вдоль острова к югу.

— Вот здесь застрелили Казеева (один из убийц Арцимовичей), — показывает вам ямщик. — Здесь в пургу занесло снегом женщину с ребенком… Сюда я аномедни возил доктора — поселенца с дерева снимали… Повесился… Здесь в прошлом году зарезали поселенца Лаврова…

Обычная сахалинская дорога.

Картина природы меняется.

Безотрадная северная сахалинская сосна и ель уступают место веселой, приветливой лиственнице, начинающей уже покрываться своей мягкою, нежною, пахучею хвоей. Кое-где попа-

дется невысокий кедр.

Забелели местами березовые рощицы. Березы еще не собираются распускаться, но их беленькие стволы так весело, нарядно, чистенько выглядят после суровой темно-зеленой одежды хвойного леса.

Ива, гибкая и плакучая, наклонилась над речкой, словно хочет рассмотреть что-то в ее быстрых струях.

По оврагам еще лежит снег, а по холмам, где пригревает солнышко, уж пышно распустился лопух.

И горы пошли более пологие, и пади шире.

Это уж не ущелья, не огромные трещины среди гор, а равнины, от которых веет простором.

И поселенья встречаются все крупнее и крупнее. Величиной в хорошее торговое село.

И чаще на вопрос: «Ну, как живете?» — слышится ответ:

— Живем кое-как. Лето только больно коротенько.

По пути попадаются волы, запряженные в плуг.

В каждом селенье найдете двоих, троих, а то и больше зажиточных хозяев.

Это Тымовский округ — картина среднего Са-

халина.

Дальше начинается тундра — «трунда», как ее зовут сахалинцы.

Колеса вязнут, еле ворочаются в торфяной массе.

Ямщик слез и идет рядом, чтобы легче было лошадям.

Двигаемся еле-еле. От лошадей валит пар.

Пахнет вереском. От его удушливого, тяжелого запаха, похожего на запах кипариса, начинает болеть голова.

Вся тундра сплошь покрыта его красными кустиками. Словно кровь запеклась.

Тундра и тайга. И снова ни звука. Только дятел простучит да кукушка прокукует вдали.

Тоска, ноющая, щемящая, забирается в душу. Чем-то безотрадным веет кругом.

И не верится даже, что где-то на свете есть Италия, голубое небо, горячее солнце, что есть на свете и песня и смех… И все, что приходилось видеть раньше, — все это кажется таким далеким, словно происходило где-то на другой планете, — кажется сном, невероятным, несбыточным.

Океан тундры и тайги. И в этом океане, как крошечные островки, — кусочки твердой земли. На этих островках прилепились было поселья.

Люди попробовали жить, побороться — не смогли и ушли.

Унылые, брошенные поселья. Так до Онора.

А дальше уж совсем идет топь, трясина, по которой еще проезжают на собаках зимой и нет возможности пробраться летом…

За этой полосой начинается Корсаковский округ — Южный Сахалин.

Разнообразие лиственных древесных пород. Климат сравнительно мягче.

Здесь все же легче дышится, живется.

Если вы взглянете на подобную карту, весь юг Сахалина испещрен черными точками — все поселья. Здесь все-таки можно стать ногой на твердую почву.

Здесь труд тяжелый немножко окупается.

Здесь уж ранняя весна.

Тянут вереницами на север красавцы-лебеди.

Белая полоса тянется по морю версты на две от берега, словно молочная река, — идет, трется в водорослях и мечет икру сельдь.

Птицы свистят и перекликаются в тайге.

Здесь все-таки жизнь, все-таки солнце, все-таки свет.

Вот вам картины Сахалина.

Здесь воздух напоен тяжелыми вздохами. Здесь

в ночном крике птицы чудится стон. Здесь много пролито крови этими несчастными, которые режут друг друга из-за грошей.

Здесь что ни уголок — то страшное воспоминание.

Здесь все дышит страданьем. Здесь много было преступленья и труда.

Здесь все нужно взять с боя. Сахалинская почва ничего не родит, если на нее не капнут пот и слеза.

В глубине Сахалина таится много богатств. Могучие пласты каменного угля. Есть нефть. Должно быть железо. Говорят, есть и золото.

Но Сахалин ревниво бережет свои богатства, крепко зажал их и держит.

Он прекратит ваш путь непроходимой тайгой, он утопит вас в трясине своих тундр. Железом и огнем приходится здесь пробивать себе путь человеку, потом, кровью и слезами сдабривать почву, половину жизни отдавать на то, чтоб другую половину прожить хоть чуть-чуть сносно.

Вот что такое этот остров-тюрьма.

Природа создала его в минуту злобы, когда ей захотелось создать именно тюрьму, а не что-нибудь другое.

Трудно представить себе лучшие тюремные

стены, чем Татарский и Лаперузов проливы.

Правда, бегают и через тот, и через другой. Но разве есть на свете такая тюремная стена, через которую не перешагнул бы человек, ставящий волю выше жизни!

Однако природа была слишком жестока, создавая этот остров-тюрьму.

Идти в ясную погоду по берегу постылого острова и ясно видеть через пролив противоположный берег, который дразнит и манит, уходя вдаль своими голубоватыми очертаниями!

Сознавать, что это так близко и так недостижимо.

Какую муку создала сама природа!

Первые впечатления

Первое впечатление всегда самое сильное.

И конечно, я никогда не забуду минуты, когда я ранним утром, на зыбком, с бока на бок переваливающемся паровом катере, подъезжал к пристани Корсаковского поста.

На берегу копошились люди.

Еще несколько шагов, — и я погружаюсь в это море, которое мне так страстно, так мучительно хочется знать.

Море чего?

Странное дело, от двух впечатлений я никак не мог отделаться в течение трех с половиной месяцев, которые я провел среди тюремной обстановки. Два впечатления давили, гнули, свинцом лежали на душе. Давят и гнетут еще и теперь.

Одно из них касается, собственно, самого пути до Сахалина.

Я никак не мог отделаться от этого сравнения. Наш пароход, везший каторжников из Одессы, казался мне огромной баржой, какие обыкновенно употребляются в приморских городах для вывозки в море отбросов. А эти, серевшие на берегу сахалинские «посты» и поселья казались

мне просто-напросто колоссальными местами свалок.

И тяжко становилось на душе при мысли о том, что там, внизу, в тюрьме, под вашими ногами, что рядом с вами окончательно перегнивает все человеческое, что еще осталось среди этих «отбросов».

Второе впечатление касается, собственно, Сахалина.

С первых же шагов, при виде этого унылого, подневольного труда, этого снимания шапок, мне показалось, что я перенесся лет за пятьдесят назад.

Что кругом меня просто-напросто крепостное право.

И чем больше я знакомился с Сахалином, тем это впечатление все глубже и глубже ложилось в мою душу, это первое сравнение казалось мне все вернее и вернее.

Тот же подневольный труд, те же люди, не имеющие никаких прав, унизительные наказания, те же дореформенные порядки, бесконечное «бумажное» производство всяких дел, тот же взгляд на человека как на «живой инвентарь», то же распоряжение человеком «по усмотрению», «сожительства, заключаемые, как браки при кре-

постном праве, не по желанию, не по влечению, а по приказу, взгляд многих на каторжного как на крепостного, — все, кончая „декоративной стороной“ крепостного права, обязательным „ломаньем шапки“, — все создавало полную иллюзию „отжитого времени“».

И как тяжело дышалось, как тяжело, если бы вы знали!

Желание исполнено.

Пройдя пристань, я очутился в толпе каторжных.

На берегу шли работы.

Человек семьдесят каторжников, кто в арестантской, кто в своей одежде, спускали в море баржу для разгрузки парохода.

Пели «Дубинушку» — и под ее напев баржа еле-еле, словно нехотя, ползла с берега.

Рядом с ней, на другой барже, стоял запевала, мужичонка в рваной арестантской куртке, всклокоченный, встрепанный, жалкий, несчастный, и надтреснутым, дребезжащим тенорком запевал «Дубинушку», говорившую о необычайной изворотливости, сверхъестественной находчивости его цинизма.

Какой-то цинизм, доходивший не «до грации», а до виртуозности.

Все это было, конечно, не то, чтобы вызвать смех. И никто не улыбался.

Слушали равнодушно, даже, скорее, вовсе не слушали, пели припев, кричали «ух» лениво, нехотя, словно и это тоже была подневольная работа.

Потом я попривык, но первое впечатление подневольного труда — впечатление тяжелое, гнетущее.

Рядом вытаскивали невод.

Тащили тяжело, медленно, нехотя.

В вытащенном неводе билась, прыгала, трепетала масса рыбы.

Чего, чего там не было! Колоссальные бычки, которых здесь не едят, продолговатые с белым, словно белилами покрытым, брюшком глосы, которых тоже здесь не едят, извивающиеся, как змеи, миноги, которых здесь точно так же не едят, и мелкая дрянная рыбешка, которую здесь едят.

Все стояли вокруг невода, а двое или трое отбирали годную рыбу от негодной с таким видом, словно они ворочали камни.

Всю дорогу от пристани до поста, вдоль берега моря, навстречу попадались поселенцы, машинально, как-то механически снимавшие шапки.

Рука уставала отвечать на поклоны, и я был

искренно признателен тем «дерзунам», которые не удостаивали мою персону этой каторжной чести.

Поселенцы бродили как сонные мухи. Бродили, видимо, безо всякой цели, безо всякого дела.

— Так, мол, пароход пришел. Все-таки люди.

Если там, у рабочих, на лицах читалась какая-то тяжесть, то здесь была написана страшная, гнетущая, безысходная скука.

Тоска.

Такое состояние, когда человек решительно не знает, что ему с собой делать, куда девать свою особу, чем ее занять, и провожает глазами все, что мелькнет мимо: муха ли большая пролетит, человек ли пройдет, собака ли пробежит.

Посмотрит вслед, пока можно уследить глазами, и опять на лице тоска.

Песня?..

Дрожки, на которых я еду, поворачивают на главную улицу «поста» и огибают наскоро сколоченный дощатый балаган (дело происходило на Пасхе).

Рядом пустыня, какие-то ободранные качели.

У входа, вероятно, судя по унылому виду, — «антрепренер».

Около — толпа скучающих поселенцев, без

улыбки слушающих площадные остроты ломающегося на балконе, намазанного, одетого в ситцевый балахон клоуна из ссыльнокаторжных.

Из балагана слышится песня.

Нестройно, дико орет хор песенников.

Зазвенели кандалы. Мимо балагана проходят арестанты кандальной тюрьмы под конвоем…

Мы въезжали на главную улицу поста.

С первого взгляда Корсаковск, всегда и на всех, производит «подкупающее» впечатление.

Ничего как будто похожего на «каторгу».

Чистенький, маленький городок.

Чистенькие, приветливые чиновничьи домики словно разбежались и со всего разбега двумя рядами стали по высокому пригорку.

Выше всех взбежала тюрьма.

Но тюрьма в Корсаковске не давит.

Она одноэтажная, невысокая и, несмотря на свое «возвышенное» положение, не кидается в глаза, не доминирует, не командует над местностью.

В глубину двух оврагов, по обоим бокам холма, словно свалились, лезшие по косогору, да недолезшие туда домики.

Это слободки поселенцев.

В общем, во всем этом нет ничего ни «страшного», ни мрачного.

И вы готовы прийти в восторг от «благоустройства», проезжая главной улицей Корсаковска, готовы улыбнуться, сказать:

— Да все это очень, очень, как нельзя более мило…

Но подождите!

Сахалин — это болото, сверху покрытое изумрудной, сверкающей травой.

Кажется, чудный лужок, — а ступили, и провалились в глубокую, засасывающую, липкую, холодную трясину.

Не успело с ваших уст сорваться «мило», как из-за угла зазвенели кандалы.

Впрягшись в телегу, ухватившись за оглобли, каторжные везут навоз.

И что за удручающее впечатление производят эти люди, исполняющие лошадиную работу.

Ваш путь идет мимо тюрьмы — из-за решеток глядят темные, грязные окна.

Впереди — лазарет, и как раз против его окон — покойницкая.

Лазарет

Затем, в Александровске, в Рыковском я видел вполне благоустроенные больницы для каторжан; но что за ужасный утолок, что за «злая яма» дантовского ада, — эта больница в Корсаковском посту.

Я знаю все сахалинские тюрьмы. Но самая мрачная из них — Корсаковский лазарет.

Чесоточный, больной заразительной болезнью, которую неприятно называть, и хирургический больной лежат рядом.

Около них бродит душевнобольной киргиз Наур-Сали.

Как и у большинства сахалинских душевнобольных, помешательство выражается у него в мании величия.

Это «протест духа». Это «благодеяние болезни».

Всего лишенные, бесправные, нищие — они воображают себя правителями природы, несметными богачами, — в крайнем случае хоть смотрителями или надзирателями.

Киргиз Наур-Сали принадлежит к несметным богачам.

У него неисчислимые стада овец и верблюдов.

Он получает несметные доходы… Но он окружен врагами.

Тяжелая, угнетающая сахалинская обстановка часто развивает манию преследования.

Временами Наур-Сали кажется, что на его стада нападают стаи волков, что в степном ковыле подползают хищники. Что стада разбегаются. Что он близок к разорению. Тогда ужас отражается на перекошенном и беспрестанно дергающемся лице Наур-Сали (он эпилептик и страдает Витто-вым плясом), он мечется из стороны в сторону, с криком бегает по палатам, залезает под кровати больных, сдергивает с них одеяла, — ищет сво-их овец. И я прошу вас представить положение больного с переломленной, положенной в лубки ногой, когда сумасшедший Наур-Сали с воем сдергивает с него одеяло.

— Почему же их не разместят?

— Да куда же я их дену?! — с отчаянием воскли-цает молодой симпатичный лазаретный врач господин Кириллов.

В лазарете тесно, в лазарете душно.

За неимением места в палатах больные лежат в коридорах. «Приемный покой» для амбула-торных больных импровизируется каждое утро. В коридоре, около входной двери, ставится шир-

ма, чтобы защитить раздевающихся больных от холода и любопытства беспрестанно входящих и выходящих людей.

— Вообразите себе, как это удобно зимой, в мороз, смотреть больных около входной двери, — говорит доктор.

Да оно и весной недурно.

Вся обстановка Корсаковского лазарета производит удручающее впечатление. Грубое постельное белье невероятно грязно. Больным приходится разрешать лежать в своем белье.

— На казенные рубахи полагается мыло, но я руку даю на отсечение, что они его не видят! — с отчаянием клянется доктор.

Вентиляции никакой. Воздух сперт, душен — прямо мутит, когда войдешь. Я потом дня два не мог отделаться от этого тяжелого запаха, которым пропиталось мое платье при этом посещении.

О какой-нибудь операционной комнате не может быть и помина. Для небольших операций больных носят в военный госпиталь. Для более серьезных — отправляют в пост Александровский, отрезанный от Корсаковского в течение полугода. Представьте себе положение больного, которому необходимо произвести серьезную операцию в ноябре, — первый пароход в Алек-

сандровск, «Ярославль», пойдет только в конце апреля следующего года!

Когда я был в Корсаковском лазарете, там не было… гигроскопической ваты.

Для перевязки ран варили обыкновенную вату, просушивали ее здесь же, в этом воздухе, переполненном всевозможными микробами и бациллами.

— Все, чем мы можем похвалиться, это нашей аптекой. Благодаря заботливости и настояниям заведующего медицинской частью доктора Поддубского у нас теперь богатый выбор медикаментов! — со вздохом облегчения говорит доктор.

Вернемся, однако, к больным.

Что за картины — картины отчаяния, иллюстрации к дантовскому чистилищу.

С потерявших свой первоначальный цвет подушек смотрят на нас желтые, словно восковые, лица чахоточных.

Лихорадочным блеском горящие глаза.

Вот словно какой-то гном, уродливый призрак.

Лицо — череп, обтянутый пожелтевшей кожей. Высохшие, выдавшиеся плечевые кости, ключицы и ребра и неимоверно раздутый голый живот. Белье не налезает.

Страшно смотреть.

Несчастный мучается день и ночь, не может лечь — его «заливает». Чахотка в последнем градусе, осложненная водянкой.

И столько муки, столько невыносимого страдания в глазах.

Несчастный — этот тонущий в воде скелет — что-то шепчет при нашем проходе.

— Что ты, милый? — нагибается к нему доктор.

— Поскорей бы! Поскорей бы уж, говорю! Дали бы мне чего, чтобы поскорее! — едва можно разобрать в лепете этого задыхающегося человека.

— Ничего! Что ты! Поправишься! — пробует утешить его доктор.

Еще большая мука отражается на лице больного. Он отрицательно качает головой.

Тяжело вообще видеть приговоренного к смерти человека, а приговоренного к смерти здесь, вдали от родины, от всего, что дорого и близко, — здесь, где ни одна дружеская рука не закроет глаза, ни один родной поцелуй не запечатлеется на лбу, — здесь вдвое, вдесятеро тяжелее видеть все это.

Вот больной, мужчина средних лет, ранняя проседь в волосах. Красивое, умное, интеллигентное лицо.

Чем он болен?

Не надо быть доктором, чтобы сразу определить его болезнь по лихорадочному блеску глаз, по неестественно яркому румянцу, пятнами вспыхивающему на лице, по крупным каплям пота на лбу.

Это ссыльнокаторжный из бродяг, «не помнящий родства», учитель из селения Владимировка.

— Вы и в России были учителем?

— Был и учителем… Чем я только не был! — с тяжелым вздохом говорит он, и печаль разливается по лицу.

Тяжко вспоминать прошлое здесь…

А вот продукт каторжной тюрьмы, специально «сахалинский больной».

Молодой человек, казалось бы, такого здоровенного, крепкого сложения.

У него скоротечная чахотка от истощения.

Перед вами «жиган» — каторжный тип игрока. Игра — его болезнь, больше чем страсть, единственная стихия, в которой он может дышать.

Его потухшие глаза на все смотрят равнодушным, безразличным взглядом умирающего и загораются лихорадочным блеском, настоящим огнем только тогда, когда он говорит об игре.

Он проигрывал все: свои деньги, казенную одежду. Его наказывали розгами, сажали в карцер — он играл. Он проигрывал самого себя, проигрывал свой труд и нес двойную каторгу, работая и за себя, и за того, кому он проиграл.

Он месяцами сидел голодный, проиграв свой паек хлеба чуть не за год вперед, и питался «в одну ручку» — жидкой похлебкой — баландой[1] без хлеба.

Его били жестоко, неистово; чтобы играть, он воровал все, что ни попадало.

В конце концов он нажил истощение, скоротечную чахотку.

Он и тут, в лазарете, играл с больными, проигрывая свою порцию, но его скоро «накрыли» и игру прекратили. Он проигрывал даже свои лекарства.

Сахалинским больным все кажется, что им «жалеют лекарства» и дают слишком мало. Они охотно покупают лекарства друг у друга.

А вокруг этого несчастного такие же больные, умирающие, которые не прочь у умирающего выиграть последний кусок хлеба.

Вот отголоски «зимнего сезона».

---

[1] Примечания: 1

Баланда — арестантское название похлебки. — *Здесь и далее примеч. авт.*

Люди, отморозившие себе кто руки, кто ноги, иные на работах в тайге, другие во время «бегов».

Они разматывают свое тряпье — и перед нами засыпанные йодоформом руки, ноги без пальцев, покрытые мокнущими ранами, покрывающиеся струпьями.

Их стоны, когда приходится ворочаться с бока на бок, смешиваются с бредом, идиотским смехом, руганью умалишенных.

Вот интересный больной, Норкин, бывший моряк, эпилептик.

Ломброзо непременно снял бы с него фотографию и поместил в свою коллекцию татуированных преступников.

Норкин татуирован с головы до ног.

На его груди выгравировано огромное распятие. Руки покрыты рисунками якорей и крестов, символами надежды и спасения, текстами Священного Писания.

У Норкина религиозное помешательство, соединенное, по сахалинскому обыкновению, с бредом величия.

— Мне недолго здесь быть, — говорит он, и глаза его горят экстазом. — Меня ангелы возьмут и унесут.

А вот жертва, лишенная семьи.

Карпов, донской казак, из Новочеркасска. Сегодня он что-то весел, все время улыбается, и с ним можно говорить.

Он говорит охотно только на одну тему — о своей оставленной на родине семье: о братьях, матери, отце, жене. Как они живут, про их хозяйство. Говорит с увлечением, весь сияя от этих воспоминаний. Это самые светлые для него минуты. Обыкновенно же его состояние — состояние тяжелой хандры, задумчивости. Он меланхолик.

Он боится нападения чертей, которые хотят соблазнить его на нехорошее поведение. Он воздержанник и «соблюдает себя» для семьи, а по ночам ему снятся женщины, которые являются его прельщать. Их посылают черти.

— Тут много чертей! — выкрикивает он своим тоненьким, пронзительным голоском и лезет под кровать посмотреть: нет ли их там.

— Есть! Есть! Вот они!

Начинается припадок.

Берегите ваши карманы. Рядом все время трется Демидов, клептоман, один из несчастнейших людей на каторге.

Его били смертным боем товарищи и секло начальство, а он все продолжал оставаться «неис-

правимым». Ему еще недавно дали пятьдесят две лозы, как вдруг, к общему изумлению, доктор Кириллов взял этого «неисправимого негодяя» в лазарет.

— Ах вон оно что! — ахнули все. — Он сумасшедший! А мы-то его исправляли.

А вот жертва наших больниц, жертва их страсти к «поспешной выписке».

Это бродяга Немой.

— Семен Михайлович! Как поживаешь? — спрашивает доктор.

Семен Михайлович улыбается бессмысленной улыбкой и смотрит куда-то в угол.

— Да он что? Действительно немой?

— Нет, он страдает одной из форм афазии, он не может говорить, не в состоянии отвечать на вопросы.

И он только улыбается своей бессмысленной, беспомощной, жалкой, страдальческой улыбкой.

В одну из минут просветления, когда к нему ненадолго вернулась способность речи, он рассказал доктору свою историю.

Он не бродяга. Он крестьянин Новгородской губернии, Семен Михайлов Глухаренков. У него на родине есть семья. Жил он в Петербурге на заработках, заболел тифозной горячкой, лежал в

больнице. Из больницы его выписали слишком рано, чересчур слабым. Денег не было ни гроша, паспорт был отослан на родину «менять», приходилось идти пешком. Едва выйдя за заставу, он «потерял сознание», а затем с ним «это и случилось». Его держали в полиции, судили, — на все вопросы он молчал. И пошел на полтора года в каторгу, а затем на поселение на Сахалине как «бродяга Немой».

Вот та маленькая повесть, которую успел рассказать Семен Глухаренков доктору в минуту просветления, — и снова на его лице заиграла тихая, скорбная улыбка.

Над всем этим — над трагическим молчанием «бродяги Немого», над тихими стонами, вырывающимися из глубины души, над тяжкими вздохами, перебранкой больных, над рассказами «жигана» об игре, над звуками удушливого кашля чахоточных, — звуками, в которых вы слышите, как у людей на куски разрываются легкие, над бредом и идиотским смехом помешанных, — над всем этим царит вечный, непрестанный крик сумасшедшего старого солдата.

В Корсаковском лазарете нет места, где бы до вас не доходил этот ужасный, все нервы выматывающий крик.

Он отравляет последние минуты умирающих в маленькой отдельной каморке.

Зайдем туда.

На постели лежит человек… тень, призрак человека… Не бледное, а белое, словно молоком вымазанное, лицо.

Дыхание с хрипом и свистом вырывается из груди.

Он задыхается.

Доктор, дававший мне объяснения по поводу каждого больного, тут сказал только:

— Сами видите!

— Доктор… доктор… — еле переводя дух, говорит больной, и в самом тоне его просьбы звучит что-то детское, беспомощное, жалкое, хватающее за душу, — доктор… выпиши ты, ради Господа Бога, мяты… С мяты я поправлюсь.

— Хорошо, хорошо, голубчик! Выпишу тебе мяты, — успокаивает его доктор.

— То-то!.. С мяты… я… живо…

К вечеру он умер.

Из каморки умирающего мы проходим узеньким коридорчиком к сумасшедшему солдату.

В коридорчике при нашем проходе звенят кандалы.

Со скамьи встают двое кандальных.

— Что такое? Больные?

— Никак нет. Для освидетельствования на предмет телесного наказания! — рапортует надзиратель.

В маленькой «изоляционной» комнатке доживают свой век двое.

Старый каторжник из солдат, который на вопрос, сколько он в своей жизни получил плетей и розог, отвечает:

— Семьдесят два миллиона, ваше сиятельство!

Он воображает себя то фельдфебелем, то фельдмаршалом, и вся его жизнь отражается в его мрачном помешательстве.

Он только и делает, что приговаривает людей к смерти или к плетям.

— Вот этот, — кричит он, указывая на служителя и вытаскивая изодранную «сумасшедшую рубаху», — связать меня хотел! Повесить его в двадцать четыре часа! А этому смерть отменяется — шестьдесят тысяч плетей без помощи врача! Живо!

На другой кровати, скорчившись, спит единственное существо, которое не приговаривает ни к смерти, ни к плетям, старый, свирепый солдат — зовут его Чушка.

Слепой, слабоумный старик.

— Чушка, вставай! — кричит солдат и выщипывает у Чушки несколько волосков из бровей.

Чушка взвизгивает, просыпается и открывает свои ничего не видящие глаза.

— Чушка, жрать хочешь?

Но Чушка не отвечает.

Услыхав голос доктора, он что-то соображает.

— Доктор, а доктор!

— Что тебе?

— Сделай мне новые глаза.

— Хорошо, сделаю!

— Сделаешь? Ну ладно.

И Чушка снова засыпает сном слабоумного старика.

— Не хочешь жрать, Чушка? Это она при надзирателе не хочет! Повесить надзирателя сию минуту! Станови виселицу! Палача! Плетей! — вопит старый солдат.

* * *

Перейдем в женское отделение.

Тут несколько чище.

— Все-таки женщины! — объясняет акушерка.

Родильницы лежат с двумя идиотками, которые, улыбаясь, говорят о женихах.

Обычный женский бред на Сахалине.

К доктору подходит душевнобольная молоденькая бабенка, Ненила, прифранченная, нарядно одетая.

— Доктор, скоро меня выпишешь-то?

— Тебе зачем?

— Боюсь, как бы надзиратель-то другую не взял.

— А ты что прифрантилась?

— Да к нему идти было собралась!

Ненила смеется.

— Никакого у нее надзирателя нет. Бред! — потихоньку объясняет мне доктор. — Ты вот лучше, Ненилушка, расскажи барину, за что сюда попала! Ему хочется знать.

Лицо Ненилы сразу становится грустным.

— Впутали меня, ох впутали! Все он впутал, изверг, чтоб вместе шла! Впутал, а потом, где он, ищи его! И должна я одна быть…

Ненила начинает плакать.

— Да ты не плачь. Расскажи, как было.

— Как было-то, обыкновенно было! Купец-то сидел, вот так-то. Пьяный купец-то. Борода-то на столе! — Ненила смеется. — Я-то около купца, все ему подливаю: «Пей, мол, такой-сякой, немазаный!» А он-то сзади подкрадается… Подкрался к купцу — пьяный-препьяный купец! Я его за руки

поймала, держу. А он его за бороду хвать — назад оттянул, — да по горлу как чирк! Ай!

Ненила вскрикивает. Быть может, в эту-то страшную минуту и «потеряла равновесие» ее психика.

— Кровь-то в стенку, в меня полилась, полилась… Корчился купец-то, жалостно так… Жалостно…

Ненила начинает хныкать, утирать рукавом слезы — и вдруг разражается смехом.

— Чего ж я реву-то, дура? Вот дура так дура! И самой смешно. Реву, девоньки, и сама не знаю о чем! Доктор, пустите меня к надзирателю.

— Дай ты мне капелек-те, от зубов-те! — подходит к нам другая душевнобольная.

Несчастная, сосланная в каторгу за мужеубийство. Она потеряла психическое равновесие в первую брачную ночь.

— С женщинами это бывает… Рано замуж отдали… Может быть, муж спьяна обошелся очень уж грубо, — поясняет доктор.

— Спортили нас-те! — жалобно рассказывает она. — Взяли-те да в постелю кровищи-те налили. Я как увидала-те, он мне и отошнел… Отошнел-те, я его и зарезала.

Во всей ее позе что-то страдальческое, угне-

тенное.

У нее, в сущности, не болит ничего. Но все-таки остаток сознанья требует отчета, почему она в таком угнетенном состоянии. И несчастная сама выдумывает причины: то жалуется на зубную боль, то через пять минут начинает жаловаться на боль в пояснице.

— Третий день-те разогнуться не могу! Болит-те!

— А зубы?

— Зубы ничего-те. Поясница вот!

* * *

— Видите, при каких условиях приходится работать, — со вздохом говорит доктор.

Я не думаю, чтобы доктора Кириллова надолго хватило на борьбу с разными сахалинскими, истинно «каторжными» условиями.

Очень уж у него в несколько месяцев расходились нервы.

Сколько народу бежало отсюда, народу, приходившего сюда с горячим желанием принести посильную помощь страдающим!

И это будет очень жаль.

Такие люди, люди знания, люди дела, люди просвещенные, люди гуманные, люди честные,

с чуткой, доброй, отзывчивой душой, — такие-то люди и нужны Сахалину.

Людей плохих много и в пароходном трюме каждый год присылают.

Каторжное кладбище

От Корсаковского лазарета недалеко до кладбища.

Проедем к «маяку».

Кладбище расположено на горе около Корсаковского маяка.

— Нет уж, ваше высокое благородие, видать, мне к маяку пора! — говорил один тяжкий больной утешавшему его доктору.

Что эта за странная процессия взбирается по косогору?

Десяток каторжных, уцепившись за оглобли, подталкивая сзади, тащат телегу, на которой лежат большой, неуклюжий, белый, некрашеный гроб и лопата.

Сзади со скучающим видом идет посланный смотреть за каторжниками надзиратель, с револьвером на шнурке.

Вот и вся похоронная процессия.

— Ну! Ну! Наддай! — покрикивают каторжные.

Вот и все похоронное пение.

Что-то щемящее, что-то хватающее за душу есть в этой картине сахалинских похорон… Эта телега, этот надзиратель, эти серые куртки…

Единственное лицо, которое могло бы проводить покончившего свои дни «несчастного» в место последнего упокоения, — тоже лежит в могиле.

Хоронят поселенца.

Из ревности он зарезал сожительницу[2] и сам убежал из дома и отравился борцом. Его труп уж через несколько дней нашли в тайге.

Борец — ядовитое растение, растущее в Корсаковском округе, на юге Сахалина. Корень борца там имеется «на всякий случай» у каждого каторжного, у каждого поселенца. Мне показывали этот корень многие.

— Да на кой вам шут держать эту дрянь?

— Такое уж заведение… На всякий случай… Может, и понадобится! — отвечали поселенцы с улыбкой, какой не дай бог чтобы улыбался человек.

Сойдем, проводим.

Телега медленно вползла на гору.

Ее подвезли к первой выкопанной могиле. На веревках опустили гроб. Достали с телеги лопа-

---

[2] Примечания: 2

Сожительница — так называются на Сахалине каторжные женщины, выдаваемые поселенцам «для совместного ведения хозяйства». Так это называлось официально раньше. Теперь даже официально, например в «Сахалинском календаре», это называется «незаконным сожительством», что гораздо ближе к истине.

ты, поплевали на руки — и застучала земля по гробовой крышке.

Застучала сильно: здесь почва глинисто-каменистая. Не земля, а словно какой-то щебень, битый кирпич навален около вырытых могил.

Глуше и глуше шумит земля… Маленький холмик вырос над могилой. В него воткнули наскоро сколоченный из двух планок некрашеный крест без надписи.

Кто перекрестился, а кто и нет — и взялись за телегу.

— Теперича ходчее пойдем!

Пошли бегом и скрылись за спуском.

— Тише, черти! — доносится отчаянный голос запыхавшегося надзирателя.

— Легче! Легче!.. — слышится под горой.

Мы среди безыменных могил.

— Что это? Неужели в лазарете так много покойников? — с изумлением смотрю я на массу вырытых «ям».

— Никак нет! — снимая шапку, отвечает кучер-каторжный.

— Да надень ты шапку, бога ради! На кладбище все равны.

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Это про запас ямы приготовлены. Делать-то было нечего,

пароходы не приходили — вот и посылали ямы копать. А то горячка пойдет, люди на работы нужны будут — не до ямы!

Что за унылая картина!

Маленькие холмики, на которых торчат только какие-то палки вместо крестов. Почти ни на одной могиле цельного креста.

А на большинстве и совсем ничего нет.

— Кто это?

Поселенцы на подтопку таскают. Кому же больше? В тайгу-то идти лень. Вот отсюда и тащат.

Вот могила — хоронила все-таки, должно быть, заботливая, может быть, родная рука. В крест был вделан образ.

Крест уцелел, а образ выломан.

И молится теперь перед этим выломанным из могильного креста образком какой-нибудь поселенец в грязной, темной, пустой избушке.

— Может, кто выломал да в карты спустил. Копейках в двух образок пошел! — словно угадывая ваши мысли, говорит кучер.

И над всеми этими маленькими, безвестными, безымянными могильными холмами царит, возвышается за высокой оградой массивный чугунный крест над высокой, камнем обделанной могилой купца Тимофеева.

— Зарезали его! — поясняет кучер.

— За что зарезали?

— За деньги.

И, подумав, объясняет более пространно:

— Деньги у него, сказывают, были. За это самое и зарезали. Здесь это недолго…

Уйти бы поскорей с этого безотраднейшего и во всем мире и даже на Сахалине кладбища.

Но тут должна быть одна «святая могила».

Могила Наумовой, молодой девушки, учительницы, основательницы Корсаковского приюта для детей ссыльнокаторжных.

Она училась в Петербурге, бросила все и приехала сюда, увлеченная святой мыслью, горя великим святым желанием отдать жизнь на служение, на помощь этим бедным, несчастным, судьбою заброшенным сюда детям преступных отцов.

У нее были широкие планы, она мечтала о ремесленных классах для детей, о воскресных школах для каторжных, о чтениях…

Она работала всей душой, энергично, горячо отдаваясь делу. Ей удалось кое-что сделать. Корсаковский приют ей обязан своим возникновением.

Но слабой ли девушке было бороться с сахалин-

ской черствостью, с сахалинской мертвечиной, с сахалинским равнодушием к страданиям ближнего.

Молодая девушка не вынесла борьбы с господами служащими, враждебно смотревшими на ее «затеи», не вынесла тяжелой атмосферы каторги и застрелилась, оставив две записки.

Одну: «Жить тяжело». В другой просила все ее скудные достатки продать и деньги отдать на ее детище — на приют.

Их прибыло одновременно три — три подруги, увлеченные идеей принести посильную помощь страждущим; одна застрелилась, другая сошла с ума, третья… вышла замуж за бывшего фельдшера, из ссыльных. Так разно и в сущности одинаково кончили все три. Да и трудно было устоять в непосильном труде!

Корсаковская «интеллигенция» устроила Наумовой торжественные похороны, хотя сахалинская сплетня, сахалинская клевета, уж никак не могущая понять, что можно жизнь свою отдавать какой-то каторге, — даже в могиле не пощадила покойной страдалицы.

Эта могила… Она должна быть здесь… Но где она?

Искал, искал — не нашел.

— Должно быть, там! — говорили мне господа «интеллигенты».

А ведь со смерти Наумовой прошло еле-еле два года!

Приамурский генерал-губернатор прислал на могилу Наумовой чудный металлический венок с прекрасной надписью на медной доске.

Этот венок висит… в полицейском управлении.

Повесить нельзя. Украдут!

Да и где бы они могли его повесить?

Такова «долженствующая быть» святая могила среди безвестных грешных могил.

Тюрьма

Тюремный день начинается с вечера, когда производится наряд — распределение рабочих на работы.

Так мы и начнем наш «день в тюрьме».

Наряд

Тюремная канцелярия. Обстановка обыкновенного участка. Темновато и грязно.

Писаря из каторжных скрипят перьями, пишут, переписывают бесконечные на Сахалине бумаги: рапорты, отношения, доношения, записки, выписки, переписи.

При выходе смотрителя тюрьмы все встают и кланяются.

Старший надзиратель подает смотрителю готовое уже распределение на завтра каторжных по работам.

— На разгрузку парохода столько-то. На плотничьи работы столько-то. На таску дров, бревнотасков… В мастерские… Вот что, паря, тут Икс Игрекович Дзэет просил ему людей прислать, огород перекопать.

— Людей нет, ваше высокоблагородие. Люди все в расходе.

— Ничего. Пошли шесть человек. Показать их на плотничьих работах. Да, еще Альфа Омеговна просила ей двоих прислать. Отказать невозможно. А тут этот контроль теперь во все суется: покажи ему учет людей. Просто хоть разорвись!

Ну да ладно — пошли ей двоих, из тех, что на разгрузку назначены…

«Наряд» кончен.

Начинается прием надзирателей.

— Тебе что?

— Иванов, ваше высокоблагородие, очень грубит. Ты ему слово, он тебе десять. Ругается, срамит!

— В карцер его. На три дня на хлеб и на воду. Тебе?

— Петров опять буянит.

— В карцер! Всё?

— Так точно, всё-с.

— Зови рабочих.

Входит толпа каторжных, кланяются, останавливаются у двери. Среди них один в кандалах.

— Ты что?

— Подследственный. Приговор, что ли, объявлять звали.

— А! Ступай вон к писарю. Васильев, прочитай ему приговор.

Писарь встает и наскоро читает, бормочет приговор.

— Приамурский областной суд… Принимая во внимание… самовольную отлучку… с продолжением срока… на десять лет! — мелькают

слова. — Грамотный?

— Так точно, грамотный!

— Распишись.

Кандальный так же лениво, равнодушно, как и слушал, расписывается в том, что ему прибавили десять лет каторги.

Словно не о нем идет и речь.

— Уходить можно? — угрюмо спрашивает кандальный.

— Можешь. Иди.

— Опять убежит, бестия! — замечает смотритель.

* * *

По правилам каторги «порядочный» каторжник всякий приговор должен выслушивать спокойно, равнодушно, словно не о нем идет речь. Не показывая ни малейшего волнения. Это считается «хорошим тоном». В случае особенно тяжкого приговора каторга разрешает, пожалуй, выругать суд. Но всякое «жалостливое» слово вызвало бы презрение у каторги. Вот откуда это «равнодушие» к приговорам. В сущности же, эти продления срока за «отлучки» их сильно волнуют и мучат, кажутся им чересчур суровыми и несправедливыми. «За семь дней — да десять лет!» Я

сам видал каторжника, только что преспокойно выслушавшего приговор на пятнадцать лет прибавки. Разговаривая вдвоем, без свидетелей, он без слез говорить не мог об этом приговоре: «Погибший я теперь человек! Что ж мне остается теперь делать? Навеки уж теперь». И столько горя слышалось в тоне «канальи», который и «глазом не моргнет», слушая приговор.

* * *

— Тут еще приговор есть. Федор Непомнящий кто?

— Я! — отзывается подслеповатый мужичонка.

— Ты хлопотал об открытии родословия?

— Так точно.

— Ну так слушай.

Писарь опять начинает бормотать приговор:

— Областной суд… заявление Федора Непомнящего… осужденного на четыре года за бродяжество… признать его ссыльнопоселенцем таким-то… принимая во внимание несходство примет… глаза у Федора Непомнящего значатся голубые, а у ссыльнопоселенца серые… нос большой… постановил отклонить… Слышал, отказано?

— Носом, стало быть, не вышел? — горько улы-

бается Непомнящий. — Выходит теперь, что и я не я!..

— Грамотный?

— Так точно, грамотный. Только по вечерам писать не могу. Куриная слепота у меня. Меня и сюда-то привели.

— Ну ладно! Завтра подпишешь! Ступай.

— Стало быть, опять в тюрьму?

— Стало быть!

— Эх, Господи! — хочет что-то сказать Непомнящий, но удерживается, безнадежно машет рукой и медленно, походкой слепого, идет к толпе каторжных.

Ни на кого ни приговор, ни восклицание не производят никакого впечатления. На каторге «каждому — до себя».

— Вы что? — обращается смотритель к толпе каторжных.

— Срок окончили.

— А! На поселение выхóдите? Ну, паря, до свиданья. Желаю вам. Смотрите, ведите себя чисто. Не то опять сюда попадете.

— Покорнейше благодарим! — кланяются покончившие свой срок каторжане.

— Опять половина скоро в тюрьму попадет! — успокаивает меня смотритель. — Тебе что?

Толпа разошлась. Перед столом стоит один мужичонка.

— Срок кончил сегодня, ваше высокоблагородие. Да не отпущают меня. С топором у меня…

— Топор у него пропал казенный, — объясняет старший надзиратель.

— Пропил, паря?

— Никак нет. Я не пью.

— Не пьет он! — как эхо подтверждает и надзиратель.

— Украли у меня топор-от.

— Кто же украл? Ведь знаешь, небось?

Мужичонка чешет в затылке.

— Нешто я могу сказать кто. Сами знаете, ваше высокоблагородие, что за это бывает, кто говорит.

— Ведь вот народец, я вам доложу! — со злостью говорит смотритель. — Воровать друг у друга — воруют, а сказать — не смей! Что ж, брат, не хочешь говорить — и сиди, пока казенный топор не найдется. Большой срок-то у тебя был?

— Десять годов!

— Позвольте доложить, — вступается кто-то из писарей, — деньги тут у него есть заработанные, немного. Вычесть, может, за топор можно.

— Так точно, есть, есть деньги! — как за соло-

минку утопающий хватается мужичонка.

На лице радость, надежда.

— Ну ладно! Так и быть. Зачтите за топор. Освободить его! Ступай, черт с тобой!

— Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!

И «напутствованный» таким образом мужичонка идет «вести новую жизнь».

Его место перед столом занимает каторжник в изорванном бушлате[3], разорванной рубахе, с подбитой физиономией.

— Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость! Не дайте погибнуть! — не говорит, а прямо вопиет он.

— Что с ним такое?

— Опять побили его! — докладывает старший надзиратель.

— Вот не угодно ли? — обращается ко мне смотритель. — Что мне с ним делать — куда ни переведу, везде его бьют. Прямо смертным боем бьют.

— Так точно! — подтверждает и надзиратель. — В карцер, как вы изволили приказать, в общий

---

[3] Примечания: 3

Бушлат — так каторжане называют куртку.

сажал, будто бы за провинность[4]. Не поверили — и там избили. На работы уж не гоняю. Того и гляди — совсем пришьют.

Человек, заслуживший такую злобу каторги, заподозрен ею в том, что донес, где скрылись двое беглых.

— А полезный человек был! — потихоньку сообщает мне смотритель. — Через него я узнавал все, что делается в тюрьме.

И вот теперь этот «полезный человек» стоял перед нами избитый, беспомощный, отчаявшийся в своей участи.

Каторга его бьет. Те, кому он был полезен, — что они могут поделать с освирепевшей, остервенившейся каторгой?

— Наказывай их, пожалуй! А они еще сильнее его бить начнут. Уходят еще совсем!

— И уходят, ваше высокоблагородие, — тоскливо говорит доносчик, — беспременно они меня уходят.

— Да хоть кто бил-то тебя, скажи? Зачинщик-то кто, по крайней мере?

---

[4] Примечания: 4

Это делается часто; доносчиков «для отвода глаз» подвергают наказанию, будто они в немилости у смотрителя. Часто доносчики, заподозренные каторгой, просят даже, чтобы их подвергли телесному наказанию, «а то убьют».

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, да разве я смею сказать? Будет! Довольно уж! Да мне тогда одного дня не жить. Совсем убьют.

— Вот видите, вот видите! Какие нравы! Какие порядки! Что ж мне делать с тобой, паря?

— Ваше высокоблагородие! — И несчастный обнаруживает желание кинуться в ноги.

— Не надо, не надо.

— Переведите меня куда ни на есть отсюда. Хоть в тайгу, хоть на Охотский берег пошлите. Нет моей моченьки побои эти неистовые терпеть. Косточки живой нет. Лечь, сесть не могу. Все у меня отбили. Ваше высокоблагородие, руки я на себя наложу!

В голосе его звучит отчаяние и действительно решимость пойти на все, на что угодно.

Смотритель задумывается.

— Ладно! Отправить его завтра во второй участок. Дрова из тайги будешь таскать.

Это одна из самых тяжелых работ, но несчастный рад и ей, как празднику, как избавленью.

— Покорнейше вас благодарю. Ваше высоко…

— Что еще?

— Дозвольте на эту ночь меня в карцер одиночный посадить! Опять бить будут.

— Посадите! — смеется смотритель.

— Покорнейше благодарю.

Вот человек, вот положение, — когда одиночный карцер, пугало каторги, и то кажется раем.

— Всё?

— Так точно, всё.

— Ну, теперь идемте в тюрьму, на перекличку, молитву, — да и спать! Поздно сегодня люди спать лягут с этой разгрузкой парохода! — глядит смотритель на часы. — Одиннадцать. А завтра в четыре часа утра прошу на раскомандировку.

Тюрьма ночью

Холодная, темная, безлунная ночь. Только звезды мерцают.

По огромному тюремному двору там и сям бегают огоньки фонариков.

Не видно ни зги, но чувствуется присутствие, дыханье толпы.

Мы останавливаемся перед высоким черным силуэтом какого-то здания: это часовня посредине двора.

— Шапки долой! — раздается команда. — К молитве готовься. Начинай.

— «Христос воскресе из мертвых…» — раздается среди темноты.

Поют сотни невидимых людей.

Голоса слышатся в темноте справа, слева, около, где-то там, вдали!..

Словно вся эта тьма запела.

Этот гимн воскресения, песнь торжества победы над смертью — при такой обстановке! Это производило потрясающее впечатление.

Невидимый хор пропел еще несколько молитв, и началась поверка.

За поздним временем обычной переклички не

было, просто считали людей.

Подняв фонарь в уровень лица, надзиратели проходили по рядам и пересчитывали арестантов.

Из темницы на момент выглядывали старые, молодые, мрачные, усталые, свирепые, отталкивающие и обыденные лица, — и сейчас же снова исчезали во тьме.

В конце каждого отделения фонарь освещал чисто одетого старосту.

— Семьдесят пять? — спрашивал надзиратель.

— Семьдесят пять! — отвечал староста.

Старший надзиратель подвел итог и доложил смотрителю, что все люди в наличности.

— Ступай спать!

Толпа зашумела. Тьма кругом словно ожила. Послышался топот ног, разговор, вздохи, позевывания.

Усталые за день каторжники торопливо расходились по камерам.

— Кто идет? — окрикнул часовой у кандальной тюрьмы.

— Кто идет? — уже отчаянно завопил он, когда мы подошли ближе.

— Господин смотритель! Что орешь-то!..

Мы прошли под воротами.

Загремел огромный замок, клуб сырого, промозглого пара вырвался из отворяемой двери, — и мы вошли в один из «номеров» кандального отделения.

— Смирно! Встать!

Наше появление словно разбудило дремавшие кандалы.

Кандалы забренчали, залязгали, зазвенели, заговорили своим отвратительным говором.

Чувствовалось тяжело среди этого звона цепей, в полумраке кандальной тюрьмы. Я взглянул на стены. По ним тянулись какие-то широкие тени, полосы. Словно гигантский паук заткал все какой-то огромной паутиной… Словно какие-то огромные летучие мыши прицепились и висели по стенам.

Это ветви ели, развешанные по стенам для освежения воздуха.

Пахло сыростью, плесенью, испариной.

Кандальных проверяли по фамилиям.

Они проходили мимо нас, звеня кандалами, а по стене двигались уродливые, огромные тени.

В одном из отделений было двое тачечников. Оба — кавказцы, прикованные за побеги.

Один из них, высокий, крепкий мужчина, с открытым лицом, смелыми, вряд ли когда от-

ражавшими страх глазами, — при перекличке, громыхая цепями, провез свою тачку мимо нас.

Другой лежал в углу.

— А тот чего лежит?

Тачечник что-то проговорил слабым, прерывающимся голосом.

— Больна она! Очень шибко больна! Слаба стала! — объяснил татарин-переводчик.

Во время молитвы он поднялся и стоял, опираясь на свою тачку, охая, вздыхая, напоминая какой-то страдальческий призрак, при каждом движении звеневший цепями.

Вы не можете себе представить, какое впечатление производит человек, прикованный к тачке.

Вы смотрите на него прямо с удивлением.

— Да чего это он ее все возит?

И воочию видишь, и не верится в это наказание.

По окончании проверки кандальные пели молитвы.

Было странно слышать: в «номере» — сорокпятьдесят человек, а поет слабенький хор из семи-восьми. Остальные все кавказцы…

Меня удивляло, что в кандальном отделении не пели «Христос воскресе».

— Почему это? — спросил я у смотрителя.

— А забыли, вероятно!

Люди, забывшие даже про то, что теперь пасхальная неделя!..

Раскомандировка

Пятый час. Только-только еще рассвело.

Морозное утро. Иней легким белым налетом покрывает все: землю, крыши, стены тюрьмы.

Из отворенных дверей столбом валит пар. Нехотя, почесываясь, потягиваясь, выходят невыспавшиеся, не успевшие отдохнуть люди; некоторые на ходу надевают свое «рванье», другие торопятся прожевать хлеб.

Не чувствуется обычной свежести и бодрости трудового, рабочего утра.

Люди становятся шеренгами; плотники — к плотникам, чернорабочие — к чернорабочим.

Надзиратели по спискам выкликают фамилии.

— Здесь!.. Есть!.. — на все тоны слышатся с разных концов двора голоса, то заспанные, то мрачные, то угрюмые.

— Мохаммед-Бек-Искандер-Али-Оглы! — запинаясь, читает надзиратель. — Ишь, черт, какой длинный.

— Иди, что ли, дьявол! Малайка[5], тебя зовут! —

---

[5] Примечания: 5

Малайка — название всех молодых кавказцев. Старые зовутся «Вабаями».

толкают каторжные кавказца, за три года каторги все еще не привыкшего узнавать своего громкого «бекскаго» имени в безбожно исковерканной передаче надзирателя.

Над всем этим царит кашель, хриплый, затяжной, типичный катаральный кашель.

Многих прохватывает на морозце «цыганский пот». Дрожат, еле попадают зуб на зуб.

Ждут не дождутся, когда крикнут:

— Пошел!

Еще очень недавно этот ранний час, час раскомандировки, был вместе с тем и часом возмездия.

Посредине двора ставили «кобылу» — и тут же, в присутствии всей каторги, палач наказывал провинившегося или не выполнившего накануне урока.

А каторга смотрела и… смеялась.

— Баба!.. Заверещал как поросенок! Не любишь! — встречали они смехом всякий крик наказуемого.

Жестокое зрелище!

Иногда каторга «экзаменовала» своих стремившихся заслужить уважение товарищей и попасть в «Иваны», в герои каторги.

На «кобылу» клали особенно строптивого

арестанта, клявшегося, что он ни за что «не покорится начальству».

И каторга с интересом ждала, как он будет держать себя под розгами.

Стиснув зубы, подчас до крови закусив губы, лежал он на «кобыле» и молчал.

Только дико вращавшиеся глаза да надувшиеся на шее жилы говорили, какие жестокие мучения он терпел и чего стоит это молчание перед лицом всей каторги.

— Двенадцать! Тринадцать! Четырнадцать! — мерно считал надзиратель.

— Не мажь!.. Реже!.. Крепче! — кричал раздраженный этим стоическим молчанием смотритель.

Палач бил реже, клал розгу крепче…

— Пятнадцать… Шестнадцать… — уже с большими интервалами произносил надзиратель.

Стон, невольный крик боли вырывался у несчастного.

«Срезался! Не выдержал!»

Каторга отвечала взрывом смеха.

Смотритель глядел победоносно:

— Сломал!

Иногда каторга ждала раскомандировки просто как интересного и смешного спектакля.

— Смотрите, братцы, какие я завтра курбеты буду выкидывать, как меня драть будут. Приставление! — похвалялся какой-нибудь «жиган», продувший в карты все, до казенной одежды и пайка включительно, питающийся крохами со стола каторги и за это разыгрывающий роль шута.

И каторга ждала «приставления».

Помирая от внутреннего, еле сдерживаемого смеха, смотрела она на «курбеты», которые выделывал «жиган».

Многие не выдерживали, прыскали от смеха, на землю приседали от хохота: «Не могу, братцы вы мои».

А несчастный «жиган» старался.

Падал перед смотрителем на колени, клялся, что никогда не будет, просил пощадить его, «сироту, ради деточек малыих».

Не давался положить на «кобылу», кричал еще тогда, когда палач только замахивался.

— Ой, батюшки, больно! Ой, родители, больно!

— Крепче его, шельму! — командовал взбешенный смотритель.

А «жиган», лежа под розгами, прибирал самые «смешные» восклицания:

— Ой, бабушка моя милая! Родители мои ново-

преставленные!

И кровью и телом расплачивался за те крохи, которые бросала ему со своего стола каторга.

Расплачивался, доставляя ей «довольствие».

Наказание кончилось, и «жиган», часто еле-еле, но непременно с деланой, натянутой улыбкой, подходил к своим.

— Ловко!

Еще недавно, выйдя ранним морозным утром на крыльцо, можно было слышать вопли и стоны, несшиеся с тюремного двора.

Но tempora mutantur...[6] Веяния нашего великого гуманного века все же сказались и на Сахалине.

И смотритель Корсаковской тюрьмы горько жаловался мне, что ему не дают теперь «исправлять» преступников.

Эти утренние расправы, экзамены и спектакли для каторги составляют сравнительно редкость.

Раскомандировка происходит и кончается тихо и мирно.

Перекличка кончена.

— Ступай!

И каторжные, с топорами, пилами, веревками,

---

[6] Примечания: 6
Времена меняются *(лат.)*.

срываются с места, бегут вприпрыжку, стараясь согреться на ходу.

Тюрьма кандальная

«Кандальной» называется на Сахалине тюрьма для наиболее тяжких преступников — официально «тюрьма разряда испытуемых», тогда как тюрьма «разряда исправляющихся» — для менее тяжких или окончивших срок «испытуемости» — называется «вольной тюрьмой», потому что ее обитатели ходят на работы без конвоя, под присмотром одного надзирателя.

— Кандальная тюрьма у нас плохая! — заранее предупреждал меня смотритель. — Строим новую — никак достроить не можем.

И чтобы показать мне, какая у них плохая тюрьма, смотритель ведет меня по дороге в пустое, перестраивающееся отделение.

— Не угодно ли? Это стена? — смотритель отбивает палкой куски гнилого дерева. — Да из нее и бежать-то нечего! Разбежался, треснулся головой об стену — и вылетел насквозь. Воздух скверный. Зимой холодно, вообще дрянь.

Гремит огромный ржавый замок.

— Смирно! — командует надзиратель.

Громыхают цепи, и около нар вырастают в шеренгу каторжные.

На первый день Пасхи из кандальной тюрьмы бежало двое — несмотря на данное всей тюрьмой «честное арестантское слово», — и теперь в наказание закованы все.

Сыро и душно; запах ели, развешанной по стенам, немножко освежает этот спертый воздух.

Вентиляции — никакой.

Пахнет пустотой, бездомовьем.

Люди на всё махнули рукой — и на себя.

Никаких признаков хоть малейшей, хоть арестантской домовитости. Никакого стремления устроить свое существование посноснее.

Даже обычные арестантские сундуки — редко-редко у кого.

Голые нары, свернутые комком соломенные грязные матрацы в головах.

По этим голым нарам бродит, подняв хвост, ободранная чахлая кошка и, мурлыкая, ласкается к арестантам.

Арестанты очень любят животных; кошка, собака — обязательная принадлежность каждого «номера». Может быть, потому и любят, что только животные и относятся к ним как к людям.

Посреди «номера» стол — даже не стол, а высокая длинная узкая скамья. На скамье налито, валяются хлебные крошки, стоят неубранные

жестяные чайники.

Мы заходим как раз в тот «номер», где живут двое тачечников.

— Ну-ка, покажи свой инструмент!

Несмазанная «тележка» визжит, цепи громыхают, прикованный тачечник подвозит к нам свою тачку.

Тачка — весом пуда в два — прикована длинной цепью к ножным кандалам.

Раньше она приковывалась к ручным, но теперь ручные кандалы надеваются на тачечников редко, в наказание за особые провинности.

Куда бы ни шел арестант — он всюду везет за собой тачку.

С нею и спит, на особой койке, в уголке, ставя ее под кровать.

— На сколько лет приговорен к тачке? — спрашиваю.

— На два. А до него на этой постели спал три года другой тачечник.

Я подхожу к этой постели.

У изголовья дерево сильно потерто. Это — цепью. Пять лет трет это дерево цепь…

— Дерево, и то стирается! — угрюмо замечает мне один из каторжников.

Наказание тяжкое — оно было бы совсем невы-

носимым, если бы тачечники изредка не давали сами себе отдыха.

Трудно заковать арестанта «наглухо». При помощи товарищей, намазав кандалы мылом, — хоть и с сильной болью, они иногда снимают на ночь оковы, а с ними освобождаются и от тачки, отдыхают хоть несколько часов в месяц.

Бывают случаи даже побегов тачечников.

— Работают у вас тачечники?

— Я заставляю — а в других тюрьмах отказываются. Ничего с ними не поделаешь: народ во всем отчаявшийся.

Кругом угрюмые лица. Безнадежностью светящиеся глаза. Холодные, суровые, озлобленные взгляды — и злоба, и страдание светятся в них. Вот-вот, кажется, лопнет терпение этих «испытуемых» людей.

Никогда мне не забыть одного взгляда.

Среди каторжных один интеллигентный, некто Козырев, москвич, сосланный за дисциплинарное преступление на военной службе.

Симпатичное лицо. И что за странный, что за страшный взгляд!

Такой взгляд бывает, вероятно, у утопающего, когда он в последний раз всплывет над водой и оглянется, — ничего, за что бы ухватиться, ни-

откуда помощи, ничего, кроме волны, кругом. Безнадежно, с предсмертной тоской взглянет он кругом и молча пойдет ко дну, без борьбы.

— Поскорей бы!

Тяжело и глядеть на этот взгляд — а каково им смотреть?

Среди кандальных содержатся беглые, рецидивисты и состоящие под следствием.

— Ты за что?

— По подозрению в убийстве.

— Ты?

— За кражу.

— Ты?

— По подозрению в убийстве.

«По подозрению»... «по подозрению»... «по подозрению».

— Ты за что?

— За убийство двоих человек! — слышится прямой, резкий ответ, сказанный твердым, решительным голосом.

— Поселенец он! — объясняет смотритель. — Отбыл каторгу и теперь опять убил.

— Кого ж ты?

— Сожительницу и надзирателя.

— Из-за чего ж вышло?

— Баловаться начала. С надзирателем балова-

лась. «Пойду да пойду к надзирателю жить — что мне с тобой, с поселенцем-то каторжным?» — «Врешь, — говорю, — не пойдешь». Просил ее, молил, Господом Богом заклинал. И не пошла бы, может, да надзиратель за ней пришел — и взял. «Я, — говорит, — ее в пост поведу. Ты с ней скверно живешь. Бьешь». — «Врешь, — говорю, — эфиопская твоя душа! Пальцем ее не трогаю. И тебе ее не отдам. Не имеешь никакого права ее от меня отбирать!» — «У тебя, — говорит, — не спрашивался! Одевайся, пойдем — чего на него смотреть». Упреждал я: не делай, мол, этого, плохо выйдет. «А ты, — говорит, — еще погрози, в карцере, видно, давно не сиживал. Скажу слово — и посидишь!» Взял ее и повел…

Передергивает поселенца при одном воспоминании.

— Повел ее, а у меня голова кругом. «Стой», думаю. Взял ружье — ружьишко у меня было. Они-то дорогой шли, — а я тайгой, тропинкой, вперед их забежал, притаился, подождал. Вижу, идут, смеются. Она-то зубы с ним скалит… И прикончил. Сначала его, а потом уж ее — чтоб видела!

«Прикончив», поселенец жестоко надругался над трупами. Буквально искромсал их ножом.

Много накопившейся злобы, тяжкой обиды сказалось в этом зверском, циничном издевательстве над трупами.

— Себя тогда не помнил, что делал. Рад только был, что ему не досталась… Да и тяжко было.

Поселенец — молодой еще человек, с добродушным лицом. Но в глазах, когда он рассказывает, светится много воли и решимости.

— Любил ты ее, что ли?

— Известно, любил. Не убивал бы, если б не любил…

— Ваше высокоблагородие, — пристает к смотрителю, пока я разговариваю в сторонке, пожилой мужичонка, — велите меня из кандальной выпустить! Что ж я сделал? На три дня всего отлучился. Горе взяло — выпил, только и всего. Достал водки бутылку, да и прогулял. За что же меня держать?

— Врешь, паря, убежишь!

— Господи, да зачем мне бежать? Что мне, в тюрьме, что ли, нехорошо? — распинается «беглец». — Сами изволите знать, было бы плохо — взял борцу, да и конец. Сами знаете, лучше ничего и не может быть. Борец — от каторги средство первое.

— Долго ли меня здесь держать будут? — мрач-

но спрашивает другой. — Долго ли, спрашиваю!

— Следствие еще идет.

— Да ведь четвертый год я здесь сижу, задыхаюсь! Долго ли моему терпению предела не будет? Ведь сознаю́сь я…

— Мало ли что ты, паря, сознаёшься, да следствие еще не кончено.

— Да ведь сил, сил моих, говорю, нету.

— Ваше высокоблагородие! Что ж это за баланду дали? Есть невозможно! Картошка нечищеная! На Пасху разговляться — и то рыбу дали!..

Мы выходим.

— Выпустите вы меня, говорю, вам…

— Ваше высокоблагородие, долго ли?.. Ваше…

Надзиратель запирает дверь большим висячим замком.

Из-за запертой двери доносится глухой гул голосов.

Корсаковская кандальная тюрьма — одна из наиболее мрачных, наиболее безотрадных на Сахалине.

Быть может, ее обитатели произвели на вас не только неприятное — отталкивающее впечатление?

Милостивые государи, вы стоите рядом с человеческим горем. А горе надо слушать сердцем.

Тогда вы услышите в этом «зверстве» много и человеческих мотивов, в «злобе» — много страдания, в «циничном» смехе — много отчаяния…

По грязному двору кандальной тюрьмы мы переходим в «отделение исправляющихся».

Вольная тюрьма

Люди на работах.

В тюрьме остались только староста, «каморщики», то есть уборщики камер, парашечники, — вообще «чиновники», как их насмешливо называет каторга.

Метут, скребут, чистят, прибирают.

Везде белят.

Из ельника делают очень живописные узоры и убирают ими стены.

Ждут приезда начальства, — и, конечно, тогда тюрьма не будет иметь того вида, какой она имеет теперь в своем обычном, повседневном, будничном уборе.

Вольная тюрьма — и Корсаковская, и всякая другая на Сахалине — производит впечатление просто-напросто ночлежного дома.

Очень плохого, очень грязного, где собираются самые подонки городской нищеты.

Где никто не заботится ни о воздухе, ни о чистоте, ни о гигиене.

Пришел, выспался — и ушел!

— Пропади она пропадом!

Грязные, тусклые окна пропускают мало света.

Нары — посреди каждого «номера» — скатом на две стороны. Нары вдоль стен.

Грязь — хоть ножом отскабливай. Мылом никаким не отмоешь.

Когда моют полы, поднимают одну из половиц, и грязь просто-напросто стекает под пол.

Мы застаем как раз такую картину.

— Ах, свиньи, свиньи! — качает головой смотритель, словно в этом виноваты одни «свиньи».

Пробую палкой — палка чуть не на пол-аршина уходит в жидкую грязь в подполице.

На этом-то болоте из грязи стоит тюрьма. Этими испарениями дышат люди.

— Очень-очень скверная тюрьма! — подтверждает смотритель. — Теперь еще ничего, только сыро. А зимой — холод. Скверно, очень-очень скверно.

Почти во всякой тюрьме, в каком-нибудь «номере», вы непременно увидите скрипку. Она висит обыкновенно на передней стене, где висит все, что есть наиболее ценного у тюрьмы, — образ, лубочные картины, какие есть, лучшее платье. Около этой же стены стоит обыкновенно и отдельная, сравнительно чистая постель всегда «чисто» одетого в свое платье старосты.

Скрипка — любимый инструмент каторги.

Помню, я рассказал кому-то из каторжных ту сцену из «Мертвого дома», где Достоевский описывает, как загулявший каторжанин нанимает скрипача, и тот целый день ходит за ним и пищит на скрипке.

Мой собеседник даже словно обрадовался.

— Вот-вот — для этого самого! Загуляет кто! Это господин, про которого вы изволите говорить, верно описал.

— Да ведь он описывал давнишнее время.

— Все одно — и теперь-с. Скрипка — первая штука, ежели гулять. Веселый струмент.

В одной из камер на стене висели самодельные картины одного из каторжных, Бабаева. Картины изображали скачущих верхами генералов.

— А где сам художник?

— На обвахте сидит. В одиночке содержится.

— Вот что, я возьму одну картину — на тебе рубль, передай Бабаеву. Ему, чай, на табачишко, на сахар нужно!

Дал я нарочно, чтобы испытать, передаст ли человек деньги своему еще более страждущему товарищу.

— Смотри же, передай!

— Помилте!

Деньги переданы не были.

Мастерские

Корсаковские мастерские — столярная, слесарная, токарная, сапожная, швальная, кузница — работают недурно.

И у господ служащих и… даже во Владивостоке у многих можно видеть очень приличную мебель работы корсаковских мастерских.

Мастерские расположены здесь же, на тюремном дворе.

Многие мастеровые в них и ночуют. Как-то легче на душе становится, когда после тюремной «оголтелости» и голой нищеты входишь в мастерские.

Здесь хоть чуть-чуть да пахнет в воздухе достатком, у всякого есть хоть что-нибудь и лишнее.

Люди имеют кое-какой посторонний заработишко — по праздникам, во время, полагающееся для отдыха.

У кого есть кроватишка, у кого хоть какое-нибудь лишнее тряпье.

Да и лица не такие уж «каторжные» — труд все-таки кладет на них благородный, человеческий отпечаток.

Труд подневольный, «барщина», — но если вы

хотите видеть, как может работать арестант, с какой охотой, как старательно он работает, если хоть чуть-чуть заинтересован в труде, — похвалите работу.

— Отличные, мол, коты (арестантские башмаки). Видно, хороший мастер. Тонкую работу исполнять можешь.

Доброе слово на каторге — редкость[7].

Доброе слово, непривычное, производит на каторжного больше впечатления, чем привычная розга.

От похвалы лицо рабочего распустится в улыбку — он непременно достанет из «укладки» и похвастается работою «на сторону».

И что за тщательная, что за любовная работа! Подошва у другого и та вся выстрочена какими-то рисунками.

Не то чтоб ему за это заплатили дороже, а любит он «свою» работу, старается над ней, отделывает

---

[7] Примечания: 7

Помню, в п. Александровском меня приветствовал при встрече какой-то слегка подвыпивший поселенец:

— Христос воскресе, барин!

— Воистину воскресе!

Поселенец снял шапку, поклонился в пояс — нет, ниже, чем в пояс, рукой чуть не касаясь земли.

— Поко-орнейше вас благодарю.

— Да за что ты меня благодаришь-то, чудак-человек?

— За хороший ответ. Больно ласково ответили.

сапог какой-нибудь, словно художник-ювелир гранит редкий, ему самому нравящийся бриллиант.

И недаром люди, хорошо знающие каторгу, говорят, что, если бы ее хоть чуть-чуть заинтересовать материально в труде, каторга меньше давала бы лентяев, игроков, рецидивистов, — меньше народу падало бы в ней окончательно.

Но довольно «философии».

Перед нами опять — мрачная, «каторжная» картина.

Молодой парень сколачивает большой, неуклюжий гроб. Другой, уже оконченный, стоит тут же на полу.

— Покойники разве есть?

— Нет. Да из лазарета присылали сказать: будут. Ну и готовим.

Парень со злостью заколачивает гвоздь.

— Возись с чертями! Хороший, природный столяр был, у Файнера, в Киеве, мастеровым служил, может, изволите знать, первый магазин, — а теперь вот гроба сколачивай! Тьфу!

— А за что пришел?

— В Киевском университете за убийство.

— С грабежом?

— С ним. Много награбили, держи карман

шире!

— А надолго?

— Без срока.

Неподалеку старичок в очках, низко нагнувшись, мастерит коты, тщательно заколачивает гвоздики.

— Давно здесь, дедушка?

— Недавно, милостивый государь мой, — приветливо говорит он, — недавно.

— А за что?

— Старуху свою убил.

— Жену?

— Нет, так. Полюбовница была. Десять лет душа в душу выжили… И этакий грех вышел!

— Что же случилось?

— Сдурела, старая. В Феодосии мы жили, я хорошим мастером слыл, жил скромно, деньжонки имел. На них-то она и зарилась. «Умрет, мол, сам, всё родные отберут! Отравлю да отравлю и деньгами воспользуюсь». А тут еще путаться с молодым начала. «Отравлю!» — да и всё. Замечаю я. Живем, как два волка в клетке, друг на друга зубами щелкаем. Мне ее боязно — того и гляди отравит; она меня опасается — потому видит, что замечаю. Так тяжко в те поры было, так тяжко… Не выдержал… убил.

Каких-каких только драм здесь нет.

Околоток

Корсаковский тюремный околоток — это тот же лазарет по назначению, та же тюрьма по характеру.

Околоток — это место, куда кладут не особенно тяжких больных, нуждающихся в отдыхе.

Здесь же живут и «богодулы», богадельщики, старики и молодые, неспособные, вследствие болезни или увечья, к работе.

В околотке только одно удобство — у всякого своя постель. Воздух такой же спертый и душный, как в тюрьме.

Околотком заведует врач Сурминский, «старый сахалинский служака», про которого мне с восторгом говорил смотритель.

— Вот это доктор так доктор! Не нынешним, не молодым, чета! У него слабых арестантов не бывает почти, все полносильные, все годятся в работу. Пришел к нему арестант, жалуется: «Врешь!» Не то что нынешние!

О том, что это за доктор, вы можете составить себе понятие по следующему.

Наш матрос с парохода «Ярославль» обварил себе в бане кипятком голову.

Ожог был страшный: лицо, голова вся напоминала какую-то сплошную, бесформенную массу.

Послали больного к доктору Сурминскому.

— Пусть везут на пароход! У них на пароходе свой врач есть!

И пришлось везти несчастного на пристань, ждать добрый час, пока вернется катер, везти больного в сильное волнение на зыбком, качающемся катере, версты за полторы от берега, на пароход.

После этого станут понятными все рассказы, которые ходят в каторге про доктора Сурминского.

В разговоре с ним меня очень удивило его нежное, почти любовное отношение к телесным наказаниям.

— Взбрызнуть — и всё.

Словно о резеде какой-то шла речь.

И он с таким смаком говорил это «взбрызнуть».

Но Господь с ним! Займемся лучше тюремными типами.

Вот чисто, даже щеголевато одетый пожилой человек.

Он нарочно прожигает себе нёбо папиросой и растравляет рану, чтобы лежать в околотке.

— Работать, что ли, не хочет?

— Какое там! — смеются больные. — Старостой был в «номере», за воровство прогнали. Вот теперь и стыдно в «номер» глаза показать. То все спал на своей наре, а теперь пошел на общую. Был староста, «начальство», «чиновник», а теперь — такой же каторжный.

Каторга смеется.

Бедняга, видимо, сильно страдает от уязвленного самолюбия.

— Ты что, старина?

— Богодуль я, вашескородие! Ни к чему не способный человек!.. Всем и себе лишний. Так вот, живу только, паек ем!

— А много лет-то?

— Лет-то не так чтоб уж очень много, да побоев многонько. Из бродяг я, еще в Сибири ходил бродяжить. Участь хотел переменить. Споймали, так били — сейчас отдает. Ни лечь ни встать. Нутра, должно уж, у меня нет. Тяжко здесь сидеть-то, ох как тяжко! Ну да теперь уж недолго осталось… Теперь недолго…

— Срок скоро кончается?

— Нет. Помру.

Рядом хроник-чахоточный.

— На ту бы сторону мне. Я б и поправился…

— А ведь ему ужасно в этом воздухе быть, док-

тор?

— Да… да… Ну да что ж делать!

Женская тюрьма

Она невелика.

Всего один «номер», человек на десять. Женщины ведь отбывают на Сахалине особую каторгу: их отдают в сожительницы поселенцам.

В тюрьме сидят только состоящие под следствием.

При нашем появлении с нар встают две.

Одна — старуха-черкешенка, убийца-рецидивистка, ни звука не понимающая по-русски.

Другая — молодая женщина. Крестьянка Вятской губернии. Попала в каторгу за то, что подговорила кума убить мужа.

— Почему же?

— Неволей меня за него отдали. А кума-то я любила. Думала, вместе в каторгу пойдем. Ан его в одно место, а меня в другое.

Здесь она совершила редкое на Сахалине преступление.

С оружием в руках защищала своего сожителя.

Он поссорился с поселенцами. На него кинулось девять человек, начали бить.

Тогда она бросилась в хату, схватила ружье и выстрелила в первого попавшегося из напа-

давших.

— Что ж ты, полюбила его, что ли, сожителя?

— Известно, полюбила. Ежели бы не полюбила, разве стала бы его собой защищать, — чай, меня могли убить… Хороший человек; думала, век с ним проживем, а теперь на-тко…

Она утирает набежавшие слезы и принимается тихо, беззвучно рыдать.

— Ничего ей не будет, — успокаивает меня смотритель. — Осудят, отдадут на дальнее поселение опять к какому-нибудь поселенцу в сожительницы… Женщины у нас, на Сахалине, безнаказанны.

Действительно, с одной стороны — как будто безнаказанность.

Но какое наказание можно придумать тяжелее этой «отдачи» другому, отдачи женщины, полюбившей сильно, горячо, готовой жертвовать своей жизнью.

Не пахнуло ли чем-то затхлым, тяжелым на вас? Отжитым временем? Крепостным правом, когда так спокойно «отдавали», играя чужой жизнью и сердцем?

Изо всех тюрем, которые мы только что обошли с вами, эта маленькая производит самое тяжелое впечатление.

Карцеры

Сыро, тяжелый, зловонный, невыносимый воздух, но довольно светло.

Таково общее впечатление корсаковских одиночных карцеров при гауптвахте.

Здесь содержатся одиночные подследственные и наиболее провинившиеся каторжные.

Вот — Авдеев.

Юноша с неприятным лицом, отталкивающим взглядом.

Необыкновенно циничный.

Он производит впечатление волчонка, затравленного и злобного.

Словно для дополнения сходства, он постоянно стоит около окошечка в двери и грызет дерево. Отгрыз уж порядочно, как будто точит зубы.

Авдееву теперь около девятнадцати лет, а в пятнадцать он был уже признан неисправимым преступником.

Авдеев приговорен к вечной каторге.

В четырнадцать лет он совершил тягчайшее преступление: убил отца и мать[8].

---

[8] Примечания: 8
Убийство в Воронеже.

— За что же ты их убил?

— За что убивают? За деньги!

Его коротенькая жизнь — целый роман.

Его незаконный отец — офицер. Мать — пленная турчанка.

Отец сошелся с ней во время последней войны и привез вместе с прижитым ребенком в Россию.

Ни отец, ни мать не любили этого несчастного малыша.

Довольно состоятельные люди, они совсем забросили ребенка. Авдеев еле умеет читать.

— Известно, если бы хорошо со мной обращались, — не зарезал бы!

О своем преступлении Авдеев говорит спокойно, хладнокровно, цинично.

— Деньги были хорошие — тридцать тысяч. Удрал бы за границу — и всё! Да нет, пьянствовать начал! Известно, мал был, глуп еще!

В каторге Авдеев выходит из карцера, чтобы лечь на «кобылу», под розги, — и встает с «кобылы», чтоб сесть в карцер.

Он упорно отказывался работать. Пробовал бежать — поймали.

За время каторги он успел получить пятьсот-шестьсот розог.

И об этом говорит так же спокойно, хладно-

кровно и цинично.

— Да почему же ты отказываешься работать?

— А так! Не хочу — и не стану.

— Да ведь что же впереди? Задерут!

— Задрать не смеют.

— Да ведь больно?

— Больно — терпеть нужно.

— Неужели же это лучше, чем работать?

— Известно, лучше. Отдерут — да перестанут. А работа-то с утра до ночи, каждый день.

— Ну а в карцере сидеть разве приятно?

— Ничего! Сидят люди!.. А только я вам прямо говорю: работать не буду! Положите, дерите хоть до смерти — не буду!

Он производит тяжелое впечатление.

На меня лично он произвел впечатление «задерганной лошади».

Лошадь, которую сильно дергали и нахлестывали, которая остановилась и упрямо ни за что не сделает ни шагу вперед, как бы ее ни били.

В таких случаях мало-мальски опытные кучера дают лошади просто немного передохнуть.

И мне кажется, что хорошая доза бромистого калия оказала бы куда большее действие, чем розги, на этого болезненно-раздраженного, со взвинченными нервами, отвратительного и глу-

боко несчастного юношу.

Рядом с ним — бывалый каторжник Бабаев.

Армянин Эриванской губернии.

С симпатичным лицом, на котором во время разговора играет добрая, заискивающая, вкрадчивая улыбка.

Маслянистые глаза, вечно как будто покрытые влагой.

Мягкий, приятный голос.

Он говорит так мягко, нежно, вкрадчиво.

Бабаев не лишен артистической жилки.

Он очень любит рисовать и постоянно рисует одно и то же: генералов с «грудью колесом», которые скачут на конях тоже с «грудью колесом». Этими картинками увешана вся его камера.

Самый лучший подарок для него — ящик с красками.

Тогда в его глазах светится столько счастья…

Его специальность — убивать товарищей.

Во вновь прибывшей партии он высматривает новичков с деньгами и соблазняет бежать.

Описывает ужасы каторги и легкость бегства.

Обещает достать паспорт и быть преданным товарищем.

И нет ничего удивительного, что новички верят доброму, ласковому тону его голоса, вкрадчивой

улыбке, такому симпатичному лицу.

Где-нибудь в глухой тайге он убивает товарища, отбирает деньги и возвращается в тюрьму.

На эти деньги он живет, лакомится, покупает себе краски и рисует свои любимые картинки.

Каторга обвиняет его в шести убийствах. Официально он обвиняется в двух.

Погоня, отправленная ему вдогонку при последнем бегстве — они бежали втроем, — наткнулась сначала на один труп, потом — на другой, — и по этому страшному следу добралась до Бабаева.

Вот человек, «приговоренный к жизни».

Следствие о нем тянется, по сахалинскому обычаю, несколько лет; и самая страшная для него минута — это когда следствие кончится и его переведут из одиночного заключения в общую тюрьму.

Об этой минуте он боится и подумать.

Арестанты его убьют.

О боже! Что это за жалкое, за презренное существование, которое он влачит и которое он предпочитает смерти.

Вечная мысль о мести со стороны арестантов развила у него манию преследования.

Он никуда не выходит из карцера, отказывается даже от прогулок.

Он боится выйти даже в сопровождении солдат.

— Бросится кто-нибудь и убьет.

И когда он говорит это, он бледнеет, судороги пробегают по лицу, а глаза полны такого страха, словно над ним уж занесен нож.

Такое выражение лица, вероятно, бывает у человека, когда он лежит уже на земле и ждет смертельного удара.

Он, вероятно, сойдет с ума от этой мысли — и… это, быть может, будет лучше для него.

Лучше безумие, чем это сознание, вечный трепет, вечная дрожь.

«Исправился»

— Хе-хе! Это человек, которого лишили невинности, — сказал мне о нем один из сахалинских чиновников.

Человек, с которым случилось это странное происшествие, — Балад-Адаш, горец, осужденный за убийство.

Человек феноменальной силы, вероятно когда-то такой же отваги, решительный и гордый.

Он был «нетерпим на каторге».

Он не отказывался работать, но, если ему или кому-нибудь из его товарищей назначали работу «не по правилам», он протестовал тем, что бросал работать.

Он был вежлив и почтителен, но, если его ругали, он повертывался и уходил.

Если ему делали замечание «зря, не за дело», он возражал.

— Ему слово, а он — десять.

Он был прямо помешан на справедливости. И водворял ее всюду, как мог.

— Словно не мы его, а он нас исправлять сюда приехал! — обиженно рассказывал мне о нем чиновник.

К тому же «пороться» за свои дерзости Балад-Адаш не давался.

— Его на «кобылу» класть, а он драться. «Не позволяем меня розгам трогать! Себе, другим, каким попало, резать будем! Не трогай лучше!» — кричит. Что с ним поделаешь?!

— Связать бы да выдрать хорошенько! — перебил кто-то, присутствовавший при разговоре.

— Покорнейше благодарю. Сегодня его свяжешь и выдерешь, а завтра он тебе нож в бок. С этими кавказцами шутки плохи.

В это время на Корсаковский округ налетел — именно не приехал, а налетел — новый смотритель поселений Бестужев.

Человек вида энергичного, силы колоссальной, нрава крутого, образа мыслей решительного: «Какие там суды? В морду — да и всё».

К нему-то и отправили для «укрощения» Балад-Адаша.

Отправили с ответственным предупреждением, что это за экземпляр.

Весь округ ждал.

— Что выйдет?

Но пусть об этом рассказывает сам энергичный смотритель.

— Выхожу из канцелярии. Смотрю, стоит среди

арестантов тип этакий. Поза свободная, взгляд смелый, дерзкий. Глядит, шапки не ломает[9]. И все, сколько здесь было народу, уставились: «Что, мол, будет? Кто кого?» Самолюбие заговорило. Подхожу. «Ты что, мол, такой-сякой, шапки не снимаешь? А? Шапку долой!» Да как развернусь — с ног!

Балад-Адаш моментально вскочил с земли, «осатанел», кинулся на смотрителя: «Ты драться?»

— Я развернулся — два. С ног долой, кровь, без чувств унесли.

Поединок был кончен. Балад-Адаш укрощен.

— Думали потом, что он его зарежет. Нет, ничего, обошелся, — рассказывали мне другие чиновники.

— Плакал Баладка в те поры шибко. Сколько дней ни с кем не говорил. Молчал, — рассказывали мне арестанты.

Я видел Балад-Адаша. Познакомился с ним.

Балад-Адаш действительно исправился.

Его можно ругать, бить. Он дается сечь сколько угодно, и ему частенько приходится испытывать это удовольствие: пьяница, вор, лгун, мошенник,

---

[9] Примечания: 9

Балад-Адаш знал, что его прислали для «укрощения».

доносчик; нет гадости, гнусности, на которую не был бы способен этот «потерявший невинность» человек.

Лентяй — только и старается, как бы свалить свою работу на других.

Он пользуется презрением всей каторги и принадлежит к «хамам» — людям совсем уж без всякой совести, самому презренному классу даже среди этих «подонков человечества».

Я спрашивал его, между прочим, и об «укрощении».

Балад-Адаш чуть-чуть было нахмурился, но сейчас же улыбнулся во весь рот, словно вспоминая о чем-то очень курьезном, и сказал, махнув рукой:

— Сильно мене мордам бил! Шибко бил!

Таковы Балад-Адаш и его исправление.

Два одессита

Одесса дала корсаковской тюрьме двух представителей.

Верблинского и Шапошникова.

Трудно представить две большие противоположности.

Верблинский и Шапошников — это два полюса каторги.

Если собрать все, что в каторге есть худшего, подлого, низкого, эта квинтэссенция каторги и будет Верблинский.

С ним я познакомился на гауптвахте, где Верблинский содержится по подозрению в убийстве с целью грабежа двух японцев.

Верблинский клянется и божится, что он не убивал. Он был свидетелем убийства, при нем убивали, он получил свою часть за молчание, но он не убивал.

И ему можно поверить.

Нет той гнусности, на которую не был бы способен Верблинский. Он может зарезать сонного, убить связанного, задушить ребенка, больную женщину, беспомощного старика. Но напасть на двоих с целью грабежа — на это Верблинский

не способен.

— Помилуйте! — горячо протестует он. — Зачем я стану убивать? Когда я природный жулик, природный карманник! Вы всю Россию насквозь пройдите, спросите: может ли карманник человека убить? Да вам всякий в глаза расхохочется! Стану я японцев убивать!

— Имеешь, значит, свою «специальность»?

— Так точно. Специальность. Вы в Одессе изволили бывать? Адвоката, — Верблинский называет фамилию когда-то довольно известного на юге адвоката, — знаете? Вы у него извольте спросить. Он меня в восемьдесят втором году защищал — в Елисаветграде у генеральши К. восемнадцать тысяч денег, две енотовые шубы, жемчуг взял. Восемьсот рублей за защиту заплатил. Вы у него спросите, что Верблинский за человек, — он вам скажет! Да я у кого угодно, что угодно, когда угодно возьму. Дозвольте, я у вас сейчас из кармана что угодно выйму — и не заметите. В Киеве, на девятьсотлетие Крещения Руси, у князя К., — может, изволили слышать, — крупная кража была. Тоже моих рук дело!

В тоне Верблинского слышится гордость.

— И вдруг я стану каких-то там японцев убивать! Руки марать — отродясь не марал. Да я

захотел бы что взять, я и без убийства бы взял. Кого угодно проведу и выведу. Так бы подвел, сами бы отдали. Ведь вот здесь в одиночке меня держат, — а захотел я им доказать, что Верблинский может, и доказал!

Верблинский объявил, что знает, у кого заложена взятая у японцев пушнина — собольи шкурки, — но для того, чтобы ее выкупить, нужно пятьдесят два рубля и «верного человека», с которым бы можно было послать деньги к закладчику.

Смотритель поселений господин Глинка, производивший следствие по этому делу, поверил Верблинскому и согласился дать пятьдесят два рубля.

— Сами и в конверт заклейте!

Господин Глинка сам и в конверт заклеил.

Верблинский сделал на конверте какие-то условные арестантские знаки.

— Теперь позвольте мне верного человека, которого бы можно послать, потому по начальству я объявлять не могу.

Ему дали какого-то бурята. Верблинский поговорил с ним наедине, дал ему адрес, сказал, как нужно постучаться в дверь, что сказать.

— Смотри конверт не потеряй!

И Верблинский сам засунул буряту конверт за пазуху.

— Выходим мы с гауптвахты, — рассказывал мне об этом господин Глинка, — взяло меня сомнение. «Дай, — думаю, — распечатаю конверт». «Нет, — думаю, — распечатаю, тот узнает, пушнины не даст». Или распечатать, или нет? В конце концов не выдержал — распечатал.

В конверте оказалась бумага. Верблинский успел «передернуть», «сделать вольт» и подменил конверт.

Бросились сейчас же его обыскивать: сорок два рубля нашли, а десять так и пропали, как в воду канули.

— За труды себе оставил! — нагло улыбается Верблинский. — За науку! Этакого маху дали! А! Я и штуку-то нарочно подстроил. Мне не деньги нужны были, а доказать хотелось, что я, в клетке, взаперти, в одиночке сидючи, их проведу и выведу. И вдруг я этакую глупость сделаю — людей резать начну!

— Да ты видел, как резали?

— Так точно. Видел. Я сторожем поблизости был. Меня позвали, чтоб участвовал. Потому иначе донести бы мог. При мне их и кончали.

— Сонных?

— Одного, чей труп нашли, — сонного. А другой, которого не нашли, — он в тайге зарыт, — тот проснулся. Метался очень. Его уже в сознании зарезали.

— Отчего же ты не открыл убийц? Ведь самому отвечать придется?

— Помилуйте! Разве вы каторжных порядков не знаете? Нешто я могу открыть? Убьют меня за это.

Верблинский — одессит. В Одессе он имел галантерейную лавку.

— Для отвода глаз, разумеется! — поясняет он. — Я, как докладываю, по карманной части. Или так: из домов случалось хорошие деньги брать.

Он не говорит «красть». Он «брал» деньги.

— И много раз судился?

— Раз двадцать.

— Всё под своей фамилией?

— Под разными. У меня имен-то что было! Здесь даже, когда взяли, два паспорта подложных нашли — на всякий случай, думал — уйду.

Это человек, прошедший огонь, воду и медные трубы. Все тюрьмы и остроги России он знает как какой-нибудь турист первоклассные отели Европы. И говорит о них как об отелях.

— Там сыровато… Там будет посуше. В харьковском централе пища неважная, очень стол плох. В московском кормят лучше — и жить удобнее. Там водка дорогá, там — подешевле.

На Сахалин Верблинский попал за гнусное преступление: он добился силой того, чего обыкновенно добиваются любовью.

Его судили в Киеве.

— Не то чтоб она уж очень мне нравилась, — а так, недурна была!

В его наружности — типичной наружности бывалого, «прожженного» жулика, в его глазах, хитрых, злых, воровских и бесстыдных, — светится душонка низкая, подлая, гнусная.

* * *

Шапошников — тоже одессит.

В 87-м или 88-м году судился в Одессе за участие в шайке грабителей под предводительством знаменитого Чумака. Где-то в окрестностях, около Выгоды, они зарезали купца.

Попав на каторгу, Шапошников вдруг преобразился.

Вид ли чужих страданий и горя так подействовал, — но Шапошников буквально отрекся от себя и из отчаянного головореза превратился в

самоотверженного, бескорыстного защитника всех страждущих и угнетенных, сделался «адвокатом за каторгу»...

Как и большинство каторжных, попав на Сахалин, он прямо-таки «помешался на справедливости».

Не терпел, не мог видеть равнодушно малейшего проявления несправедливости. Обличал смело, решительно, ни перед кем и ни перед чем не останавливаясь и не труся.

Его драли, а он, даже лежа на «кобыле», кричал:

— А все-таки вы с таким-то поступили нехорошо! Нас наказывать сюда прислали, а не мучить. Нас из-за справедливости и сослали. А вы же несправедливости делаете.

— Тысяч пять или шесть розог в свою жизнь получил. Вот какой характерец был! — рассказывал мне смотритель.

Как вдруг Шапошников сошел с ума.

Начал нести какую-то околесицу, чушь, делать несуразные поступки. Его отправили в лазарет, подержали и как «тихого помешанного» выпустили.

С тех пор Шапошников считается «дурачком» — его не наказывают и на все его проделки смотрят

как на выходки безумного.

Но Шапошников далеко не «дурачок».

Он просто переменил тактику.

— На «кобылу» устал ложиться! — как объясняет он.

Понял, что плетью обуха не перешибешь, — и продолжает прежнее дело, но в иной форме.

Он тот же искренний, самоотверженный и преданный друг каторги.

Как «дурачок», он освобожден от работ и обязан только убирать камеру.

Но Шапошников все-таки ходит на работы и притом наиболее тяжкие.

Увидав, что кто-нибудь измучился, устал, не может справиться со слишком большим «уроком», Шапошников молча подходит, берет топор и принимается за работу.

Но беда, если каторжник, по большей части новичок, скажет по незнанию:

— Спасибо!

Шапошников моментально бросит топор, плюнет и убежит.

Бог его знает, чем питается Шапошников.

У него вечно кто-нибудь «на хлебах из милости».

Он вечно носит хлеб какому-нибудь проиграв-

шему свой паек, с голоду умирающему «жигану».

И тоже не дай бог, если тот его поблагодарит.

Шапошников бросит хлеб на пол, плюнет своему «обидчику» в лицо и уйдет.

Он требует, чтобы его жертвы принимались так же молча, как он их делает.

Придет, молча положит хлеб и молча стоит, пока человек не съест.

Словно ему доставляет величайшее удовольствие смотреть, как другой ест.

Если — что бывает страшно редко — Шапошникову удается как-нибудь раздобыть деньжонок, он непременно выкупает какого-нибудь несчастного, совсем опутанного тюремными ростовщиками-татарами.

Свое заступничество за каторгу, свою обличительную деятельность Шапошников продолжает по-прежнему, но уже прикрывает ее шутовской формой, маской дурачества.

Он обличает уже не начальство, а каторгу.

— Ну что же вы? — кричит он, когда каторга на вопрос начальства: «Не имеет ли кто претензий?» — сурово и угрюмо молчит. — Что ж примолкли, черти! Орали, орали, будто баланда

плоха, «чалдон»[10], мол, мясо дрянное кладет, такой, дескать, баландой только ноги мыть, а не людей кормить, — а теперь притихли! Вы уж извините их! — обращается он к начальству. — Орали без вас здорово. А теперь, видно, баландой ноги помыли, попростудились и поохрипли! Вы уж с них не взыщите, что молчат.

Или такая сцена.

— Не имеет ли кто претензий? — спрашивает зашедший в тюрьму смотритель.

— Я имею! — выступает вперед Шапошников.

— Что такое?

— Накажите вы, ваше высокоблагородие, этих негодяев! — указывает Шапошников на каторгу. — Явите такую начальническую милость. Прикажите их перепороть. Житья от них нет! Ни днем ни ночью спокоя. Орут, галдят! А чего галдят? Хлеб, вишь, сыр. Врут, подлецы! Первый сорт хлеб! — Шапошников вынимает кусок действительно сырого хлеба, выданного в тот день арестантам, и тычет в него пальцем. — Мягкий хлеб! Отличный! Я из этого хлеба каких фигур налепил! Чудо! А они, вишь, есть его не могут. Свиньи!

---

[10] Примечания: 10

Чалдон — прозвище, данное каторгой смотрителю.

Особенно не любит этого «дурака» доктор Сурминский, в свою очередь не любимый каторгой за его черствость, сухость, недружелюбное отношение к арестантам.

— Ваше высокоблагородие, — обращается к нему Шапошников в тех редких случаях, когда господин Сурминский обходит камеры, — и охота вам ножки свои утруждать, к этим идолам ходить! Сто́ят ли они этого? Они вас доктором Водичкой зовут, врут про вас, будто вы только водой их и лечите, а вы об них, негодяях, заботитесь, к ним ходите. Плюньте вы на них, на бестий.

— Пошел прочь! — шипит доктор.

Выходит ли что-нибудь из этих протестов? Но каторга довольна хоть тем, что ее обиды не остаются без протеста.

И стонать при боли — облегчение.

Я много говорил с Шапошниковым.

Это не старый еще человек, которого преждевременно состарили горе и страданья, свои и чужие.

Он получил небольшое образование, прошел два класса реального училища, но кое-что читал и, право, показался мне куда интеллигентнее многих сахалинских чиновников.

Среди чудаческих выходок он много сказал и

горького, и дельного.

— Меня здесь полоумным считают! — улыбнулся он. — Ополоумеешь! Утром встану, ищу голову — где голова? Нет головы! А голова в грязи валяется! Ха-ха-ха!.. Голову иной раз теряешь, это верно. Да и трудно не потерять. Кругом что?! Грязь, горе, страдания, нищета, разврат, отчаяние. Тут потеряешься. Трудно человеку против течения плыть. Шибко трудно! Тонет человек, — а как тонет, тут его всякий по башке и норовит стукнуть. Тонущего-то ведь можно. Он не ударит — у него руки другим заняты, он барахтается. Ха-ха-ха! По башке его, по маковке! А утонет человек совсем, говорят: «Мерзавец!» Не мерзавец, а утонувший совсем человек. Вы в городе Париже изволили бывать?

— Был.

— Ну, вот я в книжках читал — не помню, чьего сочинения, — дом там есть, Моргой прозывается, где утопленников из реки кладут. Вот наша казарма и есть Морга. Иду я — гляжу, а направо, налево, на нарах, опухшие трупы утонувших лежат. Воняет от них! Разложились, ничего похожего на человека не осталось, — и не разберешь, какая у него раньше морда была! А видать, что человек был! Они говорят: «Мерзавцы» — не мерзавцы, а

утопленники. Видит только это не всякий, а тот, кто по ночам не спит. Днем-то свои, а по ночам чужие думы думает. Чужие болячки у него болят. А вы знаете, барин, кто по ночам не спит?

— Ну?

— Я да мышка, а потому всему разговору крышка!

И Шапошников запел петухом и запрыгал на одной ножке.

Такие странные, бесконечно симпатичные типы создает каторга наряду с Верблинскими.

К сожалению, редки только эти типы, очень редки.

Так же редки, как хорошие люди на свете.

Убийцы

Супружеская чета

— Душка, а не выпила ли бы ты чайку? Я бы принес.

— Да присядь ты, милый, хоть на минутку. Устал!

— И что ты, душка? Серьезно, я бы принес.

Такие разговоры слышатся за стеной целый день.

Мои квартирные хозяева, ссыльнокаторжные Пищиковы, — преинтересная парочка.

Он — Отелло. В некотором роде даже литературная знаменитость. Герой рассказа Г. И. Успенского «Один на один». Преступник-палач, о котором говорила вся Россия.

Его дело — отголосок последней войны. Его жертва была, как и многие в то время, влюблена в пленного турка. Он, ее давнишний друг, добровольно принял на себя из дружбы роль postilion d'amour[11]. Носил записки, помогал сближению. Мало-помалу они на этой почве сблизились,

---

[11] Примечания: 11
Любовного посланника *(фр.)*.

больше узнали друг друга… Он полюбил ту, которой помогал пользоваться любовью другого. Она полюбила его. Турок был забыт — уехал к себе на родину. Они повенчались, лет шесть прожили мирно и счастливо. Он был уже отцом четверых детей. Она готовилась вскоре подарить ему пятого.

Как вдруг в нем проснулась ревность к прошлому.

Этот турок, мимолетный гость ее сердца, забытый, исчезнувший с горизонта, — призраком встал между ними.

Мысль о том, что она делила свои ласки с другим, терзала, мучила, жгла его душу.

Ужасные, мучительные подозрения вставали в расстроенном воображении.

Подозрение, что она любит «того». Что, лаская его, она думает о другом.

Что дети — его дети — рождены с мыслью о другом.

Эта страшная, эта патологическая душевная драма закончилась страшной же казнью «виновной».

Пищиков привязал свою жену к кровати и засек ее нагайкой до смерти. Мучился сам и наслаждался ее мучениями. Истязание длилось

несколько часов… А она… Она целовала в это время его руки.

Любила ли она его так, что даже муки готова была принять от него с благодарностью? Или прощение себе молила в эти страшные минуты — прощение за те душевные пытки, невольной виновницей которых была она…

Таков он — Пищиков. Он осужден в вечную каторгу, но, за скидкой по манифестам, ему осталось теперь четыре года.

Она — теперешняя жена Пищикова — тоже «вдова по собственной вине».

Ее процесс, хоть не столь громкий, обошел в свое время все газеты.

Она — бывшая актриса, убила своего мужа, полковника, вместе с другом дома, и спрятала в укромном месте. Труп был найден, преступление раскрыто, ей пришлось идти в каторгу на долгий срок.

Шаронихе, как ее звали на каторге, пришлось вытерпеть немалую борьбу, прежде чем удалось отстоять свою независимость, спастись от общей участи всех ссыльнокаторжных женщин.

Первым долгом на Сахалине ее, бойкую, неглупую, довольно интеллигентную женщину, облюбовал один из сахалинских чиновников и

взял к себе в «кухарки», — со всеми правами и преимуществами, на Сахалине в таких случаях кухаркам предоставляемыми.

Но Шарониха сразу запротестовала:

— Или «кухаркой», или «сударкой», — а смешивать два эти ремесла есть тьма охотниц, — я не из их числа.

И протестовала так громко, энергично, настойчиво, что ее пришлось оставить в покое.

Тут она познакомилась с Пищиковым; они полюбили друг друга — и пара убийц повенчалась.

Пара убийц… Как странно звучит это название, когда приходится говорить об этой милой, бесконечно симпатичной, душа в душу живущей, славной парочке.

Их прошлое кажется клеветой на них.

— Не может этого быть! Не может быть, чтобы этот нежный супруг, который двух слов не может сказать жене, чтобы не прибавить третьего — ласкового, чтобы он мог быть палачом. Не может быть, чтобы эти вечно работающие, честные, трудовые руки были обагрены убийством мужа!

Крепко схватившись друг за друга, они выплыли в этом океане грязи, который зовется каторгой, выплыли и спасли друг друга.

Не отсюда ли эта взаимная, трогательная неж-

ность?

Он служил смотрителем маяка и в канцелярии начальника округа — он правая рука начальника, знает и отлично, добросовестно, старательно ведет все дела.

Он, как я уже говорил, добрый, славный муж, удивительно кроткий, находящийся даже немножко под башмаком у своей энергичной жены.

Ничто не напоминает в нем прежнего Отелло, Отелло-палача.

Только раз в нем проснулась старая болезнь — ревность.

Его жена до сих пор вспоминает об этом с ужасом.

Он достал бритву, наточил, заперся и… сбрил свою огромную, окладистую бороду и усы.

«Страшно было взглянуть на него!»

— И не подходи ко мне после этого! — объявила госпожа Пищикова.

Он долго просил прощения и ходил с виноватым видом. Больше он уже не ревновал.

Она… Нет минуты, когда бы она не была чем-нибудь занята. То солит сельди, то делает на продажу искусственные цветы, работает в своем отличном, прямо образцовом огороде, шьет пла-

тья корсаковской «интеллигенции».

И берет… один рубль «за фасон».

— Что так дешево? — изумился я. — Да ведь это даром! Вы бы хоть два!

Она даже замахала в испуге руками:

— Что вы? Что вы?! Ведь ему осталось еще четыре года каторги. Четыре года над ним всё могут сделать! На меня рассердятся, а на нем выместят. Нет! Нет! Что вы?! Что вы?!

Надо видеть, как говорит о своем муже эта женщина, слышать, как дрожит ее голос, когда она вспоминает, что ему осталось еще четыре года каторги… сколько любви, тревоги, боязни за любимого человека слышится в ее голосе.

Я познакомился с ней еще на пароходе. Она возвращалась из Владивостока, где ей делали трудную операцию, опасную для жизни.

Едва корсаковский катер пристал к пароходу, на трап первым взбежал мужчина с огромной бородой — ее муж.

Они буквально замерли в объятиях друг друга. Несколько минут стояли так.

— Милый!

— Дорогая! — слышалось сквозь тихие всхлипывания.

У обоих ручьем текли слезы.

Вспоминают ли они о прошлом?

И он и она время от времени запивают.

Может быть, это дань, которую они платят совести?

Совесть ведь «берет» и водкой…

Гребенюк и его хозяйство

Бродя по Корсаковской «слободке», вы непременно обратите внимание на маленький домик, удивительно чистенький, аккуратно сделанный, щеголеватый: имеется даже терраса.

Во дворе этого дома вы вечно увидите кого-нибудь за работой.

Или пожилая женщина задает корм «чушкам», или высокий, сгорбленный, болезненного вида мужик что-нибудь рубит, строгает, пилит.

Пол, как стол, — чистоты невероятной. От двери к лавке положена дорожка.

На окнах — пышно разрослась герань.

Стены, потолок — все это тщательно выскоблено, вычищено, выстрогано.

Каждое выстроганное бревнышко по карнизу обведено бордюрчиком.

В этом маленьком домике я провел несколько хороших часов. Здесь я отдыхал душой от «сахалинского смрада», от сахалинского бездомовья, повального разорения, каторжной оголтелости. Здесь дышалось легко. От всего веяло трудом, любовью к труду, маленьким, скромным достатком.

Когда вы не знаете, куда в этом вылощенном

домике деть окурок, Гребенюк идет к резному ящику и бережно, словно драгоценность какую-то, не без гордости несет оттуда фаянсовую пепельницу.

— У нас и это есть. Сам-то я не занимаюсь — ну а придет кто, все-таки надоть!

К своему дому, к своему хозяйству Гребенюк относится чрезвычайно любовно.

— Ведь я здесь каждое бревнышко по имени-отчеству знаю! — с доброй улыбкой, с какой-то прямо нежностью оглядывается он кругом. — Каждое сам в тайге выискал, вырубил, своими руками сюда притащил. Сам каждое прилаживал — по праздникам, а то в обеденное время бегал сюда — работал.

И вы видите, что ему действительно знакомо и дорого каждое бревнышко. С каждым соединено воспоминание о том, как он, Гребенюк, «человеком делался».

Гребенюк — мастер на все руки и работает от зари до зари не покладая рук!

Он и цирюльник, и плотник, и столяр — всему этому выучился в каторге, — имеет огород, разводит «чушек».

— Курей тоже много есть. Баба за ними ходит. Овец две пары.

Гребенюк еще каторжный. За хорошее поведение ему разрешено жить вне тюрьмы, на вольной квартире. На тюрьму он «исполняет урок»: столярничает несколько часов в сутки, а остальное время работает на себя.

— Скоро и каторге конец: на двадцать я был осужден: с манифестами да с сокращениями — через четыре месяца, и совсем конец. Выйду в поселенцы, тогда уж только на свой дом стану работать.

Не в пример прочим, Гребенюку «выдана сожительница», несмотря на то что он еще каторжный и на такую роскошь не имеет права.

Пожилая женщина пришла «за мужа», то есть за убийство мужа; она гораздо старше Гребенюка, некрасивая.

— Ну да я ее уважаю, и она меня уважает. Хорошо живем, нечего Бога гневить!

Это действительно сожительство, скорее основанное на взаимном уважении, чем на чем-нибудь другом. Гребенюк ее взял за старательность, за хозяйственность. Она в работе не уступает самому Гребенюку.

Гребенюк попал в каторгу «со службы».

— По подозрению осужден? — задал я ему обычный сахалинский вопрос.

Гребенюк помолчал, подумал.

— Нет, уж если вы, барин, так до всего доходите, так вам правду нужно говорить. За убийство я пришел. Барина мы убили… С денщиком мы его порешили.

— С целью грабежа?

— Нет. Из-за лютости. Лют был покойник — ах как лют! Бил так — у меня и до сих пор его побои болят. Нутро все отшиб — так бил. За кучера я у него был, лошади у него хорошие были. В ногах я у него сколько раз валялся, сапоги целовал: «Отпустите вы меня, барин, ежели я такой дурной и никак на вас угодить не могу». — «Разве я, — говорит, — тебя держу? Тебя лошади держат». От природы у меня эта склонность была — за лошадьми ходить. Лошади у меня завсегда в порядке были… Да шибко вот бил, покойник! И теперь вспомнить — мутит. Тяжко!

Было это в восемьдесят пятом году, двадцать девятого сентября, в городе Меджибоже Подольской губернии, — может, изволите знать? Барин был с денщиком в Киеве, а я при лошадях оставался. Приезжает барин домой и сейчас в конюшню. Заместо того, чтобы как следует сказать «Здравствуй, мол, дьявол!» или что, — прямо на меня. «Это что, — говорит, — ты мне, подлец этакий,

над лошадьми сделал? А? Совсем худые стоят лошади! Что над ними, подлая твоя душа, сделал?» А у лошадей без его мыт был. Я ему докладаю: «Помилуйте, барин, лошади мытились, оттого и с тела спали. Я вам об этом, сами изволите знать, телеграмму бил!» — «Врешь, — кричит, — подлец! Овес крал!» Да меня наотмашь. А у меня в те поры ухо шибко болело. Я это ладонью ухо-то закрываю, а он нет чтобы по другому бить, — а руку мою отдирает, и все по больному-то, по больному. Свету не взвидел. Вижу, нет моей моченьки жить. Я и говорю денщику: «Беспременно нам его убить надо. Потому либо нам, либо ему, а кому-нибудь да не жить». А он мне: «Я и сам об этом тебе сказать хотел». Так и сговорились. В тот же вечер и кончили.

Гребенюк помолчал, собрался с воспоминаниями.

— Было так часов в одиннадцать. Я на кухне сидел, ждал. А денщик к нему пошел посмотреть, «спит ли, нет ли?». Приходит, говорит: «Можно, спит!» Выпили мы бутылку наливки для куражу — денщик с вечера припас, — разулись, чтобы не слыхать было, и пошли… В спальне у него завсегда ночник так вот горел, а так он лежал. Не видать. Руки у него на грудях. Спит. «Валяй,

мол». Кинулись мы к нему. Денщик-то, Царенко, его сгрудил, а я петлю на шею захлестнул да и удавил.

— Сразу?

— В один то есть момент. И помучить его не удалось, — в голосе Гребенюка послышалась злобная дрожь, — и помучить не удалось, потому за стеной тоже барин спал, услыхать мог, проснуться.

— Что же, он-то проснулся?

— Так точно, в этот самый момент проснулся, как его сгрудили. Только голоса подать не успел. Руку это у Царенки вырвал, да к стенке — на стенке у него револьвер, шашка, кинжалы висели, ружье. Да Царенко его за руку поймал, руку отвел. А я уж успел петлю сдавить. Посмотрел только он на меня… Так мы его и кончили.

Гребенюк перевел дух.

— Кончили. «Теперь, мол, концы прятать надоть». Одели мы его, мертвого, как следовать, пальто, сапоги с калошами, шапку — да на речку под мостом и бросили. «Дорогой, дескать, кто прикончил». Вернулись домой. «Теперича, — говорит Царенко, — давай деньги искать. Деньги у него должны быть. Что им так-то? А нам годятся». Я: «Что ты, что ты? Нешто затем делали?» — «Ну, — говорит, — ты как хошь, а я возьму». Взял

он денег там сколько мог, за печкой спрятал чемодан с вещами, рубахи там были новые, тонкого полотна, — к бабе к одной и поволок. Баба у него была знакомая. Через это мы и «засыпались»... У бабы-то у этой в ту пору еще другой знакомый был, тоже у другого барина служил. Он и видел, как Царенко вещи приносил. Как потом, на другой день, нашли нашего покойника, ему и вдомек, — то-то, мол, Царенко вещи приносил. Пошел об этом слух. Дошло до начальства, Царенку и взяли. Он от всего отперся: «Знать, мол, ничего не знаю, задушил Гребенюк где-то под мостом, а пришел, не велел никому сказывать и чемодан сказал отнести, спрятать. Я с испугу и послушался». Взяли тут и меня. Я долго не в сознании был: «Знать, мол, ничего не знаю». А потом взял да все и рассказал.

— Совесть, что ли, мучила?

— Нет, зачем совесть! Зло больно взяло. Сидим мы с Царенкой на абвахте по темным карцерам. Часовой тут — хоть и запрещено, а разговаривает. Свой же брат, жалеет. Слышу я, Царенко ему говорит: «Вот, — говорит, — должен через подлеца теперь сидеть, безвинный». Так меня от этого слова за сердце взяло — я и вскричал: «Ведите, — говорю, — меня к следователю, всю правду

открыть желаю». Повели меня к следователю — я все как есть и объявил, как было: как душили, как уговор был, где Царенко деньги сховал. Ему присудили на вечную, а мне дали двадцать лет. Так вот и живу.

— Тяжело, поди?

— Тружусь, пока в силах. Вы обо мне у кого угодно спросите, вам всякий скажет. Десять лет, одиннадцатый здесь живу — обо мне слова никто не скажет. Не только в карцере или под розгами — пальцем меня ни один надзиратель не тронул. При каких смотрителях работал! Ярцев тут был, царство ему небесное. Лютый человек был. Недраного арестанта видеть не мог. А и тот меня не только что пальцем не тронул — слова мне грубого никогда не сказал. Трудился, работал, делал, что велят, из кожи вон лез. Бывало, другие после обеда спать — а я топор за пояс, — да сюда: постукиваю, домишко лажу… Ничего, хорошо прожил. Здоровье вот точно худо стало, надорвался.

Гребенюк и вид имеет надорванный — с виду он худой, куда старше своих лет.

— Ну а насчет прошлого как?.. Жалко тебе бывает его, того, что убили? Не раскаиваешься?

— Жалко?.. Вот вам, барин, что скажу. Как хо-

тите, так уж и судите: хороший я человек или негодный. А только я вам по совести должен сказать, как перед Истинным. Вот встань он из могилы, сюда приди, — я бы его опять задушил. Десять раз бы ожил — десять бы раз задушил! Каторга! Вам тут будут говорить, что трудно да тяжко, — не верьте им, барин. Врут всё, подлецы! Они настоящей-то каторги не видели. Здесь я десять лет прожил — что! Там вот три года — вот это была каторга так каторга! Здесь я только и свет увидел!

— Постой, постой! Да ведь и здесь тяжкие наказания были!

— Да ведь за дело. Оно, конечно, иной раз и безо всякого дела, понапрасну. Да ведь это когда случится?! В месяц раз… А там день-деньской роздыху не знал. Ночи не спал, плакал, глаза вот как опухли. Вы не верьте, барин, им: они горя настоящего не видели. Потому так и говорят.

И в словах, и в лице Гребенюка, когда он говорит о своей жертве, столько злобы, столько ненависти к этому мертвецу, — словно не двенадцать лет с тех пор прошло, а все это происходило вчера.

Тяжела вина Гребенюка, слов нет, тяжко совершенное им преступление, возмутительно его

сожаление о том, что «не удалось помучить», — но ведь и довести же нужно было этого тихого, смирного человека до такого озлобления.

Я спросил как-то у Гребенюка о Царенке: где тот?

— В Александровке. Говорят, шибко худо живет. Пьет. Убить всё меня собирался, зачем выдал. Пусть его!

Паклин

Из моей записной книжки

Убийца и поэт. Беспощадный грабитель и нежный отец. Преступник и человек, глубоко презирающий преступление. Из таких противоречий создан Паклин.

Я получил записку:

«Достопочтеннейший господин писатель! Простите мою смелость, что я посылаю Вам свои писанья. Может быть, найдется хоть одно слово, для Вас полезное. А ежели нет — прикажите Вашему слуге выкинуть все это в печку. Я жилец здесь не новый, знаю все вдоль и поперек и рад буду служить Вам, в чем могу. Чего не сумею написать пером, то на словах срублю, как топором. Еще раз прошу простить мою смелость, но я душою запорожец, трусом не бывал и слыхал пословицу, что смелость города берет. Еще душевно прошу Вас, не подумайте, что это делается с целью, чтобы получить на кусок сахару. Нет, я бы был в триста раз больше награжден, если бы оказалось хоть одно словцо для вас полезным. Быть может, когда-нибудь дорогие сердцу очи

родных взглянули бы на мои строки, — хоть и не знали бы они, что строки эти писаны мной. *Тимофей Паклин*».

В кухне дожидался ответа невысокий, плотный, коренастый рыжий человек.

Он казался смущенным и был красен — только серые холодные глаза смотрели спокойно, смело, отливали сталью.

— Это вы принесли записку от Паклина?

— Точно так, я! — с сильным заиканием отвечал он.

— Почему же Паклин сам не зашел?

— Не знал, захотите ли вы принять каторжного.

— Скажите ему, чтоб зашел сам.

Он помолчал.

— Я и есть Паклин.

— Зачем же вы мне тогда сразу не сказали, что вы Паклин? — спросил я его потом.

— Боялся получить оскорбление… Не знал, захотите ли вы еще и говорить с убийцей.

«Паклин» — это его не настоящая фамилия. Это его nom de la guerre[12], фамилия, под которой он совершал преступления, судился в Ростове за

---

[12] Примечания: 12
Псевдоним *(фр.)*.

убийство архимандрита.

Зверское убийство, наделавшее в свое время много шума.

Передо мной стояла в некотором роде «знаменитость».

Тот, кто называет себя Паклиным, — родом казак и очень гордится этим.

По натуре это один из тех, которых называют «врожденными убийцами».

Он с детства любил опасность, борьбу.

— Не было выше для меня удовольствия, как вскочить на молодого, необъезженного коня и лететь на нем; вот-вот сломаю голову и себе, и ему. И себя, и его измучаю, — а на душе так хорошо.

Самоучкой выучившись читать, Паклин читал только те книги, где описываются опасность, борьба, смерть.

— Больше же всего любил я читать про разбойников.

Свою преступную карьеру Паклин начал двумя убийствами.

Убил товарища «из-за любви». Они были влюблены в одну и ту же девушку.

Свое участие в убийстве ему удалось скрыть — но по станице пошел слух, и однажды в ссоре кто-то из парней сказал ему:

— Да ты что? Я ведь тебе не такой-то! Меня, брат, не убьешь из-за угла, как подлец!

— Я не стерпел обиды, — говорит Паклин, — ночью заседлал коня, взял оружие. Убил обидчика и уехал из станицы, чтоб срам не делать родным.

Он пустился «бродяжить» и тут-то приобрел себе фамилию Паклин.

Его взяла к себе вместо без вести пропавшего сына одна старушка.

Он увез ее в другой город и там поселился с нею.

— Я ее уважал, все равно как родную мать. Заботился об ней, денег всегда давал, чтобы нужды ни в чем не терпела…

— Где ж она теперь?

— Не знаю. Пока в силах был — заботился. А теперь — мое дело сторона. Пусть живет как знает. Жива — слава богу, умерла — пора уж. Деньжонки, которые были взяты из дома при бегстве, иссякли. Тут-то мне все больше и больше и начало представляться: займусь-ка грабежом. В книжках читал я, как хорошо да богато живут разбойники. Думаю, чего бы и мне? Досада меня брала: живут люди в свое удовольствие, а я как собака какая…

В это время от Паклина веяло каким-то своеоб-

разным Карлом Моором.

— Я у бедных никогда ни копейки не брал. Сам, случалось, даже помогал бедным. Бедняков я не обижал. А у тех, кто сами других обижают, брал — и помногу, случалось, брал.

Паклин, впрочем, и не думает себя оправдывать. Он даже иначе и не называет себя в разговоре как «негодяем». Но говорит обо всем этом так спокойно и просто, как будто речь идет о ком-нибудь другом.

Как у большинства настоящих, врожденных преступников — женщина в жизни Паклина не играла особой роли.

Он любил «ими развлекаться», бросал на них деньги и менял беспрестанно.

Он грабил, прокучивал деньги, ездил по разным городам и в это время намечал новую жертву. Под его руководством работала целая шайка.

Временами на него нападала тоска.

Хотелось бросить все, сорвать куш да и удрать куда-нибудь в Америку.

Тогда он неделями запирался от своих и все читал, без конца читал лубочные «разбойничьи» книги.

— И бросил бы все и ушел бы в новые земли искать счастья, да уж больно был зол я в то время.

Паклин уж получил известность в Ростовском округе и на Северном Кавказе.

В Екатеринодаре его судили сразу по семи делам, но по всем оправдали.

— Правду вам сказать: мои же подставные свидетели меня и оправдали. По всем делам доказали, будто я в это время в других местах был.

За Паклиным гонялась полиция. Паклин был неуловим и неуязвим. Одного его имени боялись.

— Где бы что ни случилось, все на меня валили: «этого негодяя рук дело». И чем больше про меня говорили, тем больше я злобился. «Говорите так про меня — так пусть хоть правда будет». Ожесточился я. И чем хуже про меня молва шла, тем хуже я становился. Отнять — прямо удовольствие доставляло.

Специальностью Паклина были ночные грабежи.

— Особенно я любил иметь дело с образованными людьми: с купцами, со священниками. Тот сразу понимает, с кем имеет дело. Ни шума, ни скандала. Сам укажет, где лежат деньги. Жизнь-то дороже! Возьмешь, бывало, да еще извинишься на прощанье, что побеспокоил! — с жесткой, холодной, иронической улыбкой говорил Паклин.

— А случалось, что и не сразу отдавали деньги? Приходилось к жестокостям прибегать?

— Со всячинкой бывало! — нехотя отвечает он.

Нахичеванский архимандрит оказался, по словам Паклина, человеком «непонятливым».

Он отзывается о своей жертве с насмешкой и презрением.

— «На кого, — говорит, — вы руку поднимаете! Кого убивать хотите?» Тоже — обет нестяжания дал, а у самого денег куры не клюют.

— Как зашли мы к нему с товарищем — заранее уж высмотрели все ходы и выходы, — испугался старик, затрясся. Крикнуть хотел — товарищ его за глотку держит. Как отпустит, он кричать хочет. С час я его уговаривал: «Не кричите лучше, не доводите нас до преступления, покажите просто, где у вас деньги...» Нет, так и не мог уговорить. «Режь!» — сказал я товарищу. Тот его ножом по горлу. Сразу! Крови что вышло...

Рассказывая это, Паклин смотрит куда-то в сторону. На его неприятном, покрытом веснушками лице пятнами выступает и пропадает румянец, губы искривились в неестественную, натянутую улыбку. Он весь поеживается, потирает руки, заикается сильнее обыкновенного.

На него тяжело смотреть.

Наступает длинная, тяжелая пауза.

Их судили вчетвером; двоих невиновных Паклин выгородил из дела.

— Об этом и своего защитника просил, чтоб только их выгораживал. А обо мне не беспокоился. Не хотел я, чтобы невиновные из-за меня шли. Молодец он, постарался!

Перед судом Паклин одиннадцать месяцев высидел в одиночном заключении, досиделся до галлюцинаций, но «духа не потерял».

Когда любимый всей тюрьмой, добрый и гуманный врач ростовской тюрьмы господин К. не поладил с тюремной администрацией и должен был уйти, Паклин поднес ему икону, приобретенную арестантами по подписке.

— В газетах тогда об этом было!

— Еще один вопрос, Паклин, — спросил я его на прощанье. — Скажите, вы верите в Бога?

— В Бога? Нет. Всякий за себя.

На каторге Паклин вел себя с первого взгляда престранно. Нес самую тяжкую, «двойную», так сказать, «каторгу». И по собственному желанию.

— Полоумный он какой-то! — рассказывал мне один из корсаковских чиновников, хорошо знающий историю Паклина. — Парень он трудовой, примерный, ему никто слова грубого за все вре-

мя не сказал. К тому же он столяр хороший — в тюрьме сидя, научился, мог бы отлично здесь, в мастерской, работать, жить припеваючи. А он «не хочу», Христом Богом молил, чтобы его в сторожа в глушь, на Охотский берег послали. Туда, за наказанье, самых отъявленных посылают. Там по полгода живого человека не видишь, одичать можно. Тяжелей каторги нет! А он сам просился. Так там в одиночестве и жил.

— Почему это? — спросил я у Паклина.

— Обиды боялся. Здесь — ни за что ни про что накажут. Ну а я бы тогда простого удара не стерпел, не то что розги, скажем. От греха, себя зная, и просился. Гордый я тогда был.

— Ну а теперь?

— Теперь, — Паклин махнул рукой, — теперь куда уж я! Затрещину кто даст — я бежать без оглядки. Оно, быть может, я бы и расплатился, да о детях сейчас же вспомню. Сожительница ведь теперь у меня, за хорошее поведение, хоть я и каторжный, дали. Детей двое. Меня ругают — а я о детях все думаю. Меня пуще — а я о детях все пуще думаю! — Паклин рассмеялся. — С меня все как с гуся вода. Бейте — не пикну… Чудная эта штука! Вот что в нем, кажись, а пискнет — словно самому больно!

И в тоне Паклина послышалось искреннее изумление.

Словно этот человек удивлялся пробуждению в нем обыкновенных человеческих чувств.

* * *

Я был у Паклина в гостях.

У него дом — лучший во всем посту. Чистота — невероятная.

Его жена, молодая красивая бабенка, так называемая скопческая «богородица»[13], присланная на Сахалин за оскопление чуть не десятка женщин.

Каких-каких только пар не сводит вместе судьба на Сахалине!

Паклин живет с нею, что называется, душа в душу. На всякий лишний грош покупает или ей обнову, или детям гостинца.

Своих двоих крошечных бутузов он показывал мне с нежностью и гордостью отца.

— Вот какие клопы в доме завелись.

В другом месте, говоря о «поэтах-убийцах», я приведу стихи Паклина, не особенно важные, но

---

[13] Примечания: 13

Этих девушек не скопят; на их обязанности лежит только совлекать в секту других.

любопытные.

Он имеет небольшое представление о стихосложении. Но в его неправильных стихах, грустных, элегических, много чувства… и даже сентиментальности…

Его записки о дикарях-аинцах, которых он наблюдал, живя сторожем на Охотском берегу, показывают в нем много наблюдательности, умения подмечать все наиболее типичное.

Специальность Паклина — работа шкатулок, которые он делает очень хорошо.

Я хотел купить у него одну.

Но Паклин воспротивился изо всех сил:

— Нет-нет, барин, ни за что. Даром вы не возьмете, а продать — вы подумаете, что я и знакомство с вами свел, чтобы шкатулку вам продать. Не желаю!

— Скажите, Паклин, — спросил я, когда он провожал меня с крыльца, — для чего вам понадобилось знакомиться со мной? Почему вам хочется, чтобы о вас написали?

— Для чего?

Паклин грустно улыбнулся.

— Да вот, если человека взять да живым в землю закопать. В подземелье какое, что ли. Хочется ему оттуда голос подать или нет? «Жив, мол, я

все-таки...»

Поселенцы

— К вам там поселенцы пришли! — в смущении, почти в ужасе, объявила квартирная хозяйка.

— Так нельзя ли их сюда?

— Что вы! Куда тут! Вы только взгляните — что их!

Выхожу на крыльцо. Толпа поселенцев — человек в двести, — как один человек, снимают шапки.

— Ваше высокоблагородие! Явите начальническую милость…

— Что вам?

— Насчет пайков мы! Способов никаких нет…

— Стойте, стойте, братцы! Да вы за кого меня принимаете? Я ведь не начальство!

— Точно так! Известно нам, что вы писатель… Так уж будьте такие добрые, напишите там, кому следовает… Способов нет. Голодом мрем! Пришли сюда с поселений, думали работишку найти, — все подрядчики японцами работают! Пайков не дают, на материк на заработки не пущают. Помирай тут на Сакалине! Что же нам теперь делать?

— А сельское хозяйство?

— Какое ж, ваше высокоблагородие, наше хозяйство! Не то что сеять, есть нечего. У кого были семена — съели. Скота не дают. Смерть подходит!

— Барин! Господин! Вашескобродие! — протискивается сквозь толпу невзрачный мужичишка.

Мужичишка — тип загулявшего мастерового. Хоть сейчас пиши с него «Камаринского мужика»: «борода его всклокочена, вся дешевкою подмочена». Красная рубаха от ветра надулась парусом, полы сюртучишка так ходуном и ходят.

Голос у мужичишки пронзительный, с пьяной слезой, из самых недр его пьяной души рвущийся.

Первым долгом он зачем-то изо всей силы кидает об пол картуз.

— Господин! Ваше сиятельство! Дозвольте, я вам все разъясню как по нотам! Ваше сиятельство! Господин благодетель! Это они все правильно! Как перед Господом говорю: правильно! Потому способов нет! Сейчас это приходит ко мне, к примеру скажем, он: «Мосей Левонтич, способов нет». Я ему: «Пей, ешь, спасай свою душу!» Потому я для всякого… Правильно я говорю ай нет? — вдруг с каким-то ожесточением обращается он к толпе:

— Правильно аль нет? Что ж вы, черти, молчите?

— Оно действительно… Оно конечно! — нехотя отвечает толпа. — Ты про дело-то, про дело.

— Потому я для всякого! На свои, на кровные! Вон они кровные-то! — Мужичинишка разжимает кулак, в котором зажато семь копеек. — Вон они! Обидно!

Мосей Левонтич бьет себя кулаком в грудь. В голосе его все сильнее и сильнее дрожит слеза.

— Правильно я говорю ай нет? Что же вы молчите? Я за вас, чертей, говорю, стараюсь, а вы молчите!

— Оно конечно… Оно верно… Да ты про дело-то, про дело! — уже с тоской отвечает толпа.

Но Мосей Левонтич вошел в раж, ничего не слышит и не слушает.

— Какой есть на свете человек Мосей Левонтич?! Сейчас мне поселений смотритель лично известен. Призывает: «Можешь, Мосей Левонтич, бюсту для сада сделать?» Так точно, могу, потому я скульптор природный. Природный!

«Природный скульптор» начинает опять усиленно колотить себя в грудь и утирает слезы.

— Не какой-нибудь, а природный! Из Россеи еще скульптор. «Можешь?» — «Могу». — «На тебе

две записки на спирт». Обидно! Что я с ними, с записками-то, делать буду? Куда денусь. Ежели у всякого свои записки есть? Правильно я говорю ай нет? Что вы, черти…

— Ну, слушай! — перебиваю я его, видя, что красноречию «скульптора» конца не будет. — Я вижу, что ты человек серьезный. Мы с тобой в другой раз поговорим. А теперь дай мне с народом покончить. Поотодвиньте-ка его, братцы.

Десяток рук берется за природного, но огорченного скульптора, — и его тщедушная фигурка исчезает в толпе.

Положение тягостное.

— Что ж я для вас могу сделать? Я ничего не могу.

— Так! — уныло говорит толпа. — К кому ни пойдешь, все ничего не могут! Кто ж может-то? Делать-то теперь что же?

— Этак в тюрьме лучше!.. Куда! Не в пример!.. Там хошь работа, да зато корм!.. А здесь ни работы, ни корма. Что ж теперь делать? Одно остается: убивать, грабить! Пущай опять в тюрьму забирают. Там хошь кормить будут! Больше и делать нечего: хватил кого ни попадя! — раздаются озлобленные голоса.

Тут-то мне в первый раз пришел в голову афо-

ризм.

— Каторга начинается тогда, когда она кончается, — с выходом на поселение.

Афоризм, который повсюду на Сахалине имел одинаковый успех, где я что ни говорил.

— Это действительно. Это правильно. Это слово верное! — говорили каторжане и поселенцы. — Это истинно, так точно!

— Совершенно, совершенно справедливо! Именно, именно так! — подтверждали в один голос чиновники.

И даже те, кому, казалось бы, следовало именно заботиться, чтобы это было не так, — и те только вздыхали.

— Вы это напишите! Непременно напишите. Это правда, глубокая правда. Ужас, ужас!

Сожительница

Что за фантастическая картина! Где, когда по всей России вы увидите что-нибудь подобное?

— Бог в помощь, дядя!

— Покорнейше благодарствуем, ваше высокородие! Ты бы привстала — видишь, барин идет! — говорит мужик, вытаскивающий из печи только что испеченный хлеб, в то время как баба, развалясь, лежит на кровати.

Баба нехотя начинает подниматься.

— Ничего, ничего! Лежи, милая. Больна у тебя хозяйка-то?

— Зачем больна? — недовольно отзывается баба, снова принявшая прежнее положение. — Слава те господи!

— Что ж лежишь-то? Нескладно оно как-то выходит. Мужик и вдруг бабьим делом занимается: стряпает.

— Ништо ему! Чай, руки-то у него не отвалятся. Свои — некупленные. Пущай потрудится!

— Да ведь срам! Ты бы встала, поработала!

— Пущай ее, ваше высокоблагородие! Баба! — извиняющимся тоном говорит мужик, видимо в течение всей этой беседы чувствующий себя

ужасно сконфуженным.

— Больно мне надоть! Дома поработала — будет. Дома, в Рассее, работала, да и здесь еще стану работать! Эка невидаль! Может, и он мне потрафит. А не желает, кланяться не буду. Меня вон надзиратель к себе в сожительницы зовет. Их, таких-то, много. Взяла — да к любому пошла!

Баба — костромичка, выговор сильно на «о», говорит необычайно нахально, с каким-то необыкновенно наглым апломбом.

— Но-но! Ты не очень-то! Разговорилась! — робко, видимо только для соблюдения приличия, осаживает ее поселенец. — Помолчала бы!

— Хочу и говорю. А не ндравится — хоть сейчас, с полным моим удовольствием! Взяла фартук и пошла. Много вас таких-то безрубашечных! Ищи себе другую — молчальницу!

— Тьфу ты! Веред-баба, — конфузливо улыбается мужик, — прямо веред.

— А веред — так и сойти веред может. Сказала — недолго.

— Да будет же тебе. Сло́ва сказать нельзя. Ну тебя!

— А ты не запряг, так и не нукай! Я тебе не лошадь, да и ты мне не извозчик!

— Тьфу ты!

— Не плюй. Проплюешься. Вот погляжу, как ты плеваться будешь, когда к надзирателю жить пойду…

— Ты какого, матушка, сплава? — обращаюсь я к ней, чтобы прекратить эту нелепую сцену.

— Пятого года[14].

— А за что пришла?

— Пришла-то за что? За что бабы приходят? За мужа.

— Что ж, сразу к этому мужику в сожительницы попала?

— Зачем сразу? Третий уж. Третьего сменяю.

— Что ж те-то, плохи, что ли, были? Не нравились?

— Известно, были бы хороши — не ушла бы. Значит, плохи были, ежели я ушла. Ихняго брата, босоногой команды, здесь сколько хошь: ешь не хочу! Штука нехитрая. Пошла к поселений смотрителю: не хочу жить с этим, назначьте к другому.

— Ну а если не назначат? Ежели в тюрьму?

— Не посадят. Не бойсь! Нашей-то сестры здесь не больно много. Их, душегубов, кажинный год табуны гонят, а нашей сестры мало. Кажный с

---

[14] Примечания: 14

95-го. Женщин присылают обыкновенно осенью.

удовольствием…

Становилось прямо невыносимо слушать эту наглую, циничную болтовню, эти издевательства опухшей от сна и лени бабы.

— Избаловал ты свою бабу! — сказал я, выходя из избы, провожавшему меня поселенцу.

— Все они здесь, ваше высокоблагородие, такие, — всё тем же извиняющимся тоном отвечал он.

— Меня баловать неча! Сама набалована! — донеслось из избы.

Я дал поселенцу рублишко.

— Покорнейше благодарствую вашей милости! — как-то необыкновенно радостно проговорил он.

— Постой! Скажи, по чистой только совести, на что этот рубль денешь? Пропьешь или бабе что купишь?

Мужик с минуту постоял в нерешительности.

— По чистой ежели совести? — засмеялся он. — По чистой совести, полтину пропью, а на полтину ей, подлой, гостинцу куплю!

* * *

Через день, через два я проходил снова по той же слободке.

Вдруг слышу — жесточайший крик.

— Батюшки, убил! Помилосердуйте, убивает, разбойник! Ой-ой-ой! Моченьки моей нет! Косточки живой не оставил! Зарежет! — пронзительно визжал на всю улицу женский голос.

Соседи нехотя вылезали из изб, глядели, «кто орет?» — махали рукой и отправлялись обратно в избу:

— Началось опять!

Вопила, сидя на завалинке, все та же опухшая от лени и сна баба.

Около стоял ее мужик и, видимо, уговаривал.

Грешный человек: я сначала подумал, что он потерял терпение и «поучил» свою сожительницу.

Но, подойдя поближе, я увидел, что тут было что-то другое.

Баба сидела, правда с растрепанными волосами, но орала спокойно, совсем равнодушно и терла кулаками совершенно сухие глаза!

Увидев меня, она замолчала, встала и ушла в избу.

— Ах ты! Веред-баба! Прямо веред! — растерянно пробормотал мужик.

— Да что ты! «Поучил», может, ее? Бил?

— Какое там! — с отчаянием проговорил он. —

Пальцем не тронул! Тронь ее, дьявола! Из-за полусапожек всё. Вынь ей да положь полусапожки. «А то, — говорит, — к надзирателю жить уйду!» Тьфу ты! Вопьется этак-то, да и ну на улицу голосить, чтобы все слышали, будто я ее тираню, и господину смотрителю поселений подтвердить могли. А где я возьму ей полусапожки, подлюге?!

Вот вам типичная, характерная, обычная сахалинская «семья».

Сожитель

— Барин! Господин! Ваше высокобродие! — слышится сзади крик.

Останавливаюсь.

Подбегает, без шапки, запыхавшийся поселенец.

Видимо, гнался за мной долго и упорно.

— Я вас по всему посту ищу, бегаю!

— Что тебе?

— Изволили давеча такую-то заходить требовать?

Он называет мне фамилию одной ссыльнокаторжной, преступление которой меня интересовало.

— Да. А что?

— Дозвольте доложить. Она теперь дома.

И он спрашивает уже, понизив голос, тоном чрезвычайно конфиденциальным:

— К вам их прикажете прислать или сами пойдете?

А на лице так и светится «полная готовность» на все услуги.

— Да ты думаешь, зачем мне?

Поселенец осклабляется во всю свою физионо-

мию: «Шутник, дескать, барин».

— Известно, зачем господа требуют!

Боже! Зачем я не художник, чтобы нарисовать в эту минуту эту подлую физиономию!

— Да ты кто ж такой ей будешь, что этакие дела за нее берешься устраивать?

— Я-то?

— Ты-то!

Поселенец чешет слегка в затылке.

— Сожитель ейный!

— Как же ты… Как тебя даже и назвать, не знаю…

— Михайлой зовут-с!

— Как же ты… Михайла ты этакий!.. Как же ты свою же собственную сожительницу, сам же…

Михайла смотрит на меня и удивленно и иронически. «Откуда, мол, такой взялся, что никаких порядков не знает?»

— Не извольте беспокоиться, — с усмешечкой говорит он, — по здешним местам это принято. Не токмо что сожительницу или жену там, дочь представляют.

И заканчивает уж совершенно серьезно:

— Жрать надо, ваше высокоблагородие… Так вам, ваше высокоблагородие, как же-с? Требуется?

Тошно становится глядеть на этого субъекта, но разговор интересный.

— Слушай, ты! Заплачу тебе все равно, не за это, а за другое: скажи мне откровенно, где была твоя сожительница давеча, когда я заходил ее спрашивать. Вот деньги.

— Покорнейше благодарствуем…

— Слышь, только откровенно!

— Это мы завсегда можем. Не извольте сумлеваться… Где ж ей быть? На фарт[15] ходила.

— Так вы и живете?

— Так и живем. Да нешто мы одни, барин? Оно вам, конечно, может, спервоначала не кажется. А поживете, обвыкнете! Так не требоваится?.. Прощения просим. На милости покорнейше благодарим. Ваши деньги фартовые. Выиграю на них — за ваше здоровьице выпью…

И, отбежав на небольшую дистанцию, он повернулся и крикнул:

— Потребуется что — кликните Михайлу.

Он назвал свою фамилию.

— Завсегда с полным моим удовольствием!

Вот вам еще не менее типичная, обычная саха-

---

[15] Примечания: 15

Фарт (от слова «фортуна») — на арестантском языке означает вообще «счастье». Фартовый — счастливый. Для женщины «отправиться на фарт» имеет особое, специальное значение.

линская «семья».

Добровольно последовавшая

Вот изба, где живет семья, добровольно последовавшая за своим поильцем-кормильцем на Сахалин.

Они прибыли почти в одно и то же время: он — весной, семья — осенью девяносто пятого года.

По сахалинским правилам его на первое время освободили от работ, «для домообзаводства».

Как и большинство таких семей, — если они приезжают с маленькими деньжонками, — они устроились сравнительно недурно.

Купили у какого-то поселенца, выехавшего на материк, избенку, завели огородишко, есть корова, разводят «чушек».

По-сахалински, это совсем «слава тебе господи».

В избе грязновато, но домовито.

Из-за ситцевых занавесей, закрывающих колоссальную постель, выглядывают детишки.

Не сахалинские, хмурые, забитые, мрачные детишки, а со светлыми льняными волосенками, веселыми, продувными глазишками.

Видно, что дети хоть по крайней мере сыты.

Хозяина нет дома, ушел в тайгу отбывать ка-

торжную работу, таскать бревна. Хозяйка дома работает и, видимо, чем-то сильно раздражена.

— Здравствуйте, хозяюшка.

— Здравствуй, добрый человек. Спасибо хоть на добром слове, что доброе слово сказал. А то здесь, окромя «подлеца» да «мерзавца», и слов других нет. Только день-деньской и слышишь: подлят да мерзавят. Живой бы в землю легла, чтобы ушеньки мои не слышали. Сторона тоже, чтобы пусто ей было. Чтобы ей, окромя святых икон, скрозь землю провалиться. Господи, прости меня, грешницу! Милости просим присесть.

— Что, тетка, ужли так Сахалином недовольна?

— Да чем тут довольной-то быть, прости господи! Этаку даль ехали. Этакое добро-то везли — деньги. Последнее добро попродали. Копленое, береженое тратишь.

В этакой-то глуши. Господи!

Баба принялась утирать слезы.

— Что ж теперь делать! Зачем ехала?

— Отчего едут? От страму, от стыда, — все в глаза тычут: «Муж каторжный, муж каторжный!» Побежишь куда глаза глядят от этакой жисти проклятой. Опять же мой душегуб с дороги пишет: больно хорошо, дом дают, лошадь, корову,

свиней — живи только! Никто, как он, подлый, чтоб мои слезы всю жизнь его окаянную, весь век отзывались, аспиду каторжному! Все он, ничего путем не узнавши, отписал. Нешто бы я, когда б знала, поехала! В этаку-то глушь! Ни тебе лета, ни тебе ведрышка, ни тебе дождичка вовремя! Господи!

— Ну, зато мужу участь облегчила. Мужу легче, как семья пришла. Святое дело!

На мою собеседницу напал прилив ярости.

— Ему-то, идолу, легче! Гнил бы, паралич его расшиби, в каторге, в тюрьме. Ему-то, аспиду, душегубу, чтоб его лихоманка трясла, чтоб на него, злодея этакого, трясучка напала, — ему-то легче? Да мы-то из-за его душегубства за что должны теперь мучиться, муку этакую терпеть?

— А за что муж попал?

— Купца, что ли, задавили. Я этими делами не займаюсь. Это мужики всё. Деньги нажить надумали. Как же, нажили — свои проживаем!.. Из-за него, из-за душегубца. Дети меня держат, дети, по рукам, по ногам вяжут. Нешто, если б не дети, стала бы я этакую муку терпеть! Быть хуже каторжницы всякой, прости господи! Чтоб тебя ниже всякой подлой ставили!

— Ну, матушка, это уж того… Кто ж тебя ниже

ставит? Напротив…

— А что ж, по-твоему, выше, что ль? Каторжной — паек, а мне — шиш с маслом. Пошла к окружному просить. «Положения, — говорит, — такого нет. На детей получай по полтора целковых, а тебе положения нет». Каторжной положение есть, а которые сами пришли — будто нетути. Она, подлая, мужа с полюбовником убила, — ей паек. А я этаку даль за душегубом шла, родных всех побросала, — мне нет ничего. Да ежели бы не дети меня вязали…

— Ну, что бы ты сделала, если бы не дети?

— На фарт бы пошла. Ужели ж на своего душегуба стала смотреть? В сожительство бы определилась. С нами вон в партии гнали каторжных. Как теперь живут — любо-дорого. Со стороны поглядеть лестно. В Рассее так чисто не ходили: полусапожки козловые, платье — кумач не кумач, ситец не ситец. Полушалок в три целковых, фартук наденет, — глаза бы не глядели. Завистно!

Она утерла слезы.

— А что сделали? Мужей на тот свет поотправляли — только и всего. А тут, прости господи, работаешь, бьешься, ровно собака какая…

Как раз в эту минуту дверь отворилась, и на

пороге появилась молоденькая сожительница, кажется слегка выпившая:

— Тетенька Арина, нет ли у вас яичек, к нам гости пришли, — верещагу[16] хошь сделать.

— Нет у меня для тебя яиц. Куры еще для тебя не снеслись!

Бабенка вильнула хвостом и выбежала.

— Шкура! — напутствовала ее Арина. — Видели ее, подлую. Верещаги захотела! В будень как жрут! Повесить бы ее мало, в землю бы, подлую, живьем закопать надо, на куски резать да не дорезывать за дело-то за ее. Как она мужа на куски изрубила! А она «верещаги». Да это ли еще! Зимой тут всем каторжным бабам работу выдали, рубахи шить. Так она, вишь ты, тварь, не может. Я ж за нее шила, нанималась, от рубахи она мне платила. От детей уходила. Я сижу, рубахи шью, а она на кровати лежит — пряник жует. Тьфу!

Это была уж высшая степень бешенства. Вся горечь, вся обида на эту разницу в судьбе с каторжной сказалась в этом плевке.

Бедная баба разразилась горькими слезами.

— Ну, муж-то все-таки хорош с тобой? Для дома старается, работает?

---

[16] Примечания: 16

Верещага — яичница.

— Работает, пес его задави! Да много ль из его работы проку-то? — отвечала баба сквозь слезы. — Ни тебе ржицы, ни тебе овсеца, одна картошка. С ей и пухни… Господи, за что такое попущение!

И слезы полились еще горче. За занавеской захныкали дети.

— Цыц вы, дьяволята, нет на вас пропасти! — крикнула баба и взялась за ухват ставить в печь корчагу.

Я распрощался и вышел.

Вот вам «героиня» каторги.

Домовладельцы

Такой дом только и можно встретить, что на Сахалине.

Дом, никому решительно не принадлежащий.

Был и у него хозяин, да ушел на материк, покупателя не нашлось, — он и бросил дом так, на произвол судьбы.

Одно время здесь жили, кажется, певчие.

Теперь это «приют для ночлега».

Даже не ночлежный дом. У ночлежного дома есть хозяин.

А здесь приходи, когда хочешь, ложись на голый пол и спи.

Чтоб пробраться к этому дому, потребовался добрый десяток минут.

— Сюда, барин! Шагайте смелей! Ничего, становитесь! — кричали мне обитатели этого дома, подбрасывая дощечки в невылазную, зловонную грязь: обитатели дома не любят ни за чем ходить далеко.

Окна все выставлены. Рам нет. Ни скамьи, ничего. Чтоб мне присесть — притащили откуда-то совместными усилиями чурку.

И вот я сижу в пустом доме на чурке, а передо

мной стоят без шапок восемь «домовладельцев».

И мы беседуем об их «владениях».

У всякого из них есть свой дом где-нибудь на поселенье. Дом, выстроенный «для правов», чтобы иметь право через пять лет получить крестьянство и уехать «на ту сторону», «на материк».

— Что ж ты не живешь в своем доме? — спрашиваю наудачу у первого попавшегося.

— Да в нем и жить нельзя! В нем, вашескобродие, ежели порядочным петуху да курице, не приведи им господь, вдвоем жить доведется, они друг друга задушат! — иронизирует он над своим «домом».

Остальные одобрительно улыбаются: и у них дома такие же.

— Зачем же ты такой строил?

— Зачем на Сакалине дома строят! Известно, для правов.

— Что ж, у тебя хозяйство, что ли, было?

— Какое, вашескобродие, хозяйство может быть? Одно слово: Сакалин! Да я, вашескобродие, позвольте вам доложить, и что с ей делают, с землей-то, не знаю. Отродясь не занимался.

— Что же, ты мастерство какое знаешь?

— Так точно. Мастерство знаю. Только мне по моему мастерству здесь делать нечего.

— Кто же ты?

— Литограф.

Литографу действительно на Сахалине, где ни одного и литографского камня-то нет, делать нечего.

— Ну а ты?

— Мы — плотники.

— Ну, плотнику легче найти работу.

— Где ж ее тут найдешь?! Поселенцу платить нечем. Сам бьется, как ни на есть сколачивает. А то у тех берет, кто на материк уезжает. А господ, на которых бы работать, у нас, сами изволите знать, нету.

— Ну а ты кто?

— Печники будем.

Опять та же песня: поселенец сам печи кладет, платить нечем, а «господ» нету.

— Ты?

— По торговой части занимался… Дозвольте вам, вашескородие, заметить, для житья прямо никаких способов нет. Питаться нечем. Казенного пайка не дают. Прекратили.

— Да ведь не может же казна вас всю вашу жизнь кормить!

— Оно, конечно, так… Справедливо изволите говорить! Только и нам без пищи жить тоже

никак невозможно.

— Зачем же вы сюда пришли, в пост?

— Работу найти думали. Как можно, все-таки — пост! Не поселье дикое.

— Ну и что ж? Нашли здесь работу?

— Нет! Какая здесь работа! На промыслах на рыбных все японцы. Вон Кармаренков господин, ему от казны вспомоществование вышло, каторжными ему и завод весь выстроили, — а он японцами работает!

— Что ж вы здесь делаете, однако? Работаете хоть что-нибудь!

— Так, придется что — работаем. Какая здесь работа.

— Так слоняетесь?

— Так слоняемся.

— Воруете?

— Что здесь у них украдешь — самим жрать нечего!

— Ну а сейчас чем занимались, как мне прийти?

— Так… говорили промеж себя…

— Врете, братцы. В карты, небось, играли? Говорите — никому не скажу!

«Домовладельцы» переглядываются и улыбаются.

— Так точно, играли.

У всей компании оказалось в общей сложности сорок восемь копеек, которые они целый день и стараются изо всех сил выиграть друг у друга.

Где они достали эти сорок восемь копеек?

Заработали?

Возможно.

Украли?

Вероятно.

Резцов

— Да есть ли наконец у вас тут хоть один зажиточный поселенец, который разжился бы на Сахалине честным трудом? — уж в отчаянии восклицал я, исходив все поселье. — А то куда ни глянь, или нищета, или если зажиточный, то нажил деньги тайной продажей водки, кулачеством, ростовщичеством, самым алчным, жестоким, бесчеловечным обиранием своего же брата! Есть ли хоть кто-нибудь, кто разжился бы трудом? Или нет таких совсем?

— Как нет? Очень немного, но попадаются. Да вот вам Резцов. Зажиточный мужик и отличный человек. Он здесь даже старостой слободским одно время был. Про него слова дурного никто не скажет. На Сахалин пришел без гроша — здесь хозяйство — дай бог всякому.

Слава тебе господи! Иду смотреть эту «гордость Сахалина».

Резцов — отличный столяр и прекрасный хозяин. У него хорошие огороды, пятнадцать штук скота — он разводит скотину и продает в казну. И главное, все это нажито действительно своим трудом и бережливостью.

Резцов пришел в каторгу на семь лет за убийство в драке, окончил поселенчество, теперь крестьянин…

Захожу в избу — чисто. Веет зажитком.

Резцов, молодой еще человек, производит странное впечатление.

Не то что больной — нет. А словно вот-вот свалится. Такие лица бывают у людей, проводящих бессонные ночи, — у людей с измученными, издерганными нервами.

— Здравствуйте, Резцов. Пришел посмотреть, как вы живете-можете.

— Милости просим, барин. Живем ничего. Бога гневить не стану. Огороды есть, работников держу троих, скотина… Вот, Бог даст, все продам, на материк поеду…

— Как на материк? Да ведь у вас и тут хозяйство идет, сами же говорите, слава богу, столярничаете.

— Ну это что! Какое здесь мастерство? Поселенцам столяр не нужен — а господа в тюрьме все себе делают задарма.

— Ну скот у вас, хозяйство.

— А бог с ним и со скотом, и с хозяйством. Только бы отсюда выбраться.

— Да почему ж, наконец?

Резцов вздохнул:

— Жить здесь страшно. Жуть, оторопь берет. Вы избу по соседству изволили видеть — заколочена? Писарь тут жил с сожительницей. Деньжонки были… Недели две тому назад произошло. Утром смотрим, что он на службу не идет. Зашли, а он мертвый, и кругом лужа крови. Зарезали. Сожительница же и подвела. Тут не токма что за деньги — за двадцать копеек друг дружку режут. Только и слухов, что там зарезали, там зарезали. Господ трогать не смеют, а своего брата — валяй, сколько влезет. Нет уж, ну ее с такой жизнью! Минуты спокойной не знаешь… Ночью — собака залает, вскочишь, оторопь берет, жутко, руки, ноги холодеют: уж не подходят ли? У меня тут как-то собака сдохла. Неделю потом не спал. Думал: отравили. А уж это примета верная: отравят собаку — значит «подойти» думают. Знают, что у меня есть деньжонки. Долго ли? Вон она, тайга-то, убежал — ищи там его. Нет уж, будет! Вот как бы не она…

Резцов указывает на еле-еле сидящую за столом сожительницу, куда старше его; баба в последних градусах чахотки.

— Ежели бы не она — минуты бы здесь не остался. Поправится немножко, продам все, за что ни

попадя, и на ту сторону. Лучше уж в бедности, чем так-то!

— Плоховата у вас хозяйка! — говорю я Резцову, когда мы выходим из избы. — Вы бы ее к доктору.

— Ходит в лазарет! — со вздохом отвечает Резцов. — Тут доктор что! Тут доктор не поможет. При ней только сказал, что, мол, «поправится»! Где!

— Да, плоховата, очень плоховата.

— Жду. Вот, может, весной этой, а не то позже осени помрет. Тогда уж распродам все и на материк. А тоже так-то бросать ее не годится. Все хоть и не жена, а сколько годов вместе жили — радостей немного, а горя-то что переделили! Пускай уж помрет. Подожду.

Не правда ли, сухостью веет от этих слов? Эх, там, где речь идет о жизни, «нет суше дерева, чем человек» — по сахалинской поговорке.

Свободные люди острова Сахалин

I

Редактор-издатель

Редко в жизни бывал я изумлен более.

На пристани, в коротеньком тулупе, с Георгием в петлице и колоссальными жгутами тюремного ведомства на плечах, стоял, громоподобно и молниеносно распоряжаясь работами… бывший редактор-издатель газеты «Голос Москвы» и многих других В. Н. Бестужев.

Вообразите себе Геркулеса, вся грудь которого, точно в кольчуге, в орденах и медалях. В медалях и орденах, пожалованных им самому себе, на ношение которых он не имел ни малейшего права. Вот вам внешность этого стихийного человека. Он сделал все кампании, какие только были за его жизнь, вступил и вышел из военной службы рядовым. В разговоре он часто упоминал:

— Когда в таком-то году я был унтер-офицером…

— Как же ты мог быть унтер-офицером, когда ты рядовой? — интересовались приятели.

— А меня потом разжаловали. — И при всей своей ноздревской натуре он в этом отношении не лгал; едва он успевал дослужиться до унтер-офицера, как моментально подвергался разжалованию за какие-нибудь безобразные деяния. Подчиненных он не мог иметь без того, чтобы не совершить над ними какого-либо возмутительного самоуправства: мордобойства или насилия.

После военной службы он занимался всем и ничего не признавал в умеренных размерах.

Был владельцем огромного имения, вводил самое усовершенствованное, самое рациональное хозяйство, — и имение самым рациональным образом вылетело в трубу.

Затем имел огромный мыловаренный и свечной завод, где мыло и свечи должны были приготовляться особенными, еще не виданными, машинами. Но мыла и свечей, приготовленных невиданными машинами, так никто и не увидел.

Далее мы видим его владельцем самой большой типографии в Москве, — типографии, в которой одновременно печатались: три ежедневные газеты, один еженедельный и один ежемесячный журнал, масса земской и частной работы.

Типография улетела туда же, куда улетело и имение вместе с мыловаренными заводами. Бестужев судился в московском окружном суде за двоеженство — тогда эти дела слушались с присяжными заседателями, — и был оправдан, хотя факт преступления был признан. Из дела выяснилось, что свою вторую жену, богатую вдову-купчиху, Бестужев прельстил, выдавая себя за камер-юнкера и несметного богача. Все состояние несчастной женщины было потом проиграно в карты и истрачено на разные аферы. Разбирательство этого громкого процесса наделало в свое время много шума в Москве. Перечислить «мелкие дела» Бестужева не было бы никакой возможности: почти еженедельно у кого-нибудь из московских мировых судей разбиралось какое-нибудь «бестужевское дело» — или по иску с него, или по обвинению его в самоуправстве, драке и насилии.

Бестужев был одновременно редактором-издателем четырех ежедневных газет[17] и издавал из них одновременно три!!!

Его литературная известность была грандиозна, но скоротечна. Он вдруг создал себе

[17] Примечания: 17

Из которых три должны были выходить в Москве, а одна — в Санкт-Петербурге.

всероссийскую известность, но в тот же момент ее и утратил.

Он в одно прекрасное утро «проснулся знаменитостью».

Bona fide[18], ничего не подозревая, напечатал в издаваемой им газете «Жизнь» пушкинскую «Пиковую даму»... за произведение какого-то начинающего литератора Ногтева. Все дальнейшие извинения и объяснения редакции ничего не прибавили к лаврам, заработанным в один день.

О газете «Жизнь» говорили все газеты!

Но это была единственная минута литературного успеха.

Бестужев в журналистике играл роль душеприказчика, «брата милосердия».

На его руках умирали газеты.

На его руках покончил свои недолгие, но многострадальные дни «Голос Москвы».

На его руках скончалась начатая господином Плевако и доконченная литературными самозванцами газета «Жизнь».

На его руках умер им же основанный «Вестник объявлений и промышленности».

На его руках замерло, не издав даже писка,

---

[18] Примечания: 18
Добросовестно *(лат.)*.

многогрешное «Эхо», купленное Бестужевым у петербургского адвоката господина Т., — знаменитого господина Т., который, защищая еще более знаменитую Луизу Филиппо, обвинявшуюся «в публичном оскорблении общественной нравственности», вынув во время речи из портфеля одну из принадлежностей ее туалета, потрясал этой шелковой «безделушкой» в воздухе и патетически восклицал:

— Неправда! Вот в чем она была в «вечер преступления». Как видите, все дело состоит только в том, что шелк не выдержал и лопнул от усиленного канкана!

По окончании литературной деятельности Бестужев сразу превратился в… станового пристава Нижегородской губернии. Собственно, живейшее его желание было принять участие в шумевшей тогда Ашиновской экспедиции. Бестужев составил уже свой собственный отряд и изумлял Москву, щеголяя в необыкновенной черкеске, увешанный оружием и с небывалыми орденами. Но знаменитый «атаман» отказался принять Бестужева к себе в есаулы.

Больно буен.

С горя бывший редактор и неудавшийся есаул и пошел в становые. В становых он не удер-

жался: «превысил» власть, натворил каких-то «насилий», и мы видим экс-редактора в роли исправника в Томске.

Затем мы его видим — вернее, мы его совсем не видим.

Из Томска, не удержавшись в исправниках и натворив каких-то «дел», он уезжает в Буэнос-Айрес с целым караваном проводников и слуг, зачем-то объезжает Аргентину.

Далее он живет в Чили, ищет счастья в Калифорнии, отбывает за что-то срок в каторжной тюрьме в Сан-Франциско, — в конце концов я встретил его на Сахалине в роли смотрителя поселений, устроителя быта отбывших наказание преступников и насадителя колонизации.

Таковы в кратких чертах жизнь и приключения этого помещика, заводчика, редактора, станового и кругосветного путешественника.

Интересна была первая фраза, которою приветствовал меня Бестужев, мой старый приятель.

— Ты? На Сахалине? — воскликнул я.

— А где ж ты думал меня встретить? — расхохотался Бестужев. — Хорошо еще, что хоть чиновником.

При всех своих недостатках он был человеком правдивым и как-то в беседе сказал мне:

— Здесь нужны лучшие люди, а кого сюда присылают?! Кто там, в России, ни к чему не пригоден! Да вот хоть меня возьми. А я, честное слово, еще не из худших.

Он действовал на Сахалине так же бурно, бестолково и не стесняясь никакими законами, как и всю свою жизнь.

Он основывал новые селения, устраивал мастерские, построил церковь, школу, дом для приезжих, — и все это без копейки денег, — «за водку». О «пользе» вообще такой экономической и экономной политики я скажу ниже, а теперь только констатирую факт, что в результате бестужевских «забот» явилось повальное и совершенное обнищание вверенных его попечениям поселенцев.

Человек «старого склада мыслей», он слыл в своем округе «крутым, но отходчивым, бестолковым барином». И я не думаю, чтобы его образ управления «вверенными душами» особенно способствовал водворению в этих «душах» какого бы то ни было представления о законности… Когда по повальному разорению поселенцев увидели, что Бестужев в устроители сельского хозяйства не годится, его сделали смотрителем Корсаковской тюрьмы. Тут, оказавшись главою

над бесправными, лишенными возможности протестовать людьми, Бестужев развернулся во всю ширь и мощь своей дикой натуры: бил, колотил, драл неистово, — что на Сахалине редкость, имел даже «неприятность» от начальства за то, что подвергал жестоким телесным наказаниям людей, заведомо больных и освобожденных от телесных наказаний. Бог весть, чем бы все это безобразие кончилось, если бы Бестужев вдруг не попал под суд. Контроль открыл бесцеремонное хозяйничание казенными деньгами. Бестужев был смещен и отдан под суд.

Надеясь, что ему удастся как-нибудь «отговориться», он поехал к генерал-губернатору в Хабаровск, но там его ждал последний удар.

Бестужев дожидался своей очереди в приемной, когда вышел чиновник особых поручений и сказал:

— Генерал приказал передать вам, что он вас не примет… Довольно! Ваше дело будет решено по закону.

Тучный Бестужев зашатался, лицо его потемнело, он упал, на губах показалась пена.

Прибежал доктор. Бестужев был мертв.

Он умер от апоплектического удара.

Так кончил свои дни этот «свободный человек

острова Сахалина».

Каторга, любящая всем давать свои прозвища, прозвала его Атаман-буря.

II

«Сахалинский Орфей»

Корсаковск — это царство селедки.

— Селедка идет!.. — Это событие для тюрьмы, поселенцев, промышленников — для всех. Это то, чем живут целый год.

Что за фантастическая картина! Что за декорация из какой-то феерии!

По морю течет молочная река.

На версту от берега вода побелела, стала молочного цвета.

А кругом, кругом!

Блещут фонтаны китов, ревут сивучи (моржи), с воплями носятся тысячи чаек.

И над всем этим царит господин Крамаренко.

«Сахалинский Орфей», променявший скрипку на селедку.

Но и скрипка не всегда была постоянным инструментом господина Крамаренко. Когда-то он играл на другом инструменте — щелкал на счетах, служа в конторе кого-то из астраханских

рыбопромышленников.

Господин Крамаренко — человек молодой годами, но «старый опытом».

В тридцать лет он успел стать конторщиком, скрипачом-виртуозом и превратиться в рыбопромышленника.

Вкусил лавра и питается селедкой.

Господин Крамаренко — астраханский мещанин. Так сказать, земляк астраханской сельди. Но этим и кончается все его родство с соленой рыбой.

По его собственному, искреннему, чистосердечному и делающему ему честь сознанию, он о селедке имеет ровно столько же понятия, сколько всякий, кому случалось видеть эту рыбу приготовленной с уксусом, маслицем, горчичкой, свеклой, лучком и картофелем.

Он знает, что селедка — великолепная и рифма, и закуска к водке.

Но на этом все его познания и кончаются.

Даже ваш покорнейший слуга — и тот оказался более опытным рыбопромышленником в сравнении с этим «сахалинским Орфеем».

— Зачем вы солите селедку только сухим способом? То есть кладете и пересыпаете солью? — спросил я. — Отчего бы вам не пускать

рыбу в готовый тузлук (рассол)? Наглотавшись тузлука, рыба лучше бы просолилась и была бы нежнее.

Господин Крамаренко посмотрел на меня во все глаза, как на человека, только что открывшего Америку.

— А ведь, знаете, это идея!!! Непременно попробую.

Хороша «идея», которая уж десятки лет применяется на практике! Об этом способе засола селедки я слышал лет шесть перед тем, на нижегородской ярмарке, от керченских рыбопромышленников.

— Да у вас что же, были свои рыбные промыслы в Астрахани?

— Нет.

— Служили вы на промыслах?

— Тоже нет. Я занимался счетоводством в конторе у купца. Ну а когда начинался ход селедки — эта ведь неделя весь год кормит, — тогда всякое счетоводство побоку: нас всех посылали на промыслы смотреть за рабочими. Тут я и видел.

Вот и всё. Вся его школа. Все его познания.

Потерпев какое-то крушение на родине, господин Крамаренко, как человек предприимчивый, забросил счеты, взял под мышку скрипку, на

которой для любителя хорошо играл, и уехал в Уссурийский край, куда в те времена тянуло многих.

Здесь он имел сразу успех. Можно сказать, весь край плясал под его скрипку.

Господин Крамаренко играл на свадьбах, на крестинах, на именинах, украшал себя фантастическими медалями экзотических владык и давал концерты в качестве «придворного виртуоза эмиров афганского, бухарского и киргиз-колпакского».

Он одинаково охотно играл Венявского, Берлиоза, польку «трам-блям», концерты Паганини и кадриль «Вьюшки», изображал при помощи смычка, как «баба голосит», и отжаривал на скрипке, как на балалайке, трепака.

Когда же все это разнообразное искусство достаточно поднадоело и ему и всему краю, господин Крамаренко уехал «концертировать» на Сахалин.

На Сахалин он попал как раз в минуту «рыбного замешательства» и даже «рыбного помешательства».

— Рыба — вот в чем богатство Сахалина! — кричали справа и слева.

На самом деле рыбы — уйма, рыбы девать неку-

да, рыбой кишат реки, рыба мириадами трется у морских берегов.

А как к ней приступить, что с нею делать, как ее солить, — никто не знал.

Всякий ел селедку, но решительно не знает, как она приготовляется. Положение трагическое!

И вдруг приезжий скрипач-виртуоз, в антракте между двумя отделениями танцев, объявляет:

— А ведь я, господа, в Астрахани был, на рыбных промыслах жил, как селедку солят — знаю.

За него ухватились, как за находку.

Господина Крамаренко назначили на три года «техническим надзирателем» за тюремными рыбными промыслами.

Поручили ему исследования по рыбному делу на Сахалине.

И в результате этих исследований помогли выстроить собственный рыбный завод.

Астраханский конторщик и свадебный скрипач превратился в крепостного владельца.

Отпущенные ему в помощь, за грошовую плату казне, каторжные строили ему завод, погреба, подвалы.

Правда, погреба мало на что годятся, рыба в них портится, подвалы для засола рыбы текут, и тузлук из них уходит. Но это уж вина не каторжных,

отданных во временное крепостное пользование господину Крамаренко, — это вина самого скрипача-архитектора.

Первые опыты господина Крамаренко были довольно печальны. С первых же шагов он сильно и основательно шлепнулся, можно сказать, «на гладком месте».

Первый ход селедки он пропустил. Второй хоть и не прозевал, но толку не вышло: тузлук вытек, и рыбу пришлось обратно выкинуть в море. При третьем ходе хоть и получилась наконец желанная селедка, но такая дрянь, что никто брать не хотел.

Господин Крамаренко теперь «учится». Да и чего ж не учиться? Даровой лес и за гроши доставшийся труд каторжных. В виде маленькой ежегодной субсидии — тысяча рублей вперед за рыбу, которую господин Крамаренко обязан поставить в тюрьму. Потом, впрочем, эту субсидию от господина Крамаренко, кажется, отняли, убедившись, что это за рыбопромышленник. В сахалинском «календаре» вы найдете статью господина Крамаренко, в которой он очень громко и весьма справедливо выступает против «хищничества» японских рыбопромышленников.

На самом деле такую ценную рыбу, как сельдь, они ловят на Сахалине стадами, варят в котлах и превращают в удобрительные туки.

Разве это не варварство? Разве не хищничество?

Что же делает сам господин Крамаренко?

Ловит сельдь, варит ее и готовит из нее тук, то есть занимается тем же самым хищничеством, против которого так горячо и справедливо выступает. Весь его игрушечный комический «засол» рыбы не дает ни гроша, простая игра «для отвода глаз».

Главное его дело — он и сам не скрывает — «туковое дело». Приготавливая удобрительный тук из селедки, он продает его тем же самым японцам. Вся разница состоит только в том, что казна с «поощряемого» господина Крамаренко получает гораздо меньше, чем получала бы с арендаторов-японцев. К хищничеству тут следует еще добавить и «обставление» казны. Промыслы господина Крамаренко ничего не дают населению, потому что, сам подставное лицо японцев, господин Крамаренко работает исключительно японскими рабочими.

В чем же, однако, секрет такого быстрого, крупного и ничем, казалось бы, не заслуженного

успеха этого виртуоза? — спросите вы.

Очень просто.

В том, что на Сахалин мало кто едет по доброй воле.

Каждый доброволец-предприниматель, как редкость, здесь встречается с распростертыми объятиями, находит поддержку и помощь.

Жаль только, что эти предприниматели-то…

Нет спора, край многим и многим богатый, но он требует людей знания, людей дела, а не кулаков-эксплуататоров, не свадебных скрипачей, готовых схватиться за что угодно, не людей «без определенных занятий, средств и образа жизни»…

А там исключительно «орудуют» или неудачники, потерпевшие в России крушения на всех поприщах, или хищники, — какие это плохие устроители благосостояния действительно «несчастных» острова Сахалин.

III

«Спиртовая торговля»

Если Сахалин — как в шутку называют его местные чиновники — «совершенно особое, самостоятельное государство», то Корсаковский

округ, непроходимыми тундрами и тайгой отрезанный от административного центра, поста Александровского, представляет собой уже «государство в государстве», «Сахалин на Сахалине».

Здесь свои особые порядки, обычаи, законы, даже своя особая денежная единица.

Наши обыкновенные денежные знаки в Корсаковске упразднены. Вся торговля, все дела ведутся на спирте.

Денежная единица Корсаковского округа — бутылка спирта, даже не бутылка спирта, а записка на право купить бутылку спирта. Чтобы понять эту «девальвацию», очень выгодную для многих, надо знать условия продажи спирта на Сахалине.

Спиртом имеет право торговать только колонизационный, он же «экономический» фонд.

Не возбраняется и в каком угодно количестве спирт могут покупать только люди «свободного состояния», то есть чиновники.

Поселенцам же разрешается покупать спирт перед праздниками или по запискам лиц свободного состояния.

«Отпустить такому-то бутылку спирта. Такой-то».

В фонде бутылка спирта стоит 1 руб. 25 коп.,

рыночная ее цена колеблется от 2 руб. 50 коп. до 6 руб.

Поселенец, получив такую записку, «выкупает» на свои деньги в фонде бутылку спирта и перепродает ее с прибылью поселенцам же и каторге.

А то просто перепродается сама записка. Записки ходят как ассигнации. Бывают даже подложные!

На эти записки чиновники покупают у поселенцев соболей — по записке за шкуру, — этими записками платят за поставленные продукты, за сделанные работы.

В сущности, таким образом, они получают всё даром, предоставляя только поселенцам возможность заниматься торговлей водкой и спаивать каторгу.

Смотритель поселений Бестужев, лично для себя не применявший этого «порядка», как я уже говорил, пробовал зато применить этот «порядок» к казенным работам.

Он быстро построил, без копейки денег, церковь, школу, мастерские, дом для приезжающих чиновников, — за все расплачиваясь записками.

Он рассуждал так:

— Если господа служащие делают так, почему же не делать казне? Пусть уж лучше в казенный

карман идет, чем в карманы господ служащих.

Совершенно забывая, что «quod licet lovi — non licet bovi»[19].

К сожалению, изобретательный финансист не рассчитал одного.

Что с появлением на «рынке» массы записок цена на них упадет.

Так и случилось.

Работавшие поселенцы разорились вконец: думая получить за записки рубли, они получили гроши.

Среди нищенствующих в Корсаковске пришлых поселенцев мне много приходилось встречать жертв этой оригинальной финансовой затеи.

Я не стану уже говорить о влиянии этой «спиртовой системы» на нравственность поселенцев.

За спирт в Корсаковске продается и покупается все — до сожительницы или дочери включительно.

Но какое же уважение может иметь каторга к чиновникам, даром покупающим ее труд, и чиновникам, торгующим спиртом?

А на Сахалине так много говорят о необходимо-

---

[19] Примечания: 19

«Что дозволено Юпитеру — не дозволено быку» *(лат.).*

сти поддерживать престиж.

— Каторга распускается! Становится дерзка, непослушна!

Как будто «престиж» создается и поддерживается одними наказаниями.

IV

Бирич

Бирич — мой сосед по комнате. Он живет у того же ссыльнокаторжного Пищикова, у которого остановился и я.

Он — компаньон одного из крупных рыбопромышленников и ужасно любит говорить о том, какие огромные убытки он терпит благодаря дурной погоде.

— Помилте-с. Законтрактованные пароходы с японцами-с не идут. Тут каждый день дорог-с. Не нынче завтра селедка пойдет. Ведь это мне тысячными убытками пахнет-с. Ведь я тысячи могу потерять-с.

Он ужасно любит подчеркнуть это слово «тысячи».

Бирич — человек средних лет, маленький, невзрачный, одет не без претензии на франтовство, по жилету «пущена» цепь, на которую смело

можно бы привязать не часы, а собаку.

Ото всей его особы ужасно веет не то штабным писарем, не то фельдшером, вышедшим «в люди».

Так оно впоследствии и оказалось.

При встрече, при прощанье он обязательно по нескольку раз жмет вам руку, словно это доставляет ему особое удовольствие — здороваться «за руку».

Когда «заложит за галстук» — а это с ним случается часто, — Бирич становится особенно невыносим своей назойливостью и необыкновенной развязностью.

Он является без спроса, говорит без умолку и в разговоре принимает позы одна свободнее другой.

Собственно говоря, он даже не столько говорит, сколько позирует.

То раскинется на стуле и заложит нога за ногу так, что они у него чуть не на столе. То встанет и поставит ногу на стул.

«Вот человек, который стремится к тому, чтобы ноги у него были непременно выше головы», — думал я, улыбаясь про себя.

То он хлопнет вас по колену. То возьмет за борт сюртука. То бросит свой окурок в ваше блю-

дечко.

И все это решительно без всякой надобности, просто, словно он каждую минуту хочет доказать вам, что он с вами на равной ноге и может вести себя «непринужденно».

Эта мысль словно тешит его, доставляет ему невыразимое наслаждение.

Когда подопьет, Бирич особенно яростно принимается ругать ссыльнокаторжных.

Это, кажется, его главное занятие.

Право, с первого раза можно подумать, что у человека перерезали целую семью. Такая глубокая, непримиримая, яростная ненависть.

Бирич явился ко мне, прежде чем я даже успел устроиться в своей комнатке.

Несколько раз пожал мою руку, заявил, что очень рад «знакомству с образованным человеком», с первого же абцуга объявил мне, что у него жена институтка[20] и живет на рыбных промыслах, рассказал про свои «тысячные убытки» и вызвался быть моим ментором.

— Я Сахалин как свои пять пальцев знаю. Вы только меня слушайте. Я вам все покажу. Увиди-

---

[20] Примечания: 20

Дочь одной интеллигентной особы, приговоренной за поджоги. По окончании института она приехала к матери на Сахалин и здесь сделала такую «партию».

те, что это за мерзавцы, за негодяи.

Когда Бирич говорит о каторге, он даже забывает прибавлять слово «ерик», которое прибавляет обыкновенно чуть не за каждым словом. До того его разбирает злость!

— Вы хорошенько их, негодяев, распишите! Чтобы знали, что это за твари! Распущены — ужас! Еще бы! Деликатничают с ними! «Жалеют» мерзавцев! Их жалеть! Драть их, негодяев, надо! Вот прежде господин Ливин был смотрителем или Ярцев — покойник, царство ему небесное, — драли их, — тогда и была каторга. А теперь — помилуйте! Какая это каторга? Разве это каторга? Издевательство над законом — и больше ничего.

— Да вы что… может быть, не потерпели ли через них какого-нибудь убытка? Может быть, работали они у вас?

Бирич даже вспыхнул весь.

— Я? Да чтоб с ними? Да спасет меня Господь и помилует! Чтоб с этим народом имел дело?! Да в петлю лучше! Нет, у меня японцы — никого, кроме японцев, — помилуйте, разве можно с ними? Я в прошлом году попробовал было взять поселенцев — подряд у меня был на железную дорогу, на шпалы, — так жизни не был рад. Это такие негодяи, такие мерзавцы…

И так далее, и так далее, и так далее. Становилось тошно слушать, а отделаться от Бирича было невозможно.

Нравилось ему, что ли, со мной везде показываться, но только Бирич не отставал от меня ни на шаг.

Иду по делу, гулять — Бирич как тень. В «каторжный театр» пошел — Бирич и тут увязался, за место в первом ряду заплатил.

— Посмеемтесь! Нет, каковы твари, а? Будний день, а у них театры играют.

— Да ведь Пасха теперь.

— Для каторжных Пасха — три дня. По-настоящему бы один день надо, да уж так, распустили, свободу дают. А они, негодяи, целую неделю. А? Как вам покажется? И это каторга? Поощрение мерзавцев, а не каторга. Жрут, пьют, ничего не делают, никаких наказаний для них нет…

В конце концов меня даже сомнение начало разбирать.

— Что-то ты, братец, уж очень каторгу ругать стараешься? Странновато что-то…

Идем мы как-то с Биричем по главной улице — как вдруг из-за угла, неожиданно, лицом к лицу, встретился с нами начальник округа.

Бирич моментально отскочил в сторону, слов-

но электрическим током его хватило, и не снял, а сдернул с головы фуражку.

Нет! Этого движения, этой манеры снимать шапку не опишешь, не изобразишь.

Она вырабатывается годами каторги, поселенчества и не изглаживается потом уж никогда.

По одной манере снимать шапку перед начальством можно сразу отличить бывшего ссыльнокаторжного в тысячной толпе.

Хотя бы со времени его каторги прошел десяток лет и он пользовался бы уже всеми «правами».

Вся прошлая история каторги в этом поклоне — то прошлое, когда зазевавшемуся или не успевшему при встрече снять шапку каторжному говорили:

— А пойди-ка, брат, в тюрьму. Там тебе тридцать дадут.

Начальник округа прошел.

Бирич почувствовал, что я понял все, и сконфуженно смотрел в сторону.

Неловко было и мне.

Мы прошли несколько шагов молча.

— Много мне пришлось здесь вытерпеть, — тихо, со вздохом сказал Бирич.

Я промолчал.

Вплоть до дома мы прошли молча.

А вечером, «заложив за галстук», Бирич снова явился в мою комнату и принялся нещадно ругать каторгу.

Только уже теперь он прибавлял:

— Разве мы то терпели, что они терпят? Разве мы так жили, как они теперь живут? А за что, спрашивается? Разве мы грешнее их, что ли?

И вся злоба, вся зависть много натерпевшегося человека к другим, которые не терпят «и половины того», сказывались в этих восклицаниях, вырвавшихся из «нутра» полупьяного Бирича.

Как я узнал потом, он — из фельдшеров, судился за отравление кого-то, отбыл каторгу, поселенчество, теперь не то крестьянин, не то уж даже мещанин, всеми правдами и неправдами скопил копейку и кулачит на промыслах.

Каторга его терпеть не может, ненавидит и презирает как «своего же брата».

Никогда и никто так не прижимал поселенцев, как Бирич, когда они работали у него по поставке шпал.

Таков Бирич.

Его мелкая фигурка не стоила бы, конечно, и малейшего внимания, если бы его отношение к каторге не было типичным отношением бывших каторжников к теперешним. Это брезгливое от-

ношение вылезших из грязи к тем, кто тонет еще в этой грязи.

Сколько я ни видел потом на Сахалине мало-мальски разжившихся бывших каторжников — все они говорили о каторге злобно, недоброжелательно.

Не иначе.

У более интеллигентных и воспитанных, конечно, это высказывалось не в такой грубой форме, как у Бирича. Но недоброжелательство звучало в тоне и словах.

И никто из них, хотя бы во имя своих прежних страданий, не посмотрит более человечно на чужие страдания, не посмотрит на каторжного как на страдающего брата.

Нет! Страданья только озлобляют людей!

Словно самый вид каторжных, их близость оскорбляют этих выплывших из грязи людей, напоминают о годах позора.

— Сам был такой же, — звучит для них в звоне кандалов, и это озлобляет их.

— Тоже носил! — читают они на спине арестантского халата в этих «бубновых тузах».

И в основе всего их недоброжелательства, всей злобы против каторги, всех жалоб на «распущенность, слабость теперешней каторги», звучит

всегда один и тот же мотив:

— Разве мы то терпели? Почему же они терпят меньше нас?

И из этих-то людей, так относящихся к каторге, из бывших каторжников, зачастую назначают надзирателей, непосредственное, так сказать, начальство, играющее огромную роль в судьбе ссыльнокаторжного.

Можно себе представить, как относится к каторге подобный господин, когда он получает возможность не только словами, но и более существенно выражать свое недоброжелательство?

Каторжный театр

На всех столбах, на всех углах поста Корсаковского расклеены афиши, что «в театре Лаврова, с дозволения начальства, в неделю Святой Пасхи даются утренние и вечерние спектакли».

У маленького, наскоро сколоченного балаганчика, с унылым видом стоит антрепренер — местный булочник Лав-ров.

Беднягу постигла та же судьба, что и его российских собратий: он терпит антрепренерскую участь — прогорает.

Надеялся на поддержку «интеллигенции», лишенной, кроме карт и водки, каких бы то ни было удовольствий. Но чиновники, конечно, в каторжный театр не пошли.

До чего старается туземная «интеллигенция» сторониться от каторги, показывает хотя бы следующий факт. Начальник округа жаловался мне, что большинство «интеллигенции» не пожелало быть подписчиками основывающейся библиотеки только потому, что там подписчиками могут быть и каторжные. Словно эти бедные люди боятся, что их могут смешать как-нибудь с каторгой!..

Мое первое посещение театра вышло неудач-

ным.

«Great attraction»[21] спектакля, чтение «Записок сумасшедшего» состояться не могло по самой необыкновенной в истории театра причине.

— Так как артист Сокольский посажен в кандальную тюрьму! — как анонсировали со сцены.

Зато на следующий день спектакль удался на славу.

Артист Сокольский не пил и в кандальную не попал.

По случаю праздника театр был полон.

Артисты старались «перед литератором» изо всех сил.

Нарочно для меня песельники пели не обыкновенные, а специально тюремные песни.

Были даже приготовлены куплеты в честь моего приезда. Куплеты, в которых приветствовался приезд писателя и где я предупреждался, что, показывая мне каторгу, мне часто будут напевать:

Не моя в том вина,
Наша жизнь вся сполна
Нам судьбой суждена!..

Но начальство заблаговременно узнало и пе-

---

[21] Примечания: 21
«Большая привлекательность» *(англ.).*

ние этого куплета запретило.

Театр убран по стенам елочками.

Сцена отделена занавеской из какой-то грязной дерюги, долженствующей изображать «занавес». Пол на сцене — земляной.

Пять часов вечера.

Театр полон. Галерка волнуется.

«Поселки» со своими сожителями. Поселенцы. Серые бушлаты каторжников. Кой у кого из «перворядников» желтые тузы на спине.

За дерюжной занавеской песельники тянут унылую, мрачную песню сибирских бродяг:

Милосердные наши батюшки,

Милосердные наши матушки,

Помогите нам, несчастненьким,

Много горя повидевшим!

Выносите, родные, во имя Христа,

Кто что может сюда,

Бедным странничкам, побродяжничкам.

Помогите, родные: золотой венец вы получите

На том свете, а на нынешнем

Поминать в тюрьмах будем мы

Вас, наши родные.

Песня стихает на долгой жалобной ноте. «Занавес» отдергивают. Спектакль начался.

Для начала идет сцена: «Опять Петр Иванович!»

Из-за грязной занавески, долженствующей изображать ширмы, появляется традиционный Петрушка.

Плут, проказник, озорник и безобразник — даже бедный Петрушка, попав в каторгу, «осахалинился».

Всюду и везде, по всей Руси он только плутует и мошенничает, покупает и не платит, дерется и надувает квартального.

Здесь он еще и отцеубийца.

Это уже не веселый Петрушка свободной Руси, это мрачный герой каторги.

Из-за занавески показывается старик, его отец.

— Давай, сынок, денег!

— А много тебе? — пищит Петрушка.

— Да хоть рублей двадцать!

— Двадцать! На вот тебе! Получай!

Он наотмашь ударяет старика палкой по голове.

— Раз… два… три… четыре… — отсчитывает Петрушка.

Старик падает и перевешивается через ширму.

Петрушка продолжает его бить лежачего.

— Да ведь ты его убил! — раздается за ширмой голос хозяина.

— Зачем купил — свой, доморощенный! — острит Петрушка.

Это вызывает взрыв хохота всей аудитории.

— Не купил, а убил, — продолжает хозяин. — Мертвый он.

— Тятенька, вставай! — теребит Петрушка отца под непрекращающийся смех публики. — Будет дурака-то валять! Вставай! На работу пора!

— А ведь и впрямь убил! — решает наконец Петрушка и вдруг начинает «выть в голос», как в деревнях бабы воют по покойникам: «Родимый ты мой батюшка-а-а! На кого ты меня споки-и-нул! Остался я теперь один-одинешене-е-к, горьким сироти-и-нушкой».

Прямо восторг охватывает публику.

Стон, вой стоят в театре. Топочут ногами. Женский визгливый смех сливается с раскатистым хохотом мужчин.

Тошно делается…

Похождения кончаются тем, что является квартальный и Петрушку ссылают на Сахалин.

Прощай, Одеста,

Славный карантин!
Меня посылают
На остров Сакалин, —

поет Петрушка.

— Ловко! — вопит публика.

— Биц! — громче всех кричит какой-то подвыпивший поселенец.

Он — человек образованный, в антракте нарочно громко повествует, как бывал в Москве «в Скоморохе театре», всякую камедь видал.

«Биц» он кричит специально для меня, чтобы обратить внимание на свою образованность.

Номера, один другого «фурорнее», следуют друг за другом.

Бродяга Федоров в пестром костюме, что-то вроде костюма арлекина, поет куплеты на мотив из «Боккачио».

Не моя в том вина…

Федоров служил когда-то при театре, был театральным парикмахером.

Он поет верно, без аккомпанемента, затрагивает местные злобы дня.

Баланду, которой не едят даже свиньи; коты, которые надо в руках, а не ногах носить; расползающиеся по швам халаты и т. п.

Его успех идет все crescendo. Он повторяет без конца, и за каждым куплетом мой образованный зритель кричит:

— Биц!

Федоров сияет, расшаркивается, кланяется на все стороны, прижимает обе руки к сердцу.

Занавес снова отдергивают; на сцене — три сдвинутых табурета.

Сидевший вчера в кандальной Сокольский, в арестантском халате, читает «Записки сумасшедшего».

И что это? В этом Богом забытом, людьми проклятом уголке на меня пахнуло чем-то таким далеким отсюда…

С этой «каторжной сцены» пахнуло настоящим искусством. Этот «бродяга», видимо, когда-то любил искусство, интересовался им. От его игры веет не только талантом, но и знанием сцены, — он видал хороших исполнителей и удачно подражает им.

Он читает горячо, с жаром, с увлечением. «Живой душой» повеяло в этом мире под серыми халатами погибших людей…

У Сокольского настоящее актерское лицо, нервное, подвижное, выразительное.

Он — эпилептик, в припадке откусил себе кон-

чик языка, немного шепелявит, — и это слегка напоминает покойного В. Н. Андреева-Бурлака.

В «Записках сумасшедшего» Гоголя осталась только одна фраза:

«А знаете ли вы, что у алжирского дея под самым носом шишка».

Все остальное — импровизация, местами талантливая, местами посыпанная недурной солью.

— Это Поприщин-каторжник, ждущий смерти как избавления.

В его монологе много намеков на местную тюрьму. Я уже посвящен в ее маленькие тайны, знаю, о ком из докторов идет речь, кого следует разуметь под какой кличкой.

Эти намеки вызывают одобрительный смех публики, но в настоящий восторг она приходит только тогда, когда Сокольский, читающий нервно, горячо, видимо волнующийся, начинает кричать, стуча кулаком по столу:

— Да убейте вы меня! Убейте лучше, а не мучайте! Не мучайте!

— Биц его! — не унимается образованный зритель.

И вся публика аплодирует, кажется, больше тому, что человек очень громко кричит и бьет

кулаком по столу, чем его трагическим словам и тону, которым они произнесены.

Мрачное впечатление «Записок сумасшедшего» рассеивается следующей за ними сценой «Седина — в бороду, а бес — в ребро».

Это импровизация. Живая, меткая, полная юмора и правды картинка из поселенческого быта.

Поселенец с длинной белой льняной бородой всячески ухаживает за своей сожительницей.

— Куляша! Ты бы прилегла! Ты бы присела! Куляша, не труди ножки!

Куляша капризничает, требует то того, то другого и, в конце концов, выражает желание плясать вприсядку.

В угоду ей старик пускается выделывать вензеля ногами.

Здесь же в публике сидящие Куляши хихикают:

— Какая мораль!

Поселенцы только крутят головой. Каторга отпускает крепкие словца.

Как вдруг появляется старуха, законная, добровольно приехавшая к мужу жена, и метлой гонит Куляшу.

Куляша садится старику на плечи, и старик с сожительницей за спиной удирает от законной

жены.

Так кончается эта комедия… Чуть-чуть не сказал «трагедия».

Теперь предстоит самый «гвоздь» спектакля.

Пьеса «Беглый каторжник».

Пьеса, сочиненная тюрьмой, созданная каторгой. Ее любимая, боевая пьеса.

Где бы в каторжной тюрьме ни устраивался спектакль, «Беглый каторжник» на первом плане.

Она передается из тюрьмы в тюрьму, от одной смены каторжных к другой. Во всякой тюрьме есть человек, знающий ее наизусть, — с его голоса и разучивают роли артисты.

Действие первое.

Глубина сцены завешана каким-то тряпьем. Справа и слева небольшие кулисы, изображающие печь и окно.

Но публика невзыскательна и охотно принимает это за декорацию леса.

Сцена изображает каторжные работы.

Трое каторжан, изображающих толпу каторжных, копают землю.

Герой пьесы — почему-то архитектор, Василий Иванович Сунин, — сидит в сторонке в глубокой задумчивости.

— Что лениво работаете, черти, дьяволы, лешие? Пора урок кончать! — слышится из-за кулис.

Это голос надзирателя.

Бьет звонок, и каторжные идут в тюрьму.

— Пойдем баланду хлебать! Что сидишь? — говорят они Василию Ивановичу.

— Сейчас, братцы, ступайте! Я вас догоню, — отвечает он.

Василий Иванович — его изображает тот же Сокольский, главный артист труппы, — Василий Иванович тяжко вздыхает:

— И так все впереди. Кандалы, работа, ругань, наказания! Ничего светлого, ничего отрадного. На всю жизнь! Ведь я — вечный каторжник. Бежать? Но куда? Кругом лес, тайга! Бегу! Лучше голодная смерть, лучше смерть от хищных зверей, чем такая жизнь! Разобью кандалы и бегу, бегу…

Василий Иванович снимает кандалы и… и вот уж этого-то меньше всего можно было бы ожидать.

С изумлением, с испугом оглядываюсь на публику.

— Да что это?

Каторга разражается гомерическим хохотом… Хохочут просто над тем, как легко снять кан-

далы.

— Прощайте, кандалы! Вас никто больше носить не будет! Я вас разбил! — говорит Василий Иванович. — Прощай, неволя!

И уходит.

Действие второе снова должно изображать лес.

Накрывшись халатом, спит каторжанин.

Озираясь кругом, входит Василий Иванович.

— Убежал от погони! Гнались, стреляли! Убежал, но что будет со мной? Чем прикрою свое грешное тело, когда даже и халата у меня нет.

В это время он замечает спящего арестанта.

— Устал, бедняга, намаялся и заснул, где работал, на сырой земле… Взять, нешто, у него халат… у него, у своего же брата.

Василий Иванович становится на колени перед арестантом. Публика начинает хихикать.

— Прости меня, товарищ, что краду у тебя последнее. Спрашивать с тебя станут, мучить тебя! Своим телом, кровью своей придется расплачиваться за этот халат… Но что ж делать? Я должен позаботиться о себе. Ты бы то же самое сделал на моем месте.

Василий Иванович снимает со спящего товарища халат.

В публике… гомерический хохот.

— Биц его! Биц! — в каком-то исступлении орет «образованный» зритель.

Для них это только забавно. Они хохочут над «дядей Сараем»[22], который спит и не слышит, что у него отнимают последнее.

Для них это ловкая кража — и только.

Внешность, одна внешность — о сущности, казалось бы, такой близкой, понятной и трогающей душу, не думает никто.

Действие третье.

Сцена должна изображать дом богатого сибирского купца Потапа Петровича.

К нему-то и является Василий Иванович.

— Примите странника! — робко останавливается он у порога.

— Милости просим, добрый человек, — необыкновенно радушно принимает его сибирский купец, — раздевайтесь, садитесь. Не хотите ли есть с дороги?

— Благодарю вас, что не погнушались принять меня! — отвечает Василий Иванович. — Я подожду, пока вы будете обедать.

— Как вам будет угодно.

---

[22] Примечания: 22

«Дядя Сарай» — так арестанты называют простофилю, разиню.

Вообще, купец отличается в разговорах с Василием Ивановичем необыкновенной вежливостью.

Спрашивает, как зовут, и, только извинившись, задает вопрос:

— Куда путь держите, Василий Иванович?

— Мой путь лежит на все четыре стороны, — отвечает со вздохом беглый каторжник. — Иду жить не с людьми, со зверьми. С людьми я не ужился.

— Я вижу, вы много горя приняли, Василий Иванович?

— Не стану скрывать от вас, Потап Петрович: я — беглый каторжник, кандальник, из тюрьмы бежал! — Он встает со скамьи. — Быть может, прогоните меня после этого? Сидеть погнушаетесь с бродягой? Скажите — я уйду!

— Что вы, что вы, Василий Иванович! Прошу вас и не думать об этом.

Василий Иванович рассказывает свою историю. Как он был архитектором, как поссорился с отцом, как отец в ссоре хотел его убить.

— Тогда я взял со стены ружье и…

Василий Иванович умолкает.

— В таком случае (!), — говорит купец, — прошу вас, Василий Иванович, остаться жить в моем

доме. Живите, пока понравится.

— Как мне благодарить вас? — отвечает растроганный каторжник.

В эту минуту вбегает дочь купца.

— Ах, — восклицает она в сторону, — кто этот незнакомый человек? При виде его сильно забилось мое сердце. Я полюбила его.

Адский, невероятный хохот всей публики сопровождает эту нежную тираду.

Да и нет возможности без смеха смотреть на каторжного Абрамкина, изображающего купеческую дочь, в сарафане до колен, с рукавами по локоть.

Он и сам чувствует, что это должно быть очень «чудно», и улыбается во всю ширину своей глупой, добродушной, кирпичом подрумяненной физиономии.

Любой мрачный меланхолик умер бы со смеху при виде этой нескладной, долговязой, удивительно нелепой фигуры.

Да еще с такими нежными словами на устах.

— Позвольте вам представить, Василий Иванович, мою единственную дочь, — говорит купец, — Вареньку! Наш гость — Василий Иванович.

— Папаша, обед готов, — заявляет Варенька,

раскланиваясь под неумолкающий хохот с Василием Ивановичем.

Действие четвертое.

— Бежать, бежать я должен отсюда! — говорит Василий Иванович. — Я чувствую, что здесь мои мучения становятся сильнее. Я полюбил Варенькy… Я, ссыльнокаторжный, бродяга, которого каждую минуту могут поймать, заключить в тюрьму, отдать палачу на истязание. О, какое мучение!

Он берет котомку.

— Куда вы, Василий Иванович? — спрашивает его вошедшая Варенька.

— Прощайте, Варвара Потаповна, — кланяется он, — я ухожу от вас. Пойду искать… не счастья — нет! Счастье мне не суждено! Смерти пойду я искать…

— Зачем вы говорите так? — перебивает его Варенька. — Вы много видели горя? Вы никогда мне не говорили, кто вы, откуда к нам пришли. И папенька мне запретил спрашивать вас об этом. Почему?

— Это я никому не могу сказать!

— Никому? Даже вашей жене?

— Зачем вы сказали такое слово? — отирая слезу, говорит Василий Иванович. — Вы смеетесь

над бедняком.

— Нет-нет! Я сказала это неспроста, не для смеха. Я люблю вас, Василий Иванович, я полюбила вас с первого взгляда. Мне вы можете сказать, кто вы такой.

— Так слушайте же! — с отчаянием произносит Василий Иванович. — Перед вами — тяжкий преступник, отцеубийца! Бегите от меня: я — каторжник, я — кандальник! Я… я… убил родного отца!

— Ах! — вскрикивает Варенька и под хохот публики падает в обморок.

— Я убил и ее! — ломая руки, говорит беглый каторжник.

— Нет, я жива! — очнувшись, отвечает она. — Прошу вас, не уходите, подождите здесь одну минуту!

Вы, конечно, догадываетесь о конце.

— Моя дочь сказала мне всё! Она любит вас и согласна быть вашей женой! — говорит вошедший отец. — Василий Иванович, прошу вас быть ее мужем!

— И для несчастного суждена новая жизнь! — Этими словами Василия Ивановича под аплодисменты публики заканчивается пьеса.

Эта излюбленная пьеса каторги, ее детище,

ее греза.

Пьеса, в которой сказались все мечты, все надежды, которыми живет каторга.

В ней все нравится каторге.

И удачное бегство, и то, что беглый каторжник находит себе счастье, и то, что «порядочные люди» говорят с ним вежливо — «на вы», как с человеком, и то, что есть на свете люди, которых не отталкивает от падшего даже совершённое им тягчайшее преступление.

Люди, которые видят в преступлении — несчастье, в преступнике — человека.

После этой пьесы, где нет ничего бутафорского, где все настоящее — каторжные, кандалы, халаты, — мы, конечно, не станем смотреть «разбивания камня на груди» и прочих прелестей программы.

Пройдем за кулисы.

Каторжные артисты

Огарок, прилепленный к скамье, освещает самую оригинальную уборную в мире.

Торопясь к перекличке, артисты переодеваются в арестантские халаты.

Те, которые играли кандальников в «Беглом каторжнике», покуривают цигарку, переходящую из рук в руки, и ожидают платы от антрепренера.

Им переодеваться нечего: их «костюмы», их кандалы — не снимаются.

Кулисы всюду и везде — те же кулисы. То же артистическое самолюбие.

— Благодарю вас! — крепко жмет мою руку Сокольский, когда я расхваливаю его чтение «Записок сумасшедшего». — Вы меня обрадовали. Все-таки хоть и такой театр, но все же это что-то человеческое… А я, признаться, сильно трусил: играть перед литератором, перед понимающим человеком… Так ничего себе?

— Да уверяю вас, что очень хорошо! Вы никогда не были актером, Сокольский?

— Актером — нет. Но любительствовал много. В Секретаревке, в Немчиновке (любительские

театры в Москве). Ведь я из Москвы. Вы тоже москвич? Ах, Москва! Малый театр! Ермолова Марья Николаевна! Бывало, лупишь из «Скворцов» (студенческие номера) в Малый театр на верхотурье. А помните, Парадиз привозил Барная, Поссарта. Я и теперь его в Ричарде словно перед глазами вижу, монолог этот после встречи с Елизаветой… «На тень свою мне надо наглядеться!»

— Сокольский, черт! На перекличку иди! Опять завтра в кандальную посадят! — высунулась из-за занавески физиономия антрепренера.

— Сейчас… сейчас… Вы меня извините. К перекличке надо. Вот если бы вы позволили… Да уж не знаю… Нет-нет, вы меня извините!..

— Что? Зайти ко мне?..

— Д-да…

— Сокольский, как вам не стыдно?

— Ну хорошо, хорошо. Благодарю вас. Так завтра, если позволите…

— Да иди же, дьявол, опять будешь в кандальной — из-за тебя представление отменят!

— Иду… иду… Значит, до завтра!

Сокольский побежал на перекличку в тюрьму.

— А вы отлично поете куплеты! — обращаюсь я к Федорову.

Федоров сияет:

— При театре, знаете, понаторел… А вы к нам из Одессы изволили, говорят, приехать. Кто теперь там играет?

— Труппа Соловцова[23].

— Николая Николаевича? Ну как он?

— А вы и его знаете?

— Его-то? Еще с Корша помню. У Корша я парикмахером был. Да кого я не знаю! Марью Михайловну (Глебову) сколько раз завивал. Рощин-Инсаров — хороший артист. Я ведь его еще когда помню. Отлично Неклюжева играет. Киселевский, Иван Платоныч, — строгий господин: парик не так завьешь — беда!

Федоров смеется при одном воспоминании — и у него вырывается глубокий вздох.

— Хоть бы одним глазком посмотреть на господина Киселевского в «Старом барине!» Эх!

— Абрашкин, чего на перекличку не идешь?

Но Абрашкин, артист на роли ingenue dramatique, стоит, переминается с ноги на ногу, дожидается тоже комплимента.

— А здорово, брат, это ты представляешь! — обращаюсь я к нему.

Глупая физиономия Абрашкина расплывается

---

[23] Примечания: 23
Это было в 1897 году.

в блаженную улыбку.

— Я, ваше высокоблагородие, на руках еще могу ходить — место только не дозволяет!

— Комедиянт, дьявол! — хохочут каторжане.

Абрашкин со счастливой рожей машет рукой:

— Так точно!

А ведь этот добродушный человек резал.

Бродяга сокольский

— К вам Сокольский. Говорит, что приказали прийти! — доложила мне рано утром квартирная хозяйка.

— Где же он?

— Велела на кухне подождать.

— Да просите, просите!

Если бы улыбка не была в этом случае преступлением — трудно было бы удержаться от улыбки при взгляде на «штатский костюм», в который облачился для визита ко мне Сокольский.

Рыжий, весь рваный пиджак, дырявые штиблеты, необыкновенно узкие и короткие штаны, обтягивавшие его ноги как трико, — совсем костюм Аркашки.

— А я к вам в штатском, чтоб не смущать вас арестантским халатом, — сказал он.

— Да будет вам, Сокольский, о таких пустяках. Садитесь, будем пить чай.

Сначала разговор вязался плохо. Сокольский сидел на кончике стула, конфузливо вынимал из кармана белую тряпку, которую достал вместо платка.

Но мало-помалу беседа оживилась. Оба моск-

вичи, мы вспомнили Москву, театр, приезжих знаменитостей.

Оба забыли, где мы.

Он оказался горячим поклонником Поссарта, я — Барная. Мы спорили, кипятились, говорили горячо, громко, так что хозяйка несколько раз с недоумением, даже с испугом заглядывала в дверь.

«Чего, мол, это они? Не наделал бы он приезжему господину дерзостей?»

Я продиктовал Сокольскому «Записки сумасшедшего», которые знал наизусть. Записывая их, Сокольский от души хохотал над бессмертными выражениями Поприщина.

Разговор перешел на литературу. Сокольский особенно любит, знает и понимает Достоевского. Помнит целые страницы из «Мертвого дома» наизусть.

— Ведь я сам хотел написать «Записки с мертвого острова». Конечно, это был бы не «Мертвый дом». Куда до солнца! Но все-таки хотелось дать понять, что такое теперешняя каторга. Думал: сам погиб, но пусть хоть как-нибудь пользу принесу. Многие из интеллигентных этим увлекаются. Да потом… бросают. Здесь все бросают… У всех почти начало есть… если только на цигарки кто

не искурил! Вот и у меня. Уцелело. Нарочно вам принес. Возьмете — рад буду.

Мы заговорили о разнице между «Мертвым домом» и теперешней каторгой.

Сокольский говорил горячо, страстно, увлекаясь, как человек, которому на своих плечах пришлось вынести все это.

— Даже не «Мертвый дом»! — говорил он, вскочив со стула и энергично жестикулируя. — Даже не он! Там даже что-то было. Вспомните этот ужас, это отвращение к палачу. А здесь даже и этого нет… А эти дивные строки Федора Михайловича…

В эту минуту дверь отворилась, и явившийся ко мне с визитом смотритель поселений на полуфразе перебил Сокольского.

— Сбегай-ка, братец, на конюшню. Вели, чтоб мне тройку прислали!

— Слушаю, ваше высокоблагородие! — выкрикнул Сокольский и со всех ног бросился из комнаты.

Я схватился за голову:

— Зачем вы это?

Смотритель глядел на меня во все глаза.

— Что зачем?

— Да разве нельзя было кого другого послать?..

Хоть бы из уважения ко мне…

Он расхохотался:

— Да вы что это? Гуманничать с ними думаете? С мерзавцами? Да поверьте вы мне: мерзавцы, мерзавцы и мерзавцы — и больше ничего! Что ему сделается?

С Сокольским мы потом виделись часто. Он деятельно, охотно мне помогал знакомиться с каторгой, собирать песни, составлять словарь арестантских выражений.

Но каждый раз, как я заговаривал о чем-нибудь, кроме каторги, он весь как-то съеживался и бормотал:

— Нет-нет. Не надо об этом… Ни о чем не надо… Вы уедете, а мне еще тяжелей будет… Не надо!..

Одну странность я заметил в Сокольском.

Он словно чего-то недоговаривал… Придет, посидит, повертится на стуле, поговорит о каких-то пустяках и уйдет… Словно давится он чем-то, что никак не может сойти у него с языка.

Старался навести его на этот разговор.

— Сокольский, вы, кажется, мне что-то хотите сказать? Пожалуйста, откровенно…

— Нет-нет… Ничего-ничего… Право, ничего… До свиданья, до свиданья!

Становилось тягостно.

— Сокольский, — как-то не без страха начал я, — я скоро уезжаю из Корсаковска. Вы мне много помогли в моей работе… Я за это ведь получаю гонорар и считаю своим долгом…

На лице Сокольского отразилось страдание. Во взгляде, который он кинул на меня, было много злобы.

— К вам идет кто-то… идет…

Его чуть не на половину откушенный язык заплетался и шепелявил еще больше:

— Ишдет… Ишдет…

И Сокольский выбежал из комнаты.

— Да боже мой! Что ж это всё за муки?! — должно быть, вслух крикнул я, потому что хозяйка отворила двери и спросила:

— Чаю прикажете?! Звали?

Через несколько времени встречаю моего знакомого, «адвоката за каторгу», «дурачка» Шапошникова[24].

— Слушайте, Шапошников. Вы — приятель Сокольского. Он что-то имеет ко мне, да все…

Шапошников пристально посмотрел мне в глаза и захохотал.

— Подстрелить вас хочет, ваше высокоблагоро-

---

[24] Примечания: 24
См. очерк «Два одессита».

дие, да все не решается!

— Как подстрелить? Какой вздор говорите!

— Как «подстреливают»? Денег попросить семь целковых. Татары насели. Он тут майданщику да другим за водку и за разное семь рублей должен. Узнали, что он к вашему высокоблагородию ходит, и насели: «Проси да проси у барина». Избить до полусмерти обещают. А он давится, шельма! Ха-ха-ха!.. Давеча от вас в тюрьму как угорелый прибег. «Догадался!» — кричит. Ха-ха-ха!.. В каторге да этакие нежности!

— Да нате, нате вам, Шапошников, пойдите, сейчас же отдайте… Не говорите ему про наш разговор… Скажите, что я вам дал, лично вам… Сделайте там, как хотите…

Во взгляде Шапошникова на одно мгновение сверкнула какая-то жалость, но он сейчас же прищурил глаза и посмотрел на меня с иронией.

— Вы кого зарезали?

— Кто? Я?

— Вы?

— Я никого не резал.

— Никого? Так за что вас на Сахалин послали?

И Шапошников снова расхохотался своим странным смехом, от которого у непривычного человека мурашки по телу пробегают.

Преступление в Корсаковском округе

— Мы в тайгу иначе не ходим, как с ножом за голенищем! — говорили мне сами каторжные.

Вот вам то, что лучше всяких статистических цифр говорит об имущественной и личной безопасности на Сахалине.

Когда разгружаются пароходы, каторжных на борт ни за что не пускают.

— Всё уволокут, что попадется!

У моей квартирной хозяйки поселенцы успели стащить в кухне со стола деньги, едва она отвернулась.

Несмотря на то что у меня сидел в это время их начальник, смотритель поселений.

— Ваше высокоблагородие, простите их! — молила квартирная хозяйка, когда виновные нашлись. — Простите, а то они меня подожгут.

К ее просьбе присоединился и я.

— Да бросьте вы их! Ведь действительно сожгут дом, по миру пойдет баба.

Смотритель поселений долго настаивал на необходимости наказания.

— Невозможно! Под носом у меня смеют воровать. До чего ж это дойдет?

Но потом энергично плюнул и махнул рукой:

— А, ну их к дьяволу! Ведь действительно с голоду всё!

Кражи, грабежи, воровство сильно развиты в округе.

Незадолго до моего приезда тут произошло четыре убийства.

Один поселенец, похороны которого я описывал, хороший, работящий, «смирный» парень, зарезал из ревности свою сожительницу и отравился сам.

Женщина свободного состояния отравила своего мужа, крестьянина из ссыльных, за то, что он не хотел ехать на материк, куда ехал ее «милый» из ссыльнопоселенцев.

Один поселенец зарезал сожительницу и надзирателя[25].

Наконец, об этом упоминалось в разговоре с Резцовым, убит был зажиточный писарь из ссыльнокаторжных.

Сожительница, которая и «подвела» убийц, не сознается, но, когда я беседовал с ней один на один в карцере, где она содержится, она озлобленно ответила:

---

[25] Примечания: 25

С несчастным «героем» этого преступления мы уже встречались в кандальной тюрьме.

— А чего ж на них смотреть-то, на чертей? Не законный, чай? Поживет, кончит срок, да и поминай его как звали! Куда наша сестра под старость лет без гроша денется!.. — И, помолчав, добавила: — Не убивала я. А ежели б и убила, не каялась бы. Всякий о себе тоже должен подумать!

Вот вам сахалинские «нравы».

Отъезд

Пароход готов к отплытию.

По корсаковской пристани, заваленной мешками с мукой, движется печальная процессия.

На носилках, в самодельных неуклюжих креслах, несут тяжких хирургических больных, отправляемых для операции в Александровск.

Страдальческие лица… А впереди еще путешествие по бурному Татарскому проливу…

Тут же, на пристани, разыгрывается трагедия-комедия… трагикомедия…

Агафья Золотых уезжает с Сахалина на родину и прощается со своим сожителем, ссыльнопоселенцем из немцев.

Агафья Золотых — это ее «бродяжеское», не настоящее имя — попала на Сахалин добровольно.

Ее друг сердца был сослан в каторгу за подделку монеты.

Чтобы последовать за ним на каторгу, она назвалась бродягой.

Ее судили как не помнящую родства, сослали на Сахалин — здесь ее ждало новое горе.

Тот, ради кого она пошла на каторгу, умер.

Агафья Золотых открыла свое «родословие»

и просила возвратить ее на родину.

А пока «ходили бумаги» — ведь есть-то что-нибудь надо!

Агафье пришлось сойтись с поселенцем, пойти в сожительницы.

Понемногу она привыкла к сожителю, полюбила его, как вдруг приходит решение возвратить Агафью Золотых на родину, в Россию.

— Прощай, Карлушка! — говорит, глотая слезы, Агафья. — Не поминай лихом. Добром, может, не за что!

— Прощайте, Агашка! — отвечает немец, молодой парень.

Катер отчаливает, через полчаса приходит обратно, и на пристань выходит… Агафья Золотых.

На пароходе появление Агафьи Золотых произвело целую сенсацию.

— Как Агафья Золотых? Какая Агафья Золотых? Да ведь мы в прошлом году еще увезли Агафью Золотых? Отлично помним! Из-за нее даже переписка была. Как только пришли в Одессу, Агафья Золотых, не ожидая, пока за ней явится полиция, сбежала с парохода!

Оказывается, что Агафья Золотых, не желая уезжать от человека, которого она успела полюбить, «сменялась именами», — и под ее именем

уехала и гуляет себе по Руси какая-то ссыльнокаторжная[26].

Теперь Агафью Золотых решительно отказываются принять на пароход.

— Да ведь это настоящая Агафья Золотых! Ее все здесь знают! То была какая-то ошибка! — говорит тюремная администрация.

— А нам какое дело! Станем мы по два раза одну и ту же Агафью Золотых возить!

Агафью возвращают на берег.

— Ну, Карлушка, видно, судьба уж нам вместе жить, — говорит Агафья. — Идем домой!

— Зачем же я с вами пойду, Агашка? — рассудительно отвечает немец. — Я буду брать себе другую бабу, Агашка!

В ожидании отъезда сожительницы немец успел присмотреть себе другую, условился, договорился.

Агафья качает головой:

— Был ты, Карлушка, подлец — подлецом и остался. Тьфу!

— Агафья! Агафья! Куда ты? Стой! — кричит ей кто-то из «интеллигенции». — Садись в катер! Я попрошу капитана, может, и возьмет!

---

[26] Примечания: 26

Вот вам доказательство, что, несмотря на фотографические карточки, «смены» бывают и до сих пор.

Агафья поворачивается на минутку.

— А идите вы все к черту, к дьяволу, к лешману! — со злобой, с остервенением говорит она и идет.

Куда?

— А черт ее знает куда! — как говорят в таких случаях на Сахалине.

Еще раз — в третий раз уже жизнь разбита…

Пора, однако, на пароход.

— Все готово! — говорит… персидский принц.

Настоящий принц, которому письма с родины адресуются не иначе как «его светлости».

Он осужден вместе с братом за убийство третьего брата.

Отбыл каторгу и теперь что-то вроде надзирателя над ссыльными.

Он распоряжается на пристани, очень строг и говорит с каторжными тоном человека, который привык приказывать.

— Алексеев, подавай катер! Пожалуйте, барин! — помогает бывший принц сойти с пристани.

Последняя баржа, принимающая остатки груза, готова отойти от парохода.

— Так не забижают, говорили, надзирателито? — кричит с борта один из наших арестан-

тов — из тех, которых мы везем.

— Куды им! — хвастливо отвечает с баржи старый, «здешний» каторжанин.

Баржа отплывает.

Гремят якорные цепи. С мостика слышны звонки телеграфа. Раздается команда.

— Право руля!

— Право руля! — как эхо вторит рулевой.

— Так держать!

— Так держать!

«Ярославль» дает три прощальных свистка и медленно отплывает от берегов.

Прощай, Корсаковск, такой чистенький, веселый, «непохожий на каторгу» с первого взгляда, так много горя, страданий и грязи таящий внутри.

«Ярославль» прибавляет ходу.

Берега тонут в туманной дали.

А впереди «настоящая каторга», Александровск, где содержатся все наиболее тяжкие, долгосрочные преступники, Рыковск, Онор, тайга, тундра, рудники…

— Корсаковск — это еще что! Рай! — говорит один из едущих с нами сахалинских служащих. — Разве Корсаковск каторга? Это ли Сахалин?

Все, что я вам рассказал, это только прелюдия к

«настоящей» каторге.

Настоящая каторга

Мы с вами на пароходе «Ярославль» у пристани Александровского поста, «столицы» острова, где находится самая большая тюрьма, где сосредоточена «самая головка каторги».

Сюда два раза в год пристает «Ярославль» «с урожаем порока и преступления». Здесь этот «урожай» «выгружается», здесь уже все вновь прибывшие арестанты распределяются и отсюда рассылаются по разным округам.

Сирена пронзительно орет — словно пароход режут, — чтобы поживее распоряжались на берегу.

Холодно дует пронзительный ветер и разводит волнение.

Крупная зыбь колышет стоящие у борта баржи. Пыхтит буксирующий их маленький катерок тюремного ведомства.

Тоскливо на душе. Перед глазами унылый, глинистый берег. Снег кое-где белеет по горам, покрытым, словно щетиной, колючей тайгой.

— Это вчера навалило, снег-то, — поясняет кто-то из служащих, приехавший на пароход за арестантами. — Совсем было сходить стал, да

вчера опять вьюга началась.

Сегодня как будто потеплее. Завтра опять завьются в воздухе белые мухи. Туманы. Пронизывающие ветры. И так — до начала июня. Это здесь называется «весна».

Направо хлещут и пенятся буруны около Трех Братьев — трех скал, рядом возвышающихся над водой. В море выдалась огромная темная масса мыса Жонкьер, с маяком на вершине. В темной громаде, словно отверстие от пули, чернеет вход в тоннель. Бог его знает, зачем и кому понадобился этот тоннель. Зачем понадобилось сверлить эту огромную гору.

— Для чего он сделан?

— А чтоб соединить пост Александровский с Дуэ.

— Что ж, ездит кто этим тоннелем?

— Нет. Ездят другой дорогой — вон там, горами. А нужно везти что — возят на баржах, буксируют катерами. Да по нем и не проедешь, по тоннелю. Он в извилинах.

Тоннель вели под руководством какого-то господина, который, вероятно, никогда и в глаза не видал никакого тоннеля. Господин, по сахалинскому обычаю, ровно ничего не понимал в том деле, за которое взялся. Как и всегда, тоннель

повели сразу с обоих концов, с таким расчетом, чтобы партии работающих встретились. Но люди все дальше и дальше закапывались в гору, а встречаться не встречались. Было ясно, что работающие партии разошлись. К счастью, среди ссыльнокаторжных нашелся человек, понимающий дело, бывший сапер, Ландсберг, фамилия которого в свое время прогремела на всю Россию и до сих пор еще не забыта. Ему и отдали под команду рабочих. Ценою неимоверных трудов и усилий рабочих удалось поправить ошибку. Провели коридор вбок и соединили две разошедшиеся в разные стороны половины тоннеля.

Вернемся, однако, к «разгрузке».

Арестантов первого отделения вывели на палубу. Присматриваются к унылым берегам. Сахалин, видимо, производит тяжелое впечатление. Вид оторопелый, растерянный.

Им сделали перекличку по фамилиям.

— Ну, теперь садись, ребята, — скомандовал офицер. То есть «садись на баржу».

Арестанты, словно по команде, поджали ноги и… сели на палубе.

Можно же до такой степени оробеть и смешаться.

По трапу один за другим, с мешками за плеча-

ми, спускаются в баржу каторжане. Баржу качает, арестанты в ней, ослабевшие на ноги, благодаря долгому отсутствию моциона, не могут стоять и валятся друг на друга. Одна баржа наполнена, подводят другую — нагружают. И катерок, пыхтя и сопя, тащит качающиеся и бултыхающиеся баржи к пристани, далеко выдавшейся в море. А к пароходу уж ползет по волнам другой катерок с двумя с бока на бок переваливающимися посудинами. Разгрузка идет быстро — и наступает самый тяжелый момент. Из лазарета движется удручающего вида процессия. На самодельных неудобных креслах, на неуклюжих носилках несут больных. Доктора с озабоченными лицами хлопочут около процессии. На их лицах так и читается укор.

И это перевозочные средства для больных.

Какие измученные, какие страдальческие лица у несчастных. Одно из них словно и сейчас смотрит на меня. Обвязанная голова. Заострившиеся черты, словно у покойника, с застывшим выражением страдания и муки. Восковое лицо. Провалившиеся глаза, в которых еле-еле светится жизнь, словно погасающий огонек догорающего огарка. С губ его, белых и тонких, срывается чуть слышный стон — скорее, жалобный вздох.

По крутому, почти отвесному трапу, бережно, под наблюдением врачей, но, конечно, все же не без страданий для больных, их сносят в кувыркающуюся на волнах баржу.

Разгрузка кончена. Жалкий тюремный катерок доставляет нас на пристань.

Чувствуется, что вы приближаетесь к административному центру. Александровская пристань — это вполне благоустроенная пристань. Сигнальная мачта. Хорошенький домик, с канцелярией и командой для ожидающих катера господ чиновников. Несколько времени тому назад эту пристань разбило было вдребезги. Но горю помог все тот же истинный благодетель Сахалина по технической части, бывший ссыльнокаторжный господин Ландсберг. Он перестроил пристань уже «как следует». На Сахалине вечно так: сначала сделают кое-как, а потом переделают «по-настоящему». Да и отчего бы и не делать таких опытов: рабочих рук много, и притом даровых.

По деревянному молу мы идем на берег.

На моле кипит работа. Каторжане из «вольной тюрьмы» таскают кули, мешки и ящики. Раньше нас пришел какой-то другой пароход и привез товары из Владивостока. Грузополучатели сидят

тут же на своих ящиках и зорко поглядывают.

— Не стащили бы чего.

Нищая тюрьма тащит, что может.

— Надзиратель, надзиратель! — раздается пронзительный крик, словно человеку к горлу нож уж приставили. — Надзиратель, чего ж ты не смотришь, куда он куль-то прет, оглашенный. Какой же ты надзиратель, ежели воруют, а ты не смотришь. Я смотрителю буду жалиться.

— Ты куда это куль прешь, такой-разэтакий?

— Черт же его, проклятого, знал, что это его. Я думал, туды его ташшить надобно. Возьми куль, оглашенный. Ишь, прорвы на тебя нет, орет, анафема.

— Жулье.

— Положь мешок, положь мешок, говорят тебе, — слышится в другой стороне.

Среди этой суетящейся толпы, не замечая никого, медленно движется странная фигура.

Свита из серого арестантского сукна до пят, похожа на подрясник. Он простоволос. Ветер треплет его белокурые волосы. Серо-голубые, светлые глаза устремлены на небо. На лице застыло выражение какого-то благоговейного восторга. Словно он Бога видит там, в далеких небесах. В одной руке у него верба, другая сложе-

на как для благословения. Он весь унесся отсюда душой, не слышит ничего кругом, идет прямо, как будто кругом пусто и нет никого: его толкают, он не замечает.

— У-у-у, анафема. Про́паду на тебя нет.

Это несчастный сумасшедший Казанцев, у него mania religiosa[27]. И зиму, и лето он ходит вот так, с непокрытой головой, в длинной свите, похожей на подрясник, с высоко поднятой благословляющей рукой. Его нищие родные, пришедшие за ним на Сахалин, сделали себе источник дохода из «блаженненького», ходят за ним и выпрашивают милостыню на «Божьяго человека». В его лице, в его фигуре, в поднятой для благословения руке, в его походке, торжественной и мерной, словно он шествует к какой-то великой, важной цели, есть что-то трогательное, если хотите, даже величественное. Контраст между этим человеком, унесшимся больной душой далеко от этого мира, и кипящей кругом суетой нищих и несчастных, — контраст очень сильный.

У конца мола противный лязг железа. Здесь работают под конвоем часовых с ружьями кандальные.

---

[27] Примечания: 27
Религиозная мания *(ит.).*

— Развязывай штаны! — кричит солдат, стоя перед высоким, мрачного вида бородатым мужиком. — Сейчас развязывай штаны, говорят тебе.

— А сам и развязывай, ежели тебе есть охота, — спокойно и равнодушно отвечает кандальный. — Да ты не дерися! — кричит он, когда солдат исподтишка дает ему прикладом. — Ты чего дерешься, чувырло братское? Можно и тебе бока-то помять, косопузый.

— Пришить вас всех тут мало, всех, сколько есть, дьяволов! Хлеб только казенный жрете, пропасти на вас нет, проклятых, — ругается солдат, весь покрасневший со злости, и принимается развязывать каторжанину исподнее белье.

— Так-то лучше. Давно бы так, — по-прежнему спокойно говорит каторжанин.

Этот тон, спокойный и равнодушный, по-видимому, особенно злит, раздражает, волнует, мучит и бесит солдата.

— Молчи лучше. Молчи, пока не пришиб.

— Много вас здесь, пришибал-то, найдется.

— Молчи! — кричит солдат, уже весь багровый и от злости, и от усилий развязать панталоны одной рукой: из другой нельзя выпустить ружье. — Молчи.

— Да ты не дерись, — кричит опять каторжа-

нин, которому снова влетело в бок ружьем.

У входа на мол стоят дрожки, тарантасы с каторжными кучерами на козлах. На весь Александровский пост имеется только один извозчик, из поселенцев, да и тот не занимается этим делом постоянно — не сто́ит: за делом ли, за бездельем все всегда ездят на казенных. Зато и достается же лошадям на Сахалине. Вот для кого здесь поистине каторжная работа. Целый день в Александровске по главной улице только и слышишь, что звон колокольцев, только и видишь, что бешено мчащиеся тройки «под господ служащих».

«Вот, — думаешь себе, — какая, должно быть, деятельность кипит на этом острове».

Если бы спросить у лошадей, они бы ответили, что господа служащие — народ очень деятельный.

Что это, однако, за странная группа, словно группа переселенцев, расположилась у стены казенного сарая. Старики, молодые, женщины, дети сидят на сундуках, на укладках, с подушками в руках, с образами, с жидким, скудным и жалким скарбом. Это «беглецы с Сахалина». Новые «крестьяне из ссыльных», люди, окончившие срок каторги и поселенчества, получившие «крестьянство», а вместе с ним и право выезда

«на материк». Заветная мечта каждого невольного (да и вольного) жителя Сахалина. Распродав, а то и прямо бросив свои домишки, они стянулись сюда из ближайших и дальних поселений. Желанный, давно жданный, грезившийся во сне и наяву день настал. Свищет ветер, летают и кружатся в воздухе белые мухи, а они сидят здесь, дрожащие, посинелые от холода, не зная, когда их будут сажать на пароход. А сажать будут дня через три, не раньше. Никто не позаботился их предупредить об этом, никто не позаботился сказать, когда именно нужно явиться. И они будут мерзнуть на ветру, на холоде, плохо одетые, с маленькими детьми, боясь пропустить «посадку» и остаться здесь, на проклятом острове.

— Милай, — ноет баба, — пусти хошь куды. Мне бы ребенка покормить только. Махонький ребенок-то, грудной. Замрет не емши.

— Здесь и корми. Куда ж тебя еще.

— Холодно, милай; на этаком-то холоду нешто можно грудью кормить.

Таков «желанный день». Подойдем к этой полузамерзшей группе.

— Давно сидите?

— С авчирашняго дня. Авчирашняго еще числа парохода ждали. Дрогнем, и от вещей отлучиться

нельзя: народ шпанка, сейчас свистнет.

— А куда ж теперь, на материк?

— Так точно, на материк, ваше высокоблагородие.

— Ну а что ж делать будете там, на материке?

— Да уж там что Бог даст. Что Владисток (Владивосток) окажет.

— Да ведь на материке-то теперь, во Владивостоке, и своему-то народу делать нечего.

— Все-таки, думается, там лучше. Всё не Сокалин… Как Бог.

— Ну а деньги у тебя на дорогу есть?

— Вот три рубля есть.

— Да ведь билет стоит не три рубля, а дороже.

— Может, капитан смилуется, трешницу возьмет.

— Да не может капитан, у капитана — тариф.

— Что ж, сдыхать здесь, что ли? Сдыхать на этом острову проклятом? Сдыхать?

— Подайте, Христа ради, на билет, — слышится то там, то здесь.

Нищие у нищих просят милостыни.

В сторонке, отдельно от других, сидит старик на маленькой укладочке и плачет. Всхлипывает как ребенок, и слезы ручьем текут по его посиневшему, восточного типа лицу.

— Что с тобой, старик?

— Дэнга, бачка, домой на родына ехать нэт.

Двадцать три года ждал он этого дня. Двадцать три долгих года. Двадцать три года сахалинской каторги.

Его фамилия Акоп-Гудович. Двадцать пять лет тому назад этот маленький, несчастный, плачущий как ребенок, старик, тогда, вероятно, лихой горец, участвовал в похищении какой-то девицы, отстреливался, вероятно, метко и попал на каторгу. Двадцать три года мечтал он об этом дне и копил денег на отъезд. Накопил тридцать рублей, явился, и ему говорят:

— Куда ты? Нужно сто шестьдесят пять рублей.

— Братья у меня в Эриванской губернии, жена осталась, дети теперь уже большие. Умирать хотым на родной сторона, — горько рыдает старик.

И сколько таких, как он, отбывших каторгу, поселенье, мечтавших о возврате на родину, дождавшихся желанного дня, пришедших сюда и получивших ответ:

— Сначала припаси денег на билет, а потом и возвращайся на родину.

И сидят они десятками лет на Сахалине, тоскуя о близких и милых, — они, искупившие уже свою вину и несущие все-таки тяжкую душевную

каторгу.

Мимо нас проходит толпа каторжан. Это наши, с «Ярославля». Они поворачивают налево по берегу, к большому одноэтажному зданию «карантина». На дворе карантина уже кишит серая толпа арестантов. А к пристани подходит еще последняя баржа, нагруженная арестантами, которые издали кажутся какой-то серой массой.

Столица Сахалина

I

Так зовут пост Александровский.

— Не правда ли, — услышите вы со всех сторон от господ служащих, — в Александровске ничто не напоминает каторги!

Я не знаю другого места, где все до такой степени напоминало бы о каторге.

Нигде звон кандалов не слышится так часто.

Широкие немощеные улицы, маленькие деревянные дома — все переносит в глухой провинциальный городок. Вы готовы забыть, что вы на каторге. Но раздается лязг кандалов, и из-за угла выходит партия кандальников, окруженная конвоем. И это на каждом шагу.

Нигде истинно каторжные условия сахалинской жизни не напоминают о себе так на каждом шагу. Нигде истинно каторжная нищета, каторжное бездомовье не бросаются так ярко в глаза. На каждом шагу — фигура поселенца, которая медленно, подобострастно, заискивающе, приниженно приближается к вам, снимая картуз еще за двадцать и тридцать шагов.

Словно призрак нищеты.

Типичная фигура сахалинского поселенца. Одежда, перешитая из арестантского бушлата. Что-то такое растрепанное на ногах, не похожее ни на сапоги, ни на коты, ни на что. Тоска на лице.

Сахалинский поселенец всегда начинает свою речь словами «так что» и всегда обязательно ведет ее «издали».

— Так что, как мы, ваше высокоблагородие, теперича на Сахалине неизвестно за что…

— Ну, говори толком, что нужно.

— Так что, как теперича безо всякой вины…

— Да говори же наконец, что тебе нужно.

— Так что, третий день не емши… Не будет ли вашей начальнической милости…

— На. Получай — и проваливай.

А с другой стороны улицы к вам подбирается другая такая же фигура, такая же серая, такая же тоскливая.

Серые призраки сахалинской тоски.

И так же начинает нараспев, тягуче, тоскливо «песнь сахалинской нищеты»:

— Так что, как мы…

А впереди десятки, сотни этих серых призраков поют ту же тоскливую песнь.

Порой среди них вы встретите особенно безнадежно-скорбное лицо.

Это сосланные за холерные беспорядки.

От каторги они все освобождены, перечислены в поселенцы, хозяйства не заводят.

— Не к чему. Скоро выйдет, чтобы всех нас, стало быть, на родину, в Россию, вернуть.

И слоняются без дела на посту, куда пришли узнать, нет ли «манифесту, чтоб домой ехать». День идет за днем, и все тоскливее, безнадежнее делаются лица ожидающих возврата на родину.

Уверенность в том, что их вернут, у этих несчастных так же сильна, как и уверенность в том, что их прислали сюда «безвинно».

— За что прислан?

— Так, глупости вышли… Доктора холеру выдумали. Известью стали народ присыпать, живьем хоронить. Ну, мы это, стало быть, не давать. Глупости и вышли. Доктора, стало, убили.

— За что же убивали?

— Так. Спужались сильно.

— Да ты видел, как живых хоронили?

— Не. Я не видал. Народ видел.

Вот один из зачинщиков страшных юзовских беспорядков. Высокий, рослый мужик. Он был, должно быть, страшен в эти грозные дни, когда,

обезумев от ужаса, ходил по базару с камнем и кричал:

— Бей докторов!

И грозил разбить камнем голову каждому, кто сейчас же не приступит к этой страшной бойне, не пойдет с базара «на докторов».

Теперь у него истомленный долгим, бесплодным скитанием вид. Все ходит по посту, подавая во все учреждения, всем начальствующим лицам самые нелепые прошения. Он подает их всем: тюремному смотрителю, горному инженеру, землемеру и докторам. Он так и ходит с бумагой в руках — и стоит ему увидеть на улице какого-нибудь «вольного человека», он сейчас же подаст ему бумагу.

— Явите начальническую милость…

— Да насчет чего?

— Насчет освобождения…

— Я-то тут при чем. Я, милый, ничего не могу сделать.

— Господи! Да кто же вступится за правду, за истину.

В глазах его блещет отчаяние. Он во всем отчаялся, во все потерял веру — в правду, в справедливость. И только в одном уверен глубоко, всем сердцем, всей душой, — в том, что, призывая

убивать докторов, он пострадал «безвинно».

И в этом вы его не разубедите.

— Как же так? Как не доктора холеру выдумали? Дозвольте вам объяснить…

И он принимается рассказывать про известь, которой «присыпали народ», и про тех, заживо похороненных, которых он не видал, но зато «народ видел».

Вот еще интересный сахалинский тип.

Держится молодцом. Одет щеголевато. Лицо жульническое. Выражение на лице: «готовый к услугам».

Черный «спинжак». Штаны заправлены в высокие крепкие сапоги. На шее — красный шарф. Выправка бывшего солдата.

Сослан за вооруженное сопротивление полиции. Был в Москве в каком-то трактире — притом с отдельными кабинетами — приказчиком. Что там делалось, в этих «отдельных кабинетах», — господь его знает. Но когда нежданно ночью явилась полиция, он пошел на все, чтобы не допустить полиции до «кабинетов». Запер дверь, стрелял, когда ее выломали, из револьвера.

Теперь отбыл каторгу и числится поселенцем. Целые дни вы его видите только на улице, ничего не делающим. На вопрос, чем занимается,

говорит:

— Так… Торгую…

Когда мне нужно познакомиться поближе с кем-нибудь из наиболее темных личностей, он для меня неоцененная протекция.

Как он прикомандировался ко мне, я даже и объяснить не могу. Не успел я ступить на пристань — он вырос передо мною, словно из-под земли, со своим вечным выражением:

«Готовый к услугам»…

Не успеваю я сказать, что мне нужно, он летит со всех ног.

Лошадь нужно — ведет лошадь. Квартиру отыскать — пожалуйте, несколько квартир. На лице готовность оказать еще тысячу услуг. Каких — безразлично. Ни добра, ни зла нет для этого человека, «готового служить» чем угодно и как угодно.

Куда бы я ни пошел, я всюду наталкиваюсь на него. Выхожу утром из дома — как столб стоит у подъезда. Возвращаюсь вечером — в темноте вырастает силуэт.

— Не будет ли каких приказаний на завтра?

— Да объясни ты на милость: чего тебе от меня нужно. Что ты ко мне привязался.

— Ваше высокобродие, явите начальническую

милость. Так что, как вы со всеми господами начальниками знакомы, вам ни в чем не откажут…

— Ну, к делу.

— Билет на выезд на материк. На постройку.

То есть на постройку Уссурийской железной дороги, которая строится каторжными с острова Сахалин.

— Когда еще в «работах» был, я на дороге находился, работал всегда усердно, исправно. Начальство мною было довольно. Ваше высокобродие, явите такую вашу начальническую милость…

И после этого вечный припев при каждой нашей встрече:

— Господи. Работал. Вегда были довольны. И теперь должон на Сакалине пропадать…

Замечаю, однако, что более порядочные поселенцы от моего чичероне, уссурийского труженика, что-то сторонятся.

Спрашиваю как-то у моего кучера, мальчишки из хорошей поселенческой семьи, присланной сюда «за монету»[28]:

— Слышь-ка, что этого, черного высокого, все как будто чураются.

— Не любит его народ, — нехотя отвечает маль-

---

[28] Примечания: 28
За выделку фальшивой монеты.

чишка.

— А за что?

— Кто ж его знает… На дороге там, что ли… палачом был… вот и чураются…

Вот что называется на Сахалине «работой». И вот на какие работы просится уссурийский труженик.

— Ты что ж? — спрашиваю его. — Ты мне прямо говори. Я теперь знаю. Ты в палачи хочешь поехать наниматься?

— Так точно.

И смотрит на меня такими ясными, такими светлыми глазами.

Словно речь идет о самом что ни на есть почтеннейшем труде.

О эта сахалинская улица. Какие встречи на ней!

Надо было мне повидать сахалинскую «знаменитость», палача Комлева.

Отыскал дом, где он временно приютился.

— Подождите, сейчас придет, — сказала мне хозяйка-каторжанка, отданная в сожительницы.

И в комнату вошел Комлев с ребенком на руках.

Комлев явился в пост «на работу», прослышав, что в тюрьмах предстоит повешенье. А «в ожи-

дании работы» нанялся… у поселенки нянчить детей.

Разве не истинно каторжным веет от таких ежесекундных встреч на посту Александровском, от этих на каждом шагу попадающихся на глаза картин нищеты и крайнего падения?

II

Мы на главной улице Александровского. Если бы не серые халаты, не арестантские бушлаты пешеходов, смело можно было бы вообразить себя на какой-нибудь Миллионной или Дворянской улице маленького городка средней полосы России. Широкая немощеная улица. Тротуары, по которым сделаны дощатые мостики. Палисаднички, в которых прозябают жалкие деревца. Одноэтажные деревянные домики.

Каменных зданий на главной улице два: очень красивая часовня, построенная в память избавления государя императора от угрожавшей опасности во время путешествия по Японии, в бытность наследником цесаревичем, и здание метеорологической станции, где помещается также и школа.

Вид главной улицы в обычное время унылый. Необычное время — это если приезжает кто-либо

из Петербурга. Тогда главная улица становится неузнаваемой. В моей коллекции есть несколько фотографий, снятых с этой улицы во время приезда господина начальника главного тюремного управления. И конечно, нельзя узнать унылой сахалинской улицы среди триумфальных арок и флагов. Деревянные домишки становятся, разумеется, неузнаваемыми под зелеными хвойными гирляндами, которыми разубраны их стены. Тогда сахалинская улица имеет действительно блестящий вид. Удивительно прихорашивается, прикрашивается. То же происходит тогда и со всем вообще Сахалином.

Если вы вспомните, однако, что на том месте, где теперь находятся часовня, собор, музей, губернаторский дом, метеорологическая станция, клуб, присутственные места, дома служащих, еще пятнадцать лет тому назад был глухой, непроходимый бор, — нельзя не подивиться быстроте роста сахалинской колонизации.

Пятнадцать лет тому назад — непроходимый лес, теперь — улица как улица.

Словно не на каторге, а в обычном унылом провинциальном городишке. Полной иллюзии мешают, как я уже сказал, костюмы пешеходов да еще кости кита, красующиеся на деревянных

подпорках перед зданием сахалинского музея. Совсем необычное украшение улицы. Кит был выброшен во время шторма на отмель, и его кости — предмет гордости музея. «Их моют дожди, посыпает их пыль», а навес для них все еще «думают» и «собираются» строить. «Думать» и «собираться» — два самых распространенных занятия на острове Сахалин.

Сахалинский музей — маленькое, но очень интересное учреждение. Все, что могла дать бедная история и этнография печального острова, вы найдете здесь в нескольких маленьких комнатах. На вас глядят унылые манекены туземцев, дикарей Сахалина: гиляков, орочон, тунгусов, айнов. Тупые, добродушные, плоские лица гиляков в меховых одеждах. Щурят свои калмыцкие глаза тунгусы и орочоны, зашитые в меха. Невыносимо воняют айны в их разноцветных праздничных нарядах из рыбьей кожи — это загадочное, вымирающее племя, какая-то смесь монгольского типа с кавказским, странные дикари с волосами поэтов и добрыми, мечтательными глазами. Вам покажут в музее домашнюю утварь, оружие этих дикарей, предметы их религиозного культа. Покажут чучела птиц, заспиртованных рыб, водящихся в сахалинских реках, отрезы деревьев,

образцы сахалинского каменного угля, кое-какие вещицы, вроде остатков каменного века, по которым можно еле-еле наметить историю дикарей острова Сахалин.

Есть две-три гипсовые группы, изображающие выволочку каторжанами бревна из тайги. Они свидетельствуют о том, что на Сахалин попал талантливый человек, из которого при других условиях вышел бы недурной скульптор.

— Ну а где же отдел, посвященный каторге, в этом специальном сахалинском музее? — спросил я у господина заведующего.

— Каторга меня не интересует.

И в этом ответе послышалось обычное на Сахалине, типичное полное пренебрежение к каторге, к ее жизни и быту.

— Меня интересуют только чисто научные вопросы.

Как будто изучение этих «отбросов общества» не представляет уже никакого научного интереса.

Быт каторги меняется в связи с переменой взглядов на преступление и наказание. Веяние великого гуманного века, теплое, и мягкое, и согревающее, как летний ветерок, все-таки чувствуется и здесь. Многое, что вчера еще было

ужасной действительностью, сегодня уже отходит в область страшных преданий. И какой бы богатый, поучительный материал по истории каторги мог бы собрать сахалинский музей!

Я уже не говорю о том неоцененном материале для ученых, для антропологов, для юристов, для врачей, который погибает на Сахалине, благодаря тому что там, на каторге, меньше всего интересуются каторгой. Несколько времени тому назад один из врачей начал составлять коллекцию типов преступников. Для съемки так называемых антропологических карточек он устроил при лазарете фотографию. Работы шли прекрасно. Коллекция шла прекрасно и обещала быть ценным вкладом в науку. Как вдруг такое невинное занятие было найдено почему-то предосудительным. Фотографию приказано было уничтожить.

Почему?! По недоразумению, по незнанию… И неоцененный материал для науки гибнет, с одной стороны, вследствие незнания, с другой — вследствие пренебрежения к каторге.

— Изучать кого же? «Каторгу». — Это на Сахалине кажется таким же смешным, как у нас серьезным.

Жизнь сахалинских служащих — жизнь унылая, серая, однообразная. Все их ежедневное

общение с миром состоит в получении телеграмм «Российского телеграфного агентства». Телеграммы имеются ежедневно, за исключением, конечно, тех случаев, когда телеграф испорчен. А это случается часто и подолгу. Тогда сахалинские служащие чувствуют себя окончательно отрезанными от всего мира и, по их словам, чувствуют тогда гнетущую, давящую, ноющую тоску.

— Словно заперли умирать в каземат, и никто не услышит ни крика, ни вопля, ни стона, — как говорила мне одна из сахалинских дам.

Телеграммы, этот последний нерв, соединяющий «мертвый остров» с живым миром, получаются служащими в складчину и в посту Александровском печатаются в казенной типографии. Зайдем туда. Здесь действительно можно на минуту забыть, что находишься на каторге. Знакомая близкая обстановка: кассы, реалы. Привычный стук литер о «верстатку». Запах типографской краски. Из всех сахалинских мастерских здесь мы можем рассчитывать на прием наиболее теплый, дружеский, в котором есть даже что-то родственное. Журналист и наборщик, когда они встречаются между собой, — как во встрече двух солдат одного и того же полка.

К тому же приятно и поговорить на этом особом языке типографских терминов, близком и понятном нам обоим. На языке, на котором давно не приходилось говорить.

— Чисто как я в Москве, — улыбаясь, говорит мне метранпаж.

Мы оказываемся старыми знакомыми. Он из Москвы, набирал в той газете, где я писал. Судился за преступление, которое слушалось при закрытых дверях.

Бедная техническими средствами сахалинская типография работает на славу — и на простом «тискальном станке» ухитряется печатать официальное издание «Сахалинский календарь» в тридцать печатных листов. В некотором роде подвиг, который из читателей оценят только господа типографы.

Среди наборщиков — оригинальный тип. Старичок в очках. Бродяга. Всю свою жизнь состоит при «журнальном деле».

— Еще работал в покойном, блаженной памяти, «Морском сборнике».

И он говорит о «покойном», как будто речь идет об умершем родственнике. С какой любовью он говорит со мной о журнале!

— Скучаете здесь по журналам?

Он улыбается грустной улыбкой.

— Шибко-с. Ведь вся жизнь прошла в этом деле. Свыкнешься… Одно вот теперь успокоение нахожу: когда телеграммы набирать. Набираешь — ровно «на газете» работаешь. Так иной раз замечтаешься — смешно-с…

И на глазах старика, смеющегося над своими мечтаниями, навертываются слезы.

— А за что здесь-то?

— Из бродяг-с.

— И нельзя открыться?

— Невозможно-с.

Чего натворил этот старичок, находящий себе поэзию в наборе телеграмм и говорящий, словно о человеке, о «покойном журнале»?

В переплетной при типографии мы встречаем интересную личность — в некотором роде недавнюю «знаменитость».

Петербургский «убийца в Апраксином переулке». Преступление, обратившее на себя внимание своим спокойствием, жестокостью, зверством. Молодой парнишка, он убил с целью грабежа трех женщин. Присужден к двадцати годам каторги. Вот странные глаза. Совершенно желтого, золотистого цвета. Такие глаза бывают только у кошек. Он смотрит на вас прямо, открыто, зорко,

и, если можно так выразиться, никакой души не чувствуется в этих глазах. Ни злой, ни доброй — так, совсем никакой. Такой взгляд встречается у особенно зверских, холодных и спокойных убийц с целью грабежа. Они обыкновенно очень благообразны, даже симпатичны. На лице у них вы напрасно стали бы искать какой-нибудь «печати Каина», каких-нибудь «зверских» черт. Только в глазах нет тихого мерцания души. Только во взгляде вы читаете, что чего-то человеческого не хватает этому существу. И вы ясно представляете себе, как он убивал. Он смотрел, вероятно, на свою жертву тем же спокойным взглядом. Холодным, пристальным взглядом очковой змеи. И от этого взгляда холодно, вероятно, делалось на душе у жертвы. Ни злобы, ни ненависти, ни бешенства не было в этом взгляде. Он смотрел с любопытством на льющуюся кровь, на предсмертные судороги жертвы. С любопытством кошки, раздавившей лапой таракана. И только. Чувство жалости, чувство сострадания атрофировано у этих людей — читается в их взгляде. Они лишены от рождения чувства жалости, как бывают люди, лишенные от рождения чувства зрения.

Бойкий, расторопный мальчишка смотрит своими кошачьими глазами и спокойно расска-

зывает, как убивал.

— Как же это так?

— С куражу.

— Пьян был?

— Никак нет. А так вся жизнь тогда в кураже была. Лакеем служил, половым. Постоянный кураж кругом. С куражу и подумал: «Пойтить убить — денег добуду».

— Ну а теперь?

— К ремеслу приучаюсь.

И он с любовью — с любовью, в которой есть что-то сентиментальное, — показывает переплет, который только что сделал.

Переплет, любовно сделанный теми же руками, которые так спокойно убивали людей.

— Отличный переплет, братец, у тебя вышел.

По его лицу расплывается широчайшая улыбка удовольствия.

Удивительно странное впечатление производит этот мальчик, из зверя-убийцы превращающийся в подмастерье, которого тешит его дело. Словно зарезал троих и сел в игрушки играть.

Приговаривается к каторжным работам

Выражаясь по-сахалински, в «пятом» (1895) году на Сахалин было сослано две тысячи двести двенадцать человек, в «шестом» — две тысячи семьсот двадцать пять.

Замечательное дело: мы ежегодно приговариваем к каторжным работам от двух до трех тысяч, решительно не зная, что же такое эта самая каторга?

Что значат эти приговоры «без срока», на двадцать, на пятнадцать, на десять лет, на четыре, на два года?

А потому, прежде чем ввести вас во внутренний быт каторги, познакомить с ее оригинальным делением на касты, ее обычаями, нравами, взглядами на религию, закон, преступление и наказание, — я должен познакомить вас с тем, что такое эта самая «каторга», какому наказанию подвергаются люди, ссылаемые на Сахалин.

Как мы уже видели, все каторжники делятся на два разряда: разряд испытуемых и разряд исправляющихся.

В разряд испытуемых попадают люди, приговоренные не меньше как на пятнадцать лет каторги.

Бессрочные каторжники должны пробыть в разряде испытуемых восемь лет, присужденные к работам не свыше двадцати лет — пять лет, и присужденные к работам от пятнадцати до двадцати лет — четыре года. Остальные обыкновенно сейчас же зачисляются в разряд «исправляющихся».

Только тюрьма для испытуемых и представляет собою «тюрьму» так, как ее обыкновенно понимают.

«Испытуемая», или, как ее обыкновенно зовут в просторечье, «кандальная», тюрьма построена обыкновенно совершенно отдельно, огорожена высокими «палями» — забором. Вдоль стен ходят часовые, что не мешает «испытуемым» бегать и из этих стен, на виду у этих часовых. Какой стеной удержишь, каким часовым испугаешь человека, которому, кроме жизни, нечего уже больше терять? И которому смерть кажется «сластью» в сравнении с этой ужасной жизнью в кандальной?

Доступ посторонним лицам в тюрьму для испытуемых закрыт. Их держат, как зачумленных, совершенно изолированно от остальной каторги,

даже больницы для «испытуемых» — совершенно отдельные. Но это, конечно, ничуть не мешает «исправляющимся» арестантам все-таки проникать в кандальную, приносить туда водку, играть в карты. Изобретательности, находчивости каторги нет пределов. Да к тому же на Сахалине все покупается, и покупается очень дешево.

От весны до осени, с начала и до окончания «сезона бегов» испытуемым арестантам бреют половину головы и заковывают в ножные кандалы. И тогда сахалинский воздух, и без того проклятый, наполняется еще и лязгом кандалов. Еще издали, подъезжая к тюрьме, вы слышите, как гремит цепями кандальная. От весны до осени наполовину бритые арестанты теряют человеческий облик и приобретают «облик звериный», омерзительный и отвратительный. Что, конечно, глубоко мучит тех из «испытуемых», которые ни о каких «побегах» не думают и решили было терпеливо нести свою тяжкую долю. Это заставляет их решаться на такие поступки, которые при других условиях, быть может, и не пришли бы им в голову.

Время работ как «испытуемых», так и «исправляющихся» полагается по расписанию, глядя по времени года, от семи до одиннадцати часов в

сутки. Но это расписание никогда не соблюдается. Если есть пароходы, в особенности Добровольного флота, которые терпеть не могут никаких задержек, каторжные работают «сколько влезет» и даже сколько не влезет. Тогда каторжане превращаются совсем в крепостных господ капитанов. И я сам был свидетелем, как работы, начинавшиеся в пять часов утра, оканчивались в одиннадцать часов вечера: разгружался пароход Добровольного флота.

Кроме трех дней для говенья и воскресений, праздничных дней для «испытуемых» каторжников полагается в год четырнадцать.

Крещение, Вознесение Господне, Троицын и Духов дни, Благовещение — все это не праздники для испытуемых. Но и это требование закона не всегда соблюдается. И из этих четырнадцати дней отдыха у «испытуемых» отнимается несколько. Я сам был свидетелем, как каторжных гнали разгружать пароход Добровольного флота в праздник, в который они по закону освобождены от работы. Заставляли их работать тогда в такой день, когда даже крепостные в былое время освобождались от работ.

Отсюда возникают те бунты, которые вызывают «соответствующие меры» для усмирения. Меры,

при которых часто достается людям ни в чем не повинным и которые еще больше озлобляются на и без того достаточно мучающуюся каторгу.

Так было и тогда. Кандальные арестанты Корсаковской тюрьмы решительно отказались идти разгружать пароход в праздник.

— Не закон!

Им напрасно обещали, что вместо этого дня им дадут отдохнуть в будни.

— Знаем мы эти обещания! Сколько дней так пропало! — отвечали кандальные каторжной тюрьмы и решительно не вышли на работу.

— Вот-с она, вот-с, до чего доводит эта «гуманность»! — со скорбью и злобой говорил мне по этому поводу смотритель. — Как же! У нас теперь «гуманность». Начальство не любит, чтоб драли! Что ж, я вас спрашиваю, я стану с ними, мерзавцами, делать?!

А каторжанин, к которому я обратился с вопросом:

— Почему вы не хотите выходить на работу? Ведь хуже будет!

Отвечал мне, махнув рукой:

— Хуже того, что есть, не будет. Помилуйте, ведь нам для того и праздничный день дан, чтоб мы могли хоть на себя поработать, хоть зашить,

пришить что. Ведь мы наги и босы ходим. Оборвались все. День-деньской без передышки, да еще и в законный праздник, да еще в кандалах, иди на них работать. Где уж тут хуже быть!

Изменить на Сахалине установленный самим законом порядок ровно ничего не стоит любому капитану, находящемуся в хороших отношениях со смотрителем.

— Надо поехать к смотрителю! — говорит агент какой-нибудь торговой фирмы. — Сказать, чтоб людей послал. А то пароход наш зафрахтованный пришел. Что ж ему так-то стоять!

— Да ведь сегодня по закону такой праздник, когда каторжные освобождены от работы!

— Ничего не значит.

— Да ведь по закону!

— Пустяки.

Если вы к этому прибавите дурную, вовсе не питательную пищу, одежду и обувь, решительно не греющие при мало-мальском холоде, — вы, быть может, поймете и причины того, что терпение этих «испытуемых» людей подчас лопается, и причины их безумных побегов, и причину того озлобления, которым дышит каторга.

Я по возможности избегал посещать кандальные тюрьмы вместе с господами смотрителями.

Мне хотелось провалиться на месте от тех вещей, которые им в лицо говорили каторжане. Говорили с такой дерзостью, какая никогда не приснится нам. С дерзостью людей, которым больше уж нечего бояться. Говорили, рискуя многим, чтобы только излить свое озлобленное чувство, — говорили потому, что уж, вероятно, язык не мог молчать.

В кандальной Рыковской тюрьме, когда я приехал туда, царило такое озлобление, что смотритель не сразу решился меня вести.

— Да это такие мерзавцы, которых и смотреть не стоит! — «разговаривал» он меня.

— Да ведь я и на Сахалин приехал смотреть не рыцарей чести!

Кандальное отделение сидело уже две недели «на параше». Они отказывались работать, их уже две недели держали взаперти, никуда не выпуская из «номера», только утром и вечером меняя «парашу», стоявшую в углу. В этом зловонном воздухе люди, сидевшие взаперти, казались действительно зверями. И, не стану скрывать, было довольно жутко проходить между ними. Каждый раз, когда я касался вопроса: «Почему не идете на работу?» — было видно, что я касаюсь наболевшего места.

— И не пойдем! — кричали мне со всех сторон. — Пускай переморят всех — не пойдем!

— Ты за что? — обратился к одному, стоявшему как истукан у стенки и смотревшему злобным взглядом.

— А тебе на что? — ответил он таким тоном, что один из каторжников тронул меня за рукав и тихонько сказал:

— Барин, поотойдите от него!

Принимая меня за начальство, они нарочно говорили таким тоном, стараясь вызвать меня на резкость, на дерзость, думая сорвать на мне накопившееся озлобление.

«Испытуемые» посылаются на работы не иначе как под конвоем солдат. И вы часто увидите такую, например, сцену. «Испытуемые» разогнали пустую вагонетку, на которой они перевозят мешки с мукою, и повскакали на нее. Вагонетка летит по рельсам. А за нею, одной рукой поддерживая шинель, в которой он путается, и с ружьем в другой, задыхаясь, весь в поту, бежит солдат. А на вагонетку каторжане его не пускают:

— Нет! Ты пробегайся!

— Братцы, ну зачем вы такое свинство делаете? — спрашиваю как-то у каторжан. — Ведь он такой же человек, как и вы!

— Эх, барин! Да ведь надо же хоть на ком-нибудь злость сорвать! — отвечают каторжане.

Зато не на редкость и такая, например, сцена.

Один из «испытуемых», с больной ногой, поотстал от партии поправить кандалы. Конвойный его в бок прикладом.

— Ну, за что ты его? — говорю. — Видишь, человек больной.

Конвойный оглянулся:

— А ты не лезь, куда не спрашивают!

И во взгляде его светилось столько накипевшей злобы.

Вот еще люди, которые отбывают на Сахалине действительно каторжную работу!

В посту Александровском, в клубе для служащих, служит лакеем Николай, бывший конвойный, убивший каторжника и теперь сам осужденный на каторгу.

— Как живется? — спрашиваю.

— Да что ж, — отвечает, — допрежде действительно конвойным был, а теперь, слава богу, в каторгу попал.

— Как — слава богу?

— А то что ж! Работы-то те же самые, что и у них: так же бревна, дрова таскаем. Да еще за ними, за чертями, смотри. Всякий тебе норовит

подлость сделать, издевку какую учинить, «засыпать». Того и гляди — влетишь за них. Гляди в оба, чтобы не убег. Да поглядывай, чтобы самого не убили. А тронешь кого — сам под суд. Нет, в каторге-то оно поспособней. Тут смотреть не за кем. За мной пусть смотрят!

Пройдитесь пешком с партией кандальных, идущих под конвоем. О чем разговор? Непременно про конвойных. Анекдоты рассказывают про солдатскую глупость, тупость, хохочут над наружностью конвойных, а то и просто ругаются.

А каторга, надо ей должное отдать, умеет человеку кличку дать. Такую, что его и в жар и в холод бросит. И шагают конвойные с озлобленными, перекошенными от злости лицами, еле сдерживаясь.

— А ты слушай! — злорадствует каторга.

Замолкнет на минутку партия — и сейчас же какой-нибудь снова начнет:

— Какие, братцы вы мои, самые эти солдаты дурни, — и уму непостижимо!

И «пойдет сначала».

Немудрено, что эти несчастные в конце концов озлобляются невероятно. Даже служащие жалуются на них:

— Хуже каторжных.

Иду как-то слишком близко от какого-то амбара.

— А ты, черт, зачем здесь ходишь! — кричит часовой. — Не смей здесь ходить, дьявол!

— Да ты чего же сердишься-то? Ты бы без сердца сказал.

— Рассердишься тут! — как будто немножко смягчившись, сказал часовой, но сейчас же опять «вошел в сердце». — Да ты не смей со мной разговаривать! Ежели будешь со мной разговаривать, я тебя прикладом!

Люди действительно озлоблены до невероятия. Это взаимное озлобление особенно сказывается при бегстве каторжных и при ловле их солдатами.

— Жалко, что не убил конвойного! — с сожалением говорил беглый, добродушнейший, в сущности, парень, бежавший для того, чтобы переплыть на лодке… в Америку.

— Да зачем же это тебе?

— А с нами они что делают, когда ловят?!

Такова атмосфера, которой дышит «испытуемая» тюрьма.

Озлобленные «испытуемые» вселяют к себе страх, который господа смотрители стараются обыкновенно прикрыть презрением.

— Я с такими мерзавцами и разговаривать-то не хочу. Если негодяй — так я его и видеть не желаю!

Можете себе представить, что творится в «испытуемых» тюрьмах, предоставленных целиком на усмотрение надзирателей, часто тоже из бывших каторжных. Что делается в этих тюрьмах, наполненных тягчайшими преступниками и месяцами не видящих никакого начальства. Что там делается с каторжными и каторжными же над каторжными.

— Да и зайти опасно! — объясняют господа служащие. — Ведь это все дышит злобой!

И это правда… Хотя ходят же туда доктора Лобас, Поддубский-Чердынцев. И я думаю, что самым безопасным на Сахалине местом для семейств всех этих лиц была бы кандальная тюрьма, а именно то ее отделение, где содержатся бессрочные. Здесь они могли бы чувствовать себя застрахованными от малейшей обиды. Почему это — в другом месте.

Благодаря массе различных причин атмосфера «испытуемой» тюрьмы — недовольство, ее религия — протест. Протест всеми мерами и всеми силами.

Подчас этот протест носит забавную, но на Са-

халине небезопасную для протестующих форму. «Испытуемые», например, не снимают шапок. Еду как-то мимо партии кандальных. Смотрят вызывающе — только один нашелся, снял шапку.

Я ответил ему тем же, снял шапку и поклонился. Моментально вся партия сняла шапки и заорала:

— Здравствуйте, ваше высокоблагородие!

И изводили же они меня потом этим снимание шапок!

Такова кандальная тюрьма.

По правилам в ней содержатся только наиболее тяжкие преступники, от «пятнадцатилетних» до бессрочных каторжников включительно.

Но, входя в кандальную, не думайте, что вас окружают исключительно «изверги рода человеческого». Нет. Наряду с отцеубийцами вы найдете здесь и людей, вся вина которых заключается в том, что он загулял и не явился на поверку. В толпе людей, одно имя которых способно наводить ужас, среди «луганского» Полуляхова, «одесского» Томилова, «московского» Викторова можно было видеть в кандалах бывшего офицера К-ра, посаженного в кандальную на месяц за то, что он не снял шапки при встрече с господином горным инженером. Я знаю случай, когда жена одного из господ служащих просила посадить в

кандальную одного каторжника за то… что он ухаживал за ее горничной, вызывал на свидания и тем мешал правильному отправлению обязанностей. И посадили, временно перевели «исправляющегося» в разряд «испытуемых» по дамской просьбе.

Как видите, здесь смешано все, как бывает смешано в выгребной яме.

И человек, только не снявший шапки, гниет в обществе убийц по профессии.

Окончив «срок испытуемости», долгосрочный каторжанин из кандальной переходит в «вольную тюрьму»…

Так в просторечье зовется отделение для исправляющихся.

Сюда же попадают прямо по прибытии на Сахалин и «краткосрочные» каторжники, то есть приговоренные не более чем на пятнадцать лет каторги.

«Исправляющимся» дается более льгот. Десять месяцев у них считается за год. Праздничных дней полагается в год двадцать два. Им не бреют голов, их не заковывают. На работу они выходят не под конвоем солдат, а под присмотром надзирателя. Часто даже и вовсе без всякого присмотра. И вот тут-то происходит чрезвычайно курьезное

явление. Самые тяжкие, истинно «каторжные» работы, например вытаска бревен из тайги, заготовка и таска дров, достаются на долю «исправляющихся» — менее тяжких преступников, в то время как тягчайшие преступники из отделения «испытуемых» исполняют наиболее легкие работы. Человек, приговоренный на четыре-пять лет за какое-нибудь нечаянное убийство во время драки, с утра до ночи мучится в непроходимой тайге, в то время как человек, с заранее обдуманным намерением перерезавший целую семью, катает себе вагонетки по рельсам.

— Помилуйте! Разве мы можем посылать «испытуемых» в тайгу? Конвоя не хватит, солдат мало.

Судите сами, может ли такой «порядок» внушить каторге какое-нибудь понятие о «справедливости» наказания — единственное сознание, которое еще может как-нибудь помирить преступника с тяжестью переносимого наказания.

— Какая уж тут правда! — говорят «исправляющиеся». — Что кандальник головорез, так он поэтому и живи себе барином: вагончики по рельцам катай. А что я смирный да покорный и меня без конвоя послать можно, так я и мучься в тайге. Нешто мое-то супротив его-то преступленье?

Тюрьма для «исправляющихся» — это менее всего тюрьма. Прежде всего, это ночлежный дом, грязный, отвратительный, ужасный.

Когда я вошел первый раз под вечер в «номер», где содержатся бревнотаски, дровотаски и вообще занимающиеся более тяжкими работами, у меня закружилась голова и начало мутить. Такой там «дух»!

Арестанты только что вернулись из тайги, где они работали по колено в талом снегу. Онучи, коты, бушлаты — все было на них мокрое. И они лежали в поту, во всем мокром, на нарах. Я велел одному раздеться и должен был отступить: такой запах шел от этого человека.

— Да ведь ты преешь весь?

— Что же делать-то! Прею. На ноги вон и то уж больно вступить.

— Чего ж ты не разденешься? Не развесишь платье посушить?

— Развесь! Развесил вон Кузька халат да онучи, задремал, — и свистнули.

— Это у нас недолго! — подтверждали, улыбаясь, каторжане.

Можете себе представить, что делается с этими людьми, по неделям не раздевающимися. Если бы кто-нибудь и пожелал вести себя почище,

благодаря общим нарам — это невозможно. У них и паразиты общие. Помню, разговариваю в Онорской тюрьме с одним белобрысым арестантом, а каторжане меня предупреждают:

— Барин, велите-ка ему от вас поотодвинуться: с него падают.

И с этаким-то субъектом лежать рядом на нарах! Заботься тут о чистоте!

Этим объясняется и «непонятная», как говорят господа смотрители тюрем, страсть каторжан спать под нарами.

— Не лежится ему на нарах, под нары, в слякоть лезет!

Лучше уж лежать в слякоти, чем рядом с таким субъектом!

Мне говорили многие из каторжан, что они сначала даже есть не могли.

— Тошнило. Везде ползают… Да и теперь припрячешь хлеба кусок: «приду, мол, с работы — пожую». Возьмешь, а по нем ползут… Тьфу!

Каждый раз, когда мне случалось провести несколько часов в тюрьме, мое платье и белье было полно паразитов. Чтобы дать вам понятие об этой ужасающей грязи, я скажу только, что должен был выбросить все платье, в котором я ходил по тюрьмам, и остригся под гребенку. Других

средств «борьбы» не было! И в такой обстановке живут люди, которым нужны силы для работы.

Второе назначение «вольной тюрьмы» — быть игорным домом. Игра идет с утра до ночи и с ночи до утра. В каждую данную минуту заложат банк в несколько десятков рублей. Игра идет на деньги и на вещи, на пайки хлеба за несколько месяцев вперед, на предстоящую дачку казенного платья. Все это сейчас же можно реализовать у тюремных ростовщиков, вертящихся тут же. Играют каторжане между собой. Сюда же являются играть и поселенцы. Играют старики и… дети. При мне в Дербинской тюремной богадельне поселенец, явившийся продавать в казну картофель, проиграл вырученные деньги, телегу и лошадь. В Рыковской тюрьме к смотрителю при мне явилась с воем баба-поселенка.

— Послала мальчонку в тюрьму хлеба купить. А они, изверги, заманули его в «номер» и обыграли.

— Не верьте ей, ваше высокоблагородие, — оправдывалась каторга, — она сама посылает мальчонку играть. Кажный день он к нам ходит. Выиграет — небось, ничего, а проиграл — «заманули». Заманешь его, как же!

На поверку это все оказалось правдой…

«Исправляющиеся» выходят из тюрьмы в течение дня свободно. Они обязаны только исполнить заданный «урок» и явиться вечером к поверке. Все остальное время они шатаются, где им угодно. Точно так же свободно входят и выходят из тюрьмы посторонние лица; это облегчает сбыт краденого. Около «тюрьмы исправляющихся» всегда толпится несколько десятков поселенцев, по большей части татар. Это все ростовщики, покупатели краденого.

Третья роль, которую играет «вольная тюрьма», — это быть притоном и бездомовных, и даже беглых.

Тюрьма, надо ей отдать справедливость, с большой жалостью относится к участи поселенцев. Ведь поселенец — это будущее каторжника. Зайдя во время обеда в «вольную тюрьму», вы всегда застанете там кормящихся поселенцев. Хлеба каторжане им не дают.

— Потому самим не хватает.

А похлебки, баланды, которую каторга продает по пять копеек ведро на корм свиньям, отпускают сколько угодно. Таким образом, в годы безработицы и голодовки в «вольной тюрьме», говоря по-сахалински, «кормится в одну ручку» подчас до двухсот поселенцев. В «вольную» же тюрь-

му ходят ночевать и бездомовные поселенцы, пришедшие «с голоду» в пост из дальнейших поселений и не имеющие где приклонить голову.

Они приходят перед вечером, забираются под нары и там спят до утра.

Право, есть что-то глубоко трогательное в этом милосердии, которое оказывают нищие нищим. И сколько раз воспоминание об этом поддерживало меня в те трудные минуты, когда мой ум мутился и каторга благодаря творящимся в ней ужасам казалась мне только «скопищем злодеев». Нет, даже в тюрьме, в этой злой, гнойной яме, живет «человек»!

«Вольная тюрьма» служит часто притоном для беглых каторжников, бежавших из других округов. Так, например, страх и ужас Сахалина, Широколобов, отковавшийся от тачки и бежавший из Александровской кандальной тюрьмы, Широколобов, за поимку которого обещано сто рублей, неуловимый Широколобов, для поимки которого посылают целые отряды и переодетых сыщиков-надзирателей, — этот самый Широколобов тихо и мирно скрывался целую зиму в Рыковской тюрьме.

— И получал казенный паек! Какова бестия! — восклицали начальники округа и смотритель

тюрьмы.

— Да как же это могло случиться?

— А очень просто. В лицо мы его не знаем. Почем знать: кто он такой? А каторга уж, разумеется, не выдаст. Так и прожил всю зиму. А потеплело, ушел — и «дела творит». Что с ним поделаешь?

Вообще, вольности «вольных тюрем» неисчислимы. Надо было мне отыскать арестанта П., известного преступника. Справляюсь у смотрителя.

— На мельнице работает.

Иду на мельницу.

— Нет.

В другой раз «нету». В третий «нету». Ходил в шесть часов утра — все «нету». За это время каторга успела уж со мной познакомиться, я уже стал пользоваться ее доверием. Мне и говорят на мельнице:

— Да он здесь, барин, никогда и не бывает. Он за себя другого поставил. За полтора целковых в месяц нанял. А сам в тюрьме постоянно. У него там дело: он и майданщик (содержатель буфета и тюремного стола), он и барахольщик (старьевщик), он и отец (ростовщик).

Посмотрел из любопытства на «сухарника» (человек, который нанимается за другого нести

каторгу). Жалкий мужичонка, приговоренный на четыре года за убийство в драке, в пьяном виде, в престольный праздник. До часа дня он работает на мельнице за другого, а с часа до вечера исполняет свой «урок». В чем только душа держится, а несет две каторги.

И такие случаи на Сахалине не только не редки — они ординарны, заурядны, обыкновенны. Человек, в пьяном виде попавший в беду, отбывает двойную каторгу, а преступник по профессии, один из «знаменитейших» убийц, гуляет, обирает каторгу, наживается на этих несчастных.

Полтора рубля на Сахалине — это побольше, чем у нас пятнадцать.

Таковы нравы тюрьмы для «исправляющихся».

За хорошее поведение арестанта по истечении некоторого времени могут освободить совсем от тюрьмы. Он переходит тогда в «вольную каторжную команду», живет не в тюрьме, а на частной квартире, и исполняет только заданный на день «урок».

И если бы вы знали, как всё, что есть мало-мальски порядочного в тюрьме, стремится к этому! Как они мечтают вырваться из этой физической и нравственной грязи тюрьмы и поселиться на вольной, на «своей» квартирке. Но к сожалению,

это не всем удается, не всем желающим дается. Сам смотритель не может знать каждого из сотен своих арестантов. Аттестация о «хорошем поведении» зависит от надзирателей, часто самих бывших каторжников. «Представление» о переводе в вольную команду составляется писарями, назначаемыми исключительно из каторжных. Они всё держат в своих руках. И часто из-за неимения двух-трех рублей бедняге-каторжанину приходится отказаться от мечты о «своем» угле, от всякой надежды на облегчение участи…

Вырвавшиеся всеми правдами и неправдами в «вольную команду» или снимают где-нибудь койку за полтинник в месяц, или живут по двое в хибарках. В каждом посту есть такая «каторжная слободка».

Заходишь — бедность страшная, имущества никакого. А у людей все-таки в глазах светится довольство.

— Слава те господи, вырвались из «ее», проклятой.

Сами себе господа! Хибарка — повернуться негде. И боже, что за людей сводит судьба вместе! Зайдем в одну мазанку. На пространстве в пять шагов длины и ширины живут двое.

Один — поляк. Ему сорок лет от роду, а на

вид — шестьдесят. Он похож на огромный, сгорбившийся скелет. Лицо желтое, обтянутое. Глаза горят мрачным огнем. Он вечно угрюм, необщителен, ни с кем не говорит. Присужден на двадцать лет за то, что нанял убийц убить жену. Он замучен был ревностью, но боялся убить сам. Много, вероятно, бурь пережил этот преждевременно поседевший, сгорбившийся, высохший человек.

Его «половинщик» — паренек Воронежской губернии. Попал за насилие над девушкой.

— Пьян был, ваше высокородие. Гурьбой шли. А она навстречу. Может, я, а может, и не я. Ничего не помню!

И живут эти два полюса вместе.

Вот другая пара.

«Сурьезный», старый мужик, сибиряк. Атлет по сложению. Лицо всегда строгое. Глаза светятся холодным, спокойным блеском. В них чуется заледенелая душа. Так же холодно и спокойно, вероятно, смотрели эти глаза и в то время, когда он, хозяин постоялого двора, убивал топором четырех спавших постояльцев: трех захмелевших купцов и ямщика. Натура сильная, могучая. Его «бес попутал». Когда такого человека «бес попутает», он пойдет на все, не остановится ни перед

чем. Жалость, сострадание чужды его душе. Он слишком могуч для таких «слабостей». От него веет настоящей трагической фигурой.

Вместе с ним живет рыжий мужичонка, добродушнейшее в мире существо, который даже о своем преступлении вспоминает так, что нельзя не улыбнуться.

— На сходе было… Мужика не в число, знать, ударили, а мужик-от осерчал, да и помер, дай Бог ему царствия небесного, вечный покой!

— И ничего? Уживаетесь? — спрашиваю.

— Парень не озорник! — отзывается старик о своем «половинщике».

— Живем! Чаво ж нам?! — улыбается мужичонка.

Повторяю, в общем, по большей части стремящиеся жить на вольной квартире — это лучшее, что есть на каторге. Игроки, моты, пьяницы, ростовщики — тем не в пример «способнее» жить в тюрьме. И когда подумаешь, что в их обществе должен гнить хороший человек только потому, что у него нет двух-трех рублей для надзирателей и писарей за «аттестацию» и «представление»!

«Кандальная», «вольная тюрьма» и «вольная команда» — перед нами прошла вся тюремная карьера каторжника. Обычный порядок.

Но весь этот порядок опрокидывается вверх ногами, если за прибывшим на Сахалин самым тяжким преступником следует семья и особенно если к тому же он хорошо знает какое-нибудь мастерство.

Если он, например, хороший слесарь, токарь или резчик по дереву — он уже не обыкновенный арестант, а persona grata, даже persona gratissima[29]. Уж не он ищет, а в нем ищут. В Александровске, например, есть резчик Кейзер. И вы сразу видите в обращении с ним даже общую почтительность. Еще бы! Это единственный резчик во всем посту; нужно кому-нибудь из служащих хорошенькую вещицу — бегут к нему. Он тонко и искусно выполняет те вещи, которые посылают в Хабаровск, чтобы показать, как процветают и на какой высокой ступени развития стоят сахалинские мастерские.

— Ему лафа! — помню, с иронической улыбкой говорил мне про него один кандальник. — А только я вам скажу, он не то что хороший резчик по дереву, а недурно режет и по горлу. Не хуже нас, многогрешных. А живет барином.

Если за каторжником приходит семья, он

---

[29] Примечания: 29

Желательная личность; желательнейшая личность *(лат.)*.

выпускается из тюрьмы, на два года совсем освобождается от каких бы то ни было работ, а затем работает поурочно, причем ему «урок» должны назначать такой, чтобы это не мешало правильному ведению хозяйства.

Случается так, что за одно и то же преступление, на один и тот же срок, приходят двое преступников. За одним следует семья — и он живет «на воле», два года ничего не делает. А другой — холостой и потому сидит в кандальной тюрьме, на лето ему бреют голову, его заковывают.

Убийца-зверь, убийца по профессии, гуляет на свободе и работает на себя, потому что он семейный. А человек, осужденный на семнадцать с половиной лет за то, что, разговаривая с фельдфебелем, он наговорил дерзостей и сорвал с себя погоны, томится в кандальной тюрьме.

— Знал бы, наперед женился, — смеются каторжане.

Все это мало внушает каторге мысль о справедливости наказания, которое они несут.

Один из кандальных, в беседе с глазу на глаз, убеждал меня, что ему необходимо бежать. И как я его ни отговаривал, стоял на своем:

— Невмоготу мне!

— Ну послушай. Будем говорить прямо. Тяжко

наказание, это верно. Но ведь ты же его заслужил. Ведь ты же в полчаса пять человек топором убил. Ведь должна же быть на свете справедливость!

— Так! А тут есть, которые не по пяти, а по восьми человек резали, и живут на воле, а не в кандальной, потому что за ними жены пришли. И выходит, стало быть, что я не потому в кандалах сижу, что пять душ загубил, а потому, что я холостой. Вон хоть тот же Кейзер, взять, барином живет. А другой, супротив его, половины не сделал — в кандальной сидит. Потому только, что мастерства не знает. Где же здесь справедливость?

Что тут станешь говорить?

Проследим, однако, дальнейшую карьеру каторжника.

Отсидев свою «испытуемость» в кандальной, докончив свой срок в вольной тюрьме или в вольной команде, каторжанин выходит в поселенцы.

Строит где-нибудь в глухой тайге «дом», в котором и жить-то нельзя, дом «для правов», потому что каждый поселенец, как я уже упоминал, должен заняться «домоустройством», иначе не получит крестьянства. Промаявшись впроголодь пять лет, поселенец перечисляется в «крестьяне из ссыльных» и получает право выезда на мате-

рик. Мечта сбылась! Он едет с проклятого острова в Сибирь, которая кажется ему раем.

Там он должен пробыть двенадцать лет, и по истечении их имеет право вернуться на родину.

Таким образом, даже «вечный каторжник», со скидкою по манифестам, со скидками за тяжкие работы, может надеяться, что хоть через тридцать пять — тридцать семь лет, но он вернется на родину.

К сожалению, таких счастливцев очень немного.

Пожизненной каторги у нас нет.

Пожизненная каторга существует — и вы это ясно прочтете при входе в любую кандальную тюрьму, в списке содержащихся каторжников:

— Такой-то. Срок: пятнадцать лет + десять лет + двадцать лет + пятнадцать лет.

Что за страшные плюсы!

Есть каторжники, которым в общей сложности надо отбыть семьдесят, даже более, лет.

Этими страшными плюсами для всякого, имеющего глаза, написано на дверях кандальной тюрьмы:

— Lasciate ogne speranza, voi ch'entrate…[30]

---

[30] Примечания: 30

Оставь надежду, всяк сюда входящий… *(ит.)*

Откуда же получаются эти плюсы? Это всё результаты «бегов».

Страшны не те сроки, на которые присылают каторжан, ужас вселяют те сроки, которые они «наживают» себе здесь.

Часто человек, присланный на шесть лет, «наживает» себе сорок.

Бежит — ловят, набавляют. Надежды еще меньше; снова бежит — снова ловят, снова надбавка. Надежды уже никакой. Человек бежит, бежит — «копит» срок. Плюсы растут, растут.

Бывали случаи, что бежали даже из лазарета чуть не умирающие. Сквозь густо сросшиеся ветви кустарника, через непроходимую тайгу, карабкаясь в валежнике, бежал человек, не человек, а полутруп с ужасом в гаснущем взоре.

Из этого краткого очерка, что такое каторга, вы поняли, быть может, отчасти, что заставляет этих людей бежать, набавлять себе срок, отягчать участь.

Бегут от ужаса…

Кто правит каторгой

Представьте себе такую картину: кто-нибудь заболел, и нужно прибегнуть к трудной операции.

Созывается консилиум. Иногда выписываются даже знаменитости. Ученые доктора долго совещаются, толкуют, какую сделать операцию, как ее сделать, какие могут быть последствия. И когда всё обсудят и решат, берут и уходят, а самую операцию поручают сделать сторожу.

— Но это невозможно!

— Но это на Сахалине так и делается.

Человек совершил преступление. Два ученых юриста, прокурор и защитник, взвешивают каждую мелочь свидетельских показаний, как он совершил преступление, почему, что это за человек. Иногда вызываются даже эксперты-психиатры, которые исследуют не только здоровье подсудимого, но и осведомляются о здоровье всех его родственников по восходящей линии. Если подсудимый признается виновным — три ученых юриста совещаются, обдумывают: какое к нему применить наказание, в какой мере.

А самое наказание, долженствующее — девиз Сахалина! — «возродить преступника», самое это

«возрождение» поручается целиком надзирателю из отставных солдат или из ссыльнокаторжных.

Это именно так. От надзирателей зависит не только судьба ссыльнокаторжных, но и применение к ним манифестов. Манифесты, сокращающие сроки наказаний, применяются к тем, кто заслуживает это своим добрым поведением. О поведении ссыльнокаторжных судят по штрафным журналам. А в штрафные журналы вписываются наказания, которые налагаются надзирателями и никогда не отменяются смотрителями тюрем.

— Это подорвет престиж надзирателя в глазах каторги. Как же он потом будет с ней управляться?

На Сахалине больше, чем где-либо, помешаны на «престиже» и понимают его к тому же в высшей степени своеобразно.

Обладают ли эти надзиратели, добрая половина которых состоит из бывших каторжников, достаточными нравственными качествами, чтобы им можно было всецело вверять судьбу людей?

При мне, на моих глазах, никто из надзирателей не брал с арестантов взятки. То есть я никогда не видал, чтобы арестант передавал надзирателю из рук в руки деньги. Но, посещая надзирателей, я часто спрашивал:

— Откуда у вас вот это? Откуда вот то-то?

И часто получал ответ:

— В тюрьме подарили… Арестант у нас есть такой, он сработал.

Несколько раз, в то время как я в тюрьме присутствовал при арестантской игре в карты, входили надзиратели.

— Ну, чего собрались? Разойдитесь! — говорил надзиратель, проходя между нарами и решительно не замечая разбросанных в изобилии карт.

— Пошел на свое место! — говорил он банкомету, тюремному шулеру, и не видел, что тот тасует в это время перед его носом колоду карт. Вероятно, не видел, потому что не делал даже замечания.

Когда мне нужно было узнать, кто в такой-то тюрьме майданщик, то есть торгует водкой и дает для игры карты, я всегда обращался с вопросами к надзирателям, и они указывали мне всегда безошибочно.

Иногда арестанты потихоньку жаловались мне, что такой-то тюремный главарь, арестант из породы «Иванов», обижает их, вымогает от них последние деньги. И когда я указывал на это надзирателям, я слышал всегда один и тот же ответ:

— Да что же, ваше высокоблагородие, нам с ним

делать? Человек отчаянный, чуть что — сейчас нож в бок. Нешто он остановится? Ну и молчим.

В силу отчасти чувства самосохранения, отчасти по другим побуждениям, эти низко стоящие на нравственном уровне и безграмотные надзиратели являются потатчиками именно для худших элементов каторги: «Иванов», майданщиков, шулеров — «игроков», «отцов», — и смело можно сказать, что только благодаря надзирателям эти «господа» каторги имеют возможность держать в такой кабале бедную, загнанную «шпанку».

Горный инженер острова Сахалин господин М. постоянно жаловался мне, что у него на Владимирском руднике вечные «бунты».

— Хотелось бы хоть один рудник устроить как следует! А вот пойдите же, не дают! Вечные истории.

— Но ведь у вас два рудника, в которых работают каторжане: Владимирский и Александровский. В Александровском бунтов не бывает?

— В Александровском — нет.

Бог знает, словно какой-то особенный сорт каторжников. Какая-то прямо тайна. Тайна, впрочем, обнаружилась очень просто.

За несколько дней до моего отъезда с Сахалина господин М. объявил мне при встрече:

— На Владимирском руднике бунт. На этот раз уж совсем настоящий бунт. Не хотят грузить пароход! Я буду требовать для усмирения солдат! Пусть этих негодяев перепорют.

Дело, к счастью, как-то уладилось без порок и усмирения: японский пароход «Яеяма-Мару» был нагружен углем, и я благополучно отплыл на нем с Сахалина. Доро́гой сопровождающий груз угля похвастался мне:

— Как скоро нагрузили! А? Пароход зафрахтован у японцев посуточно. Какую я экономию сделал, нагрузив его так скоро!

Похвастаться действительно было чем: пароход был нагружен изумительно быстро.

— Но как же вы это сделали?

— Там человечек один есть, надзиратель, — удивительно ловкий и дельный малый. Я ему дал красненькую, он и заставил каторжан приналечь. И в рабочие и не в рабочие часы грузили. Ведь от него все зависит. Тут на Сахалине все от надзирателей зависит.

Вот где была причина владимирских «бунтов».

На том же Владимирском руднике интересен другой надзиратель, Кононбеков, из бывших каторжников. Он кавказец, сослан за убийство в запальчивости, во время ссоры.

— Пустая ссора была! — улыбаясь, говорит красавец Кононбеков. — Да я шибко горячий кровь имею.

На Сахалине он герой: он убил беглого каторжника Пащенка. За Пащенком числилось тридцать два убийства. Его побег из кандальной тюрьмы, с откованием от тачки, поверг в ужас весь Сахалин. Кононбеков его застрелил, и надо видеть, с каким наслаждением рассказывал Кононбеков, как он убивал. Как горят при этом его глаза.

— Шел вот тут, по горке. Ружье имел. Ходил, нет ли беглых? Я горкой иду, а внизу шу-шу-шу в кустах. Я приложился — трах! Только вскрикнуло. Из кустов человек побег. Я думал, промах давал. Бросился в кусты, а там человек корчится. Как попал! Голову насквозь! А из него кровь, кровь, кровь…

Бежавший из кустов был товарищ Пащенка, Широколобов.

— Как же ты — так и стрелял без предупреждения? Ни слова не говоря?

— Зачем говорить? Прямо стрелял!

— И ты часто ходишь так?

— Каждый день хожу: нет ли беглых? Беглый — стрелять.

Словно на охоту.

Интересен уголок, в котором живет Кононбеков. Идеальной чистоты кровать. Над кроватью лубочные картины: охота на тигра, лев, раздирающий антилопу, сражение японцев с китайцами. Издали — одни красные пятна. Кровь на картинах так и льет ручьем.

— Покупал?

— Покупал. Самые мои любимые картины.

— О чем там толкует Кононбеков с арестантами? — спросил я как-то надзирателя, берущего по десять рублей за «скорую нагрузку».

— О чем ему больше разговаривать! Рассказывает, небось, как он «у себя на Кавказе» убил или как Пащенка застрелил. Больше он ни о чем не говорит. Пустой человек! — махнул рукой практичный надзиратель.

У этого Кононбекова какая-то мания к убийству, к крови.

И под руководством таких-то людей должно совершаться нравственное «возрождение» ссыльных!

В их руках судьба каторги.

— Но чего же смотрят господа сахалинские служащие?

Нужно прежде всего знать, из кого на девять десятых состоит контингент этих служащих.

Самое слово «закон» приводит таких господ в исступление прямо невероятное.

— Закон… — упоминает каторжник.

— А?! Ты бунтовать! — топает ногами служащий.

Нет ничего удивительного, что на Сахалине нет слова более ругательного, чем слово «гуманный».

Мы беседовали как-то с одним сахалинским землемером об одном из докторов.

— Гуманный человек! — отозвался землемер.

— Вот-вот! — обрадовался я, что нашел единомышленника. — Не правда ли, именно гуманный человек!

— Верно! Гуманный. Гуманничает только. А нешто с каторгой так можно? Вообще не человек, а дрянь!

Мы говорили на разных языках.

Гуманничает! Это слово звучит полупрезрением, полуобвинением в том, что человек «распускает каторгу», и для сахалинского служащего нет обвинения страшнее, как то, что он «гуманничает».

— Откуда они взяли, будто я какой-то «гуманный»! — оправдываются эти добрые люди.

Бестужев, о котором я рассказывал в «Сво-

бодных людях острова Сахалин», был первым служащим, с которым я столкнулся на Сахалине. Последним из служащих, с которым мне пришлось столкнуться при отъезде с Сахалина, был господин П. Ко мне явилась его жена.

— Похлопочите, чтоб и нас взяли во Владивосток на японском пароходе.

— А вы разве уезжаете?

— Мужа выгнали со службы.

— За что?

— Глупость сделал.

— А именно?

— Над девочкой сделал насилие. Теперь подозревается.

О высоте нравственных понятий этих господ можете судить хотя бы по следующему случаю. Одно официальное лицо, посетившее Сахалин, осматривало карцеры Александровской тюрьмы.

— Ты за что наказан? — обратился он к одному из сидевших по темным карцерам.

— За отказ быть палачом.

— Верно? — спросило лицо у сопровождавшего его помощника начальника тюрьмы.

— Так точно-с. Верно. Я приказал ему исполнять обязанности палача, а он ослушался, не захотел.

«Лицо», известное и в науке своими просве-

щенными и гуманными взглядами, конечно, не могло прийти в себя от изумления.

— Как? Вы наказываете человека за то, что он проявил хорошие наклонности? Не захотел быть палачом? Да понимаете ли вы, что вы делаете?!

Понимают ли они, что они делают!

Продрогший, иззябший, я однажды поздно вечером вернулся к себе домой в посту Корсаковском.

— Рюмку водки бы! Погреться.

— Водки нет! — отвечала моя квартирная хозяйка, ссыльнокаторжная. — Но можно купить.

— Где же теперь достанешь? «Фонд» заперт.

— А можно достать у…

Она назвала фамилию одного из служащих.

— Да неужто он торгует водкой?

— Не он, а его лакей Маметка, из каторжан. Да это все равно: Маметка от него торгует.

На Сахалине ни одному слову не следует верить. Во всем нужно убедиться своими глазами. Я надел арестантский халат и шапку и вместе с поселенцем, работником моих хозяев, отправился за водкой.

Мы подошли к дому служащего. Поселенец постучал в окно условным образом. Дверь отворилась, и показался татарин Маметка.

— Чего нужно?

— Водочки бы.

— А это кто? — спросил Маметка, разглядев мою фигуру.

— Товарищ мой.

Маметка, рассмотрев в темноте длинный арестантский халат и шапку блином, успокоился.

— Сейчас!

Он вынес бутылку водки.

— Два целковых.

Водка оказалась отвратительной, разбавленным водой спиртом.

На следующий день я сделал визит этому служащему, очень много расспрашивал его о житье-бытье, попросил показать квартиру и в спальне увидел целую батарею таких же точно бутылок, как я купил накануне!

— Однако вы живете с запасцем! — улыбнулся я.

— Да, знаете! Приятели иногда заходят. Держу на всякий случай.

Через год этот служащий был уволен со службы, и именно за продажу водки поселенцам и каторге: при проверке книг «фонда» — а, кроме лавки казенного «колонизационного фонда», спирта на Сахалине купить негде — оказалось, что этот

служащий забирает спирту столько, что на этом спирту можно бы вскипятить целую реку!

— Конечно, сахалинские мастерские — это одна «затея»! Но знаете, при желании и они недурно работать могут. Видели коляску у Х.? Обратите внимание на обстановку у У. Всё — работа сахалинских мастерских! — говорили мне еще во Владивостоке.

— Да-с! Было времечко, да сплыло! — со вздохом мне говорил по этому случаю смотритель одной из тюрем. — Работали у нас в мастерских и иногда хорошо работали: среди них всякий народ попадается. А теперь «фактический контроль» устроили. Контролеров понаслали — всё учитывают: сколько рабочих часов ушло, сколько материалу. Только на казну мастерские и работают. Ну конечно, себе благоприятелям тоже в мастерских всё велишь делать; но чтоб на продажу изготовлять — нет уж, шабаш! Трудно.

— Ну хорошо. Казна их обувала, одевала, кормила мастеров, которые на вас работали. А сами-то они от вас что-нибудь получали?

— Они-то? За что? Разве ему не все равно, на кого свои работы отбывать: на казну или на меня?

Ко всему этому следует прибавить еще одно. На Сахалине очень распространен обычай брать

женскую прислугу.

Из двухсот шестидесяти ссыльнокаторжных женщин в Александровском округе в 1894 году ровно половина числилась «одинокими», в услужении у господ служащих.

Принимая во внимание все это, вы поймете, что господа служащие не могут пользоваться в глазах каторги именно тем «престижем», о котором господа служащие так хлопочут.

— Ужасные черти! — жаловался мне на каторгу помощник смотрителя Рыковской тюрьмы. — Никакого уважения! Можете себе представить, иначе как на «ты» со мной и не разговаривают! Да вы сами слышали!

Первое посещение всякой тюрьмы, которое я делал из любезности, со смотрителем, всегда оставляет ужасное впечатление.

Каторжане тут же, при нем, ему в глаза, начинают «докладывать» вам обо всех его штуках и проделках. Вы напрасно протестуете:

— Да я не начальство! Это меня не касается!

— Нет, вы, ваше высокоблагородие, послушайте!

И они отделывают человека, от которого зависит вся их жизнь, вся их судьба, не стесняясь в выражениях, ругательски его ругая.

Смотритель-бедняга только переминается с ноги на ногу, словно стоит на горячих угольях.

— Пойдемте-с!

После он, может быть, с этими обличителями и разочтется, но теперь «принять меры для поддержания престижа», при постороннем человеке, стесняется. А возразить?

Что он возразит, когда все, что говорит каторжанин, я только что слышал в доме одного из его сослуживцев и услышу во всяком доме, куда пойду!

Если эта служащая сахалинская мелкота презирает и ненавидит каторгу, то и каторга ее презирает и ненавидит.

Это и заставляет господ сахалинских служащих держаться настороже и вдалеке от каторги, полной ненависти и презрения, заниматься только хозяйственными делами, а весь распорядок, весь внутренний строй каторги оставлять целиком в руках надзирателей, которые и являются настоящими, полными, бесконтрольными «хозяевами каторги».

Господа сахалинские служащие разделяются на две категории. Сибиряки, забайкальцы — «чалдоны», как зовут их каторжане, и служащие «российского навоза».

Последнее выражение отнюдь не следует понимать как что-нибудь оскорбительное, ругательное. «Российского навоза» — это выражение, выдуманное для себя господами служащими, так сказать, из аристократизма, для отличия от каторжан. Арестантов на Сахалин «сплавляют», а служащих на Сахалин «навозят». Поэтому у каторжан спрашивают:

— Ты какого сплава?

— Весеннего или там осеннего, такого-то года.

А господа служащие между собой разговаривают так:

— Вы какого навоза?

— Я навоза такого-то года.

«Чалдоны», забайкальцы, приезжающие на службу на Сахалин, сами про себя говорят, что они «на каторге выросли».

— Меня, брат, не проведешь! Я сам под нарами вырос! — с гордостью говорит про себя «чалдон», смотритель тюрьмы.

По большей части это тюремщики во втором, третьем поколении. Дед был смотрителем каторжной тюрьмы, отец, и он «смотрительствует».

— Каторга в меня с детства въелась! Я сам каторжник! Меня каторга не проведет! Я не ба-

рин-белоручка российского навоза! — хвастают «чалдоны».

И если бы не было «форменных отличек», вы, разговаривая с таким господином, ни за что бы не разобрали, да с кем же вы, наконец, говорите: с каторжанином или служащим.

Они говорят на том же каторжном языке: «пришить» вместо «убить», «фарт» вместо «счастье», «жулик» — нож и т. д.

— Он просто пришить бороду (обмануть) хотел, да побоялся, что тот свезет тачку (донесет), ну, он его жуликом и пришил. Такой уж тому фарт!

Разбери, кто это говорит, каторжанин или служащий из «чалдонов»? Это рассказ одного из смотрителей тюрьмы!

У них и термины каторжные, и взгляды, заимствованные у каторги.

Когда эти люди берутся за благоустройство острова Сахалин, выходит или один смех, вроде александровского тоннеля, или ужас, вроде онорских работ.

Да ничего другого и получиться не может, когда за проведение дороги берутся забайкальцы — люди, никогда в глаза не видавшие даже шоссейной дороги и не знающие, что это за чудище.

Выросши среди каторги, «чалдоны», в проти-

воположность служащим «российского навоза», чувствуют себя на Сахалине спокойно и отлично. Они занимаются себе хозяйственными делами и умеют все для себя очень недурно устроить.

— У меня даже арбузы бывают! — хвалится перед вами «чалдон». — Каторжане мне оранжерейку построили!

«Чалдон»-смотритель, желая перед вами похвастаться своей «деятельностью», прежде всего ведет вас показать свою квартиру, а затем обращает ваше внимание на дома других служащих:

— Все я построил! Каковы палаты соорудил? Ась? Какие удобства!

— Да это все заботы о служащих. А каторга-то, каторга как у вас?

— Каторга?! С каторгой справляются надзиратели! Поверьте мне, батенька, с каторгой лучше надзирателя никто не справится. Только мешать ему не нужно. У меня надзиратели на подбор. Все из каторжан. Он сам каторжник, его каторга не проведет.

Произвол, полнейший произвол надзирателей не встречает при таких взглядах никакого противодействия со стороны «чалдонов». Дореформенное Забайкалье — плохая школа для порядка и законности.

Служащие «российского навоза» — это, как я уже говорил, по большей части неудачники, люди, потерпевшие крушение на всех поприщах, за которые они хватались, ни к чему не оказавшиеся пригодными в России. Они «махнули рукой» и «махнули» на Сахалин.

Они по большей части приехали сюда, наслушавшись рассказов, что на окраине не житье, а масленица, приехали, мечтая о колоссальных «припеках», которые умеют делать на арестантском хлебе смотрительские фавориты — тюремные хлебопеки, об огромных «экономиях», делаемых при поставках материалов, и т. п. Здесь их ждало горькое разочарование. Все это «можно», но далеко не в таких размерах, как грезилось: «фактический контроль» мешает. Контрольные чиновники во все «нос суют».

— Я вас спрашиваю, какая же выгода служить на Сахалине, терпеть эту каторгу? — спрашивают обыкновенно с горечью эти господа. — Какая выгода? Увеличенное содержание? Так и продукты здесь, за что ни возьмись, вдвое-втрое дороже? А доходы? Что соболей покупаем за квитанции? Доход, нечего сказать! Служишь-служишь, на тысячу рублей соболей вывезешь. Есть, конечно, такие, что водочкой поторговывают. Те хороший

барыш имеют. Но ведь за это и под суд попадешь, нынче всё строже и строже. Того, что прежде было, и в помине нет. Прислугу из каторжан берешь, и за ту в казну плати. То есть никакого профиту!

«Всякому лестно», конечно, пожить барином при крепостном праве, имея слуг и рабочих, которых «в случае неудовольствия» приказал выдрать или посадить в тюрьму. Но и эти надежды сбываются плохо.

Среди «оголтелого», отчаянного населения — населения, которому нечего терять, — господа служащие чувствуют себя робко. К тому же голод заставляет это население быть головорезами. На Сахалине убийства беспрестанны: убивают за двадцать копеек и говорят, что убили «за деньги», — такова «порча нравов» вследствие голода.

И вот, с одной стороны, обманутые надежды насчет «привольного житья», с другой — вечная боязнь каторги, — все это, конечно, вызывает в господах служащих «российского навоза» очень мало симпатий к Сахалину и его обитателям.

Большинство только «отбывает свой срок», ждет не дождется, когда пройдут три года службы, — только после трех лет можно вернуться с семьей в Россию на казенный счет. И господа служащие, как и каторга, только и мечтают о

«материке». Весь Сахалин мечтает о материке, клянет и проклинает:

— Этот остров, чтоб ему провалиться сквозь землю!

И как люди мечтают! Я гостил у одного служащего, которому оставалось всего несколько месяцев до конца трехлетнего срока. У него на стенке, около кровати, висела табличка с обозначением дней. Словно у институтки перед выпуском. Каждое утро он вставал и радостно зачеркивал один день.

— Девяносто два осталось.

— Да вы какие дни-то зачеркиваете? Прошедшие?

— Нет, наступающий. Так скорее как-то. Все равно — встал, уже день начался, можно его зачеркнуть. Веселее, что меньше дней остается!

До такого малодушия можно дойти!

Конечно, не от таких людей можно требовать, чтоб они интересовались бытом каторги, вникали, сообразно с законом или несообразно ни с какими законами правят надзиратели каторгой.

— А пропади она пропадом, вся эта каторга и надзиратели!

На Сахалин в служащие попадают, конечно, и неплохие люди. Но полное бесправие, царящее на

острове, населенном людьми, лишенными «всех прав», развращает не только управляемых, но и управляющих. У Сахалина есть удивительное свойство необыкновенно быстро «осахаливать» людей. Жизнь среди тюрем, розог, плетей, как чего-то обычного, не проходит даром. И многое, что кажется страшным для свежего человека, здесь кажется таким обычным, заурядным, повседневным.

— Вы куда, господа, идете? — остановила нас с доктором жена помощника начальника округа, очень милая дама. — Ах, арестантов пороть будут? Так кончайте это дело скорее и приходите, я вас с самоваром ждать буду.

Меня била лихорадка в ожидании предстоящего зрелища, а она говорила об этом так, словно мы шли в лавочку папирос купить. Сила привычки — и больше ничего.

Нет ничего удивительного, что сахалинские дамы ведут престранные, на наш взгляд, салонные разговоры. Вы делаете визит супруге служащего, и между вами происходит такого рода обмен мыслей.

— Вот вы сами видите каторгу, — говорит дама очень любезно. — Согласитесь, что телесные наказания для нее необходимы.

— А если бы попробовать…

— Ах нет! Без дранья с ними ничего не сделаешь. Каторга удивительно как распущена. Решительно необходимо, чтобы кого-нибудь, для примера другим, повесили.

— То есть как это? Так-таки «кого-нибудь»?

— Да, чтоб другим неповадно было! А то просто боишься за мужа. Вдруг ножом пырнут, что это им стоит?

Но к женам служащих, женщинам, по большей части малоразвитым, малообразованным, мы не вправе предъявлять особых требований. Они могут иметь и куриные мозги.

На Сахалине «осахалиниваются» и развитые, и образованные люди. Среди осахалинившихся попадаются даже доктора, которые вообще во всей истории каторги представляют собой светлое исключение среди царящих кругом жестокости и бессердечия.

Как вам понравятся, например, такие вещи в устах молодого доктора Давыдова, прослужившего несколько лет на Сахалине.

Я цитирую его брошюру «О притворных заболеваниях и других способах уклонения от работ среди ссыльнокаторжных Александровской тюрьмы», изданную в 1894 году.

Болезни, которые доктор Давыдов считает «симулятивными», следующие: «душевные, бронхиты, гастроэнтериты, обмороки, вывихи, куриная слепота, общее недомогание».

Говоря «о притворстве» арестантов, господин Давыдов сообщает:

«Арестанты подставляют ноги под вагонетки с грузом, падают под лошадей или подставляют ногу под бревно.

Или же искусственно отмораживают себе те или другие части тела, и отморожение наступает быстро и верно и может достигать любой степени.

Один арестант не пожелал идти на работу, тогда надзиратель стал просить его честью, а он схватил в правую руку топор и отрубил себе левое предплечье».

Все это, по мнению доктора Давыдова, случаи «притворства», и он объясняет их ленью и нежеланием «работать». И ни разу у этого врача не шевельнется в сердце и голове вопрос:

«Да что же это за работы, что люди предпочитают отрубать себе руки, „искусственно“ отмораживать или „нарочно подставлять под вагонетку ноги“?»

Доктор Давыдов с гордостью рассказывает, как

он боролся с такими «притворяющимися».

Считая все случаи душевных болезней за одно притворство со стороны арестантов, доктор Давыдов прибегал к таким приемам диагноза.

На Сахалине есть смотритель, поговорка которого:

— Мое правило выбить из арестанта за день все съеденные им три фунта хлеба, а если нужно, то и больше.

Когда к доктору Давыдову приводили душевнобольного арестанта, он, угрозами отправить его к этому смотрителю, узнавал: «душевнобольной арестант или только притворяется».

Если же это средство не помогало, то Давыдов, по его словам, прибегал «к assafoetida (вонючка) в большой дозе». И больные, по словам господина Давыдова, иногда «заявляют», что им лучше, и просят даже возобновить «лекарство».

«В этих случаях, — замечает доктор Давыдов, — имеешь дело или с симулянтом, который, чтобы прогулять полдня, готов глотать всякую пакость, или с ипохондриком».

Но еще лучше в практике этого молодого врача, «для пробы» пичкавшего ипохондриков «всякой пакостью», случай следующего истязания, которому он подверг одного «симулянта».

«Больной тридцати лет, нога согнута в колене, — рассказывает господин Давыдов, — два с половиной года провел в постели, мышцы и ноги были атрофированы. Тогда ему насильно выпрямили ногу, мышцы стали оживляться, но больной стоять не мог. Его выписали из больницы, и он упал у подъезда. Больного отнесли в тюрьму, и никакими наказаниями и лишениями нельзя было заставить его ходить».

Тогда господин Давыдов прибег «для опыта» к следующему способу. «Больному объявили, что отрежут ногу, приготовили его к операции, уложили на столе, разложили перед ним все пилы и ножи, какие имелись в лазарете, захлороформировали...»

Хлороформирование без надобности — преступление. И в какой же степени должен был «осахалиниться» этот «молодой врач», чтобы считать преступление чем-то обыденным, законным, должным, хвастаться им в своем «научном» труде!

Этот доктор, по его собственному признанию подвергавший пыткам больных, — типичное указание, как «осахалинивает» Сахалин даже образованных и, казалось бы, развитых людей.

Конечно, не от таких господ может ждать ка-

торга защиты от надзирательского произвола!

Есть еще одна, может быть, самая страшная для каторги категория служащих — это неисправимые трусы. Все служащие, как я уже говорил, «побаиваются каторги», и совершенно естественно человеку чувствовать себя «не по себе» среди каторжан, но есть люди, у которых эта боязнь доходит положительно до геркулесовых столбов. Сколько бы они ни служили на Сахалине, они не могут преодолеть своей «боязни каторги».

Из таких обыкновенно выходят наиболее жестокие тюремщики. Жестокость — родная сестра трусости. Бывший сахалинский смотритель тюрьмы, некто Фельдман, которого начальство в официальных бумагах аттестовало «трусом», «человеком робким», «человеком, боявшимся каторжников», — этот смотритель так живописал затем в «Одесском листке» свои подвиги на Сахалине.

Арестанты, работающие в рудниках и желающие бежать, остаются обыкновенно в рудниках. В руднике человека не поймаешь, и начальство обыкновенно ограничивалось тем, что ставило на ночь караул у всех выходов штолен. Караул стоял несколько ночей, а затем отменялся, — не век же ему стоять! И тогда арестанты ночью вы-

ходили из рудника и удирали. Фельдман выдумал такое «средство». Когда двое арестантов остались в руднике, он на ночь не поставил караула, а спрятал его в кустах, с приказанием, как только беглые выйдут, их убить. Беглые поддались на удочку: не видя конвоя, они ночью вышли, и конвой стрелял. Один из беглых был убит на месте, и Фельдман приказал не убирать трупа.

— Вместо двора тюрьмы, где обыкновенно производится раскомандировка арестантов на работу, я производил ее около рудника, чтобы арестанты, видя неубранный труп товарища, поняли, что прежний способ бегства больше не существует.

Засада, убийство, неубранный труп — жестокость, на которую только и способен трус. Трус, мстящий за то унижение, которое он испытывает, боясь каторги.

Другие «робкие люди» если не отличаются жестокостью, то попадают целиком в руки надзирателей, что для каторги тоже не легче.

Таков, например, был горный инженер М., о котором я уже говорил. Очень добродушный и даже милый человек по натуре, он чувствовал непреодолимую боязнь к арестантам.

Я не забуду никогда тех отчаянных воплей,

которые он издавал, когда мы ползли в руднике по параллелям и когда надзиратель скрывался хоть на секунду за углом штрека.

— Надзиратель! Надзиратель! — вопил бедняга-инженер, словно каторжники уже бросились на него со своими кайлами. — Надзиратель! Где ты? Не смей от меня отдаляться!

— Ровно звери мы! — рассказывали про него каторжане. — Подойти к нам боится. Все через надзирателей: что они хотят, то с нами и делают.

Пользуясь его боязнью, надзиратели нагоняли на бедного инженера еще больше страха рассказами о «бунтах» и готовящихся «возмущениях», и инженер верил им безусловно и оставлял каторгу на произвол надзирателей.

Службу у него в конторе даже — службу у этого, повторяю, в сущности, добродушнейшего человека, считали, и справедливо считали, худшей каторгой.

Того и гляди в кандальное угодишь!

В конторе всеми вертел письмоводитель из каторжан, некто Г., умный, ловкий, но отвратительный, вконец опустившийся субъект.

Инженер сам мне жаловался на Г.:

— Нельзя даже подумать, что этот Г. еще так недавно был человеком из лучшего общества.

Пьяница, вор — на днях опять его в подлоге поймал: подделал квитанцию на пятнадцать бутылок водки.

— Зачем же вы его держите?

— Кого же взять? Что за народ кругом?

Г. хорошо знал слабую струнку своего начальника, держал его в постоянном страхе рассказами о готовящихся злоумышлениях и вертел судьбой подвластных ему каторжан, работавших в конторе, как хотел.

Например, бывший офицер К., сосланный за убийство, совершенное под влиянием тяжкой обиды, милый и скромный юноша, ни за что ни про что попал из конторы горного инженера на месяц в кандальную тюрьму.

Человек честный, он не хотел потворствовать Г. в его плутнях, и Г., чтобы избавиться от этого «бельма на глазу», насплетничал на него инженеру.

Тот поверил, и несчастный К. попал в кандальную.

Я сам слышал, как этот Г., с полупьяной, избитой физиономией, орал на каторжника:

— В кандалы, захочу, закую! Запорю!

А вся разница-то между этим каторжанином и Г. была та, что сослан он за меньшее преступле-

ние, чем Г., и за преступление не столь гнусное, как преступление Г.

Сахалинский служащий… Для меня, видевшего их всех, даже лучший из сахалинских служащих рисуется в виде одного милейшего смотрителя поселений Тымовского округа, у которого я прожил несколько дней.

В качестве смотрителя поселений он обязан заботиться об «устройстве поселенческих хозяйств», а что он мог сделать, когда и на службу-то на Сахалин он попал именно потому, что «прохозяйничал» свое собственное имение.

— Не дается мне это! — простодушно сознавался он.

Пожилой человек, он содержал семью, оставшуюся в России.

— Во всем, как видите, в лишней папиросе себе отказываю! Никогда такой каторги не терпел.

Он страшно тосковал по семье и проклинал тот день, когда поехал на Сахалин.

— Жизнь какая! Что за люди кругом!

Ложась спать, он клал себе по обеим сторонам кровати, на стульях, два револьвера.

Положим, «постелить постель» на Сахалине — значит постлать белье, положить подушки, одеяло и револьвер на стул около кровати. Так

все спят мужчины и женщины.

— Но два-то револьвера зачем?

— А на всякий случай. За правую руку схватят, я левой буду стрелять. Два револьвера спокойнее. Здесь страшно.

Когда я ему указывал, что у него удивительно как процветает ростовщичество и кулаки пьют кровь из поселенцев, он отвечал:

— А как же? Знаете, кулачество — это во вкусе русского крестьянина. Каждый хороший хозяин непременно кулаком делается. Я кулакам даже покровительствую, я их люблю: они — хорошие хозяева.

— Да ведь остальным-то от них…

— Ах, поверьте, об остальных и думать не стоит! Это дрянь, это мерзость, это навоз, пусть на этом навозе хоть несколько хороших хозяйств вырастет.

Я обращал его внимание на то, что каторга и поселенье, оставленные на произвол надзирателей, бог знает что от них терпят:

— Положительно страдают.

И он отвечал:

— И пусть страдают. Это хорошо. Страдание очищает человека. Вы не читали книги…

Он назвал какое-то лубочное издание.

— Нет? Напрасно. А я, как сюда ехал, в Одессе купил и доро́гой на пароходе прочел. Очень интересно. Как один преступник описывает, как он в какой-то иностранной тюрьме сидел и что с ним делали. Волос дыбом становится. А он еще благодарит тюремщиков, говорит, что именно благодаря страданиям он стал чище. Именно благодаря страданиям!

Ведь надо же было! Одну, может быть, книгу прочел в жизни человек, и та, как нарочно, оказалась дрянь.

Нет ничего удивительного, что, когда я спросил этого доброго человека, как мне проехать в селенье Хандосу 2-ю, в его же округе, он ответил мне:

— О, это пустое. В Онорской тюрьме вам дадут тройку, а там — верст восемь. В полчаса доедете!

Милый человек!

А я от Оноры до Хандосы 2-й ехал три с половиной часа, и не только на тройке, а верхом едва через тундру и тайгу пробрался.

Оказалось, что смотритель поселий в своем поселье ни разу не был!

Так сахалинские служащие «входят в соприкосновение» с людьми, которых им вверено «исправлять и возрождать».

Да если и входят в соприкосновение…

В Хандосе 2-й, затерянном среди непроходимой тайги поселье, меня обступили поселенцы. Стоят и глядят.

— Чего смотрите?

— Дай, ваше высокоблагородие, на свежего человека поглядеть. Два года у нас никто не был.

Бесконтрольным распорядителем поселья был надзиратель; в его избе я и остановился. Надзиратель ушел ставить самовар, и я беседовал с каторжанкой, отданной ему в сожительницы.

Она смотрела на меня как на начальство.

В Хандосе 2-й меня интересовала одна каторжанка, Татьяна Ерофеева, отданная в сожительницы к поселенцу. Настоящий изверг, тридцати лет она успела овдоветь три раза и на Сахалин попала, как гласит приговор, за то, что:

1. Задумав лишить жизни падчерицу, ударила ее так, что та на следующий день умерла.

2. За то, что неоднократно колола глаза иголкой своему пасынку и присыпала их солью, последствием чего было плохое зрение в правом глазу и полная потеря зрения в левом.

Я спросил у надзирательской сожительницы:

— У вас в Хандосе живет Ерофеева?

— Живет!

— Ну, что она? Как?

То есть как живет, хорошо, плохо? И вдруг услышал ответ:

— Ничаво. Годится.

Согласитесь, что очень типичный ответ приезжему господину служащему!

Таковы нравы.

И таково отношение к каторге, предоставленной всецело на произвол надзирателей.

Смотрители тюрем

Смотритель тюрьмы — это по большей части человек, выслужившийся из надзирателей, из фельдшеров. Полное ничтожество, которое получает вдруг огромную власть и ею «объедается».

По уставу он имеет право в каждую данную минуту своею властью дать арестанту до тридцати розог или до десяти плетей.

По закону — каждое наказание должно быть вписано в штрафной журнал.

На деле эти наказания почти никогда не вписываются.

Отодрал — и кончено.

Сами каторжане просят:

— Не записывайте только в штрафной журнал.

Перевод из отдела испытуемых в отдел исправляющихся, из кандальной тюрьмы в так называемую вольную тюрьму, сокращение сроков — все это зависит от записей в штрафном журнале.

Выдрать и записать в журнал — это уже не одно наказание, а два.

Таким образом, смотритель тюрьмы по части телесных наказаний является совершенно бес-

контрольным.

Отсутствие записи в журнале лишает каторжника возможности жаловаться, и смотритель тюрьмы является совершенно безнаказанным.

Изредка всплывают на свет божий такие дела, как всплыло дело смотрителя тюрьмы Бестужева, который выпорол освобожденного от телесных наказаний больного падучей болезнью арестанта Сокольского.

Но там за Сокольского вступились врачи.

Телесные наказания развращают не только тех, кого наказывают, убивая в арестантах последнюю даже «каторжную» совесть, но и тех, кто наказывает.

Вид разложенного на позорной скамье человека заключает в себе что-то развращающее, разнуздывающее зверя, сидящего в человеке.

— Я тебе царь и Бог! — орет ничтожество, вышедшее из надзирателей или фельдшеров.

Это, как я уже говорил, любимая поговорка смотрителей тюрем.

Наказания доходят до удивительного издевательства.

— Это что теперь за наказания! — машут рукой смотрители тюрем. — Прежде, бывало, выпорют арестанта, и он должен идти смотрителя благо-

дарить.

— За что благодарить?

— За науку. Такой порядок был. Встанет и в ноги кланяться должен: «Благодарю вас, ваше высокоблагородие, за то, что поучили меня, дурака!» А теперь уж этого нет. Распущена каторга! Все «гуманности» пошли.

Были и есть смотрители, не признающие непоротых арестантов.

— Система уж у меня такая.

Один из них, по каторжному прозвищу Железный Нос, оставил по себе в этом отношении анекдотическую память.

Приходя утром на раскомандировку, он высматривал, нет ли непоротого арестанта.

— Что это, братец, ты стоишь не по форме? Ногу отставил? А? Поди-ка ляжь!

Если непоротый вел себя «в аккурате», стоял, что называется, «не дыша» и Железный Нос никак к нему придраться не мог, он отворачивался и говорил:

— Эй ты там, тихоня! Поди-ка ляжь, братец. Палач, дай-ка ему горяченьких!

— За что, ваше высокоблагородие?

— А, ты еще разговаривать? Разложить!

Он охотился за арестантами.

Едет по берегу в Корсаковском округе, видит, арестант на отмели копается — к нему.

Арестант, завидев Железного Носа, дальше по отмели, смотритель за ним. Наконец дальше идти некуда: вода по пояс.

Арестант останавливается.

— Ты что тут, братец, делаешь?

— Рачков ловлю, ваше высокоблагородие, вам на кухню.

— Рачков ловишь? Это хорошо. А чего ж ты от начальства бегаешь? А? Должно быть, нехорошее что на уме? Хорошо. Рачков отнеси ко мне на кухню, а утром, на раскомандировке, выйти, тебя посекут!

Единственным непоротым каторжником был его собственный повар.

Очень искусный повар, находившийся за это под покровительством смотрительши.

— Ты мне его не тронь! — раз навсегда объявила смотрительша своему супругу.

Однажды она уехала куда-то на целый день к знакомым; возвращается — муж встречает ее сконфуженный.

— Выпорол?! — всплеснула руками смотрительша.

— Выпорол! — виновато отвечает Железный

Нос. — Не сердись, душенька!

Меня интересовала личность смотрителя Л., оставившего по себе на Сахалине поистине страшную память.

Порки при Л. носили какой-то невероятный характер.

Пороли каждое утро по тридцать, по сорок человек.

Я расспрашивал арестантов, как это происходило.

— Выйдет он, бывало, ничего. Да потом себя растравлять начнет. Воззрится, заметит у кого какую неисправность: «У тебя что это, брат, бушлат (куртка) как будто рваный? А? Нарочно разорвал? Нарочно?» — «Помилуйте, ваше высокоблагородие, зачем нарочно? На работе разорвался!» — «На работе? А ты что ж не починил? А? Так-то ты о казенном имуществе печешься? Так-то?» — «Зачинить нечем!» К этому времени он уж совсем озвереет. «Жилы из себя, мерзавец, вытяни да зашей! Жилы! Из кожи куски вырезай да заплатки клади! Я тело твое так изорву, как ты казенный бушлат. Палач! Клади! Бей!» И пойдет. И чем дальше, тем пуще звереет. Стон стоит, а он ногами топочет. «Притворяются, подлецы. Бей их крепче!» В конце, бывало, до того в сердце войдет,

что напоследок и палача разложить прикажет, — арестантам драть велит: «Дерите его, чтоб спуску вам, подлецам, не давал!»

— Неглупый человек был! — пояснял мне бывший его помощник, теперь сам смотритель. — Знал, как каторгу держать. Каторгу на палача, да и палача на каторгу озлоблял. Стачки быть не может! Уж палач после этого-то «мазать» не будет.

Смотритель М., при мне заведовавший Корсаковской тюрьмой, считался одним из наиболее жестоких смотрителей на Сахалине.

— Доктора — вот мое бельмо на глазу! — кричал он по вечерам, напиваясь «по принятому им обычаю». — Гуманность разводят! А нам это не к лицу. Я — разгильдеевец! — хвастался он. — Разгильдеевские времена на Каре помню! Я прирожденный тюремщик. Мой отец смотрителем тюрьмы был. Я сам под нарами вырос! Мы не баре, чтоб гуманности разводить! Мы вот в чем ходим!

И он с гордостью показывал свою порыжелую, выгоревшую на солнце шинель, которой было лет, может быть, двадцать.

В трезвом виде не было человека более мягкого, льстивого, медоточивого, чем этот старый лука-

вый сибиряк.

Арестантов он называл «братанами», «братиками», «родненькими», «милыми людьми», «голубчиками», и без «божьего слова» никуда.

— Без божьего слова разве можно?!

Провинившегося арестанта он подманивал к себе пальчиком.

— Пойди-ка, миленький, сюда. Ляжь-ка, голубушка, тебя взбрызнут!

Арестант валился в ноги:

— Ваше высокоблагородие, за что же? Простите.

— И что ты, миленький! И что ты, голубчик! Разве я на тебя сержусь? Я на тебя не сержусь. Ложись, ложись, голубчик! А за то, что разговариваешь, пятóчек прибавим.

— Ваше высокоблагородие…

— И-и, голубчик, как нехорошо. Тебе начальник говорит: ложись! А ты не слушаешься. Еще пять. Ложись, братан.

Видя, что наказание все растет, арестант ложится.

— Вот так-то, родной, лучше! С Богом, милый. Взбрызни-ка его, Медведев. Пороть пореже, не торопись, милый! Пореже, покрепче! Вот так, вот так! Реже-то лучше. Нам торопиться некуда.

И если арестант вопил не своим голосом, М. говорил ему:

— Ничего, ничего, потерпи, родненький! Христос терпел и нам велел.

Опытные арестанты, разумеется, ложились без всяких разговоров, зная, что за всякую просьбу бывает только прибавка, — и смотритель говорил, глядя на них:

— Душа радуется! Братики меня с одного слова понимают! Живем душа в душу с миленькими!

— А не случалось так, чтобы «фордыбачили»? — спросил я М., слушая, как он с «божьим словом отечески наказует свое стадо».

Он захихикал:

— И что вы-с? Какое выдумали! Это у новых, у «гуманных» каторга распущена. А у меня нет-с. Душонка у него, у родненького, трясется, как ложится. Он меня знает.

И, только напиваясь по вечерам, он кричал:

— В ужасе надо каторгу держать! В ужасе! Вы у меня спросите! А эти «гуманные»-то только унижают нас! Унижают, подлецы! Ехали бы гуманничать, куда хотят, а в каторгу соваться нечего. Каторга — наше дело. И в Писании сказано: страх спасителен.

Бывший фельдшер К., смотритель Рыковской

тюрьмы, человек другого склада.

Он любит порисоваться и пофигурировать.

Даже о своем фельдшерстве рассказывает небылицы в лицах. Как какая-то графиня, отправляя на войну своего мужа, поручала ему:

— Вам его поручаю! Берегите его!

— Ваше сиятельство, будьте покойны.

На Сахалине он основывает по болотам поселения и называет их в честь себя, своим именем. Перестраивает тюрьмы «по собственным проектам» и невероятно этим хвастается.

«Произойдя из ничтожества», он упивается властью.

— У меня арестант волосок каждый на бровях моих знает как лежит.

Особенно он любит вспоминать, как временно заведывал Воеводской тюрьмой, страшнейшей на Сахалине, теперь упраздненной.

— Выхожу, бывало, на раскомандировку: «Здорово, мерзавцы! Здорово, варнаки!» Дружный ответ: «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — и хохот. Понимают, что я веселый. А уж если молчу — могила кругом. Вышел, мерзавцами не назвал, понимают: «Жди!» Не в духе я, значит. Ни одного генерала на смотру так не трепещут! Драть велю — от страха едва дышат.

«Р-р-розги, лопаты, яму рыть!»

— Это-то зачем же?

— А могилу. Будто насмерть запарывать буду. «Фельдшера!» — кричу. Помощники около, будто меня успокаивают. Арестанты в ноги валятся. Палачу страшно. И начну наказание. «Мазать пришел? — кричу. — Мазать? Самого разложу!»

Он враг телесных наказаний.

— Это ни к чему не приводит! Арестанты привыкают. Это на них не действует. Он три тысячи розог в свою жизнь получил, что ему? Хоть каждый день дери. Нет, арестант должен начальника понимать. Если я скажу: «Драть!» — у арестанта загодя шкура сходит. Вы у арестантов обо мне спросите.

У арестантов и спрашивать было нечего: я знал о той славе, которой пользуется К.

— Я с вами на наказание не пойду, — сказал мне как-то К. — Если я присутствую на наказании, арестанта должны в лазарет замертво унести. Не иначе. Так меня уж тюрьма знает. Я деру обыкновенно в конторе, — рассказывает он. — Посередине ставят «кобылу». Я закуриваю папиросу и начинаю ходить из угла в угол. Поравняюсь с «кобылой»: «Раз!» А то еще за дело примусь, пишу: будто про него забыл. А потом:

«Раз!» Я тридцать розог по два, по три часа даю. Он у меня измотается весь, пока выпорю. И кричит, и стонет, и Богу молится, и ругаться начинает, и вроде как сумасшедший делается. В контору-то как на виселицу идет. Никогда не забудет.

И действительно, не забывает. Я видел людей, считавших полученные им розги тысячами, но тридцать ударов «в конторе» они ни с чем сравнить не могли.

— Каждый удар прочувствуешь. Ждет, пока саднеть перестанет. Да опять, что тело, душа от ожиданья измучается. Смерти просишь, только бы не такое мучительство.

— Но и это, — говорит К., — мало к чему приводит. Я и к этому редко прибегаю. По-моему, нет лучше темного карцера. Вот это средство. Страшнее всякой порки. Как посадят недели на две… Пойдемте посмотрим.

Это нечто действительно ужасное.

Мы вошли в узенький коридорчик, по обеим сторонам которого были расположены маленькие клетушки с крошечными оконцами в двери.

От воздуха в коридоре кружилась голова. Запах словно на псарне или около клеток с волками.

И едва мы вошли в коридор, из всех каморок послышалась адская ругань по адресу К.

Люди вопили в бешенстве, ломились в двери. Это напоминало буйное отделение сумасшедшего дома.

— Отвори-ка Гусева! — приказал К.

Надзиратель взялся за замок. Но из камеры голос, полный ужаса:

— Не входите! Не входите ко мне! Я убью!

— И на самом деле, оставь его! — отменил свое распоряжение К. — Это, как видите, почище порки. Порка что́!

Замечательно, что все эти люди, славящиеся своим драньем, — все в один голос говорят:

— Порка что́! Разве она действует!

И дерут.

Смертная казнь

За четыре года управления генерала Мерказина на Сахалине не было ни одной смертной казни.

— Я знаю, это вызывает недовольство у многих! — говорил мне генерал.

Но прежде чем говорить об этом «недовольстве», скажем несколько слов о том, как происходила обыкновенно смертная казнь на Сахалине.

Последняя, с Мерказина, казнь на Сахалине происходила около девяти лет тому назад.

Казнили троих каторжников-рецидивистов — старика, бывалого каторжанина, и двоих молодых людей — за убийство с целью грабежа, совершенное уже на острове.

Мне рассказывал об этой казни сахалинский благочинный, отец Александр, напутствовавший осужденных.

Они содержались отдельно. Отец Александр по распоряжению начальства явился к ним за три дня до смертной казни.

По появлению священника осужденные поняли, что смертный час приближается.

— Побледнели, испугались, оторопели, слова выговорить не могут, — рассказывал отец

Александр, — только старик попервоначалу куражился, смеялся, издевался над смертью, над товарищами… Начнем священное петь — смеется: «Повеселей бы что спели!» — «Ну, — говорю, — братцы, там что будет, то будет, а пока не мешает и о душе подумать». Ну-с хорошо. Принялись за молитву. Молились пристально, с усердием, всей душой.

— Все три дня?

— Все три дня-с. Беседовали о загробной жизни, читали жития святых, пели псалмы, молились вместе. Гулять на дворик вместе ходили. Не выпускали они меня от себя. Молят прямо: «Батюшка, побудьте с нами, страшно нам». Сбегаешь, бывало, домой часа на полтора, перекусишь — и опять к ним. Спали они мало, так, с час забудется который и опять проснется. И я с ними не спал. Да и до сна ли было!

— Беседовали о чем-нибудь с ними, кроме священных предметов?

— Как же! Надежду в них все-таки поддерживал: «Бывали, мол, случаи, что и на эшафоте прощенье объявляли». Разве можно человека надежды лишать? Без надежды человек в отчаянье впадает. Допытывали они меня все — «когда да когда?». Ну а как принесли им накануне белье

чистое, тут они всё поняли, что, значит, наутро. Эту ночь всю уж не спали. Один только, кажется, на полчаса забылся. Причастил я их этой ночью. А наутро, еле забрезжилось, — выводить. Надел черную ризу — повели.

Тут произошла задержка: опоздал на четверть часа кто-то из лиц, обязанных присутствовать при казни.

— Верите ли, — говорил мне отец Александр, — мне эти четверть часа дольше всех трех дней показались. Мне! А каково им?

Когда прочли конфирмацию, ударили барабаны.

Но это была лишняя предосторожность. Никакой обычной в таких случаях ругани по адресу начальства не было.

— Умерли удивительно спокойно. Приложились ко кресту и отдались в руки палача. Только один, самый молодой, Сиютин, сказал: «Теперь самое жить бы, а нужно помирать». Сами и на эшафот взошли, и на западню стали.

Только старик, сначала куражившийся над смертью, с каждым часом все больше и больше падал духом.

Его пришлось чуть не отнести на эшафот. От ужаса у него отнялись руки и ноги.

Пред казнью он просил водки.

— Ну что ж, дали?

— Нет. Разве можно? После полночи только приобщались, а в пять часов водку пить не подобает.

Казнь продолжалась долго. Один из конвоиров во время нее упал в обморок. Многие из арестантов, приведенных присутствовать при казни, не выдерживали и уходили.

Эта последняя казнь на Сахалине происходила во дворе Александровской тюрьмы.

Обыкновенным же местом смертной казни была теперь упраздненная и срытая до основания страшная и мрачная Воеводская тюрьма, между постами Александровским и Дуэ.

Виселица ставилась посередине двора.

Присутствовать при казни выгоняли из тюрьмы сто арестантов, а если казнили арестанта Александровской тюрьмы, то пригоняли еще человек двадцать пять оттуда.

Воеводская тюрьма была расположена в ложбине, и с гор, амфитеатром возвышающихся над нею, было как на ладони видно все, что делается во дворе тюрьмы.

На этих-то горах спозаранку располагались поселенцы из Александровска и «смотрели, как

вешают».

И этот амфитеатр, переполненный зрителями, и эти подмостки виселицы — все это делало Воеводскую тюрьму похожей на какой-то чудовищный театр, где давались страшные трагедии.

От многих из зрителей я слышал подробности трагедий, разыгравшихся на подмостках Воеводской тюрьмы, но, разумеется, самые ценные, самые интересные, самые точные подробности мне мог сообщить только человек, ближе всех стоявший к казненным, присутствовавший при их действительно последних минутах, — старый сахалинский палач Комлев.

Он повесил на Сахалине тринадцать человек; из них десять — в Воеводской тюрьме.

Его первой жертвой был ссыльнокаторжный Кучерявский, присужденный к смертной казни за нанесение ран смотрителю Александровской тюрьмы Шишкову.

Кучерявский боялся казни, но не боялся смерти.

В ночь перед казнью он как-то ухитрился достать нож и перерезать себе артерию.

Бросились за доктором; пока сделали перевязку, пока привели в чувство бывшего в беспамятстве Кучерявского, наступил час «выводить».

Кучерявский умирал смело и дерзко.

Он сам скинул бинт, которым было забинтовано его горло.

И все время кричал арестантам, чтобы они последовали его примеру.

Напрасно бил барабан. Слова Кучерявского слышались и из-за барабанного боя.

Кучерявский продолжал кричать и тогда уже, когда его в саване взвели на эшафот и поставили на западню.

Комлев стоял около и, по обычаю, держал его за плечи.

Кучерявский продолжал из-под савана кричать:

— Не робейте, братцы!

Последними его словами было:

— Веревка тонка, а смерть легка…

Тут Комлев махнул платком, помощники выбили из-под западни подпорки — и казнь была совершена.

Процедура казни длилась обыкновенно долго: часа полтора.

Осужденного выводили в кандалах.

В кандалах он выслушивал приговор. Затем его расковывали, надевали саван, сверх савана петлю, смазанную салом…

В общем, казнь, назначавшаяся обыкновенно в пять, редко кончалась раньше половины седьмого.

Эти страшные полтора часа редко кто мог выдержать.

«Иной спадает так, что обомлеет совсем», по выражению Комлева.

У большинства хватало сил лишь попросить палача:

— Поскорей только! Прихлестните потуже! Без мучений, пожалуйста.

У многих не хватало сил и на это.

Ссыльнокаторжный Кинжалов, казненный за убийство на Сахалине лавочника Никитина[31], все время молился, пока читали приговор, а затем, когда его начали расковывать, лишился чувств.

Его пришлось внести на эшафот.

Державший его Комлев говорит:

— По-моему, ему и петлю-то надели уже мертвому.

Перед казнью, по воспоминаниям Комлева, почти всякий холодеет и дрожит, весь колотится,

---

[31] Примечания: 31

Говорят, что все это убийство было подстроено знаменитой Золотой Ручкой. Она была по этому делу под следствием, но освобождена за недостатком улик.

делается уже не бледным, а белым совсем.

— Держишь его за плечи, когда стоит на западне, через рубашку руке слышно, что тело у него все холодное, дрожит весь.

Среди всех тринадцати казненных Комлевым совершенно особняком стоит некто Клименко.

Преступление, совершенное Клименко, состояло в следующем.

Он бежал, был пойман надзирателем Беловым, доставлен обратно и дорогой избит.

Тогда Клименко дал товарищам «честное арестантское слово», что он разделается с Беловым, бежал вторично и сам явился на тот кордон, где был Белов.

— Твое счастье — бери. Невмоготу больше идти.

Белов снова повел Клименко в тюрьму, и по дороге арестант убил своего конвоира.

После этого Клименко сам явился в тюрьму и заявил о совершенном им убийстве, рассказав все подробно: как и за что.

Его приговорили к смертной казни.

Ничего подобного смерти Клименко не видал даже видывавший на своем веку виды Комлев.

Когда его взвели на эшафот, Клименко обратился к начальству и… благодарил за то, что его

приговорили к смерти.

— Потому что сам, ваше высокоблагородие, знаю, что сто́ю этого. Заслужил — вот и казнят.

Единственной его просьбой было «отписать жене, что он принял такую казнь».

— И отписать, что, мол, за дело.

— Даже барабан не бил при казни! — по словам Комлева.

Вот вам, как умирали каторжники и что такое смертная казнь.

Вряд ли вид ее особенно содействовал исправлению ссыльнокаторжных, которых выгоняли из тюрьмы «для присутствования», и поселенцев, которые занимали самый естественный в мире амфитеатр перед этой противоестественной сценой.

Теперь перейдем к недовольству отсутствием смертной казни.

Генерал был совершенно прав, когда говорил, что отсутствие смертной казни вызывает большое неудовольствие во многих.

— Помилуйте, батенька, — приходилось слышать буквально на каждом шагу, — ведь этак жить страшно! Того и гляди зарежут! Безнаказанность полная! Ведь это курам на смех: только прибавляют срока! У человека и так сорок лет,

а ему набавляют еще пятнадцать. Не все ли ему равно: сорок или пятьдесят пять?! Нет! Эти гуманности надо побоку. Смертная казнь — вот что необходимо!

И когда даже я, привыкший на Сахалине целые дни проводить в обществе Комлевых, Полуляховых, Золотых Ручек, выходил из терпения от этих рассуждений и говорил им:

— Тогда, господа, уж будет лучше говорить о колесовании, о четвертовании. Это хоть будет иметь смысл. Это хоть еще не применялось — может быть, поможет. А смертная казнь применялась и ничему не помогала.

На самом деле!

Когда происходили все эти убийства смотрителей?

Когда был убит Дербин? Селиванов? Другие? Когда было покушение на Ливина, на Шишкова?

В то время, когда за это смертная казнь полагалась обязательно.

Был ли убит хоть один чиновник за эти четыре года, пока не было смертной казни?

Нет. Ни одного.

— А покушение на убийство доктора Чардынцева? А покушение на убийство секретаря полиции

Тымовского округа?[32]

Действительно, «в производстве» имелись оба эти дела.

На доктора Чардынцева бросился арестант Криков.

С Криковым меня познакомил… доктор Чардынцев.

— Ну а теперь пойдемте посмотреть на человека, который чуть меня не зарезал! — сказал мне доктор, когда мы обошли весь лазарет.

— Как? Разве он здесь? У вас?

— Да. В отдельной комнате.

— И вы не боитесь к нему ходить?

— Нет, ничего. Он теперь успокоился. Мы с ним большие друзья.

В маленькой отдельной комнатке лежал больной Криков, бледный, исхудалый, измученный.

Приняв меня за доктора, он начал слабым, прерывающимся от одышки голосом жаловаться на сильное сердцебиение и расхваливать своего доктора:

— Если бы вот не они — прямо бы на тот свет отправился.

«Сильнейший порок сердца», — шептал мне

---

[32] Примечания: 32
Оба случая в сел. Рыковском.

доктор.

Тогда мы перевели разговор на недавнее покушение. Криков сильно заволновался, схватился за голову:

— Лучше не поминайте, не поминайте про это!.. Сам не знаю, что со мной было… У меня бывает это: голова кружится, сам тогда себя не помню… Ужас берет, когда подумаю, что я чуть-чуть не сделал!.. И против кого же?.. Против доктора!.. Доктора!..

И он смотрел на доктора Чардынцева глазами, полными слез, с такой мольбой, с таким благоговением, что, право, не верилось: неужели от рук этого человека действительно чуть-чуть не погиб этот-то самый доктор?

Криков не старый еще человек, но уже богадельщик; вследствие сильнейшего порока сердца не способен ни на какую работу. Он человек, несомненно, психически ненормальный. Ему вечно кажется, что его преследуют, обижают, что к нему относятся враждебно. Он вечно всем недоволен. Необычайно, болезненно раздражителен. По временам впадает прямо в умоисступление и тогда действительно не помнит, что делает.

С доктором Чардынцевым он все время был в самых лучших отношениях.

Но в один из таких припадков обратился с требованием какого-то лекарства. Доктор отказал.

— Ага! Вы меня уморить хотите! Вы меня нарочно в лазарете держите, не лечите! Так нет же, не дамся я вам! — завопил Криков и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, выхватил из-за голенища нож и кинулся на доктора.

К счастью, господин Чардынцев успел схватить его за руку, обезоружить; сейчас же отвел его в отдельную комнату и принялся успокаивать.

Когда Криков опомнился и пришел в себя, его горю, его отчаянью, стыду не было границ.

Как видите, под умышленное покушение этого случая подвести никак нельзя. Я уверен — и говорю, строго проверив это, — что во всей каторге не найдется ни одного человека, который умышленно захотел бы причинить вред господину Чардынцеву, этому славному, доброму, симпатичному, гуманному врачу.

Он чуть не пал жертвой ненормального субъекта. Какой врач, имеющий дело с душевнобольными, застрахован от этого?

При чем тут распущенность каторги?

Случай с секретарем полиции Тымовского округа — случай странный, загадочный, и если говорить о распущенности, то не одной только

каторги.

Господин секретарь — человек молодой, но быстро усвоивший себе сахалинские обычаи.

В его канцелярии был писцом бродяга, некто Туманов, молодой человек, тихий, скромный, трудолюбивый, хорошо воспитанный. Он попал в какое-то «дело», не захотел срамить своей семьи, предпочел скрыться и пойти на каторгу под именем бродяги.

На Сахалине мало стесняются насчет ругани.

И однажды господин секретарь, будучи почему-то не в духе, ни за что ни про что изругал Туманова и при всей канцелярии назвал его «подлецом» и «мерзавцем».

На Туманова это страшно подействовало. Быть может, в особенности потому, что это случилось тогда, когда он только что выбрался из тюрьмы и только-только начал снова чувствовать себя человеком.

Он нашел человека, судьба которого близко подходила к его. Познакомился с одной бывшей баронессой, сосланной за поджог, и, кажется, между ними установились отношения более нежные, чем отношения простых знакомых[33].

---

[33] Примечания: 33

См. вторую часть, гл. «Каторжанка баронесса Геймбрук».

По ее словам, на Туманове, когда он пришел домой после сцены с секретарем, «лица не было».

Он казался помешанным, ходил по комнате, хватался за голову, разговаривал сам с собою.

— Нет-нет!.. Это не так… Я все, что угодно, но подлецом и мерзавцем я никогда не был. Я потому и в каторгу пошел, что я не подлец и не мерзавец… Нет-нет — этого так оставить нельзя…

Девиз Сахалина: «Всякий за себя». Видя, что дело может кончиться плохо, баронесса потребовала, чтобы Туманов оставил ее дом.

— Делайте там, что вам угодно, но я не желаю быть впутанной в эту историю. Довольно с меня! Я отбыла каторгу, поселенчество, теперь я, слава богу, крестьянка из ссыльных, имею булочную, двух коров. Мне рисковать всем этим не приходится. У меня есть ребенок. Оставьте мой дом немедленно и забудьте, что были со мной знакомы.

— Мне было тяжело говорить ему это, — рассказывала мне она. — Ведь он на меня чуть Богу не молился. Но вы поймите и мое положение.

И вот, выкинутый на улицу, потерявший голову, в такую трудную минуту оттолкнутый даже той, на которую он «чуть Богу не молился», Туманов идет и совершает свое безумное дело.

У господина секретаря шла, по обычаю, картежная игра. Штосс — обычное времяпрепровождение на Сахалине не одних каторжан. Как вдруг докладывают, что господина секретаря желает видеть Туманов «по чрезвычайно важному и неотложному делу». Господин секретарь вышел в кухню.

— Что тебе?

Туманов стоял перед ним бледный как смерть, с дрожащими губами.

— Я пришел поблагодарить вас за то, что вы сегодня…

Вполне уверенный, что Туманов пришел просить прощения — на Сахалине это принято, чтобы те, кого обругали, просили прощения, — уверенный, что Туманов пришел просить прощения, господин секретарь сказал:

— Хорошо, хорошо! Придешь завтра!

Тогда Туманов сделал шаг вперед и со словами:

— Это вам от подлеца и мерзавца!.. — выхватил револьвер. Щелкнул курок, выстрела не последовало.

На крик перепуганного секретаря сбежались гости. Но Туманова уже не было. Лишь только произошла осечка, он бросился из кухни.

Господин секретарь и его гости пережили

несколько нехороших минут. В доме масса окон. Ставни закрыты не были. Вот-вот в одно из окон грянет выстрел.

Но тут история начинает становиться удивительно странной.

Страх был напрасен: выстрел не грянул. Убегая из кухни, Туманов выронил или выбросил револьвер. Оказалось, что тот ствол, из которого стрелял Туманов в господина секретаря, не был вовсе заряжен!

Что это было? Случайный недосмотр или только желание «попугать»? Если недосмотр, кто мешал Туманову выстрелить еще раз, в то время как господин секретарь стоял перед ним, схватившись за притолоку, по его собственным словам «оцепенев от ужаса», не будучи в состоянии даже крикнуть, не проявляя никакой попытки сопротивляться или обезоружить врага?

Когда Туманова поймали, в его кармане нашли записку, в которой он пишет, что решил «покончить с собой».

На все вопросы Туманов отвечал только одно:

— Я не стрелял. Это подлец и мерзавец стрелял в господина секретаря, а не Туманов.

И просил только перевести его из Рыковского в Александровск. По переводе туда он начал ве-

сти себя еще страннее. Начал писать докладные записки, в которых просит для поправления здоровья отправить его… то в Спа, то в Биарриц.

Симулянт это или действительно душевнобольной, когда я уезжал с Сахалина, еще не было выяснено: Туманов только что был отдан для испытания в психиатрическое отделение.

Но несомненно, что в этом деле много странного, много загадочного.

Случай этот произвел сильное волнение среди господ служащих. Брат потерпевшего, доктор, говорил мне:

— Какая тут, к дьяволу, гуманность! Если его не повесят, я готов задушить его собственными руками.

Но братья плохие судьи в делах, где замешаны их братья.

Остальные господа служащие разделились на два лагеря. Одни — и я не скажу, чтобы это была лучшая часть сахалинских служащих, — кричат:

— Повесить!

— Повесить для примера! Каторга распущена! Нужно защищать безопасность…

— Но ради бога, — говорил я им, — безопасность чего вы, добрые люди, хотите защищать таким страшным путем? Безопасность ругани, издева-

тельства над каторжанами и поселенцами? Да разве так надо обращаться с «возрождающимся» человеком? Ведь закон, правительство хотят сделать Сахалин местом «возрождения» преступника.

Но в ответ раздавалось:

— Вздор! Все это одна «гуманность»!

Самое ненавистное на Сахалине слово!

— Повесить — и все.

Другая часть служащих — и никто не скажет, чтобы это была худшая часть, — полагает, что:

— Нужно нам самим многое изменить в наших отношениях к каторге.

Не следует забывать, что даже в этой несчастной, забитой, придавленной среде всегда найдутся люди, которые остатки своей чести поставят выше жалких остатков своей горькой, презренной жизни.

Как бы то ни было, но факт, что описанные мною два случая покушений были единственными за те четыре года, когда смертная казнь на Сахалине не применялась, и нравы сравнительно с прежними были все-таки мягче. Все убийства служащих, все беспрестанные покушения, вроде покушения зарезать господина Ливина или повесить господина Фельдмана, происходили в то

время, когда нравы были куда круче и когда за убийство служащего смертная казнь полагалась обязательно.

Следовательно, не одним только страхом смертной казни можно установить добрые отношения каторжан к господам служащим. Веревка, как показал опыт, одна веревка слишком слаба, чтобы удержать безопасность господ служащих на должной высоте.

Что касается до убийства своего же брата, поселенца, с целью грабежа, то таких случаев на Сахалине действительно очень много.

— Ну а в Петербурге, в Москве, во всем мире их мало? — основательно замечал мне по этому поводу противник смертной казни, военный губернатор острова, господин Мерказин. — А ведь это остров, сплошь населенный убийцами.

То, что говорится на Сахалине, действительно заставляет волосы подниматься дыбом, непонятно по своему ужасу для нас. Но не следует забывать, что Сахалин — это место, где все «перевернуто вверх ногами». В этой среде несчастных, ищущих забвения, бутылка спирта стоит подчас десять рублей. В этой среде нищих человека режут за шестьдесят копеек. Поселенцы селения Вальзы отправились на охоту за беглыми Полу-

ляховым, Казеевым и товарищами и стреляли по ним, боясь, что беглые с голоду зарежут у них корову.

Следует с особой осторожностью относиться ко всем этим «убийствам с целью грабежа». Часто там, где предполагают грабеж, таится месть, многолетняя, глубокая, затаенная так, как умеет затаивать обиды только каторга.

У поселенца Потемкина в селении Михайловском Александровского округа беглый Широколобов зарезал жену. И случай этот вызвал сочувствие к Широколобову всей каторги.

— И поделом. Не он — другой бы это сделал.

— За что же?

— Да вы не знаете, барин, что он за человек, этот Потемкин. Майданщик бывший, «отец», на нашей крови, как клоп, раздулся. Нашими слезами напился. Сколько народу из-за него навек погибло, скольких до «свадьбы» (смены имен) довел, сколько в бега от него пустилось и из малосрочных в вечные каторжники перешло, сколько народу из-за него перерезано!

Мне пришлось остановиться у одного богатого поселенца, дом которого положительно представлял собою вооруженную крепость. По стенам, над постелями — везде револьверы.

— А на ночь мы вам, барин, на столике около револьвер положим, а свой-то вы под подушку суньте. Который будет ловчее достать.

Я удивился.

— Что так?

— Грабить меня собираются. Широколобов тут в округе балует. По ночам мне военный караул отряжают. В сараюшке тут непременно прячется. Пусть придут, пусть пограбят.

Но насмерть перепуганная, слезливая хозяйка не удержалась и поведала мне истинную причину ожидавшегося нападения:

— Убивца одного беглого хозяин-то мой в Александровске признал. За то и порешили всех перерезать. Не любят они хозяина-то: лют он с ними, что греха таить! Деньгу любит и берет. Ну да ведь для того и на Сакалине живем, чтобы чем ни на есть себя вознаградить. Каторгу, поселение отбыли, — должны за это что нажить. Ведь у нас дети.

И так во многих случаях, где сначала подозревают только один грабеж. Много бывает случаев и убийств с целью только грабежа. Безработица, голод, полное неумение заняться тем делом, которым заставляют заниматься, очень часто непривычка к труду, нежелание трудиться, порча

человека тюрьмой, страсть к картам, — вот что толкает сахалинца идти убивать и грабить. Среди всех этих причин страсть к картам и невозможность что-либо заработать — главнейшие. Нигде, конечно, нет столько «голодных убийств», как на Сахалине. Мне рассказывали двое каторжан, как они, окончив каторгу «по рассейскому преступлению» и выйдя на поселение, уже на Сахалине убили поселенца. Выпросили у кого-то на время «поработать» топор и пошли.

— Бить должен был Степка, потому он в те поры был посильнее.

Степка размахнулся топором.

— Ударил поселенца по голове, да с размаха-то и сам на него повалился.

— Почему же?

— Ослаб больно. Три дня перед тем ничего не ел. Он, поселенец-то, ежели бы захотел, сам бы нас всех, как котят, передушил. Убили — и сейчас это на куфню за хлебом. Ен тута лежит, а мы жрем. Смехота!..

Так их и «накрыли».

Но веревка, как устрашающее средство, обанкротилась и в деле предупреждения этих убийств.

Когда происходили все эти ужасающие убийства, вроде до сих пор памятного даже на Саха-

лине убийства лавочника Никитина? В то время, когда казнь в Воеводской тюрьме была в самом разгаре и палач Комлев, по его выражению, «работал».

Эти случаи были, есть и будут, пока на Сахалине не изменится многое, толкающее людей на преступление.

Имеет ли смертная казнь вообще такое устрашающее влияние, какое приписывают ей господа сахалинские сторонники повешения «для примера»?

Надо вам сказать, что благодаря невежеству и полному незнакомству с законом очень многие преступники, совершая преступление, были уверены, что им за него «полагается веревка».

Полуляхов, убивая семью Арцимовичей в Луганске, был вполне уверен, что его, если поймают, непременно повесят.

— Ведь не кто-нибудь — член суда. Был уверен, что за это веревки не избежать.

Единственным последствием этой боязни было то, что он убил и мальчика, сына Арцимовича.

— Жаль было его убивать. Рука не поднималась… Даже и удара-то я ему не мог нанести как следует… Но как подумал, что ни о чем другом, о моей жизни идет тут речь, — и убил.

Викторов, своим убийством молодой девушки в Москве наделавший очень много шума, был тоже уверен, что его за это непременно повесят.

Он и на суде ждал смертного приговора. Его ужас был так велик, что он не сознавал, что говорил на суде. Он до сих пор уверен, что прокурор, указывая на окровавленные вещи жертвы, требовал, чтоб его, Викторова, тоже разрубили на части. Когда объявили, что он приговорен к каторге, Викторов «так обрадовался, что даже не знал: верить или нет».

Этот страх смертной казни заставил Викторова только разрубить труп убитой им девушки на части, запаковать в чемодан и отправить по железной дороге. В то время все удивлялись этому хладнокровному зверству преступника. А в сущности это «хладнокровное зверство» было не чем иным, как страхом перед веревкой.

Знаменитый когда-то на юге преступник Позульский зарезал в Херсоне помощника смотрителя тюрьмы при совершенно исключительных обстоятельствах. Помощник смотрителя приказал его отколотить прикладами. Позульский дал обещание отомстить. Затем он бежал, два года скрывался, был пойман и через два года, попав снова в Херсонскую тюрьму, «исполнил свое

слово». Знал ли он, что его за это ждет веревка? Был в этом уверен.

Но его положение было таково, что иначе он поступить не мог. Ценой больших трудов он завоевал себе в мире преступника титул «настоящего Ивана». В этом мире его боялись, его приказания исполнялись беспрекословно. Он, как это подтверждали мне смотрители тюрем, одним приказанием усмирял арестантские бунты; он давал, как, например, сосланному в Одессе банкиру Иовановичу, рекомендательные письма, с которыми рекомендованные им лица пользовались льготами во всех тюрьмах. Я сам на Сахалине видел то прямое невероятное почтение, которым в арестантском мире окружен Позульский: с ним никто не смеет говорить в шапке. Его уважали, потому что боялись. Слушались, потому что перед его «урозой» дрожали. В случае с херсонским помощником смотрителя он ставил на карту все. Он дал слово — и должен был исполнить угрозу. Его боялись, потому что он сам не боялся ничего. Люди такого сорта должны держать слово. Иначе тюрьма увидит, что поклонялась простой деревяшке, когда с идола слезет позолота. Как бы издевалась, как бы глумилась тюрьма над «струсившим» Позульским, как поступают люди

вообще с тем, кто падает с высокого пьедестала?

И Позульский предпочел смерть такой жизни и зарезал.

На Сахалине некто Капитон Зверев зарезал доктора Заржевского. Это был доктор старого закала, каких очень любили господа смотрители. Для него не было больных и слабосильных. Когда являлись на освидетельствование, он обыкновенно писал: «Дать пятьдесять розог». Зверев надорвался на работе, не был в состоянии выполнять «уроков» и, получив массу «лоз», явился к доктору отпроситься от работ. Доктор Заржевский прописал ему свой обычный «рецепт». Тогда Зверев выхватил заранее приготовленный нож и зарезал доктора. Это было еще в те времена, когда вешали.

— А не боялся, что повесят? — спрашивал я Зверева.

— Даже удивились все, как я от веревки ушел. Уверен был, что повесят.

— Зачем же делал это?

— Да устал больно на «кобылу» ложиться. Так решил: лучше уж смерть, чем этакая жизнь.

— Ну и покончил бы с собой.

— А он, мучитель, других мучить будет? Нет, уж так решил: ежели мне конец, то пусть уж другим

хоть лучше будет. Помирать — так не одному.

Антонов-Балдоха, долго наводивший на Москву трепет как один из коноводов гремевшей когда-то шайки «замоскворецких башибузуков», все время ждал, что «поймают — беспременно повесят». Так ему и другие товарищи говорили. Это заставляло его только, по его выражению, «работать чисто».

— Возьмешь что — бьешь. Потому уличить может, зачем в живых оставлять — веревка.

Страх смертной казни заставляет преступника быть более жестоким — это часто. Останавливает ли от преступления? Факты говорят, что нет.

Не следует забывать об одном важном, так сказать, элементе преступной натуры — о крайнем легкомыслии преступника. Всякое наказание страшит преступника, но он всегда надеется, что удастся избежать и не быть открытым. Разберите большинство преступлений, и вас, в конце концов, поразит их удивительное легкомыслие.

— Почему же ты убил?

— Слыхал, что деньги есть.

— Ну а сам ты знал, есть ли деньги, сколько их?

— А почем я мог знать? Не знал. Люди говорили, будто есть. Ан не оказалось.

— Да ведь, оставив в стороне все прочее, ведь, идя на такое дело, ты рисковал собой?

— Известно.

— Как же ты, рискуя всей своей жизнью, не знал даже, из-за чего ты рискуешь?

Что это, как не крайнее легкомыслие!

Или:

— Убил потому — мужик богатый. Думал, возьму тыщи две. Хату нову построю, своя-то больно развалилась.

— Так. Ты был, говоришь, мужик бедный?

— Беднеющий.

— И вдруг бы хату новую построил. Все бы удивились: на какие деньги? А тут рядом богатый сосед убит и ограблен. У всякого бы явилось на тебя подозрение.

— Оно, конечно, так. Известно, ежели б раньше все обмозговать, — может, лучше б и не убивать. Да так уж в голову засело: убью да убью — хату нову поставлю, своя-то уж больно развалилась.

Или: убил, ограбил и ушел в притон, начал пьянствовать, хвастаться деньгами, — там его и накрыли. А человек бывалый: был стрелком, форточником, поездошником, парадником, громилой. Прошел все стадии своего ремесла — ничем другим, кроме краж, в жизни не

занимался. Должен знать все «насквозь».

— Ну зачем же пьянствовать сейчас же пошел — да еще куда? Знаешь ведь, что, случись грабеж, полиция первым делом в притон бросается: там вашего брата ищет.

— Известно. Это у нее дело первое.

— Ну зачем же шел?

— Думал, что на поезд пойдут искать. Будут думать, что из города уехал.

Это изумительное легкомыслие заставляет их и с Сахалина бежать. Люди знают, что идут на верную смерть, что впереди Татарский пролив, лесная пустыня, а идут, потому что «надеются».

Этого легкомыслия не пересилит даже страх веревки.

С другой стороны, есть люди, которых, как Позульского, толкают на преступление обстоятельства: ему лучше умереть.

С третьей стороны, можно человека, как Зверева, довести до такого состояния, когда смерть покажется благом.

Наконец не следует забывать, что не всегда преступления на Сахалине совершаются по личной инициативе. Очень часто они совершаются по приговору каторги человеком, на которого пал жребий. Для такого человека нет выбора: испол-

нит или не исполнит он приговор каторги — его одинаково ждет смерть.

Я не собираюсь писать трактата о смертной казни вообще. Моя задача гораздо более узкая: сказать то, что я знаю о смертной казни на Сахалине.

Но несомненно, что один из главных доводов, который приводят противники смертной казни, — «непоправимость наказания» в случае ошибки правосудия, — нигде не выступает так ярко, как именно на Сахалине. Нигде он не витает таким страшным призраком.

Правосудие ошибается повсюду. Но вряд ли где так трудно избежать ошибки, как на Сахалине. Производить следствие там, где вы должны допрашивать без присяги, где ничто уже не грозит за лжесвидетельство, производить следствие в среде исключительно преступной, нищей, голодной, в среде, где люди продаются и покупаются за десятки копеек, где ложь перед начальством — обычай, а укрывательство преступников — закон, — производить следствие, творить суд в такой среде, при таких обстоятельствах особенно трудно.

Тут труднее, чем где бы то ни было, узнать истину. И правосудию, окруженному непроходимой

ложью, нигде так не легко впасть в ошибку.

При таких условиях «непоправимость наказания» вселяет особенный ужас. Смертная казнь, это страшное, непоправимое, могущее часто быть ошибочным, двадцатитрехлетним опытом доказавшее свою несостоятельность в деле устрашения наказания, четыре года было спрятано в архив на Сахалине, и никому никакого худа от этого не вышло.

Палачи

Толстых

— Здравствуй, умница!

— Здравствуй, дяденька!

— Кому, дурочка, дяденька, а твоему сожителю крестный отец! — весело шутит на ходу старый сахалинский палач Толстых.

— Да почему же ты ему крестный отец?

— Драл я ее сожителя, ваше высокоблагородие!

— А много ты народа передрал?

Только посмеивается:

— Да вот все, что кругом, ваше высокоблагородие, видите, — все мною перепорото!

Толстых лет под шестьдесят. Но на вид не больше сорока. Он бравый мужчина, в усах, подбородок всегда чисто-начисто бреет. Живет по-сахалински, зажиточно. Одет щеголевато, в пиджак, высокие сапоги, даже кожаную фуражку, — верх сахалинского шика. Вообще «себя соблюдает». Настроение духа у него всегда великолепное: шутит и балагурит.

Толстых — как и по его странной фамилии видно, сибиряк. На вопрос, за что попал в каторгу,

отвечает:

— За жану!

Он отрубил жене топором голову.

— За что ж ты так ее?

— Гуляла, ваше высокоблагородие.

Попав на Сахалин, этот сибирский Отелло «не потерялся». Сразу нашелся: жестокий по природе, сильный, ловкий, он пошел в палачи.

Человек рожден быть артистом. Человек изо всего сделает искусство. Какой инструмент ему ни дайте, он на всяком сделается виртуозом. Сами смотрители тюрем жалуются:

— У хорошего палача ни за что не разберешь: действительно он порет страшно или вид только делает. Удар наносит, кажется, страшный…

Действительно, сердце падает, как взмахнет плетью…

— А ложится плеть мягко и без боли. Умеют они это, подлецы, делать. Не уконтролируешь!

Толстых научился владеть плетью в совершенстве. И грабил же он каторгу! Заплатят — после ста плетей человек встанет как ни в чем не бывало. Не заплатят — держись.

Человек ловкий и оборотистый, он умел вести свои дела «чисто»: и начальство его поймать не могло, и каторга боялась.

Боялась, но в те жестокие времена палача, с которым можно столковаться, считала для себя удобным.

— Знал, с кого сколько взять! — поясняли мне старые каторжане на вопрос, как же каторга терпела такого «грабителя».

— Мне каторга, неча Бога гневить, досталась легко! — говорит Толстых.

Окончив срок каторги, Толстых вышел на поселение с деньгами и занялся торговлей. Он барышничает, скупая и перепродавая разное старье.

Его никто не чурается — напротив, с ним имеют дело охотно.

— Парень-то больно оборотистый!

Когда я познакомился с Толстых, он переживал трудные времена: кому-то надерзил, и его на месяц отдали «в работу»; назначили рассыльным при тюрьме.

— День-деньской бегаю. В делах упущенье. Хотя бы вы за меня, ваше высокоблагородие, похлопотали! — просил Толстых. — За что же меня в работу? Затруднительно.

— В палачах, небось, легче было?

— В палачах — известно. Там доход.

— Что же, опять бы в палачи хотелось?

— Зачем? Я и торговлишкой хлеб имею. Палач — дело каторжное. А я теперь — поселенец. Так, порю иногда по вольному найму.

— Как «по вольному найму»?

— Палача в прошлом вот году при тюрьме не было. Никто не хотел. А приговоров накопилось — исполнять надо. Ну и перепорол пятьдесят человек за три целковых.

— А правду про тебя, Толстых, рассказывают, что ты нанимался за пятнадцать рублей насмерть запороть арестанта Школкина?

Только посмеивается:

— Сакалин, ваше высокоблагородие!

Медведев

Палач Корсаковской тюрьмы Медведев, быть может, самое отвратительное и несчастное существо на Сахалине.

Вся жизнь его — сплошной трепет.

Проходя мимо тюрьмы, вы увидите у ворот приземистого, нескладного арестанта. Руки как грабли. Большие оттопырившиеся уши торчат, как лопухи. Маленький красненький нос. Лицо — словно морда огромной летучей мыши.

От ворот он не отходит ни шага. Это Медведев «гуляет». Он все время держится на глазах у часо-

вых и ни за что не отойдет в сторону.

Будто прикованный!

Медведев и в палачи пошел «из страха».

В 1893 году он судился в Екатеринодаре за убийство хозяина постоялого двора, у которого служил в работниках. Убийство с целью грабежа. Хозяин, по словам Медведева, был ему должен и не отдавал денег.

— По подозрению в убийстве! — говорит Медведев.

И этот человек, вызвавшийся быть палачом, вешавший, упорно отрицает, что он убил хозяина.

— Не мой грех, да и все.

После того как мы познакомились больше, Медведев объяснил мне, почему он так упорно отрицает свою вину.

— Не в сознании я судился.

— Ну?

— Ну и положили мне наказание. А скажу, что я, пожалуй, еще наказание прибавят. Мне теперь говорить нельзя.

В палачи Медведев пошел из страха перед каторгой.

— Слыхал, что в каторге людей под земь сажают. Боялся я шибко. Потому и в палачи вызвался, думал, в Рассее при тюрьме оставят.

В тюрьме, где содержался Медведев, предстояла казнь двух кавказцев-разбойников. Палача не было, Медведев и «вызвался».

Об этой казни Медведев рассказывает с тем же тупым, спокойным лицом, равнодушно, до сих пор только жалеет, что «не все по положению получил».

— Рубаха красная мне следовала. Да сшить не успели — так рубаха и пропала. Халат только новый дали.

— Что ж ты, перед казнью водку хоть пил?

— Нет, зачем. Захмелеть боялся. Был тверезый.

— И ничего? Не страшно было?

— Ничаво. Только как закрутился первый, страшно стало. В душу подступило.

И Медведев указал куда-то на селезенку.

— Ну а если бы здесь вешать пришлось?

— Что ж. Прикажут — повешу.

Надежды Медведева не сбылись: палачом его при тюрьме не оставили, а послали на Сахалин.

— Ну хорошо. Там ты в палачи пошел, боялся, что под земь на каторге посадят. А здесь-то зачем же в палачах остался? Здесь ведь ты увидел, что это все сказки и под земь не сажают.

— А здесь уж мне нельзя. Мне уже в арестантскую команду идти невозможно: палачом был —

пришьют. Мне из палачей уходить невозможно.

И он держится в палачах из страха.

Медведев живет в страшной нищете: никакого имущества. Ничего, кроме «кобылы» да плети — казенных вещей, сданных ему на хранение.

Из страха он не берет даже взяток.

Когда пригоняется новая партия, между арестантами всегда идет сбор «на палача» — для тех, кто пришел на Сахалин с наказаньем плетьми или розгами, по приговору суда. Ни один арестант никогда не откажет в копейке, последнюю отдает при сборе «на палача». Это обычный доход палачей.

Но Медведев и от этого отказывается:

— Нельзя. Возьмешь деньги да тихо драть будешь — из палачей выгонят. А возьмешь деньги да шибко пороть начнешь — каторга убьет.

И то, что он не берет, в один голос подтверждает вся тюрьма.

— Хоть ты ему что — запорет!

Дерет он действительно отчаянно.

— Так, пес, смотрителю в глаза и смотрит. Ему только мигни — дух вышибет. Нешто он что чувствует!

А «чувствует» Медведев, когда перед ним лежит арестант, вероятно, многое. Этот трус становится

на одну минуту могучим. Все вымещает он тогда: и вечное унижение, и вечный животный страх, и нищету свою, и свою боязнь брать. Все припоминается Медведеву, когда перед ним лежит человек, которого он боится. За всю свою собачью жизнь рассчитывается.

И чем больше озлобляется, тем больше боится, и чем больше боится, тем больше озлобляется.

Из страха Медведев даже не пользуется тем некоторым комфортом, который полагается палачу.

Палачу полагается отдельная каморка. Медведев в ней не живет.

— Ночью выломают двери и пришьют.

Он валяется у хлебопеков. От хлебопеков зависит количество припека: смотрители хлебопеков ценят; хлебопеков не дерут — хлебопекам не за что злобствовать на палача, — и у них Медведев чувствует себя в безопасности. Хлебопеки его, конечно, презирают и «держат за собаку». Когда кто-нибудь из хлебопеков напьется, он глумится над Медведевым, заставляет его, например, спать под лавкой.

— А то выгоню!

И тот лезет под лавку, как собака.

— Ночью-то он на минутку выйти боится!

Медведев со страхом и ужасом думает о том, о чем всякий каторжник только и мечтает: когда он кончит каторгу.

— О чем я вас попросить хотел, ваше высокоблагородие! — робко и нерешительно обратился он однажды ко мне, и в голосе его слышалось столько мольбы. — Попросите смотрителя, когда мне срок кончится, чтоб меня в палачах оставили. Как мне на поселение выйти? Убьют меня, беспременно убьют!

И он даже прослезился — этот человек, мечта которого остаться до конца жизни палачом, ужас которого — выйти на свободу.

Он повалился в ноги:

— Попросите!

И хотел целовать руки.

Комлев

Против окон канцелярии Александровской тюрьмы бродит низкорослый, со впалой грудью, мрачный, понурый человек. И бродит как-то странно. Голодные собаки, которых часто бьют, ходят так мимо окон кухни. Не спуская глаз с окон и боясь подойти близко: а вдруг кипятком ошпарят.

Это Комлев, старейший сахалинский палач.

Теперь отставной.

Он прослышал, что в Александровской тюрьме будут вешать бродягу Туманова, стрелявшего в чиновника[34], и пришел с поселья, где живет в качестве богадельщика.

— Без меня повесить некому.

Он повесил на Сахалине тринадцать человек. Специалист по этому делу и надеется «заработать рубля три».

А пока, в ожидании казни, как я уже говорил, он нанялся у каторжанки, живущей с поселенцем, нянчить детей.

Таковы сахалинские нравы.

Комлев пришел к тюрьме проведать: «не слышно ли когда» — и бродит против окон канцелярии, потому что здесь есть надзиратели.

Комлева ненавидит вся каторга. Где бы ни встретился — его каждый бьет. Бьют, как собаку, пока не свалится без чувств где-нибудь в канаву. Отдышится — и пойдет.

Живуч старик необычайно. Пятьдесят лет, и грудь впалая, и тело все истерзано, и от битья кашляет иногда кровью, а в руках сила необычайная.

---

[34] Примечания: 34

См. очерк «Смертная казнь».

Комлев — это его палаческий псевдоним.

Когда бьют розгами тонким концом, это называется:

— Давать лозы.

Когда бьют толстым — это:

— Давать комли.

Отсюда и это прозвище Комлев.

Комлев — костромской мещанин, из духовного звания, учился в училище при семинарии и очень любит тексты, преимущественно из Ветхого Завета.

Он был осужден за денной грабеж с револьвером на двадцать лет. В 77-м году он бежал с Сахалина, но в самом узком месте Татарского пролива, почти достигнув материка, был пойман гиляком, получил девяносто шесть плетей и двадцать лет прибавки к сроку. В те жестокие времена палачам работы было много, и палачу, тоже сахалинской знаменитости, Терскому, потребовался помощник. В тюрьме бросили жребий: кому идти в палачи. И жребий выпал Комлеву.

Но Комлев все еще мечтал о воле и в 89-м году опять бежал — его поймали на Сахалине же, прибавили еще пятнадцать лет каторги.

— Итого пятьдесят пять лет чистой каторги! — с чувством достоинства говорит Комлев.

И приговорили к сорока пяти плетям.

Плети давал «ученику» Терский.

— Ну, ложись, ученик, я тебе покажу, как надо драть.

И «показал».

В 97-м году Комлев говорил мне:

— До сих пор гнию.

И разделся. Тело — словно прижжено каленым железом. Страшно было смотреть. Местами зарубцевалось в белые рубцы, а местами вместо кожи тонкая красная пленочка.

— Пожмешь — и течет!

Пленочка лопнула, и потекла какая-то сукровица.

На луфтической почве это наказание разыгралось во что-то страшное.

Так глумился палач над палачом.

Скоро, однако, Терского поймали в том, что он, взяв взятку с арестанта, наказал его легко.

Терскому назначили двести розог, и наказать его дали Комлеву.

— Ты меня учил, как плетями, а я тебе покажу, что розгами можно сделать.

Терский до сих пор гниет. То, что он сделал с Комлевым, — шутка в сравнении с тем, что Комлев сделал с ним.

— По Моисееву закону: око за око и зуб за зуб! — добавляет Комлев при этом рассказе. — Я драть умею: на моем теле выучили.

Беглый каторжник Губарь, который был приговорен к плетям за людоедство, после сорока восьми комлевских плетей был унесен в лазарет и через три дня, не приходя в себя, умер. И Комлев сделал это, получив взятку от каторги, которая ненавидела Губаря.

Доктора, присутствовавшие при наказаниях, которые приводил в исполнение Комлев, говорят, что это что-то невероятно страшное.

Это не простое озлобление Медведева. Это утонченное мучительство. Комлев смакует свое могущество. Он даже особый костюм себе выдумал: красную рубаху, черный фартук, сшил какую-то высокую черную шапку. И крикнул:

— Поддержись!

Медлит и выжидает, словно любуясь, как судорожно подергиваются от ожидания мускулы у жертвы.

Докторам приходилось отворачиваться и кричать:

— Скорее! Скорее!

Чтобы прекратить это мучительство.

— А они меня мало бьют? Всю жизнь из меня вы-

били! — говорит Комлев, когда его спрашивают, почему он так «лютеет», подходя к разложенному на «кобыле» человеку.

Чем-то действительно страшным веет от этого человека, который выкладывает по пальцам, «сколько их всего было»:

— Сначала один в Воеводской… потом еще два в Воеводской… Двух в Александровской… Да двух еще в Воеводской… да еще один… да еще три… да еще один… да еще один… Всего мною было повешено тринадцать человек.

И было жутко, когда он рассказывал мне подробно, как это делал; рассказывал монотонно, словно читал по покойнику, не говорил ни «казнимый», ни «преступник», а понижая голос:

— «Он».

— Первым был Кучеровский. За нанесение ран смотрителю Шишкову его казнили в Воеводской, во дворе. Вывели во двор сто человек, да двадцать пять из Александровской смотреть пригнали. На первом берет робость, как будто трясение рук. Выпил два стакана водки… Трогательно и немного жалостливо, когда крутится и судорогами подергивается… Но страшнее всего, когда еще только выводят и впереди идет священник в черной ризе, — тогда робость берет.

— По вечерам было особенно трогательно, когда выходишь, бывало, все «он» представляется.

После первой казни Комлев пил сильно.

— Страшно было.

Но со второй привык и ни до казни, ни после казни не пил.

— Просят только: «Нельзя ли без мучениев». Белеют все. Дрожат мелкой дрожью. Его за плечи держишь, когда на западне стоит, а через рубашку чувствуешь, что тело холодное. Махнешь платком, помощники подпорку и вышибают.

— И ты пришел теперь, чтобы делать это?

— Жрать-то нужно?

«Какой ужасный и отвратительный человек», — скажете вы. А я знал женщину, ласками которой он пользовался.

И у этой женщины еще был мужчина, который избил ее и отнял подаренные Комлевым две копейки.

Меня интересовало, что скажет Комлев, если ему сказать такую вещь:

— А знаешь, скоро ведь телесные наказания хотят уничтожить.

— Дай-то бог… Когда бы это кончилось! — сказал Комлев и перекрестился.

Голынский

Когда в 1897 году в Александровской тюрьме, где собрана вся «головка» каторги, все, что есть в ней самого тяжкого и гнусного, освободилось место палача, ни один из каторжан не захотел быть палачом. Это случилось в первый раз за всю историю каторги. К этому нельзя было даже принудить, и совершенно бесплодно тех, на кого пал выбор, держали в карцере.

Но тюрьма не может быть без палача.

И «вся команда» назначила палачом Голынского.

— И не хотел идти, а команда приказывает, ничего не попишешь! — объясняет Голынский.

— Почему же вы его выбрали? — спрашиваю каторгу.

— Хороший человек. Добер больно.

Голынскому сорок семь лет. Но на вид не больше тридцати пяти.

Удивительно моложавое, простодушное и глупое лицо. Гол как сокол, бегает в опорках, и при взгляде на него вы ни за что не сказали бы, что это палач.

— Голынский, а сколько ты сам плетей получил?

— Сто.

— А розог?

— Тысячи три.

И предобродушно улыбается.

«Терпит» Голынский «сызмальства».

Он человек добрый, но вспыльчив, горяч страшно и, вспылив, зол невероятно.

Как и Комлев, он из духовного звания, учился в Каменец-Подольской семинарии и был сослан под надзор полиции за нечаянное убийство товарища во время драки.

— Остервенел шибко. Треснул его по голове квадратом — он и отдал богу душу.

Затем он четыре года служил в военной службе и попал в заговор: пятеро солдат сговорились убить фельдфебеля — «лют был». Голынский знал об этом, не донес и был осужден на 13 $^{1}/_{2}$ года на каторгу.

Со сбавками по манифестам ему пришлось пробыть на каторге меньше; он вышел на поселенье, был уже представлен к крестьянству, не сегодня завтра получил бы право выезда с Сахалина на материк, но:

— Голода не выдержал. Тут-то самая голодьба и началась, с переходом в поселенчество. В работники нанимался — да что на Сахалине

заработаешь. Так и жил: где день, где ночь.

Эта голодьба кончилась тем, что он вдвоем с таким же голодным поселенцем убил состоятельного поселенца-кавказца.

— Я ж его и убивал. Сам-то был как тень. Взмахнул топором, ударил, да сам вместе с топором на него и повалился. А встать и не могу. Подняли уж[35].

За это убийство Голынский получил сто плетей и каторгу без срока. На этот раз в каторге ему пришлось туго.

Голынского оговорили, будто он донес о готовящемся побеге. И его избили так, что «до сих пор ноги болят».

Но и это не озлобило Голынского.

— За что ж я на всех серчать буду? А кто оговорил, тех до сих пор дую и вперед дуть всегда буду!

Этих клеветников он, говорят, бьет смертным боем при всякой встрече, а каторгу «жалеет».

— Потому на своей шкуре и лозы, и манты (плети), и голод — все вынес.

За эту жалостливость его и выбрали… в палачи.

---

[35] Примечания: 35
См. очерк «Смертная казнь».

Сижу как-то дома, вдруг является Голынский.

Лицо перетревоженное.

— Ваше высокоблагородие, пожалуйте завтра утром в тюрьму беспременно.

— Зачем?

— Говорят, драть будут. А при вас шибко драть не велят.

Этот «палач», хлопочущий, чтобы шибко драть не приказали, с перепуганным лицом, — трудно было удержаться от улыбки!

— И нескладный же ты человек, Голынский!

— Так точно; нескладный я в своей жизни человек, ваше высокоблагородие!

И предобродушно сам над собой смеется.

Хрусцель

Палач Рыковской тюрьмы Хрусцель — приземистый, стройный, необыкновенно ловкий, сильный человек. Весь словно отлит из стали. Серые, холодные, спокойные глаза, в которых светится страдание, когда он говорит о пережитых невзгодах. Присмотревшись повнимательнее, вы заметите асимметрию лица — один из признаков вырождения.

В каторгу попал за грабежи вооруженною шайкою где-то около Лодзи.

— Зачем в шайку-то пошел?

— Устроиться хотел. Думал деньги взять, ваше высокоблагородие. Земли совсем не было. С голоду опухал. Устроиться не было возможности.

На Сахалине он думал устроиться как-нибудь хоть «на новой жизни».

С собой он привез маленькие деньги, десятка два рублей, и завел в кандальном отделении Рыковской тюрьмы «майдан».

Понемножку наживал, копил и мечтал, как выйдет на поселение и «устроится» своим домом.

Сам жил впроголодь на одной арестантской порции.

— Бывало, лежишь ночью голодный. Не спишь. С голоду-то брюхо подводит. А в головах-то ящик стоит. Там молоко, хлеб, свинина. Хочется. Нет, думаю, не трону.

В этом ящике из-под свечей, стоявшем на нарах, в головах, у Хрусцеля было все, что он имел: деньги, товар. Все, что имел в настоящем, все его будущее.

По обычаю, вся камера должна следить за тем, чтоб имущество майданщика было цело. За то и по пятнадцать копеек в месяц на брата берут.

Но Рыковская кандальная — самая голодная

из тюрем.

— Разве у нас, ваше высокоблагородие, дадут человеку подняться? — со злостью говорит Хрусцель. — Зависть берет, как у человека что заведется. Злоба… У нас ничего нет, пусть и у другого не будет! По злобе одной всего лишат.

Однажды, вернувшись в камеру, Хрусцель увидел, что ящик разломан. Ни денег, ни товара не было.

Кандальная уходила, улыбаясь.

— Спички жгли, папиросы раскуривали.

Самые голодные «жигалы» на нарах дрыхли!

— Нажрались!

А три арестанта, самых отчаянных, из породы «Иванов», перед тем проигравшиеся догола, теперь сидели и на деньги в карты играли.

Ящик из-под свечей был не только разломан, а еще наделали всяких гадостей.

— Вошел — хохочут. Голова у меня пошла кругом, света не взвидел, — говорит Хрусцель.

— Шибко Хрусцель в те поры выл и об нары головой бился! От жадности! — рассказывают арестанты.

Наплакавшись, Хрусцель пошел к смотрителю и предложил себя в палачи. В то время при Рыковской тюрьме эта должность была свободной.

Смотритель был человек жестокий, и Хрусцель сразу сделался его любимцем. Драл Хрусцель невероятно.

— Кожу спускал — это верно. Не драл, а резал лозой. Шибко я в те поры всех их ненавидел.

Но затем у Хрусцеля «сердце отошло»: трое арестантов, которые сломали ящик, были приговорены за что-то к плетям, и наказывать их надо было Хрусцелю.

— Есть Бог на свете! — говорит Хрусцель и до сих пор еще ликует, когда рассказывает об этом наказании.

Радостью горит все его лицо при воспоминании.

— Через плечо их драл.

Удар плетью «через плечо» — самый жестокий.

— Боялся одного, чтоб сознания не лишились, — доктора отнимут. Нет, выдержали. Всем сполна дал.

Врагов Хрусцеля истерзанными, искалеченными, еле живыми унесли в лазарет.

— С тех пор перелом вышел. Порю — как велят. А лютости той нет. Мне все одно. Только бы начальническую волю исполнить.

Хрусцель живет в маленьком домишке. Ему выдали сожительницу. Молоденькая татарка.

У них уже двое детей.

Доходы с каторги дали ему возможность обзавестись необходимым.

— У меня и корова есть. Две овцы! Свиней развожу на продажу! — любуется сам своим хозяйством, показывая его постороннему, Хрусцель.

Он занимается земледелием. У него — огород.

— Сам все сажал.

И татарка, и он очень любят чистоту. В доме у них все блестит, как стеклышко. А в переднем углу, на чистенькой полочке, лежат бережно казенные вещи: плеть, деревянная мыльница, бритва — головы арестантам бреет тоже палач.

— Дэты, дэты, нэ растаскайте прутья! Батка сердит будэт! — кричала татарка двум маленьким славным ребятишкам, игравшим в сенях прутьями, которые нарезал Хрусцель сегодня для предстоящего телесного наказания.

— Жалюны, жалюны — ужасти! — обратилась ко мне татарка, смеясь, и в ее смехе, и в том, как она коверкала речь, было что-то детское и очень милое.

Таким странным казалось это блестевшее, как стеклышко, полное детского лепета, логово палача.

— Ну вот я и устроился! — говорил мне Хрусцель, показывая свое «домообзаводство».

— А каторга не трогает у тебя ничего? Не разоряет?

— Не смеют. Знают — убью. Подсолнух тронут — убью.

И по лицу, с которым Хрусцель сказал это, можно быть уверенным, что он убьет.

А тех, относительно кого вполне уверены, что «он убьет», каторга не трогает.

Телесные наказания

Уголовное отделение суда. Публика два-три человека. Рассматриваются дела без участия присяжных заседателей: о редакторах, обвиняемых в диффамации, трактирщиках, обвиняемых в нарушении питейного устава, бродягах, не помнящих родства, беглых каторжниках и т. п.

— Подсудимый Иван Груздев. Признаете ли себя виновным в том, что, будучи приговорены к ссылке в каторжные работы на десять лет, вы самовольно оставили место ссылки и скрывались по подложному виду?

— Да что ж, ваше превосходительство, признаваться, ежели уличен.

— Признаетесь или нет?

— Так точно, признаюсь, ваше превосходительство.

— Господин прокурор?

— Ввиду сознания подсудимого от допроса свидетелей отказываюсь.

— Господин защитник?

— Присоединяюсь.

Две минуты речи прокурора. О чем тут много-то говорить?

— На основании статей таких-то, таких-то, таких-то…

Две минуты речи защитника «по назначению». Что тут скажешь?

Суд читает приговор:

— …К наказанию восьмидесяти ударам плетей…

И вот этот Иван Груздев в канцелярии Сахалинской тюрьмы подходит к доктору на освидетельствование.

— Как зовут?

— Иван Груздев.

Доктор развертывает его статейный список, смотрит и только бормочет:

— Господи, к чему они там приговаривают!

— Сколько? — заглядывает в статейный список смотритель тюрьмы.

— Восемьдесят.

— Ого!

— Восемьдесят! — как эхо повторяет помощник смотрителя. — Ого!

— Восемьдесят! — шепчутся писаря.

И все смотрят на человека, которому сейчас предстоит получить восемьдесят плетей. Кто с удивлением, кто со страхом.

Доктор подходит, выстукивает, выслушивает.

Долгие, томительные для всех минуты.

— Ну? — спрашивает смотритель.

Доктор только пожимает плечами:

— Ты здоров?

— Так точно, здоров, ваше высокоблагородие.

— Совсем здоров?

— Так точно, совсем здоров, ваше высокоблагородие.

— Гм… Может, у тебя сердце болит?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, николи не болит.

— Да ты знаешь, где у тебя сердце? Ты! В этом боку никогда не болит? Ну, может, иногда — понимаешь, иногда покалывает?

— Никак нет, ваше высокоблагородие, николи не покалывает.

Доктор даже свой молоточек со злостью бросил на стол.

— Смотри на меня! Кашель хоть у тебя иногда бывает? Кашель?

— Никак нет, ваше высокоблагородие. Кашля у меня никогда не бывает.

Доктор взбешен. Доктор чуть не скрежещет зубами. Он смотрит на арестанта полными ненависти глазами. Ясно говорит взглядом: «Да хоть соври ты, соври что-нибудь, анафема!»

Но арестант ничего не понимает.

— Голова у тебя иногда болит? — почти уже шипит доктор.

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

Доктор садится и пишет:

— Порок сердца.

Даже перо ломает со злости.

Смотритель заглядывает в акт освидетельствования.

— От телесного наказания освобожден. Ступай!

Все облегченно вздыхают. Всем стало легче.

— В пот вогнал меня, анафема! В пот! — говорит мне потом доктор. — Ведь этакий дуботол, черт! «Здоров!» Дьявол! А ведь что поделаешь? Восемьдесят плетей! Ведь это же смертная казнь! Разве можно? Если б они видели, к чему приговаривают.

* * *

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли поскореича! — пристали в Рыковской тюрьме к помощнику смотрителя два оборванных поселенца, один, Бордунов, — длинный как жердь, другой — покороче, когда мы с помощником смотрителя зашли днем в канцелярию.

— Ладно, брат, ладно. Успеешь!

— Помилуйте, ваше высокоблагородие. У меня хозяйство стоит. Рабочее время. Нешто можно человека столько времени держать? День теряю. Нешто возможно? Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость! — Это приставал длинный, как жердь.

Тот, что был покороче, даже шапку оземь бросил:

— Жисть! Волы стоят не кормлены, а тут не отпущают!

— Да вы зачем пришли? — спросил я.

— Пороться, ваше высокоблагородие, пришли, — отвечал длинный.

— Драть нас, что ли, будут, — пояснил короткий.

— А за что?

— Про то мы неизвестны!

— Начальство знает!

— За водку! — объяснил мне помощник смотрителя. — «Самосядку» (домодельную водку) курили.

— Никакой водки мы не курили!

— Жрать нечего, а то — водку!

— С поличным их поймали. Я ж и накрыл. С топором вот этот, большой-то, на меня бросился!

— Врет он все, ваше высокоблагородие, не верь-

те ему. Вовсе я на него с топором не бросался, а что бочонок топором расшиб, это верно. Вот его зло и берет. Зачем бочонок расшиб — ему не досталось!

Помощник смотрителя буркнул что-то и выбежал взбешенный. Все кругом улыбались.

— Ты чего же, дурья голова, его злишь? Ведь хуже, брат, будет.

— Да ведь зло возьмет, ваше высокоблагородие. День теряем. Волы некормленные стоят.

— Нешто мы супротив дранья что говорим. Драть закон есть. А чтоб человека задерживать, закона нет.

Мы встретились с помощником смотрителя на дворе.

— Сегодня будут пороть пятерых по приговорам, да вот этих двух! — пояснил он мне. — По приговорам что за порка! Только мажут! Приговоры — это не наше дело. Это в России постановлено. Те нам ничего не сделали. А вот этим двум мерзавцам показать надо.

Порка состоялась около пяти часов.

Мы с доктором пришли в канцелярию.

В сенях, широкие двери которых были открыты на двор, стояла «кобыла», лежали две аккуратно связанные вязанки длинных, аршина в два,

розог.

— Доктор! Доктор! — заговорили по тюремному двору, и перед открытыми дверями сеней моментально образовалась толпа арестантов.

В тусклой и хмурой канцелярии по стенке стояло семь человек. В дверях с плетью стоял палач.

Было тяжело, хмуро и страшно.

— Подходи.

Первым подошел Васютин Иван, молодой парнишка, бродяга, не помнящий родства, — тридцать розог.

За ним шли двое кавказцев, потом еще один русский, бежавший из сибирской тюрьмы. Все — приговоренные к телесному наказанию по суду.

Сначала читали приговор, причем все в канцелярии вставали.

Затем шло освидетельствование, опрос, подвергался ли раньше телесным наказаниям, доктор писал акт освидетельствования.

Приговоренному подали бумагу:

— Грамотный? Подпиши!

— Что это? — спросил я.

— Расписка, что получил телесное наказание.

— Зачем?!

— Такой порядок.

Русские были оба грамотны и расписались,

причем у Васютина буквы распрыгались вверх и вниз на полвершка друг от друга.

Рука его не дрожала, а ходуном ходила.

Татары долго не понимали, что от них требуется, им разъяснили через переводчика-арестанта — тот с ними очень долго разговаривал, махал руками, о чем-то спорил и наконец говорил:

— Неграмотная она, вашескибродие!

Это тянулось ужасно, мучительно долго.

— Раздевайся! — кричали татарину. — Слышишь, ты, раздевайся! Переводчик, да скажи ему, чтоб он раздевался! Что ты стоишь, как болван?

Переводчик начинал говорить, кричать, махать руками, приседал даже зачем-то. Кавказец смотрел хмуро, недоверчиво, отвечал односложно, мрачно.

— Раздевайся! — кричали ему все и показывали жестами, чтобы снимал рубаху.

Кавказец наконец медленно разделся.

Доктор подходил к нему с трубочкой и молоточком. В глазах кавказца светились недоверие и страх. Он пятился.

— Да не пяться ты, черт! Не пяться, говорят тебе!

Кавказец пятился.

— Переводчик, болван, что ты стоишь, как тум-

ба? Объясни ему, что я ему ничего не сделаю!

Переводчик опять принялся кричать, жестикулировать, приседать. Кавказец слушал его недоверчиво, косился на доктора, которого он принимал за палача, что ли, — и вдруг сказал что-то коротко и односложно.

Переводчик с отчаянием всплеснул руками.

— Что он говорит?

— Спрашиват, трубочка у тебя зачем, вашискобродие!

Доктору пришлось положить трубочку и молоточек, чтобы выслушать наконец кавказца.

И на все это смотрел с улыбкой только один длинный поселенец Бардунов.

— Неосновательный народ! — заметил он, когда очередь дошла до него. — Порядку не знают.

— Раздевайся!

— Не имею надобности, ваше высокоблагородие. Всем здоров. Только беспокоить вашу милость занапрасно.

— Раздевайся, говорят тебе. Телесным наказаниям раньше подвергался?

— Ни в жисть, ваше высокоблагородие. Впервой!

— Потри его.

Надзиратель потер его тело суконкой. Тело

покраснело, и на нем ясно выступили полосы — следы прежних наказаний.

— Что ж ты врешь! Драли?

— Запамятовал, ваше высокоблагородие... Я этих самых розог, ваше высокоблагородие, ни есть числа при господах смотрителях принял.

Было очевидно, что этот поротый и перепоротый арестант «валяет шута для храбрости».

Его товарищ мрачно отвечал:

— Здоров. Скорее бы. Волы не кормлены. Раздевайся еще! Нате. Смотрите. Жисть! Драли. Много. Сколько — запамятовал. Не упомню. Нешто у меня тем голова занята? Осмотрели? Слава богу! Нельзя ли нас первыми? Там хозяйство.

Осмотренные одевались, но штанов не подвязывали, а поддерживали их руками.

— Всё. Ну ступай!

Хрусцель стал у «кобылы». Арестанты, переваливаясь, путаясь в полуспущенных штанах, вышли в сени.

— Бардунов, покажи удаль! — крикнул кто-то со двора.

Стоявшие толпой арестанты оглянулись:

— Молчи ты, сволочь!

Все стали по местам.

Я стоял рядом с доктором, у него лицо шло

пятнами.

— Васютин Иван!

Молодой паренек подошел к «кобыле».

— Брось, брось штаны! — заговорили кругом.

Но он только оглядывался, словно не мог понять, что ему такое говорят.

— Штаны брось! — сказал Хрусцель и отвел ему руки. — Ложись!

Васютин сел верхом на «кобылу», лицом к свету.

Он был белый как полотно. Глаза бессмысленно смотрели вперед.

— Да не туда головой. Туда! Ложись!

Хрусцель взял его за плечи, свел с «кобылы», положил.

— Руки убери! Обними руками «кобылу»!

Васютин обнял руками доску.

— Вот так!

Хрусцель поправил ему рубаху.

Стыдно было, стыдно невероятно смотреть на полуобнаженного человека, лежавшего на «кобыле».

Хрусцель, словно пес, смотрел в глаза помощнику смотрителя.

— Тридцать розог!

Хрусцель взял пучок розог, необыкновенно

ловко выдернул одну, отошел на шаг от «кобылы» и замер.

— Начинай!

Хрусцель свистнул розгой по воздуху, словно рапирой перед фехтованием, потом еще раз свистнул по воздуху справа, потом слева.

Свист резкий, отчаянный, отвратительный.

— Раз!

Свист, и на вздрогнувшем теле легла красная полоса.

— Два… Три… Четыре… Пять…

Хрусцель бросил розгу, выхватил другую, перешел на другую сторону «кобылы». Опять пять ударов по другой стороне тела.

Каждые пять ударов он быстро менял розгу и переходил с одной стороны на другую.

Свист заставлял болезненно вздрагивать сердце. Мгновения между двумя ударами тянулись как вечность.

Помощник смотрителя считал:

— Двадцать девять… тридцать…

— Вставай… Вставай же!

Васютин поднялся и сел опять верхом на «кобылу». Глаза его были полны слез. Вот-вот потекут.

— Совсем вставай! Иди же!

— Две с половиной минуты! — сказал смотрев-

ший на часы доктор.

Я думал, прошло полчаса.

— Медников Иван!

Опять обнаженный до пояса, лежащий на «кобыле» человек.

Снова свист, вздрагивания, красные полосы.

Теперь плети!

Хрусцель отложил розги, взялся за плеть и ловким движением разложил длинную плеть по земле.

— Хрусцель, клади их.

Хрусцель брал кавказцев за плечи, подталкивал к «кобыле», поднимал им руки и клал на «кобылу». Те тяжело рухались и лежали с темным обнаженным телом.

Наказание было по «приговорам».

Хрусцель по взгляду понял приказ помощника смотрителя и взял плеть за середину, там, где ствол плети переходил в трехвостку. Наказание — «в полплети».

Хрусцель вертел свою плеть, словно ручку шарманки, три хвоста хлопали по телу, тело краснело и пухло.

— Бардунов!

С бледным-бледным лицом он подошел к «кобыле», сделал какую-то жалкую-жалкую гримасу,

хотел улыбнуться.

Начал ложиться на «кобылу».

— Штаны, штаны брось! — остановил его Хрусцель.

— Ежели законный порядок требует…

Бардунова колотила дрожь, он беспомощно оглядывался кругом, словно затравленный заяц, и все силился улыбнуться — выходила гримаса.

Хрусцель толкнул его слегка в шею.

— Ложись!

Бардунов повалился и крепко ухватился за доску, чтобы не кричать, быть может.

Хрусцель снова пустил плеть «по земли». Зловещее движение.

Это было наказание не по приговорам, а уж сахалинское.

Тихо было, словно кругом никто не дышал.

Хрусцель впился глазами в помощника смотрителя.

Тот стоял, переминаясь на месте, смотрел на меня, на доктора… и сделал какое-то движение головой.

Хрусцель взял «в полплети».

Словно один какой-то огромный человек вздохнул в сенях и на дворе.

По телу Бардунова пробегали судороги.

Бог знает, какого удара ждал этот человек, и задрожал весь мелкой дрожью, когда посыпались сравнительно слабые удары.

— Ваше высокоблагородие, ваше высокоблагородие, за что же наказывают? Нешто возможно! — послышался его голос, но словно не его, какой-то странный. — Нешто возможно?!

На дворе в толпе раздались смешки.

— Шута строит! Привык! — пробормотал помощник смотрителя.

Бардунов поднялся, захватил в руки штаны и, не натянув их, бросился в толпу арестантов.

Видя, что наказание на этот раз не будет страшным, его товарищ, Гусятников, короткий и мрачный мужик, лег спокойно, без звука вздрагивал при каждом ударе и, сходя с «кобылы», даже проворчал:

— Только продержали день зря. Волы не кормлены!

— Так уж, пожалел мерзавцев! — умилялся своей гуманностью помощник смотрителя.

Хрусцель ловко и проворно убирал розги и «кобылу».

— Ты чего же не одеваешься?

Васютин стоял у притолоки дверей канцелярии, как столб, с голыми ногами. Штаны с него

свалились.

Он икал. Крупные слезы катились по щекам.

Было страшно и стыдно смотреть на этого парнишку.

Он — из военной службы, сделал какое-то преступление, бежал и, боясь наказания, «скрыл свое родословие», сказался бродягой Иваном Васютиным, не помнящим родства.

— Как же тебя к розгам приговорили?

Бродяг обыкновенно приговаривают к 1 $^{1}/_{2}$ года «принудительных работ» и затем — на поселение. Розги им прибавляют, если они почему-либо «путают», не называют себя просто «бродягой непомнящим», а именуются ложным именем: крестьянин, мол, такой-то деревни, — а пошлют туда, окажется, что нет. Опытный бродяга делает это в надежде удрать во время пересылки. Но зачем этому?

— Ты что же, чужим именем назвался?

— Так точно.

— Зачем? Бежать с дороги хотел?

— Нет.

— Тогда зачем же?

— В тюрьме знающий человек нашелся, сказал, что так сделать нужно. Я и сделал.

— Ты в первый раз этому-то подвергался?

— В первый.

И по щекам его еще сильнее текли слезы. И заикал он сильнее.

А у ворот тюрьмы, когда я выходил, сидел теперь уж совсем оправившийся Бардунов и бахвалился:

— Мне, братцы мои, что на «кобылу» ложиться, что к жене под бок, — все единственно. Потому, вот как я к ней привык.

Нравы каторги

«Каторга» — это официальное название. Неофициально каторга зовет себя добродушно-ироническим именем «кобылка».

— Ну как поживаете, братцы?

— Ничего себе, ваше высокоблагородие, наша «кобылка» живет.

— Это что, тоже рабочий? — спрашиваете вы про кого-нибудь.

— Наш же, «кобылка».

Название, происходящее от слова «кобылка», — скамья, на которой дерут арестантов.

Каторжане, как известно, доставляются на Сахалин двумя путями: или «сплавляются» морем, через Одессу, или идут Сибирью, через Кару.

Соответственно этому каторжники делятся на «кругоболотинцев», или «галетников», и «каринцев», или «терпигорцев».

Название «галетник» — название даже слегка презрительное.

— Что они там видели? Плыли да ели галеты. Только и всего!

Тогда как «каринцы» пользуются и некоторым почетом и уважением каторги.

Странствуя по сибирским этапам, они натерпелись горя, почему и зовутся «терпигорцами».

В сибирских «централах» (центральных тюрьмах) и на Каре они прошли высший курс каторги, побывали, так сказать, в академии каторги. Знают все порядки, обычаи, законы. Сибирский каторжник вообще в почете у сахалинцев: в Сибири каторга крепче держится друг друга, там есть свои выработанные законы, твердые и ненарушимые, там есть товарищество, чего вовсе нет на Сахалине[36].

Скоро, однако, это различие сглаживается. «Кругоболотинец» быстро входит в курс, осваивается с нравами и обычаями каторги, становится «почище» всякого «каринца», — и тогда слова «каринец», «галетник» раздаются только во время перебранки:

— Молчи ты! С кем говоришь-то, мараказия! Я, по крайности, настоящий каринец. А ты кто?

---

[36] Примечания: 36

Уже уехав с Сахалина, во Владивостоке я прочел в газетах, что прежнее пешее путешествие по этапам заменяется перевозкой по железной дороге. Прочел и от души порадовался за злосчастных «терпигорцев». Сколько народа скажет спасибо за это облегчение тяжкого пути. Сколько лишних, ненужных страданий упразднено, сколько ужасов, творившихся на этих этапах, отойдет в область преданий. Сколько народу будет буквально спасено. Из моих дальнейших очерков вы увидите, что такое были эти этапы и какую роковую роль они играли в жизни многих каторжан.

Тьфу! Одно слово, галетник!

Каторга делится на четыре касты:

1. «Иванов».

2. «Храпов».

3. «Игроков»

и 4. Несчастную «шпанку».

Это аристократия и демократия каторги, ее правящие классы и подчиненная масса, патриции, плебеи и рабы.

«Иваны»

«Иваны» — это зло, это язва, это бич нашей каторги, ее деспоты, ее тираны.

«Иван» родился под розгами, плетью крещен, возведен в звание «Ивана» рукой палача.

Это тип исторический. Он народился в те страшные времена, правдивая история которых «неизгладимыми чертами» написана на спинах стариков-«богодулов» Дербинской каторжной богадельни.

Он родился на Каре во «времена разгильдеевские», о которых и теперь вспоминают с ужасом[37].

Тогда в «разрезе», где добывают золото, всегда была наготове «кобыла» и на дежурстве палач. Розги тогда считались сотнями, да и то считалась только «одна сторона», то есть человеку, приговоренному, положим, к сотне ударов, палач давал сотню с одной стороны, а затем заходил с другой и давал еще сотню, причем последняя сотня в счет не шла. Два удара считались за один.

---

[37] Примечания: 37

Разгильдеев — тогдашний начальник Карийской каторги. Время, близкое к эпохе «Мертвого дома».

Секли не розгами, а «комлями», то есть брали розгу за тонкий конец и ударяли толстым. По первому удару показывалась уже кровь. Розги ломались, а занозы впивались в тело. «Уроки», то есть заданные на день работы, были большие, и малейшее неисполнение «урока» влекло за собой немедленное наказание.

Тогда всякая вина была виновата — и малейшая дерзость, самое крошечное противоречие простому надзирателю из ссыльных вели за собой жестокое истязание.

В это-то тяжелое время, под свист розог, комлей и плетей, и родился на свет «Иван».

Отчаянный головорез, долгосрочный каторжник, которому нечего терять и нечего ждать, он являлся протестантом за всю эту забитую, измученную, обираемую каторгу. Он протестовал смело и дерзко, протестовал против всего: против несправедливых наказаний, непосильных «уроков», плохой пищи и тех смешных детских курточек, которые выдавались арестантам под видом «одежды узаконенного образца».

«Иван» не молчал ни перед каким начальством, протестовал смело, дерзко, на каждом шагу.

«Иванов» приковывали к стене, к тачке, заковывали в ручные и ножные кандалы, драли и

комлями и плетьми. «Иваны» в счете полученных ими на каторге плетей часто переваливали за две тысячи, а розог не считали совсем.

Все это окружило их ореолом мученичества, вызывало почтение.

Начальство их драло, но побаивалось. Это были люди, не задумывавшиеся в каждую данную минуту запустить нож под ребро, люди, разбивавшие обидчику голову ручными кандалами.

В то время «Иваны» представляли из себя нечто вроде «рыцарского ордена». «Иван» был «человеком слова». Сказал — значит будет. Сказал убьет — убьет. Должен убить.

Это вызывало боязнь, дрожь пред «Иванами».

Угроза для смотрителей и надзирателей, эти действительно на все способные люди были грозой для каторги.

Это были ее деспоты, тираны, грабители.

«Иван» прямо, открыто, на глазах у всех, брал у каторжных последние, тяжким трудом нажитые крохи, тут же, на глазах хозяина, пропивал, проигрывал, проматывал их, — и не терпел возражений.

— Что?! Я за вас, таких-сяких, тела, крови не жалею, коли надо — веревки не побоюсь, а вы…

Что бы «Иван» ни делал, каторга обязана была

его покрывать. Часто отвечала за него своими боками. Если за преступление, совершенное «Иваном», карали другого, тот должен был молчать.

— Зато я терплю за вас.

«Иваны» держались особой компанией, стояли друг за друга и были неограниченными властелинами каторги; распоряжались жизнью и смертью; были законодателями, судьями и палачами; изрекали и приводили в исполнение приговоры — иногда смертные, всегда неприложные.

Среди бесчисленных страшных преданий о тех временах до сих пор на каторге вспоминают о «казни» в Омской тюрьме.

Двое «Иванов» решили бежать. Как вдруг, чуть не накануне предполагаемого побега, их неожиданно перековали в ручные и ножные кандалы крепко-накрепко, усилили караул, — и побег не состоялся.

Два месяца «Иваны» Омской тюрьмы производили негласно следствие:

— Кто бы мог донести?

И наконец подозрение пало на одного арестанта. В то время как он ничего не подозревал, «Иваны» произнесли ему приговор. Конечно, смертный, потому что за донос о побеге каторга

других приговоров не знает.

Две ночи работали потихоньку «Иваны», вынули несколько досок около стены под нарами, выкопали могилу и на третью ночь кинулись на спящего товарища, заткнули ему рот, бросили в могилу и закопали живым.

Вся тюрьма знала об этом, и все молчали, не смели заикнуться.

Когда начальство хватилось пропавшего арестанта, решили, что он незаметно проскользнул и бежал, когда отворяли дверь для утренней переклички.

И только через год, когда перестраивали Омскую тюрьму, около стены, на глубине полутора аршин, нашли скелет в кандалах.

Преступники остались ненайденными. Их никто не выдал. Никто не смел выдать.

«Иван» — это злой гений каторги.

Сколько арестантских бунтов подняли они. Сколько народу поплатилось за эти бунты и как поплатилось! А «Иваны» всегда выходили сухими из воды, потому что их всегда покрывала каторга.

Таковы «Иваны» «доброго старого времени».

«Ивана» вы отличите сразу, с первого взгляда, лишь только войдете в тюрьму.

Лихо заломленный, на ухо сдвинутый картуз, рубашка с «кованым», шитым воротом, расстегнутый бушлат, халат еле держится на одном плече. Руки непременно в карманах.

Дерзкий, наглый, вызывающий взгляд. Невероятно нахальный, грубый и дерзкий тон.

Человек так и нарывается на какую-нибудь неприятность.

Это тот же «на все способный» головорез-большесрочник; и смотрители стараются избегать их, обыкновенно маскируя некоторую внутреннюю дрожь тем, что они «даже и говорить с такими негодяями не желают, — я, мол, говорю только с хорошими людьми». Как бы там ни было, но только из-за этого «нежелания говорить» «Иванам» сходит с рук многое такое, что, конечно, никогда бы не сошло несчастной, безответной «шпанке».

«Иван» то же зло, тот же бич для всего, что есть в каторге мало-мальски честного, доброго, порядочного.

Это злейшие и гнуснейшие враги всякого бережливого арестанта, всякой самой малейшей «зажиточности».

Глядя по обстоятельствам, «Иван» то открыто отнимает, то мошеннически выманивает, то просто ворует у арестанта всякую тяжким трудом

добытую копейку.

Но времена уже меняются. Вместе с наступлением лучших для каторги времен наступают плохие времена для «Иванов».

Теперь нет уже больше этих ужасных наказаний. И с «Иванов» спал их ореол мученичества. Они постепенно лишаются в глазах каторги своего обаяния. Их ужасная, их тираническая власть при последнем издыхании. «Иваны» вымирают.

И чем мягче, чем гуманнее режим, тем меньше и меньше пагубное влияние на каторгу «Иванов».

В Александровской тюрьме, самой большой на Сахалине, где собрана вся «головка» каторги, самые тяжкие и долгосрочные преступники и где вместе с тем телесные наказания бывают только по приговорам суда, — влияние «Иванов» самое ничтожное. Они не пользуются никаким значением.

Их даже «забижает» «шпанка»! А всего несколько лет тому назад «Иваны» Александровской тюрьмы славились на весь Сахалин!

«Иваны» еще держатся там, где смотрители придерживаются телесных наказаний. Там еще «Иван» окружен некоторым ореолом, хотя, конечно, далеко не таким, как в разгильдеевские

времена.

Власть и значение «Иванов» сильно подорвали… холерные беспорядки. В этом отношении не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В атмосферу тюрьмы, в эту атмосферу навоза и крови, ворвалась струя чистого воздуха. Сахалинские тюрьмы наполнились людьми, которых на каторгу привело только несчастье. Людьми, которые совершали ужасы только потому, что их самих охватил ужас. Людьми, которые не понимали, что делали. Людьми темными, невежественными, несчастными, но не преступными. Эти свежие, честные и работящие люди не захотели подчиняться законам, уставам и порядкам, созданным убийцами. И так как их было много, то они противопоставили «Иванам» самую действительную на каторге силу — кулаки. Почуяв в них друзей, сторонников и сообщников, бедная, ограбленная, забитая «Иванами» «шпанка» подняла голову и соединилась с вновь прибывшими, и против «Иванов» стала масса. Дело дошло до того, что нескольких «Иванов» исколотили до полусмерти. «Иванов» исколотили — факт, небывалый в истории каторги. Все это страшно подорвало авторитет «Иванов».

Но самый главный удар — это смягчение те-

лесных наказаний. С «Иванов» в значительной степени снят ореол мученичества. Уж теперь «Иван», отнимая у каторжанина последнее, не может сказать:

— А кровью и телом своим я нешто за это не плачу?

«Иваны» еще держатся, как я уже говорил, в тюрьмах, смотрители которых любят телесные наказания.

Но власть их все же не та, что еще очень недавно. Часто под вечер, где-нибудь в углу кандальной, вы услышите, как, собравшись в кучку, «Иваны» вспоминают о добром, старом, невозвратном времени, когда каторга чтила «Иванов», об их подвигах, о том, как они правили каторгой.

Но в этих рассказах слышится элегическая нотка, чуется грусть о невозвратном прошлом.

Прежней власти, прежнего положения не вернешь.

«Иваны», эти аристократы страданий, родились под свист плетей, комлей и розог. Вместе с ними они и умрут.

«Храпы»

«Храпы» — вторая каста каторги.

Им хотелось бы быть «Иванами», но не хватает смелости. По трусливости им следовало бы принадлежать к «шпанке», но «не дозволяет самолюбие».

«Храпы» не стоят того, чтобы над ними долго останавливаться. Это те же «горланы» деревенского схода. Когда в тюрьме случается какое-нибудь происшествие, какая-нибудь «заворошка», «храпы» всегда лезут вперед, больше всех горланят, кричат, ораторствуют на словах, готовы все вверх дном перевернуть; но когда дело доходит до «разделки» и появляется начальство, «храпы» молча исчезают в задних рядах.

— Ты что ж, корявый черт? — накидывается на «храпа» тюрьма по окончании «разделки». — Набухвостил, да и на попятную?

— А то что ж? Один я за всех вперед полезу, что ли? Все молчат, и я молчу.

И «храп» начинает изворачиваться, почему он смолк при появлении начальства. Но зато пусть-ка еще раз случится что-нибудь подобное — он себя покажет! Название «храп» насмешливое.

Оно происходит от слова «храпеть». И этим определяется профессия «храпов»: они «храпят» на всё. Нет такого распоряжения, которое они сочли бы правильным. Они в вечной оппозиции. Всё признают неправильным, незаконным, несправедливым. Всем возмущаются. Задали человеку урок, хотя бы и нетрудный, посадили в карцер, хотя бы и заслуженно, не положили в лазарет, хотя бы и совсем здорового, — «храпы» всегда орут, конечно, за глаза от начальства:

— Несправедливо!

Каторге, которая только и живет и дышит, что недовольством, это нравится. Там, где много недовольства, всегда имеют успех говоруны. А каторга к тому же любит послушать, если кто хорошо и складно говорит. Эта способность ценится на каторге высоко. Среди «храпов» есть очень недурные ораторы. Я сам слушал их с большим интересом, удивляясь их знанию аудитории. Какое знание больных и слабых струн своей публики, какое умение играть на этих струнах! Благодаря этому «храпы» иногда, когда тюрьма волнуется уж очень сильно, приобретают некоторое влияние на дела. Они «разжигают». И немало тюремных «историй», за которые потом телом и кровью расплатилась бедная, безответная

«шпанка», возбуждено «храпами». «Шпанке», по обыкновению, влетело, а «храпы» успели вовремя отойти на задний план.

«Храпы» по большей части вместе с тем и «глоты», то есть люди, принимающие в спорах сторону того, кто больше даст. Они берутся и защищать, и обвинять — иногда на смерть — за деньги. Попался человек в какой-нибудь гадости против товарищей — «храпы» за деньги будут стоять за него горой, на тюремном сходе будут орать, божиться, что другого такого арестанта-товарища поискать надо. Захочет кто-нибудь насолить другому — он подкупает «храпов». «Храпы» взводят на человека какой-нибудь поклеп, например в наушничестве, в доносе, из своей же среды выставляют свидетелей, вопиют о примерном наказании. А тюрьма подозрительна, и человек, на которого только пало подозрение, что он донес, уже рискует жизнью. И сколько жизней, ни за что ни про что загубленных этой несчастной, темной, озлобленной тюрьмой, пало бы на совесть «храпов», если бы у этих несчастных была хоть какая-нибудь совесть.

У «храпов» бывает два больших праздника в год — весной и осенью, когда приходит «Ярославль» вывалить на Сахалин новый груз

«общественных отбросов». Тогда «храпы» орудуют среди новичков. Растерявшиеся новички по неопытности принимают «храпов» действительно за «первых лиц на каторге», по повадке даже путают их с «Иванами» и спешат при помощи денег заручиться их благоволением.

В обыкновенное же время «храпы» живут на счет «шпанки». Эта бедная, беспощадная, беззащитная арестантская масса дрожит перед наглым, смелым «храпом».

— Ну его! Еще в такую кашу втюрит — костей не соберешь!

И откупается.

«Игроки»

На каторге, где все продается и покупается, и притом продается и покупается очень дешево, человек, у которого есть деньги, да еще шальные, не может не иметь влияния.

«Игрок», кроме игры, ничем больше и не занимается. Шулера они все. И когда «игрок» играет с «игроком», это, в сущности, только состязание в шулерничестве. В то время как один мечет подтасованными картами, другой делает вольты, меняя карты, под которые подложен куш. Но да спасет бог заметить: «Да он мошенничает!» Тюрьма изобьет до полусмерти.

— Не лезь не в свое дело!

Если «игрок» особенно ловкий шулер, он носит почетное имя «мастака».

Около «игрока» кормится слишком много народу, чтобы он не имел веса и значения. Во-первых, «игрок» никогда не отбывает каторжных работ — он нанимает за себя «сухарника». Затем «игрок» всегда имеет «поддувалу», иногда даже несколько, которые убирают его место на нарах, стелют постель, бегают за обедом, заваривают чай. «Игрок» дает заработок майдану, получа-

ющему десять процентов с банкомета и пять с «понтеров». Благодаря «игроку» зарабатывает и «стремщик», который караулит у дверей, пока идет игра, и получает за это тоже мзду. Через «игрока» пускают в оборот свои деньги и «отцы» — ростовщики, когда появляется неопытный или новичок, — а у «игрока» нет достаточно денег, — они «кладут банк» и выигрывают наверняка. Наконец, «игрок» человек «фартовый». Деньги у него шальные — ему «ничего не составляет» и так, за здорово живешь, человеку три-пять копеек дать.

В лице всей этой оравы «игрок» всегда имеет свою партию, которая готова его поддержать, когда угодно, в чем угодно. Он может изменять постановления тюремного схода — за него много народа. С ним страшно ссориться. Велит отлупить — отлупят. К нему нужно подольщаться: прикажет помиловать — помилуют. К тому же от него «завсегда мало-мало перепасть может», что среди нищих, конечно, играет огромную роль.

И кочевряжатся же зато «игроки», пока они в силе. И измываются же над товарищами. Каких только диких форм издевательства не приходит им в голову. Был у меня в одной из тюрем знакомый «игрок», за которым я охотился как за

интересным типом. Бедняга «попал в полосу», ему не везло. «Игроки» всегда франты, а тут с него даже лоск сошел. Ходит злой, раздражительный, вечно хмурый. С себя уж даже проигрывать начал — часы серебряные продул, предмет величайшей гордости. Плохо!

— Что, брат, в «жиганы» попадаешь?

— К тому идет!

Только прихожу как-то в тюрьму — батюшка, да это он ли? Не узнал даже сразу. Развалился на нарах, покрикивает. «Поддувала» еле-еле все его капризы исполнять успевает.

— Что, — кричит, — Матвей Николаевич сегодня обедать будет?

«Поддувала» подносит обычную лоханочку с баландой.

Матвей Николаевич приподнялся, поглядел и в лоханочку плюнул.

— Собак этим кормить. Кому, дура, подал? Станет Матвей Николаевич это есть? Дальше что есть?

«Поддувала» положил на нары нарезанный черный хлеб.

— Чайку, Матвей Николаевич, пожалуйте!

Матвей Николаевич сшиб хлеб ногой с нар.

— Нешто это Матвей Николаевичу еда? Учить

вас, дураков, некому! Станет Матвей Николаевич дураковскую пищу есть? Подавай колбасу!

«Поддувала» подал копченую колбасу и белый хлеб.

— То-то!

«Поддувала», подбирая с пола куски черного хлеба, только улыбнулся в мою сторону. «Забавники, мол!»

А кругом сидят голодные люди.

— Ты чего ж ему, — спрашиваю потом «поддувалу», — баланду подаешь, чтобы плевал, да хлеб, чтоб по полу валял! Знаешь, что он при деньгах кочевряжится и, кроме своего, ничего не ест. И подавал бы ему сразу колбасу с белым хлебом.

— Нешто можно? — даже испугался «поддувала». — Не приведи господи. «Ты это что же? — сейчас спросит. — Кто я такой есть? Арестант я иль уж нет?» — «Арестант, мол». — «А если я арестант, почему ж ты мне арестантской пищи не подаешь? А? Может, я не погнушаюсь, есть буду? Почему ты, такой-сякой, знать можешь, что Матвей Николаевич, человек сильный, на уме содержит? Колбасу подавать, такой-сякой! Мое добро не беречь, — может, я казенным пропитаюсь, а ты мое добро травить хочешь!» И пойдет! На целый час волынку затрет! Ну и подаешь ему

пайку с баландой. Для порядка. Ему ведь что — ему только чтоб власть свою показать! Порядок известный! Выиграл!

А то в другой раз послали как-то одного «игрока» в тайгу на работу. Отвертеться никак не удалось. Так он на товарище-«жигане» с полверсты верхом поехал. Нанял и поехал.

— У меня, — говорит, — ноги болят.

«Жиганы»

Беда, однако, когда такой «игрок» продуется вконец и превратится в «жигана». «Жиганом» на каторге вообще называется всякий бедный, ничего не имеющий человек, но, в частности, этим именем зовут проигравшихся в пух и прах «игроков».

Вот когда каторга «наверстает свое». И нет тогда меры, нет конца издевательствам над человеком, лишившимся всех своих друзей, поклонников, защитников, прихлебателей и покорнейших слуг. Каторга не знает пощады и не имеет жалости.

Когда «жиган» продул уж все — деньги, одежду, свой труд за год вперед, пайку хлеба за несколько месяцев вперед, — с ним играют или на место на нарах, или на баланду. Ни то ни другое не нужно ровно никому — играют просто для унижения.

— Черт с тобой, промечу тебе, псу. Альбо три копейки, альбо три дня на полу спать будешь!

Или:

— Альбо трешница (три копейки) твоя, альбо с голоду дохни, неделю без баланды, ни пимши, ни жрамши, сиди.

Захожу как-то в тюрьму перед вечером, когда

все уже улеглись. Смотрю, один арестант в проходе около нар на полу лежит. Увидя меня, вскочил, полез на нары. Сосед не пускает.

— Стой! Куда лезешь? Нет, ты на полу лежи!

— Черт! Дьявол! Видишь, барин!

— Нет, ты и при барине лежи. Пусть барин видит, какая такая ты тварь есть на свете. Лежи!

Арестант стал около нар.

— Нет, ты ложись! — послышалось среди смеха со всех сторон. — Неча вставать. Барин сказал, что ничего, при нем можно лежать! Ты и лежи как лежал.

— Место проиграл, что ли? — спрашиваю.

— Так точно, продул, пес, а теперь и моркотно.

— Во сколько место шло?

— Шло в трешнице, да я и целкового не возьму.

— Получай три!

— Вот уж это зачем же! Мне своя амбиция дороже трех целковых ваших стоит.

Видимо, выигравший «уперся»: ничего в таких случаях с арестантом не поделаешь.

— Проиграл — и плати. Валяйся на полу. На то игра! А не хочешь платить — встряска!

За неуплату тюрьма «накрывает темную», то есть бьет без пощады, причем бьют решительно

все, и те, кто в игре не был заинтересован.

— Это уж верно! Это так! — послышалось кругом. — Порядок известный! Встряска!

— Ложись, что ль, дьявол!

И «жиган», под хохот всей тюрьмы, лег на пол, на котором было чуть не на вершок липкой, жидкой грязи.

Тюрьме скучно — она и рада маленькому развлечению.

А ведь этот «жиган» пришел в тюрьму за то, что задушил из ревности свою жену. В его душе когда-то носились бури. Он чувствовал и любовь, и ревность, и горькую обиду. Как вам нравится «Отелло» в такой обстановке!..

Захожу в тюрьму в обеденное время. Обед был уже на исходе. «Поддувалы» побежали в куб за кипятком заваривать чай. Кто еще доедал, кто прятал на вечер оставшиеся кусочки хлеба, кто ложился отдохнуть.

— Ну, теперь, братцы, «жигана» кормить. Выходи, что ль! Иль апекита нет?

С нар поднялся человек, с которого смело можно было бы рисовать «Голод». Ничего, кроме голода, не было написано в глазах, в бледном, без кровинки, синеватого цвета, лице, во всей этой слабой, обессиленной фигуре. Это был «жиган»,

вторую неделю уже проигрывающий даже свою баланду. Дней десять человек не видал крошки хлеба и питался только жидкой похлебкой, баландой. И как питался!

Многие даже приподнялись с места. Тюрьма предвкушала готовящуюся потеху. Особенно это было заметно на лице одного паренька. Видимо, человек готовился выкинуть над «жиганом» что-то уж особенное.

«Жиган» подошел к первому сидевшему с краю, молча поклонился и стал. Тот с улыбкой зачерпнул ему пол-ложки баланды и дал. «Жиган» хлебнул, поклонился снова и подошел к следующему.

Это был типичный «Иван», лежавший в величественной позе на нарах.

— «Жиганам» почтение! Обедать, что ли, пришли?

— Так точно, Николай Степанович, полакомиться! — с низким поклоном отвечал «жиган».

— Тэк!.. Ну а скажи-ка нам, чего бы ты теперь съел?

«Жиган» постарался сделать преуморительную улыбку и отвечал:

— Съел бы я теперь, Николай Степанович, тетерьки да телятинки, яичек да говядинки, лапши

из поросятинки, немножечко ветчинки, чуть-чуть свининки, с хреночком солонинки. Слюна бьет, как подумаю!

Тюрьма хохотала над прибаутками. «Иван» обмакнул в баланду ложку и подал «жигану»:

— На, лижи!

«Жиган» открыл рот.

— Ишь, раскрыл пасть! Ложку слопаешь! Нет, ты язычком, с осторожностью!

«Жиган» слизнул прилипший к ложке кусочек капусты.

— Лижи досыта!

«Жиган» пошел к следующему.

— Стой! — крикнул «Иван». — Ты что же это, невежа, напился, наелся, а хозяев поблагодарить нет тебя?

Жиган снова поклонился в пояс:

— Покорнейше благодарим за добро да за ласку, за угощенье да за таску, за доброе слово, за привет да за участие. Чтобы хозяину многие лета, да еще столько, да полстолько, да четверть столько. Чтоб хозяюшку парни любили. Деточек Господь прибрал!

— То-то, учи вас, дураков! — улыбнулся «Иван». — А еще в гимназии учился! Чему вас там, дураков, учат? Невежи!

Следующим был паренек, судя по лицу, придумавший какую-то особенную штуку.

Он молча зачерпнул баланды и подал «жигану». Но едва «жиган» протянул губы, паренек крикнул:

— Цыц! А Богу перед хлебом-солью молиться забыл?

«Жиган» перекрестился.

— Не так! На коленках, как следоваит!

«Жиган» стал на колени и начал говорить. Что он говорил! Сидевший неподалеку старик-фальшивомонетчик даже не выдержал, плюнул:

— Тьфу ты! Паскудники!

Паренек хохотал во всю глотку.

— Ну, теперича вот, по порядку, на!

Он подал ему половину ложки.

— Будет, что ли?

— Слава Богу, Бог меня напитал, никто меня не видал, а кто видел, не обидел, слава Богу, сыт покуда, съел полпуда, осталось фунтов семь — те завтра съем, — причитал «жиган».

Паренек держался за животики:

— Ой батюшки, уморил, проваливай!

Следующим был добродушнейший рыжий мужик, с улыбкой во весь рот.

— Ах ты, елова голова! — приветствовал он

«жигана». — Хошь, я в тебя баланды этой самой сколько хошь волью? Желаешь?

— Влейте, дяденька!

— Подставляй корыто!

«Жиган» поднял голову и раскрыл рот. Мужик захватил полную большую ложку баланды, осторожно донес и опрокинул ее в рот «жигана».

У того судорогой передернуло горло, он закашлялся, лицо налилось кровью.

— Отдышится! — сказал мужик, улыбаясь во весь рот.

«Жиган» кое-как прокашлялся, отдышался и подошел к следующему.

Это был фальшивомонетчик, степенный старик, занимающийся в тюрьме ростовщичеством.

— Угостите, дяденька!

— Прочь пошел, паршивец! — с негодованием отвечал старик.

— Только и всего будет?

— Говорят, отходи без греха…

«Жиган» подпер руки в боки.

Вся камера превратилась во внимание, ожидая, что дальше будет.

— Ах ты, Асмодей Асмодеевич! — начал срамить «жиган» старика. — На гроб, что ли, копишь, да на саван, да на свечку…

— Уходи, тебе говорят!

— Да на ладан, да на место. Скоро тебе, Асмодею Асмодеевичу, конец придет, сдохнешь, накопить не успеешь…

— Уходи!

— Сгниешь, старый черт, с голода сдохнешь…

Но в эту минуту «жигана» схватил за шиворот вернувшийся из кухни с кипятком «поддувала» Асмодея Асмодеича.

— Пусти! — кричал «жиган».

— Не озорничай!

— Бей его! — словно исступленный, вопил старый ростовщик.

Огромный верзила «поддувала» изо всей силы хватил «жигана» по уху.

— Бей! Бей! — кричал старик.

— Так ты вот как?! Вот как?!

«Жиган» поднялся было с пола, но «поддувала» сгреб его за «волосья», пригнул к земле и накладывал по шее.

— Бей! Бей! — орал остервеневший старик.

Каторга хохотала.

— За-акуска! — тряс головой и заливался смешливый паренек.

А ведь «Иван» сказал правду: этот «жиган» действительно прошел шесть классов гимназии…

Я часто, бывало, спрашивал: «За что вы так бьете этих несчастных?» — и всегда мне отвечали с улыбкой одно и то же:

— Не извольте, барин, об их беспокоиться. Самый пустой народ. Он на всякое дело способен!

Из них-то и формируются «сухарники», нанимающиеся нести работы за тюремных ростовщиков и шулеров, «сменщики», меняющиеся с долгосрочными каторжниками именем и участью, воры и, разумеется, голодные убийцы.

«Шпанка»

«Шпанка» — это Панургово стадо, это задавленная «масса» каторги, ее бесправный плебс. Это те крестьяне, которые «пришли» за убийство в пьяном виде во время драки на сельском празднике; это те убийцы, которые совершили преступление от голода или по крайнему невежеству; это жертвы семейных неурядиц, злосчастные мужья, не умевшие внушить к себе пылкую любовь со стороны жен; это те, кого задавило обрушившееся несчастье, кто терпеливо несет свой крест, кому не хватило силы, смелости или наглости завоевать себе положение «в тюрьме». Это люди, которые отбыв наказание, снова могли бы превратиться в честных, мирных, трудящихся граждан.

Потому-то и «Иван», и «храп», и «игрок», и даже несчастный «жиган» отзываются о «шпанке» не иначе как с величайшим презрением:

— Нешто это арестанты! Так — «от сохи взят

на время»[38].

Настоящая каторга, ее «головка»: «Иваны», «храпы», «игроки» и «жиганы» — хохочет над «шпанкой».

— Да нешто он понимал даже, что делал! Так — несуразный народ.

И совершенно искренно не считает «шпанку» за людей.

— Какой это человек? Так — сурок какой-то. Свернется и дрыхнет!

У этих, вечно полуголодных людей, с вида напоминающих босяков, есть два занятия: работать и спать. Слабосильный, плохо накормленный, плохо одетый, обутый, он наработается, придет и «как сурок» заляжет спать. Так и проходит его жизнь.

«Шпанка» безответна, а потому и несет самые тяжелые работы. «Шпанка» бедна, а потому и не пользуется никакими льготами от надзирателей. «Шпанка» забита, безропотна, а потому те, кто не решается подступиться к «Иванам», велики и страшны, когда им приходится иметь дело со «шпанкой». Тогда «мерзавец» как гром гремит в

---

[38] Примечания: 38

«От сохи на время» — так называются, собственно, невинно осужденные. Но это презрительное название каторга распространяет и на всю «шпанку».

воздухе. «Задеру», «сгною» — только и слышится обещаний!

«Шпанка» — это те, кто спит не раздеваясь, боясь, что «свистнут» одежонку. Остающийся на вечер хлеб они прячут за пазуху, так целый день с ним и ходят, а то стащат. Возвращаясь с работы в тюрьму, представитель «шпанки» никогда не знает, цел ли его сундучок на нарах или разбит и оттуда вытащено последнее арестантское добро.

Их давят «Иваны», застращивают и обирают «храпы», над ними измываются «игроки», их обкрадывают голодные «жиганы».

«Шпанка» дрожит от всякого и каждого. Живет всю жизнь дрожа, потому что в этих тюрьмах, где должны «исправляться и возрождаться» преступники, царит самоуправство, произвол «Иванов», полная власть сильного над слабым, «отпетого негодяя» над порядочным человеком.

Горе «Матвея»

Мы шли со смотрителем по двору тюрьмы. Время было под вечер. Арестанты возвращались с работ.

— Не угодно ли посмотреть на негодяя? Пойди сюда! Где халат? — обратился смотритель к арестанту, шедшему, несмотря на ненастную погоду, без халата. — Проиграл, негодяй? Проиграл, я тебя спрашиваю?

Арестант молча и угрюмо смотрел в сторону.

— Чтоб был мне халат! Слышишь? Кожу собственную сдери да сшей, негодяй! Пороть буду! В карцере сгною! Слышал? Да ты что молчишь? Слышал, я тебя спрашиваю?

— Слышал! — глухим голосом отвечал арестант.

— То-то «слышал»! Чтоб халат был! Пшел!

И чрезвычайно довольный, что показал мне, как он умеет арестантам «задавать пфейфера», смотритель (из бывших ротных фельдшеров) пояснил:

— С ними иначе нельзя. Не только казенное имущество — тело, душу готовы промотать, проиграть! Я ведь, батенька, каторгу-то знаю как

свои пять пальцев! Каждого как облупленного насквозь вижу!

Промотчик, «игрок», действительно способный проиграть и душу и тело, проигрывающий свой паек часто за полгода, за год вперед, проигрывающий не только ту казенную одежду, какая у него есть, но и ту, которую ему еще выдадут, проигрывающий даже собственное место на нарах, проигрывающий свою жизнь, свою будущность, меняющийся именами с более тяжким преступником, приговоренным к плетям, вечной каторге, кандальной тюрьме, — этот тип очень меня интересовал, — и на следующий же день, в обеденное время, я отправился в тюрьму уже один, без смотрителя, и попросил арестантов позвать ко мне такого-то.

— А вам, барин, на что его? — полюбопытствовали арестанты, среди которых были такие, симпатиями и доверием которых я уже заручился.

— Да вот хочется посмотреть на завзятого «игрока».

Среди арестантов раздался смех.

— «Игрока!»

— Да что вы, барин! Они вам говорят, а вы их слушаете. Да он и карт-то в руках отродясь не

держал! А вы «игрока»!

— А как же халат?

— Халат-то?

Арестанты зашушукались. Среди этого шушуканья слышались возгласы моих знакомцев:

— Ничего! Ему можно!.. Он не скажет!.. Он не выдаст!..

И мне рассказали историю этого «проигранного» халата.

Мой промотчик оказался тихим, скромным «Матвеем», вечным тружеником, минуты не сидящим без дела.

Дня два тому назад он сидел на нарах и, по обыкновению, что-то зашивал, как вдруг появился «Иван» из другого отделения, или «номера», как зовут арестанты.

— Слышь, ты, — обратился он к моему «Матвею», — меня зачем-то в канцелярию к смотрителю требуют. А халат я продал. Дай-кась свой надеть. Слышь, дай! А то смотритель увидит без халата, в «сушилку»[39] засадит.

Если бы «Матвею» сказали, что его самого засадят в «сушилку», он не побледнел бы так, как теперь.

---

[39] Примечания: 39

«Сушилка» — карцер.

Он не даст халата — из-за него засадят «Ивана» в «сушилку». За это обыкновенно «накрывают темную», то есть набрасывают человеку на голову халат, чтобы не видел, кто его бьет, и бьют так, как умеют бить только арестанты: коленями в спину, без знаков, но человек всю жизнь будет помнить.

Приходилось расстаться с халатом.

«Иван», разумеется, ни в какую канцелярию не ходил, да его и не звали, а просто пошел в другой «номер» и проиграл халат в штосс.

И никто не вступился за бедного «Матвея», когда у него отнимали последнее имущество, за которое придется отвечать спиной. Никто не вступился, потому что:

— С «Иванами» много не наговоришь!..

Пока мне рассказали всю эту историю, привели и самого «Матвея».

— Ну где же, брат, халат?

«Матвей» молчал.

— Да ты не бойся. Барин все уже знает. Ничего тебе плохого не будет! — подталкивали его арестанты.

Но «Матвей» продолжал так же угрюмо, так же понуро молчать.

На каторге ничему верить нельзя. Во всем нуж-

но убедиться лично.

Посмотрел я на «Матвея», и по одежде впрямь «Матвей», — на бушлате ни дырочки, все зашито, заштопано.

Спросил, где его место, пошел, посмотрел сундучок. Сундучок настоящего «Матвея»: тут и иголка, и ниток моток, и кусочек сукна — «заплатку пригодится сделать», — и кусочек кожи, перегорелой, подобранной на дороге, и обрывок веревки, «может, подвязать что потребуется». Словом, типичный сундучок не промотчика, не «игрока», а скромного, хозяйственного, бережливого арестанта.

— За сколько халат-то заложен?

— В шести гривнах с пятаком пошел. До петухов[40] закладали. Теперь уже третьи сутки пошли. Три гривны проценту, значит, наросло.

Я дал «Матвею» рубль.

Надо было видеть его лицо.

Он даже не обрадовался — он просто оторопел. На лице было написано изумление, почти испуг.

С минуту он постоял молча с бумажкой в руке, затем кинулся опрометью из камеры, под веселый хохот всей арестантской братии.

---

[40] Примечания: 40

Заложить «до петухов» — заложить до утра.

Я потом встречал его много раз. И всякий раз, несмотря ни на какую погоду, обязательно в халате. Он, кажется, и спал в нем.

Всякий раз, завидев меня, он еще издали снимал шапку и улыбался до ушей, а на мой вопрос: «Ну что, как халат?» — только смеялся и махал рукой:

— Попал, мол, было в кашу!

Дня через три после выкупа мы встретили его со смотрителем.

— Ага, нашелся-таки халат?

«Матвей» молчал.

Смотритель торжествовал.

— Видите, пригрозил — и нашелся! С ними только надо уметь обращаться. Я, батенька, каторгу знаю! Вот как знаю. Они сами себя так не знают, как я их, негодяев, знаю.

Я не стал разубеждать доброго человека. К чему?

Бессрочный «испытуемый» Гловацкий

Сорок семь лет, а он признан неспособным уже ни на какую работу.

Избитый, искалеченный, вогнанный в чахотку, приговоренный всю свою жизнь не выходить из кандальной, — перед вами действительно, быть может, самый несчастный человек на свете.

Ложась спать, он не знает, встанет ли завтра, или арестанты ночью его задушат. Он ни на секунду не может расстаться с ножом. Должен каждую минуту дрожать за эту несчастную жизнь.

На голову этого человека свалилось так много незаслуженных бед, несправедливостей, неправды, что, право начинаешь верить Гловацкому, что и на Сахалин он попал «безвинно».

Николай Гловацкий, мещанин Киевской губернии, города Звенигородки, присужден к бессрочной каторге за то, что повесил свою жену.

Окончивший курс уездного училища по ремеслу шорник, Гловацкий в 1876 году женился, а в 1877-м — ушел в военную службу. Вернувшись через пять лет, он уже не узнал своей жены. За это время она успела «избаловаться», меняла друзей се́рдца и не хотела тихой семейной жиз-

ни. А Гловацкий был влюблен в свою жену. Он отыскал себе место в имении графини Дзелинской, в Волынской губернии, и увез туда жену, думая, что вдали от соблазна жена исправится и сделается честной женщиной. Но она бежала из имения. Гловацкий быстро хватился ее, догнал и под вечер привез домой. Это была бурная и тяжелая ночь. По словам Гловацкого, жена была в каком-то исступлении, она кричала:

— Ты противен мне. Понимаешь ли, противен! Ничего, кроме отвращения, я к тебе не чувствую. Мне что ты, что лягушка. Вот как ты мне мерзок. Мне в петлю легче, приятнее, чем быть твоей женой!

Она расхваливала ему интимные достоинства своих друзей сердца. Говорила вещи, от которых у Гловацкого голова шла кругом. Он просил, умолял ее опомниться, образумиться, плакал, грозил. И наконец, измученный вконец, под утро задремал.

— Но вдруг проснулся, — рассказывает Гловацкий, — словно меня толкнуло что. Смотрю — жены нет. Зажег фонарь, выбежал из дома вслед, догнать. Выбегаю, а она около дома на дереве висит. Повесилась.

Гловацкий, по его словам, от ужаса не помнил,

что делал. Никто не видал, как он вечером привез жену назад. Знали только, что она сбежала. И Гловацкий почему-то захотел скрыть ужасный случай.

— Почему — и сам не знаю, — говорит он.

Он снял труп с дерева, положил в мешок, пронес через сад и бросил в реку. Через несколько дней труп в мешке прибило где-то, ниже по течению, к берегу. Гловацкий на все вопросы твердил:

— Знать не знаю и ведать не ведаю.

По знакам от веревки нарисовали трагедию. И Гловацкий был осужден в бессрочную каторгу за то, что, потихоньку привезя домой жену, он повесил ее и, чтобы скрыть следы преступления, хотел утопить труп в реке.

Пусть он в этом и будет виновен. Не будем верить его рассказу. Ведь они все говорят, что страдают «безвинно». Тайну своей смерти унесла с собой покойная Гловацкая. И разрешить, кто прав, правосудие или Гловацкий, — невозможно. Но вот дальнейшие факты, свидетели которых живы.

На Сахалин Гловацкий пришел в 1888 году. Как бессрочный каторжник Гловацкий был заключен в существовавшую еще тогда страшную Воеводскую тюрьму, о которой сами господа смотрители

говорят, что это был «ужас». В течение трех лет Гловацкий получил более пятисот розог, все за то, что не успевал окончить заданного урока. Напрасно Гловацкий обращался за льготой к тогдашнему врачу Давыдову. Этот типичный «осахалинившийся» доктор отвечал ему то же, что он отвечал всегда и всем:

— Что же, я тебя в комнату посажу, что ли?

За обращение к доктору Гловацкого считали «лодырем» и отправляли на наиболее тяжкие работы — на вытаску бревен из тайги.

— Три раза за одно бревно пороли: никак вытащить не мог, обессилел! — вспоминает Гловацкий одно особенно памятное ему дерево.

Вообще в этих воспоминаниях Гловацкого, как и вообще в воспоминаниях всех каторжников бывшей Воеводской тюрьмы, ничего не слышно, кроме свиста розог и плетей.

Ведут, бывало, к Фельдману, только молишь Бога, чтобы дети его дома были. Дети — дай им, Господи, всего хорошего, всех благ земных и небесных, — не допускали его до порки. Затрясутся, бывало, побледнеют. «Папочка, не делай этого, папочка, не пори!» Ему перед ними станет совестно, ну и махнет рукой. Вся каторга за них Бога молила.

Но и это было небольшим облегчением.

— Что Фельдман! Старшим надзирателем тогда Старцев был. Бывало, пока до Фельдмана еще доведет, до полусмерти изобьет. Еле на ногах стоишь!

Все тяжелее и тяжелее было жить этому измученному человеку. В 92-м году он и совсем, как говорят на Сахалине, «попал под колесо судьбы».

— Иду как-то задумавшись — вдруг окрик: «Ты чего шапки не снимаешь?» Господин Дмитриев. Задумался и не заметил, что он на крылечке сидит. «Дать ему сто!»

Но Гловацкому дали только пятьдесят. После пятидесятой розги он был снят с «кобылы» без чувств и два дня пролежал в «околотке». Не успел поправиться — новая порка. Играли в тюрьме в карты рядом с местом Гловацкого. Как вдруг нагрянул тогда заменявший начальника округа Шилкин. «Стремщики» не успели предупредить, тюрьма была захвачена врасплох. Карты не успели спрятать и бросили как попало на нары.

— Чье место? — спросил начальник, указывая на карты.

— Гловацкого!

— Сто!

— Да я не играл…

— Сто!

И Гловацкому, действительно вовсе не играющему в карты, «всыпали» сто. На этот раз Гловацкий выдержал всю сотню, но после наказания даже тогдашний сахалинский доктор положил его на три дня в лазарет и дал после этого неделю отдыха.

— Только вышел, иду, еле ноги двигаю, — голос. Господин Шилкин перед очами. Ну, ей-богу, мне с перепуга показалось, что он из-под земли передо мной вырос. И не заметил, что он в сторонке сидел. «Так ты вот еще как? Ты сопротивничать? Не кланяться еще вздумал? Пятьдесят». Дали. Вижу, душа уж с телом расстается. Смерть подходит неминучая.

Как раз в это время один кабардинец собирал в Воеводской тюрьме партию для побега. Кабардинцу предстояло получить семьдесят плетей. Он подбирал людей, для которых смерть была бы, как и для него, — ничто. К этой-то партии и примкнул Гловацкий. Бежали четверо кавказцев, Гловацкий и каторжник Бейлин, сыгравший впоследствии страшную роль в жизни Гловацкого.

Бейлин после ухода из тюрьмы отделился от партии и пошел бродяжить один. А пятеро беглецов сколотили плот и поплыли по Татарскому

проливу.

— Плывем. Вдруг — дымок показался. Смотрим — катер. Заметили нас. Полицмейстер Домбровский вслед катит. Значит, не судьба. Ждем своей участи. Бьет это нас волнами, бросает наш плот. Ветром — брезентовый пиджак тут лежал — подхватило, в воду снесло. Я его шестом хотел достать — куда тебе, унесло. Подходит катер. «Сдавайтесь!» — Домбровский кричит. Мы — по положению: на колени становимся. Взяли нас на катер. «А зачем человека в воду бросили?» — полицмейстер спрашивает. «Какого человека?» — «Не отпирайтесь, — говорит, — сам видел, как человек в воду полетел. Вот этот вот, русский, его еще шестом отпихивал». — «Да это, мол, пиджак, а не человек». — «Ладно, — говорит, — разберемся. Сам видел». Привозят в тюрьму. Бежало шестеро, а привели пятерых, Бейлина нет. «Где Бейлин?» — спрашивают. Клянемся и божимся, что Бейлин отделился, один пошел. Веры нет — «сам полицмейстер видел, как Гловацкий человека в воду бросил и шестом топил».

Пошло дело об убийстве Гловацким во время побега арестанта Бейлина.

— Два года, как тяжкий подследственный в

кандалах сижу, пока идет суд да дело. Жду либо виселицы, либо плетей — насмерть запорют. Начальству божусь, клянусь, смеются: «А вот явится с того света Бейлин, тогда тебя оправдают. Другого способа нет».

Как вдруг в 1894 году «Ярославль» привозит на Сахалин Бейлина. Бейлину удалось добраться до России, там он попался, сказался бродягой непомнящим и пришел теперь в каторгу как бродяга на полтора года.

Бросился Гловацкий к Бейлину.

— Скажись. Ведь меня судят, будто я тебя убил.

Бейлин отказывается.

— Нет. Какой мне расчет полтора года на долгий срок да на плети менять.

Гловацкий обратился к каторге:

— Братцы! Да вступитесь же! Ведь вы знаете, что это Бейлин!

Но Бейлин, у которого были маленькие деньжонки, подкупил «Иванов». «Иваны», эти законодатели, судьи и палачи, объявили:

— Убьем, кто донесет. Старый порядок: бродягу не уличат.

Тогда, видя, что все равно приходится гибнуть, Гловацкий явился сам по начальству.

— Меня обвиняют в убийстве Бейлина, а Бей-

лин жив, здесь. Вот он!

Сличили с карточками, допросили арестантов, Бейлин должен был сознаться. Дело об его убийстве прекратили, и Гловацкого за побег приговорили к одиннадцати годам «испытуемости» и шестидесяти пяти плетям.

— Только за шесь дней отлучки! — говорит он, и на глазах навертываются слезы при воспоминании об этих шестидесяти пяти плетях.

Бейлину за побег тоже вышла прибавка срока и плети, и он решил отомстить.

— Десять рублей не пожалею, а Гловацкому не жить!

За десять рублей на Сахалине можно нанять убийц и перерезать целую семью.

За десять рублей «Иваны» нанялись повесить Гловацкого в укромном месте. Но Гловацкому кто-то за двадцать копеек выдал заговор «Иванов».

— Что было делать? Донести начальству — невозможно. И так и этак — все равно убьют.

Гловацкий запасся ножом и решил быть начеку. Однажды, когда Гловацкий перед вечером шел к «укромному месту», на него кинулась шайка «Иванов», и один из них, Степка Шибаев, накинул ему на шею петлю. Гловацкий успел,

однако, схватить одной рукой веревку, а другой ударил Степку ножом в живот.

«Иваны» кинулись в сторону.

— Что же вы, подлецы? — кричал им Гловацкий и, наклонившись к корчившемуся в предсмертных муках Шибаеву, спросил: — Ну что, задавил Гловацкого, мерзавец?

В тюрьме убийство. Явилось начальство. Умирающего Степку отнесли в лазарет. Гловацкого арестовали и посадили в особое отделение.

Между тем «Иваны» пришли в себя. Они кинулись в отделение, где сидел обезоруженный Гловацкий, выломали двери и били его до полусмерти. Переломили ему руку, разбили лоб, «отбили все внутренности». К счастью или к несчастью, подоспела стража, и Гловацкого еле вырвали полуживого, без сознания, из рук озверевших людей.

Гловацкий остался искалеченный на всю жизнь. Ему даже говорить трудно. Он задыхается.

Следствие на Сахалине вели кто придется, люди вовсе незнакомые с этим делом[41]. Свидетелями допрашивались те же «Иваны», которые, конеч-

---

[41] Примечания: 41

Только года четыре тому назад на Сахалин назначены были наконец впервые двое следователей, они же мировые судьи.

но, «засыпали» Гловацкого:

— Убил по злобе!

И Гловацкий, только защищавший свою жизнь, приговорен к пожизненной «испытуемости», к пожизненному содержанию в кандальной тюрьме и тридцати плетям. Плетей не дали. Какие же плети полуумирающему? Доктор признал его неспособным к перенесению телесного наказания. Но за жизнь, сидя в кандальной, Гловацкий должен дрожать день и ночь, каждую минуту: «Иваны» приговорили его к смерти и за Бейлина, и за Степку.

— Вот у нас, поистине, страдалец! — говорил мне смотритель тюрьмы господин Кнохт.

— Да что же вы-то?

— А я что могу? Следствие так повели!

Я обращался к каторжанам:

— Вы чего же молчали?

— Что это? Соваться — сказывать, что «Иваны» нанялись его убить. Убьют!

Бейлин содержится в той же тюрьме. Я говорил с ним.

— Ведь из-за тебя невинного человека повесить могли. Чего же ты сам не сказал?

— Мне это не полезно. Мне о других думать нечего. Всякий за себя.

Гловацкий никуда не выходит из своего «номера». Для бесед со мной его водили по тюремному двору под конвоем, а то убьют.

— Я и так нож всегда при себе ношу. «Иваны» мне Степки не простят. Сказали: убьют — и убьют. Так вот живу и жду.

И этот несчастнейший человек в мире, обреченный на смерть в кандальной, когда я его спросил, не могу ли быть чем-нибудь полезен, просил меня не за себя, а за другого:

— Ему очень тяжко.

Каторжные типы

Серые лица и халаты. Какой однообразной кажется толпа каторжан. Но когда вы познакомитесь поближе, войдете в ее жизнь, вы будете различать в этой серой массе бесконечно разнообразные типы. Мы познакомимся с главнейшими — с теми, про которых можно сказать, что они составляют «атмосферу тюрьмы», ту атмосферу, в которой нарождаются преступления и задыхается все, что попадает в нее мало-мальски честного и хорошего.

Если вы войдете в тюрьму в обеденное время, вам, конечно, прежде всего бросится в глаза небольшой ящик, на котором расставлены бутылочки молока, положены вареные яйца, кусочки мяса, белый хлеб. Тут же лежат сахар и папиросы. Где-нибудь под нарами, можете быть вполне уверены, отлично спрятаны водка и карты. Это «майдан». Около этого буфета вы увидите фигуру, по большей части татарина-майданщика. Прежде, в сибирские времена каторги, майданы держали исключительно бродяги. Каторга там была богаче. Тюрьма получала массу подаяний. Русский народ считает святым долгом подавать

«несчастненьким», и, пространствовав пешком по городам и весям, партия арестантов приходила на каторгу с деньгами. Тогда майданщики наживали в тюрьме тысячи — бродяги обирали тюрьму. Вот откуда и ведутся теперешняя ненависть и презрение каторги к бродягам. Это ненависть историческая, восходящая еще к страшным разгильдеевским временам. Эта ненависть передана одним поколением каторги другому. Каторга вымещает бродягам обиды исторические. Мстит за давние угнетения, своеволие, обирательство. Теперь денежная власть из рук бродяг перешла к татарам. Нищую сахалинскую каторгу обирают татары, как «богатую» сибирскую каторгу обирали бродяги. Вот причина той страшной ненависти к татарам, которую я никак не мог понять, когда у нас в трюме парохода арестанты чуть не убили татарина только за то, что он нечаянно наступил кому-то на ногу. Эта национальная ненависть носит экономическую подкладку.

Все богатеи Сахалина, зажиточные поселенцы, на которых вам с такой гордостью указывают, по большей части нажились в тюрьме на «майдане».

— Нескладно! — упрекал я каторжника, когда

он рассказывал мне, как зарезали одного зажиточного поселенца. — Свой же брат трудом, потом, кровью нажил, а вы же его убили!

— Трудом! — каторжник даже рассмеялся. — Будет, ваше высокое благородие, их-то жалеть — вы нас лучше пожалейте! Трудом! При мне же в тюрьме «майдан» держал; сколько из-за него народа погибло!

«Майдан» — это закусочная, кабак, табачная лавочка, игорный дом и доходная статья тюрьмы. Тюрьма продает право ее эксплуатировать. «Майдан» сдается обыкновенно на один месяц с торгов первого числа. Майданщик платит по пятнадцать копеек каждому арестанту камеры, если у него играют только в «арестантский преферанс», и по двадцать копеек, если игра идет еще и в штосс и в кончинку. Кроме того, майданщик должен нанять по одному рублю пятьдесят копеек двоих каморщиков, обыкновенно несчастнейших «жиганов», которые обязуются выносить «парашу», подметать, или, вернее, с места на место перекладывать сор, мыть тюрьму, или, вернее, разводить водой и размазывать жидкую грязь.

Майданщик же должен держать и стремщика, который за пятнадцать копеек в день стоит у дверей и должен предупреждать:

— Дух! — если идет надзиратель.

— Шесть! — если идет начальство.

— Вода! — если грозит вообще какая-нибудь опасность.

За это тюрьма обязуется охранять интересы майданщика и смертным боем бить всякого, кто не платит майданщику долга. Тюрьме нет дела до того, при каких условиях задолжал товарищ майданщику. Майданщик кричит:

— Что же вы, такие-сякие, деньги с меня взяли, а бить не бьете?

И тюрьма бьет насмерть.

— Задолжал — так плати.

Самый выгодный и хороший товар «майдана» — водка. Цена на нее колеблется, глядя по месту и по обстоятельствам, но обыкновенная цена бутылке слабо разведенного спирта в тюрьме для «исправляющихся» от 1 рубля до 1 рубля 50 копеек. Водка очень слабая, оставляет во рту только скверный вкус, и у меня вечно выходили из-за этого пререкания с самым старым каторжником на Сахалине[42], дедушкой русской каторги, Матвеем Васильевичем Соколовым.

— Чего ты мне всё деньги даешь! Ты сам пойди

---

[42] Примечания: 42

Пятьдесят лет в каторге. Три «вечных приговора».

в «майдан», выпей, — кака-така там есть водка! Ты меня к себе позови, кухарке вели, чтобы чашечку поднесла. Это вот — водка!

Цены на остальные товары в «майдане» следующие: бутылку молока, которая самим им достается за 3–4 копейки, майданщики продают по пятачку. Яйцо — 3 копейки, самому 1 рубль 20 копеек сотня. Хлеб белый — 6 копеек фунт, самому — 4 копейки. Свинина — другого мяса в тюрьме нет, коров поселенцы не продают: нужны для хозяйства, — вареная свинина режется кусочками по $^1/_6$ фунта, кусочек — 5 копеек, фунт сырой свинины — 20–25 копеек. Кусочек сахара — копейка. Папиросы — копейка.

Это все за наличные деньги. Можете себе представить, по каким ценам все это отпускается в кредит! Главнейшая статья дохода «майданов», как и наших клубов, карты. Майданщик получает десять процентов с банкомета и пять — с понтера. Кроме того, майданщики занимаются, конечно, и ростовщичеством, покупкой и сбытом краденого. Всё почти, что заработает, украдет или из-за чего убьет тюрьма, переходит в конце концов в руки майданщика.

Майданщик играет огромную роль при «сменках», которые называются на арестантском

языке «свадьбой». «Свадьба» обыкновенно происходит так. Если в тюрьме есть долгосрочный арестант, желающий сменяться именем и «участью» с краткосрочным, — он входит в компанию с «Иванами», «храпами», и они привлекают к участию в деле обязательно майданщика. Они подыскивают подходящего по внешнему виду краткосрочного арестанта, по большей части бедняка, и начинают за ним охоту. Когда с человеком сидишь двадцать четыре часа вместе, поневоле изучишь его нрав, характер, узнаешь склонности и маленькие слабости. Компания начинает работать. Майданщик вдруг входит в необыкновенную дружбу с намеченной жертвой. Предлагает голодному в кредит что угодно:

— Ты ничего. Ты бери. Ты парень, я вижу, добрый. Из дома тебе пришлют — может, подаяние будет, а либо заработаешь, украдешь что. Я поверю. Ты парень честный.

— Да ты водочки не хочешь ли?

И майданщик подносит чашечку водочки.

— Пей, пей! Потом сочтемся!

Захмелевший арестант просит другую. Хмелеет сильнее. А тут сосед «затирает»:

— Ты что? Ты человек фартовый! Ты в карты сядь — завсегда и водка, и все будет… Смотри вон,

такой-то. Сколько деньжищ сгреб, как живет: водка не водка! Ты не робей, главное!

— Денег нету…

— А ты у майданщика попроси. Он к тебе добрый, даст на розыгрыш! Эй, дядя…

— Чего? Деньжонок на розыгрыш? Играй — плачу за тебя, потом сочтемся!

Тут на сцену выступает «мастак», обыгрывающий простака наверняка. Несколько рублей, которые «для затравки» спервоначала дают простаку выиграть, кружат ему голову.

— Ловко! Молодца! Бухвость его! Дуй в хвост и гриву! — подзадоривают толпящиеся около «Иваны».

— Видать птицу по полету! За этаким не пропадет! Подать водочки? — предлагает майданщик.

А опьяневший от вина и успеха герой вопит:

— Бардадым[43] два целковых! Шеперка[44] полтина очко!

— Так его! Так! Дуй! Эта бита — другая будет дана! Мечи, сиволапый черт, не любишь проигрывать?..

Бита!.. Бита!.. Бита!..

---

[43] Примечания: 43
Король.

[44] Примечания: 44
Шестерка.

Словом, когда наутро «герой» просыпается с головой, готовой треснуть от вчерашнего похмелья, у него проиграно все: казенная дачка хлеба за год вперед… С голода мри… А тут еще «барахольщик» подходит:

— Отлежался, мил человек! Скидавай-ка бушлат да штаны. Помнишь, как вчера мне продал!

«Герой» с ужасом припоминает, как вчера действительно, кажется, что-то в этом роде было.

— А не помнишь — тюрьма напомнит. Вот они все видели! — «Барахольщик» указывает на «Иванов».

— При нас было!

— Ты и следующую-то дачку тоже не забудь мне отдать. За год вперед проиграно. Аль забыл? Ребер, брать, не бывает у тех, кто забывает. Порядок арестантский — известный.

А тут и майданщик подходит:

— Начудил ты тут вчера, мил человек! Теперь за расплату возьмемся. По «майдану» ты мне задолжал столько-то, да проигрышу я за тебя заплатил столько-то. Выкладай! Где денежки?

— Да ведь ты же вчера говорил…

— То другое дело, милый человек! А вчерашнего числа вчерашний разговор был. А сегодняшнего — сегодний. Мне деньги нужны — за товар

платить. А ежели ты должать да не платить — так мы по-свойски. Братцы, что ж это? Грабеж?

— Какой же такой порядок в тюрьме пошел? — орут «храпы». — Майданщику не платят! Мы с майданщика за «майдан» берем, а ему не платят! Кто же после этого «майдан» содержать будет? Чем тюрьма жить будет? Где такие порядки писаны?

— Мять будем, — заявляют «Иваны». — Нет таких порядков на каторге, чтоб задолжать да не платить!

Все проиграно, кругом в долгу. Впереди — голодная смерть и переломанные ребра.

В эту-то минуту к потерявшему голову краткосрочному и подходит крученый арестант — тореадор каторги.

— Хочь, из беды выручу?

— Милостивец!

— Слухай, словечка не проронi. Есть тут такой-то, большесрочник, на тебя смахивает. Наймись за него в каторгу.

— На двадцать лет-то? Век загубить? — с ужасом глядит на демона-искусителя арестант, которому и каторги-то всего три-четыре года.

— Все одно — жизни тебе нет. Убьют за то, что в «майдан» не платишь, — альбо с голода

подохнешь! А ты слухай хорошенько. Ты человек молодой, порядков не знаешь, а я человек крученый, все ходы и выходы знаю. Зачем навек иттить? Сбежим за первый сорт! Да тебе и вся, сколько есть, каторга поможет! Мы завсегда таких освобождаем! Сколько таких-то бегало. Такой-то, такой-то, такой-то!..

«Крученый» сыплет небывалыми фамилиями:

— Не слыхал? Так ты у других спроси, какие поумнее. Бежал, сказался бродягой, никто не выдаст, — на полтора года. Любехонько. «Сухарнику» ли не житье! А ты, мил человек, пойди к долгосрочнику да в ножки поклонись: чтоб тебя взял. Нас, таких-то, много.

Если будущий «сухарник» не соглашается, «крученому» остается только мигнуть.

— Бей его! — вопит майданщик.

И каторга принимается истязать неисправного плательщика. На первый раз бьют без членовредительства, по большей части ногами между лопаток, и отнюдь не «в морду», чтоб сменщика «не портить». Но предупреждают:

— А дальше не по тебе, такому-сякому, будет! До тех пор бить станут, пока все до копеечки в «майдан» не отдашь!

«Иваны» и «храпы» следят за ним и не отсту-

пают ни на шаг: «чтоб не повесился». Голодный, избитый, во всем отчаявшийся, он идет к долгосрочнику и говорит:

— Согласен!

— Помни же! Не я звал — сам напросился. Чтоб потом не на попятную.

И начинается торг на человеческую жизнь. Торг мошеннический: долгосрочный арестант будто бы платит майданщику огромные фиктивные долги «сменщика». А «Иваны» и «храпы», делая вид, будто они надбивают цену, на самом деле оттягивают всякий грош у несчастного.

— Ты уже и ему дай, что на разживку! — орут «храпы».

— С чего давать-то? — кобенится наемщик. — Эку прорву деньжищ-то платить! В «майдан» плати! У «барахольщика» его выкупи! За пайку за год вперед заплати. С чего давать?

— Ну, дай хоть пятишку! — великодушничает какой-нибудь «Иван». — Не обижай! Парень-то хорош. Да и по приметам подходит.

— Давать-то не из-за чего!

— Хошь пополам получку! — шепчет несчастному «храп». — За тебя орать стану, а то ничего не дадут. Хошь, что ли, ча?

— Ори!

— Чаво там пятишку! — принимается орать «храп». — Красненькую дать не грешно. Ты уже не обижай человека-то: твое ведь имя примет. Грехи несть будет! Давай красный билет!

— Пятишку с него будет.

— Красную!

— Цен этих в каторге нет!

— Деньги-то ведь настоящие, не липовые[45].

— Да ведь и он-то настоящий, не липовый.

— Черт, будь по-вашему! Жертвую красную! Пущай чувствует, чье имя, отчество, фамилию носит!

— Вот это дело! Ай да Сидор Карпович! Это душа!

— Вот тебе и свадьба, и тюрьме радость. Требуй, что ль, водки из «майдана», Сидор Карпович! Дай молодых вспрыснуть. Дай им бог совет да любовь! — балагурит каторга. — Майданщик, песий сын сиволапый, дела аль своего не знаешь? «Свадьба», а ты водку не несешь!

И продал человек свою жизнь, свою участь за десять рублей — тогда как настоящая-то цена человеческой жизни на каторге, настоящая плата за «сменку» колеблется от пяти до двадцати рублей.

---

[45] Примечания: 45

Липовые — фальшивые деньги.

Половину из полученных десяти рублей возьмет себе, по условию, «храп» за то, что «надбавил» цену, а остальные пять отыграет «мастак» или возьмет майданщик, «в счет долга».

— Это что, что за тебя заплатили! Ты сам за себя поплати! За водку, мол, не плачено.

Или попросту украдут у сонного и пьяного. Тюрьме ни до чего до этого дела нет:

— Всякий о себе думай!

Но одна традиция свято соблюдается в тюрьме: человека, продавшего свою «участь», напаивают до бесчувствия, чтобы не мучился.

— Тешь, дескать, свою проданную душу!

Он меняется со своим сменщиком платьем. Если раньше не носил кандалов, ему «пригоняют» на ноги кандалы, сменившийся рассказывает ему всю свою историю, и тот обязан рассказать ему свою, чтобы не сбиться где на допросе. Тут же «подгоняют приметы». Если у долгосрочного арестанта значилось в особых приметах несколько недостающих зубов, то сменившемуся краткосрочному вырывают или выламывают нужное число зубов. Если в особых приметах значатся родимые пятна — выжигают ляписом пятна на соответствующих местах. Все это делается обязательно в присутствии всей камеры.

— Помнишь же? — спрашивают у сменившегося.

— Помню.

— Все, братцы, видели?

— Все! — отвечает тюрьма.

Приказывают майданщику подать водку — и «свадьба» кончена. Человек продал свою жизнь, взял чужое имя и превратился в «сухарника». Наниматель отныне — его хозяин. Если «сухарник» вздумал бы заявить о «свадьбе» по начальству и засыпать «хозяина» — он будет убит. Другого наказания за это каторга не знает.

И вот наутро снова с головой, которая трещит с похмелья, просыпается новый долгосрочный каторжник.

Он — не он.

Под его именем ходит по тюрьме другой и несет наказание за его пустячный грех.

А у него впереди — двадцать лет каторги. Иногда плети. Наказание за преступление, которого он никогда не совершал.

У него на ногах кандалы — чужие. Преступление — чужое. Участь — чужая. Имя — чужое. Нет, теперь все это не чужое, а свое.

— Это верно! — посмеивается каторга. — «Сам не свой» человек становится.

Что должен чувствовать такой человек? Сердцевед-каторга первое время следит за ним: «Не повесился бы?» Тогда может все открыться.

— Но затем привыкнет…

— Ко всему подлец человек привыкает! — со слезами в голосе и на глазах говорил мне один интеллигентный каторжанин, вспоминая слова Достоевского.

Эти «свадьбы» особенно процветали на страшной памяти сибирских этапах. Но процветают ли они теперь при существовании фотографических карточек преступников?

Вот факты. Не дальше как осенью этого года, при посадке партии на «Ярославль», была обнаружена такая «смена». Знаменитостью по части «сменок» является какой-то Иван Пройди Свет. Личность, ставшая какой-то мифической. В течение трех лет на пароход доставлялся для отправки на Сахалин «бродяга Иван Пройди Свет», и каждый раз перед отходом парохода получалась телеграмма: «Вернуть бродягу, доставленного под именем Ивана Пройди Свет, потому что это не настоящий». Кто же этот Иван Пройди Свет, где он, — так и остается неизвестным. Вспомните

Агафью Золотых[46], вместо которой с Сахалина была освобождена, до Одессы доставлена и в Одессе бежала какая-то другая арестантка. На Сахалине славится каторжанин Блоха, когда-то «знаменитый» московский убийца. Личность, тоже ставшая полумифической. В каждой тюрьме бывал арестант Блоха — и всегда в конце концов оказывалось, что это «не настоящий». На Сахалине было одно время двое Блох, но ни один из них не был тем настоящим, неуловимым, которому за его неуловимость каторга дала прозвище Блоха. «Сменки» происходят в сахалинских тюрьмах и при пересылке партий из поста в пост. Где же проследить за карточками, когда их тысячи? Кому следить? Карточки снимаются, складываются. И лежат карточки в шкапу, а арестанты в тюрьме распоряжаются сами по себе…

Я несколько уклонился в сторону, но, говоря о майданщиках, нельзя не говорить и о «сменках», потому что нигде так ярко не обрисовывается этот тип. Ростовщик, кабатчик, содержатель игорного дома — он напоминает какого-то большого паука, сидящего в углу и высасывающего кровь из бьющихся в его тенетах преступников

---

[46] Примечания: 46
См. гл. «Отъезд».

и несчастных.

Принимаются ли какие-нибудь меры против майданщиков?

Принимаются. Смотритель Рыковской тюрьмы с гордостью говорил мне, что в его тюрьме нет больше «майданов», и очень подробно рассказывал мне, как он этого добился.

Это не помешало мне в тот же день, когда мне понадобились в тюрьме спички, купить их… в «майдане».

«Асмодеи» — это Плюшкины каторги. «Асмодеем» называется арестант, который копит деньгу и отказывает себе для этого в самом необходимом. Нигде, вероятно, эта страсть — скупость — не выражается в таких уродливых формах. В этом мире «промотчиков», если у арестанта вспыхивает скупость, то она вспыхивает с могуществом настоящей страсти и охватывает человека целиком. «Асмодей» продает выдаваемые ему в месяц двадцать четыре золотника мыла и четверть кирпича чая.

Из скудного арестантского пайка продает половину выдаваемого на день хлеба. Ухитряется по два срока носить казенное платье, которое уже к концу первого-то срока превращается обыкновенно в лохмотья. Оборванец даже среди

арестантов, вечно полуголодный, он должен каждую минуту дрожать, чтобы его не обокрали, беспрестанно откапывать и закапывать в другое место деньги так, чтобы за ним не подсмотрели десятки зорко следящих арестантских глаз. Или носить эти деньги постоянно при себе, в ладанке на теле, ежесекундно боясь, что их срежут. Морить себя голодом, вести непрерывную борьбу с обитателями каторги, дрожать за себя, отравлять себе и без того гнусное существование — и для чего? Я сидел как-то в Дербинской богадельне.

— Барин, барин, глянь!

Старый слепой бродяга заснул на нарах. Халат сполз, грудь, еле прикрытая отвратительными грязными лохмотьями, обнажилась. Старик спал, зажав в руке висевшую на груди ладанку с деньгами. Он уже лет десять иначе не спит, как держа в руке заветную ладанку.

— Тсс! — подмигнул один из старых каторжан и тихонько тронул старика за руку.

Слепой старик вскочил, словно его ударило электрическим током, и, не выпуская из рук ладанки, другой рукой моментально выхватил из-под подушки «жулика» (арестантский нож). Он сидел на нарах, хлопая своими бельмами, ворочая головой и на слух стараясь определить,

где опасность. В эту минуту он был похож на испуганного днем филина. Когда раздался общий хохот, он понял, что над ним подшутили, и принялся неистово ругаться. И право, трудно сказать, кто тут был более ужасен и отвратителен: эти ли развратничающие, пьянствующие, азартные игроки-старики, или этот «Асмодей», десять лет спящий с ладанкой в руке и ножом под подушкой.

«Асмодей» часто для увеличения своего состояния занимается ростовщичеством. Для ростовщика у каторги есть два названия. Ростовщик-татарин титулуется бабаем, ростовщиков-русских называют «отцами». Обычный заклад арестантского имущества — «до петухов», то есть на ночь, до утренней поверки. «За ночь выиграешь». Причем самым божеским процентом считается пять копеек с рубля. Но обыкновенно процент бывает выше и зависит от нужды в деньгах. Для займов без залога — никаких правил нет. «За сколько согласились, то и ладно». Дают взаймы под получку казенных вещей, под кражу, под убийство. Нищие и игроки — тюрьма всегда вся в руках «бабаев» и «отцов». Целая масса преступлений на Сахалине объясняется тем, что «бабаи» или «отцы» насели: зарежь да отдай. В Александровской кандальной

тюрьме есть интересный тип — Болданов. Он сослан за то, что зарезал целую семью, — и на Сахалине в первый день Пасхи зарезал поселенца из-за шестидесяти копеек.

— А я почем знал, сколько там у него, — говорил он мне, — в чужом кармане я не считал. Праздник, гуляет человек, — значит должны быть деньги.

— И резать человека из-за этого?

— Думал, отыграюсь.

— Да ты бы у «отца» какого занял?

— Занял один такой! Сунься, целкач возмешь, с жизнью простись. Паек отберут, а все из долга не вылезаешь… Заложишь бушлат, а снимут шкуру. Нет, каждому тоже нужно и о своей жизни помыслить. Всякий за себя.

Говоря об «отцах», «бабаях» и «Асмодеях», нельзя не упомянуть об их ближайших помощниках, барахольщиках, и самых страшных и неумолимых врагах — «крученых». «Барахлом», собственно, на арестантском языке называется старая, ни на что больше не годная вещь, лохмотья. Но этим же именем арестанты зовут и выдаваемую им одежду. Можете поэтому судить о ее качестве. «Барахольщик» — это старьевщик. Он, входя в камеру, выкрикивает:

— Кому чего продать — промотать.

Скупает и продает арестантские вещи, дает сменку, то есть за новую вещь дает старую с денежной придачей. «Барахольщики» по большей части работают на комиссии, от «отцов». Но часто, купив за бесценок краденое, «барахольщик» начинает вести дело за свой страх и риск, выходит в «отцы» или майданщики и получает огромные вес и влияние. И при виде злосчастного арестанта, входящего в камеру с традиционным выкриком: «Кому чего продать — промотать», вы невольно задумаетесь:

«Сколько раз, быть может, придется этому человеку держать в своих руках жизнь человеческую».

С «крученым» арестантом мы уже встречались, когда он уговаривал будущего «сухарника» согласиться на «свадьбу» с долгосрочным каторжником и за пять-десять рублей продать свою жизнь. «Крученым» с любовью и некоторым уважением каторга называет арестанта, прошедшего огонь, воду, медные трубы и волчьи зубы. Такой арестант должен до тонкости уметь провести начальство, но особую славу они составляют себе на «Асмодеях». Втереться в доверие даже к опасающемуся всего на свете «Асмодею», насулить ему

выход, вовлечь в какую-нибудь сделку, обмошенничать и обобрать или просто подсмотреть, куда «Асмодей» прячет свои деньги, украсть самому или «подвести» воров, — специальность «крученого» арестанта. И в этой специальности он доходит до виртуозности, обнаруживает подчас гениальность по части притворства, хитрости, находчивости, выдержки и предательства. «Кругом пальца обведет», — говорят про хорошего «крученого» с похвалой арестанты. Другой вечной жертвой «крученого» является «дядя сарай». Этим типичным прозвищем каторга зовет каждого простодушного и доверчивого арестанта.

— Ишь, дядя, рот раскрыл, что сарай! Хоть с возом туда въезжай да хозяйничай!

Вот происхождение выражения «дядя сарай».

«Туис колыванский!» зовет еще таких субъектов каторга. Обман простодушного и доверчивого «дяди сарая» составляет пищу, но не славу для «крученого». Чем больше «Асмодеев» он проведет, тем больше славы для него. «Асмодея» провести — вот что доставляет истинное удовольствие всей каторге. Закабаленная, она в глубине души ненавидит и презирает их, но повинуется и относится к «отцам» с почетом, как к людям сильным и «могутным». Ведь это нищие, нищие

до того, что, когда в тюрьме скоропостижно умирает арестант, труп обязательно грабят: бушлат, белье, сапоги — все это меняется на старое.

Чтобы покончить с почетными лицами тюрьмы, мне остается, кроме майданщиков, «отцов», «крученых» и разжившихся «барахольщиков», познакомить вас еще с одним типом — с «обратником». Так называется каторжник, бежавший уже с Сахалина, добравшийся до России и «возвороченный» назад под своей фамилией или под бродяжеской. «Обратник» — неоцененный товарищ для каждой собирающейся бежать арестантской партии. Он знает все ходы и выходы, все тропы в тайге и все броды через реки на Сахалине. Знает, «как пройти». Есть излюбленные места для бегов — «модные», можно сказать. Раньше «в моде» были Погеби — место, где Сахалин ближе всего подходит к материку и Татарский пролив имеет всего несколько верст ширины. Погеби, или «Погиби» (от слова погибнуть) — как характерно и верно переделали каторжане это гиляцкое название. Затем, когда в «Погибях» слишком усилили кордоны, «в моду» вошел Сартунай — место ближе к югу Сахалина. Когда я был на Сахалине, все стремились к устьям Найры, еще ближе к югу.

— Да почему?

— «Обратники» говорят: способно. Место способное.

А гроза всего Сахалина и служащего, и арестантского, Широколобов, пошел искать «нового места» на Крайний Север в Тамлово. Но, истомленный, голодный, опухший, должен был добровольно сдаться гилякам…

«Обратник» — неоцененный советник, у него можно купить самые нужные сведения. В моей маленькой коллекции есть облитая кровью бродяжеская книжка знаменитого «обратника» Пащенка[47]. Он был убит во время удивительного смелого бегства, и книжку, мокрую от крови, нашли у него на груди. Заветная книжка. В ней идут записи: 1-я речка от Погибей — шестьдесят верст Теньги, вторая — Найде, третья — Тамлово и так далее. Это все реки Сахалина. Затем список всех населенных мест по пути от Сретенска до Благовещенска, до Хабаровска, по всему Уссурийскому краю, причем число верст отмечено с удивительной точностью: 2271–1998. Далее идут адреса пристанодержателей и надежных людей.

«Обратник» может снабдить беглеца и реко-

---

[47] Примечания: 47

Каторга за ним числила тридцать два убийства.

мендательными письмами. Вот образчик такого рекомендательного арестантского письма, отобранного при поимке у беглого:

«Ю. Гапонико. Гапонико (очевидно, условные знаки). Любезный мой товарищ[48] Юлис Иванович, покорнше я вас прошу прынать етого человека как и мене до мого приходу *Яков*».

Фамилий в таких рекомендациях, на случай поимки, проставлять не полагается. Среди «обратников» есть знаменитости. Люди, побывавшие на своем веку во многих тюрьмах и пользующиеся влиянием. И рекомендация такого человека много может помочь и в тюрьме.

У «обратников» есть еще одна специальность.

Наметив доверчивого арестанта с деньгами, они подговаривают его бежать и затем дорогой убивают, грабят и возвращаются в тюрьму.

— А товарищ, мол, отстал или поссорился, один пошел. Я же с голодухи вернулся.

Есть люди, убившие таким образом на своем веку по шесть товарищей. Эти преступления очень часты. Но это уж надо делать потихоньку от каторги: за это каторга убивает.

«Обратниками» заканчивается цикл «по-

---

[48] Примечания: 48

Арестанты всегда очень вежливы в письмах друг к другу.

четных» лиц. Теперь мы переходим с вами к отверженным даже среди мира отверженных. К людям, которых презирает даже каторга.

Тут мы прежде всего встречаемся с крохоборами, или кусочниками. Каторга не любит тех из ее среды, кто «выходит в люди», делается старостой, кашеваром или хлебопеком. И она права. Чистыми путями нельзя добиться этого привилегированного положения. Только ценой полного отречения от какого бы то ни было достоинства, ценой лести, пресмыкательства перед начальством, взяток надзирателям, ценой наушничества, предательства и доносов можно пролезть на Сахалине в старосты, то есть освободиться от работ и сделаться в некотором роде начальством для каторжан. Прежде в некоторых тюрьмах даже драли арестантов не палачи, а старосты. Так что, идя в старосты, человек вместе с тем должен был быть готов и в палачи. Только нагоняя, по требованию смотрителя, как можно больше «припека», то есть кормя арестантов полусырым хлебом, хлебопек и может сохранить за собой свою должность, позволяющую ему иногда кое-что утянуть. Этих-то людей, урезывающих у арестантов последний кусок и отнимающих последние крохи, каторга и зовет презрительным

именем «крохоборов», или «кусочников».

— Тоже в начальство полез!

— Арестант — так ты арестант и будь!

Каторга не любит тех, кто старается «возвышаться», но презирает и тех, кто унижается. Мы уже знакомы с типом «поддувалы». Так называется арестант, нанимающийся в лакеи к другому. Кроме исполнения чисто лакейских обязанностей, он обязан еще и защищать своего хозяина, расплачиваться своими боками и бить каждого, кого хозяин прикажет. «Поддувалы» «отцов», например, обязаны бить неисправных должников. А если должник сильнее, то и терпеть поражение в неравном бою. Конечно, даже каторга не может иначе как с презрением относиться к людям, торгующим своими кулаками и боками.

На следующей ступеньке человеческого падения мы встречаемся с очень распространенным типом «волынщика». «Затереть волынку» на арестантском языке называется затеять ссору. «Волынщики» — это такие люди, которые только тем и живут, что производят в тюрьме «заворожки». Сплетничая, наушничая арестантам друг на друга, они ссорят между собою более или менее состоятельных арестантов, чтобы поживиться чем-нибудь от того, чью сторону

они якобы принимают. Этими «волынщиками» кишат все тюрьмы. Таких людей много и везде, кроме тюрьмы. Но в каторге, вечно озлобленной, страшно подозрительной, недоверчивой друг к другу, голодной и изнервничавшейся, в каторге, где за шестьдесят копеек режут человека, где, имея в кармане гроши, можно нанять не только отколотить, но и убить человека, — в каторге «волынщики» часто играют страшную роль. Часто ни из-за чего происходят страшные вещи. Заколотив насмерть арестанта или при виде лежащего «с распоротым брюхом» товарища, каторга часто с недоумением спрашивает себя:

— Да из-за чего же все случилось? С чего пошло? С чего началось?

И причиной всех причин оказываются «волынщики», затеявшие «заворожку» в надежде чем-нибудь поживиться. Робкому, забитому арестанту приходится дружить, да дружить со старым, опытным «волынщиком», а то затрет в такую кашу, что и костей не соберешь.

Ступенью ниже еще стоят «глоты». С этим типом вы уже немножко знакомы. За картами, в споре на арестантском сходе они готовы стоять за того, кто больше даст. «Засыпать» правого и защищать обидчика им ничего не значит. Таких

людей презирает каторга, но они имеют часто влияние на сходах, так как их много и действуют они всегда скопом. «Глот» — одно из самых оскорбительных названий, и «храп», как его назовут «глотом», полезет на стену:

— Я — «храп». «Храпеть» на сходах люблю, это верно. Но чтоб я нанимался за кого…

И фраза может кончиться при случае даже ножом в бок, камнем или петлей, наброшенной из-за угла. Это не мешает, конечно, «храпам» быть по большей части «глотами», но они не любят, когда им об этом говорят. Для «глотов» у каторги есть еще два прозвища. Одно — остроумное «чужой ужин», другое — историческое «синельниковский закуп». Происхождение последнего названия восходит еще ко времени, когда при господине Синельникове за поимку бродяги в Восточной Сибири платили обыкновенно три рубля. С тех пор каторга и зовет человека, готового продать ближнего, «синельниковский закуп». Название — одно из самых обидных, и, если вы слышите на каторге, что два человека обмениваются кличками:

— Молчи, «чужой ужин»!

— Молчи, «синельниковский закуп».

Это значит, что на предпоследней ступеньке

человеческого падения готовы взяться за ножи.

И наконец на самом дне подонков каторги перед нами — «хам». Дальше падения нет. «Хам», в сущности, означает на арестантском языке просто человека, любящего чужое. «Захамничать» — значит взять и не отдать. Но «хамом» называется человек, у которого не осталось даже обрывков чего-то, похожего на совесть, что есть и у «глота», и у «поддувалы», и у «волынщика». Те делают гнусности в арестантской среде. «Хам» — предатель. За лишнюю пайку хлеба, за маленькое облегчение он донесет о готовящемся побеге, откроет место, где скрылись беглецы. Этот тип поощряется смотрителями, потому что только через них можно узнавать, что делается в тюрьме.

«Хам» — это страшное название. Им человек обрекается если не всегда на смерть, то всегда на такую жизнь, которая хуже смерти. Достаточно обыска, даже просто внезапного прихода смотрителя, чтобы подозрительная каторга сейчас увидала в этом «что-то неладное» и начала смертным боем бить тех, кого она считает «хамами». Достаточно последнему «жигану» сказать:

— А наш «хам» что-то, кажись, «плесом бьет» (наушничает начальству).

Чтоб «хаму» начали ломать ребра.

Больше того, довольно кому-нибудь просто так, мимоходом, от нечего делать, дать «хаму» подзатыльника, чтобы вся тюрьма кинулась бить «хама».

— Бьет — значит знает за что.

Чтоб «хаму» «накрыли темную», завалили его халатами, били, били и вынули из-под халатов полуживым.

Посвящение в каторжники

Всякий, конечно, слыхал об этом обычае «посвящения в арестанты», об этих жестоких истязаниях, которым умирающая от скуки и озлобленная тюрьма подвергает новичков.

Для чего тюрьма творила над новичками эти истязания, при рассказе о которых волос встает дыбом? Отчасти, как я уже говорил, от скуки, отчасти по злобе на все и на вся и из желания хоть на ком-нибудь выместить накипевшую злобу, от которой задыхается человек, а отчасти и из практических соображений, нужно было узнать человека, устоит ли он против жалобы начальству, даже если его подвергнут страшным истязаниям. Ведь надо же знать человека, пришедшего в «семью». Будет ли он всегда и во всем надежным товарищем?

Я обошел все сахалинские тюрьмы и могу с полной достоверностью сказать, что прежний страшный обычай «посвящения в каторжники», обычай пытать новичков, отошел в область преданий. Теперь этого нет. Тогда розга и кнут свистели повсюду, и это отражалось на нравах тюрьмы. Теперь нравы «мягчают».

«Молодая» каторга делает только удивленные глаза, когда спрашиваешь: «А нет ли у вас таких-то и таких-то обычаев?» И только старики Дербинской каторжной богадельни, когда я им напоминал о прежних обычаях «посвящения», улыбались и кивали головами на эти рассказы, словно встретились с добрым старым знакомым:

— Было, было все это! Верно.

И они охотно пускались в те пространные описания, в которые всегда пускается человек при воспоминаниях о пережитых бедствиях.

А «молодая» каторга и понять даже этих обычаев не может.

— Да кому же какая от этого польза?

«Польза» — вот альфа и омега всего миросозерцания теперешней каторги. И в этом нет ничего удивительного: преобладающий элемент каторги — убийцы с целью грабежа, то есть люди, совершавшие преступление ради «пользы». И нравам, обычаям и законам этих людей приходится подчиняться остальным: дисциплинарным, жертвам случая, семейных неурядиц и так далее.

«Польза» — это все. Каторжанин, совершивший убийство на Сахалине, рассказывал мне о своем преступлении и упомянул о том, что по его пре-

ступлению забрали было и другого ни в чем не повинного поселенца:

— Но я его высвободил… Потому он не мог быть в моем деле полезен.

А если бы «мог быть полезен», он бы запутал ни в чем не повинного человека и вся каторга бы его поняла.

— Должен же человек думать о своей «пользе». Всякий за себя.

Все теперешнее «посвящение в каторжники» состоит в том, что тюрьма старается извлечь из новичка «пользу», то есть, пользуясь его неопытностью, обмошенничать его, елико возможно.

Для этого у каторги есть несколько игр, в которые только можно играть, что с новичками: в платочек, в крестики, в кошелек, в наперсток, в тузы, в черное и красное.

В этом «посвящении» есть даже нечто симпатичное: тут наказывается страсть к легкой и верной наживе, желание объегорить своего же брата наверняка.

* * *

Вновь прибывшая на пароходе партия выдержала карантин, подверглась медицинскому освидетельствованию, разделена, безо всякой

практической пользы и безо всякого применения этого деления, на «полносильных», «слабосильных» и «вовсе не способных к труду», и явилась в тюрьму.

Еще раньше, пока партия сидела свои три-четыре дня в карантине, тюрьма навела о ней кой-какие справки. У одного с новой партией пришел брат, у другого — сообщник, у третьего — просто старый товарищ. Все эти лица, рискуя карцером и розгами, побывали в карантине и кое-что разузнали. Тюремные брадобреи, рискуя спиной, сбегали в карантин, кого побрить-постричь, и разнюхали, кому из вновь прибывших арестантов удалось протащить с собой деньги, кто разжился дорогой игрой в карты или писанием писем и прошений, у кого вообще водятся деньжонки. Тут все разузнается: сколько господа пассажиры дали на Пасху певчим-арестантам, сколько удалось выпросить у посторонних «на палача». И когда новая партия приходит в тюрьму, тюрьма уже знает об ее имущественном положении и на кого следует обратить внимание.

В тюрьме и так тесно, а тут прибавилось народу еще. Приходится спать под нарами. Старосты продают новичкам лучшие места, конечно стараясь содрать гораздо дороже того, что обыкновенно

стоит «хорошее место» в тюрьме. Изголодавшиеся «жиганы» немножко «обрастают шерстью», продавая последнее, что у них осталось, — места на нарах, — и сами залезая под нары.

Новичок еще не может прийти в себя, собраться с мыслями; он напуган, ошарашен новой обстановкой, не знает, как ступить, как держаться; он видит только одно, что здесь, куда ни сунься, все деньги, что без денег пропадешь, что деньги нужно наживать во что бы то ни стало. В это-то время его и подлавливают.

Новичок сидит на нарах и со страхом и с любопытством смотрит на людей, среди которых ему суждено прожить долгие, ух какие долгие годы.

По тюрьме, с видом настоящего «дяди сарая», ходит какой-то разиня-арестант. Из кармана бушлата торчит кончик платка, на котором завязан узелок, а в узелке, видно, завязана монета.

Другой арестант, успевший уже давеча закинуть ласковое слово новичку, тихонько сзади подкрадывается к «дяде сараю», хитро подмигнув, развязывает узелок, вынимает двугривенный и завязывает копейку. Новичок, которому подмигнул ловкач, сочувственно улыбается: «Здóрово, мол».

— Эй, дядя! — окрикивает «ловкач» «дядю са-

рая». — Что у тебя фармазонская, что ли, копейка, что ты ее в узелок завязал?

— Кака-така копейка? — простодушно спрашивает «дядя сарай».

— А така, что в платке завязана. Дура, черт! Чувырло братское! Завязал копейку да и ходит.

— Будет заливать-то! Заливала-дьявол! Не копейка, а двоегривенный!

«Дядя сарай» прячет высунувшийся угол платка в карман. Кругом собирается толпа.

— «Двоегривенный»! — передразнивает его «ловкач». — Да ты видал ли когда, двоегривенные-то какие бывают: ясные-то, не липовые? Завязал копейку, ходит-задается: «Двоегривенный»!

— Ах ты, такой-сякой! — выходит из себя «дядя сарай». — Ты что ж срамишь меня перед всеми господами арестантами? Хошь парей? На десять целковых, что двоегривенный?

— На десять?!

— То-то, на десять. Прикусил язык голый!

Толпа хохочет.

— Слышь, ты, нет у меня десяти целковых. Ставь красненькую, мне потом целковый дашь! — шепчет «ловкач» новичку.

Новичок колеблется.

— Наверняка ведь! Сам видел.

— Ставь! — подуськивают в толпе.

А пока идут эти переговоры, «дядю сарая» якобы «отвлекают» разговорами, чтобы не заметил.

— Вот он за меня ставит! — объявляет «ловкач», указывая на новичка. — Выкладывай красный билет!

Оба «выкладывают» по десяти рублей.

— Давай платок! Ты и развязывай! — передают платок новичку.

Новичок развязывает узел и бледнеет: двугривенный!

— Так-то! А говоришь, дурашка, копейка! Не лезь в чужом кармане саргу считать.

— Да это мошенство! — вопит новичок, хватаясь за деньги.

Но у него вырывают десятирублевку, а если не отдает, бьют:

— Проиграл — плати. Правило.

Только тут он узнает, что и прикинувшийся «дядей сараем», и «ловкач» — все это одна шайка «жиганов» и «игроков».

«Фокус» объясняется просто: «дядя сарай» должен только успеть развязать в кармане узелок, вынуть копейку и завязать двугривенный. Перед прибытием новой партии к этой «ловкости и

проворству рук» специально готовятся.

А в другом углу камеры разыгрывается между тем другая сцена.

— Ах ты, татарва некрещеная! Бабай проклятый! — орет перед несколькими новичками арестант на простофилю, у которого он только что незаметно срезал высунувшийся из-под рубахи крест.

— Какой же я бабай, — запальчиво орет простофиля, — ежели я крещеный человек и у меня крест на шее есть?

— Нет у тебя креста на шее, у бабая!

— Как нет? Парей на пятишку.

— Ребята! — обращается арестант к новичкам. — Сложим пять целковых, утрем бабаю нос.

Все видели, как крест был срезан, а деньги в каторге ой-ой как нужны. Пять рублей немедленно составляются.

— Расстегивай ворот.

Спорщик расстегивает рубаху. На шее крест. Тут все, конечно, состоит только в том, что на человеке было два креста.

Новички ошеломлены, требуют деньги назад: «Мошенство!» — но напарываются на кулаки всей тюрьмы.

— Плати, коль проиграл! Правило!

Не будем особенно долго останавливаться перед новичком, который с изумлением повторяет, глядя в свой кошелек:

— Как же так? Было двадцать целковых, а стало десять. Значит, украли! Этак я жалиться буду!

— Попробуй! Свези тачку! Легаш поскудный!

С ним сыграли ту же шутку, какую специалисты «подкидчики»[49] устраивают часто на улицах и Одессы, и всех вообще больших городов.

Вдвоем с арестантом они нашли кошелек и только что хотели приступить к дележу добычи, как перед ними словно из-под земли вырос владелец потерянного кошелька.

— Мой!

— А твой, так возьми!

— Стой! А куда же два серебряных целковика делись? Тут два серебряных целковика были!

— Никаких мы целковиков не видали.

— Ан врешь! Это что ж? Воровство? У своих тырить начали?

— Да хоть обыщи, дьявол! Чего лаешь!

Арестант выворачивает карманы и показывает кошелек. То же по необходимости делает и новичок.

---

[49] Примечания: 49

Иначе это называется на воровском языке «работать на бугая», то есть обрабатывать человека, глупого как вол.

Владелец двух якобы пропавших рублей роется в его кошельке, двух целковиков, понятно, не находит и отдает кошелек обратно.

— Знать, другой кто взял! Не взыщите! Вижу теперь, что вы люди честные!..

И уходит искать два пропавших целковых.

Только потом новичок, заглянув в кошелек, увидит, что из него во время осмотра исчезло десять рублей.

Тут дело снова в «ловкости и проворстве» да в том, чтобы во время осмотра кто-нибудь сзади будто нечаянно толкнул новичка, заорал, вообще заставил его на секунду отвернуться.

Пойдем к группе, собравшейся около игрока. Тут идет игра в наперсток. Два наперстка, под одним есть шарик, под другим — нет. Игра идет на маленькой скамеечке, во время обеда заменяющей стол, поставленной на нарах. Игрок с такой быстротой передвигает наперстки, что нет возможности заметить, который из них тот, под которым шарик.

— Закручу! Замучу! — орет игрок. — Ставьте, что ли!

— Ишь, черт, дьявол, лешман! Ни свет ни заря, спозаранку за игру принялся! — раздается сзади игрока в толпе.

— А тебе какое дело, треклятому? — отзывается игрок.

— А такое, что непорядок! Вот какое!..

— А ты что тут за порядчик такой выискался? Тебя кто порядки уставлять звал? Ты что за шишка?

— А ты не лайся! Звездануть тебя в душу, черта…

— Молчи, пока арбуз не раскололи!

— Расколол один такой…

Вот-вот запустят руки за голенища, и пойдут в ход «жулики» — ножи. Лица озверели. Игрок забыл и об игре. Повернулся лицом к обидчику.

А в это время арестанты подглядывают, под каким наперстком хлебный шарик.

— Ставь, ставь красненькую! — шепчут они денежному новичку, около места которого и затеялась игра. — Ставь! Чего его жалеть! Всех обыгрывает! Надо и его! Ставь, наверняка ведь. Вот так, прячь деньги под карту…

— Да будет вам, дьяволы! — обращаются они к ссорящимся. — Ишь, волынку затерли, дьяволы! А тебе что! Не ндравится, проходи, а огня из человека добывать нечего. Скипидаристый, право, человек!

Вступившегося в игру протестанта уводят. Иг-

рок, ворча и доругиваясь, возвращается к игре.

— Ну что тут?

— Все сделано. Куш под картой.

Игрок берется за наперстки.

— Нет, уж это ты оставь! — протестует толпа. — Игра составлена. Как есть, так и будет! Вот на этот он поставил!

— Да вы, может, подсмотрели, дьяволы?

— Видать, что, окромя жулья, никого не видел в жисть. Станет кто подсматривать? Нет, уж правило! Игра составлена!

— Да, может, куш велик?!

— Под картой сколько есть! Нет, ты уж по правилам! А то «темную». Любишь, щучий сын, выигрывать! Умей и платить.

— Ну, ин, будь по-вашему! Ежели правило, я ни слова. Этот, что ли?

— Этот! — подтверждает новичок.

Игрок поднимает наперсток, под наперстком пусто, и тянет куш из-под карты.

Дело снова в ловкости рук, в умении быстро и незаметно, пока новичок волнуется во время спора, передвинуть наперстки один на место другого.

Тузы и «черное и красное» — это почти одно и то же. Выбирают по желанию: тузы или другие

карты.

Лежат крапом вверх три туза: два черные и один красный. Игрок их перекладывает с такой изумительной быстротой, что нет возможности уследить, куда ляжет красный.

Но во время игры его отвлекут какой-нибудь ссорой или прибегут сказать что-нибудь. Игрок отвернется, а в это время какой-нибудь арестант подсмотрит, где красный, и сделает на крапе карандашом метку.

— Ставь на этого, — шепнут новичку.

Игрок кончит ссору или разговор, возьмется снова за игру, начнет перекладывать карты с места на место.

— Готово!

Новичок ставит на меченого туза часто все, что у него есть, желая сразу вдвое разбогатеть. Ему дадут самому вскрыть туза, он вскроет: черный!

Дело в вольте, который делает во время метки игрок. Он подменяет меченого красного туза точно так же отмеченным, заранее приготовленным черным.

Так шулера обыгрывают тех, кто не прочь бы выиграть наверняка.

И вот к вечеру новички, проигравшиеся в прах, обманутые, часто избитые за нежелание платить,

ложатся на нары, думая: «Ну, народ!»

А сосед утешает:

— Зато ты теперь настоящий арестант. Форменный, как есть. Все ту же школу проходили. Порядок.

Они обобраны и тем посвящены в каторжане. Каторга не любит собственности и собственников. Их деньги пошли гулять по тюрьме: сегодня — к одному, завтра — к другому…

Некоторые из вновь посвященных с тоской и ужасом думают о предстоящих днях голодовок и всяческих лишений.

Другие чувствуют злобу в душе и засыпают с мечтою, как они и сами будут точно так же обирать новичков.

Интеллигентные люди на каторге

Приходилось ли вам когда-нибудь видеть в глаза смерть?

Тогда вы знаете, что «время» — это вздор, что понятие о «времени» — условность, что часов, минут, секунд на свете не существует.

Пока поднимется и щелкнет курок, вы успеете столько передумать, переиспытать, перечувствовать, сколько не передумали бы, не перечувствовали, не переиспытали в год.

Год каторги… Это не двенадцать месяцев, из которых каждое двадцатое приносит вам жалованье. Это не «четыре сезона», как для светских людей. Не триста шестьдесят пять дней, как для всех. Это миллионы минут, из которых многие каждая длиннее вечности.

Разве можно не презирать всех этих «Иванов», «храпов», «жиганов», «Асмодеев», «хамов», «поддувал», «крохоборов». Презирать и быть с ними запанибрата.

Потому что это «ваше общество»! Потому что рядом с ними вы спите на нарах, вместе едите, работаете и с ними делите вашу жизнь!

Да, если бы даже только «быть запанибрата».

— Нет!

Барина каторга ненавидит.

Барина каторга презирает за его слабость, непривычку к физическому труду.

— Какой он рабочий в артели? Нам за него приходится работать.

Над барином каторга измывается, потому что у него есть привычки, заставляющие его сторониться от грязи.

— Нет! Ты попал — так терпи! Нечего нежничать! Такой же теперь!

Барину каторга не доверяет.

— Продаст, чтобы в писаря выскочить!

Барин! — у каторги нет хуже, нет презрительнее клички.

И вот, когда я подумаю о положении интеллигенции в каторге, целый ряд призраков встает предо мной.

Прямо призраков!

Вот несчастный бродяга Сокольский, бывший студент, о котором я уже говорил.

Больной, эпилептик, издерганный, измученный.

— Боже! Чего-чего я не делал, чтобы избавиться от этой проклятой клички. Чтобы пасть до них. Чтобы не чувствовать, лежа на нарах, что при

тебе боятся говорить, что тебя считают за предателя, за изменника, за человека, готового на доносы. Нет! Какой-нибудь негодяй, какой-нибудь, говоря на нашем каторжном языке, «хам», готовый за пятачок продать себя, других, всё, обзывает тебя «барином». И даже он каторге ближе, чем ты! А каких-каких жертв я им не приносил. Я пью, как они. Играю в карты, как они. Меня назначили писарем, я ради них набезобразничал, чтобы меня выгнали. Чтобы доказать, что я не хочу никаких привилегий. Я принял участие в их мошенничестве, в сбыте фальшивых ассигнаций. Я помогал им скрывать эти ассигнации. Я прятал. Когда поймали, я никого не выдал. Мне грозит каторга на много-много лет. И все-таки я — отверженный среди «отверженных», я — барин!

Вот Козырев[50], несчастный юноша со взглядом утопающего человека.

Он прошел все-таки шесть классов гимназии. Сын зажиточных родителей. Его родные — богатые московские купцы.

Был вольноопределяющимся и за оскорбление караульного начальника попал в каторгу на шесть лет и восемь месяцев.

---

[50] Примечания: 50
Корсаковская кандальная тюрьма.

Теперь он сидит в кандальной за грошовый… подлог.

У него такое честное, симпатичное лицо. Я это хорошо знаю, он всегда готов поделиться последним, делился, делится с нуждающимся.

Наконец родные его не забывают. Присылают ему сравнительно помногу.

— И вдруг какой-то грошовый подлог?!

— Эх, барин! — по совести сказали мне люди, знающие дело. — Да нешто для себя он! Каторга заставила. Каторге этот подлог был нужен. Они и приказали, а он писарем был, вот и сделал. Пользуется ли он для себя! Да и к чему ему?

Его будущность тяжка и безотрадна.

Прибавки каторги не выдержит, бежит, плети, еще прибавка, без конца, испытуемость и без выхода сиденье в кандальной тюрьме.

Да что «какой-то» Козырев?

Такие ли люди гибли в каторге, тонули — «вверх только пузыри шли».

Гибли нравственно вконец, безвозвратно.

В селении Рождественском в Александровском округе учителем состоит некто В.

Человек, получивший образование в одном из привилегированных учебных заведений.

В каторге этот человек за пять рублей нанялся

взять на себя чужое убийство.

Потребовалось целое следствие, чтобы доказать, что убил не он.

Один сановник, лично знавший В. в Петербурге, приехав на Сахалин, захотел его видеть, хотел хлопотать за него в Петербурге.

— Поблагодарите, — просил передать ему В., — и попросите, пусть забудет об этом. Поздно. Там уж я не гожусь. Пусть меня забудут здесь.

У меня есть, я взял, как образчик человеческого падения, один донос. Донос ложный, гнусный, клеветнический, обвиняющий десяток ни в чем не повинных людей, своих же собратий, и заканчивающийся… просьбой дать место писаря на пять рублей в месяц.

Этот донос писан бывшим инженером, теперь занимающимся подделкой кредиток.

— Неужели же нельзя удержаться на высоте? Не падать, не ложиться самому в эту грязь?

Я задавал этот вопрос людям, на себе испытавшим каторгу.

— Неужели нельзя держаться особняком?

— На каторге невозможно. Сейчас заподозрят: «Должно быть, доносчик, не хочет с нами заодно быть, в начальство метит!» Наконец просто почувствуют себя обиженными. Изведут, отравят

каждую минуту, каждую секунду существования. Будут делать мерзости на каждом шагу — и нет ничего изобретательнее на мерзости, чем подонки каторги. Эти-то подонки вас и доймут, в угоду «сильным» каторжанам.

— Ну, заставить их относиться с уважением, с симпатией.

— Трудно. Уж очень они ненавидят и презирают «барина». У меня, впрочем, был способ! — рассказывал мне один интеллигентный человек, сосланный за убийство. — Я писал им письма, прошения, что ими очень ценится. Конечно, бесплатно. Охотно делился с ними своими знаниями. Всякое знание каторга очень ценит, хотя к людям знания относится как вообще простонародье, как ребенок, который очень любит яблоки и ругает яблоню, зачем так высоко. Мало-помалу мне начало казаться, что я заслуживаю их расположение. Но тут мне пришлось столкнуться с грамотными бродягами и «Иванами». У первых я отнимал заработки, даром составляя прошения. Вторые не переносят, чтобы кто-нибудь, кроме них, имел вес и влияние в тюрьме. Сколько усилий пришлось тратить, чтобы избегать столкновений с ними. Меня оскорбляли, вызывали на дерзость. Собирались даже бить. Обвиняли в до-

носах. Добились того, что каторга перестала мне верить: убедили их, будто я прошения нарочно составляю не так, как следует. И это дурачье им поверило! Короче вам скажу: не знаю, чем бы все это кончилось, но меня выпустили из кандальной тюрьмы.

Страшна не тяжелая работа, не плохая пища, не лишение прав, подчас призрачных, номинальных, ничего не значащих.

Страшно то, что вас, человека мыслящего, чувствующего, видящего, понимающего все это, с вашей душевной тоской, с вашим горем, кинут на одни нары с «Иванами», «глотами», «жиганами».

Страшно то отчаяние, которое охватит вас в этой атмосфере навоза и крови.

Страшны не кандалы!

Страшно это превращение человека в шулера, в доносчика, в делателя фальшивых ассигнаций.

Страшно превращение из Валентина «в подделывателя документов» за краденую вытертую шапку.

И какие характеры гибли!

Тальма на Сахалине

Это происходило в канцелярии Александровской тюрьмы. Перед вечером, на «наряде», когда каторжане являются к начальнику тюрьмы с жалобами и просьбами.

— Что тебе?

— Ваше высокоблагородие, нельзя ли, чтобы мне вместо бушлата выдали сукном.

— Как твоя фамилия?

— Тальма.

Я «воззрился» на этого большого молодого человека, с бледным, одутловатым лицом, добрыми и кроткими глазами, с небольшой бородкой, в «своем» штатском платье, с накинутым на плечи арестантским халатом.

— Нельзя. Непорядок, — сказал начальник тюрьмы.

Тальма поклонился и вышел. Я пошел за ним и долго смотрел вслед этой тогда еще живой загадке.

Он шел сгорбившись. Серый халат с бубновым тузом болтался на его большой, нескладной фигуре как на вешалке. Прошел большую улицу и свернул вправо в узенькие переулочки, в одном

из которых он снимал себе квартиру.

Во второй раз я встретился с Тальмой на пристани.

Он был без арестантского халата. В темной пиджачной паре, мягкой рубахе и черном картузе.

Мы приехали на катере с одним из офицеров парохода «Ярославль», и к офицеру сейчас же подошел Тальма.

Они были знакомы. Тальма привезен на «Ярославле».

— Я к вам с просьбой. Вот накладная. Мне прислали из Петербурга красное вино. А мне, как…

Все интеллигентные и неинтеллигентные одинаково давятся словом «каторжный» и говорят «рабочий».

— Мне, как рабочему, его взять нельзя. Будьте добры, отдайте накладную ресторатору. Пусть возьмет вино себе. Я ему дарю. Вино, должно быть, очень хорошее.

— Странная посылка! — пожал плечами офицер, когда Тальма от нас отошел.

Странная посылка человеку, сосланному в каторгу.

Потом, когда мы познакомились, Тальма однажды с радостью объявил мне:

— А я телеграмму из Петербурга получил!

— Радостное что-нибудь?

— Вот.

Я хорошо помню содержание телеграммы: «Такой-то, такой-то, такой-то, обедая в таком-то ресторане, вспоминаем о тебе и пьем твое здоровье». Подписано его братом.

Телеграмма вызвала радостную улыбку на всегда печальном лице Тальмы. Поддержала немножко его дух, что и требовалось доказать.

Разные люди, и разными способами их можно подбодрять!

Я познакомился с Тальмой в конторе Александровской больницы, где он исполнял обязанности писаря.

Я должен немножко пояснить читателю.

«Каторги» так, как ее понимает публика, для интеллигентного человека на Сахалине почти нет. Интеллигентные люди — «господа», как их с презрением и злобой зовет каторга, — не работают в рудниках, не вытаскивают бревен из тайги, не прокладывают дорог по непроходимой трясине тундры.

Сахалин, с его бесчисленными канцеляриями и управлениями, страшно нуждается в грамотных людях.

Всякий мало-мальски интеллигентный че-

ловек, прибыв на Сахалин, сейчас же получает место писаря, учителя, заведующего метеорологической станцией, статистика и что-нибудь подобное. И отбывает каторгу учительством, писарством, корректорством при сахалинской типографии.

На первый взгляд вся «каторга» для интеллигентного человека состоит в том, что его превращают в обыкновенного писаря.

Для интеллигентных людей на Сахалине есть другая каторга.

Лишая всех прав состояния, вас лишают человеческого достоинства. Только!

Всякий «начальник тюрьмы» из выгнанных фельдшеров в каждую данную минуту, по первому своему желанию, может без суда и следствия назначить до десяти плетей или тридцать розог.

По первому капризу запишет в штрафной журнал: «за непослушание» — и больше ничего.

И может назначить по первому неудовольствию на вас, по первой жалобе какого-нибудь «помощника смотрителя», ничтожества, которому даже каторга из презрения говорит «ты», по первой жалобе какого-нибудь «надзирателя» из бывших ссыльнокаторжных.

Вы можете отлично отбывать свою писарскую

каторгу, скромно, старательно, — вами будут довольны, но стоит вам встретиться на улице с каким-нибудь мелким чиновничком, которому покажется, что вы недостаточно почтительно или быстро сняли перед ним шапку, и вас посадят на месяц, на два в кандальную.

Такие жалобы господ чиновников всегда удовлетворяются.

— И жалко мне человека, а сажаю! — часто приходится вам слышать от более порядочных начальников тюрем. — Сажаю, потому что иначе скажут, что я «распускаю» каторгу!

А этого обвинения на Сахалине служащие боятся больше всего.

И вот по первому же вздорному желанию какого-нибудь мелкого служащего заковывают на месяц, на два в кандалы, сажают в общество самого отребья рода человеческого, и вы должны подчиняться этому отребью, потому что «арестантские законы», как держать и вести себя в тюрьме, издают самые отчаянные из кандальных каторжан, подонки из подонков тюрьмы. Чем ниже пал человек, тем выше он стоит в арестантской среде. И вы должны ему подчиняться.

Интеллигентные люди живут под вечным дамокловым мечом. Вот «вся» их каторга. Годами,

каждую секунду бояться и дрожать.

Оттого такие унылые и пришибленные лица вы только и встречаете у интеллигентных каторжан.

И многие из них «впадают в тоску» от такого существования, в страшную, беспросветную тоску, от этой вечной боязни исполняются презрением к самому себе, впадают в отчаяние. Начинают пить…

И если вы видите постоянно живущего в тюрьме и назначаемого на работы наравне с другими интеллигентного человека, это, значит, уж совсем погибший человек, потерявший образ и подобие человеческое.

Тюрьмой редко кто из интеллигентных людей на Сахалине начинает, но многие ею кончают.

С Тальмой по прибытии на Сахалин случилось то же, что и со всеми грамотными людьми. Он попал в писари.

В конторе больницы я с ним познакомился. Тут под начальством прекрасных и гуманных людей, тогдашних сахалинских докторов, ему жилось сравнительно сносно. И им были все довольны, как тихим, работящим и очень скромным молодым человеком.

Я имел возможность хорошо узнать Тальму.

Я бывал у него, и он заходил ко мне.

Конечно, речь очень часто заходила о деле. Но что он мог сказать нового? Он повторял только то же, что говорил и на процессе.

Письма, телеграммы «из России» поддерживали его бодрость, вызывали вспышки надежды. Но это были вспышки магния среди непроглядной тьмы, яркие и мгновенные, после которой тьма кажется еще темней.

Сам он, кажется, считал свое дело «решенным» раз и навсегда, и, когда я пробовал утешать его, что, мол, «Бог даст», он только махал рукой:

— Где уж тут!

Интересная черта, что, когда он говорил о своем деле, он не жаловался ни на страдания, ни на лишения. Не жаловался на загубленную жизнь, но всегда приходил в величайшее волнение, говоря, что его лишили чести.

Связь с прошлым, как святыня, у него хранятся те газеты, в которых несколько журналистов стояли за его невиновность. Достаточно истрепанные газеты, которые, видимо, часто перечитываются. Давая их мне на прочтение, он просил:

— Я знаю, знаю, что вы будете с ними обращаться бережно. Пожалуйста, не сердитесь на меня за эту просьбу!.. Но все-таки, чтоб что-нибудь не

затерялось…

Это все, что осталось. И как, вероятно, это перечитывалось, хоть Тальма и знает все, что там написано, наизусть. Он сразу безошибочно указывал в разговоре столбец, строку, где написана та или другая фраза.

Связь с настоящим — Тальма показывал мне письма его жены и письма некоей Битяевой, странной девушки из полуинтеллигенток. Письма, дышавшие экзальтированной любовью к семье Тальма, в которых Битяева, словно о ребенке, писала о жене Тальмы:

«Большой Саша (супруга Тальмы) ведет себя нехорошо: все скучает, тоскует и болеет. А маленький Саша совсем здоров. Большой Саша только и думает, как бы поехать к вам, и я поеду вместе с ними, я буду горничной, нянькой, всем!»

Супруга тоже все уведомляла Тальму о скором приезде.

И он часто говорил:

— Вот приедет жена, устроимся так-то и так-то…

Но в тоне, которым он это говорил, слышалось как будто, что он и сам в этот приезд не верил.

Верил, верил человек, да уж и отчаялся. А фразу

старую повторяет так, машинально, по привычке:

— Вот приедет…

На Сахалине это часто слышишь:

— Вот жена приедет…

— Вот мое дело пересмотрят…

И говорят это люди годами. Надо же хоть тень надежды в душе держать! Все легче.

Да насмотревшись на сахалинские порядки, Тальма и сам, кажется, колебался: хорошо ли или нехорошо будет, если жена и впрямь приедет. И писал ей письма, чтоб она думала о своем здоровье:

«Раз чувствуешь себя не совсем хорошо, и не думай ехать. Лучше подождать».

Впечатление, которое производил Тальма? Это впечатление тонущего человека, тонущего без крика, без стона, знающего, что помощи ему ждать неоткуда, что кричи, не кричи — все равно никто не услышит.

Такое же впечатление он производил на других.

— Не нравится мне Тальма! — говорил мне доктор, под начальством которого Тальма служил, который видел Тальму каждый день и который, слава богу, перевидал на своем веку ссыльных. —

С каждым днем он становится все апатичнее, апатичнее. В полную безнадежность впадает. Нехорошо, когда это у арестантов появляется. Того и гляди человек на себя рукой махнет. А там — уж кончено.

Маленькая, но на Сахалине значительная подробность.

Когда я в первый раз зашел к Тальме, мне бросилась в глаза лежавшая на кровати гармоника. Нехорошо это, когда у интеллигентного человека на Сахалине заводится гармоника.

Значит, уж очень тоска одолела.

Начинается обыкновенно с унылой игры на гармонике в долгие сахалинские вечера, когда за окнами стонет и воет пурга. А затем появляется на столе водка, а там…

В то время, когда я его видел, Тальма, хоть и охватывало его, видимо, отчаяние, все еще не сдавался, крепился и не пил.

Он жил не один: снимал две крошечные каморочки и одну из них отдал.

— Товарищу! — кратко пояснил он.

Я стороной узнал, что это за товарищ. Круглый бедняк, бывший офицер, сосланный за оскорбление начальника. «Схоронили — позабыли». Никто ему «из России» ничего не писал, никто

ничего не присылал. Занятий, урока какого-нибудь, частной переписки бедняга достать не мог. И предстояло ему одно из двух: или на улице помирать — на казенный «паек», который выдается каторжанам, не проживешь, — или проситься, чтоб в тюрьму посадили.

К счастью, о его положении узнал Тальма и взял его к себе, чем и спас беднягу от горькой участи.

— Хороший такой человек, скромный, симпатичный — только очень несчастный! — пояснил мне Тальма.

Он жил на полном иждивении у Тальмы.

Потому-то Тальма и просил у начальника тюрьмы дать ему вместо бушлата сукно, чтоб «товарища» одеть.

— Свой у него износился. А мне срок подходит бушлат новый получать. Выдадут готовый — с меня на товарища велик будет. Вот я и просил, сукном чтоб выдали. Дома бы на него и сшили.

Тальма заходил ко мне, но не по своему делу, а чтоб попросить за другого, за офицера, тоже сосланного за оскорбление начальника и только что прибывшего на Сахалин.

— Вы со всеми знакомы — не можете ли попросить за него, чтобы его как-нибудь получше устроили? Чрезвычайно хороший, симпатичный

человек!

Знаете, когда человек тонет, ему думать только о себе.

И, глядя на этого человека, который находит время о других подумать, когда сам тонет, я невольно думал: «Да полно, он ли это?»

Положим, я видел убийц, которые делились последним куском даже с кошками. Я видел кошек в кандальных тюрьмах. Люди, которые там сидели, уверяли, «что человек помирает, что собака — все одно»; у каждого из них на душе было по нескольку убийств, но тот из них, кто убил бы эту кошку, был бы убит товарищами. Кошку они жалели.

Но то была не любовь, а сентиментальность.

Сентиментальность — маргарин любви.

Сентиментальных людей среди убийц я встречал много, но добрых, истинно добрых, кажется, ни одного.

А впечатление, которое осталось у меня от Тальмы, — это именно то, что я видел очень доброго человека.

Картежная игра

— Да что с ним такое?

— Эх!.. Играть начал! — отвечает степенный каторжанин или поселенец.

И он говорит это «играть начал» таким безнадежным тоном, каким в простонародье говорят: «Запил!» Пропал, мол, человек.

Игра в каторге — это уж не игра — это запой — это болезнь. Игра меняет весь строй, весь быт тюрьмы, вверх ногами перевертывает все отношения. Делает их чудовищными. Благодаря игре тяжкие преступники освобождаются от наказания, к которому приговорил их суд. Благодаря игре люди меняются именами и несут наказания за преступления, которых не совершали. Вы выдумываете, совершенствуете системы наказания, мечтаете (только мечтаете) об исправлении преступников, — а там, в тюрьме, все ваши системы, планы, надежды, мечты, — все это перевертывается вверх ногами, благодаря свирепствующей в каторге эпидемии картежной игры. Именно эпидемии, потому что о картежной игре на каторге только и можно говорить как о повальной болезни. В сущности, старую формулу «пригова-

ривается к каторжным работам без срока» можно смело заменить формулой: «приговаривается к бессрочной картежной игре».

— Бардадым (король)!

— Шеперка (шестерка)!

— Солдат (валет)!

— Старик Блинов (туз)!

— Заморская фигура (двойка)!

— Братское окошко (четверка)!

— Мамка! Барыня! Шелихвостка (дама)!

— Помирил (на-пе)!

— Два с боку! Поле! Фигура! Транспорт с кушем! По кушу очко! Атанде! Нет атанде!

Только и слышится в камере в обеденный час, вечером, когда арестанты вернулись с работ, ночью, рано утром перед раскомандировкой. Игра, в сущности, продолжается непрерывно: когда не играют, говорят, думают только об игре.

У меня был один знакомый каторжанин в Александровской тюрьме, которому я давал деньги на игру. Он не давал мне покоя. Удирал от обеда, с работ, забегал с черного крыльца, караулил на улице.

— Барин, приходите! Нынче будет здоровая игра!

На работах он только и делал, что глядел на

дорогу.

— Не едет ли мой барин?

Соседи его по нарам со смехом говорили, что он и во сне только и кричит:

— Бардадым!.. Шеперка!.. Полтина мазу!..

Он играл, проигрывал, жил как в угаре, таял и горел, — этот человек с лихорадочным огнем в глазах. На что не был бы он способен, чтоб достать денег на игру.

Это болезнь. Я уже рассказывал о «жигане», умиравшем от истощения, от скоротечной чахотки в корсаковском лазарете. Он проигрывал все — дачку хлеба. Целыми месяцами сидел на одной баланде, которую и сахалинские свиньи едят неохотно, когда им дают. В лазарете начал проигрывать лекарства. Его потухшие, безжизненные глаза умирающего от истощения человека вспыхивают жизнью, огнем, блещут только тогда, когда он говорит об игре.

В одной из тюрем я по просьбе арестантов рассказывал им об игре в Монте-Карло. Старался рассказывать как можно картиннее, наблюдая, какое впечатление это производит на них.

— Ну… ну!.. — раздался хриплый голос, когда я остановился на самом интересном месте.

Этот хриплый голос человека, которого словно

душат, принадлежал арестанту, который был болен и лежал на нарах. Теперь он поднялся на локте. На него страшно было смотреть. Лицо потемнело, налилось кровью, широко раскрытые, горящие глаза.

— Ну… ну!..

Словно он сам вел игру, и вот-вот решалась его судьба. Каждый раз слова: «номер был дан» или «бито!» — вызывали то радостные, то полные досады возгласы:

— Э-эх, черт!

Они участвовали в игре всем сердцем, всей душой. Я задевал их самую чувствительную струнку. Они слышать не могут об игре. Это их болезнь.

Почему это?

Во-первых, хоть и плохие, они все-таки дети своей страны. И если вся Русь от восьми вечера до восьми утра играет в карты, а от восьми утра до восьми вечера думает о картах, — что ж удивительного, что в маленьком уголке, на Сахалине, делается то же, что и везде. Во-вторых, на игру позывает тюремная скука. В-третьих, существует какая-то таинственная связь между преступлением и страстью к картежной игре. В тюрьмах всего мира страшно развита страсть к картам. Может

быть, как нечто отвлекающее от обуревающих мыслей, арестанты любят карточную игру, и обычное времяпрепровождение приговоренного к смертной казни в парижской Grande Roquette, — это игра в карты с «mouton»'ом, — арестантом, которого осужденному дают для развлечения. Далее человеку, попавшему на Сахалин, не на что надеяться, кроме случая. «Выйдет случай — удачно сбегу». Это создало, как я уже говорил, веру в «фарт», в счастливый случай, целый культ «фарта». И картежная игра — это только жертвоприношение богу — «фарту»: где ж, как не в картах, случай играет самую большую роль. Затем арестанту заработать негде. Выиграть — единственная надежда немножко скрасить свое положение: купить сахара, поправить одежонку, нанять за себя на работы. И наконец, этой всепоглощающей игре, этому азарту, в который человек уходит с головой, отдается как пьянству, как средству забыться, уйти от тяжких дум о родине, о воле, о прошлом, — этим стараются заглушить мученья совести. По крайней мере, наиболее тяжкие преступники обыкновенно и наиболее страстные игроки.

Этим я объясняю и страсть моего «приятеля» из Александровской тюрьмы. Он пришел за убий-

ство жены, которую очень любил.

— Не любил бы, не убил бы! — сказал он мне раз таким тоном, что, если бы какой-нибудь Отелло в последнем акте таким тоном сказал об убийстве Дездемоны, у зрителей душа перевернулась бы от ужаса и жалости.

И мне всегда думалось при взгляде на него: «Вот человек, который в азарте сжигает свои воспоминания».

Много нравственных мук стараются потопить в этой карточной игре.

Как бы то ни было, она губит и каторгу и поселенье. Заразившись, каторжане так и говорят: «заразился» картами, словно о болезни; заразившись карточной игрой в тюрьме, арестант уносит ее и на поселение. Это мешает ему поправиться, стать на ноги. Он проигрывает последнее, что у него есть, крадет, убивает, продает дочерей, сожительницу, жену, если она последовала за ним в ссылку.

На Сахалине редко бывают вольные люди, но, если такой появляется, его осаждают толпы нищенствующих поселенцев.

— Третий день не емши.

Вы дали двугривенный, и он спешит в закусочную, которыми обстроена вся Базарная площадь

в Александровском. Вы думаете, купить хлеба? Нет, играть. Каждая закусочная в то же время игорный притон; в задней комнате «мечут», и умирающий от голода бедняк надеется выиграть и тогда уж «поесть как следует в свое полное удовольствие». Страсть к игре пересиливает даже чувство голода — сильнейшее из человеческих чувств.

Обычная просьба, с которой, как за милостыней, обращаются на Сахалине поселенцы:

— Барин, ваше высокоблагородие! Дайте записочку.

То есть напишите в лавку колонизационного фонда: «Отпустить для меня бутылку водки. Такой-то».

— А что, выпить хочется?

— Смерть!

Но у него даже денег нет, чтобы купить по этой записке бутылку водки. Можете быть спокойны. Он отправится и поставит «записку» на карту, потому что эти записки, как я уже упоминал, ходят между поселенцами как деньги, ценятся обыкновенно в пятьдесят копеек и принимаются как ставка на карту.

Есть даже целые селения, занимающиеся исключительно картежной игрой. Таково, на-

пример, селение Аркво, расположенное в долине реки того же имени, по дороге от поста Александровского к рудникам.

— А, господам арковским мещанам почтение! — приветствуют арковского поселенца в посту.

«Арковские мещане» земледелием занимаются так, «через пень-колоду», только «балуются по этой части»; их главный источник дохода — карты.

В дни, когда в Мгачских рудниках происходит «дачка» вольнонаемным рабочим-поселенцам, вы не найдете в Аркве ни одного взрослого поселенца. Остались дети, старики да старухи. А «арковские мещане» с женами и сожительницами, захватив самовары и карты, пошли к Мгачи.

Поставили самовары, обрядили жен и сожительниц в фартуки и новые платки и засели на дороге прельщать, угощать и обыгрывать мгачских чернорабочих, отправляющихся за покупками в пост.

Еду раз во Владимирский каторжный рудник и по дороге обгоняю толпу «арковских мещан».

Бабы разряжены, как может «разрядиться» нищая; мужики оживленно болтают, несут са-

мовары.

— Путь добрый! Куда?

— К Ямам (Владимирский рудник) подаемся.

— Что так?

— Японец (японский пароход) пришел. Грузят. Сказывают, дачка была, чтоб поскореича!

«Арковские мещане» шли отыгрывать у каторжан те жалкие гроши, которые тем выдаются с выработанного и проданного угля.

Около поста Александровского есть знаменитое в своем роде Орлово поле, может быть, так и названное от игры в орлянку. Колоссальный игорный притон под открытым небом.

Что вы поделаете с человеком, развращенным тюрьмой, «заразившимся» там страстью к картам! И как часто приходится слышать от жены, добровольно пошедшей за мужем, жены-героини, жены-мученицы, на вопрос:

— Как живете?

Безнадежное:

— Какая уж жизнь! Нешто с таким подлецом жизнь! Все дома голо, все дочиста проиграно! Дети голодом мрут, меня «на фарт» посылает. Все для игры. Подлец, одно слово. Хам!

— Зачем же за таким шла?

— Да нешто он такой был? Нешто за таким шла?

Шла за путным. Это уж он в тюрьме заразился, прах его расшиби! Было бы знато, нешто стала бы себя губить.

И это общая «песнь Сахалина».

Кто стал бы исследовать причины многочисленных преступлений на Сахалине, тот убедился бы, что среди тысяч причин, вызывающих эти преступления, чаще всего является картежная игра, эта болезнь тюрьмы, эта эпидемия каторги, ломающая всю жизнь этих несчастных людей.

Законы каторги

Как и всякое человеческое общежитие, каторга не может обойтись без своих законов.

— Удивительное дело! — заметил я как-то в беседе с одним «интеллигентным» сахалинским служащим. — Каторга так горячо восстает против смертной казни и телесных наказаний. Так возмущается. А в своем обиходе признает только две меры: телесные наказания и смертную казнь!

Собеседник даже подпрыгнул на месте. Обрадовался, словно я его рублем подарил.

— Вот-вот! Вы это напишите, непременно напишите. Пусть знают, как с ними гуманничать! Если они сами для себя ничего другого не признают…

Я невольно улыбнулся:

— Неужели вы хотите, чтоб мы были не лучше каторжников?

Бедняга посмотрел на меня изумленно, растерялся и только нашелся ответить:

— Это… это с вашей стороны игра словами… Это — парадокс!

Общество считает их своими врагами, ссылает. И они считают своими врагами все общество. A la

guerre comme a la guerre[51].

Каторге нет никакого дела до преступлений, совершаемых каторжанами против «чалдонов». Самое зверское преступление не вызовет ничьего осуждения. Раз человек убьет кого не из-за денег, каторга отнесется к этому как к «баловству».

— Ишь, черт, пришил ни за понюх табаку.

Но скажет это добродушно. Насчет убийства человека «с воли» у каторги есть даже поговорка, что чалдона убить — только «в среду, пятницу молока не есть». Законы каторги предусматривают только преступления, совершаемые каторжанами против каторжан.

Сначала рассмотрим законы, определяющие обязанности каторжан. Их немного, всего два. Если в камере, в «номере» тюрьмы кому-нибудь предстоит наказание плетьми, вся камера делает складчину «на палача», чтобы не люто драл. Кто жертвует копейку, кто две, кто три, глядя по состоянию. Но всякий, у кого есть за душой хоть грош, обязан его пожертвовать. Это закон, от которого отступлений нет.

Иначе палач, при его истинной виртуозности, может плетью и искалечить, и задрать даже

---

[51] Примечания: 51
На войне как на войне *(фр.)*.

человека насмерть. При таких смотрителях, как упоминавшийся мною Фельдман, любивших драть, тюрьма прямо разорялась на взятки палачам, а палачи благодушествовали и пьянствовали.

Вторая обязанность всякого каторжанина — помогать беглым. Тюрьма прячет беглых с опасностью для себя. При мне в бане Рыковской тюрьмы был пойман скрывшийся там бежавший из Рыковской же тюрьмы важный арестант. Тюрьма носила ему туда есть. Как бы беден и голоден ни был каторжанин, он отдаст последний кусок хлеба беглому. Это тоже закон каторги. Только этим и можно объяснить, например, такой странный факт: гроза и ужас всего Сахалина Широколобов, бежавший из Александровской тюрьмы, всю зиму прожил в Рыковской. Каторга укрывала и кормила его, рискуя своей шкурой и делясь последним.

Несоблюдение этих двух священных обязанностей каторжанина наказывается общим презрением. А общее презрение на Сахалине выражается общими побоями. Такой человек — «хам», бить его ежечасно можно и должно.

Гражданский кодекс каторги прост и краток. Каторга предоставляет своим членам заключать

между собой какие угодно договоры. И требует только одно: свято соблюдать заключенный договор. Как бы возмутителен этот договор ни был, каторге дела нет.

— Сам лез!

И так как «отцы», «майданщики» и «хозяева» — все это народ, который платит каторге, то каторга всегда на их стороне и, если должник не платит, отнимает у него последнее и еще «наливает ему, как богатому». Этим и держится кредит в их мире. Часто человек, взявший «под пашню», то есть продавший свой паек хлеба за полгода, за год вперед, с голода нарочно совершает преступление, чтобы его посадили в карцер или одиночку: там-то уж никто не отнимет у него за долг его куска хлеба! Таково происхождение многих преступлений и проступков среди каторжан, особенно проступков мелких: например, «ничем не объяснимых» дерзостей начальству. Но если вместо того, чтобы посадить в карцер, только наказывают розгами — тогда приходится совершить преступление покрупнее, чтобы попасть в «последственную» одиночку и поесть. Чтобы избавиться совсем от непосильных долгов, есть только один способ — бежать. Бега — единственное спасение, единственная возможность

«переменить участь». И каторга относится к бегам с величайшей симпатией и почтением. Раз человек бежал из тюрьмы — все обязательства и долги идут насмарку, без права возобновления! Часто человек, запутавшийся в долгах, бежит без всякой надежды выйти на волю. Проплутав недели две, полуумирающий от голода, изодранный в кровь в колючей тайге, иззябший, в рубище, он возвращается в ту же тюрьму, откуда ушел. Получает прибавление срока, «наградные» и собственным телом расплачивается за сделанные долги. Но зато все долги уж смараны, и он снова кредитоспособный человек. Вот происхождение многих сахалинских «бегов», ставящих прямо в тупик тюремную администрацию.

— Да чем же, на что надеясь, они бегают?

Уголовное законодательство каторги так же просто и кратко.

«Кража» — такого преступления каторга не знает. На языке каторги «преступлением» называется только убийство. И если, положим, человек, осужденный за вооруженную кражу, говорит вам:

— Никакого преступления я не совершал!

Это вовсе не означает «упорного запирательства». Просто вы говорите на двух разных языках:

он никого не убил, значит «преступления» не было. И вы очень часто услышите на Сахалине:

— За разбой без преступления.

— За грабеж без преступления.

— За нападение вооруженной шайкой без преступления.

Кража не считается ничем. Там, где беззакония творят все, беззаконие становится законом. В случае кражи каторга предоставляет обкраденному самому разобраться с вором или нанять людей, которые бы вора избили. Но если вор начинает уж красть у всех поголовно, тогда тюрьма учит его для острастки вся: но все подобные дела должны оканчиваться в тюрьме и самосудом. Начальства каторга не признает. И всякая жалоба по начальству — прав человек или виноват, безразлично — оканчивается для жалобщика или доносчика жесточайшим избиением всей тюрьмой. В этом ни разноречия, ни отступления не бывает. Бьют все: одни из мести, другие — по злобе, третьи — «для порядка», четвертые — от нечего делать: надо же чем-нибудь развлекаться. Некоторые «из прилики»: не будешь такого бить, скажут: «Сам, должно быть, такой же!»

Теперь мы входим в самую мрачную часть «уложения» каторги, где звучит только одно сло-

во «смерть». Эти законы охраняют безопасность бегства.

Каждый, кто, зная о готовящемся побеге, предупредит об этом начальство или, зная место, где скрывается беглец, укажет это место начальству, подлежит смерти. И пусть его для безопасности переведут в другую тюрьму, каторга и туда сумеет дать знать о совершенном преступлении, и такого человека убьют и там.

Если каторжник бежал, его поймали, привели снова в ту же тюрьму и он сказывается «бродягой непомнящим», никто из знающих его, под страхом смерти, не имеет права его «признать», то есть открыть его настоящее имя. Этому непреложному закону подчиняются не только каторжане, но и надзиратели, никогда почти не признающие «бродяг», которые у них же сидели. Этот закон имеют в виду и другие служащие, неохотно «признающие» беглого, когда его возвращают.

— Охота потом ножа в бок ждать!

В Корсаковский пост доставили с японского берега Мацмая несколько перебравшихся туда беглых. Они выдавали себя за «иностранцев» и лопотали на каком-то тарабарском наречии, сами еле сдерживались от смеха при виде приятелей-каторжан и старых знакомых надзирателей.

Но их никто «не признавал».

— Впервой видим!

Пока наконец беглецам не надоело «ломать дурака» и они сами не открыли своих имен.

Мне рассказывал один из служащих:

— Приводят к нам на пост бродягу. Смотрю: «Батюшки, да он у меня же в лакеях, будучи каторжанином, служил». Думаю: «Признавать — не признавать? Уличать — не уличать?» Попросил, чтобы меня с ним оставили наедине. Смеется: «Здравствуйте, — говорит, — ваше вышесокоблагородие. Как барынино здоровье?» — «Что ж ты, — спрашиваю, — так настоящее свое имя и не думаешь открывать?» — «Не думаю!» — «Да ведь тебя здесь половина людей знает. Призна́ют!» — «Никто не признает, не беспокойтесь!» — «Да ведь я тебя первый уличить должен. Не могу не уличить!» — «Что ж, — говорит, — уличайте, коли охота есть!» А сам на меня в упор смотрит. Бился я с ним, бился часа два, пока доказал, что ему инкогнито своего не скрыть и самому признаться выгоднее — наказание меньше. Насилу уломал: «Ладно, — говорит, — созна́юсь!»

Помню испуганное лицо моего ямщика, который часто меня возил и был ко мне расположен, когда я сказал ему:

— А я Широколобова видел!

Даже вздрогнул, бедняга, испугался за меня:

— Бога ради, барин, никому об этом не говорите! Беда будет!

Но я успокоил его, что пошутил.

Вот это-то обязательное всеобщее молчание относительно беглого и придает надежды сахалинским беглецам. Немногие бегут в надежде вернуться в Россию, но всякий надеется «переменить участь», при бегстве сказаться «бродягой» и вместо десяти–, двадцатилетней каторги отбыть полуторагодовую.

Убийство каторжанином каторжника каторга не всегда наказывает смертью. Но убийство каторжанином товарища — всегда и обязательно. Товарищ — не всякий. И часто каторжанин, совершивший убийство в тюрьме, на ваш вопрос: «Как же так, товарища?» — с недоумением ответит вам:

— Какой же он мне был товарищ?

И даже смертельно обидится:

— Нешто я могу товарища убить.

Вы говорите на разных языках.

«Товарищ» — на каторге великое слово. В слове «товарищ» заключается договор на жизнь и смерть. Товарища берут для совершения пре-

ступления, для бегов. Берут не зря, а хорошенько узнав, изучив, с большой осторожностью. Товарищ становится как бы родным, самым близким и дорогим существом в мире. И я знаю массу случаев, когда товарищ к товарищу, заболевшему, раненному во время бегов, относился с трогательной нежностью. К товарищу относятся с почтением и любовью и даже письма пишут не иначе как: «Любезнейший наш товарищ», «Премногоуважаемый наш товарищ». Почтением и истинно братской любовью проникнуты все отношения к товарищу.

Убить товарища в тюрьме — одно из величайших преступлений. Убить его с целью грабежа во время бегов — величайшее, какое только знает каторга.

Во всех сахалинских тюрьмах, в подследственных одиночках вы найдете несчастнейших людей в мире, ждущих как казни своего освобождения из одиночки. Полупомешанных от ужаса, дошедших до мании преследования. Все это лица, заподозренные каторгой в доносе о предстоящем побеге, в указании места, где скрывается беглый, в уличении бродяги, в убийстве товарища во время бегов. И они имеют все основания сходить с ума. Каторга говорит:

— Не уйдут от нас! Пришьем.

Из того, что такие несчастные водятся во всех тюрьмах, вы видите, что даже закон товарищества в развращенной сахалинской каторге находит много нарушителей.

Таковы гражданский и уголовный кодексы каторги. Мне остается только сказать о постановке следственной части у каторжан. Каторга еще не пережила эпохи пыток. Производить обыск, сыск и розыск на каторжном языке называется «шмонать», и на обыкновенный язык это слово следует перевести словом: пытать. Творя самосуд, каторга добивается истины жестокими истязаниями.

Капитан Моровицкий рассказывал мне, как в бытность его смотрителем Дуйской тюрьмы каторга производила там розыск убийц. Двоих заподозренных каторжане подбрасывали вверх и разом расступались. Несчастные грохались об пол. И это продолжалось до тех пор, пока несчастные, избитые в кровь и искалеченные, не сознались.

— Да это по-нашему называется просто «шмонать»! — подтвердил мне потом и один из каторжан Иванов, производивший это следствие.

Язык каторги

У каторги есть много вещей, которых посторонним лицам знать не следует. Это и заставило ее для домашнего обихода создать свой особый язык. Наречие интересное, оригинальное, создавшееся целыми поколениями каторжан, в нем часто отражаются и миросозерцание, и история каторги. От этого оригинального наречия веет то метким добродушным русским юмором, то цинизмом, отдает то слезами, то кровью.

Убить — на языке каторги называется *пришить*.

— Я его ударил — он и лег к земле как пришитый.

Вот не лишенное висельного юмора происхождение слова «пришить»:

— «Пришить» просто означает убить, но «пришить бороду» означает только обмануть.

— Пришил ему бороду, и бери, что знаешь! — говорят каторжане.

Происхождение этого выражения кроется, быть может, в легенде о похождениях одного славившегося сибирского бродяги, предания о котором и до сих пор живут в памяти каторги.

Он грабил специально богатых одиноких стариков — «столоверов» (староверов), спасающихся в сибирской тайге. И ходил, по словам легенды, на грабеж с одной нагайкой. Он никогда не связывал своей жертвы, а хорошенько напугав, припечатывал старику бороду сургучом к столу. И затем хозяйничал в избе как хотел. Если же старик не указывал денег, бродяга бил его нагайкой. От сильных ударов старик поневоле рвался и тогда испытывал двойные страдания: и от нагайки, и нестерпимую боль от припечатанной бороды. Взяв все, что нужно, бродяга так и оставлял несчастного припечатанным: «Сиди, мол, повестки не подашь» (знать не дашь). Судя по тому, что мне приходилось слышать вместо «пришить бороду» также выражение «припечатать бороду» — этому объяснению оригинального выражения можно поверить.

У каторги есть два специальных термина для обозначения того, как «пришивают» людей. Разбить человеку голову на каторге называется *расколоть арбуз* (!), а ударить человека ножом в грудь называют *ударить в душу*. Грудь на каторжном языке называется душой, и корсаковский палач Медведев, рассказывая мне, как он вешал, говорил:

— Как закрутились они на веревке, подступило мне что-то в душу.

И указал при этом куда-то на селезенку…

«Умереть» разно называется на Сахалине. В посту Корсаковском кладбище помещается около маяка, а потому там умереть — это значит *отправиться к маяку*.

— А где больной такой-то?

— К маяку пошел, ваше высокоблагородие! — отвечают вам в лазарете.

— К маяку бы поскорей! — стонут больные.

В Александровском посту кладбище помещается на пригорке, который занял когда-то ссыльнопоселенец Рачков для выпаса скота. А потому умереть в Александровском посту — это значит *отправиться на Рачкову заимку*.

Так как Александровский пост — это главный пункт острова и всякий каторжанин обязательно пройдет через него, то и Рачкова заимка получила всеобщую известность и выражение «отправиться на Рачкову заимку» повсеместно значит «умереть».

И угроза «отправить на Рачкову» равносильна угрозе «пришить».

Из преступлений, кроме убийства, на Сахалине очень распространено делание фальшивой моне-

ты. Особенно теперь в ходу подделка серебряных рублей. Японский пароход «Яеяма-Мару», пришедший за углем для Владивостока, простоял около сахалинского Владимирского рудника около недели. Японцы, по обыкновению привезшие для каторжан саки (японская водка) и разные припасы, чтобы мошеннически продать их втридорога, уехали с Сахалина с карманами, полными… фальшивых рублей. Каторга перемошенничала! Эти фальшивые монеты на Сахалине фабрикуются повсеместно и затем сбываются в Уссурийский край, где и спускаются неопытным инородцам. Это часто на Сахалине. Спрашиваю про Золотую Ручку, только что при мне вернувшуюся с материка.

— Да зачем ей понадобилось ездить на материк?

— Зачем! Деньги фальшивые, небось, возила. У нее дело известное.

«Деньги» на языке каторги называются *сарга*. Но сарга бывает настоящая и *липовая*. «Липовым» каторга называет все фальшивое: деньги, паспорта, имя. Делать «липовую саргу», заниматься деланием фальшивой монеты, каторга не без юмора называет также *печь блины*. И мне передавали — может быть, анекдот, но клялись

и божились, что факт, — курьезный случай. Одно из начальствующих лиц заинтересовалось: а чем занимается теперь лично известный ему почему-то поселенец такой-то?

— Блины печет! — отвечали каторжане, любившие поглумиться над начальством.

Начальство поняло, что он печет блины для продажи, «как делается в городах», и заметило:

— А-а, отлично, отлично! Я очень рад за него, пусть старается! Это мне очень приятно.

Третьим распространенным на Сахалине преступлением является, конечно, кража. Украсть на каторжном языке называется *стырить*. Подучить украсть, сказать, как легче это сделать, указать, где лежат деньги, называется *натырить*. Передать краденое в другие руки, чтобы скрыть концы в воду, называется *перетырить*. И при дележе обмануть сообщника, утаить в свою пользу часть похищенного именуется *оттырить*. Ни одна мало-мальски крупная кража ни на Сахалине, ни у нас, в городах, не обходится без «натырщиков» и «перетырщиков», причем сам «стырщик» получает обыкновенно сущие пустяки, потому что львиную долю «оттыривают» «натырщики» и «перетырщики» — подводчики и сбытчики заведомо краденого. Вор на Сахалине, как и везде,

это только батрак, всю жизнь работающий на других.

Нищенство, как профессия, мало дает на голодном Сахалине. Просить милостыню на языке каторги называется *стрелять*. И это громкое слово, имеющее такое мирное значение, приведшее в первый раз и меня в смущение, сыграло большую роль в жизни каторжанина Мариана Пищатовского. Геркулес, добродушнейшее в мире существо, страшный только во время эпилептических припадков, — он подошел к начальнику, посетившему тюрьму, с самой добродушной фразой:

— А я вас подстрелить хочу…

— Убрать! В кандалы! — крикнул натурально отшатнувшийся в сторону начальник.

И Пищатовский несколько месяцев отсидел в кандалах, решительно не понимая за что. Полжизни прожившему в каторге, ему и невдомек, что ведь не весь же мир говорит на каторжном языке! С тех пор каждый раз, как перепуганный начальник посещал тюрьму, Пищатовского уводили и заковывали. Жалуясь мне на свои заключения, добряк особенно жаловался на это:

— В жизнь свою мухи не убил (он из дисциплинарных), а что терплю. Как самый отъявленный.

И за что? За то, что на чаек, на сахарок подстрелить хотел. Обрадовался: вот, думаю, доброе начальство — гривенничек даст. Вот те и обрадовался!

Для слова «просить», «идти по миру» у каторги есть и другое выражение, историческое, пришедшее из Сибири, — *стрелять саватейки*. Саватейками в Сибири называются очень вкусные сдобные лепешки, которые пекутся на сметане. Зажиточный сибирский крестьянин считает долгом совести, делом, хорошим «для души», подать бродяге — варнаку — саватейку. Отсюда «стрелять саватейки» значит на каторжном языке также и идти бродяжить. Но — увы! — в сахалинской каторге это выражение стало уже совсем историческим. На голодном Сахалине не то что саватеек, хлеба-то нет. Сахалинский поселенец не сибирский крестьянин: у голодного не поешь. В Сибири крестьянин кормит бродягу, и за то бродяга ни за что ничего у крестьянина не тронет. А голодный сахалинский бродяга режет у поселенца на корм и корову, и последнюю лошадь. За то и поселенцы охотятся за бродягами, ловят, а то и убивают.

— Здесь Сакалин, батюшка, всякому до себя! — говорят на этом острове, где человек человеку

поневоле волк.

Перейдем теперь к выражениям, означающим наказание. Во всех них звучит ирония. Эта ирония напоминает мне ту улыбку, кривую, довольно «плохую», похожую, скорее, на гримасу, с которой человек идет ложиться на «кобылу».

— Стало быть, так порядок того требует.

Каторга не любит слова «вешать». Она называет это *заслужить веревку*. Это какая-то инстинктивная боязнь страшного слова доходит до того, что даже палач, рассказывая вам, как он повесил тринадцать человек, ухитряется как-то избежать неприятного слова, а если и произносит его, то словно давится и как будто конфузится. Точно так же каторга не любит слова «розги» и предпочитает ироническое название *лозы*. Плети каторга зовет *мантами* — слово, которое произносится всегда иронически. А вообще получить плети называется *получить наградные*. Причем получить их в высшем, определенном законом размере называется заслужить *полняк*. Для слова «карцер» у каторги есть два выражения — *пчельник* или *сушилка,* причем употребительнее последнее: оно ироничнее.

— А где такой-то? Что я его третий день не вижу?

— Сушится!

Значит, сидит в темном карцере.

Чтобы увернуться от всех этих прелестей, начиная с мантов, продолжая лозами и кончая сушилкой, каторжанину нужно быть или уж особенно фартовым, или уметь *фельдить*.

Этот совершил двадцать преступлений и попался только на двадцать первом, а тот и на первом «вляпался», да так, что пришел на двадцать лет. За тем числится десятка полтора человеческих жизней, а он пришел, как бродяга, на полтора года «за скрытие родословия»: отбудет и опять уйдет, а другой — каторга это знает — ни за что сидит и будет сидеть весь долгий срок. Тот на глазах у всех ушел и пробрался в Россию, а другой и версты от тюрьмы не отошел: поймали, дали «наградные» и посадили «с продолжением срока». Всё заставляет каторгу верить в слепой случай. Только случай — и ничего больше. Даже суд, по ее характерному взгляду, «это карты». Вера в случай — вот истинная религия каторги, в судьбу, в фортуну. От слова «фортуна» и происходит слово *фарт*. Собственно, оно означает «счастье», но, боже, что подчас на Сахалине называется «счастьем»! Соответственно этому и слова «фарт», «фартовый» имеют много значений.

— Он человек фартовый! — говорят про человека, когда хотят сказать, что это человек добрый, широкая натура, — человек, готовый помочь ближнему безо всякой даже выгоды для себя.

— Он *фартовец*! Он человек фартовый! — говорят с завистью и про человека, которому сходят с рук всякие гадости.

А когда поселенец говорит про сожительницу или каторжанин про жену, добровольно за ним последовавшую: «она пошла на фарт», — мне не нужно объяснять вам значения этого выражения.

Слово *фельдить* означает «обманывать». Но в то время как каторжанину «пришивают бороду» — начальство только *берут на фельду. Фельда* означает обман, хитрость, лукавство именно перед начальством. Говорят, что слово «фельда» специально сахалинское и появилось на свет в то время, когда смотрителем Воеводской тюрьмы был некто Фельдман, о котором я уже упоминал. Тогда только хитрость, только лукавство могло спасти каторжанина от мант и лоз: Фельдман не признавал непоротых арестантов. Арестанты и фельдили перед Фельдманом, как Фельдман, кормивший тюрьму сырым хлебом и экономивший на «припеке», фельдил перед начальством. Исто-

рическое объяснение, не лишенное интереса.

Низкопоклонство и наушничество — два самых испытанных приема «фельды». Для них у каторги есть два выражения: *бить хвостом* и *ударить плесом*. В сущности, «он бьет хвостом» или «он ударяет плесом» значит, что арестант ловко уклоняется от наиболее трудных работ. Но так как для этого есть на каторге только два средства: подольщаться и наушничать, то каторга и говорит про людей, лебезящих перед начальством:

— Ишь, словно рыба на песке: так и бьет плесом — не трожь, мол.

Выражение «бить хвостом» показывает вам, как каторга смотрит на доносчика. Она зовет его *лягашем* или *сучкой*. Он перед начальством «бьет хвостом». Она и обращается с ним как с собакой. Накляузничать на каторжном языке называется *лягнуть* или *свезти тачку*. А обвинить перед начальством человека так, чтоб он уж и не выкарабкался, называется — его совсем уж *засыпать*.

За это каторга знает одно наказание, которое она с каторжным юмором называет: *налить как богатому*, то есть сильно избить, бить, «пока влезет», и, чтоб человек не видел, кто его бьет, *накрыть темную*, то есть закутать ему голову халатом.

— Двойная польза, — объясняют каторжане, — и головы во зле не прошибут — жив останется, и уж «нальют как богатому» — орать не будет.

Как и все измученные, исстрадавшиеся, озлобленные, с издерганными нервами люди, каторжане любят злить и мучить других. Беда, если каторга, умеющая тонко подмечать у людей слабости, заметит, что человек *скипидарный,* то есть его можно легко рассердить. Тогда *заскипидарить* такого человека, из него *огня добыть* — первое удовольствие для каторги. Есть изумительные мастера по этой части. И я только диву давался, как они тонко знают свое начальство. Если бы начальство хоть в сотую часть так знало их! Скажет слово, кажется, самое невинное, а глядишь, господин смотритель уже «заскипидарился».

— Я только чтобы по закону…

Господин смотритель краснеет:

— А вот я тебе покажу закон! Лишенный всех прав, а туда же рассуждать лезет и учить. Законник он! Ты бы, мерзавец, лучше об законе думал, когда грабить шел.

— Да мне что ж! Я только чтобы как по инструкциям…

Смотритель даже подпрыгивает на месте. Если бы тут не было «писателя».

— Я тебе выпишу инструкции! Ты учить, учить меня?!

— Зачем учить! Мне только чтобы, что по табели полагается, выдавали.

— По табели? По табели?!

Смотритель весь побагровел.

— Да вы успокойтесь, — говорю я ему, — ну, чего вам волноваться! Стоит ли?

— Нет, какова каналья! Как сыплет: по закону, по инструкции, по табели!..

А каторга, глядя на эту сцену, — вижу — давится со смеху. Смотрителя в *пузырек загнали* — на языке каторги так называется довести человека до неистовства, когда он уже «землю роет».

— Ну зачем ты? — спрашиваю потом каторжанина.

— А он этих самых слов очинно не любит. Ему что хошь говори — ничего. А вот «табели» он особенно не уважает!

— Да ведь выпороть за это может.

— И очень просто!

— Ну зачем же ты, чудак-человек?

— Эх, ваше высокоблагородие, не понять вам нас. Посидели бы, как мы, не стали бы спрашивать «зачем?». Зло возьмет. Сорвать хочется.

«Заскипидарить», «огня добыть», «в пузырек

загнать» — все это выражения применительно к начальству. Это каторга уважает. Задеть, оскорбить ни за что ни про что своего брата — это каторга презирает и называет *укусить*. Она смотрит на человека, делающего это, как на шальную собаку, которая кусает людей ни за что ни про что. Она презирает это и вечно этим занимается.

— Особачишься тут! — говорят каторжане.

Когда, повторяю, у человека издерганы нервы, ему доставляет удовольствие дернуть за нервы другого. Я мучаюсь — и другой пусть чувствует. Страдание — плохой отец сострадания.

От скуки, безделья и оттого, что там большинство ведь испорченных людей, на каторге страшно развита ложь. Каторга зовет таких людей *заливалами, звонарями* и *хлопушами*. Но так как этот недостаток общий, то относится к этому добродушно. И для определения лжеца у нее есть два названия, в которых больше юмора, чем злости.

– *Прямой, как дуга,* — говорит она про такого человека или определяет его рассказы так:

— Ишь, расписывает. *Семь верст до небес, и все лесом!*

Я уж говорил, что каторга презрительно относится к тем из своих собратий, которые вылезли в

«начальство»: в старосты и т. п. Такого человека она зовет *шишкой*. А для надзирателей, действительно умеющих, если они захотят, появиться совершенно незаметно и накрыть арестантов за игрой или другим недозволенным занятием, у каторги есть остроумное название — *дух*.

Я не привожу целой массы менее типичных каторжных терминов. Но у каторги на все есть свои имена. Каторга скрытна и не любит, чтобы посторонние понимали даже ее обычные разговоры.

Она как будто требует, чтобы человек, невольно вступая в ее среду, отрекся от всего прежнего — даже от языка, которым он говорил «там», на воле.

Похлебка — по-каторжному *баланда.*

Казенный хлеб — *чурек*.

Ложка — *конь.*

Водка — *сумасшедшая вода.*

Шуба — *баран.*

Нож — *жулик.*

И т. д.

Очень метко каторга зовет паспорт — *глаза*.

— Без «глаз» человек слепой, куда пойдет!

Чтоб покончить с языком каторги, мне остается только сказать о ругательствах каторги.

Все ругательные слова русского слова на катор-

ге только обычная приправа к разговору. Но есть одно слово, за которое режут.

Это грубое, простонародное слово, в переводе на более благовоспитанный язык означающее «кокотку».

Это объясняется особыми условиями каторги. Но указать на то, что человек занимается этой профессией, назвать его этим именем, — за это хватаются за ножи.

В Михайловской «подследственной» тюрьме один арестант, красивый молодой кавказец, зарезал своего товарища.

— За что?

— Он мне одно слово говорил!

И не надо спрашивать, какое «слово» тот ему говорил.

Песни каторги

Замечательно — даже страшная сибирская каторга былых времен, мрачная, жестокая, создала свои песни. А Сахалин — ничего. Пресловутое:

Прощай, Одеста,
Славный (?) карантин,
Меня посылают
На остров Сахалин…

кажется — единственная песня, созданная сахалинской каторгой. Да и та почти совсем не поется. Даже в сибирской каторге был какой-то оттенок романтизма, что-то такое, что можно было выразить в песне. А здесь и этого нет. Такая ужасная проза кругом, что ее в песне не выразишь. Даже ямщики, эти исконные песенники и балагуры, и те молча, без гиканья, без прибауток правят несущейся тройкой маленьких, но быстрых сахалинских лошадей. Словно на козлах погребальных дрог сидит. Разве пристяжная забалует, так прикрикнет:

— Н-но, ты, каторжная!

И снова молчит всю дорогу как убитый. Не

поется здесь.

— В сердце скука! — говорят каторжане и поселенцы.

«Не поется» на Сахалине даже и вольному человеку. Помню: в праздничный какой-то день из ворот казарм выходит солдат — конвойный. Урезал, видно, для праздника. В руках гармония, и поет во все горло. Но что это за песня? Крик, вопль, стон какой-то. Словно вопит человек «от зубной боли в душе». Не видя, что человек «веселится», подумать можно, что режут кого. Да и не запоешь, когда перед глазами тюрьма, а около нее уныло, словно тень, в ожидании «заработка» бродит старый палач Комлев.

В тюрьме поют редко. Не по заказу. Слышал я раз пение в Рыковской кандальной.

Дело было под вечер. Поверка кончилась, арестантов заперли по камерам. Начальство разошлось. Тюремный двор опустел. Надзиратели прикурнули по своим уголкам. Сгущались вечерние тени. Вот-вот наступит полная тьма. Иду тюремным двором, остановился как вкопанный. Что это, стон? Нет, поют.

Кандальники от скуки пели песню сибирских бродяг «Милосердные»... Но что это было за пение! Словно отпевают кого, словно похоронное

пение несется из кандальной тюрьмы. Словно отходную какую-то пела эта тюрьма, смотревшая в сумрак своими решетчатыми окнами, отходную заживо похороненным в ней людям. Становилось жутко…

«Славится» между арестантами как песенник старый бродяга Шушаков, в селении Дербинском, — и я отыскал его, думая «позаимствоваться». Но Шушаков не поет острожных песен, отзываясь о них с омерзением:

— Этой пакостью и рот поганить не стану. А вот что знаю — спою.

Он поет тенорком, немного старческим, но еще звонким. Поет «пригорюнившись», подпершись рукою. Поет песни своей далекой родины, вспоминая, быть может, дом, близких, детей. Он уходил с Сахалина «бродяжить», добрался до дому, шел Христовым именем два года. Лето целое прожил дома, с детьми, а потом «поймался» и вот уж шестнадцать лет живет в каторге. Он поет эти грустные, протяжные, тоскливые песни родной деревни. И плакать хочется, слушая его песни. Сердце сжимается.

— Будет, старик!

Он машет рукой:

— Эх, барин! Запоешь — и раздумаешься.

Это не человек, это «горе поет!».

Но у каторги есть все-таки свои любимые песни. Все шире и шире развивающаяся грамотность в народе сказывается и здесь, на Сахалине. Словно слышишь всплеск какого-то все шире и шире разливающегося моря. В каторге очень распространены «книжные» песни. Каторге больше всех по душе наш истинно народный поэт — чаще других вы услышите: «То не ветер ветку клонит», «Долю бедняка», «Ветку бедную» — все стихотворения Кольцова.

А раз еду верхом, в сторонке от дороги мотыгой поднимает новь поселенец, пóтом обливается и поет: «Укажи мне такую обитель» из некрасовского «Парадного подъезда». Поет, как и обыкновенно поют это, мотив из «Лукреции Борджиа».

— Стой. Ты за что?

— По подозрению в грабеже с убивством, ваше высокоблагородие.

— Что ж эту песню поешь? Нравится она тебе, что ли?

— Ничаво. Промзительно.

— А выучился-то ей где?

— В тюрьме сидемши. Научили.

Приходилось мне раза три слышать: «Хорошо

было Ванюшке сыпать» — переделку некрасовских «Коробейников».

— Ты что же, прочитал ее где, что ли? — спросил я певшего мне сапожника Алфимова.

— Никак нет-с. В тюрьме обучился.

Из чисто народных песен каторга редко-редко поет «Среди долины ровныя», предпочитая этой песне ее каторжное переложение: «Среди Данилы бревна»...

Бессмысленную и циничную песню, которую, впрочем, как и все, тюрьма поет тоже редко. Любят больше других еще и малороссийскую:

Солнце низенько,

Вечер близенько.

И любят за ее разудалый припев, который поется лихо, с присвистом, гиканьем, постукиванием в ложки «дисциплинарных» из бывших полковых песенников, с ругательными вскрикиваниями слушателей.

Почти всякий каторжанин знает, и чаще прочих поется очень милая песня:

Вечерком красна девица

На прудок за стадом шла.

Черноброва, круглолица

Так гусей домой гнала:

Припев.

Тяга, тяга, тяга, —
Вы, гуськи мои, домой!

Мне одной любви довольно,
Чтобы век счастливой быть,
Но сердечку очень больно
Поневоле в свете жить.

Припев.

Не ищи меня, богатый,
Коль не мил моей душе!
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше…

Или последний куплет варьируется так:

Вместо старого, седого,
Буду милого любить.
Ведь сердечку очень больно
Через злато слезы лить!..

Песня тоже нравится из-за припева. И помню одного паренька — он попался за какой-то глу-

пый грабеж, — как он пел это «тяга, тяга, тяга, тяга!». Всем существом своим пел. Раскраснелся весь, глаза горят, на лице «полное удовольствие»: словно и впрямь видит знакомую, родную картину.

Очень принято, и тоже чаще других поется сентиментальная песня:

Звездочка моя ночная,
Зачем до полночи горишь?
Король, король, о чем вздыхаешь,
Со страхом речи говоришь?
«Красавица моя драгая,
Да полюби-ка ты меня;
Со сбруей, сбруей золотой
Дарю тебе коня».
– Не надо мне твоей златницы,
Не нужен мне твой добрый конь.
Отдай, отдай коня царице,
Жене прелестной дорогой.
А мне, мне, красной ты девице,
Верни души моей покой…
Король, с женою расставаясь,
Детей к благословенью звал:

«Прощай, жена, прощайте, дети! —
Едва от слез он им сказал. —
Живите в дружеском совете,
Как Сам Господь вам указал,
Не мстите злом за зло в ответе,
Платите добротой!» – сказал…

Эта сентиментальная песня про короля, кинувшего свое королевство из-за любимой девушки, поется с большим чувством.

Но все эти песни поются только молодой каторгой и вызывают негодование стариков:

— Ишь, черти! Чему обрадовались!

Особенно, помнится, разбесила одного старика песня про девицу, которая «гусей домой гнала». Припев «тяга, тяга» приводил его прямо в остервенение.

— Начальству жалиться буду! Покоя не даете, черти! — орал он. А это угроза на каторге не обычная.

— Да почему ж тебе, дедушка, так эта песня досадила? — спрашиваю.

— А то, что не к чему ее играть.

И, помолчав, добавил:

— Бередит. Тьфу!

Бог весть, какие воспоминания бередили в

душе старого бродяги эти знакомые слова: «тяга, тяга»[52].

Из специально тюремных песен из Сибири на Сахалин пришли немногие. Если в тюрьме есть пять-шесть старых «еще сибирских» бродяг, они под вечерок сойдутся, поговорят о «привольном сибирском житье»: «Сибирь-матушка благая, земля там злая, а народ бешеный!»

И затянут под наплывом нахлынувших воспоминаний любимую бродяжескую: «Милосердные наши батюшки» — я приводил эту песню в статье «Каторжный театр». Поют, и вспоминается им свобода, беспредельная тайга, саватейки, бешеный, но добрый сибирский народ. А сахалинская каторга, не знающая ни Сибири, ни ее отношений к каторге, смеется над ними, над их воспоминаниями, над их песней.

— Нешто это возможно, чтоб «чалдон» (по-нашему обыватель) был к варнаку добрый! Ни в жисть не поверю! — говорил мне один — да и не один — «сахалинец».

Есть еще излюбленная «сибирская» песня, которую время от времени затягивает каторга:

Вслед за буйными ветрами

---

[52] Примечания: 52
Так в деревне сзывают гусей.

Бог защитник – мой покров,

В тундрах нет зеленой тени, Нет ни солнца, ни зари,

Вдруг являются, как тени,

По утесам дикари.

От Ангары к устью моря

Вижу дикие скалы, —

Вдруг являются, как тени,

По утесам дикари.

Дикари, скорей толпою

С гор несится ко мне, —

Помиритеся со мною:

Я – ваш брат, – боюсь людей…

Когда эту песню, рожденную в Якутской области, поет каторга, от песни веет какою-то мрачною, могучею силой. Сколько раз я жалел, что не могу записать мотивов этих песен!

Интересно было бы записать напев и этой, когда-то любимой, а теперь умирающей каторжной песни:

Идет он усталый, и цепи гремят,

Закованы руки и ноги.

Покойный и грустный он взгляд устре-

мил

По долгой, пустынной дороге…

Полдневное солнце бесщадно палит,

Дышать ему трудно от боли,

И каплет по капле горячая кровь

Из ран, растравленных цепями…

Эта песня — отголосок теперь упраздняемых «этапов».

И пела мне каторга свою страшную песнь, которую я назвал бы «гимном каторги». Что за заунывный, как стон осеннего ветра, мотив. Всю душу истомившуюся вложила каторга в этот напев. И когда вы слышите эту песню, вы слышите душу каторги.

Посреди палат каменных, ты подай, подай!

Ты подай весточку в Москву каменную,

В Москву каменну, белокаменну…

Ты воспой, воспой, жавороночек,

Ты воспой, воспой! Ты воспой, воспой

Про ту горькую да неволюшку.

Кабы весть подать да отцу рассказать

Про то, что со мною случилося

На чужой на той сторонушке…
Я не вор ведь был, не убивец,
Но послали меня, добра молодца,
Попроведать каторги, распроклятой долюшки.
На чужой на той сторонушке
Больно тяжко ведь жить!
Эх, невеста моя!.. А ты, матушка!
Позабыла меня, словно сгинул я.
Но ведь будет пора, и вернусь снова я,
За все беды и зло уж я вам отплачу, —
Будет время, вернусь…
Ты о том подай, жавороночек,
Подай весточку, – ты подай, подай!..

Мне пели ее в тюрьме под вечер, после поверки. Пели все. Здоровый парень, сидя на нарах и глядя куда-то вверх, покрывал хор своим заливным тенором и уныло выводил про жавороночка, пел про обиду и месть, словно мечтал вслух. А из темных углов неслось это надрывающее душу:

— Ты подай, подай…

Унылое, безнадежное. Горло себе перерезать можно, слушая такое пение.

Но все эти песни, в Сибири рожденные, на Сахалин привезенные, как я уже говорил, не любит каторга. Они «бередят». И если уж петь, она предпочитает другие — «веселые». Их нельзя передать в печати. И что это за песни! Это даже не цинизм… Это совсем уж черт знает что: бессмысленнейший набор слов, из сочетания которых выходит что-то похожее на неприличные слова.

Вот вам что поет каторга. Говорят, что песня — это «душа народа». И каторга поет песни, от которых то веет сентиментальностью, этим «суррогатом чувства», который часто заменяет у людей настоящее чувство, то вечно ноющей раной — тоскою по родине, то злобой, то пережитыми страданиями, то напускным «куражом», то цинизмом и каторжной «оголтелостью».

А чаще всего каторга молчит.

Каторга и религия

На Сахалине одиннадцать церквей, но религиозна ли каторга?

Мне вспоминается такая картина.

Светлый праздник. Ясная, холодная, чуть-чуть морозная ночь. Владивосток то там, то здесь словно вспыхнул — иллюминованы церкви. Налево от нас огнями сияет «Петербург». Несколько подальше гигант «Екатеринослав» кажется каким-то призрачным кораблем, сотканным из света.

«Христос воскресе!» — несется над тихим рейдом. Небо так бездонно. Звезды так ярко горят.

На нашем «Ярославле» радостное оживление. Из кают-компании доносится стук посуды — приготовляют разговляться. По палубе мигают свечки конвойных и команды. Мы целуемся друг с другом особенно сердечно. Словно действительно стали друг к другу ближе, роднее. Как-то особенно чувствуется в эту ночь, вдали от дома, от близких…

И только там, в трюме, тихо как в могиле. Среди радостного ропота «Воистину воскресе» батюшка идет кропить святой водой палубу. Мы прохо-

дим мимо «особых мест», выходящих на палубу. Я заглядываю в иллюминатор. Там несколько человек. Хотя бы кто встал, пошевелился при пении проходящих мимо певчих, когда в иллюминатор виден священник с крестом.

Мне особенно запомнилось лицо одного старосты отделения, «обратника». Я словно сейчас вижу перед собой это лицо. Он смотрит на проходящую мимо процессию и — ничего, кроме спокойного равнодушия.

— Ишь, мол, сколько их!

Он даже не перекрестился, когда, проходя мимо, ему чуть не в лицо запели «Христос воскресе».

Так встретить Пасху — сердце невольно сжимается.

— Будет батюшка обходить арестантские отделения? — спрашиваю я у старшего офицера.

Через полчаса он подходит ко мне. У него какой-то смущенный вид:

— Знаете, я думал просить батюшку обойти отделения… Пошел, а они все спят.

Спать тихо и мирно в такую ночь. И это после тех душу переворачивающих сцен, которые я видел во время исповеди еще месяц тому назад. Но в том-то и дело, что в каторге человек с каждым днем сердцем крепчает, как объяснил мне один

каторжанин-сектант.

Английский миссионер, член библейского общества, посетивши сахалинские тюрьмы, раздавал каторжанам молитвенники. Очередь дошла до старого каторжанина Пазульского. Он в высшей степени вежливо и почтительно поклонился миссионеру и, отдавая назад книгу, холодно и вежливо сказал переводчику:

— Скажите господину, чтоб он отдал книгу кому-нибудь другому: я не курю[53].

Большинство каторги — атеисты. И если кто-нибудь из каторжников вздумает молиться в тюрьме — это вызывает общие насмешки. Каторга считает это «слабостью», а слабость она презирает.

Как они доходят до отрицания? Одни — своим умом.

— Вы верите в Бога? — спросил я Паклина, убийцу архимандрита в Ростове.

— Нет, всякий за себя, — отвечал он мне кратко и просто.

Полуляхов, убийца Арцимовичей в Луганске, относился, по его словам, с большой симпатией к людям религиозным, «любил их».

---

[53] Примечания: 53

То есть мне не нужна бумага для «цигарок».

— Ну а сами вы?

— Я по Дарвину.

— Да вы читали Дарвина?

— Потом уж, после убийства, случалось.

Из разговоров с ним можно было видеть, что он Дарвина действительно читал, хотя и понял его чрезвычайно своеобразно, «по-своему».

— Где же Дарвин отрицает существование Бога?

— Так. Жизнь, по-моему, это борьба за существование.

«Борьба за существование», понятая грубо, совсем по-звериному, — вот их религия.

Некоторые дошли до отрицания, так сказать, путем опыта.

— Вздор все это, — с улыбкой говорил мне один каторжанин, — я видал, как люди умирают…

А он имел право это сказать: он действительно «видал».

— Меня самого «это» интересовало. Я нарочно убивал и собак. Одинаково умирают. Никакой разницы. Смотришь, что ему в это время нужно: чтоб пришибить его только поскорее, чтоб не мучился.

Как доходят в каторге не только до отрицания, до ненависти к религии, ненависти, высказыва-

ющейся в невероятных кощунствах.

— В этаком-то болоте нетрудно потеряться, — говорил мне в Корсаковском округе одесский убийца Шапошников в одну из тех минут, когда ему приходила охота говорить здраво и не юродствовать.

Мне вспоминается один каторжанин. Он трактирщик из Вологодской губернии. В его заведении случилась драка между двумя компаниями. Он принял сторону одной из них и кричал:

— Бей хорошенько!

В результате — один убитый, и его обвинили в подговоре к убийству. Говоря о своем разрушенном благосостоянии, о своей покинутой семье, о том, что ему пришлось и приходится терпеть на каторге, — он весь дрожал и начал говорить такие вещи, что я его остановил:

— Что ты! Что ты! Что говоришь? Бога побойся! Ведь ты христианин.

Несчастный схватился за голову:

— Барин, барин, ума я здесь решаюсь.

Мне вспоминается одна сцена, разыгравшаяся перед поркой. «Наказанию подлежал» бессрочный каторжанин Федотов, пятидесяти восьми лет. Он сослан на Сахалин за разбой. Бежал, разбойничал в Корсаковском округе в шайке беглых,

убил, защищаясь при поимке, крестьянина. Затем вместе с одним бывшим инженером-технологом был пойман в подделке пятирублевых ассигнаций и, наконец, украл из церкви ножичек.

— Бог меня из огорода выгнал, красть у него стал. С тех пор без Бога и хожу, — с грустной улыбкой объяснил мне Федотов.

За свои три преступления Федотов получил три раза по сто плетей и был три года прикован к тачке. Теперь у него развился сильнейший порок сердца. Он еле ходит, еле дышит. Страдает по временам сильными головокружениями и психически ненормален: его подозрительность граничит прямо с бредом преследования. Во время припадков головокружения он кидается с ножом на докторов и на начальство. В обыкновенное же время это очень тихий, кроткий, добрый человек, слабый и крайне болезненный.

Преступление, за которое он подлежал наказанию на этот раз, заключалось в следующем. Боясь, что в Рыковском доктор лечит его не «как следует», Федотов без спроса ушел в Александровское к доктору Поддубскому, которому вся каторга верит безусловно. За побег он и был присужден к восьмидесяти плетям. Еще не подозревая, что мне придется перед вечером встретиться с Федотовым

при такой страшной обстановке, я беседовал с ним. Он подошел ко мне с письмом.

— От кого письмо?

— Собственно от меня.

— Зачем же писать было?

— Не знал, будете ли с таким, как я, говорить. Да и высказать мне все трудно — задыхаюсь. Видите, как говорю.

В письме Федотов «считал своим долгом» известить меня, что каторга относится к моей любознательности с большим сочувствием, просил меня «никому не верить» и каторги не бояться: «кто к нам человек, к тому и мы не звери». И в заключение выражал надежду, что мое посещение принесет такую же пользу, как и посещение «господина доктора Чехова».

И вот в тот же день мы встретились с Федотовым при таких обстоятельствах.

В числе других «подлежавших наказанию» был приведен в канцелярию и ничего не подозревавший Федотов. В сторонке скромно стоял палач Хрусцель со своими «инструментами», завернутыми в чистую холстину, под мышкой. Около дверей с испуганными, растерянными лицами толпились «подлежавшие наказанию».

Я с доктором и помощником смотрителя сидел

у присутственного стола.

— Федотов!

Федотов с тем же недоумевающим видом подошел к столу своей колеблющейся походкой слабого человека.

— Зачем меня, ваше высокоблагородие, изволили спрашивать?

— А вот сейчас узнаешь. Встаньте, пожалуйста: приговор, — обратился ко мне помощник смотрителя и начал скороговоркой «вычитывать приговор»: — Принимая во внимание… признавая виновным… восемьдесят плетей…

Чем далее читал помощник смотрителя приговор, тем сильнее и сильнее дрожал всем телом Федотов. Он стоял, держась рукою за сердце, бледный как полотно, и только растерянно бормотал:

— За отлучку-то… за то, что к доктору сходил.

И когда кончили читать приговор и мы все сели, он, удивленно посмотрев на нас всех с величайшим недоумением, сказал:

— Вот так Бог. Значит, пусть отнимают жизнь…

Сказал, шагнув вперед, и вдруг все лицо его исказилось. Его забило, затрясло. Вырвался страшный крик.

И посыпался целый ряд таких кощунств, таких

страшных богохульств, что действительно жутко было слушать. Федотов рвал на себе волосы, одежду, шатаясь, ходил по всей канцелярии, ударялся головой об стены, о косяки дверей и вопил не своим голосом:

— Режьте, душите, бейте меня. Хрусцель, пей мою кровь… Надзиратель, убей меня…

Он кидался на надзирателей, разрывая на себе рубашку и обнажая грудь:

— Убейте. Убейте.

И пересыпал все это такими богохульствами, каких я никогда не слыхивал и, конечно, никогда уж больше не услышу. Трудно себе представить, что человеческий язык мог повернуться сказать такие вещи, какие выкрикивал этот бившийся в припадке человек.

Становилось трудно дышать. Доктор был весь бледный и трясся. Перепуганный помощник смотрителя кричал:

— Выведите его! Выведите его!

Федотова схватили под руки. Он вырывался, но его вытащили, почти выволокли из канцелярии. Теперь его вопли слышались со двора.

— Да разве его будут наказывать с пороком сердца? — спросил я.

— Кто его станет наказывать? Разве его можно

наказывать, — говорил дрожащий доктор.

— Так зачем же вся эта история? Для чего? Что ж прямо было не успокоить его, не сказать вперед, что наказание приводиться в исполнение не будет, что это только формальность — чтение приговора? Ведь он больной.

— Нельзя-с, порядок, — бормотал юноша, помощник смотрителя.

Вот, быть может, одна из тех минут, когда гаснет вера, и злоба, одна злоба на все, просыпается в душе.

— Какой я есть православный христианин, — часто приходилось мне слышать от каторжан, — когда я и у исповеди, святого причастия не бываю.

Многие просто отвыкают от религии.

— Просто силком приходится гонять, — жалуются и священники, и смотрители.

Обыкновенно же это уклонение имеет своим источником глубоко религиозное чувство.

— Нешто тут говение, — говорят каторжане. — Из церкви придешь, а кругом пьянство, игра, ругня. Лоб перекрестишь, гогочут, сквернословят. Исповедуешься — придешь, — ругаться. До причастия-то так напоганишься — ну, и нейдешь. Так год за год и отвыкаешь.

И сколько истинно глубоко религиозных людей «отвыкает». Говоришь с ним, слушаешь и диву даешься: «Да неужели все это люди из „простой“, верящей, религиозной среды».

— Помилуйте, где ж тут, какому тут уважению к религии быть, — говорил мне один из священнослужителей в селении Рыковском. — Еще недавно у нас покойников голых хоронили.

— Как так?

— Так. Принесут в гробу голого, и отпеваем. Соблазн.

— А где ж одежда арестантская?

— Спросите… Не похороны, а смех.

Большой удар религиозному чувству каторги наносят и эти «незаконные сожительства», отдачи каторжниц поселенцам, практикуемые «в интересах колонизации». Одно из величайших таинств, на которое в нашем народе смотрят с особым почтением, профанируется в глазах каторги этими «отдачами».

— Чего уж тут молиться, — услышите вы очень часто, — чего тут в церковь ходить. В этаком грехе живем. У нее вон в Рассее муж жив, а ее чужому мужику дают: живи!

Или:

— Муж в каторге в Корсаковском, а жену в

Александровское: с чужим живи.

Помню «ахи» и «охи», какие возбудило в Рыковском прибытие Горошко — мужа, добровольно последовавшего в каторгу за женой.

— Ну, дела, — качали головой поселенцы. — За ней муж из Рассеи добровольно идет, а ее здесь тем временем трем мужикам по переменкам отдавали.

Брак потерял в глазах каторги значение таинства: изредка, очень-очень изредка услышишь очень робкий вздох сожительницы-каторжанки:

— Оно хорошо бы повенчаться. Венчанным-то на что лучше.

Но большинство, не все — рассуждают так:

— Не «крученым» не в пример лучше. Не ндравится — сменил. Ровно портянку.

— Разве здесь заботятся о поддержке религиозного чувства среди каторжных, — жалуются священники.

Каторжник считается «человеком отпетым». И всякое человеческое чувство считается ему чуждым.

— Это все нежности, сентиментальности и одна гуманность, — говорят господа сахалинские служащие.

Каторжные, только разряда исправляющихся,

освобождаются от работ в последние три дня Страстной недели. Но частному предпринимателю Маеву, в посту Дуэ[54], понадобилось, чтоб каторжане работали и эти три дня. Равнодушная ко всему каторга махнула рукой и пошла. Это незаконное распоряжение остановил только священник в Дуэ. Он вышел навстречу к рабочим, шедшим в рудники, с крестом в руках; это было в Страстную пятницу. Каторга «опамятовалась» и вернулась в тюрьму.

Старики Дербинской каторжной богадельни, эти страшные старики-нищие, которые все на свете презирают, кроме денег, жаловались мне, что они:

— Священника-то даже и в глаза не видят. На Пасху и то не был.

А дербинский священник говорил мне:

— Я ходил и вел с ними собеседования, но перестал: они не умеют себя вести. Тут читаешь, ведешь беседу, а в другом углу во все горло ругаются между собою площадными словами. Смеются. Я и прекратил свою деятельность.

---

[54] Примечания: 54

Общество каменноугольных коней «Сахалин». Господину Маеву дают по контракту за ничтожную плату каторжных для работ в рудники, но, в сущности, в крепостное право; по желанию он посылает рабочего или в рудники или берет к себе в дворню — поваром, кучером.

— Мне, наоборот, казалось бы, что тут-то и следует ее усилить.

Но батюшка только посмотрел на меня с изумлением.

В библиотеке Александровского лазарета я нашел предназначенные для духовно-нравственного чтения каторжанам следующие книги:

шестнадцать экземпляров брошюры: «О том, что ересеучения графа Л. Толстого разрушают основы общественного и государственного порядка»,

двадцать один экземпляр брошюры «О поминовении раба Божия Александра» (поэта Пушкина),

четыре экземпляра «Поучения о вегетарианстве»,

четырнадцать экземпляров брошюры «О театральных зрелищах Великим постом».

Конечно, это играет огромную роль: эти брошюры о Толстом, о существовании которого они и не подозревают, о вегетарианстве, о котором они никогда и не слыхивали, и особенно «о театральных зрелищах Великим постом».

И в то же самое время в этой библиотеке на Сахалине, так хорошо вооруженной против театральных зрелищ, имеется для раздачи каторжным всего пять экземпляров Нового Завета

и только два экземпляра «Страстей Христовых».

Вот и всё.

Сектанты острова Сахалин

I

Большинство каторги — все это простой русский народ, «к Богу привычный», — должна же религиозность прорваться в виде протеста, прорваться ярко, страстно, горячо, фанатически.

И она прорвалась.

В селении Рыковском и окрестных возникла секта «православно верующих христиан». Секта эта, ниоткуда не занесенная, чисто сахалинского происхождения. И возникла она, быть может, именно как невольный протест против атеизма каторги. Когда я был на Сахалине, сахалинские «православные христиане» претерпевали «гонение», что еще более закаляло их в сектантской вере.

На мой вопрос, что это за секта, священник села Дербинского, «воздвигший на них гонение», очень оригинальный сахалинский батюшка, из бурят, отвечал мне:

— Молокане.

И от самих сектантов я слышал:

— Христос есть камень, о который разбиваются

неверующие, к примеру сказать, хоть молокане.

Секта странная, как странна ее родина, как необычайны люди, ее основавшие.

Батюшка из бурят, богословски, по его словам, «особенно не образованный», не особый знаток в определении сект.

Он и «гонение воздвиг», то есть начал дело о молоканах после того, как потерпел крушение на мирном пути. Прослышав о появлении сектантов, он устроил с ними собеседования; но сектант Галактионов, Писание знающий действительно как таблицу умножения, начал «предерзко засыпать батюшку ложно толкуемыми текстами». Собеседования эти были так «соблазнительны», что священник их прекратил и нашел, что секта, с которой он борется, не простая, а «опасная».

А опасная секта — это, по мнению батюшки, молоканство.

И вот страстные сектанты ждали, дождаться не могли «гонений» за то, что они исповедуют будто бы молоканство. Им страстно хотелось именно «неправедного гонения».

— Пусть ижденут нас за напраслину!

И они готовились к этому гонению за напраслину радостно, как к мученичеству.

Сахалинская секта «православных христиан»,

еще раз повторяю, секта странная; в ней всего есть: и молоканства, и духоборчества, есть несколько и хлыстовщины.

Хотя у этой секты и есть «Иисус Христос», но главою ее, истинной душой следует считать «апостола Павла» — Галактионова.

II

Легким, широким шагом, позванивая на ходу железным посошком, идет по дороге Галактионов.

Зажиточный поселенец, он одет как прасол, в пиджаке, в длинных сапогах. Длинные светлые волосы падают на плечи. Белокурая бородка. Взгляд голубых глаз ясный и открытый. На лице вдохновенная дума.

Может быть, в эту минуту стихи сочиняет.

У Галактионова около двухсот стихотворений. И стихи он любит сочинять «жалостные».

— Чтоб петь можно было.

Для примера приведу одно:

Я ошибкой роковою
Как-то в каторгу попал,
Уже сколько, я не скрою,
Наказанья я принял:

Розги, плети, даже кнут
Часто рвали мою плоть, —
Уж душа ли – что на свете? —
Позабыл меня Господь.

Остальные стихотворения в том же роде.

Галактионову лет под сорок. Но он «старый сектант». Сектант в третьем, быть может, в четвертом поколении. Как попали его прадеды в Томскую губернию — он не знает, но деды его в 1819 году были сосланы из Томской губернии «от Туруханска по Енисею, за четыреста верст». Родители три раза судились за духоборство.

Галактионов родился «неспроста, а для большого дела». Пророк Григорьюшка Шведов за три года предсказал его рожденье и объявил, что будет жить в нем. Когда пришла смерть, Григорьюшка собрал всех, встал, поклонился:

— Ну, теперь до свиданья все!

И умер.

— С тех пор я начал жить.

— А помнишь ты, Галактионов, как ты Григорьюшкой Шведовым на свете жил?

— Для чего не помнить! Всё помню!

И Галактионов начинает рассказывать то, что он, вероятно, слышал в детстве от старших о

пророке, но относительно чего уверовал, что это было все с ним.

Предназначенный с детства «для большого дела», он жил, погруженный в изучение Писания, которое надо знать.

— Вот как вы табель умножения знаете. Ночью вас спросить: «Пятью пять сколько?» — вы ответите. Так и я всякое место Писания знать должен.

Сектантское увлечение довело Галактионова до галлюцинаций. При встрече с духовными лицами он видел их в образе дьявола. Отсюда оскорбления и ссылки. У Галактионова была своя «заимка», небольшие золотые прииски; его их лишили и сослали в Камчатку. Из Камчатки сослали, с лишением всех прав, на поселение на Сахалин, как значится в статейном списке, «за порицание православной веры и Церкви».

На Сахалине Галактионова сразу невзлюбили все.

— Если б я сказал: «Пойдем и обворуем», меня бы полюбили все.

А Галактионов занимался тем, что садился на завалинку, всякого прохожего останавливал и поучал текстами.

Предназначенный от рождения к «большому

делу», он на Сахалине, среди населения порочного и падшего, превратился в обличителя.

— Передо мной живой человек, словно рыба, вынутая на песок, трепыхается и бьется, а я его текстами, текстами.

Отправляясь на завалинку, Галактионов говорил себе: «Возьму кинжал, повешу его на бедро. Сегодня я должен убить несколько человек».

— Тут и так-то человеку дышать нечем. А я его текстом режу.

— На букве я как на троне сидел, и буквой как мечом убивал! — говорит про себя Галактионов.

— И гнал я человека, аки Савл!

— Люди и так в потемках бродили, а я им своими толкованиями тьму еще темнее делал. Это все равно что пришел бы к человеку болящему доктор ученый и рассказал бы ему все подробно, что за болезнь и что от болезни будет. И, духу лишивши, хладно бы отвернулся и спокойно бы ушел.

Недовольство обличителем все росло и росло.

И в это самое время до Галактионова стали доходить слухи о живущем в селении Рыковском ссыльнопоселенце Тихоне Белоножкине, который всем помогает и никого не осуждает.

Отношение Тихона Белоножкина к преступникам действительно преудивительное.

Грозой Сахалина был беглый тачечник Широколобов, о котором я уже упоминал. Убийца-изверг, привезенный на Сахалин из Забайкалья прикованным к мачте парохода. Когда Широколобов бежал, весь Сахалин только и думал: «Хоть бы его убили!»

Широколобова боялись и ненавидели все, а Тихон Белоножкин сам ему у себя приют предложил. Широколобов даже диву дался.

— Мне?

— Дела твои я осудил, а не тебя. Дела твои дурные, а кто в том повинен, что ты их делал, про то нам неизвестно.

И целую ночь, по словам Галактионова, Широколобов провозился да просопел в подполье.

— Заснуть не мог, себя было жаль. Сам потом говорил, что так думал: «Должен я теперь бечь и убивать и грабить — а что мне иначе-то делать?»

А утром ушел и никого не тронул, с Тихоном, как с братом, простился.

Такое отношение к преступлению и преступникам Тихона Белоножкина производило сильное впечатление, и вести о Белоножкине дошли до Галактионова как раз в то время, когда озлобление окружающих против обличителя достигло крайних пределов.

— Начал я в те поры колебаться. Проповедую, а вижу: озлобление мною в мир входит.

И заинтересовал Галактионова Тихон. Пошел.

— До трех раз к нему ходил. До ворот дворца доходил, а во дворец не заходил. Раздумывал. «Как, мол, так, с детства все Писание знаю и все, что говорю, по текстам. Чему ж меня может мужик сиволапый научить?» И ворочался.

А в третий раз зашел.

— Застал четверых. И сразу, никогда не видавши, его узнал. Поклонился, говорю: «Здравствуйте». А он мне: «Я тебя ждал. Видели мы все звезду яркую, подошедшую к солнцу». — «А сколько, — спрашиваю, — раз звезда к солнцу подходила?» — «До трех раз». Тут я и затрясся. «Три раза, — говорю, — я к тебе ходил». А Тихон смеется так радостно. «И это, — говорит, — я знаю». Тут я ему про свои колебания и начал. И пошел, и пошел. А он все смотрит, радостно смеется. «Писанье, — говорит, — что о Христе писано, все знаешь. Чего ж теперь-то тебе нужно?» — «Христа, — говорю, — ищу». — «Ну и ищи. Найдешь». Тут я ему в ноги пал: «Помилуй». Лежу, а надо мной голос, да такой милый. «Раньше, — говорит, — ходил ты, Савл, по букве разящей, а теперь будешь ходить, Павел, по букве животво-

рящей». Заплакал я, бьюсь как рыба у ног, а он меня поднимает да целует, целует. Заглянул я к нему в очи. Очи — как окна, заглянул в горницу, а там так мило. И увидал я, как в горнице у него мило, — скудость-то я своей горницы познал, — что украшал ее гробами великолепными. А у него-то в горнице все живое.

«Горницей» Галактионов называет, конечно, душу.

— И, увидав, что у него-то в горнице все живое, а у меня гробы великолепные, заплакал я. А он-то все меня целует: «Не плачь! Теперь ты человек живой». Говорит: «Не плачь», а сам в три ручья плачет. Я и спрашиваю: «Как же ты мне велишь радоваться, а сам плачешь?» — «Это ничего, — говорит, — я за всех должен плакать, а ты не плачь». Тут-то я и понял вконец.

— Что понял?

— Кто есть Тихон Белоножкин.

— Кто же?

— Иисус.

— Ну, слушай, Галактионов, ведь ты же человек ученый…

— Премудрость! — с улыбкой перебил Галактионов.

— Ты же знаешь, что Иисус Христос жил земной

жизнью восемнадцать сот лет тому назад.

— И теперь живет.

— Как так?

— А разве может когда без Христа быть? Тогда Христос за грехи людские пострадал. А новые все накапливаются. За них-то кто же страдать будет? Посмотрите кругом. Один убил, бедность да нищета довела, другого злость человеческая заставила. Все не они виноваты. Кто же за это страдать должен?

— Так что́, всегда Христос живет в мире?

— Всегда. Один отстрадает. Другой страдать идет.

— Ну а за что Тихон на Сахалин сослан?

— За убийство! — не мигнув, отвечает Галактионов. — Двух человек он убил.

— Как же так помирить?

— Воронежский он. Из зажиточных. У его отца еще с арендатором соседским вражда была. Дальше да больше. Едут раз из города вместе. Арендатор-то и думает: «Нас много». Напали на Тихона. А Тихон-то взял оглоблю да во зле арендатора по башке цоп! А потом арендаторша подвернулась — он и ее цоп. Так злоба вековечная убийством и кончилась.

— Он же убил! Он — убийца!

— Не он убил, злоба убила. Злоба копилась-копилась в двух семьях и вырвалась. Он за эту злобу каторгу и перенес.

Во главе сахалинских «православно верующих христиан» Тихона Белоножкина поставил, несомненно, Галактионов. Это он, фанатичный и страстный, убедил Белоножкина в его высокой миссии. Скромному Тихону в голову бы не пришло называться таким именем.

Тихон Белоножкин еще дома, в Воронежской губернии, сокрушался, что кругом никто «побожески» не живет, и искал такой веры, чтобы «не только с мертвыми ходили целоваться, а и с живыми целовались; а то с мертвыми-то прощаются, а живым не прощают».

Попалось под руки молоканство, он и принял молоканство.

Но к прибытию на Сахалин Тихон Белоножкин и в молоканстве разочаровался.

— Не то это все. Не настоящее.

И начал вести свои тихие и кроткие беседы с каторжанами: как, по его мнению, по-настоящему следует верить и поступать. Его теория о неосуждении, быть может, и привлекла к себе сердца в силу контраста; кругом, на Сахалине, каторжнику всякое лыко в строку ставят, а тут

человек говорит:

— Деянья твои осуждаю, а не тебя.

И людям, которых все считают «виновными», стал именно «мил» человек, считающий их «ни в чем не виновными».

— Ведь вон почему мы кошку любим! — говорил мне с улыбкой каторжанин, поглаживая бродившую по нарам кандальной худую, тощую кошку. — Потому для всех мы «виноватые», а для кошки мы ничем не виноваты. Кошке все одно: что вы, что я.

Тихон Белоножкин, это несомненно, пользовался всегда особыми симпатиями каторги — и не одной каторги. Есть что-то в этом кротком человеке, что производит впечатление. Он отбывал каторгу при смотрителе, который не признавал непоротых арестантов. Тихон Белоножкин — единственное исключение.

— Придет на раскомандировку злой, — рассказывают каторжане, — двадцать-тридцать человек перепорет. Так и глядит рысьими глазами: «Кого бы еще!» А увидит Тихона, глаза переведет: «Ты, — скажет, — тихоня! Стань на заднюю шеренгу». Не любил, когда Тихон на него смотрит.

Это казалось каторге непостижимым. И неко-

торые совпадения привели каторгу к мысли, что Белоножкин — человек «особенный».

Белоножкин с вечера ни с того ни с сего плакал. Его стыдили:

— Чего нюни распустил? Баба!

— Горюшко мне под сердынко подкатывает.

А на следующий день одного арестанта задрали: с «кобылы» замертво сняли, в лазарете умер.

Несколько подобных случаев «предвиденья» поразили каторгу страшно, и, когда к Белоножкину пришла семья и он был выпущен для домообзаводства, — к «особенному» человеку стали собираться поговорить, послушать его странных речей.

Тут подвернулся Галактионов.

Озлобивший всех против себя обличитель, в страдающий мир внесший своей проповедью еще больше страданий, — Галактионов у кроткого Тихона нашел тихую пристань, «просветлел», понял, что «истинно о Христе надо делать», и «уверовал».

Но старый законник сказался — и вместо простых сходок для сердечных бесед он основал «церковь».

Сахалинское общество «православно верующих христиан» имеет двенадцать «апостолов», и

каждый из «апостолов» имеет «пророка».

— Как столб — подпору.

Кроме «апостолов», есть еще четыре «евангелиста».

— Руки и ноги Христовы.

Те, кто женат, как сам Тихон Белоножкин, живут с женами. Кто не женат — сходятся и живут «не в законе, а в любви, ибо любовь и есть закон христианский».

Мужчины зовут себя «братией», а женщин — «по духу любовницами».

Сходясь все вместе, они говорят:

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, благодарим нашего Отца!

Кланяются в ноги, целуют друг друга и беседуют.

Беседы часто касаются сахалинских злоб дня и разрешают разные вопросы, конечно, в духе, приятном каторге.

Например:

— Каждый человек спастись должен. А в голодном месте не спасешься, скорее человека съешь. А потому бежать с Сахалина — дело доброе. Духом родиться можно только на материке, где можно трудиться. А для рождения духом надо креститься водой, то есть переплыть Татарский

пролив. Татарский пролив и есть Иордан. Надо сначала «водой креститься», и потом уж человек идет на материк возрождаться духом.

На этих радениях они рады всякому, кто зайдет:

— Где печка, там пущай греются.

В горницах у многих из них висят иконы.

— Хоть весь дом изукрась иконами! Хорошего человека повидать всегда приятно.

Но веровать «надо в духе, а не в букве», чтоб «буква эта нашу жизнь оживляла».

— Приходите к нам! — звал меня Галактионов. — Как начнем букву закона к нашей жизни приводить — небеса радуются.

— Да почему ж ты о небесах-то знаешь?

— В мыслях радость. А небеса… Вы думаете, высоко небеса? Небеса в рост человека.

Галактионову очень хотелось, чтоб я повидался с Тихоном Белоножкиным.

— Сами увидите! Вы так ему скажите, что от меня.

Тихона застал я за работой. У него хорошее хозяйство. Он чинил телегу.

— Здравствуй, Тихон. Правда, что ты — то лицо, как тебя называет Галактионов?

Белоножкин поднял голову и глянул на меня

своими действительно «милыми» глазами, кроткими и добрыми:

— Вы говорите.

— Нет, но ты-то как себя называешь?

Тихон улыбнулся, тоже необыкновенно «мило».

— Буквами чтоб я себя назвал, хотите? Разве от букв что переменится?

Мы долго беседовали с этим добрым, кротким и скромным человеком, — его интересовало, зачем я приехал; я объяснил ему как мог, что собираю материал, чтоб описать, как живут каторжане, — и он сказал:

— Масло собираете? Понимаю.

И, прощаясь со мною и подавая мне руку, сказал:

— Масла вы в лампадку набрали много. Зажгите ее, чтоб свет был людям. А то зачем и масло?

Преступники и преступления

I

— Чувствуют ли «они» раскаяние?

Все лица, близко соприкасающиеся с каторгой, к которым я обращался с этим вопросом, отвечали, — кто со злобой, кто с искренним сожалением, — всегда одно и то же:

— Нет!

— За все время, пока я здесь, изо всех виденных мною преступников — а я их видел тысячи, — я встретил одного, который действительно чувствовал раскаяние в совершённом, желание отстрадать содеянный грех. Да и тот вряд ли был преступником, — говорил мне заведующий медицинской частью доктор Поддубский.

Это был старик, сосланный за холерные беспорядки.

Доктор записал его при освидетельствовании «слабосильным».

— Стой, дядя! — остановил его старик. — Ты этого не делай! А когда ж я свой грех-то отработаю?

— Да в чем твой грех-то?

— Доктора мы каменьями убили. Каменьями

швыряли. И я камень бросил.

— Да ты попал ли?

— Этого уж не знаю, не видел, куда камень упал. А только все-таки бросил.

Сказать, однако, чтоб раскаяния они не чувствовали, — рискованно.

Они его не выражают. Это да.

Каторжник, как и многие страдающие люди, прежде всего горд. Всякое выражение раскаяния, сожаления о случившемся он считал бы слабостью, которой не простил бы потом себе, которой, главное, никогда не простила бы ему каторга.

А разве и мы не считаемся со взглядами и мнениями того общества, среди которого приходится жить?

Юноша Негель[55], — совершивший гнусное преступление, убийца-зверь, которого мне рекомендовали как самого отчаянного негодяя во всей каторге, — этот убийца рыдал, плакал как дитя, рассказывая мне, один на один, что его довело до преступления. И мне пришлось утешать его, как ребенка, подавать ему воду, гладить по голове, называть ласковыми именами.

Помню изумленное лицо одного из господ слу-

---

[55] Примечания: 55
Александровская тюрьма.

жащих, случайно вошедшего на эту сцену.

Помню, как он растерялся.

— Что вы сделали нашему Негелю? — спрашивал он меня потом с изумлением.

Надо было посмотреть на лицо Негеля в те несколько секунд, которые пробыл в комнате господин служащий.

Как он глотал слезы, какие делал усилия, чтобы подавить рыдания.

— Вы никому не говорите об «этом»! — просил он меня на прощание. — А то в каторге узнают, смеяться будут, с...!

Вот часто причина этого «холодного, спокойного отношения» к преступлению.

Не всегда где нет трагических жестов — там нет и трагедии.

Темна душа преступника, и нелегко заглянуть — что там таится на дне?

В квартире одного интеллигентного убийцы я обратил внимание на большую картину работы хозяина, висевшую на самом видном месте.

Картина изображала мрачный северный пейзаж. Хмурые повисшие ели. Посредине — три камня, навороченные друг на друга.

— Что это за мрачный вид? — спросил я.

— Это пейзаж, который врезался мне в память!

На этом месте случилось одно трагическое происшествие.

Это был вид того самого места, где хозяин дома вместе с товарищем убили и разрубили на части свою жертву.

Что это? Рисовка? Или болезненное желание — вечно, каждую минуту, без конца, бередить ноющую душевную рану, не давать ей зажить?

Рисовка это или казнь, выдуманная для себя преступником, — эта всегда на виду висящая картина?

Не знаю, как раскаяние, но ужас, отчаяние от совершенного преступления живут в душе преступника.

Не верьте даже им самим, чтобы они относились к преступлению спокойно.

Василий Васильевич[56], убивший в бегах своего товарища и питавшийся его мясом, слывет одним из наиболее спокойных и равнодушных.

— Вы послушайте только, как он рассказывает! Как он вырезал куски мяса и варил из них суп с молодой кропивкой, которую клал «для вкусу».

— Если бы только моря я не боялся! — с отчаянием восклицал он, рассказывая и мне про

---

[56] Примечания: 56

Сообщение об этом случае людоедства было напечатано доктором Н. И. Лобасом в журнале «Врач» 1895 г., № 37.

«кропивку» и суп из человеческого мяса, — если б моря не боялся, убег бы на край света! Моря боюсь… Ушел бы, чтобы и не видел меня никто! От себя ушел бы!

И какой ужас перед совершённым звучал в тоне этого страшного человека.

Недаром после преступления он сходил с ума.

Не верьте «веселым» рассказам о преступлении.

Часто это только неумение спрашивать.

Да, конечно, если вы спросите так, «с наскока»:

— А ну-ка, братец, расскажи, как ты убил?

Тогда вы услышите рассказ, полный и похвальбы, и рисовки.

О Полуляхове[57], убийце семьи Арцимовичей в Луганске, мне говорили, что он необыкновенно охотно и необыкновенно нагло рассказывает о своем преступлении.

С издевательством над жертвами, говорил о них всегда во «множественном числе»:

— Господин Арцимович спали вот так-с, а госпожа Арцимович — вот так. Я сначала их убил, а потом пошел госпожу Арцимович с младенцем ихним убивать. «Сударыня!» — говорю… и так

---

[57] Примечания: 57
Александровская тюрьма.

далее.

Я беседовал с Полуляховым два дня — правда, с отдыхом в несколько суток, — нервы бы не выдержали, так «тяжел» этот человек.

Я спрашивал его внимательно о всей его жизни, терпеливо выслушивал все мельчайшие подробности его детства и юности, интересные и дорогие только ему, я входил в каждую мелочь его жизни.

И когда после этого он дошел в рассказе до своего зверского преступления — в его повествовании не было ни «господина», ни этого иронического «множественного числа», ни бахвальства, ни рисовки.

Я никогда не забуду этого вечера.

Мы сидели вдвоем, близко наклонившись друг к другу; он говорил тихо, словно боясь, что кто-то еще слушает эту страшную повесть, — и ему вовсе не легко давался этот рассказ.

О некоторых подробностях даже ему тяжело было говорить. О них он всегда умалчивает в своих «веселых» рассказах о преступлении!

Правда, и подробности же!

Я чувствовал, что все плывет у меня в глазах. Что еще момент — и я упаду в обморок.

И только нежелание показать свою слабость

перед каторжником удерживало меня крикнуть:

— Воды!

Ведь мне нужно было мнение каторги: я явился ее изучать.

Помню, как я после одной из таких подробностей откинулся, почти упал, на спинку кресла, как у меня перехватило дыхание, — и вздох, вероятно, похожий, скорее, на стон, невольно вырвался из груди.

— Вот видите, барин, — и вам даже слушать нехорошо! — сказал Полуляхов.

Я взглянул на него: на нем самом лица не было.

Бывают рассказы циничные по своей откровенности — спокойных рассказов нет.

Нет!

Я много слышал исповедей, не рассказов, а именно исповедей, когда преступники рассказывали мне все, часто с краской на лице отвечали на самые щекотливые вопросы, которые и задавать-то было неловко; мне много пришлось слышать этих исповедей с глазу на глаз, при затворенных дверях, часто говорившихся вполголоса, чтобы кто не услыхал «тайны каторги», которые мне рассказывали.

Преступники всегда старались казаться спо-

койными. Но только старались.

Не надо было быть особенным физиономистом, чтобы видеть, как их волнуют эти воспоминания, как они стараются подавить, скрыть это волнение.

Обычная поза преступника, когда он рассказывает подробности преступления, такая.

Он сидит к вам боком, смотрит в сторону, куда-нибудь в угол, бессознательно вертит что-нибудь в руках. На его губах играет деланая, принужденная улыбка, глаза горят нехорошим, лихорадочным каким-то огнем.

У многих часто меняется цвет лица, подергиваются мускулы щек, меняется и сдавленно звучит голос.

Почти всякий после десяти минут этого рассказа кажется усталым, утомленным, часто разбитым.

А я слыхал рассказы и видал преступников, пред которыми и Полуляхов только еще «начинающий». Мне Лесников рассказывал, как он вырезал две семьи: из пяти и шести человек. Прохоров-Мыльников рассказывал, как он резал детей. Мне рассказывали, как разрывали могилы. Передавали свои впечатления люди, приговоренные к повешению, стоявшие на западне и

услышавшие помилование только тогда, когда около лица болталась петля.

Разговоры «между собой» о своих преступлениях — обычное занятие каторги.

— Просто ужас! — говорили мне интеллигентные люди, бывавшие в экспедициях для исследования острова, — лежишь вечером и прислушиваешься, о чем говорят между собой каторжные, мои носильщики и проводники. Только и слышишь: «Я так-то убил, а я так-то...»

Но о чем же в каторге больше и говорить? В настоящем ничего, речь идет о прошлом.

Когда появляется новый арестант, его никто не спросит:

— За что?

Это не принято. Всякий соблюдает свое достоинство. Никто не хочет показать «слабости» — любопытства.

Разговор об «этом» заводится несколько дней спустя, исподволь: спрашивающий сначала сам расскажет «кстати, к случаю», за что пришел, и в разговоре будто бы нехотя, даже нечаянно, спросит:

— А ты за что?

Непременно таким тоном, в котором звучит: «Хочешь, мол, говори, а не хочешь — не больно

интересно».

И тогда рассказ вновь прибывшего выслушивается с большим вниманием.

Надо же ведь знать, что за человек пришел в «семью», на что он способен, может ли быть хорошим товарищем на случай «бегов» или преступления.

С бахвальством, с рисовкой, с гордостью рассказывают о своих преступлениях только «Иваны».

Мне вспоминается, например, Школкин[58], преступник-рецидивист, изо всех сил старающийся прослыть за «Ивана».

Он убил уже на Сахалине денщика капельмейстера.

Убил нагло, зверски, среди белого дня.

Узнав о том, что у капельмейстера «должны быть деньги», он явился к нему на квартиру в его отсутствие, оглушил ударом кистеня денщика, стащил его в подполье и начал резать.

Тонкий, сильно сточенный кухонный нож гнулся и не входил в тело.

Тогда Школкин перевернул свою жертву лицом вниз, приподнял грубую, солдатского холста, рубаху, прорезал небольшую ранку и тихо, мед-

---

[58] Примечания: 58
Александровская тюрьма.

ленно ввел нож, заколотив его по рукоять.

В это время к капельмейстеру вошел еще кто-то, услышал возню в подполье, догадался, что дело неладно, выбежал, поднял крик.

Как раз в это время проезжал мимо губернатор, он и отдал приказ об аресте убийцы.

Школкин очень гордится своим преступлением, тем, что его «арестовал сам губернатор», тем, что его, по мнению всей каторги, «ожидала веревка», — гордится своим спокойствием.

Я несколько раз наводил разговор с ним на эту тему, будто бы забывая то ту, то другую подробность, и — каждый раз, охотно рассказывая о преступлении, Школкин добавлял одну и ту же неизменную фразу:

— Я вышел на крыльцо с улыбкою.

Эта улыбка, с которой он вышел на крыльцо к толпе народа из подполья, где он только что дорезал человека, его гордость.

Часто, однако, за этим бахвальством кроется нечто другое.

Часто это только желание заглушить душевные муки, желание нагнать на себя «куражу».

Желание смехом подавить страх.

Так дети, по вечерам боящиеся оставаться в темной комнате, днем хвалятся своей храбро-

стью, смеются над всеми привидениями в мире:

— Пусть придут, пусть!

«Работал я в сапожной мастерской, — рассказывал мне один интеллигентный преступник, убийца, — вместе с нами работал некто Смирнов — рецидивист, совершивший много преступлений, молодой человек. Ужас, бывало, берет слушать его разговоры. Не было у него и темы другой, кроме рассказов о своих убийствах. Он вспоминал о них с удовольствием, со смехом. Как он издевался над памятью своих жертв. В каком комическом виде представлял их предсмертные муки, мольбы, с каким цинизмом высмеивал их слова, их просьбы о пощаде. Просто, бывало, иногда работа падает из рук!

Ужас меня брал при одном звуке голоса этого человека. А тут еще мое место на нарах как раз рядом с ним.

Он спал с краю, я около. Просыпаюсь как-то от сильного толчка, гляжу — лампа была как раз около наших мест, — стоит Смирнов около нар. Лицо белое, словно мелом вымазано, глаза страшные, широко раскрытые. Ужас на лице написан.

Не подходи… — говорит, — не подходи… убью… не подходи… Дрожит весь, голос такой — жуть берет слушать. Испугался я. „Смирнов, — гово-

рю, — что с тобой? С кем ты разговариваешь?“ — „Вон он, — говорит, — вон он… весь в крови… из горла-то, из горла как кровь хлещет… идет, идет… сюда идет… не подходи!..“ Ухватился за меня, держится, руки холодные как лед. И у него зубы стучат, и меня лихорадка бьет. „Господь с тобой! Кого ты видишь?“ — „Он, он, последний мой“, — шепчет. „Да успокойся ты, дай я тебе воды принесу!“ — „Нет, нет, не уходи… не уходи… А то он… он…“ Так и пришлось вместе с ним до кадушки с водой идти. Он за меня держится, кругом дико озирается, боится на шаг отстать. Отпоил я его водой — пришел в себя. Просил пустить его на мое место — с краю лежать боялся, — я лег к нему поближе. „Страшно мне“, — говорит. „Да зачем же ты днем-то над ними смеешься?“ — спрашиваю. „Потому и смеюсь, что страшно. Ходят они ко мне по ночам. Вот днем-то и стараюсь храбрости набраться и куражусь“».

Бахвальство преступлением — это часто только крик, отчаянный вопль, которым хотят заглушить голос совести.

— Душа преступника — это море, вряд ли когда бывает штиль.

Здесь когда-то разыгрывался страшный шторм. Теперь колышется зыбь.

А очень крупную зыбь так легко с первого взгляда принять за полный штиль.

Преступление оставляет неизгладимый след, глубокую борозду в душе.

Мне говорил один каторжник, жалуясь на то, что их заперли в кандальной за отказ от работ и две недели держали взаперти[59]:

— Что они? Убить нас, что ли, хотят? Задавить, как насекомую какую? Да нешто человека возможно убить? Я вон как уж: кажется, убил! Сам слышал, как кости затрещали, когда топором по затылку хватил. «Нет, — думаю, — отдышится». Взял да еще голову отрубил прочь. Откатилась голова… А он все живет. Тут вот со мной и живет. Ни шагу не отходит. Меня в «сушилку» посадят. Думают, одного, а он тут со мной, мой-то! «Не убивал бы, мол, меня, не сидел бы теперь во тьме кромешной». На «кобылу» ложусь, а он тут рядом с палачом стоит, зубы скалит: «Не убивал бы, на „кобыле“ не лежал бы». Везде со мной как тень идет. Живет и, покуда я жив, жив будет, в могилу за мной, под безыменный крест пойдет. Человека совсем убить невозможно!

---

[59] Примечания: 59
В Рыковской тюрьме.

II

Мне остается сказать еще об одном сорте бахвальства, очень распространенном, с типичным представителем этого сорта бахвальства я вас сейчас познакомлю.

Захожу в тюрьму.

Вижу, арестанты собрались кучкой. В середине какой-то краснобай о чем-то горячо ораторствует.

Увидал меня и перестал.

— Помешал вам, что ли? Так уйду.

— Зачем, барин? Кака-така помеха… Валяй дальше! Барин тоже послухает… Больно интересно.

Рассказчик повествовал о том, как он бежал из тюрьмы.

Слегка, «для приличия» пококетничав, рассказчик продолжал:

— Ладно!.. Ударили, говорю я, тревогу. Весь караул, всю роту собрали, за мной: этакий рестант бежал! Бегут, а я от них. Они бегут, а я от них. Штыки сверкали, пули свистали… Так над головой и свищут. Мало-мало погодя, перестали. Все пули расстреляли. Ни одна не попала!..

— С бегу стреляли-то? — интересуется молодой

паренек, из «дисциплинарных».

— С бегу.

— Если бы приостановился кто. Стрелять способнее.

— Тебя, дурака, не спросили, жалко! Фельдфебель! — обрывает его кто-то из слушателей, — валяй дальше!

— Стал я, братцы мои, приставать. Вижу, сил моих нет. Вот-вот, думаю, с ног свалюсь, возьмут. Да не такой человек Ефим Трофимов, чтобы живым в руки даться! Слышу, настигают… Все ближе топот. Оглянулся — глядеть страшно. Штыки сверкают. Сила! А по дороге-то, впереди так, — дерево… Высоченное дерево, сажен двадцать… Собрал я силенки — да к нему. Раз, раз — да и взобрался… Вскарабкался на сук да и сижу. Подбегают, запыхались, так с них и льет, еле дышат. Замучил я их, замытарил. «Слезай, — кричат, — чертов сын, честью!» — «Вот, — говорю, — ладно, беспременно слезу, когда рак свистнет. Подождите маленько!..» Им бы пулей меня достать — на что легче, да пули-то все пристреляли. А лезть-то боятся, потому топор при мне, — мне сверху-то по башке способно. Слышу, говор идет меж их: «Полезай ты сперва!» — «Нет, ты!» — «Нет, ты…» А я себе сижу, ни гугу, отдыхиваюсь. Только, брат-

цы, постояли они так-то, решили дерево свалить, чтобы меня достать. Зачали дерево под корень штыками. Дрожит все дерево, трясется. Они копают, а я все выше взбираюсь. Они копают, а я выше. Взобрался на самую маковку, жду. Начало дерево подаваться… «Ну, еще! Наддай!» — орут, дерево валят. А по голосам слыхать, что еле дух переводят, пристали. «Еще наддай…» Ходуном подо мной дерево ходит, а я все на маковке сижу, держусь… Да как ухнет дерево-то, только стон пошел от ветвей, хруск… Как маковка-то об землю треснулась, я наземь да в бег. Они-то у корня стояли, а я на маковке, — у меня двадцать сажен, «мазы»…[60] Они-то, дерево копавши, вконец перемучились, а я-то отдохнул сидючи!

— Здо́рово! — одобрили арестанты.

— Ведь вот говорят: «Семь верст до небес, и все лесом!»[61] — не вытерпел задетый давеча за живое паренек.

— А тебе что? — накинулась на него катор-

---

[60] Примечания: 60

Игрецкое выражение — вперед.

[61] Примечания: 61

Арестантская поговорка, означающая человека, который слова правды никогда не скажет.

га, — ты чего лезешь, волынку затираешь?[62] Не любо — не слушай! А лезть нечего. Чувырло братское[63].

Каторга негодовала на то, что прервали «занятный рассказ».

Много таких рассказчиков в каждой тюрьме. И что это за рассказы! Что за дикие, за фантастические, нелепые рассказы о небывалых преступлениях! Слушаешь другого — да диву даешься.

Его действительных-то приключений тома бы на три хватило. Да на каких тома! А он, бог его знает, какую чушь выдумывает!

Это Понсон дю Терайли, Ксавье де Монтепены каторги.

Им не верят, да их не для того и слушают.

Каторга относится к ним, как мы к нашим «бульварным романистам».

Не требует от них правды, довольствуется интересной выдумкой.

Она смотрит на них как на хороших сказочников.

---

[62] Примечания: 62

«Затирать волынку» — затевать неприятность.

[63] Примечания: 63

«Чувырло братское» означает арестанта с отталкивающей наружностью.

Это вряд ли можно назвать «бахвальством преступлением».

Да я и не думаю, чтобы бахвальство могло произвести на каторгу особое впечатление.

Сидя с человеком двадцать четыре часа в сутки, поневоле изучишь его, будешь знать, на что он способен, на что нет, — сразу отличишь, что в его рассказах правда, что хвастливая ложь.

Да каторга и не придает особенной цены преступлениям, совершенным «в Рассее».

— Там-то мы все храбры были!

Она относится еще с некоторым уважением к преступникам, взявшим благодаря преступлению крупную сумму, — и глубоко презирает тех, кто совершил преступление из-за грошей.

Самим же преступлением каторги не увидишь. Тут, так сказать, приходится «играть среди виртуозов».

Герои каторги — рецидивисты.

Она ценит только преступления и проступки, совершенные здесь, на Сахалине.

И какой-нибудь смелый беглец или человек, наговоривший дерзостей смотрителю, в ее глазах гораздо более «герой», чем человек, зарезавший целую семью в России.

Полуляхова каторга стала уважать с тех пор,

как он бежал, дерзко, на виду у всех, — вырвав ружье у часового.

Есть только одно преступление, которое покрывает совершившего его немеркнущей славой. Это убийство кого-нибудь из тюремной администрации.

К такому каторга относится всегда с почтением. Человек шел «на веревку».

Человек не боится ничего — значит надо бояться его.

И к такому человеку относятся с боязливым почтением.

Остальное все не производит никакого впечатления:

— Это все, что было, то прошло! Ты нам теперь себя выкажи!

Прошлое умерло. Каторгу интересует только, что в человеке «осталось».

* * *

До сих пор мы говорили об отношении только к самому факту преступления.

— Ну а их отношения к жертве?

Что они чувствуют по отношению к ней?

Редко — злобу, часто — презрение, обыкновенно — полное равнодушие.

— Как же! Жалко! — отвечает вам обыкновенно преступник на вопрос: неужели ему не жаль своей жертвы?

Но лучше бы он не говорил этого!

Он произносит это «жалко», как будто речь идет не о жизни, а о каком-то пустяке, отнятом у несчастного!

В этом тоне звучит такое равнодушие — равнодушие ко всему на свете, кроме его собственной персоны.

Вы чувствуете, что он говорит «жалко» просто «из приличия»: «так уж полагается по-ихнему, чтоб жалеть».

Что этим он делает уступку вам!

Убийцы-грабители вспоминают о своей жертве с презрением, если несчастный не хотел сразу отдавать деньги, если он боролся.

Им кажется это достойным презрения: человек ставил деньги выше жизни!

Один из преступников не мог без улыбки вспомнить, как его несчастная жертва, когда он вошел к ней с топором, закричала:

— Как ты смеешь? Да ты знаешь ли, на чей дом нападаешь!

— Сударыня, — отвечал он ей с улыбкой, — для нас все равны.

Злобу к своим жертвам, злобу непримиримую, которая не угасает никогда, чувствуют только те из преступников, кому пришлось много перетерпеть, прежде чем они решились на преступление.

С такой злобой отзывался мне о своей жертве один из каторжных, бывший денщик-кучер, в Корсаковском округе, убивший своего барина за то, что тот жестоко с ним обращался.

— Опять бы из гроба встал — опять бы задушил!

И выражал сожаление, что не удалось «помучить его перед смертью».

Помню, один убийца жены — он отрубил ей голову — на мой вопрос:

— Неужели же тебе не бывает жаль ее?

Отвечал:

— Опять бы жила — вот хоть сейчас, — опять бы ей башку отрубил, подлой!

И с такой злобой сказал это. А вообще-то, это один из добродушнейших людей в каторге.

Добрый, безответный, готовый поделиться последним.

Видно, и насолила же ему покойница!

Вообще, эти люди, со злобой относящиеся к своим жертвам, по большей части люди добро-

душные, мягкие.

Это просто люди с лопнувшим терпением.

Искреннее, действительно глубокое сожаление к своей «ни в чем не повинной жертве» мне пришлось наблюдать только один раз.

Это несчастный Горшенин, сожалевший об убитом им в припадке раздражения инженере Корше[64].

Мы дошли до вопроса, который, может быть, интересует вас так же, как он интересовал меня.

До вопроса о галлюцинациях и снах. Об этой «икоте воображения», «отрыжке совести».

Преследуют ли «их» призраки жертв, как они преследуют шекспировских героев, или сахалинские преступники сделаны из другого теста.

Но ведь и шекспировских героев не всех одинаково преследуют призраки убитых.

Макбет видит наяву тень Банко, в то время как Ричарда III мучают призраки во время сна, во время тяжкого кошмара. А королю Клавдию ни во сне, ни наяву не является тень убитого им короля и брата.

Я расспрашивал всех тюремных врачей относительно галлюцинаций у каторжников, и изо

---

[64] Примечания: 64
В Тифлисе.

всех врачей только один доктор Лобас, человек, глубоко знающий каторгу, мог сообщить мне только один случай, когда преступник жаловался на преследования призрака.

Я потом виделся и с преступником.

Это некто Вайнштейн, рецидивист, убивший на Сахалине женщину.

Другие говорят, что он убил ее, не добившись ничего ухаживаниями.

Он уверяет, что убил ее из отвращения:

— Уже не молодая женщина — она изменяла своему мужу. И как изменяла! Мне стало противно, и я убил ее, прямо из какой-то ненависти, из презрения, раздавил как гадину.

Ее окровавленный призрак не давал ему покоя, пока он сидел в одиночном заключении.

Он не спал ночей, потому что она постоянно входила к нему, и на него «летели брызги крови».

Интересный рассказ о галлюцинациях мне пришлось выслушать от одного поселенца, которого я взялся подвезти из поста Дуэ в пост Александровский.

— Зачем пробираешься-то? — спрашиваю дорогой.

— Да к окружному ишол, сожительницу себе

просить новую.

— А что же старая-то, плоха, что ли?

— Зачем плоха! Хорошая баба была, да померла… Второй месяц как померла. А мне без хозяйки никак невозможно. Хозяйство! Может, дадут какую, хоть завалящую!

Мы проехали с четверть версты молча.

— Да и слава тебе господи, что померла! Прибрал ее Господь! Успокоил, да и меня-то вместе с ней. Мука была мученская.

— Что так?

— Тряслась шибко.

— Как тряслась?

— Так, по ночам. Как, бывало, ночь, так и начнет трястись. И меня-то замучила — страхи! Как, бывало, огонь потушим, так ее и начнет бить. Дрожит вся, колотится, руки, ноги как лед. «Ходит, — говорит, — он по избе!» А то вся забьется, вот-вот, думаю, кончится. «За ноги, — говорит, — меня хватает. Наклоняется ко мне, а от него-то могилой!» Все к ей он ходил. За мужа она. Мужа отравила — не нравился, что ли! — а как он стал кончаться да мучиться, с испугу его и придушила. И такой, бывало, голос у ее, самого жуть берет. «Молчи, мол, у меня *свой* есть». Самому казаться начало!.. Эх и не вспоминать!.. Так вот и измая-

лась, таяла, таяла, да и скончалась. Царство ей небесное, вечный покой! Да уж где, чай!

Некоторые, немногие из них, жалуются, что изредка видят своих во сне, но большинство смотрит на вас с изумлением при подобном вопросе:

— Охота, мол, такую дрянь во сне видеть?

Впрочем, все это дело нервов.

В конце концов, я все-таки не верю — я не верю потому, что этого не видел, — чтобы преступник совсем уж спокойно относился к совершенному им преступлению.

Может быть, и эта страсть к картам, эта картежная игра, которой они с таким азартом предаются с утра до вечера, в каждую свободную минуту, и часто с ночи до утра, может быть, и это средство — «забыться», «отвлечь свои мысли».

Наиболее тяжкие преступники вместе с тем и наиболее страстные игроки.

Всякий «отвлекается» и «забывается» как может и чем может.

Я видел преступника, который после совершенного им действительно зверского убийства[65] искал забвения… в игре в тотализатор.

---

[65] Примечания: 65

Викторов, убивший в Москве свою любовницу, разрубивший и изуродовавший труп до неузнаваемости и отправивший его по железной дороге.

— Играешь — и ничего не чувствуешь! Забываешь про «это».

К счастью для него, скачки в Москве бывают по два, по три раза в неделю — и несколько недель, которые прошли до его ареста, этот несчастный и отвратительный человек прожил в каком-то угаре от пьянства и игры.

Когда там открывали труп, он думал о лошадях:

— Хватит ее на четырехверстную дистанцию или не хватит?

* * *

Как они относятся к наказанию?

На этот вопрос ответить гораздо легче.

Относятся очень просто.

Осудили, лишили прав, сослали сюда, и они считают все свои счета покончеными и сквитанными.

— Не семь же шкур с нас драть?!

Им сказали: идите на «новую жизнь».

И они стремятся устроить «новую жизнь».

Такую, какая нравится им, а не правосудию.

Бежать, сказаться бродягой и получить полтора года каторги вместо десяти, пятнадцати и двадцати.

Это называется «переменить участь».

И об этой «перемене участи» мечтают все.

Не верьте тому, чтоб преступники жаждали каторги, несли ее как искупление.

Да, может быть, там, когда они еще не знают, что такое каторга.

Когда еще свежи, особенно болезненны воспоминания. Когда совесть, этот «зверь косматый», мечется и скребет когтями душу… Тогда, быть может, и жаждут «страданий».

Так при нестерпимой зубной боли люди бьются головой об стену, чтоб другой болью пересилить эту, отвлечь мысли от этой страшной, невероятной боли.

Там… А здесь… Можно жаждать страданий, идти на них, надеть тяжелые вериги, спать на острых камнях.

Но кто в виде «искупления» захочет лечь в смердящую, вонючую, тонкую, жидкую грязь?

А каторга — это грязь, зловонная, засасывающая грязь.

* * *

Мне остается сказать еще об их отношениях к невинно осужденным.

К тем, относительно кого они уверены, что

человек страдает напрасно.

Такие есть на Сахалине, как и во всякой каторге.

На арестантском языке они называются: «От сохи на время».

Каторга относится к ним с презрением.

Нет! Это даже не презрение. Это ненависть, это зависть к людям, не мучающимся душой, выражающаяся только в форме будто бы презрения.

Это ненависть подлеца к честному человеку, мучительная зависть грязного к чистому.

И положение этих несчастных — положение горькое вдвойне.

Им не верят честные люди, их презирает и ненавидит мир отверженных…

И в этой ненависти сказывается все то же страдание преступной души, мучимой укорами совести.

Преступники и суд

У обвиняемого не оказалось копий обвинительного акта: копии эти они извели на «цыгарки».

Из отчета об одном процессе в Елисаветграде

— Вот область! — волос дыбом встанет.

— Боже, и это граждане, которые незнанием законов отговариваться не могут?!

Даже наиболее опытные из них, бывалые, которым уж, казалось бы, надо это знать, и те плохо понимают, что делается на суде.

Я просил их передать мне содержание речи прокурора — кажется, должны бы вслушиваться?! — и, боже, что за чепуху они мне мололи.

Один, например, уверял меня, будто прокурор, указывая на окровавленные «вещественные доказательства», требовал, чтобы и с ним, преступником, поступили так же, то есть убили и разрезали труп на части.

Большинство «выдающихся» преступников, как я уже говорил, преувеличивают значение своего преступления и ждут смертного приговора.

— Да ведь по закону не полагается!

— А я почем знал!

А кажется, не мешало бы осведомиться, идя на такое дело.

Неизвестность, ожидание, одиночное предварительное заключение, все это разбивает им нервы, вызывает нечто вроде бреда преследования.

Все они жалуются на «несправедливость».

Преступник окружен врагами: следователь его ненавидит и старается упечь, прокурор питает против него злобу, свидетели подкуплены или подучены полицией, судьи обязательно пристрастны.

Многие рассказывали мне, что их хотели «заморить» еще до суда.

— Дозвольте вам доложить, меня задушить хотели!

— Как так?

— Посадили в одиночку, чтобы никто не видал. Никого не допущали. Пищу давали самую что ни на есть худшую, вонь, — нарочно около «таких мест» посадили. Думали, задохнусь.

Предания об «отжитом времени», о «доформенных» порядках крепко въелись в память нашего народа.

Только этим и можно объяснить такие чудовищно нелепые рассказы:

— Хозяйку-то[66] следователь спервоначала забрал, да она обещалась ему три года в кухарках задаром прослужить, без жалованья. Он ее и выпустил. Потом уже начальство обратило внимание, опять посадили.

Привычка к «системе формальных доказательств» пустила глубокие корни в народное сознание, извратила его представления о правосудии.

— Не по правоте меня засудили! Зря! — часто говорит вам преступник.

— Да ведь ты, говоришь, убил?

— Убить-то убил, да никто не видал. Свидетелей не было — как же они могли доказать? Не по закону!

Эта привычка к так долго практиковавшейся «системе формальных доказательств» заставляет запираться на суде, судиться «не в сознании», — многих таких, чья участь при чистосердечном сознании была бы, конечно, куда легче.

Помню, в Дуэ старик-отцеубийца рассказывал мне свою историю.

---

[66] Примечания: 66

Речь идет о хозяйке, нанявшей рассказчика-работника совершить убийство.

Сердце надрывалось его слушать. Что за ужасную семейную драму, что за каторгу душевную пришлось пережить, прежде чем он, старик, отец семейства, пошел убивать своего отца.

Ему не дали даже снисхождения.

Неужели могло найтись двенадцать присяжных, которых не тронул бы этот искренний, чистосердечный рассказ, эта тяжелая повесть?

— Да я не в сознании судился!

— Да почему же ты прямо, откровенно, не сказал все. Ведь жена, сын, невестка, соседи были на суде, могли бы подтвердить твои слова?

— Да так! Думали — свидетелей при убийстве не было. Так ничего и не будет!

Особенно тяжелое впечатление производят крестьяне, «деревенские, русские люди».

У этих не сразу дознаешься, как его судили даже: с присяжными или без присяжных.

— Да против тебя-то в суде сидели двенадцать человек?

— Насупротив?

— Вот-вот, насупротив: двенадцать вот так, а два сбоку. Всех четырнадцать.

— Да кто же их считал? Справа, вот этак, много народу сидело. Чистый народ. Барышни… Стой, стой! — вспоминает он. — Верно! И насупротив

сидели, еще все входили да выходили сразу, придут, выйдут, опять придут. Эти, что ли?

— Вот-вот, они самые! Да ведь это и были твои настоящие судьи!

— Скажи пожалуйста! А я думал, так, купцы какие. Интересуются.

Большинство не может даже ответить на вопрос: был ли у него защитник?

— Да защитник, адвокат-то у тебя был? — спрашиваю у мужичонка, жалующегося, что его осудили «безвинно».

— Абвакат? Нетути. Хотели взять мои-то в трактире одного, да дорого спросил. Не по карману!

— Стой, да ведь тебе был назначен защитник. Задаром, понимаешь, — задаром? И настоящий адвокат, а не трактирный!

— Этого я не могу знать.

— Да перед тобой, перед решеткой-то, за которой ты на суде был, сидел кто-нибудь?

— Так точно, сидел. Красивый такой господин. Из себя видный. Мундер на ем расстегнут. Ходит нараспашку. С отвагой.

Очевидно, судебный пристав.

— Ну а рядом с ним? В городском платье в черном, еще значок у него такой беленький, серебряный, вот здесь?

Мужичонка делает обрадованное лицо — вспоминает:

— Кучерявенький такой? Небольшого роста?

— Ну, уж там не знаю, какого он роста. Говорил ведь он что-нибудь, кучерявенький-то?

— Кучерявенький-то? Дай припомнить. Балакал. Сейчас, как прокурат кончил, и он встал. Пронзительно очень говорил прокурат, твердо. Просил все, чтобы меня на весь век, под землю, — «в корни» его, говорит.

— Ну хорошо, это прокурат. А «кучерявенький-то» что же?

— Тоже говорил что-то. Только я не слушал, признаться. Не к чему мне.

— Да ведь это и был твой защитник, твой адвокат!

— Скажи! А я думал, он из господ. Из судейских!

— Да перед этим-то, перед судом, в тюрьме он у тебя был?

— Кто? Кучерявый?

— Кучерявый!

— Кучерявого не было. Ай был? Ай не был? Был! — наконец вспоминает он. — Верно! Был одново. Спрашивал, есть ли у меня свидетели? Какие же у меня свидетели могут быть? Мы люди

бедные. Нам свидетелей нанять не на что!

Есть ли что-нибудь беспомощнее?

Надо правду сказать, что господам защитникам не мешало бы повнимательнее относиться к своим клиентам «по назначению».

Многие так до суда не знают в лицо своего защитника…

Женская каторга

— Виновна ли крестьянка Анна Шаповалова, двадцати лет, в том, что с заранее обдуманным намерением лишила жизни своего мужа посредством удушения?

— Да, виновна.

Шаповалову приговорили к двадцати годам каторжных работ.

В Одессе ее сажают на пароход Добровольного флота.

— Баба — первый сорт!

— Хороший рейц будет! — предвкушает команда.

В Красном море входят в тропики, где кровь вспыхивает, как спирт.

Женский трюм превращается в плавучий позорный дом.

— Ничего не поделаешь! — говорят капитаны. — Борись не борись с этим, ничего не выйдет. Через полотняные рукава, которые для нагнетания воздуха устроены, подлецы ухитряются в трюм спускаться.

Это обычное явление, и, если этого нет, каторжанки даже негодуют.

Пароход «Ярославль» перевозил каторжанок из поста Александровского в пост Корсаковский. Старший офицер господин Ш., человек в делах службы очень строгий, ключи от трюма взял к себе и не доверял их даже младшим помощникам.

На пароходе «ничего не было».

И вот когда в Корсаковске каторжанок пересадили на баржу, с баржи посыпалась площадная ругань:

— Такие-сякие! В монахи вам! Баб везли, и ничего. Нас из Одессы везли, с нами на пароходе вот что делали!

Женщины лишились маленького заработка, на который сильно рассчитывали, и сердились.

Команда таскает в трюм деньги, водку, папиросы, фрукты, платки, материи, которые покупает в портах.

Молодые добывают. Старухи-старостихи устраивают знакомства.

В трюме площадная ругань, торговля своим телом, кровавые и разнузданные рассказы, щегольство нарядами.

Падшие женщины, профессиональные преступницы, жертвы несчастия, женщины, выросшие в городских притонах, крестьянки, идущие следом за своими мужьями, — все это свалено в одну

кучу, гнойную, отвратительную. Словно живые свалены в яму вместе с трупами.

Некоторые еще держатся.

Эта голодная честность, изруганная, осмеянная, сидит в уголке и поневоле завистливыми глазами смотрит, как все кругом пьет, лакомится, щеголяет друг перед дружкой обновами.

Женщина смотрит с ужасом:

— Куда я попала?

Она теряет почву под ногами:

— Что я теперь такое?

До Цейлона иные выдерживают, а в Сингапуре, глядь, все каторжанки на палубу вышли в шелковых платочках. Это у них самый шик! «Ах вы, такие-сякие! Щеголяйте там у себя в трюме, а на палубу чтоб выходить в арестантском!» — рассказывают капитаны.

И вот пароход приходит в пост Александровский.

Там пароход с бабьим товаром уже ждут.

Поселенцы, так называемые женихи, все пороги в канцеляриях обили.

— Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость, дайте сожительницу!

— Ну, дозвольте взять бабу. Все единственно.

— Да зачем тебе баба? Ты пьяница, игрок!

— Помилте, ваше высокоблагородие, для домообзаводства!

Привезенных баб разместили.

Добровольно следующие с детьми остались дрогнуть в карантинном сарае. Каторжанок погнали в женскую тюрьму.

Перед окнами женской тюрьмы гулянье.

«Женихи» смотрят «сожительниц нового сплава». Каторжанки высматривают сожителей.

Каторжанки принарядились. «Женихи» ходят гоголем.

— Сборный человек, одно слово! — похохатывают проходящие мимо каторжане «вольной», «исправляющейся» тюрьмы.

«Жених», по большей части, «весь собран»: картуз взял у одного соседа, сапоги у другого, поддевку у третьего, шерстяную рубаху у четвертого, жилетку у пятого.

У многих в руках большая гармоника, верх поселенческого шика.

У некоторых по жилетке даже пущена цепочка.

У всех подарки: пряники, орехи, ситцевые платки.

— Дозвольте орешков предоставить. Как вас величать-то будет?

— Анной Борисовной!

— Вы только, Анна Борисовна, ко мне в сожительницы пойдите, каждый день без гостинца не встанете, без гостинца не ляжете. Потому — пронзили вы меня! Возжегся я очень.

— Ладно. Один разговор. Работать заставите!

— Ни в жисть! Разве на Сахалине есть такой порядок, чтобы баба работала? Дамой жить будете! Сам полы мыть буду! Не жизнь, а масленица. Бога благодарить будете, что на Сакалин попали!

— Все вы так говорите! А вот часы у вас есть? Может, так, цепочка только пущена.

— Часы у нас завсегда есть. Глухие с крышкой. Пожалуйте! Одиннадцатого двадцать пять.

— А ну-ка пройдитесь!

«Жених» идет фертом.

— Как будто криво ходите!

Будущие сожительницы ломаются, насмешничают, острят над «женихами».

«Женихи» конфузятся, злятся в душе, но выказывают величайшую вежливость.

Степенный мужик из Андрее-Ивановского, угодивший в каторгу за убийство во время драки «об самый, об храмовой праздник», подавал по начальству бумагу, в которой просил:

«Выдать для домообзаводства из казны корову

и бабу».

В канцелярии ему ответили:

— Коров теперь в казне нет, а бабу взять можешь.

Он ходит под окнами серьезный, деловитый и осматривает баб, как осматривают на базаре скот.

— Нам бы пошире какую. Хрястьянку. Потому лядаща, куда она? Лядаща была, из бродяг. Только хлеб жевала, да кровища у ей горлом хлястала. Так и умерла, как ее по-настоящему звать — даже не знаю. Как и помянуть-то, неизвестно. Нам бы ширококостную. Штоб для работы.

— Вы ко мне в сожительницы не пойдете? — кланяется он толстой, пожилой, рябой и кривой бабе.

— А у тя что есть-то? — спрашивает та, подозрительно оглядывая его своим единственным глазом. — Может, самому жрать нечего?

— Зачем нечего! Лошадь есть.

— А коровы есть?

— Коров нет. Просил для навозу — не дали. Бабу теперь дать хотят, а корову — по весне. Идите, ежели желаете!

— А свиньи у тебя есть?

— И свиньи две, курей шесть штук.

— «Курей»! — передразнивает его лихач и щеголь-поселенец из первого Аркова, самого игрецкого поселья. — Ему нешто баба, ему лошадь, черту, нужна! Ты к нему, кривоглазая, не ходи! Он те уходит! Ты такого, на манер меня, трафь. Так как же, Анна Борисовна, дозволите вас просить? Желаете на веселое арковское житье итти? Без убоинки за стол не сядете, пряником водочку закусывать будете, платок не платок, фартук не фартук. Семен Ильин человек лихой. Даму для развлечения ищет, не для чего прочего!

Прежде хорошенькую Шаповалову взял бы кто-нибудь из холостых служащих в горничные и платил бы за нее в казну по три рубля в месяц. Теперь это запрещено.

Прежде бы ее просто выкликнули:

— Шаповалова!

— Здесь.

— Бери вещи, ступай. Ты отдана в Михайловское, поселенцу Петру Петрову.

— Да я не желаю.

— Да у тебя никто о твоем желании не спрашивает. Бери, бери вещи-то, не проедайся! Некогда с вами!

Теперь, если она скажет «не желаю», ей скажут:

— Как хочешь!

И оставят в тюрьме.

Сожительницы разберутся с «женихами», и останется Шаповалова одна в серой, тусклой, большой пустой камере. И потянутся унылые, серые, тусклые дни.

Хоть бы полы к кому из служащих мыть отправили, может, к холостому. Повеселилась бы.

Я однажды зашел в женскую тюрьму.

Там сидела немка с грудным ребенком.

Жила она когда-то с мужем в Ревеле, имела «свой лафочка», захотела расширить дело.

— Дитя много было.

Подожгла лавочку и пошла в каторгу.

— Дитя вся у мужа осталось.

Здесь она жила с сожителем, прижила ребенка, из-за чего-то повздорила с надзирателем, тот пожаловался, ее взяли от сожителя и посадили в тюрьму.

— Он говорийт, что я украл. Я нишево не украл.

С бесконечно-унылым, тоскующим лицом она бродила по камере, не находя себе места и, приняв меня за начальство, начала плакать:

— Ваше высокий благородий! У меня молока нет. Ребенок помирайт будет. Я от баланда мо-

локо потеряла. Прикашите меня хоть пол мыть отправляйт. Я по дорога зарапотаю…

— Чем же вы заработаете?

— А я…

И она так прямо, просто и точно определила, как именно она заработает, что я даже сразу не разобрал.

— Что это? Нарочно циничная, озлобленная выходка?

Но немка смотрела на меня такими кроткими, добрыми и ясными, почти детскими глазами, что о каком тут «цинизме» могла быть речь!

Просто она выучилась русскому языку в каторге и называла, как все каторжанки, вещи своими именами.

— Ваше высокое благородие! Скашите, чтоб меня хоть на шас отпустили. Один шас!

И так потянулись бы для Шаповаловой долгие, бесконечные дни одиночества: в женской тюрьме никто не живет.

Приведут разве поселенку.

— Тебя за что в тюрьму?

— Сожителя пришила.

— Как пришила?

— Взяла да задавила.

— За что же?

— А на кой он мне черт сдался?! Я промышляй, а он пропивать будет!

— Да ты бы на него начальству пожаловалась!

— Вот еще, из-за таких пустяков начальство беспокоить...

— Что ж теперь с тобой будет?

— А что будет! Будут судить и покеда в тюрьме держать. А потом каторги прибавят и опять кому-нибудь в сожительницы отдадут. А ты за что сидишь?

— Я не хочу в сожительницы идти.

— Дура! Ну и сиди в тюрьме на пустой баланде, покеда не скажешь: «К сожителю идти согласна!» Скажешь, брат! Небось!

Неволить идти к сожителю не неволят теперь, но человеку предоставляется выбор: свобода или тюрьма.

Трудно, конечно, думать, чтобы Шаповалова «заупрямилась». Никто не упрямится.

И вот Шаповалова у поселенца, с которым она столковалась.

Входит в его пустую, совершенно пустую избу.

«Сборный человек» вдруг весь разбирается по частям; сапоги с набором отдает одному соседу, поддевку — другому, кожаный картуз — третьему.

И перед ней на лавке сидит оборвыш.

— Ну-с, сожительница наша милейшая, теперича вы на фарт идите!

— На какой фарт?

— А к господину Ивану Ивановичу. Вы это поскорей платочек и фартучек одевайте. Потому господин Иван Иванович ждать не будут. Живо ему другой кто свою сожительницу подстроит. А жрать нам надоть.

— Да что ж это я на тебя работать буду?

— Это уж как на Сахалине водится. Положение. Для того и сожительниц берем. Да вы, впрочем, не извольте беспокоиться. Я на ваши деньги играну, такой куш выиграю — барыней ходить будете. А теперича извольте отправляться.

— Да ведь я там, в России, за это же самое мужа, что меня продать хотел, задушила!

— Хе-хе! Там Рассея! Порядок другой. А здесь, — что же-с! Ну и задушите! Другой такой же сожитель будет. Все единственно. Потому сказано: каторжные работы. Пожалуйте-с!

Несчастнейшая из женщин

От пристани до поста Александровского около двух верст. Дорога ведет через лесок. Направо и налево от дороги, за канавой, тянется хвойная тайга, здесь повырубленная и довольно редкая. В ямах и ложбинках еще лежит снег, а по кочкам и на прогалинах уже лезет из земли «медвежье ухо». Его желтый лист лезет из-под земли свернутый в трубочку и пышно развертывается, словно хочет сказать: «Любуйтесь, какое я, медвежье ухо, красивое».

— Ах, черт ее возьми! — сказал как-то один из служащих, когда я проходил с ним мимо леска. — Сашка Медведева уж стан свой раскинула. Ишь, и флаг ее болтается. Ах, тварь! В этакий-то холод.

На одном из деревьев болталась грязная тряпка.

Познакомиться с Сашкой Медведевой — это значит стать на одну из последних ступеней человеческого падения.

Сашка Медведева — знаменитость Александровского поста. Ее знают все, а ее клиентами состоят самые нищие из нищих каторги: бревнотаски, дровотаски, каторжане, работающие на

кирпичных заводах. Сашку Медведеву презирают все. Даже самые последние из сахалинских женщин говорят о ней не иначе как с омерзением. Женщина вообще пользуется небольшим почтением на Сахалине; обыкновенно их зовут-таки очень неважным титулом, но для Сашки существует особое наименование, дальше которого уже презрение идти не может…

Сашке около сорока пяти лет. Плоское лицо, по которому и не разберешь, было ли оно когда-нибудь хоть привлекательно. Вечно мутные глаза. Ветер, холод, непогоды «выделали» кожу на ее лице, и кожа эта кажется похожей на пергамент. Одета Сашка, конечно, в отрепье.

Зимой эта почти уже старуха валяется по ночлежным домам в Александровских слободках — по этим ужасным ночлежным домам, содержимым бывшими тюремными майданщиками. Эти ночлежные дома и по обстановке совсем тюрьмы. Те же общие нары вдоль стен, где вповалку спят мужчины, женщины и дети. Здесь же валяется и Сашка Медведева, «припасая» назавтра на выпивку.

Но как только в воздухе повеет холодной и унылой сахалинской весной, Сашка переселяется в тайгу близ бойкой и людной дороги от пристани

к посту; здесь, по образному выражению господ служащих, «разбивает свой стан» и выкидывает свой флаг — вешает на одном из деревьев около дороги тряпку.

Это условный знак. И вы часто увидите такую сцену. Идет себе как ни в чем не бывало по дороге каторжанин из «вольной тюрьмы», дойдет до дерева с «флагом», оглянется — нет ли кого, грузно перепрыгнет через канаву и исчезнет в тайге.

А Сашка сидит целый день на полянке, иззябшая, продрогшая, и поджидает посетителей. Проводя время в лесу, Сашка одичала и, если увидит какого-нибудь вольного человека, не каторжника, бежит от него так, как мы побежали бы, встретившись с каторжником. Если Сашке приходится нечаянно встретиться с кем-нибудь нос с носом, она боязливо пятится, и тогда в ее мутных глазах отражается такой страх, словно ее сейчас исколотят.

Контрибуция, которую она берет со своих нищих посетителей, колеблется от двух до трех копеек. Много ли зарабатывает Сашка? Копеек двадцать в день, а в такие дни, когда, например, в ближних Александровских рудниках углекопам выдают «проценты» за добытый и проданный уголь, тогда заработок Сашки доходит копеек

до сорока.

Такова Сашка Медведева, эта человеческая самка, существующая для нищих каторги.

Вы думаете, однако, что коснулись ногой уже последней ступени человеческого падения. Нет. Бездонна эта пропасть, и трудно сказать, где та грань, ниже которой не может уже пасть человек.

И у Сашки есть человек, к которому она может относиться с презрением.

Это бродяга Матвей. Ее сожитель. На что нужен он Сашке — трудно понять. Может быть, это просто какая-то бессознательная привычка иметь «друга». Все отношения между ними ограничиваются, кажется, только тем, что они дерутся.

Для бродяги Матвея Сашка — средство к существованию.

Под вечер Сашка сидит на полянке и пересчитывает добытые за день деньги. Шестнадцать копеек. Еще два посетителя — и можно будет отправиться в какой-нибудь из притонов на базаре и в задней комнатке медленно, цедя через зубы, выпить большую рюмку сильно разбавленного водой спирта.

В тайге послышался треск сучьев. Кто-то идет. Сашка насторожилась. Треск ближе и ближе.

Между деревьями, осторожно ступая, крадучись, показывается Матвей. Сашка моментально вскакивает на ноги и бросается в тайгу.

— Стой, дьявол! — кричит Матвей и кидается за ней.

Уж из этого манера он понял, что у Сашки есть деньги.

И начинается бегство, травля, погоня озверевшего человека за оскотинившимся. Борьба двух человеческих существ за то, кто сегодня выпьет рюмку водки.

Сашка бежит по тайге, старается укрыться в чаще, кружит около деревьев, пока, зацепившись за кочку, истерзанная, изодранная колючими ветвями, не падает на землю. Матвей наваливается на нее, бьет по чем ни попадя и вопит:

— Отдай деньги!

— Не дам! Не дам! — кричит Сашка и крепко зажимает в кулаке свои шестнадцать копеек.

Из носа у нее идет кровь. Матвей бьет ее кулаком по лицу. Но Сашка не разжимает кулака. Матвей ломает ей пальцы, давит ее коленами, крутит руки, — пока наконец от нестерпимой боли Сашка не разжимает кулака. Деньги теперь в кулаке Матвея.

Ударив ее еще раз, усталый Матвей поднимает-

ся. Но Сашка моментально вскакивает и, словно собака, схватывает его зубами за руку. Матвей оттаскивает ее за волосы, кидает на землю и изо всей силы ударяет ногой в живот:

— Сдыхай, проклятая.

Сашка валится замертво. В кровь избитая, окровавленная Сашка приходит в себя, потому что кто-то толкает ее ногой.

— Вставай, что ли. Да утрись хоть, окаянная. Погляди, на что рожа похожа.

Перед ней «посетитель». Сашка принимается вытирать слезы, кровь и грязь, смешавшиеся на ее лице.

Я не раз спрашивал себя: что это за отношения? Что ей этот Матвей? Сожитель? Друг? Человек, к которому она привыкла?

Сама Сашка отлично определила это в разговоре со мной:

— Постоянный грабитель.

Так и живут на свете Сашка с ее «постоянным грабителем».

И это тоже называется «жизнью».

Добровольно следующие

— Земля-с у нас на Сахалине кровью впитана, бабьей слезой полита. Нешто может после этого на ней что расти?! — говорил мне один старый поселенец.

В истории сахалинской каторги есть страница, написанная кровью и слезами. Это страница о женах, добровольно следующих за мужьями в каторгу.

Пароход, везущий каторжан, подходит к Адену.

Из трюмов принесли гору — штук шестьсот — незапечатанных писем на родину.

«А еще извещаю вас, любезная супруга наша, — пишет после бесчисленных „поклонов“ арестант, „осужденный на двенадцать лет в работу“, — прибыл я на Сахалин благополучно, чего и вам от души желаю. Семейным здесь очень хорошо. Землю дают по двадцать десятин на душу, пару быков, корову, пару свиней, овец четыре головы, шесть курей и на первый раз пятьдесят мер пшеницы для посева и хату. За нами едет 1000 человек вольных поселенцев. Так здесь хорошо. Начальство доброе и милостивое, и сейчас же спросили, скоро ли вы, супруга наша, приедете.

И коль скоро вы приедете, меня сейчас же из тюрьмы выпустят и мы будем жить по-богатому. А покуда вы не приедете, должен я в тюрьме томиться».

И десятки людей, когда пароход еще только подходит к Адену, отписывают в деревню, как они прибыли на Сахалин благополучно и какие там богатства ждут семейных.

Это все Васька Горелый мудрит.

Васька — «обратник». Был сослан на Сахалин, бежал, на бревне переплыл бурный Татарский пролив, «дох с голода» в тайге, добрался до России, совершил новое преступление, попался. Впереди у него бессрочная, прикование к тачке, плети. В тюрьме он ведет игру в самодельные карты, шулерничает, дает как человек бывалый советы новичкам «насчет Сахалина», берет за это с них последние гроши, копит деньги, чтоб занять потом в кандальной тюрьме почетное положение, сделаться «отцом», то есть ростовщиком.

В каждом трюме имеются «обратники», и они-то рассказывают каторжанам насчет Сахалина.

Выписка жен — часто спекуляция.

— Главное, чтобы жена поскорей приезжала. Жена приедет — сейчас выпустят для домообзаводства. В тюрьме маяться не будешь, дура!.. —

наставляют «обратники».

— Ты ей так валяй, будто уже приехал. И про курей, и про свиней, и сколько на посев дают! Для вас, для чалдонов, это первое! Чалдонье желторотое!

«Чалдон» — слово сибирское, означает вольного человека, оседлого. Оно переносится и на всякого, кто имеет дом, семью, хоть какой-нибудь достаток, хоть что-нибудь на свете. И в том, как беглый каторжник, «варнак», произносит это «чалдон», — слышится много ненависти даже к маленькому достатку, много презрения бездомного бродяги ко всему, что зовется домом, семьею…

— Про курей, про курей не забудь написать! Скорей приедет! — глумится «обратник», диктуя письмо писарю.

В каждом трюме есть свой писарь, который сочиняет письма неграмотным.

Во втором трюме письма пишет бойким, красивым писарским почерком бродяга Михаил Иванов, из парикмахеров, — «чиркнул одного по горлу и потому звание теперь скрывает».

Бродяга Иванов пишет письма «все под одно», под диктовку Васьки Горелова, с которым они работают пополам, в одних и тех же выражениях

описывает прелести сахалинского житья.

А в четвертом трюме сидит настоящий художник по части писем. Хорошо грамотный полячок — столяр, сосланный за гнусное преступление, совершенное над родной сестрой. Он пишет кудревато:

— «Склоняю свою буйную головушку на ваши дорогие коленки и целую ваши сахарные ножки, ваши белые, ненаглядные ручки».

Бедная, бедная Матрена Никонова Тульской губернии Епифанского уезда сельца Зиборовки! В какое недоумение она должна прийти, когда ей прочтут по складам, что ее «мужик» Степан целует ее ножки — да еще «сахарные»!

Сколько тоски, тоски недоумения будет у нее на лице, когда ей станут читать эту вычурную галиматью.

Бедная, бедная, неграмотная Русь.

Сколько спекуляции, но и сколько истинной захватывающей тоски в этих письмах к женам. Каким страстным, отчаянным призывом они полны:

— Приди!

Одни умоляют, заклинают:

— «Вспомните клятву вашу в церкви и как вы мне страшную клятву давали в тюремном замке,

чтоб беспременно приехать. Не слушайте никого, поезжайте в город, супруга наша, и заарестуйтесь!»

Умоляют, заклинают и пишут на «вы», потому что русский человек в письмах любит вежливость.

Другие грозят:

— «Приезжайте, потому что нам известно от начальства, если только жена не согласится следовать за мужем, можно жениться».

Молодой солдат, сосланный за преступление на военной службе, описывает даже жене:

— «А если не приедешь, назло тебе такую здесь на Сакалине себе кралю возьму, что на тебя плюнуть слюней будет жалко!»

Некоторые угрожают «прийти»:

— «Если не приедете, до свидания, Аннушка. Я все-таки думаю вас видеть. Хоть не скоро увижу. Не близко — а приду».

Но больше все-таки молят, просят. Чем только не соблазняют эти томящиеся люди своих жен:

— Приди!

Один успокаивает:

— «Только в народе несправедливо говорят, что из моря показывается фараон, половина туловища рыбного, половина человечьего, и

с ним чудища. Ничего этого нет. Поезжайте, не бойтесь!»

Другой советует ехать «даже для здоровья»:

— «Будете на пароходе купаться. Вода хоть и солона, но очень полезна, — если человек болен, то может поправиться на этой воде, всякую боль выгоняет из нутра».

Как это ни странно, но очень многие стараются соблазнить жен даже… фруктами:

— «Апельсины, которые вы так любите, здесь нипочем, а в Суэске (Суэц) я даже купил десяток лимонов за две копейки. Лимоны прямо задаром!»

И над всеми этими страстными, захватывающими, словно предсмертной мольбы полными призывами, над этими наивными соблазнами, — царит, владычествует ложь про «привольное, богатое сахалинское житье».

Право, это могло бы показаться мне выдумкой, если бы я сам не списал этих фраз из арестантских писем:

— «Не знаю, как Бога благодарить, что я попал на Сахалин».

— «Житье здесь — одним словом, не работай, ешь, пей душа, веселись!»

И все это сочиняется и посылается в деревню

месяца за полтора до приезда на Сахалин, по рассказам, по советам «обратников».

И читаются эти письма по деревням. И идут в город и «заарестовываются», и начинается мученическая жизнь.

Что заставляет этих женщин бросать родину, близких, «заарестовываться», «садиться в острог», бродить по этапам, — что заставляет этих женщин, для которых мир кончается за соседним селом, пускаться в плавание «на край света», через моря, «через океаны, полные чудовищ», ехать в страну чужую, дальнюю, страшную? Любовь?

— Она проклятая!

Этот ответ вы услышите от «добровольно последовавших» редко.

Чаще услышите:

— Тоже невелика радость, апосля, как такое стряслось, на селе жить. Глаз не покажешь! Одних попреков-то не оберешься. Всяк тебя срамит, всяк паскудит: «Каторжница! Муж каторжник!» Бежала бы, куда глядят глазыньки.

Часто услышите также:

— Да ведь что он, подлец-то, писал! Какие такие чудеса! Сакалин да Сакалин! Думала, есть у него, аспида, совесть. Чужого человека погубил — может, своих-то губить не захочет. Поверила.

Поехала, думала, и впрямь жить будет… А тут… Вон он тебе и Сакалин!

И бедная баба с отчаянием оглядывает кое-как сколоченную хату, пустой двор, на котором «ни курочки», ребятишек, которые пищат:

— Мамка! Есть хоцю!

А в доме — ни крошки.

Очень многие едут по чувству долга:

— Раз Бог соединил, ничто уж разлучить не может.

— Клятва дана, в церкви венчаны — значит навсегда…

Очень многие едут в надежде «на новых местах» на новую жизнь, спокойную, трудовую, зажиточную. На старом месте грех вышел, жизнь разбита. На новых местах их никто не знает, они никого не знают:

— Ровно вчера родились! Живи.

Земли вволю, на обзаведение все дадут. Все будут работать не покладая рук. А тут…

«Добровольно следующих», как я уже говорил, отправляют почему-то осенним рейсом, самым трудным.

Пароход приходит на Сахалин, в пост Александровский, нашей поздней осенью, сахалинской ранней зимой.

Вот картина прибытия «добровольно следующих», как описывает ее мне в письме супруга одного из сахалинских врачей:

— «Мне пришлось посетить (добровольно последовавшие семьи) в карантинном сарае, когда они по прибытии сюда сидели в этом ужасном месте в ожидании, пока их разберут родственники. Многим из них приходилось сидеть очень долго, пока наводились справки, где находятся мужья этих несчастных жен. Сахалинская пурга (вьюга) была в этот день во всей своей силе. Крутило и рвало так, что в двух шагах не видно было ничего. Мы еле добрались до сарая. Этот сарай, как вы знаете, на берегу моря, но моря видно не было, были слышны только вой, крик, гул какой-то. Никакого ада злее выдумать нельзя, а у многих из этих бедных жен и детей не было ничего, кроме лохмотьев. Сарай был буквально набит народом. Когда мы вошли с доктором Н., то все ринулись к нему с расспросами: „Нашелся ли муж? Где муж? Когда возьмет?“ Дети пищат: „Нашел тятьку? Где он? Когда придет?“ А эти тятьки и мужья когда-то еще найдутся, да и, отыскавши их, невелико счастье обрящешь…»

Тем, у кого мужья на юге Сахалина, приходится целую зиму — студеную, жестокую сахалинскую

зиму, — до первого весеннего рейса жить в посту Александровском на казенном «пайке», которого еле-еле хватает, чтобы не умереть только с голода.

— А одеться, а обуться нужно? А детишек обуть, одеть?

— Как же живут?

— Да так и живут!

Те, кого вы спрашиваете, только машут рукой.

На посту Александровском я проезжал мимо складов. Смотрю: куча баб, и начальник тюрьмы пайки им раздает.

— Что за народ?

— Добровольно следующие. Завтра на «Байкале» в Корсаковск к мужьям идут.

— Когда же их привезли?

— Привезли-то еще в прошлом году в ноябре. Да тогда уж пароходного сообщения с Корсаковским не было. Вот и оставили их зимовать до первого весеннего рейса в Александровске.

— Да ведь пароход, который их привез, мог сначала в Корсаковск зайти?

— Мог-то мог, да такой уже порядок, чтобы всех добровольно следующих сначала в Александровск доставлять, а отсюда уже рассылают.

Изголодавшиеся, исхолодавшиеся из-за «та-

кого порядка», неизвестно для чего целую зиму просидевшие в Александровском, бабы, ворча и ругаясь, увязывали в платки «пайки». Всё валили вместе: крупу, рыбу, хлеб.

— Ты бы, тетка, поаккуратнее!

— Нечего тут разбирать! Всё в один день спахтаем! Отощавши. Сакалин, чтобы ему пусто было!

Невдалеке одна из баб сидела, разливалась, плакала.

— Чего она?

— Известно, к мужу идти не хотца! Набаловалась за зиму-то!

— Набалуешься, как с голоду дохнуть придется да с холоду!

— Как теперь мужу покажется?

Баба была в интересном положении.

— Ох, убьет он меня, родныя! Ох, конец моей жизнюшке! — ревела несчастная женщина.

А рядом с ней другая причитала по другому поводу.

— И на что я теперь на этот Сакалин попала? В Рассеюшку бы!

— Да ведь сама ехала!

— Да разве я для себя ехала? Для детей всё. Сама-то я одна завсегда себе пропитание найду, в работницы пойду. А с детьми куда я денусь? Из-за

детей сюда и ехала.

— Ну а где же дети?

— Примерли. Двое меньшеньких на пароходе померли, а старшенький здесь, в Александровском посту, по зиме помер. Сирота я горькая, чего я теперь к моему аспиду пойду? Провались он пропадом!

Я был при отходе этого парохода «Байкал».

На пристани одна баба рвала на себе волосы, рыдала навзрыд. Плакали дети. А около стоял поселенец, убитый, растерянный, мял в руках картуз и повторял:

— Так что уж прощайте!..

А у самого глаза были полны слез.

— Господи! Господи! — вопила баба. — За что казнишь? Этакого-то человека, хорошего, да доброго, да смирного, да работящего, кидать должна! К идолу идти, к убивцу! Чтоб опять он меня смертным боем бить зачал, детей калечил! От такого-то человека! Меня-то как любил! Детям моим лучше родного отца был!

— Так что уж прощайте… Так что уж прощайте! — побелевшими, дрожащими губами повторял поселенец.

— Эка баба-то какая горькая! — сказал мне один служащий. — И там, в России, подлец муж жизнь

разбил, и здесь нашла было счастье, полюбила человека, — бросать должна.

— Так нельзя ли как-нибудь… Ну, не отправлять ее к мужу…

— Невозможно. За мужем пришла, к мужу и должна идти. Порядок!

И вот эти «добровольно следующие» после всех мытарств «поступают» наконец к мужьям, которых они спасли от тюрьмы ценой собственной жизни, страданий, мучений.

Кто же приходит к ней из тюрьмы вместо ее Стяпана, мужика, приговоренного за нанесение смертельных побоев в пьяном виде?

Выходит «жиган», «игрок», готовый проиграть и ее, и себя.

Выходит «хам», самое презираемое существо даже в каторге. Наголодавшееся, отощавшее, полулопомешанное от голодной жадности существо, готовое за одну копейку на все.

Выходит представитель несчастной «шпанки», изолгавшийся, изворовавшийся, забитый, трусливый, несчастный.

И ей, шедшей за мужиком Стяпаном, придется жить с «жиганом», с «хамом», со «шпанкой».

Есть исключения. Люди, которые ухитряются «уцелеть» в тюрьме, выйти из них такими же

Стяпанами, как вошли. Их спасет эта надежда.

— Приедет жена, приедут дети. Будем жить.

И среди грязи и ужаса каторги эта надежда их хранит и спасает.

Но это только исключения.

Они спасены, но какой ценой: Сакалин жизнь за жизнь требует, страна уж такая! — как говорят здесь.

А сколько напрасных жертв! Сколько напрасно загубленных жизней!

«Добровольно следующую» с мужем отправляют на поселенье.

— Ни лошаденки, ничего! — слышите вы от поселенок, «добровольно последовавших», в глухих, голодных сахалинских посельях. — Дадут тебе мотыгу (род заступа), много ли земли намотыжишь? Какая это пашня!

— Просили бы лошадь.

— Лошадей не дают, нету. Просили, просили — насилу коровенку в рассрочку выпросили. Да и ту бродяги зарезали. Теперь и коровы нет, и деньги в казну каждый месяц плати!

Это как нельзя более частая жалоба.

Итак, нищенское хозяйство еле-еле идет, а тут, что есть, последнее беглые, бродяги разоряют.

В конце концов ссыльнокаторжная — это по-

всеместно предмет зависти для «добровольно следующих».

— Им и паек, им и все. А нам что? Им ли не житье? Гуляй — не хочу. Отдадут сожителю, не понравится ей — уйдет, другого дадут!

Жить — вечно дрожать, что любимого человека, за которым пошла на каторгу, каждую минуту могут выпороть, по первому капризу, первой жалобе заковать и посадить в кандальную. Изругать последними словами за то, что он не снимает шапки перед каким-нибудь возвращающимся из клуба служащим, а он должен стоять в это время без шапки, дрожа от бессильного бешенства и страха, и говорить:

— Простите, ваше высокоблагородие!

Видеть ежечасное, ежеминутное унижение любимого человека, тяжкое, часто гнусное.

Слава богу, что на Сахалине мало «добровольно следующих» интеллигентных женщин.

В посту Александровском вы встретите маленькую, миниатюрную женщину, скорее ребенка, с детским лицом, по-девичьи заплетенной косой. На вид ей лет семнадцать.

— Должно быть, дочь кого-нибудь из служащих?

— Нет, это жена ссыльного каторжного Э.

Этот ребенок здесь, среди каторги. Ей бы, казалось, еще жить под крылышком у родных. А между тем жизнь этого ребенка такая трагедия, какой не вынести и большому-то, пожившему человеку.

Ее жених, совсем еще юноша, убил своего товарища.

— Совершив это под влиянием мозгового увлечения! — как довольно витиевато объясняет он.

Его приговорили на двадцать лет каторжных работ.

Их любовь была «детской любовью»: они оба еще учились.

Но этот ребенок пожелал следовать за своим несчастным женихом. И решимость принести себя в жертву была так велика, что родителям молодой девушки пришлось уступить. Она выхлопотала себе разрешение следовать на том же пароходе, на котором отправляли ее жениха.

Это стоило большого труда. Это «не по правилам».

В Одессе молодой девушке объявили:

— Вы можете отправляться только со следующим пароходом. С этим — ни под каким видом.

Эта юная, со школьной скамьи девушка бросилась хлопотать, просить, умолять, — и добилась

своего. Одесский градоначальник приказал взять ее на пароход.

Что это было за путешествие — можете судить.

И так-то тяжело ехать пассажиром на «каторжном» пароходе. Тяжко плыть под это неумолчное громыханье, лязг кандалов, которые доносятся из трюмов.

А слушать эту неумолчную, страшную песню, зная, что в этом хоре звенят и его кандалы. Ходить по палубе, зная, что там, под ногами, в трюме, среди серых халатов и наполовину бритых голов, среди людей, потерявших человеческий облик, томится любимый человек.

— Она меня спасла! — говорил мне Э. — Без нее я бы погиб. Чтобы мне было полегче, меня перевели в лазарет. И вот в Сингапуре ко мне входит конвойный.

В Сингапуре пароход пришвартовывается прямо к пристани, спускаются сходни. Близость земли дразнит каторжан. Конвойный предложил Э.:

— Слушай, за мной есть преступление. Как только пароход придет во Владивосток, меня сдадут под суд, а военный суд не помилует. Мне остается одно — бежать. Хочешь бежать вместе? Один я здесь, в чужой земле, пропаду, я человек

без языка. Ты человек с языком, знаешь по-ихнему, — вместе не пропадем. Сегодня ночью я буду стоять на часах у лазарета — вместе и уйдем.

— Какая жажда свободы проснулась! — говорит Э. — Даже голова закружилась. Да как вспомнил, что здесь она, что она мне всю жизнь отдала. Что я собираюсь делать? И ответил конвойному: «Нет».

Побег, конечно, не удался бы. Английские власти живо поймали бы беглецов и доставили обратно. А тогда — вечная каторга, плети.

— Если бы не она — погиб бы я.

Несчастный Э. прав. Она и в каторге здесь, на Сахалине, его спасла — но какой ценой?

— Сакалин! Жизнь за жизнь ему отдать надо. Такой уже порядок! — вспоминается поговорка каторжан.

По прибытии на Сахалин Э. поместили как долгосрочного в кандальную тюрьму, а молодую девушку приютила семья доктора Л.

И началась «жизнь» с маленькими, грустными праздниками: получасовыми свиданиями по воскресеньям в тюрьме.

Ждали, пока Э. выпустят из кандальной. Но тут в дело вмешалась сахалинская администрация. Она поняла разрешение следовать за жени-

хом так:

— Значит, мы должны их немедленно перевенчать.

Молодой девушке было предписано:

— Или немедленно венчаться, или уезжать.

Свадьба состоялась в Александровском соборе. Жениха с конвойными привели из кандального отделения.

Это была картина венчанья среди слез — венчанья, на котором все плакали.

— До сих пор, как вспомню, сердце переворачивается! — рассказывает мне жена доктора.

Из церкви «молодые» зашли в дом доктора Л., напились чая, а через десять минут Э. снова отправили в кандальную. Брачный пир был кончен.

Госпожа Э. осталась жить в семье доктора.

Свидания с мужем, как раньше с женихом, по-прежнему происходили по воскресеньям в тюрьме.

Чего-чего не вынесла эта маленькая страдалица-«новобрачная».

Она ученица консерватории, отличная пианистка, которой сулили блестящее будущее, и она должна была ходить играть на вечеринках у господ служащих. Играть им танцы, аккомп-

панировать их пению — все это, конечно, «из любезности».

— Ну чего вы идете? — говорят ей, бывало, в семье доктора Л. — До того ли вам? Вы посмотрите. Извелись совсем, на себя не похожи…

— Нельзя, нельзя! — отвечает она. — Присылали звать. Могут на меня обидеться — и на «нем» вымещят!

Кто был на Сахалине, кто видел, как дрожат несчастные женщины за своих бесправных мужей, тот поймет, каким ужасом, вероятно, сжималось сердце бедняжки при одной этой мысли.

И она шла играть.

Господа служащие считали неудобным подавать руку «жене ссыльного каторжного», и она, приходя на вечеринку играть «из любезности», делала общий поклон и немедленно садилась за пианино, ожидая приказания:

— Играйте!

Особенно ее допекало всесильное лицо — правитель канцелярии, и тогда уже душевнобольной, вскоре затем посаженный в сумасшедший дом.

— Послушайте, как вас! — говорил он обыкновенно с юпитерским величием. — Играйте то-то! Не так скоро! Играйте медленнее. Теперь играйте веселее! Что вы черт знает как играете!

Она плакала и играла. Играла, низко наклонясь к клавишам, чтобы не заметили слез.

— Еще обидятся.

И все для «него».

Это длилось несколько месяцев. Как вдруг на Сахалин приезжает из Петербурга очень влиятельное лицо.

В честь приезжего в Александровске, в пожарном сарае, обычном месте спектаклей, был устроен господами служащими любительский спектакль и танцевальный вечер. На спектакле в качестве музыкантши была и госпожа Э.

Влиятельный гость, перед которым все преклонялись, вошел, оглянув собравшихся, заметил стоявшую у пианино госпожу Э., направился прямо к ней и сказал:

— Здравствуйте, мое дитя!

И… поцеловал ей руку.

Он знал ее по Петербургу.

Все изменилось в один момент. Госпожа Э. была окружена женами господ служащих. При встрече с ней после этого уже издали снимали фуражки. Все наперерыв выражали ей свое внимание и заботливость.

Ее муж вскоре был выпущен из тюрьмы. Ему поручили заведывать метеорологической стан-

цией и дали даже маленькое жалованье. Ей дали место учительницы.

Они живут в крошечной, уютной квартирке при здании метеорологической станции и школы. У них есть ребенок.

Украшение их квартирки — это великолепное пианино, которое прислали ей родные из России. Под пианино в венке из колосьев портрет ее великого учителя — А. Г. Рубинштейна.

Музыка — это все, что красит ее жизнь в долгие-долгие сахалинские зимние вечера, когда за окном стонет и крутит пурга, а несчастный муж сидит и рисует или пишет стихи.

Музыка, строгая, классическая, ее единственная радость после ребенка, и играет она так, как не играет, может быть, никто. Только очень несчастные люди могут очень хорошо играть. В ее игре чудится столько страдания, и горя, и муки, и слез…

Они счастливы, как можно быть счастливым на Сахалине. Но то, что пережито, навек испугало ее. Этот испуг светится в ее детских глазах. Вся жизнь ее — трепет. Трепет за него.

Легкомысленный, еще мальчик, — он любит немножко «позволить себе», как говорят на Сахалине, — пройтись по улице со знакомым

служащим или приезжим. И надо видеть ее в такие минуты.

Ведь впечатление от приезда «влиятельного лица» уже улеглось. Мало ли на кого, мало ли на что может нарваться ее муж. Не понравится какому-нибудь служащему, что ссыльнокаторжный так «свободно» разгуливает. Поклонится он по легкомыслию недостаточно почтительно какой-нибудь мелкой сошке. Кандальная недалеко, и ссыльнокаторжные подлежат телесным наказаниям.

— Я пойду вместе с вами! — говорит Э.

И эта маленькая женщина как-то вся пугливо сжимается, словно ужас ее охватывает, вот-вот сейчас ударят.

И перед посторонним человеком его в неловкое положение ставить не хочется. Она деликатна по природе, деликатна до бесконечности. И за него она боится.

— Мне нужно тебе сказать два слова! — старается она его отозвать в сторону.

— Вечно у тебя секреты. После скажешь.

Даже зло берет: «Ведь за тебя же боятся! Как ты этого понять не хочешь!»

— Молод еще, никак понять не может, что он уже ссыльнокаторжный! — как объяснял мне

один старый служащий.

Стараешься уже прийти к ней на помощь:

— Знаете ли, я лучше один пойду, мне к такому-то еще зайти надо.

— Вот и отлично, и я к нему зайду.

Наконец она кое-как оттаскивает его в сторону, что-то быстро-быстро шепчет с умоляющим видом, и он, немного покраснев, говорит:

— Знаете ли, я действительно потом один приду… У меня тут еще дельце одно есть…

Слава тебе господи!

Странную пару представляют они.

Он, способный, даже талантливый, но как-то поверхностно, все быстро схватывает, все быстро ему надоедает, дилетант, считающий себя гением. Он любит попозировать, порисоваться всем: стихами, рисунками, даже своим преступлением. Он считает себя человеком необыкновенным и спокойно принимает ту человеческую жертву, которая ему приносится.

Она тихая, трепещущая, робкая, бесконечно деликатная, скромная, словно не сознающая, в своей деликатности и скромности, величия той жертвы, которую она приносит.

Он любит ее, но иногда капризничает, «командует». Она думает только о нем, ухаживает за

ним, словно за тяжелобольным, и никогда никому не жалуется на долю, которая выпала ей.

Когда она говорит об их сахалинском житье, она старается счастливо улыбнуться. И эта «счастливая улыбка» на бледном, печальном лице — словно слабый луч света на мглистом, облачном осеннем небе.

Если разговор идет при нем, а они неразлучны, эта женщина-ребенок смотрит за ним, как за ребенком, — она спешит взглянуть на него своими испуганными глазами, словно боится:

— Не заметил ли он, что ей тяжело?

Только раз, да и то без него, у нее вырвалось слово, которое перевернуло мне сердце.

Я привез ей поклон от корабельного инженера — она из семьи моряков, — который знал ее маленькой.

— Кланяйтесь и ему от меня. Вы его увидите, а я… я ведь никогда.

Она спасла своего «жениха».

Но стоит ли его жизнь такой жертвы?

И когда я пишу теперь об этой мученице, мне стыдно за мою бедную прозу. Она стоила бы того могучего стиха, которым написаны «Русские женщины».

* * *

— Это что за женщина?

— Сожительница ссыльнокаторжного! — презрительно говорит служащий.

— Здесь получил?

— Нет, из России пришла. Гувернанткой она у него была. Семья-то за Г. пойти не захотела, а гувернантка пошла, подавала прошение, — разрешили в виде исключения. Ребенок у них тут есть.

— А как живут?

— Как с ним можно жить! Тьфу, а не жизнь.

Этот Г. занимал очень важное общественное положение. Он сослан за очень скверное преступление.

— Каторга — ужасная вещь. Словно щипцы, которыми колят орехи. Она удивительно «раскусывает» человека. Раскусит всю эту скорлупу, которая называется общественным положением, и видит сразу, было ли какое-нибудь зерно или одна труха.

Этот Г., как я уже говорил, удивительно пришелся в каторге «по месту».

Занимается мелкими мошенничествами, пьянствует, его любимое общество — каторжа-

нин-грек, сосланный за грабежи, специалист по взлому касс, ничем другим в своей жизни не занимавшийся.

Сожительница, пошедшая за ним на Сахалин, спасла Г. Без нее сидел бы он в кандальной тюрьме и при его замашках натерпелся бы всего. Благодаря ей он живет на свободе, своим домом, пьянствует.

А она живет, всеми презираемая сожительница, интеллигентная женщина, которой приходится проводить время в обществе громил, за водкой повествующих о своих похождениях.

Живет и не жалуется.

— Пожалуйся! Бьет он ее, когда пьяный!

— У нас была тут одна интеллигентная женщина, добровольно последовавшая за мужем, Добрынина. Окончила гимназию она, — рассказывала мне жена начальника округа в селенье Рыковском, — умерла, бедняжка, от воспаления почек. На новое их поселье послали. Там, в землянке, и умерла. Где же женщине такое вынести.

Знаете ли вы, что такое новое сахалинское поселье?

Кругом тайга, хвойная, мертвая сахалинская тайга. Молчаливая. Ни шороха, ни звука. Только дятел нет-нет застучит, словно крышку гроба

заколачивают. Жутко, тихо. Ветер сбил в колтуны вершины сосен.

Кому-то из господ служащих показалось, что здесь хорошо будет устроить поселье. Его назовут по имени и отчеству инициатора: каким-нибудь Петро-Ивановским или Афанасьево-Михайловским.

Сюда, в этот девственный лес, пробираясь по валежнику, по тундре, приходит партия поселенцев. Редко с пилами — пил обыкновенно не хватает. С топорами и с веревками — вот и всё для борьбы с тайгой.

Ночуют под открытым небом. Валят деревья и мастерят землянки. Кое-как из стволов сколачивают срубик, для теплоты обкладывают землей, в виде крыши наваливают валежник. И в этих темных берлогах спят, днем выходя на работу: выкорчевывать пни, поднимать новь без лошадей, без сох, — одними заступами — мотыгами.

Раз ударил мотыгой — два вершка земли вскопнул, другой раз — опять два вершка.

Так вершками отнимают землю у тайги, медленно, медленно, нехотя раздвигается тайга для нового поселенья.

Работа голодная.

Приедят паек поселенцы — отправляют по оче-

реди двоих в пост за пайками. Идут те с топорами, плутают по тайге, прорубают себе в чаще дорогу, валят деревья в быстрые горные сахалинские реки и по этим мостам переходят. Пока-то они еще дойдут, пока пайки получат, пока назад придут, половину голодного пайкового довольствия дорогой съедят, а тут жди. Случается, неделю ягодами одними питаются и работают до изнеможения, борются с тайгой, а наборовшись за день, грязные, потные, месяцами не мытые, валятся как попало в темных землянках. Заболеешь — помощи ниоткуда. Лежи, выздоравливай или умирай в землянке, где и дышать-то нечем.

В такой землянке, на таком новом поселке, и жила, и схватила воспаление почек, и умерла несчастная Добрынина, интеллигентная женщина, приехавшая делить каторгу с мужем.

Какая жизнь, какая смерть…

Слава богу, что на Сахалине мало добровольно следующих интеллигентных женщин.

При мне в Одессе отправлялась вслед за мужем, сосланным за убийство во время ссоры, интеллигентная женщина.

Моряки-«добровольцы» хлопотали, чтоб устроить ее как можно получше. И каюту ей дали подальше от машины, чтобы спокойней было.

И лонгшез кто-то на палубу из своей каюты вытащил:

— Это будет вам!

И было что-то в этой заботливости и трогательное, и печальное.

— Словно вы, господа, на казнь ее везете и последние минуты ей усладить хотите!

— А на что же мы ее везем?!

Уроженцы острова Сахалин

Одно лицо, посетив пост Корсаковский, на юге Сахалина, захотело непременно увидеть:

— Уроженца острова Сахалина.

Ему привели двадцатилетнего парня, и «лицо» торжественно, всенародно расцеловало этого «уроженца».

Я не знаю, что именно привело его в такой восторг.

Он целовал, я полагаю, не этого несчастного парня, — он целовал еще более несчастную идею о «сахалинской колонии».

Перед ним было живое олицетворение этой идеи — свободный житель Сахалина, не привезенный сюда, а здесь родившийся, здесь выросший.

Я видел много этих «живых воплощений идеи колонизации».

Я видел уроженцев острова Сахалин на свободе, видел их в подследственных карцерах, видел в тюрьмах отбывающими наказание за совершенные преступления, — и не скажу, чтобы они приводили меня в особый восторг.

Я рассказывал уже, как отыскивал палача

Комлева, закончившего уже свою деятельность, числящегося в богадельщиках и пришедшего в пост Александровский «на заработок», предвидевши казнь.

— А вон, ваше высокоблагородие, — сказали мне, — изволите видеть на конце улицы махонькую избушку. Туда и отправляйтесь. Он там у польки нанялся детей нянчить. Вешать да за детьми ходить — больше ни на какую работу он, старый пес, и не способен!

В маленькой избушке возилась около печки рослая, здоровая баба! По углам пищали трое ребятишек.

— Посидите тут. Комлев с самым махоньким в фонд (казенная лавка) пошел. Сейчас будет.

«Полька», крестьянка Гродненской губернии, отбывает еще каторгу.

Она пришла сюда — бабы особенно не любят сознаваться в преступлении — «по подозрению в убийстве мужа».

— Потому и подозрение упало, что меня за него силком замуж выдали, а за мной другой прихлестывал. Ну, на нас и подумали, что мы «пришили».

В каторге она выучилась говорить — не на русском, а на каторжном языке.

— Меня сюда послали, а с которым я была любившись, слышно, в Сибири. Вот и живу.

— А дети чьи? Из России привезла?

— Зачем из России. Дети — здешние. Эти двое, старшенькие, от первого сожителя. Поселенец он был, потом крестьянство получил, на материк ушел. А меньшенький, которого Комлев нянчит, — теперешнего сожителя. Кондитер он. Через месяц ему срок поселенчества кончается, крестьянство получит, тоже на материк уйдет.

— Ну а вот этот от кого?

— Этот? А кто же его знает!

— Ну а когда кондитер твой на материк уйдет, тогда ты что же с детьми-то делать будешь?

— А другого сожителя дадут.

Так «отбывает каторгу» эта женщина, когда-то не вынесшая жизни с нелюбимым мужем и теперь переходящая от сожителя к сожителю с тупым, апатичным видом.

В это время в избушку вошел Комлев.

На руках, которые привыкли драть и вешать, он бережно нес годовалого ребенка.

Я отложил беседу с ним до другого раза.

Палач с ребенком на руках…

— Зайди ко мне завтра… Только без ребенка!

Что будет потом с этими детьми, которые ро-

дятся от сожителей, по окончании поселенчества уезжающих на материк, которые родятся, «кто его знает от кого», и растут здесь на руках палача?

Знаменитость «поста Корсаковского» и его «прелестница» — «молодая Жакомениха».

Отец и мать Жакоминихи были ссыльнокаторжные. Она родилась на Сахалине.

Она ничего другого не видала, кроме Сахалина. Говорит на том же языке, на котором говорят в кандальных тюрьмах. И когда ей говорят, что есть другие страны, вовсе не похожие на Сахалин, она только с недоумением отвечает:

— Да ведь и там людей «пришивают» из-за денег!

Ее очень интересует вопрос:

— Правда, что в России не нужно снимать шапок перед чиновниками?

И это кажется ей очень странным.

Она знает только два сорта людей: чиновников и «шпанку».

У нее двое детей, которых она очень любит и на которых тратит все, что «добывает».

Детей она одевает как «чиновничьих детей» — для себя ждет каторги, как чего-то самого обыденного.

Ведь в каторгу приговорят!

— Что ж! Отдадут в сожительницы. Меня любой поселенец и с детьми возьмет: я — баба прибыльная.

Она говорит это спокойно, деловым тоном.

Жакомини́ха была выдана замуж тоже за сына ссыльнокаторжных родителей.

Семья Жакомини давно была прислана на Сахалин из Николаева, отбыла каторгу, поселенчество, разжилась, имеет большую торговлю. Молодой Жакомини жил с женой в селении Владимировке, держал лавку, охотился на соболей. Жили по-сахалински очень зажиточно. Но молодой бабе приглянулся поселенец. «Парень-ухват», отчаянный, из «Иванов», как зовутся удальцы каторги. Он кончил срок поселенчества, собрался на материк и об отъезде сказал Жакоминихе только накануне.

— А меня возьмешь с собой?

— Взял бы, если бы у тебя были деньжата.

В тот же день Жакомини́ха подсыпала мужу стрихнина. Стрихнином травят соболей, и он есть в доме каждого охотника.

Преступление было совершено изумительно откровенно. Жакомини́ха поднесла мужу отраву в то время, как в соседней комнате работники дожидались их к обеду.

Когда Жакомини грохнулся на пол, вбежали рабочие и тут же около него подняли «поличное» — рюмку с остатками порошка.

— Сам отравился! — сразу объявила Жакомини-ха.

И первое, что сделала, сейчас же начала вынимать из сундука деньги.

Она была страшно изумлена, когда ее притянули к следствию, и объясняет это только интригой со стороны стариков Жакомини.

— Как же к следствию? По какому полному праву на материк не пускают? Нешто есть свидетели, что я ему отраву подносила?

Это, как я уже говорил, глубочайшая уверенность каторги, что, если только нет свидетелей-очевидцев, стоит «судиться не в сознании», и никто вас обвинить не имеет права. А если и обвинят, то неправильно, не по закону.

— Должны оставить в подозрении, а не осуждать!

Состоя под следствием, Жакомини-ха совершила новое преступление — опять «без свидетелей».

Однажды могила Жакомини была найдена разрытой. В крышке гроба было прорублено отверстие.

Собравшиеся «сахалинцы» моментально узна-

ли, чьих рук дело:

— Жакомииха! Это уж всегда так делается! Дело первое!

Жакоминихе начал часто сниться ее покойный муж. А если начинает мерещиться убитый, надо разрыть могилу и посмотреть, не перевернулся ли он в гробу. Если перевернулся, надо положить опять как следует, и убитый перестанет являться и мучить.

— Да почему же непременно это сделала Жакоминиха?

— Помилуйте, да она с малолетства это средство знает. С детства между убийцев! — совершенно резонно отвечают служащие на Сахалине.

— Ну и баба! — говорю как-то поселенцу.

— Да ведь оно, ваше высокоблагородие, может, по-вашему как иначе выходит. А по-нашему, по-корсаковскому, завсегда случиться может. Потому здесь в каждом доме корешок борца имеется…

Борец — ядовитое растение, растущее на Южном Сахалине.

— Каждый держит!

— Зачем же?

— Случаем — для себя, коли невтерпеж будет. Случаем — для кого другого. Только что она не

борцом, а трихнином отравила. Только и всего. А то бывает. Потому Сакалин.

Виктор Негель, молодой человек двадцати лет, подследственный арестант, содержавшийся в карцере Александровской кандальной тюрьмы, пожелал меня видеть по какому-то делу.

— Вы с Негелем остерегайтесь оставаться наедине! — предостерегал меня начальник тюрьмы.

Для моих бесед с арестантами предоставлялась тюремная канцелярия в те часы, когда в ней не было занятий. Арестант входил один, без конвойных. Конвойные оставались ждать на дворе.

— Цапнет он вас чем-нибудь, выпрыгнет в окно на улицу и даст стрекача: там всегда толпятся поселенцы, дадут возможность бежать. А ему больше ничего и не остается, как бежать. Это, батюшка мой, человек, который в своей жизни еще дел натворит!

Негель действительно не внушал симпатии. В канцелярию вошел юноша небольшого роста, плотный, коренастый. Злые раскосые глаза. Он был очень раздражен долгим сидением в карцере. Необыкновенно ясно выраженная асимметрия лица, узенький низкий лоб, короткие густые мелко вьющиеся волосы, жесткие как щетина.

Наша беседа с ним длилась часа три, и, когда беспокоившийся начальник тюрьмы зашел в канцелярию посмотреть, не случилось ли чего, он остолбенел от изумления. Картина была престранная!

Негель ревел, как дитя. Я утешал его, отпаивал водой и, совершенно растерявшись, гладил по голове, как маленького ребенка.

— Что вы сделали Негелю?! — только и нашелся спросить начальник тюрьмы.

Передавая свою просьбу, Негель рассказал всю свою жизнь. А она действительно так же ужасна, как отвратительно его преступление.

У него убили мать. Через десять месяцев после этого он сам совершил убийство.

Убил жену ссыльного М. Он был вхож как свой в эту семью. Негель зашел к ним, когда самого М. не было дома, а жена хлопотала по хозяйству.

— Где Иван Иваныч? — спросил Негель.

— А тебе какое дело! — будто бы ответила ему резко М.

Негель схватил железную кочергу и начал ею бить несчастную женщину по голове. Это было действительно зверское убийство. Негель продолжал ее бить и мертвую. Бил с остервенением: лица не было, зубы были забиты ей в горло.

Покончив с убийством, он убежал, вымылся, переоделся и, когда убийство было открыто, прибежал на место одним из первых.

Пока составляли протокол, Негель нянчился и играл с маленькими детьми только что убитой им женщины — их не было при убийстве: они были в гостях у соседей.

Негель больше всех высказывал сожаления, ужасался, негодовал на «злодея» и даже указал на одного поселенца как на убийцу.

— Зачем? Зол ты на него был?

— Нет! А только это всегда так делается. Всегда другого «засыпать», чтоб с себя подозрение снять. Это уже так водится.

За что он убил так зверски несчастную женщину?

Говорят, что Негель, выследив, когда М. ушел из дома, явился с гнусными намерениями.

Негель говорит, что покойная кокетничала с ним и перебрала у него в разное время пятьдесят рублей.

Когда она дерзко ответила ему, Негель сказал ей:

— Ты чего же на меня, как собака, лаешь? Деньги ни за что берешь, а лаешься? Только крутишь!

— А чего ж и нет? Ты еще малолеток, тебя мож-

но и окрутить.

— Я каторжника сын, — отвечал ей Негель, — меня не окрутишь!

М. будто бы расхохоталась, и Негель, не помня себя, начал ее бить. Он пришел в исступление, не помнит, долго ли бил, и потом, придя к трупу, с удивлением смотрел:

— Эк, я ее как!

— Вот я ее за что убил — вовсе не так, за здорово живешь, а за пятьдесят рублей!

— Да разве за пятьдесят рублей убивать людей можно?

Лицо Негеля стало еще мрачнее.

— А ни за что ни про что людей убивать разрешается? У меня мать убили. За что? Вон, он говорит, что убил ее, с ней жимши. А я вам прямо скажу, что врет. Никакой коммерции он с ней не имел! Три копейки ему и цена-то вся! Вы посмотрите на него!

Его мать, 50-летнюю женщину, зарезал его же учитель, поселенец Вайнштейн.

Вайнштейна приговорили на четыре года каторги. Это приводит Негеля в бешенство:

— За мою мать на четыре года?! А вон безногого за то, что женщину убил, на двадцать лет! Что ж это! После этого суд — это просто вторые карты!

Негель — уроженец Сахалина. Его отец и его мать, оба сосланные в каторгу за убийства, встретились в Усть-Каре и вместе попали на Сахалин.

Он не помнит отца, но воспоминания о матери заставили его разрыдаться.

И так странно вздрагивает и сжимается сердце, когда этот злобный, безжалостный убийца, рыдая, говорит:

— Мама! Моя мама!

— Когда убили мать, я озлился, я другой человек стал. Ага, значит, людей ни за что ни про что убивать можно! Хорошо же, так и будем знать!.. Он, Вайнштейн, и меня погубил. Мама из меня человека сделать хотела. Если бы он ее не убил, я бы никогда не был каторжником. Я при маме совсем другой был. А теперь что я? Каторжник. Приговорят лет на десять. А потом, Бог даст, заслужу и бессрочную.

Его просьба ко мне заключалась в том, чтобы я попросил губернатора:

— Пусть меня переведут из Александровской тюрьмы в другую. Здесь Вайнштейн сидит, и должен я его зарезать.

— Почему же «должен»?

— Должен. Меня в одиночке держат, а как в общую пустят, я его сейчас «пришью». А мне еще

в бессрочную идти не хочется. Пусть меня с ним в одну тюрьму не сажают! Мне его не жаль, мне себя жаль!

— Ну хорошо! А той, которую ты убил, тебе не жаль?

— Часом. Мне ее так бывает жаль, что плачу у себя в одиночке. Ее и детей. А как вспомню, как мать у меня убили, всякая жалость к людям отпадает.

И его раскосые глаза, когда он говорит последние слова, смотрят с такой непримиримой злобой!..

В той же Александровской тюрьме я встретился с Габидуллиным-Латыней, молодым татарином, тоже сыном ссыльнокаторжных.

Он родился, вырос, совершил преступление и отбывает наказание на Сахалине.

— В тюрьме-то еще лучше! В тюрьме жрать дают, а на воле с голода опухнешь! — посмеивается он.

Его преступление действительно ужасно.

С двумя поселенцами, они втроем убили с целью грабежа жену одного арестанта, ее четырнадцатилетнюю дочь и шестилетнего сына.

Совершив убийство, Габидуллин и его соучастник убили своего третьего товарища:

— Чтобы при дележке больше осталось!

Несчастную женщину, бывшую в интересном положении, нашли с разрезанным животом.

— Это для чего?

— А это так! Посмотреть, как ребенок лежит!

И Габидуллин конфузливо улыбается, упоминая о своем любопытстве.

И на настойчивые требования каторги этот огромный, с идиотским лицом татарин начинает уродливо сгибаться в три погибели, показывая, «как лежал ребенок».

Каторга грохочет:

— Ну, других тебе не жаль, хоть бы себя пожалел! Ведь вот в тюрьму за это попал, в каторгу!

— Так что же? Здесь, на Сакалине, все в тюрьме были.

И этот «уроженец Сахалина» смотрит на тюрьму как на нечто неизбежное для всех и каждого.

Нет сахалинской тюрьмы, где бы ни сидело «уроженца».

Тридцать лет с лишком на Сахалине родятся дети, растут среди каторги, в атмосфере крови и грязи, и с самой колыбели обречены на каторгу.

Я думаю, что это большой грех против этих несчастных.

Часть вторая

Золотая Ручка

Воскресенье. Вечер. Около маленького, чистенького домика, рядом с Дербинской богадельней, шум и смех. Скрипят убранные ельником карусели. Визжит оркестр из трех скрипок и фальшивого кларнета. Поселенцы пляшут трепака. На подмостках «не помнящий родства» маг и волшебник ест горящую паклю и выматывает из носа разноцветные ленты. Хлопают пробки квасных бутылок. Из квасной лавочки раздаются подвыпившие голоса. Из окон доносится:

— Бардадым. Помирил, рубль мазу. Шеперка, по кушу очко. На пе. На перепе. Барыня. Два сбока.

Хозяйка этой квасной, игорного дома, карусели, танцкласса, корчмы и сахалинского кафешантана — «крестьянка из ссыльных», Софья Блювштейн.

Всероссийски, почти европейски знаменитая Золотая Ручка.

Во время ее процесса стол вещественных доказательств горел огнем от груды колец, браслетов, колье. Трофеев — улик.

— Свидетельница, — обратился председатель к одной из потерпевших, — укажите, какие здесь

вещи ваши.

Дама с изменившимся лицом подошла к этой «Голконде».

Глаза горели, руки дрожали. Она перебирала, трогала каждую вещь.

Тогда «с высоты» скамьи подсудимых раздался насмешливый голос:

— Сударыня, будьте спокойнее. Не волнуйтесь так: эти бриллианты — поддельные.

Этот эпизод вспомнился мне, когда я в шесть часов утра шел в первый раз в гости к Золотой Ручке.

Я ждал встречи с этим Мефистофелем, «Рокамболем в юбке».

С могучей преступной натурой, которой не сломила ни каторга, ни одиночная тюрьма, ни кандалы, ни свист пуль, ни свист розги. С женщиной, которая, сидя в одиночном заключении, измышляла и создавала планы, от которых пахло кровью.

И… я невольно отступил, когда навстречу мне вышла маленькая старушка с нарумяненным, сморщенным как печеное яблоко лицом, в ажурных чулках, в стареньком капоте, с претензиями на кокетство, с завитыми крашеными волосами.

— Неужели «эта»?

Она была так жалка со своей «убогой роскошью наряда и поддельною краской ланит». Седые волосы и желтые обтянутые щеки не произвели бы такого впечатления.

Зачем все это?

Рядом с ней стоял высокий, здоровый, плотный, красивый — как бывает красиво сильное животное, — ее сожитель, ссыльнопоселенец Богданов.

Становилось все ясно…

И эти пунцовые румяна, которые должны играть, как свежий румянец молодости.

Мы познакомились.

Блювштейн попросила меня сесть. Нам подали чай и бисквиты.

Сколько ей теперь лет, я не берусь определить. Мне никогда не приходилось видеть женщин, у которых над головой свистели пули, — женщин, которых секли. Трудно судить по лицу, сколько лет человеку, пережившему такие минуты!

Она говорит, что ей тридцать пять лет, но какая же она была бы пятидесятилетняя женщина, если бы не говорила, что ей тридцать пять.

На Сахалине про нее ходит масса легенд. Упорно держится мнение, что это вовсе не Золотая Ручка. Что это «сменщица», подставное лицо, которое отбывает наказание, — в то время как настоящая

Золотая Ручка продолжает свою неуловимую деятельность в России.

Даже чиновники, узнав, что я видел и помню портреты Золотой Ручки, снятые с нее еще до суда, расспрашивали меня после свидания с Блювштейн:

— Ну что? Она? Та?

— Да, это остатки той.

Ее все же можно узнать. Узнать, несмотря на страшную перемену.

Только глаза остались все те же. Эти чудные, бесконечно симпатичные, мягкие, бархатные, выразительные глаза. Глаза, которые «говорили» так, что могли даже отлично лгать.

Один из англичан, путешествовавших по Сахалину, с необыкновенным восторгом отзывается об огромном образовании и «светскости» Золотой Ручки, об ее знании иностранных языков. Как еврейка, она говорит по-немецки.

Но я не думаю, чтобы произношение «бень-этаж», вместо слова «бельэтаж», говорило особенно о знании французского языка, образовании или светскости Софьи Блювштейн. По манере говорить это простая мещаночка, мелкая лавочница.

И право, для меня загадка, как ее жертвы могли

принимать Золотую Ручку то за знаменитую артистку, то за вдовушку-аристократку.

Вероятно, разгадка этого кроется в ее хорошеньких глазках, которые остались такими же красивыми, несмотря на все, что перенесла Софья Блювштейн.

А перенесла она так же много, как и совершила.

Ее преступная натура не сдавалась, упорно боролась и доказала бесполезность суровых мер в деле исправления преступных натур.

Два года и восемь месяцев эта женщина была закована в ручные кандалы.

Ее бессильные, сохнувшие руки, тонкие, как плети, дряблые, лишенные мускулатуры, говорят вам, что это за наказание.

Она еще кое-как владеет правой рукой, но, чтоб поднять левую, должна взять себя правой под локоть.

Ноющая боль в плече сохнувшей руки не дает ей покоя ни днем ни ночью. Она не может сама повернуться с боку на бок, не может подняться с постели.

И право, каким ужасным каламбуром звучала эта жалоба Золотой Ручки на сохнувшую руку.

Ее секли, и, как выражаются обыкновенно

господа рецензенты, «воспоминание об этом спектакле долго не изгладится из памяти исполнителей и зрителей». Все — и приводившие в исполнение наказание, и зрители-арестанты — до сих пор не могут без улыбки вспомнить о том, как «драли Золоторучку».

Улыбается при этом воспоминании даже никогда не улыбающийся Комлев, ужас и отвращение всей каторги, страшнейший из сахалинских палачей.

— Как же, помню. Двадцать я ей дал.

— Она говорит — больше.

— Это ей так показалось, — улыбается Комлев, — я хорошо помню — сколько. Это я ей двадцать так дал, что могло с две сотни показаться.

Ее наказывали в девятом номере Александровской тюрьмы для «исправляющихся».

Присутствовали все, без исключения. И те, кому в силу печальной необходимости приходится присутствовать при этих ужасных и отвратительных зрелищах, и те, в чьем присутствии не было никакой необходимости. Из любопытства.

В номере, где помещается человек сто, было на этот раз человек триста. «Исправляющиеся» арестанты влезали на нары, чтобы «лучше было

видно». И наказание приводилось в исполнение среди циничных шуток и острот каторжан. Каждый крик несчастной вызывал взрыв гомерического хохота.

— Комлев, наддай! Не мажь.

Они кричали то же, что кричали палачам, когда наказывали их.

Но Комлеву не надо было этих поощрительных возгласов.

Артист, виртуоз и любитель своего дела, он «клал розга в розгу», так что кровь брызгала из-под прута.

Посредине наказания с Софьей Блювштейн сделался обморок. Фельдшер привел ее в чувство, дал понюхать спирта — и наказание продолжалось.

Блювштейн едва встала с «кобылы» и дошла до своей одиночной камеры[67].

Она не знала покоя в одиночном заключении.

— Только, бывало, успокоишься — требуют: Соньку Золотую Ручку. Думаешь: опять что. Нет. Фотографию снимать.

Это делалось ради местного фотографа, который нажил себе деньгу на продаже карточек Золотой Ручки.

---

[67] Примечания: 67

Теперь телесные наказания для женщин отменены законом. Это было одно из последних.

Блювштейн выводили на тюремный двор. Устанавливали кругом «декорацию».

Ее ставили около наковальни, тут же расставляли кузнецов с молотами, надзирателей, — и местный фотограф снимал якобы сцену заковывания Золотой Ручки.

Эти фотографии продавались десятками на все пароходы, приходившие на Сахалин.

— Даже на иностранных пароходах покупали. Везде ею интересовались, — как пояснил мне фотограф, принеся мне целый десяток фотографий, изображавших «заковку».

— Да зачем же вы мне-то столько их принесли?

— А для подарков знакомым. Все путешественники всегда десятки их брали.

Эти фотографии — замечательные фотографии. И их главная «замечательность» состоит в том, что Софья Блювштейн на них «не похожа на себя». Сколько бессильного бешенства написано на лице. Какой злобой, каким страданием искажены черты. Она закусила губы, словно изо всей силы сдерживая готовое сорваться с языка ругательство. Какая это картина человеческого унижения!

— Мучили меня этими фотографиями, — гово-

рит Софья Блювштейн.

Специалистка по части побегов, она бежала и здесь со своим теперешним сожителем Богдановым.

— Но уже силы были не те, — с горькой улыбкой говорит Блювштейн, — больная была. Не могу пробираться по лесу. Говорю Богданову: «Возьми меня на руки, отдохну». Понес он меня на руках. Сам измучился. Сил нет. «Присядем, — говорит, — отдохнем». Присели под деревцем. А по лесу-то стон стоит, валежник трещит, погоня… Обходят.

Бегство Золотой Ручки было обнаружено сразу. Немедленно кинулись в погоню. Повели облаву.

Один отряд гнал беглецов по лесу. Смотритель с тридцатью солдатами стоял на опушке.

Как вдруг из леса показалась фигура в солдатском платье.

— Пли!

Раздался залп тридцати ружей, но в эту минуту фигура упала на землю. Тридцать пуль просвистали над головой.

— Не стреляйте! Не стреляйте! Сдаюсь, — раздался отчаянный женский голос.

«Солдат» бросился к смотрителю и упал перед ним на колени.

— Не убивайте!

Это была переодетая Золотая Ручка.

Чем занимается она на Сахалине?

В Александровском, Оноре или Корсаковском — во всех этих, на сотни верст отстоящих друг от друга местечках, — везде знают Соньку-золоторучку.

Каторга ею как будто гордится. Не любит, но относится все-таки с почтением.

— Баба — голова.

Ее изумительный талант организовывать преступные планы и здесь не пропадал даром.

Вся каторга называет ее главной виновницей убийства богатого лавочника Никитина и кражи пятидесяти шести тысяч у Юрковского. Следствие по обоим этим делам дало массу подозрений против Блювштейн и — ни одной улики.

Но это было раньше.

— Теперича Софья Ивановна больны и никакими делами не занимаются, — как пояснил ее сожитель Богданов.

Официально она числится содержательницей квасной лавочки.

Варит великолепный квас, построила карусель, набрала среди поселенцев оркестр из четырех человек, отыскала среди бродяг фокусника, устраивает представления, танцы, гулянья.

Неофициально…

— Шут ее знает, как она это делает, — говорил мне смотритель поселений, — ведь весь Сахалин знает, что она торгует водкой. А сделаешь обыск — ничего, кроме бутылок с квасом.

Точно так же все знают, что она продает и покупает краденые вещи, но ни дневные, ни ночные обыски не приводят ни к чему.

Так она «борется за жизнь», за этот несчастный остаток преступной жизни.

Бьется как рыба об лед, занимается мелкими преступлениями и гадостями, чтобы достать на жизнь себе и на игру своему сожителю.

Ее заветная мечта — вернуться в Россию.

Она закидывала меня вопросами об Одессе.

— Я думаю, не узнаешь ее теперь.

И когда я ей рассказывал, у нее вырвался тяжкий вздох:

— Словно о другом свете рассказываете вы мне… Хоть бы глазком взглянуть…

— Софье Ивановне теперича незачем возвращаться в Россию, — обрывал ее обыкновенно Богданов, — им теперь там делать нечего.

Этот «муж знаменитости» ни на секунду не выходил во время моих посещений, следил за каждым словом своей сожительницы, словно

боясь, чтобы она не сказала чего лишнего.

Это чувствовалось — его присутствие связывало Блювштейн, свинцовым гнетом давило, — она говорила и чего-то недоговаривала.

— Мне надо сказать вам что-то, — шепнула мне в одно из моих посещений Блювштейн, улучив минутку, когда Богданов вышел в другую комнату.

И в тот же день ко мне явился ее «конфидент», бессрочный богадельщик-каторжник К.

— Софья Ивановна назначает вам рандеву, — рассмеялся он. — Я вас проведу и постою на стреме (покараулю), чтоб Богданов ее не поймал.

Мы встретились с ней за околицей.

— Благодарю вас, что пришли, бога ради, простите, что побеспокоила. Мне хотелось вам сказать, но при нем нельзя. Вы видели, что это за человек. С такими ли людьми мне приходилось быть знакомой, и вот теперь… Грубый, необразованный человек — все, что заработаю, проигрывает, прогуливает! Бьет, тиранит… Э, да что и говорить?

У нее на глазах показались слезы.

— Да вы бы бросили его!

— Не могу. Вы знаете, чем я занимаюсь. Пить, есть нужно. А разве в моих делах можно обойтись

без мужчины. Вы знаете, какой народ здесь. А его боятся: он кого угодно за двугривенный убьет. Вы говорите, разойтись… Если бы вы знали…

Я не расспрашивал: я знал, что Богданов был одним из обвиняемых и в убийстве Никитина, и в краже у Юрковского.

Я глядел на эту несчастную женщину, плакавшую при воспоминаниях о перенесенных обидах. Чего здесь больше: привязанности к человеку или прикованности к сообщнику?

— Вы что-то хотели сказать мне?

Она отвечала мне сразу:

— Постойте… Постойте… Дайте собраться с духом… Я так давно не говорила об этом… Я думала только, всегда думала, а говорить не смею. Он не велит… Помните, я вам говорила, что хотелось бы в Россию. Вы, может быть, подумали, что опять за теми же делами… Я уже стара, я больше не в силах… Мне только хотелось бы повидать детей.

И при этом слове слезы хлынули градом у Золотой Ручки.

— У меня ведь остались две дочери. Я даже не знаю, живы ли они или нет. Я никаких известий не имею от них. Стыдятся, может быть, такой матери, забыли, а может быть, померли… Что ж с ними. Я знаю только, что они в актрисах. В опе-

ретке, в пажах. О господи! Конечно, будь я там, мои дочери никогда бы не были актрисами.

Но подождите улыбаться над этой преступницей, которая плачет, что ее дочери актрисы.

Посмотрите, сколько муки в ее глазах.

— Я знаю, что случается с этими «пажами». Но мне хоть бы знать только, живы ли они или нет. Отыщите их, узнайте, где они. Не забудьте меня здесь, на Сахалине. Уведомьте меня. Дайте телеграмму. Хоть только — живы или нет мои дети… Мне немного осталось жить, хоть умереть-то, зная, что́ с моими детьми, живы ли они… Господи, мучиться здесь, в каторге, не зная… Может быть, померли… И никогда не узнаю, не у кого спросить, некому сказать…

«Рокамболя в юбке» больше не было.

Передо мной рыдала старушка-мать о своих несчастных детях.

Слезы, смешиваясь с румянами, грязными ручьями текли по ее сморщенным щекам.

Полуляхов

Убийство семьи Арцимовичей в Луганске — одно из страшнейших преступлений последнего времени.

С целью грабежа были убиты: член судебной палаты Арцимович, его жена, их сын, восьмилетний мальчик, дворник и кухарка.

Меня предупредили, что убийца Полуляхов производит «удивительно симпатичное впечатление», и все-таки я никогда не испытывал такого сильного потрясения, как при виде Полуляхова.

— Полуляхова из кандальной привели! — доложил надзиратель.

— Пусть войдет.

Я сделал несколько шагов к двери, навстречу «знаменитому» убийце, и отступил.

В дверях появился среднего роста молодой человек, с каштановыми волосами, небольшой бородкой, с отпечатком врожденного изящества, даже под арестантским платьем, с коричневыми, удивительно красивыми глазами.

Я никогда не видывал более мягких, более добрых глаз.

— Вы… Полуляхов? — с невольным удивлением

спросил я.

— Я-с! — отвечал он с поклоном.

Голос у него такой же мягкий, приятный, бархатистый, добрый и кроткий. Такой же чарующий, как и глаза.

В его походке, мягкой, эластичной, есть что-то кошачье.

Полуляхов принадлежит к числу «настоящих убийц», расовых, породистых, которых очень мало даже на Сахалине. Это «настоящие убийцы» среди людей, это тигры среди зверей.

Мы много и подолгу беседовали потом с Полуляховым, и я никак не мог отделаться от чувства невольного расположения, которое вселял во мне этот человек. Мне вспомнился один владивостокский офицер, привязавшийся к пойманному тигренку, державший его при себе, как кошку, и плакавший горькими слезами, когда тигр вырос и его пришлось застрелить.

Голос Полуляхова льется в душу, его глаза очаровывают вас, от него веет такой добротой. И нужно много времени, чтобы разобрать, что вместо чувства этот человек полон только сентиментальности.

Но первое впечатление, которое производит этот человек, — вы чувствуете полное доверие

к нему, и я понимаю, что несчастная госпожа Арцимович, когда он вошел ночью в ее спальню, могла доверчиво говорить с ним, не опасаясь за свою жизнь.

— Разве такой человек может убить?

Полуляхову нет еще тридцати лет.

Он вырос в уверенности, что будет жить богато. Он рос у дяди, старого богатого торговца, который постоянно говорил ему:

— Умру — все тебе останется.

Полуляхов учился недолго в школе, но настоящее воспитание получил в публичном доме.

Взяв из школы, дядя поставил Полуляхова в лавку, чтобы сызмальства приучался к торговле. Приказчики, чтобы им удобнее было красть, начали развращать хозяйского племянника.

С двенадцати лет они начали его брать с собой в позорные дома. Полуляхов был красивый мальчик, женщины ласкали и баловали его.

— Конечно, они были мне не нужны. Но мне нравилось там. Каждый день приказчики говорили: а тебе такая-то кланяется, тебя опять просили привести.

Это льстило мальчику, и он таскал из кассы, чтобы ходить туда.

— Музыку, танцы, женщин — это я очень люб-

лю! — с улыбкой говорит Полуляхов.

Так тянулось лет пять. Чтобы прекратить воровство приказчиков, дядя взял кассиршу. Полуляхов соблазнил эту молодую девушку, и она начала для него красть.

— Я к ней подольщаюсь: «Возьми да возьми из кассы». А украдет для меня, я туда, к своим, и закачусь.

С этой кассирши Полуляхов и стал презирать женщин.

— За слабость ихнюю. Просто погано. Все, что хочешь, сделают, — только поцелуй. Чисто животные.

Женщины скоро надоедали Полуляхову.

— Понравится — подольщаешься. А там и противно станет. Такая же дрянь, как и все: чисто собачонки, избей, а приласкал, опять ластится. Я их даже и за людей не считаю.

При наружности Полуляхова верить в его большой и скорый успех у женщин можно.

— И противны они мне, и жить без них, чувствую, не могу. Злоба меня на них на всех брала.

Полуляхову доставляло удовольствие тиранить, мучить, причинять боль влюблявшимся в него женщинам.

Когда ему было около восемнадцати лет, дядя

открыл воровство, выгнал кассиршу и прогнал Полуляхова из дому.

Полуляхов пустился на кражи, но «неумелый был», скоро попался и сел в тюрьму. Это было для Полуляхова «вроде как университет».

— Тут я таких людей увидел, каких раньше не думал, что есть на свете. Что я раньше, как дядя выгнал, воровал! На хлеб да на квас! А тут целый мир, можно сказать, передо мной открылся. Воровать и жить. И вся жизнь из одного веселья и удальства!

Из тюрьмы Полуляхов вышел с массой знакомств, со знанием воровского дела, и с этих пор его жизнь пошла одним и тем же порядком: после удачной кражи он шел в позорный дом, кутил, в него влюблялась там какая-нибудь девица, и он становился ее «котом». Ему она отдавала каждую копейку, для него просила, воровала деньги. Потом девица надоедала Полуляхову, он опять шел на «хорошую кражу», прокучивал награбленное в другом учреждении, увлекал другую девицу.

При этом надо заметить, что Полуляхов почти ничего не пьет.

— Так мне эта жизнь нравилась. Кругом все гуляет, веселится, и сам ни о чем не думаешь. Словно в угаре ходишь! Они пьют, а ты пьяне-

ешь.

Эта угорелая жизнь время от времени прерывалась высидками «по подозрению в краже».

— А убивать, Полуляхов, раньше не случалось?

— Один раз, нечаянно. Ночью было. На краже попался. Гнались за мною. Все отстали, а один какой-то дворник не отстает. Я через ров, он через ров, я через плетень, он через плетень. «Врешь, — кричит, — не уйдешь!» Зло меня взяло. Этакая сволочь! Ведь не украдено — чего же еще? Нет, непременно засадить ему человека нужно. Подпустил я его поближе, револьвер со мной был, я без него ни шагу, — обернулся, выстрелил. Он руками замахал и брякнулся... Потом в газете прочел, что убит неизвестным злоумышленником дворник такой-то. Тут только имя его узнал. Ни он меня не знал, ни я его. А он меня в тюрьму усадить хотел, а я его жизни лишил. И хоть бы из-за интереса оба делали. А то так! Чудно устроен свет! Здорово живешь, друг за другом гоняются, здорово живешь — друг дружку убивают! Чисто волки бешеные!

Эта «волчья жизнь» надоела Полуляхову.

— Достать двадцать пять тысяч да и зажить как следует. Торговлю открыть. По торговле я соскучился.

— Да ведь поймали бы, Полуляхов.

— Зачем поймать? По чужому паспорту, в чужом городе в лучшем виде прожить можно. Разве мало такого народа в России живет? Нам в тюрьмах это лучше известно!

— Почему же именно двадцать пять тысяч?

— Так уж решил: двадцать пять тысяч.

Эти породистые, расовые «настоящие» преступники удивительные «самовнушители». Им почему-то представится фантастическая цифра, например двадцать пять тысяч, и они живут, загипнотизированные этой цифрой. Попадается им сумма меньшая.

— Нет! Мне нужно, чтоб поправиться, двадцать пять тысяч.

Они живут и действуют под влиянием одной только этой бредовой идеи. Ради нее не остановятся ни перед чем.

— Случалось, Полуляхов, «брать большими суммами»?

— Я на маленькие дела не ходил. Я искал денег, а не так: украсть что попало! Брал тысячами.

— Куда же они девались?

— Езжу по городам и прокучиваю.

— Почему же было их не копить, пока не накопится двадцать пять тысяч?

— Терпения не было. У меня ни к чему терпения нет. Так уж решил: возьму двадцать пять тысяч, и сразу перемена всей жизни.

Нетерпеливость — их характерная черта. Они нетерпеливы во всем, даже при совершении преступления. Из-за нетерпеливости совершают массу, с их точки зрения, «глупостей», из-за которых потом и попадаются. Я знаю, например, убийство банкира Лившица в Одессе.

Убийцы были в самом «благоприятном» положении. Среди них был специалист по отмыканию касс, знаменитость среди воров, прославившийся своими деяниями в России, Турции, Румынии, Греции, Египте[68].

Люди пришли только воровать. Они могли бы отомкнуть кассу, достать деньги, запереть кассу снова и уйти. Прислуга была с ним заодно. Но старик-банкир на этот раз долго не засыпал, читая книгу. И убийцы кинулись на него, задушили и убежали, не тронув даже кассы: «специалист» испугался убийства и убежал раньше всех.

— Зачем же вы убили старика? — спрашивал я душителя Томилина.

— Невтерпеж было. Не засыпал долго! — пожи-

---

[68] Примечания: 68
См. далее очерк «Специалист».

мая плечами, отвечал Томилин.

В то время как Полуляхов сгорал от нетерпения, не находил себе места, метался из города в город, «во сне даже другую жизнь и свою торговлю видел», он сошелся с молодой женщиной Пирожковой, служившей в прислугах, и громилой Казеевым, ходившим тоже «по большим делам».

Полуляхов с Пирожковой жили в одном из южных городов, а Казеев разъезжал по городам, высматривая, нельзя ли где поживиться. И вот однажды Полуляхов получил телеграмму от Казеева, из Луганска:

— Приезжай вместе. Есть купец. Можно открыть торговлю.

Арцимовичей погубил несгораемый шкаф, который вдруг почему-то выписал себе покойный Арцимович.

Покупка несгораемой кассы вызвала массу толков в Луганске. Заговорили об огромном наследстве, полученном Арцимовичем:

— Иначе зачем и кассу покупать? Все обходились без кассы, а вдруг касса!

Луганск определил точно и цифру наследства: семьдесят тысяч.

Эти слухи дошли до Казеева, приехавшего в Луганск пронюхать: «нет ли здесь кого», и он

немедленно «пробил телеграмму» Полуляхову.

Все благоприятствовало преступлению.

Арцимовичи как раз рассчитали горничную. И это в маленьком городе сейчас же сделалось известно приезжим. Полуляхов подослал к ним Пирожкову. Те ее взяли.

— А Пирожкова для меня была готова в огонь и в воду.

Пирожкова служила горничной у Арцимовичей, а Полуляхов и Казеев жили в городе как двое приезжих купцов, собирающихся открыть торговлю.

Было ли это убийством с заранее обдуманным намерением или просто — как часто бывает — грабеж, неожиданно сопровождающийся убийством?

— Не надо неправду говорить. Я сразу увидел, что без «преступления» тут не обойтись: очень народу в доме много. Казеев не раз говорил: «Не уехать ли? Ничего не выйдет!» Да я стоял: «Когда еще семьдесят тысяч найдешь?» — говорит Полуляхов.

Пирожкова часто потихоньку бегала к Полуляхову:

— Барин деньги считает. Когда в кассу идет, двери закрывает! Я было раз сунулась, будто за-

чем-то, а он как зыкнет: «Ты чего здесь шляешься? Пошла вон!» Видать, что денег много, и кухарка и дворник говорят, что много. Ключи всегда у барыни. Ложатся — под подушку кладут.

Хозяев Пирожкова ругала:

— Барыня добрая. А барин не приведи бог. Что не так — кричит, ругается. Уже я целый день бегаю, стараюсь, а он все кричит, все ругает нехорошими словами, и безо всякой причины.

— И у меня от этих рассказов кровь вскипала! — говорит Полуляхов. — Я сам никогда этими словами не ругаюсь…

От Полуляхова действительно никто в тюрьме не слыхал неприличного слова.

— Не люблю и тех, кто ругается!

Я часто наблюдал это над типичными, «настоящими» преступниками. Беда, если кто-нибудь из них обладает какой-нибудь добродетелью. Они требуют, чтобы весь мир обладал непременно этой добродетелью, и отсутствие ее в ком-нибудь кажется им ужасным, непростительным преступлением: «Что ж это за человек?»

— За что же он людей-то ругает? Девка служит, треплется, а он ее ругает? Что меньше себя, так и ругает? Людей за людей не считает?

Полуляхов расспрашивал всех, что за человек

Арцимович, и с радостью, вероятно, слышал, что это человек грубый.

В сущности, он «распалял» себя на Арцимовича. Полуляхов, быть может, боялся своей доброты. С ним уже был случай. Вооруженный, он забрался однажды ночью в квартиру с решением убить целую семью.

— Да жалость взяла. Страх напал чужие жизни нарушить. За что я невинных людей убивать буду.

И ему надо было отыскать «вину» на Арцимовиче, возненавидеть его.

— Ну а если бы и Пирожкова, и все говорили, что Арцимович человек добрый, убил бы его?

— Не знаю… Может быть… А может, и рука бы не поднялась…

— Ну хорошо. Арцимович был человек грубый. Но ведь другие-то были люди добрые… Их-то как же?

— Их-то уж потом… Когда в сердце придешь… Одного убил, и других нужно… А с него начинать надо было.

Накануне убийства, вечером, Полуляхов бродил около дома Арцимовичей.

— Думал, в щелку в ставни загляну, сам все-таки расположение комнат увижу.

В это время из калитки вышел Арцимович.

Я спрятался.

Увидав мелькнувший во тьме силуэт, Арцимович крикнул:

— Что это там за жулье шляется?

И выругался нехорошим словом.

Думал ли он, что в эту минуту в двух шагах от него его убийца, что этому колеблющемуся убийце нужна одна капля для полной решимости?

— Ровно он меня по морде ударил! — говорил Полуляхов. — Задрожал даже я весь. Ведь не знает, кто идет, зачем идет, а ругается. Оскорбить хочет. Возненавидел я его тут как кровного врага.

Полуляхов вернулся с этой рекогносцировки с решением убить Арцимовича и не дальше как завтра.

— Теперь мне это ничего не стоило.

Пирожкова познакомила еще раньше дворника Арцимовичей с Полуляховым и Казеевым.

Казеев, все еще предполагавший, что готовится только кража, «закидывал удочку», не согласится ли дворник помогать. Тот поддавался.

— Мне всегда этот дворник противен был! — говорил Полуляхов. — Ну, мы чужие люди. А ему доверяют во всем, у людей же служит, и против людей же, что угодно, сделать готов: только по-

мани. Народец!

— Ну а Пирожкова? Ведь и Пирожкова тоже служила, и ей Арцимовичи доверяли?

— Да мне и Пирожкова противна была. Мне все противны были… Она хоть по любви, да и то было мерзко: что же это за человек? Его приласкай, он на кого хочешь бросится. Это уж не человек, а собака.

В вечер убийства дворник Арцимовичей был приглашен к «приезжим купцам» в гости. Разговор шел о краже. Дворник «хлопал водку стаканами, бахвалился, что все от него зависит». Предполагалось просто напоить его мертвецки, до бесчувствия.

— Да уж больно он был противен. Хохол он, выговор у него нечистый. Слова коверкает. «Хо» да «хо»! Бахвалится. Лицо бледное, глаза мутные. Слюни текут. Водку пьет, льет, колбасу грязными руками рвет. Так он мне стал мерзок.

Трудно представить себе то «презрение к людям», которое чувствуют эти «настоящие» преступники. И как они ставят всё в строку человеку. И как мало нужно, чтобы человек вселил в них к себе отвращение.

— Сидит это он передо мной. Смотрю на него: словно гадина какая-то! Запрокинул он так голо-

ву, я не выдержал. Цап его за горло. Прямо из-за одного омерзения задушил.

Дворник только «трепыхнулся раза два». Казеев вскочил и даже вскрикнул от неожиданности.

— Начали — надо кончать! — сказал ему Полуляхов.

Они стащили дворника в сарай. Полуляхов налил водки себе и Казееву:

— Сам попробовал, но пить не стал: словно от дворника пахло. А Казеев был, бедняга, как полотно белый, — ему сказал: «Пей!» Зубы у него об стакан звенели. Выпил. Говорю: «Идем». И дал ему топор и себе взял.

Молча они дошли до дома Арцимовичей. У калитки их ждала Пирожкова.

— Легли. Не знаю, спят ли еще.

Она сходила в дом еще раз, послушала, вышла:

— Идите!

— А я-то слышу, как у нее зубы стучат. Обнял ее, поцеловал, чтобы куражу дать. «Не бойся, — говорю, — дурочка!» Колотится она вся, а шею так словно тисками сдушила. «С тобой, — говорит, — ничего не боюсь». Ничего мы об этом не сказали, ни слова, а только все понимали, что убивать всех идем.

Полуляхов пошел вперед. За ним шел Казеев, за

Казеевым — Пирожкова.

— Слыхать было, как у Казеева сердце стучит. В коридоре тепло, а в ноги холодом потянуло: дверь забыли закрыть. Ледянеют ноги — да и всё. Квартира покойных господ Арцимовичей расположена так…

Полуляхов так и сказал: «покойных» — и нарисовал мне на бумаге план квартиры: он каждый уголок знал по рассказам Пирожковой.

Из коридорчика они вышли в маленькую комнату, разделявшую спальни супругов: направо была спальня Арцимовича, в комнате налево спали жена с сыном.

Полуляхов знал, что Арцимович спит головою к окнам.

— Темно. Не видать ничего. В голове только и вертится: «Не уронить бы чего». Нащупав ногой кровать, размахнулся…

Первый удар пришелся по подушке. Арцимович проснулся, сказал «кто» или «что»…

Полуляхов «на голос» ударил топором в другой раз.

— Хряск раздался. Словно полено разрубил.

Полуляхов остановился. Ни звука. Кончено.

— Вышел в среднюю комнату. Прислушался. У госпожи Арцимович в спальне тихо. Спят.

Слышу только, как около меня что-то, словно часы, стучит. Это у Казеева сердце колотится. «Стой, — шепчу, — тут. Карауль». Пирожковой руку в темноте нащупал, холодная такая. «Веди на кухню». Вхожу. А в кухне светло, ровно днем. Луна в окна. Читать можно. Оглянулся: вижу постель, на подушке черное, голова кухаркина, к стене отвернувшись, спит и так-то храпит. Взмахнул — и такая-то жалость схватила. «За что?» — думаю. Да уж так только, словно другой кто мои руки опустил. Грохнуло — и храпа больше нет. А луна-то — светло так… Вижу, по подушке большое-большое черное пятно пошло… Отвернулся и пошел в горницы.

Полуляхов сбросил окровавленный армяк, вытер об него руки, зажег свечку и без топора вошел в спальню госпожи Арцимович.

— Надо было, чтоб она кассу отперла. Замок был с секретом.

Арцимович, или «госпожа Арцимович», — как все время говорит Полуляхов, — сразу проснулась, как только он вошел в комнату.

— Сударыня, не кричите! — предупредил ее Полуляхов.

— Семен, это ты?

— Нет, я не Семен.

— Кто вы? Что вам нужно?

— Сударыня, извините, что мы вас тревожим, — мы пришли воспользоваться вашим имуществом.

— Так-таки и сказал: «извините»? — спросил я у Полуляхова.

— Так и сказал. Вежливость требует. Я люблю, чтобы со мной вежливы были, и сам с другими всегда вежлив. Госпожа Арцимович приподнялась на подушке: «Да вы знаете, к кому вы зашли? Вы знаете, кто такой мой муж?» Тут уж я от улыбки удержаться не мог. «Сударыня, — говорю, — для нас все равны!» — «А где мой муж?» — спрашивает. «Сударыня, — говорю, — о супруге вашем не беспокойтесь. Ваш супруг лежит связанный, и мы ему рот заткнули. Он не закричит. То же советую и вам. А то и вас свяжем». — «Вы его убили?» — говорит. «Никак нет, — говорю, — нам ваша жизнь не нужна, а нужно ваше достояние. Мы возьмем, что нам нужно, и уйдем. Вам никакого зла не сделаем». Ее всю как лихорадка била, однако посмотрела на меня, успокоилась, потому что я улыбался и смотрел на нее открыто. Она больше Казеева боялась. «Это, — спрашивает, — кто?» — «Это, — говорю, — мой товарищ. И его не извольте беспокоиться,

и он вам ничего дурного не сделает». Барыня успокоилась. «Это, — спрашивает, — вас Семен дворник подвел?» — «Семен, — говорю, — тут ни при чем». — «Нет, — говорит, — не лгите: я знаю, это Семеновы штуки». Смешно мне даже стало. «Ну, уж это, — говорю, — чьи штуки, теперь вам все равно. А только потрудитесь вставать, возьмите ключи и пойдемте несгораемую кассу отпирать». — «Куда ж, — говорит, — я пойду раздетая?» Заметила тут она, что рубашка с плеч спала, — одеялом прикрылась. Барыня такая была, покойная, красивая, видная. «Дайте мне, — говорит, — кофточку!» Я ей и кофточку подал. Она одела, застегнулась. «Принесите, — говорит, — кассу сюда, она не тяжелая». Тут ребенок их проснулся, так, мальчик лет восьми или девяти. Вскочил в кроватке. «Мама, — говорит, — кто это?» А она ему: «Не кричи, — говорит, — и не бойся, папу разбудишь. Это так нужно, эти люди из суда». Я приказал Казееву стоять и караулить, а сам пошел, кассу притащил. Около ее кровати поставил. «Открывайте!» — говорю. Она присела на кровать, открывает, — такая спокойная, со мною разговаривает. И мальчик, глядя на нее, совсем успокоился. «Мама, — говорит, — я яблочка хочу». — «Дайте ему, — говорит, — яб-

лочка». — «Дай!» — говорю Казееву. Тут же, на столике, в уголке тарелка стояла с мармеладом и яблоками, так штук шесть-семь было. Казеев мне подал. А я яблочко выбрал и мальчику дал: «Кушайте!» И мармеладу ему дал. Открыла госпожа Арцимович кассу. «Вот, — говорит, — все наше достояние». А в кассе тысячи полторы денег, и так в уголышке рублей триста лежит. «А это, — говорит, — казенные». Вещи еще лежат дамские, колечки, сережки. «А семьдесят тысяч, — спрашиваю, — где?» Смотрит на меня во все глаза. «Какие семьдесят тысяч?» — «А наследство?» — «Какое наследство?» Дух у меня даже перехватило. «Да в городе говорят». — «Ах, — говорит, — вы этой глупой басне поверили?» Затрясся я весь. «Сударыня, — говорю, — лучше говорите правду! Где деньги? Хуже будет!» — «Да хоть убейте, — говорит, — меня, нигде денег нету!» Тут я сам чуть было благим матом не заорал. Голова идет кругом. Однако вижу, барыня говорит правду: раз есть железная касса, куда же еще деньги прятать будут. «Давайте!» — говорю. А она такая спокойная: деньги вынимает, подает. «Вещи, — говорит, — вам брать не советую. С этими вещами вы только попадетесь». — «Всё, — говорю, — давайте. Не беспокойтесь!» Объяснять даже стала,

какая вещь сколько плачена, когда ей муж подарил. Удивлялся я ее спокойствию. У меня голова кругом идет, а она спокойна! Пошел я опять в комнаты, сломал один стол, другой. «Да нет, — думаю, — где же деньгам быть?! Уходить теперь надо». Взял топор, спрятал под чуйку, опять в спальню вернулся. А она улыбается даже: «Ну что, — говорит, — убедились, что денег нет?» И так мне ее убивать не хотелось, так убивать не хотелось… Да о голове дело шло. Думал, такого человека убили, поймают — не простят, ждал себе не иначе как виселицы.

— Один вопрос, Полуляхов. Ждал виселицы и все-таки рисковал?

— Думал, не найдут! Ищи ветра в поле. Хожу я по комнате взад и вперед, — продолжал рассказ Полуляхов, — и так мне барыни жаль, так жаль. Уж очень меня ее храбрость удивила. Лежит и разговаривает с Казеевым. Казеев словами душится, а она хоть бы что, — все расспрашивает про дворника: «Он ли вас подвел?» Не ждал бы себе петли — не убил бы, кажется. Ну да своя жизнь дороже. Зашел я так сзади, чтоб она не видала, размахнулся… В один мах кончил. Мальчик тут на постели вскочил. Рот раскрыл, руки вытянул, глаза такие огромные сделались. Я к нему…

Полуляхов остановился.

— Рассказывать ли дальше? Скверный удар был…

— Как знаешь…

— Ну да уж начал, надо всё… Ударил его топором, хотел в другой раз, — топор поднял, а вместе с ним и мальчика, топор в черепе застрял. Кровь мне на лицо хлынула. Горячая такая… Словно кипяток… Обожгла…

Я с трудом перевел дух. Если бы не боязнь показать слабость перед преступником, я крикнул бы «воды». Я чувствовал, что все поплыло у меня перед глазами.

— Вот видите, барин, и вам нехорошо… — раздался тихий голос Полуляхова.

Он сидел передо мной бледный как полотно, со странными глазами, глядя куда-то в угол; щеки его вздрагивали и подергивались.

Мы беседовали поздним вечером вдвоем в тюремной канцелярии. Вслед за Полуляховым и я с дрожью посмотрел в темный угол.

— Страшно было! — сказал наконец Полуляхов после долгого молчания, проводя рукой по волосам. — Мне этот мальчик и теперь снится… Никто не снится, а мальчик снится…

— Зачем же было мальчика убивать?

— Из жалости.

И лицо Полуляхова сделалось опять кротким и добрым.

— Я и об нем думал, когда по комнате ходил. Оставить или нет? «Что же, — думаю, — он жить останется, когда такое видел? Как он жить будет, когда у него на глазах мать убили?» Я и его… жаль было… Ну да о своей голове тоже подумать надо — мальчик большой, свидетель. Тут во мне каждая жила заговорила, — продолжал Полуляхов, — такое возбуждение было, такое возбуждение — себя не помнил. Всех перебить хотел. Выскочил в срединную комнатку, поднял топор: «Теперь, — говорю, — по-настоящему мне и вас убить надоть. Чтоб никого свидетелей не было. Видите, сколько душ ни из-за чего погубил. Чтобы этим и кончилось: друг друга не выдавать. Чтоб больше ни из-за чего людей не погибало. Держаться друг за друга, не проговариваться». Глянул на Казеева: белее полотна, а Пирожкова стоит, как былинка качается. Жаль мне ее стало, я ее и обнял. И начал целовать. Уж очень тогда во мне каждая жила дрожала. Никогда, кажется, никого так не целовал.

Этот убийца, с залитым кровью лицом, обнимающий сообщницу в квартире, заваленной

трупами, — это казалось бы чудовищным вымыслом, если бы не было чудовищной правдой.

— И любил я ее тогда, и жалко мне ее было, жалко…

— Ну а теперь где Пирожкова? — спросил я Полуляхова.

— А черт ее знает где! Где-то здесь же, на Сахалине!

— Она тебя не интересует?

— Ни капли.

А Пирожкова из любви к Полуляхову не захотела пойти ни к кому в сожительницы и была отправлена в дальние поселья, на голод, на нищету…

В ту же ночь Полуляхов, Пирожкова и Казеев исчезли из Луганска. Они жили по подложным паспортам. И полиции никогда бы не удалось открыть убийц, если бы в дело не вмешался пасынок Арцимовича.

Молодой человек, задавшись целью отыскать убийц матери и отчима, объехал несколько южных городов, искал везде. Переодетый, он посещал притоны, сходился с темным людом.

И вот в одном из ростовских притонов он услышал о каком-то громиле, который кутил, продавал ценные вещи, поминал что-то, пьяный,

про Луганск.

По указаниям молодого человека этого громилу арестовали.

Это был Казеев.

Казеев был потрясен, разбит страшным убийством. Он мечтал о перемене жизни. Ему хотелось бросить «свое дело» и поступить в сыщики.

Эта мечта бросить «свое дело» и сделаться сыщиком — довольно обычная у профессиональных преступников.

Их часто ловят на эту удочку.

— Ты малый способный, дельный, знаешь весь этот народ, — мы тебя в агентах оставим.

— Ровно рыба — дураки! — с презрительной улыбкой говорит Полуляхов. — Одну рыбу на крючок поймали, а другая на тот же крючок лезет.

— Как же они верят?

— Что же людям остается, как не верить? Человек заблудился в лесу, видит — выхода нет. Тут человек каждому встречному доверяется. Может, тот его в чащу завести хочет и убить, а он идет за ним. Потому все одно выхода нет.

Заблудившись в преступлениях, Казеев поверил, что его помилуют и оставят в сыщиках, и выдал Полуляхова и Пирожкову, указал, как их

найти, будучи совершенно уверен, что их «за убийство судьи беспременно повесят».

«Товарищ» среди преступников на воле и в каторге — это, как они говорят, «великое слово». Выдать или убить товарища — это величайшее преступление, которое только может быть. За это смерть.

И вот Полуляхова и Казеева посадили в одну камеру и заперли.

— Ну что ж, Ваня, теперь мы с тобой делать будем? — спросил его Полуляхов.

Казеев молчал.

— Только колотило его всего. Сидим — молчим. Я на него во все глаза смотрю — он в угол глядит. Принесли обед — не притронулся. Ужин в шесть подали — не притронулся. Ночь пришла. Я лег, лежу, не сплю. А он сидит. Измученный, только-только не падает, а спать лечь боится. Уснет — и убью. Жалко мне на него смотреть стало, жалость взяла. Закрыл я глаза, притворился, что заснул, захрапел. Я никогда во сне не храплю и не люблю, когда другие храпят, — противен мне тогда человек. А тут будто захрапел, чтоб он успокоился. Слышу — ложится и, словно топор в воду, заснул. Проснулся я утром раньше его, посмотрел, ровно младенец спит. Толкнул я его: «Вставай, Ваня».

Вскочил, смотрит на меня, глаза вытаращил, удивленно так. Кругом оглядывается. Я даже засмеялся. «Жив! Жив! — говорю. — Вот что, Ваня. Глупость сделали — не будем говорить: теперь нам надо не о прошлом, а о будущем думать. Что бы ни было, чтоб все вместе. Были товарищами и будем товарищами. Понял?» Заплакал он даже.

— Так я и в каторгу попал. Убил бы их тогда в доме господ Арцимовичей, и ничего бы и не было! — вздохнул Полуляхов. — Да жалость меня тогда взяла. За это и в каторге.

Суд над убийцами Арцимовичей производил ужасное впечатление. Полуляхов держал себя с беспримерным цинизмом; рассказывая об убийстве, он прямо издевался над своими жертвами, хвастался своим спокойствием и хладнокровием.

— Зло меня брало. Повесите? Так нате ж вам!

Полуляхов все время ждал смертного приговора.

— Как встали все, начали читать приговор, у меня голова ходуном пошла. Головой даже так дернул, будто веревка у меня перед лицом болтается. Однако думаю: «Поддержись теперь, брат, Полуляхов. Уходить с этого света — так уходить!» И сам улыбнуться стараюсь.

Когда прочли «в каторжные работы», Полуляхов «даже ушам своим не поверил».

— Гляжу кругом, ничего не понимаю. Ослышался? Сплю? Из суда вышел — словно с петли сорвался. От воздуха даже голова было закружилась и тошно сделалось.

Когда преступников среди толпы вели из суда, вдруг раздался выстрел. Пасынок Арцимовича выскочил из толпы и почти в упор выстрелил в Полуляхова из револьвера.

— А я-то в эту минуту в толпу кинулся!

Пуля пролетела мимо.

— Такой уж фарт (счастье)! — улыбаясь, замечает Полуляхов.

Стрелявшего схватили, а Полуляхов, как только его привели в острог, сейчас же потребовал смотрителя и заявил, чтоб пасынка Арцимовича освободили:

— Потому что я на него никакой претензии не имею.

— Почему ж такая забота о нем! Благородство, что ли, хотел доказать?

— Какое же тут благородство? — пожал плечами Полуляхов. — Я его мать убил, а он меня хотел. На его месте и я бы так сделал.

Когда Полуляхова и Казеева везли на Сахалин,

их держали порознь. Все арестанты говорили:

— Полуляхов беспременно пришьет Казеева.

Но это было лишней предосторожностью. Они снова были «товарищами».

— На Ваню у меня никакой злобы не было. Вместе делали, вместе в беду попали, вместе надо было и уходить.

Их посадили в один и тот же номер Александровской кандальной тюрьмы, и «товарищи» взяли себе рядом места на нарах.

— Ваня от меня ни на шаг. Каждый кусок пополам.

Эта потребность иметь кого-нибудь близкого с невероятной силой просыпается в озлобленных на все и на вся каторжанах. Только в институтах так «обожают» друг друга, как в кандальных тюрьмах. Доходит до смешного и до трогательного. В бегах, в тайге, полуумирающий с голоду каторжник половину последнего куска хлеба отдает товарищу. Сам идет и сдается, чтобы только подобрали раненого или заболевшего товарища. Целыми днями несет обессилевшего товарища на руках. У самого едва душа в теле держится, а товарища на руках тащит. Пройдет несколько шагов, задохнется, присядет, — опять берет на руки и несет. И так сотни верст, и так через

непроходимую дикую тайгу.

«Убийца пяти человек» — это ровно ничего не значит для каторги:

— Там-то мы все храбры. Ты вот здесь себя покажи.

Убийства, совершенные «на воле», в каторге не идут в счет. Каторгу не удивишь, сказав: «убил столько-то человек». Каторга при этом только спрашивает:

— А сколько взял?

И если человек «взял» мало, каторга смеется над таким человеком, как смеется она над убийцей из ревности, из мести, вообще над «дураками».

— Оглобля! Без «интересу» на «преступленье» пошел.

Для каторги «знаменитых» убийц нет. Тут не похвастаешься убийством пяти человек, когда рядом на нарах лежит Пащенко, за которым официально числится тридцать два убийства!

Положение Полуляхова, которым ужасались на суде, в каторжной тюрьме было самое шаткое.

— Пять человек убил, а сколько взял, стыдно сказать!

Его выручало несколько только то, что он «судью», такого человека, убил.

— Значит, на веревку шел!

Это вселяло все-таки некоторое уважение: каторга уважает тех, кто так рискует, и боится только тех, кто сам ничего не боится.

Когда я был на Сахалине, Полуляхов пользовался величайшим уважением в тюрьме. О совершенном им побеге говорили с величайшим почтением.

— Вот это так человек!

Побег был один из самых дерзких, отчаянных, безумных по своей смелости.

Полуляхов с Казеевым и еще тремя арестантами бежали среди белого дня, на глазах у всех.

— С вечера легли, шепнул Казееву: «Ваня, завтра уходим». — «Как?» — спрашивает. «Молчи, — говорю, — и всякую минуту будь готов, или уйдем, или вместе смерть примем». — «Что ж! — шепчет. — Куда ты, туда и я».

Пятеро арестантов с одним конвойным были на работе на самом бойком месте большой проезжей дороги, около самого поста Александровского. Время было не «беговое», и арестанты кандального отделения были без кандалов. По дороге ходило много народу, беспрестанно туда и сюда проезжали чиновники, проходили солдаты. Как вдруг Полуляхов кинулся на конвойного, одним ударом сбил его с ног, вырвал ружье и, крикнув:

«Ваня, уходи!» — бросился в опушку леса.

Это видела масса народу, бывшего на дороге. Ударили тревогу. Отсюда два шага до поста — и в несколько минут прибежавшая команда рассыпалась по лесу.

И вот в то время, когда солдаты углубились в лес, на вершине соседнего, совершенно голого холма, один за другим, в обычном бродяжеском порядке, показалось пять фигур. Передний шел с ружьем на плече. Это был Полуляхов с товарищами.

На дороге в это время стояли чиновники. Ружья ни у кого не было, револьверным выстрелом было не достать, и на глазах у начальства, на глазах у всего поста Александровского, по открытому месту бродяги прошли, зашли за холм и скрылись в тайге.

Весь пост Александровский был перепуган.

— Если уж среди бела дня при конвое бегать станут!

Озлобление против беглецов было страшное. Бродяги, да еще с огнестрельным оружием, держали в ужасе весь Александровск. Страшно было выехать.

— Ну, уж поймают, спуска не дадут.

Тюрьма жила лихорадочной жизнью, не было

других дум, других разговоров:

— Что слышно?

Дней десять ничего не было слышно. Тюрьму, которая ликует при всяком удачном побеге, охватывала радость.

— Ну, теперь ушли! Ищи ветра в поле!

Но остальное дрожало от злости.

— Да неужели же так им и пройдет?

Наконец пришло известие, что на Камышевском перевале убит Казеев.

При вскрытии, кроме раны, у него оказалась масса повреждений.

Полуляхов рассказывает, как убивали Казеева.

Камышевский перевал, по дороге из поста Александровского в селение Дербинское, — место, где часто ютятся беглые. Когда проезжают это место, вынимают обыкновенно револьверы. Дорога спускается в ложбинку и идет между кустарниками. Направо и налево страшные кручи огромных, отвесных почти гор, поросших мачтовым, прямым как стрела, сосновым лесом.

По этому-то крутому спуску, перебираясь от дерева к дереву гуськом, и сходили бродяги. Впереди шел Казеев, за ним Полуляхов.

Как вдруг из-за кустов с дороги грянул выстрел. Перебегавший от дерева к дереву Казеев закричал

и полетел вниз. Полуляхов притаился за сосной и ждал с секунды на секунду нового выстрела. Но его не заметили.

Внимание стрелявших было отвлечено полетевшим с откоса Казеевым.

— Слышу внизу под горой голоса. Выглянул я из-за сосны — внизу прогалинка меж кустов, а на прогалинке Ваня лежит, барахтается, встать все хочет. Люди его окружили. Ваня все стонал. «Пить, — кричал, — водицы, Христа ради, дайте!..» — «И так, — говорят, — сдохнешь».

Просидев за деревьями до вечера, четверо бродяг ушли. Слух о них дошел не скоро. Они подались в тайгу, шли голодные, истощавшие, прямо, целиной, там, где не бывала нога человеческая, тундрой. Ружье пришлось бросить — не под силу было нести. И наконец, отощавшие, изодранные в тайге, в кровь искусанные мошкарою в тундре, вышли на селение Вяльзы.

— Выходим — пастух трех коровенок пасет. Мы к нему, так и так: нет ли чего поесть? Он испугался, дрожит как осиновый лист; мы ему: «Не бойся, мол, ничего тебе не сделаем. Где уж нам! Видишь, небось, какие мы». Оправился: «Хорошо, — говорит, — вот в полдни погоню животин в поселок, принесу хлебушка. А вы меня вот тут

ждите». Отпустили мы его в полдни. Сидим ждем. Только смотрим, бегут от поселка поселенцы, кто с ружьем — охотники они, — кто с вилами, кто со слегой, кричат, руками машут, а вперед пастух наш рукой указывает на наши, стало быть, кусты. Это он, подлая душа, вместо того чтобы хлебушка принести, взял да всю деревню взбулгачил. За то, думать надо, что мы его пожалели и не пришили. Пришили бы его, коровенку зарезали, вырезали бы мяса сколько нужно, — и всё. А то жаль старика было. Он на нас поселенцев и поднял: «Бродяги, — говорит, — пришли, есть просят, голодные». А ежели голодные, значит убить надо. Потому голодный человек и корову зарезать может. А у них тут, перед этим, коровенку бродяги действительно зарезали. Озлоблены на бродяг были. «Бей, — кричат, — их таких-сяких насмерть!» Мы было в бег. Да один выстрелил, мне руку прошиб. Словно палкой изо всех сил шибануло — я и свалился.

Пуля прошла в мякоти, около лучевой кости левой руки, навылет.

— А другие, те прямо на землю полегли. «Сдаемся, — кричат, — не бейте!» Били, однако, страх как. «Не режь, — кричат, — коров!» Ровно зверье. Люди им ничего не сделали, а бьют…

— Так без сопротивления и сдались?

— Какое ж сопротивление? Да и то сказать, и поселенцев этих жаль. В Сибири, говорят, там другие порядки. Там к мужику бродяга смело идет: сибирский мужик ему всегда хлеба вынесет, потому что хлеб есть. А здесь, одно слово, Сакалин. Голод. Ему сыну-то кусок хлеба дать жутко: сам с голода мрет. Ему бродяга первый враг. Приходит голодный к голодному — ему и страшно: никак он еще голодней меня? Бродяга с голоду и впрямь коровенку зарежет. А без коровенки поселенцу что? Смерть! Последнего живота лишись. В казну за коровенку выплачивай, а животины нет. Все, что есть, в разор пойдет. Тут вон один поселенец повесился, когда у него коровенку зарезали. Ну и бьют: они еще голоднее нас.

— Лежу я, кровь моя льется, и зло меня берет, и жалость… жалко мне этих поселенцев, жалко…

Эти люди, убивающие других, ужасно любят вызывать в себе чувство жалости. Им нравится это ощущение, они чувствуют себя тогда такими добрыми, хорошими, им кажется, быть может, в эти минуты: «Какой я, в сущности, добрый, хороший, славный человек! Какая я прелесть!» А кому не хочется подумать о себе с умилением? Похвастать именно теми добродетелями, кото-

рых у него нет?

— Жалко! — этот мотив постоянно звучит в разговорах Полуляхова, убившего топором восьмилетнего ребенка.

И когда он говорит это «жалко», в его лице есть что-то умиленное, кроткое. Он сам трогается своей добротой.

— Ну а в Бога вы веруете? — спросил я однажды Полуляхова.

— Нет. Я по Дарвину! — отвечал Полуляхов.

— Как? Вы Дарвина знаете?

— Это уж я здесь, в тюрьме, узнал. «Борьба за существование» это называется. Человек ест птицу, птица ест мошку, а мошка еще кого-нибудь ест. Так оно и идет. «Круговорот веществ» это называется. И человек ест птицу не потому, что он на нее зол, а потому, что ему есть хочется. А как птице от этого — он не думает: ему есть хочется, он и ест. И птица не думает, каково мошке, а думает только, что ей нужно. Так и все. Один ловит человека, который ему ничего не сделал. Другой судит и в тюрьму сажает человека, который ему ничего дурного не сделал. Третий жизни лишает. Никто ни на кого не зол, а просто всякому есть хочется. Всякий себе, как может, и добывает. Это и называется «борьбой за существование».

— Ну хорошо, Полуляхов. Будем по Дарвину. А теория приспособления как же? Должен же человек из поколения в поколение, среди людей живя, приспособиться к их условиям, требованиям, законам общежития?

— Приспособления? — задумался Полуляхов. — Не ко всему приспособиться можно. К каторге, например, не приспособишься. Я так думаю, что человек приспособляется только к тому, что ему приятно. А ко всему остальному чтоб приспособиться — терпение нужно. А у меня терпения нет. Эта самая «теория приспособления», как вы говорите, для меня не годится.

Так рассуждает о «господине Дарвине» этот человек, и Дарвина понявший с волчьей точки зрения.

— Скажите, если только правду сказать хотите, — спросил меня однажды Полуляхов, — далеко отсюда до Америки?

Я принес ему карту.

Он долго смотрел на карту, мерял бумажкой по масштабу Великий океан и Сибирь и наконец улыбнулся.

— Н-да, выходит не то! И сюда подашься — вода. И сюда подашься — земля. А что вода, что земля, когда ее много, все одно. Что воды в рот

нальется, что землю с голоду есть, — все один черт! И направо пойдешь — смерть, и налево пойдешь — смерть, и на месте останешься — смерть. Чисто в сказку попал. Да и сказок таких страшных нет! — рассмеялся он.

Таков этот человек, почти юноша, взятый из городской школы и разговаривающий о Дарвине, убивший в свою жизнь шестерых, — бесконечно жалостливый человек.

Когда Полуляхова увозили из Харькова, был такой случай.

На железной дороге была родственница покойных Арцимовичей. Она не знала, что с партией отправляют убийц ее родных.

Когда проходила партия, между публикой, как это всегда бывает, зашел разговор на тему:

— Сколько, чай, невинных людей идет!

— Вот этот, например, молодой мужичок. Я пари готова держать, что он идет невиновный. Вы посмотрите на него. Ну разве можно с таким лицом быть преступником! — сказала родственница Арцимовичей и обратилась к одному из знакомых: — Нельзя ли узнать, за что он осужден?

— Скажите, пожалуйста, кто это такой? — спросил знакомый у конвойного офицера.

— Этот? Это Полуляхов, убийца Арцимовичей.

Родственница несчастных закричала и упала в обморок.

Когда я рассказал этот эпизод Полуляхову, он задумался:

— Позвольте… Позвольте… Припоминаю… Когда нас гнали, какая-то женщина закричала благим матом и упала. Я еще тогда обернулся, посмотрел… Так это она от меня? Родственница, стало быть, покойных?.. Скажите пожалуйста! А я не обратил внимания… Мало ли их орут. Думал, чья родственница, или…

Полуляхов улыбнулся:

— Или по мне какая орет «из бывших моих». Много их было у меня и в Харькове!

Знаменитый московский убийца

В Александровской кандальной тюрьме нельзя не обратить внимания на худенького, тщедушного, болезненного человека с удивительно страдальческим выражением в глазах. Он выдается своим жалким видом даже среди арестантов. Чем-то вконец замученный человек.

— Кто это?

— Викторов.

И сахалинское начальство, при всем своем презрении к каторге, все же несколько гордящееся имеющимися в тюрьме «знаменитостями», добавит:

— Знаменитый московский убийца!

Лет десять тому назад «загадочное убийство в Москве» гремело на всю Россию.

В июле в Брест-Литовске, на станции железной дороги, среди «невостребованных грузов», от одной корзины начало исходить страшное зловоние.

Корзину вскрыли, и «глазам присутствующих, как пишется в газетах, представилось полное ужаса зрелище».

В корзине, обтянутой внутри клеенкой, лежал

разрубленный на части труп женщины. Щеки были вырезаны. Метки на белье отрезаны. Страшная посылка была отправлена из Москвы 2 июля.

Вся московская сыскная полиция была поставлена на ноги.

Искали, искали — и безуспешно. Следа, казалось, никакого не было.

В то время начальником сыскной полиции в Москве был некто Эффенбах, пользовавшийся славой Лекока.

Он обратил внимание на три обстоятельства. По белью, которое было найдено в корзине, по «убогой роскоши» его, он вывел заключение, что покойная, скорей всего, была проституткой. Затем его внимание остановило то, что и фамилия отправителя «груза», конечно вымышленная, и вымышленная фамилия «получателя» начинаются на букву «В». Растерявшемуся, взволнованному человеку почему-то инстинктивно приходили в голову только фамилии, начинавшиеся на букву «В». А может быть, это было легкое насмешливое заигрывание со стороны преступника. Преступник, у которого все отлично идет, иногда начинает куражиться, не прочь «подпустить насмешку», любит оставить что-то вроде визитной карточки, маленький, сейчас же теряющийся

след. «На, мол, ищи». Наконец, вместе с трупом в корзине лежала окровавленная дровяная плаха, на которой, очевидно, разрезали труп. Такими плахами топят печи в трактирах и меблированных комнатах.

Проверили по спискам всех московских проституток и оказалось, что одна из них, жившая в доме Боткина, по Петровскому бульвару, уехала на родину.

Сама она перед отъездом домой не заходила около недели. А 3 июля к ней на квартиру зашел ее знакомый Викторов, сказал, что она спешно уехала в деревню и велела ему взять вещи.

Викторов содержал меблированные комнаты на углу Брюсова переулка и Никитской и служил контролером на скачках.

За ним послали на скачки, привезли в сыскное отделение и ввели в комнату; на столе были разложены: корзина, клеенка, окровавленное белье.

Увидав эти вещи, Викторов «остолбенел», затем затрясся, заплакал и сознался.

Отец Викторова, когда Викторов был еще маленьким, застрелился в припадке помешательства. Сестра Викторова страдала сильными истерическими припадками. Брат Викторова уже после того, как Викторов был пойман, сошел с

ума: постоянно бредил, что пьет с братом Николаем на Сахалине чай.

Викторов до семи лет не говорил. О нем уже не в первый раз трубили газеты: в 1883 году он тоже был «московской знаменитостью». Тогда ему было тридцать лет, и он впал в летаргический сон, продолжавшийся двенадцать суток. Его чуть-чуть не похоронили, и «живым покойником в Мариинской больнице» интересовалась вся Москва.

Викторов прошел только два класса московского мещанского училища.

— Не способен был-с. Русский язык-с мне не давался!

С двенадцати лет он начал пить, пятнадцати — познакомился с развратом. Лет двадцати заболел дурной болезнью.

Родные Викторова — люди с достатком. Все они — кто держит меблированные комнаты с «этими дамами», кто публичный дом.

С детства он стоял близко к темному миру, соприкасался с ним.

В 1881 году он был осужден на четыре месяца в рабочий дом за кражу.

В 1881 же году был замешан в убийстве дворянки Накатовой и кухарки ее Похвисневой.

— Убийства не совершал-с… но к убийству стоял довольно близко-с…

В 1883 году он ушел бродяжить. Бродяжил восемь лет, затем открылся, вернулся в Москву, получил наследство, около трех тысяч, и завел себе меблированные комнаты.

Убитая девушка жила в публичном доме его тетки, потом «вышла на волю, занималась своим делом» и жила с ним.

— Вы что же, Викторов, были ее «котом»?

— Не совсем чтобы… Как вам сказать?.. Денег я ей, конечно, не платил… Любовником-с был… Но и на ее деньги не жил… Так, иногда кое-что брал… Больше на игру-с!

Три года он служил контролером тотализатора на скачках и вел игру.

— Только-с и жил-с! — с грустной улыбкой говорит он. — Зимой-с, так сказать, прозябал в нетопленой квартире… Часто меблированных комнат топить было нечем… А лето придет-с, скачки — и оживаешь-с. Цельное лето в игре живешь. Берешь на скачки рублей сто пятьдесят — двести, всеми мерами достаешь, — когда продуешь всё вдребезги, когда пятьсот — шестьсот принесешь! Так и жил-с. В полугаре.

В Москве, где скачки летом заполняют всё и вся,

много людей, которые «целое лето в игре живут», а всё остальное время «прозябают».

Замечательно, что в каторге, которая полна игроками, Викторов не играет. Я расспрашивал о нем:

— Не играет!.. Какой игрок!.. Иногда подойдет, когда играем, поставит семитку, — ему чтобы на сахар выиграть… Выиграет гривенник и отойдет… Да и то редко.

Я спрашивал Викторова:

— Как же это так? Такой игрок был, а здесь не играете?

— Не интересуюсь.

— А там отчего же играл?

— Говорю вам, в полугаре был. Только скачками и дышал. Потому близко стоял — и контролером был. В самой центре-с! Кругом ставят деньги, берут, в две минуты сотельные бумажки берут, — ну и я-с! Очухаться не мог-с. Полугар. Не успел от выигрыша или проигрыша очухаться — афиша. Завтра скачки. Обдумываешь, раздумываешь, по трактирам идешь, в трактир «Охту» с конюхами советоваться, играешь, спозаранку встаешь, на рассвете на утренние галопы бежишь. О лошадях только и думаешь, лошади и во сне снятся. Не видишь, как лето пролетает.

Таков этот болезненный, до семи лет не говоривший, в летаргическом сне лежавший, с несомненно болезненной наследственностью человек, принесший в мир столько ужаса и горя. При таких условиях рос, воспитывался и формировался этот «знаменитый убийца».

Время около Петрова дня, 29 июня, время горячее для московских игроков: в это время разыгрывается «Всероссийский Дерби». Генеральное сражение в тотализаторе.

— Шибко я в те поры в нервах был-с. Кто возьмет? На кого ставить? Один говорит: на ту; другой — на другую. Слухов не оберешься. Газеты возьмешь, никакого толку, разное пишут. Та в формы не вошла, та не готова, пишут, ту еще работать надо. Просто голова идет кругом. Места себе не найдешь. Играть надо, а время, сами изволите знать, что за время лето для меблированных комнат? Два номера заняты, ремонт идет, расходы. А тут «Дерби». Прямо — ума решайся.

Вечером в Петров день Настя ночевала у Викторова. Около часа ночи они лежали в постели. «Оба выпимши» и говорили о скачках. Викторов упрашивал, чтобы она заложила еще вещей:

— Надо же играть!

Она попрекала Викторова, что он и так про-

играл у нее все. Слово за слово — Настя дала Викторову пощечину, Викторов схватил стоявший около на ночном столике подсвечник и ударил ее.

— Помертвела вся… Не пикнула… Батюшки, смотрю, — в висок!.. Умерла… А вдруг очнется, кричать примется… Стою над ней… Лежит, не шелохнется… Прошло минут пять… Схватил руку: теплая… не холодеет… Очнется… Пропадешь!.. Страх меня взял-с…

Викторов схватил ножик и перерезал ей горло.

— Не знаю, убил ли… Не знаю… Нет ли… А только так резал, со страху, для верности… Сижу-с, смотрю и думаю-с: что же теперь делать-с… Тут мне корзина в глаза и кинулась… Родственнице должен был я меховые вещи высылать… Корзина, клеенка и камфара, чтобы пересыпать, были заготовлены… Только вещей я выслать не мог — были заложены-с. По причине игры… Думал: отыграюсь, выкуплю, пошлю…

У Викторова мелькнула мысль: что сделать.

— Босиком-с на цыпочках в кухню сходил… Плаху принес, ведерко с водой… Клеенку расстелил, плаху положил и как следует все приготовил. Только как покойницу зашевелил, страшно сделалось… Как это их за плечики взял, приподнял,

голова назад откинулась, будто живая… Горло это раскрылось, рана-с, и кровь потекла… Быдто — как в книжках читал, — как убийца до убитого дотронется, у того из ран кровь потечет… Страшно-с… Бросил… Водки выпил — не берет… Еще водки выпил, еще… Повеселее стало. Поднял я их, на пол тихонько опустил.

Викторов, говоря об убитой, говорит «они», «покойница», с каким-то почтением, в котором сквозит страх перед «ней»: «она» и до сих пор ему снится. Соседи по нарам жалуются, что Викторов вдруг по ночам вскакивает и орет благим матом:

— Белый весь, трясется… Все «его-то» приставляется!

— Положил покойницу на плашку и начал им руки, ноги обрезывать косарем… Косарь острый. Мясо-то режу, а до кости дойдет — ударю потихонько, чтобы хряск не больно слышно было… В другом конце коридора все же жильцы жили…

Странная игра случая: жильцами Викторова были некие Г., отец и сын, служившие… сыщиками в московской сыскной полиции.

— Чтоб хряску не было — все по суставчикам, по суставчикам… Косарь иступился — ножницами жилы перерезал… Щеки им вырезал, чтоб узнать нельзя было…

— Пил водку в это время?

— Куда ж! Ручищи все в крови. Да и не до того было. Только одна мысль в голове была: «Потише! Потише!» Так и казалось, что вот-вот сзади подходят и за плечи берут… Даже руки чувствовал… Дух замрет… Стою на коленках, чувствую, за плечи держат, а глаза поднять боюсь, — зеркало насупротив было, — взглянуть… И назад повернуться страшно… Отдыхаешься, в зеркало взглянешь — никого сзади… И дальше… Из белья тоже меточки вырезал… К утру кончил… Все в корзину поклал, камфарой густо-густо пересыпал, клеенкой увернул, туда же и плашку положил, косарь в ведерке вымыл, где с клеенки на пол кровь протекла, замыл, и воду из ведерка в раковину пошел вылил. Прихожу назад — ничего, только камфарой шибко пахнет.

Однажды, когда Викторову во время разговора сделалось «нехорошо», — я дал ему понюхать первый попавшийся пузыречек спирта, из стоявших на окне в конторе и назначенных для раздачи арестантам.

У Викторова сразу «прошло». Он вскочил, затрясся, стал белым как полотно, протянул дрожащие руки, отстраняя от себя пузырек.

— Не надо… Не надо…

— Что такое? Что случилось?

— Ничего… ничего… Не надоть-с…

Спирт, совершенно случайно, оказался камфарный. Я поспешил закрыть пузырек.

— Не могу я этого запаху переносить! — виновато улыбаясь, говорил Викторов, а у самого губы белые и зуб на зуб не попадет.

Так врезалась ему в памяти эта камфара.

— Вытащил я корзину в соседнюю комнату, прибрал все, и схватил меня страх сызнова.

Две ночи не мог спать Викторов, пил «для храбрости», — выпил «побольше полведра водки».

— Выпью, захмелею и ем… Ел с аппетитом, потому много пил… А протрезвею — страшно… И выйти боюсь: сейчас вот, думаю, как уйду, так без меня придут и откроют… И дома сидеть жутко… Сижу, а мне кажется, что в соседней комнате кто-то вздыхает… Подойду к двери… В комнату-то страшно войти, чтоб не привиделось что… Послушаю у двери — тихо… Опять сяду водку пить… Опять вздыхает… Страх такой брал!..

2 июля он наконец решился выйти. Нанял ломовика, привел и с ним вместе вынес корзину из квартиры.

— Корзина ничего… только камфарой шибко пахло… Как выходил, все окна открыл, чтобы

проветрило…

Как происходила отправка, Викторов после трех бессонных ночей, убийства и полведра выпитой водки помнит как сквозь сон.

— Помню, четыре раза с ломовиком в трактиры заходили… Всё по бутылке водки выпивали, так что он в конце концов хмельной стал, а я хоть бы что… Иду за ломовым, только ноги у меня подламываются… Вот-вот на мостовую сяду. Приехали на Смоленский вокзал… «Вот сейчас, — думаю, — открыть корзину велят…» Зуб на зуб не попадает… «Что такое?» — «Меховые вещи»… — говорю. «Напишите, — говорят, — кому и от кого отправляете!» Чуть-чуть «Викторов» не подмахнул. Да опомнился. Фамилью, думаю, надо выдумать. И хоть бы что! Лезет в голову одна фамилия «Викторов». «Скорее! — говорят. — Чего ж вы?» Тут у меня Васильев с Владимировым в голове завертелись, я и подмахнул… Получил накладную, хожу, все чудится, вот-вот сзади крикнут: «Стой». Вышел на площадь, голова закружилась, к фонарному столбу прислонился, всей грудью вздохнул: чисто тяжесть с плеч свалилась. Иду по улице, ног под собой не чувствую, радуюсь. Пришел домой, в соседнюю комнату заглянул — быдто не здесь ли! Сам над собой

усмехнулся за этакое малодушество. И завалился спать… И хоть бы мне что!

На следующий день, 3 июля, Викторов «честь честью» сходил на квартиру к «покойнице», сказал, что она неожиданно в деревню уехала, — весть получила, мать при смерти, — забрал ее вещи, снес и заложил в ломбард.

— Не пропадать же им, на игру надоть было.

И началась жизнь «спокойная»:

— Афишка. По трактирам бегаю, советуюсь, на пробные галопы гоняю. Играю. Где бы денег промыслить, думаю… Ихние-то деньги сразу продул… Лошади у меня в голове. Сам, часом, диву даешься: словно ничего и не было. Быдто сон. Сам в другой раз себя спрашиваешь, не сон ли был? Только камфарой в комнатах еще попахивает, как окна ни растворяешь. Но меня это мало беспокоило. Лошади и лошади — так игра скрутилась, что либо пан, либо пропал. Большие призы кончились. Первый класс ушел. Скачут все лошади фуксовые. Выдачи огромадные. Тут в лошадях не разберешься, когда о другом думать?

Как вдруг однажды, развернув газету, чтоб прочесть про скачки, Викторов прочел:

— «Страшная находка в Брест-Литовске».

— И поплыло, и поплыло все перед глазами.

Буквы прыгают. В комнате-то рядом охает кто-то, стонет. Камфарный запах по носу режет. По коридору идет кто-то. Мысли кругом. Что ж это, думаю, я наделал? Страх меня взял и ужас… Жду не дождусь, когда жильцы из сыскного с занятиев вернутся… Пришли, сам что было духу собрал, к ним пошел, водочкой угостил, спрашиваю: «Ничего не слыхать про труп-то, изрубленный в Брест-Литовском? Нынче в газетах читал. Экий страх-то какой! Какие нынче дела творятся». — «Нет, — говорит, — ничего не слыхать, кто убил». У меня от сердца и отлегло. «Но только, — говорят, — сам Эффенбах за дело взялся. От начальства ему приказ вышел, чтоб беспременно отыскать. Наверное, отыщут». Так они у меня от этих слов в глазах и запрыгали.

Тут уж началась «жизнь беспокойная».

— Куда деваться — не знаю. Куда ни пойду — покойница. Останешься ночью дома, заведешь глаза, входит… Головку запрокинет так, горло раскроется, кровь бежит. Стал по публичным домам ночевать ходить — и там приставляется. Пью и играю. Бесперечь пью. И ежели бы не скачки — ума бы решился.

Вряд ли когда-нибудь господам спортсменам снилось, чтобы тотализатор сыграл такую роль.

— Закрутил игру так — на всё. Кручусь, кручусь, и покуда скачки — ничего, отлегает, ни о чем не думаешь. А кончились скачки — пить. Пью и не пьянею. И всё мне они. Всё они. Побёг в церкву, отслужил панихиду — перестала день, два являться. Потом опять — я опять по ним панихиду. Панихид четыре-пять справил — всё по разным церквам. Отслужишь, полегчает, потом опять приставляется.

Как назло, жильцы только и говорили, что о «загадочном убийстве».

«Загадочное убийство» волновало всю Москву. Сыскная полиция сбилась с ног от розысков, и, возвращаясь домой, агенты только об этом и говорили:

— Всё еще не разыскали. Словно в воду канул. Но ничего — разыщем! Непременно разыщем!

— Чувствую: с ума схожу. Мечусь! По публичным домам ночую, утром на галопы. Скачки. Со скачек в церкву бегу панихиду служить. По трактирам пью. Вечером домой на минутку бегу узнать: как? что?! Мечусь… Вхожу к ним, словно жду, — вот-вот смертный приговор услышу. «Что?» — спрашиваю, а сам глянуть боюсь. А как скажут «ничего» — ног под собой не чувствую. Сколько разов после этого к себе в комнату по-

бежишь, хохотать что-то начнешь, удержу нет. В подушку уткнешься, чтоб не слышно было, «ничего!» — в подушку кричишь. Сам-то хохочешь, а в нутре-то страшно. И вдруг «они» представляются… Опять пить, опять из дому бегать, опять панихиды служить. Мечусь.

Метанье кончилось тем, что однажды на скачках к Викторову подошли:

— Вас вызывают в сыскную полицию.

— У меня руки-ноги отнялись… «Да нет, — думаю, — не за этим». Много у меня разных делов накопилось: потому за это время, говорю, закрутил игру вовсю — у родных все вещи на игру перетаскал. Привезли меня в сыскную. В комнату вводят. Полутемная такая комната. Народу много было, спиной к окнам стояли, свет застили. Стол, сначала я не разобрал, что в нем такое! А как меня подвели — я и крикнул… Корзинка, белье, клеенка, плашка… Остолбенел я, кричу только: «Не подводите! Не подводите!» А Эффенбах меня в спину подталкивает: «Идите, — говорит, — идите, не бойтесь. Это из Брест-Литовска». — «Не подводите! — ору. — Во всем сознаюсь, только не подводите…»

Сидя в сыскном отделении, Викторов давился на отдушнике при помощи рубашки.

— Они измучили… Покойница… Завяжу глаза — здесь они, со мной сидят… «Вот, — говорят, — Коля, где мы с тобой». Не выдержал. Да и смерти ждать страшно было.

Как и очень многие, Викторов ждал «беспременно веревки».

— Уж я вам говорю. Вы на суде не были? Меня прокурор обвинял, господин Хрулев…

— А защищал кто?

— Не помню. Не интересовался. Без надобности. А обвинял Хрулев по фамилии. Так вот посередке стол стоял, на нем бельецо ихнее, скомканное, слиплое, черное стало, клееночка. А около корзинка та самая стояла… Как эти вещи-то внесли, я чувства лишился. Страшно стало. На суде-то я сдрейфил, что сам говорил, что кругом говорили, — не сознавал. А только вот это-то помню, что господин Хрулев на корзинку показывали, требовали, чтобы и со мной то же сделали. На части, стало быть, разрубить!

Большинство этих «знаменитых убийц» уверено, что им «веревки не миновать за убийство».

— За этим-с и покойницу на части рубил и отсылал — веревки боялся.

И большинству на суде, среди страха и ужаса, кажется, что прокурор требует смертной казни.

— Когда вышел приговор в каторгу — ушам не поверил, — говорит, как и очень многие, Викторов.

В каторге он жалуется на слабость здоровья:

— Пища плохая, и главная причина — ночи бессонные! Думаю все.

— О чем же?

— О прошлом. Господи, глупо как все было! Если бы вернуть!.. Ну и спать тоже иногда боязно… Когда их душа там мучается… Грешница ведь была, блудная-с… Когда ихней душе там невмоготу…

— Что же? Является?

— Приходят.

И, весь съежившись, вздрагивая, этот жалкий, тщедушный, весь высохший человек, понизив голос, говорит:

— Главная причина — денег нет… Панихидки по них отслужить не могу… Чтоб успокоились.

Специалист

Лет десять тому назад в Одессе было совершено громкое преступление.

Старик-банкир Лившиц был найден задушенным в постели. Ничего украдено не было. Стоявшая в соседней комнате несгораемая касса с деньгами оказалась нетронутой. В кухне лежала связанная по рукам и ногам, с завязанным ртом, задыхавшаяся кухарка Лея Каминкер.

Она рассказала, что ночью в квартиру ворвались какие-то люди в масках, пригрозили ее убить, если будет кричать, связали, бросили и пошли в комнаты. Что там происходило — она не знает.

Начались розыски, про которые потом на суде рассказывались ужасы. Один из взятых по подозрению даже повесился в участке.

После очень долгих, тщетных, ошибочных поисков наконец удалось открыть, что на банкира Лившица охотилась целая шайка. Некто Томилин, многократный убийца, отчаянный головорез, отстреливавшийся от вооруженной погони. Его любовница Луцкер, воровка по профессии. Бродяга-громила Львов. Какая-то вдова,

занимавшаяся покупкой краденого. В шайке участвовала и кухарка Каминкер, открывшая убийцам дверь и затем, по уговору, разыгравшая комедию, будто ее связали.

Странным представлялось только, почему убийцы не тронули кассы.

Они объяснили это тем, что приглашенный в компанию «специалист по взлому касс» Павлопуло испугался во время убийства и убежал.

Принялись отыскивать Павлопуло.

Оказалось, что он с тех пор совершил еще одно преступление.

Павлопуло попался при ограблении казначейства где-то в Крыму. Забравшись с вечера в казначейство, он за ночь взломал кассы, набил карманы деньгами и ждал, чтоб его сообщники открыли двери казначейства. Услыхав, что двери открывают, Павлопуло с карманами, набитыми деньгами, подошел. Двери открылись — перед Павлопуло была полиция.

— Один из моих помощников, подлец, продал! — со вздохом говорит Павлопуло.

Его судили, осудили, и он шел уже по дороге в Сибирь.

— В это время меня эти негодяи, которые Лившица, царство ему небесное, убили, и выдали!

Всю карьеру мою перепортили.

— Какую же карьеру?

— У меня уж «сменщик» готов был. Все налажено. Как только приду на место, сейчас же уйду, за границу бы, и занимался бы и сейчас своей настоящей специальностью!

— Именно?

— Кассы бы открывал!

И Павлопуло говорит это с таким вздохом. У него сильный греческий акцент. Он говорит, собственно:

— Кассии открывали би!

И в слове «кассии» у него звучит даже нежность. Словно имя любимой женщины.

Павлопуло был возвращен с дороги, препровожден в Одессу, — и вот перед судом предстали: Каминкер, все время плакавшая, дрожавшая, тщедушная пожилая еврейка; Львов, здоровейший верзила, с апатичным взглядом, все время рассматривавший потолок, стену, публику, судей, не обращавший ни малейшего внимания на то, что происходит, словно не его дело касалось! Все время без удержу рыдавшая и кричавшая: «Я не виновата! Я не виновата!» — вдова, покупательница заведомо краденого, оглохшая в тюрьме, ходившая на костылях, когда-то, должно быть,

очень красивая, молодая еще, еврейка Луцкевич, объявившая суду:

— Прошу не сажать меня около Томилина — он меня убьет.

В кандалах Томилин, успевший уж за это время много раз судиться, осужденный в каторгу, спокойный, очень кратко, но ясно и обстоятельно разъяснивший суду, как было дело.

И страшно интересовавший публику, судей, присяжных, в кандалах же, как уже осужденный в каторгу, живой, подвижной, средних лет, грек Павлопуло.

— Вы меня знали раньше? — спросил он у свидетеля-пристава, специалиста по розыскам.

— Нет, не встречал.

— А имя Пана вам было известно?

— Ну еще бы!

В голосе свидетеля даже послышалась почтительность.

Пан — это воровская кличка Павлопуло.

В воровском круге Павлопуло получил кличку Пан за свою привычку к «хорошей», широкой и богатой жизни. За кутежи и франтовство.

— По тридцати рублей рубашечку носил! — вздыхал на Сахалине Павлопуло. — Паутина-с, а не полотно!

Кличку Пан Павлопуло получил за то, что он шел только на очень большие, крупные дела.

— Мое дело — банки, конторы. Из частных лиц — разве кто уж очень богат, — ну, к нему пойду, у него попрактикую!

Словно снисходил до частных лиц! «Мелкой практикой» Павлопуло не занимался совсем.

Паном его звали еще за необычайно презрительное, высокомерное отношение ко всей воровской братии. «Достойными уважения» и его общества, из людей его профессии, Павлопуло считал только трех-четырех, «таких, как и он».

— Один есть такой в Москве. С остальными я встречался за границей.

Имя Пана гремело не только в России. Он был известен в Румынии, Турции, Греции, Египте.

— Вообще на Востоке! — пояснил Пан присяжным.

Когда полицейские рассказали суду все это про Пана Павлопуло, Павлопуло поднялся с места и, звякнув кандалами, ткнул пальцем в грудь:

— Пан — это я!

Старые судейские потом говорили, что более оригинального подсудимого не видывал суд.

Павлопуло обратился к свидетелю, сыну покойного Ливщица.

— Скажите, пожалуйста, вы знаете кассу вашего покойного батюшки?

— Да. Она у меня и до сих пор.

— Она такой-то формы? Марка такая-то?

— Да.

— Замок с таким-то секретом? Отпирается так-то и так-то?

Павлопуло рассказал мельчайшие подробности всех секретов кассы.

— Да. Да. Да.

— Скажите, для того чтобы касса открылась без звона, что надо сделать?

— Право… не знаю…

— Припомните хорошенько. Там есть с такого-то бока такая-то кнопка. Если вы ее прижмете, касса откроется без звона.

— С такого-то бока, вы говорите?

— Да, да, вы не торопитесь. Вы припомните. Там должна быть такая-то кнопка.

— Да! Совершенно верно! Есть такая кнопка, и, если ее прижать, касса действительно отпирается без звона! — припомнил свидетель.

— Вы видите! — обратился Павлопуло к суду. — Я лучше знаю его кассу, чем он сам!

Павлопуло отрицал всякое свое участие даже в умысле на убийство.

— Неужели я на такую глупость способен?! — восклицал он горячо и убедительно. — Зачем мне? У меня, слава богу, есть своя специальность!

Так и сказал: «слава богу». И так часто и с таким увлечением упоминал про «специальность», что председатель наконец спросил:

— Про какую это вы все «специальность» толкуете?

— Кассии открывати!

— А!

— Я за свою специальность даже кандалы ношу! — с гордостью говорил Павлопуло, словно и невесть какой знак отличия получил. — Я за свою специальность, вы слышали, за границей известен. Я за свою специальность Сибирь получил!

— Я, господа присяжные, такой же, как они, вор. Но другой специальности! — пояснил он присяжным. — Мы разделяемся на разные специальности. У кого какая, тот той и держится. Карманник — он карманник, и по парадным дверям шубы красть — это уж не его дело. На это есть «парадники». «Парадник» опять-таки в поездах пассажиров обкрадывать не пойдет. Он этого дела не знает! На это есть «поездошники». На все свои специальности. Я специалист по открытию касс.

— Мне убивать идти! Мне! — всплескивал он руками, и на лице его выражалось даже сожаление к людям, способным вообразить себе такую нелепицу. — Да зачем мне? Да я, случалось, открывал кассы, когда хозяин тут же по соседству в комнатах сидел, — и никто ничего не слышал.

Павлопуло никогда не говорил «ломать» кассу, всегда мягко: «открывать». «Ломати кассии глупо, кассии открывати нузино!» — по его словам.

— Я бы кассу и открыл, и деньги взял, и ушел — Лившиц бы и не проснулся! И вдруг я буду идти на убийство!..

— Ну, однако! — прервал его разглагольствование председатель. — Ведь вы сами же говорите, что при вас револьвер был.

— И не только револьвер, но еще и кинжал, но еще и кастет! — горячо воскликнул Павлопуло. — Да ведь вы посудите, в какую компанию я шел! Что это за публика? Вы посмотрите только на их физиономии! Хороши?

Томилин при этих словах оглянулся и только презрительно посмотрел на Павлопуло своими серыми, холодными, спокойными глазами.

— Ведь эта «публика» за пятачок человека зарезать готова! — горячо продолжал Павлопуло. — Ведь это негодяи! А при мне были и часы, и

перстни, и портсигар золотой. Должен же был я с собой для них оружие захватить. Ведь они меня при дележе могли убить!

В действительности убийство Лившица произошло так.

Убийства не затевалось. Затевали только грабеж. Душой предприятия была вдова-ювелирша, покупательница краденого. От своей знакомой Каминкер она слыхала, что у «хозяина» все деньги хранятся дома, и свела ее со своими знакомыми, неоднократно продававшими ей краденое, громилами Томилиным и Львовым. Но как открыть кассу? Самим сломать, не зная, как это делается, — весь дом на ноги поднимешь. Компания воспользовалась прибытием в Одессу «по делам» знаменитого «специалиста» Пана и предложила ему принять участие.

Пан пошел на «хорошее дело» с обычной осторожностью. Приказал Каминкер сломать замок у двери и в качестве слесаря позвать его. Явившись под видом слесаря в дом, осмотрел расположение комнат, мельком взглянул на кассу:

— Мне на кассу достаточно раз взглянуть, чтобы понять ее. Касса, я сразу увидел, была нетрудная. У меня в практике бывали такие.

Павлопуло объявил компании:

— Дело легкое!

Но предупредил:

— Только помните, чтобы без глупостей. На глупость я не пойду. Да и ни к чему, Лившиц и не услышит, как я открою кассу.

Это мне и Томилин на Сахалине говорил:

— Такой уговор действительно был. Недотрога ведь, белоручка Пан, — одно слово. Мразь!

Вечером в назначенный день Каминкер отперла дверь на черную лестницу, и в кухню вошли Львов, Томилин, Луцкер в мужском платье, — Томилин не отпускал Луцкер от себя ни на шаг, — и Павлопуло «с необходимыми инструментами».

Лившиц еще не спал. Компания осталась ждать в кухне. Пили водку «для храбрости» — все, кроме Павлопуло. Он боялся, чтоб его не опоили.

Злой, жестокий, необузданный Томилин пьянел, ожидание раздражало его, и Павлопуло начал беспокоиться и предупреждал:

— Так помните, чтоб без глупостей!

— Ладно! Сказано! Молчи уж!

Каминкер сходила, послушала:

— Кажется, заснул. Тихо.

Ее, как было условлено, связали, завязали ей рот, положили в постель и пошли.

Павлопуло должен был вскрывать кассу. Ль-

вов, Томилин, Луцкер — стоять настороже. Если Лившиц проснется, кинуться, связать, завязать рот, — но и только.

Тихонько вошли они в комнату, где стояла касса. В соседней комнате, в спальне Лившица, был свет.

Старик лежал в постели и читал книгу.

Грабители притаились.

Так прошло несколько минут. Луцкер, Томилин, Львов, Павлопуло стояли, не смея дышать. А старик преспокойно читал.

— Словно несколько часов прошло! Дышать было трудно, — говорит Павлопуло.

Как вдруг Томилин не выдержал. Кинулся в спальню, за ним кинулся Львов.

У Павлопуло подкосились ноги.

Старик только поднял голову, не успел даже вскрикнуть. Томилин накинул веревку. Львов схватился за другой конец. Дернули. Хрипение. Старик был мертв.

Когда Томилин повернулся к Павлопуло.

— Такого лица я еще никогда не видывал! — говорит Пан.

Он кинулся к двери.

Львов загородил было ему дорогу.

— А касса?

Павлопуло выхватил револьвер:

— Башку вдребезги!

Верзила отшатнулся, и Павлопуло «был таков».

— Мы все тогда испугались! — говорит Львов.

Томилин был страшен. Он «вошел в сердце». Придя в кухню, сел на связанную Каминкер и, когда та заворочалась, дал ей такого тумака по голове, что она потеряла сознание.

Луцкер и Львов дрожали.

— Думали, всех убьет!

Томилин кричал, «рычал, как зверь», сквернословил, ругался, пил водку.

Луцкер на коленях молила:

— Да успокойся ты! Успокойся!

Насилу «отдышался».

Так происходило убийство.

— В этакую глупость впутался! С такими мерзавцами связался! — бил себя по голове как-то в разговоре на Сахалине Павлопуло, и в словах его звучало отчаяние неподдельное. — А? В убийство попал. В убийство, когда я имею свою специальность!

Присяжные не дали веры Павлопуло, он был осужден за убийство с заранее обдуманным намерением, наравне с Томилиным и Львовым.

Павлопуло только пожал плечами и поблагода-

рил своего защитника по назначению, теперь уже покойного присяжного поверенного Ваховича:

— Благодарю вас за защиту. А что меня осудили, вина не ваша! Не поняли нас с вами господа присяжные заседатели!

Таков Пан.

Павлопуло был неуловим для меня на Сахалине. Придешь в Александровскую «вольную» тюрьму.

— Здесь Павлопуло?

— На работе. На паровой мельнице.

Идешь туда.

— Ушел Павлопуло.

Отыскивал его утром, вечером — никак не мог увидеть.

Однажды я бродил по тюрьме, как вдруг на меня бросился — буквально бросился — какой-то кавказец, сосланный за многократные убийства: родовая месть. Он на что-то жаловался, подавал прошение, не получал ответа и теперь требовал его от меня!

— Атвэчай!

Я напрасно убеждал его, что я не начальство. Кавказец ничего знать не хотел:

— Как нэ начальство? Зачэм нэ начальство? Драть всэ начальство, жалоба правая разби-

рать — нэт начальства?!

Глаза горят:

— Атвэт давай! Два гуда ждэм. Булше ждать не жэлаем.

Вдруг чья-то сильная рука отстранила кавказца.

— А вот постой, я с ним поговорю по-своему.

Передо мной стоял, руки в боки, здоровенный молодой каторжанин, кожаный картуз набекрень, рубаха-косоворотка с «кованым», вышитым воротником. Халат едва держится, накинут на одно плечо. Вид типичного «Ивана». Это был тюремная знаменитость А. «Иван», не «спускавший» самому Патрину[69].

— А п-позвольте у вас узнать, кто же такой вы будете, ежели вы не начальство?

— А тебе какое дело? Ведь я тебя не спрашиваю, кто ты такой!

— Нет-с, позвольте-с!

А. с вызывающим видом загородил мне дорогу.

— Ежели вы, как вы изволите говорить, не начальство, на каком же таком основании вы тюрьму осматриваете? А?

Кругом стояла толпа. Ждали, «чем кончится».

---

[69] Примечания: 69

Патрин, смотритель тюрьмы, был в то время ужасом всей каторги.

Положение было критическое. Пригрозить начальством, жалобой — избави бог — это значило бы лишиться всех симпатий арестантов. Уступить — сконфузить себя, уронить в глазах тюрьмы. Унизить его чем-нибудь, избави бог, ведь сколько розог принял этот человек, чтобы добиться славы «Ивана». И вдруг чтобы все это пустить насмарку, уничтожить его обаяние в глазах тюрьмы. Надо было найти какой-нибудь выход. Выйти так, чтобы и он, и я разошлись, не уронив своего достоинства.

Мне пришло в голову гаркнуть на него во всю глотку:

— Молчать! Шапку долой! Ты как смеешь так со мной разговаривать? А? Что я тебе, начальство, что ли, что ты смеешь в шапке передо мной стоять да мне грубить? Начальство я тебе?[70]

Все кругом заревело от хохота.

«Иван», после он мне сам говорил, «начал-то с бреха, а потом вижу, глупость делаю», сначала опешил, потом сам обрадовался тому выходу, захохотал, сняв шапку:

— А ежели не начальство, наше вам почтение! Милости просим! Ежели не начальство, виноват!

---

[70] Примечания: 70

«Иван» должен быть дерзок только с начальством.

Все были довольны таким мирным исходом, смеялись, и среди смеющихся лиц мне показались знакомыми сжавшиеся от смеха в щелочки, черные, как маслины, живые, огнем горевшие глаза.

— Как фамилия?

— Павлопуло.

— А! Знаменитый Пан! А я ведь тебе привез поклон от твоего защитника, господина Ваховича!

Покойный Вахович действительно просил меня перед моей поездкой, увижу, кланяться его оригинальному клиенту.

Павлопуло засиял от счастья. Теперь уже глаза всех почтительно были обращены на него: знаменитость, которую проезжие люди по России помнят!

— Ах, как вы меня этим поддержали! Вы себе этого и представить не можете! — говорил мне потом Павлопуло. — На сто процентов ко мне уважение поднялось!

С этого и пошла наша дружба. Когда я приходил в «вольную» Александровскую тюрьму, меня всегда сопровождали двое — Павлопуло, который разъяснял, что при мне нечего опасаться пить водку, играть в карты и т. п., и А., который считал своим долгом меня охранять:

— Мало ли какой дурак может вам скандал сделать? Ведь народ тут тоже. Одно слово — арестант.

На Сахалине служащие получают в складчину телеграммы «Российского агентства», которые печатаются в местной типографии. Я брал оттиск, и Павлопуло каждый день заходил ко мне почитать телеграммы: в то время шла греко-турецкая война.

Он оседлывал нос золотым пенсне, которое так удивительно шло к арестантскому бушлату, читал и покачивал головой:

— Ца! Ца! Ца! Насих бьюти! Бьюти греков! Бьюти!

Был печален, озабочен, приходил в неистовство:

— Министри наси никуда не годятися! Министри! До чего довели! На сто ми тепери воевати мозем! Все Делианиси изделали!

А однажды объявил:

— Из-за этого Делианиса я в каторге!

— Как так?

— Павлопуло моя не настоящая фамилия. Я из Афин. У меня в Афинах брат адвокат есть. Только я, конечно, в молодости с пути сбился. А то бы хорошим механиком был. Но только когда в воз-

раст пришел, решил остепениться. Выждал, когда мне по греческим делам давность вышла, — денег у меня было много, — купил себе землю в Греции. Тут наши министры такую политику повели — беда. Нищие совсем стали. Налоги страшные. Земля себя не окупает. Неурожаи. В долги влез. С аукциона все пошло. А жить я привык! Пришлось опять кассы вскрывать идти. Вот до Сахалина из-за министров наших и дошел!

Часто он говорил мне, и в голосе его слышалось столько за душу хватающей тоски:

— Что Сахалин! Не то меня мучает, что я на Сахалине. А то, что далеко я от Греции! Там что теперь делается! Бедная, бедная Греция!

Иногда он говорил:

— Пустили бы меня. В волонтеры бы пошел! Хоть бы умереть дали за Грецию!

И когда он говорил о Греции, в голосе его слышалось столько нежности, любви к родине.

Теперь уже Павлопуло отбыл свою сокращенную, за силою манифеста каторгу, и я могу передать этот разговор.

— Павлопуло, — спросил я его однажды, — отчего вас никогда на мельнице нет?

— Да я там никогда и не бываю. Я каторги никогда и не отбывал. Каторжные работы отбывают

только те, у кого денег нет.

— Как же так?

— А так, нанимаю за себя другого. Он и свой «урок» исполняет, и мой.

— И дорого платите?

— Пятачок в день. Мне есть расчет. Я больше наживаю.

— Чем же вы занимаетесь?

— Торгую в тюрьме старьем, деньги в рост даю.

— И помногу процентов берете?

— Да игрокам даю, как у нас водится, «до петухов», на одни сутки. Сто процентов в сутки! Процент хороший! — улыбнулся он.

Пан остался аристократом и здесь: ростовщик в тюрьме — лицо почетное и уважаемое. Павло-пуло, как я в этом убедился, как паук, высасывал всю тюрьму.

У него были деньжонки, и деньжонки порядочные. Как и все каторжане, он лелеял мечту:

— Бог даст, и не так еще поживу! На воле буду — опять за свою специальность возьмусь!

О «специальности» и о кассах, почти как о Греции, он говорил с увлечением, с теплотой, с любовью.

— Как же вы? Учились, что ли, ломать?

— Вскрывать, а не ломать!

— Ну вскрывать?

— А как же! В промежутках, бывало, купишь себе несгораемую кассу и на ней практикуешься!

Он с необычайным жаром рассказывал, как это надо делать, чертил, рисовал.

— Я однажды в Александрии, в Египте, три месяца над мильнеровской кассой бился, как ее вскрыть. Вот касса! Ца! Одному невозможно. Втроем надо, меньше никак нельзя! Пудов шестнадцать одних инструментов принести нужно. Начнешь над нею с непривычки работать — дом трясется. Только со спинки и можно ее взять. Вы, сколько я вас вижу, не из тех людей, которые несгораемые кассы себе заводят. Но если, дай вам бог, заведете, заведите себе мильнеровскую! — засмеялся Павлопуло.

— Да! А вы придете и откроете!

— Я? За кого вы меня принимаете? Вот что я вам скажу: не только я не приду, но, если я в том городе буду, ни один вор к вам не придет. Они Пана уважают. Пан скажет: «Не тронь» — и не тронут. И вы вдруг про меня так думаете. Ай-ай-ай!

Он был серьезно обижен.

— Ну хорошо, Павлопуло, человек вы «с правилами», образованный, не стыдно вам, не грех у людей их достояние отнимать!

Павлопуло посмотрел на меня с удивлением:

— Да разве я когда-нибудь у бедных, которые своим трудом нажили, отнимал что-нибудь? Я бедным всегда сам помогал. Я ж, вы знаете, только богатых.

— Ну, у богатых!

— Так какое же это их достояние? Поверьте мне, тысячу своим трудом нажить можно. А миллион не своим трудом наживается, а чужим. Все чужое достояние. Они чужим достоянием живут, и я чужим! — рассмеялся он. — Да и к тому же у кого есть деньги в несгораемой кассе, у того есть они и в другом месте! Я последнего человека не лишаю.

— Послушайте, Павлопуло, вы словно любите вскрывать кассы! — заметил я ему однажды. — Словно самую эту работу любите?

— Люблю-с! — спокойно ответил он. — Всякое дело надо любить: только тогда и добьешься искусства!

Такой странный мономан.

Когда я уезжал с Сахалина, Павлопуло пришел проводить меня на пристань. Он просил меня прислать ему историю греческой войны на греческом языке.

— Вы много путешествуете. Если будете когда в

Греции, кланяйтесь моей бедной, милой, родной стороне от ее сына!

И на глазах его были слезы.

— Прощайте, Павлопуло.

— До свиданья вам! — поправил он меня, хитро подмигнул и улыбнулся.

Людоеды

Случаи людоедства среди беглых каторжных более часты, чем об этом думают. «Официально известны» три людоеда.

Занимаясь в архиве Рыковской тюрьмы, я натолкнулся на следующий документ, помеченный 28 июля 1892 года:

«Его высокоблагородию господину смотрителю Рыковской тюрьмы Тымовского округа надзирателя центральной дороги Мурашова.

Рапорт

Имею честь препроводить вашему высокоблагородию ссыльнокаторжного Рыковской тюрьмы Колоскова Павла, который бежал с 13-го на 14-е, а донесено 15-го сего июля за № 248. Пойман рассыльным вышепоименованной тюрьмы Хрусталем 24-го сего текущего месяца на 1-й Хандосе; при нем найдены арестантские вещи, два котла, в том числе мешок человеческого мяса, поджаренного. Колосков Павел показал, что убил ссыльнокаторжного, который вместе пошел с ним в просеки, звать не знает, а физиономию

объяснил: светло-русый мужчина, выше среднего роста, малоросс, около 35 лет, вероисповедания православного. По справке оказывается, что в эту самую ночь бежал с ним ссыльнокаторжный Крикун-Каленик. Я, Мурашов, производил осмотр вещам Колоскова, нашел халат, белье грязное с покойника, и мясо зажаренное, человеческое, которое стало разлагаться от теплой температуры в котомке воздуха. Преступление совершено на пятой версте от Онора, по дороге, ведущей от 2-й Хандосы на Онор. При таких важных обстоятельствах преступления, ссыльнокаторжного Колоскова имею честь препроводить к вашему высокоблагородию, на зависящее распоряжение в ручных и ножных кандалах».

Это происходило на работах по проведению Онорской просеки. Воспоминание об этой «Онорской дороге» сохранилось в одной каторжной песне, сложенной «терпигорцами», то есть каторжанами, шедшими на Сахалин не морем, а сухим путем:

Пока шли мы с Тюмени —
Ели мы гусей,
А как шли мы до Онора —
Жрали мы людей.

Так живет в каторге страшная память об онорских работах.

Кому-то и с чего-то пришла в голову героическая, но совершенно нелепая мысль прорезать просекой Сахалин вдоль южного поста Корсаковского. Просеку пришлось вести через тундру, поросшую тайгой. Что это за просека, можете судить по тому, что мне, например, чтобы проехать верхом восемь верст от Онора до Хандосы 2-й, понадобилось три с половиной часа. Ехать по «просеке» можно только на сахалинской лошади, выросшей в тайге. Лошадь осторожненько ступает по корням невыкорчеванных пней. А когда становится на «грунт», моментально завязает по брюхо в топкой, растаявшей тундре.

Работы по проведению «просеки» велись от ранней весны до первых заморозков. Люди вязли в трясине, рубя деревья и выкорчевывая пни. И к этой муке — работать чуть не по пояс в топкой грязи — присоединялась еще нестерпимая мука от мошкары, которая тучами носится летом над тундрой. Мошкара облепляла людей. Люди буквально обливались кровью.

— Места живого не было от укусов! — говорят бывшие на этих работах. — Мошкары такая тьма была, бывало, вздохнешь, да и задохнешься, —

столько ее в рот попадает!

Люди, бывавшие летом в тундре, вполне этому поверят.

За целое лето прошли таким образом семьдесят семь верст, а затем эта идея — прорубить просеку «вдоль всего Сахалина» — была брошена как совсем невыполнимая. О трудности работ можете судить по тому, что отправилось на онорские работы триста девяносто человек, а вернулось восемьдесят. Остальные — одни перемерли, другие бежали, часть их была поймана, большинство так и погибло в тайге «без вести».

Нужна была какая-нибудь сверхъестественная сила, чтобы заставить людей исполнять такие работы. И такой силой в руках местной тюремной администрации, производившей дорожные работы, но ничего в них не понимавшей, явился старший надзиратель Ханов.

Ханов сам из ссыльнокаторжных. Когда-то он был сослан за какое-то, говорят, зверское преступление и отбывал каторгу в Каре «в разгильдеевские времена», о которых до сих пор с ужасом вспоминают старики-каторжане.

— Я — разгильдеевец! — с гордостью говорит Ханов.

Ханов отбыл каторгу, поселенчество и, приехав

на Сахалин, сделался надзирателем. Нет вообще лютее надзирателей, чем из ссыльнокаторжных. Как всякий бывший ссыльнокаторжник, Ханов ненавидел и презирал каторгу. К тому же он знал ее хорошо, тонко, «по-каторжному» знал.

Чтобы команда из трехсот девяноста каторжан, бывшая под присмотром всего трех надзирателей, не взбунтовалась, Ханов отделил из нее «Иванов».

Опытным глазом «старого разгильдеевца» Ханов присматривался к каждой новой партии каторжан — и сейчас же выделял «Иванов», именно их-то и делая надсмотрщиками за работами. «Иваны», таким образом, совсем избавлялись от работ, могли питаться лучше, заведуя раздачей арестантских порций, и получали полную возможность тиранить и грабить злосчастную «шпанку», выколачивая из нее последние гроши, последние щепотки табаку.

Лучше жизни «Иванам» и не нужно было. Они были на стороне Ханова. А «шпанка», забитая и несчастная, лишившись своих коноводов, терпеливо несла свой крест.

Чтобы забить «шпанку» вконец, «старый разгильдеевец» употреблял два приема: непосильные «уроки» и недостаточность пищи. Урочные

работы задавались такие, что все и всегда были виновны в «неисполнении урока». Порка — Ханову было предоставлено право драть — шла по всей линии несосветимая. Кормил Ханов арестантов раз в день, после работ. И пищи было недостаточно, и «Иваны» еще вдобавок крали, — измученный человек, кончив «урок», или, вернее, никогда не кончив «урока», если избег порки, «тыкался» к котлу, «жрал» наскоро и, заморенный, полуголодный, засыпал тут же, на месте, как убитый. До протестов ли тут! Так в голоде и ужасе жила «шпанка».

Забив «шпанку» физически и нравственно, Ханов подобрался и к «Иванам». Но делал это опять-таки необыкновенно тонко и по-каторжному — умело. Он «сокращал» их по одному, в то же время другим давая еще бóльшие льготы. Вдруг возьмет и одного какого-нибудь «Ивана» из надсмотрщиков переведет в простые рабочие, на полуголодный, полутрепетный режим. Остальным «Иванам» это было только на руку: меньше надсмотрщиков — больше каждому из оставшихся достанется на долю при дележке награбленного. И разжалованный из надсмотрщиков в рабочие «Иван» должен был покоряться. Что он один поделает, когда вчерашние его това-

рищи колотят и бьют его.

— Работай, такой-сякой! Не лодырничай!

Так мало-помалу Ханов «перевел» у себя и «Иванов», оставив из них в качестве надсмотрщиков только самых отчаянных. Зато уж и преданы были эти надсмотрщики Ханову истинно «как псы». Их было мало, на долю каждого приходилось много. Им прямой был расчет поддерживать хановские порядки, и сам надзиратель из каторжан так не свирепствовал, как свирепствовали каторжные надсмотрщики.

Так, применяя правило «divide et impera»[71], Ханов держал в своих поистине железных руках каторгу и делал с ней все, что хотел.

Люди бросались под падавшие срубленные деревья, чтобы получить увечье, люди отрубали себе кисть руки, — на Сахалине и сейчас много этих «онорцев» с отрубленной кистью левой руки, — чтобы только их, как неспособных к работе, отправили назад, в тюрьму. Люди очертя голову бежали в тайгу на голодную смерть.

Павел Колосков был одним из «Иванов», проведенных Хановым.

Колосков в первый раз был сослан на Сахалин

---

[71] Примечания: 71

«Разделяй и властвуй» *(лат.).*

на десять лет за убийство с целью грабежа. Затем он бежал, был пойман, получил плети, присужден к вечной каторге, с «пятнадцатью годами испытуемости», то есть должен пятнадцать лет содержаться в кандальной тюрьме: нечто совершенно безнадежное. В тюрьме он был одним из «Иванов», и, когда его пригнали с партией на онорские работы, Ханов сейчас же сделал Колоскова надсмотрщиком.

— Жилось тогда, что говорить, хорошо. Ешь вволю, табак, даже водку доставали.

Колосков и сейчас с удовольствием вспоминает об этом времени. Но оно длилось недолго: Ханов сократил «Ивана» по вышеуказанному рецепту.

— Взъелся и взъелся. Перевел в рабочие. Я к товарищам: «Что ж это, братцы? За что?» Смеются: «Не умел, стало, потрафить. Теперь сам и разбирайся, как знаешь. Нам хорошо — а до тебя какое дело? На Сахалине всяк за себя. А ты вот что: ты, чем брехать, „урок“ исполняй, — потому мы затем над тобой приставлены». Парень я был могутный — Ханов на меня и наваливает, и наваливает. Такие «уроки» загибает — с сил спал. Что ни день, дерут: «урока» не выполнил. Вижу — смерть. В те поры я товарища подговорил и убег.

Колосков и до сих пор содержится в Алексан-

дровской кандальной тюрьме.

Молодой еще парень, низкорослый, широкоплечий, истинно «могутный». С тупым, угрюмым лицом, исподлобья глядящими глазами. Каторга, даже кандальная, «головка» каторги, его не любит и чуждается. Он ходит обыкновенно один вдоль палей, огораживающих кандальное отделение, взад и вперед, понурый, мрачный, словно волк, что неустанно бегает вдоль решетки клетки.

— Ушли мы с товарищем с работ! — рассказывает Колосков.

— Провианту захватили?

— Не! Какой там провиант. Оно верно, когда мы бродяжить уходим, всегда загодя себе прикопляем. Сухари сушим. Да там что насушишь! Кончишь работу, слопаешь, что дадут, — словно и не ел. Оттого и сбегли.

— Ты даже не спросил, как товарища зовут?

— Ни к чему было. Ишли, ишли тайгой, смерть подходит. Товарищ-то упал — и помер.

— Сам умер?

— Сам. Занедужился и помер. Это я нарочно потом на себя выдумал, убил будто. Ну, помер он, вижу я, и мне то же будет. Набрал хворосту — спички с собой были, — зажег костер, из тела так несколько кусков вырезал и на углях сжа-

рил… А только тела я не ел. Нарочно так сделал. В сумочку — у всякого бродяги сумочка полагается, — в сумочку мясо поклал, пошел на дорогу, да и объявился: «Так и так, мол, человечьим мясом питался». Чтоб заарестовали и в тюрьму отправили. Ежели б не это, назад бы на работы послали. А это преступление тяжкое. Для того и сделал. Потому, известно было, что такие случаи бывали, в тайгу с работ уходили, товарищей убивали и мясо ели. Вот и я на себя наклепал.

Но Колосков рассказывает не всю правду.

— Конфузится! — объяснил мне один из каторжан. — Человек вы новый. А нам доподлинно известно, что ел.

Я видел свидетелей того, как арестованного Колоскова с его страшной сумкой привели на работы.

Каторжане его ругали, хотели избить и убили бы, если бы не защитили надзиратели. Каторга не хотела верить такому ужасному преступлению и заставляла Колоскова есть при ней найденное у него жареное мясо.

— Как же ты говоришь, что убил и ел? Докажи свою храбрость. Ешь!

И Колосков под угрозами ел при каторжанах.

— Хорошее, вкусное мясо! Лучше всякого скот-

ского!

Он даже смеялся при этом. «Никакой провинности у него в лице не замечалось», как свидетельствуют очевидцы.

Я как-то в разговоре упомянул Колоскову про эти подробности:

— Что ж они, врут, что ли?

Колосков отвернулся.

— Что уж про то вспоминать, что было! — махнул он рукой.

Из двух других «онорских людоедов» жив только один — Васильев. Его товарищ Губарь, с которым вместе они совершили преступление, умер, не перенеся наказания.

История снова та же, что и у Колоскова. Товарищ Васильева, покойный Губарь, судя по портрету, человек тупой, жестокий и злой, был одним из отчаяннейших «Иванов», которого трепетала тюрьма. Ханов точно так же сначала возвел его в звание надсмотрщика, а затем перевел в рабочие и начал «укрощать».

Губарь не выдержал, подговорил Васильева и Федотова, юношу-каторжанина, двадцати лет, и вместе с ними бежал.

Федотов был убит Губарем на второй же день.

— Я так думаю, он для того его и уговорил бе-

жать, чтобы убить и съесть. Уж заранее у него в мыслях было! — говорит Васильев.

В рассказе Васильева, очень подробном и детальном, самое страшное — это ночь перед убийством.

— Федотов-то ничего не знал. А меня дрожь брала — потому я-то слыхал, что Губарь и раньше, когда с каторги бегал, товарищей убивал и телом питался. Как пришла ночь, Федотов заснул, я не сплю, зуб на зуб не попадает: не убил бы Губарь. Бежали, известно, без всего. На просеке-то и так дохли с голода — с чего скопишь? Животы подводит. Губарь мне и говорит на рассвете: «Будет что есть» — и на Федотова головой кивнул. Меня в холод бросило: «Что ты?» Дух индо захватило. Да страх взял: «Ну как откажусь, а он потом Федотова подговорит, да меня они убьют». Ну и согласился. Отошел это я испить к ручеечку, вертаюсь, а мне навстречу Губарь идет белый ровно полотно. «Есть, — говорит, — что есть!» Тут и пошли мы к телу…

Васильев — здоровенный тридцатипятилетний мужчина, говорят, необыкновенной физической силы. Как большинство очень сильных людей, он необыкновенно добродушен. И я с изумлением смотрел на этого великана, белобрысого, с воло-

сами цвета льна, кроткими и добрыми глазами, говорящего с добродушной, словно виноватой, улыбкой. Так мало он напоминает людоеда.

Меня предостерегали от знакомства с Васильевым. После поимки он сходил с ума, до сих пор волнуется и приходит в бешенство при всяком напоминании о деле.

Но интерес к этому необыкновенному преступнику был уж очень велик — я познакомился с Васильевым и, вызвав его в тюремную канцелярию, которая в свободные часы была предоставлена мне для свидания наедине с арестантами, спросил его, не могу ли быть ему чем-нибудь полезным. Васильев отвечал:

— Нет! Чем же-с?

И от всякой денежной помощи отказался.

— Зачем мне?

Он сидел передо мной, видимо, в большом смущении, мял в руках шапку, о чем-то хотел заговорить, но не решался, и после очень долгой паузы, смотря куда-то в сторону, виновато улыбаясь, сказал своим мягким, кротким, добрым голосом:

— Вам… вероятно… желательно узнать про мое… дело!..

— Если вам так тяжело вспоминать об этом,

не надо!

— Нет… Что же-с… Я ведь знаю, вам не из любопытствия… Вам из науки… Мне Полуляхов говорил…

Полуляхов, как более просвещенный среди каторжан и пользующийся у них большим авторитетом, был мне очень полезен, разъясняя своим товарищам, что я не следователь, не чиновник, что меня нечего бояться.

— Мне Полуляхов говорил, — продолжал Васильев, — что вы всю нашу жизнь, как есть, описать хотите… Если вам нужно мое дело, извольте-с… я готов…

И он рассказал мне, краснея, бледнея, волнуясь от страшных воспоминаний, все подробно, как они подошли, вырезали мягкие части из трупа, вынули печень и сварили суп в котелке, который унесли с собой с работ.

— Молоденькой кропивки нащипали и положили для вкуса.

Васильев, по его словам, сначала не мог есть.

— Да уж очень животы подвело. А тут Губарь сидит и уплетает… Ел.

Когда они были пойманы, Васильев рассказал то же самое начальству, то же, со всеми подробностями, он «спокойно» рассказал доктору, когда

его с Губарем привели наказывать плетьми.

Что это было за «спокойствие»? Быть может, спокойствие человека, в котором все закостенело от ужаса.

Васильева каторга «жалела»:

— Он не по своей вине. Не он начал. Он не такой человек.

Губаря каторга ненавидела. Это был отвратительнейший и грознейший из «Иванов», страх и трепет всей тюрьмы. К тому же, как я уже говорил, про него ходила молва, что он и раньше в бегах ел людей.

На Сахалине все в один голос говорили, что каторга, сложившись по грошам, заплатила палачу Комлеву пятнадцать рублей, чтобы он задрал Губаря насмерть.

Палачи — артисты, виртуозы в искусстве владеть плетью, — и никакой самый опытный начальнический глаз не различит, с какой силой бьет палач. Кажется, все время одинаково со страшной силой. А на самом деле есть сотни оттенков.

Факт тот, что Васильев и Губарь были приговорены к одному и тому же количеству плетей. Их наказывал Комлев в один и тот же день. Васильев вынес все наказание сполна и остался неиска-

леченным. Губаря после сорок восьмого удара в бесчувственном состоянии отнесли в лазарет, и через три дня он умер. Он был простеган до пахов. Образовалось омертвение.

Я спрашивал у Комлева, правда ли, что он получил пятнадцать рублей за то, чтобы забить насмерть Губаря.

Старый палач не ответил ни да ни нет, он сказал только:

— Что ж, я человек бедный!

И, помолчав немного, привел все извиняющую причину:

— Сакалин!

Мне рассказывал врач, который, по обязанностям службы, присутствовал при этом страшном наказании.

Комлев явился, чтобы «порешить» человека, и рисовался и позировал. Он вообще немножко «романтик» и любил порисоваться во время «дела». Он явился в красной рубахе, черном фартуке, в какой-то, им самим сочиненной, особой черной шапке.

Приготовляясь наносить удары, он поднялся на цыпочки, чтобы казаться выше. С хмурым, вечно угрюмым лицом, со слезящимися мрачными глазами и воспаленными веками, маленький,

жилистый, мускулистый, он действительно должен был быть страшен и отвратителен.

— Уж одна торжественность Комлева говорила, что «что-то» произойдет особенное! — рассказывал мне врач. — Он так гаркнул свое традиционное «поддержись» перед тем, как нанести первый удар, что я задрожал и отвернулся.

Комлев «клал» удары не торопясь, с расстановкой, «реже», «крепче», чтобы наказуемый «прочувствовал» каждый удар.

— Чаще! Скорей! — несколько раз кричал доктор.

Чаще не так мучительно. Ошеломленный человек не успевает перечувствовать каждый удар в отдельности.

Но Комлев не торопился… После сорок восьмого удара Губарь был «готов».

— Но и сорок восемь таких ударов выдержать. Что за богатырь был!

— После этого на меня напал страх-с, — рассказывал Васильев.

— После наказания?

— Нет-с, не от наказания, а оттого, что я ел. Такой страх напал — света боялся.

Васильев сошел с ума. Его охватил ужас. Он заболел манией преследования в самой бурной

форме.

Он не спал ночей, уверяя, что слышит, как арестанты сговариваются его убить и самого съесть. Когда его посадили за буйство в карцер, он отломал доску от стены и так — двенадцать часов подряд простоял на нарах, не меняя позы, с высоко поднятой над головой доской, крича диким голосом:

— Не дамся! Убью, кто войдет!

И никто не решался подступиться к разъярившемуся Геркулесу. Его взяли как-то хитростью и поместили в лазарет. Там он отказывался принимать пищу, говоря, что доктор хочет его отравить, и наконец в один ужасный день бежал. Поистине ужасный день: целый месяц Васильева не могли поймать, и это был ужасный месяц для почтенного, любимого за гуманность всею каторгою врача Н. С. Лобаса. Целый месяц Васильев рыскал где-то кругом, ища случая встретить и убить врача. Целый месяц домашние господина Лобаса трепетали, когда он выходил из дома.

Наконец безумного поймали, под наблюдением того же господина Лобаса он оправился, успокоился, и теперь если кого любит Васильев, так это господина Лобаса.

— Вот до чего страх напал — Николая Степа-

новича хотел убить! — рассказывал Васильев. — Тяжко мне!

Колосков не сознается «посторонним», Васильев рассказывает, как ел человеческое мясо, — потому Васильев пользуется большей известностью как людоед.

— Всякий, кто приедет, сейчас на меня смотреть. Смотрят все… Бежал бы.

К концу беседы Васильев начал все сильнее и сильнее волноваться.

— Бежал бы. А то как человек подходит, так и смотрит: «Ты тело ел?» А чего смотреть! Разве я один? Сколько есть, которые в бегах убивали и ели. Да молчат!

Каторга говорит, что в кандальной тюрьме немало таких, которые в бегах питались с голоду мясом убитых или умерших товарищей.

Мне показывали несколько таких, которые винились каторге, а один из них, на которого все указывали, что он ел мясо умершего от изнурения товарища, когда я спросил его, правду ли про него говорят, отвечал мне:

— Все одно птицы склюют. А человеку не помирать же!

Каторжанка баронесса Геймбрук

Это одно из самых тоскливых моих сахалинских воспоминаний.

— Баронесса? Баронесса у нас булки печет, уроки дает и платья шьет! — говорили мне в селении Рыковском.

На пороге избы меня встретила высокая, худая женщина с умными, выразительными глазами. Скольких лет? Право, трудно определить лета женщины в каторге. Сахалин, отнимая у человека все, что есть хорошего, прежде всего отнимает молодость, а потом здоровье.

Я представился.

— Баронесса Геймбрук! — ответила она, подчеркивая титул, которого лишена.

«Дело баронессы Геймбрук, обвиняемой в поджоге», наделало очень большого шума в Петербурге. Это был громкий и знаменитый процесс.

В истории женского образования в России имя баронессы Геймбрук займет скромное, но все же видное место. Ей принадлежит инициатива устройства женского профессионального образования в России; она была первой, открывшей

женскую профессиональную школу.

Отлично образованная, принадлежавшая к хорошему кругу, имевшая очень влиятельное родство, но не имевшая средств к жизни, молодая женщина с увлечением отдалась мысли:

— Надо научить женщину жить своим трудом. Вооружить ее на борьбу за существование.

Дело шло хорошо. Баронесса работала, учила работать других, перебивалась, сводила концы с концами.

— Скучно только одной было! — с грустной улыбкой вспоминает она. — Работаешь, работаешь, кипишь в деле, а останешься одна, такое полное одиночество. Ни одной близкой души. Родня… Но родня смотрела с недоверием, даже стеснялись моими «затеями»…

Она познакомилась с каким-то отставным военным. Они понравились друг другу, потом полюбили, возникла «связь». Пошли «разговоры».

— Ужасно неудобно! И перед родными неловко, и, наконец, как начальнице школы…

Надо было венчаться. Он тоже только об этом и думал. Но у него были запутаны, расстроены дела, ему нужно было от кого-то откупиться, — денег не было.

— Знаешь что, — сказал он ей однажды, — у нас

есть исход. Страховые премии за твою обстановку. Если с умом поджечь…

— Ты с ума сошел!

— Никто не узнает. Ты даже будешь ни при чем. Дай только согласие. Без тебя все будет сделано. У меня есть такой человечек…

Она протестовала. Он убеждал, что «разве мало в Петербурге так делают», что «риску никакого», что «человечку» уж не впервой, что «человечек» знает, как устроить:

— Ты себе уедешь в театр. Ты будешь ни при чем.

В конце концов он предложил на выбор:

— Другого выхода, ты знаешь, нет. Так наша связь продолжаться не может. Значит, либо согласиться на такую комбинацию, либо между нами все должно быть кончено.

Умолял, заклинал ее их любовью.

Она согласилась:

— Хорошо. Делай.

Однажды она поехала в театр, вернулась и застала у себя в квартире пожар.

Возникло подозрение, выяснился поджог. Баронессу Геймбрук и ее любовника арестовали и посадили в дом предварительного заключения. Там они каким-то образом нашли возможность

обменяться записками.

Дело в суде длилось два дня. Оправдание баронессы Геймбрук было несомненно. Улик, что она знала о готовящемся поджоге, не было никаких.

Однажды во время перерыва ее соучастник обратился к баронессе с вопросом:

— Если меня сошлют, пойдешь за мной в Сибирь?

— Вот еще! Очень надо!

— Так-таки этими словами и сказала! — говорит она. — Так, знаете, из озорства из какого-то. Вот, мол, тебе! Я же за то, что твои дела были запутаны, и страдать теперь должна!

— Не пойдешь? Хорошо же!

Он передал суду записку, которую она переслала ему в дом предварительного заключения:

«Если следователь скажет тебе, будто я созналась, — не верь. Я ни в чем не созналась, не сознавайся и ты».

Сомнений не было. Оба были обвинены.

— Подлец! Зачем ты это сделал? — спросила она в перерыве после вердикта присяжных.

— Теперь я, по крайней мере, знаю, что ты другому принадлежать не будешь. Вместе пойдем, вместе будем!

Его послали в каторгу в Сибирь, ее — на Са-

халин.

В посту Дуэ пришли в решительное недоумение:

— Что делать с каторжницей-баронессой?

В сожительницы к поселенцу идти не хочет:

— Я сослана в каторгу, а не для этого!

Пробовали некоторые из господ служащих взять ее к себе в «прислуги».

Но при первом ласковом жесте она отскакивает в сторону:

— Вы можете заставлять меня работать, но этого заставлять вы меня не можете.

Женских тюрем нет.

Насильно отдать в сожительство.

— Все-таки баронесса... неудобно как-то.

И напрасно жены господ служащих убеждали:

— Да какая она баронесса? Чего вы с нею миндальничаете? Каторжанка! Сбили бы спесь!

Полуграмотные жены служащих сразу возненавидели «гордячку», «фрю».

— Туда же «баронесса»! Тут, матушка, баронесс нету!

А она все-таки была единственной портнихой на Сахалине! Все-таки единственной, которая могла сшить платье «как следует», «по петербургской моде». К ней все же приходилось обращать-

ся, и это бесило супруг господ служащих.

— Ведь были среди них и такие, которые обращались с прислугой сравнительно вежливо, а со мной не могли! — с улыбкой вспоминает каторжанка-баронесса. — Зовет меня, а приду — нож острый. Чуть что не так, не по ней, складочка какая, оборочка, ногами затопает, кричит: «Что ты думаешь? Ты баронесса? А? Баронесса? Ты каторжанка! Лишенная прав! Понимаешь?» Стоишь, молчишь, улыбаешься…

И презрительная улыбка, с которой вспоминает она об этом, вероятно, была и тогда на лице баронессы Геймбрук.

Супруг господ служащих это окончательно выводило из себя.

— Сейчас бегут мужьям жаловаться. Я молчу, а они кричат: «Уйми ты эту стерву!»

Жизнь ее сложилась так. Служащие махнули на нее рукой: «Пусть живет как знает! Ну ее к черту!» Жены служащих молили Бога:

— Хоть бы портниху хорошую из России прислали.

А за неимением таковой, заказывали «баронессе», ругались при этом ругательски, платили невероятные гроши и кричали:

— Что ж ты не благодаришь? А? Мало тебе?

Недовольна? «Баронесса» ты? А?

Эта «молчком молчавшая» баронесса была колом в глазу жен господ служащих.

— Вы себе представить не можете, что это за дрянь, что за мерзавка эта «баронесса»! — рассказывала мне одна. — По человечеству иногда пожалеть захочешь, хоть и каторжница, а все-таки жаль. Заказы ей даешь, чтобы с голода не сдохла, сделать для нее что-нибудь хочешь. Так нет, куда тебе! Фанаберия! Говорить не хочет! Принесет заказ, хоть бы слово сказала! Не желает! Вид такой, словно она тебе одолжение делает! Она ведь баронесса! Как же ей! Мелкая такая душонка, мразь! Уколоть на каждом шагу норовит. В платье что, скажешь, не так, сейчас тебе: «Извините, сударыня, в Петербурге так носят». Она ведь из Петербурга, она баронесса, она все видела, все знает, а я что? Да я жена служащего! Жена твоего начальника! Честная женщина! А ты каторжанка, ссыльная, тварь, поджигательница!.. Этого понять не хочет.

Так тянулась «каторга» баронессы. Работала за гроши, кое-как билась, жила и… молчала.

— Думала, говорить отучусь! — с улыбкой вспоминает баронесса.

С одной стороны, каторжане, «шпанка», со-

жительница, что может быть общего с ними у молодой интеллигентной женщины? С другой стороны, жены служащих, завидев которых издали беги на другую сторону:

— Сейчас «ты». Ругань. Попреки «баронесса».

— Так и жила между небом и землей. «Шпанка» попрекает, глумится: «баронесса»! Интеллигенция здешняя попрекает, глумится: «баронесса»!

Это стало наконец невыносимым, и баронесса пошла в сожительницы к некоему фельдшеру, сосланному за убийство своей жены. Все-таки был человек поинтеллигентнее других.

Пошла не любя.

— Вы его знаете. Можно ли такого любить? Да уж очень тошно, тоска взяла. А он клялся и божился, что исправится.

Это вызвало всеобщий злорадный восторг:

— А? Что! К фельдшеришке в сожительницы пошла! Вот вам и «баронесса»! «Баронесса»! Ха-ха-ха!

— Совсем потерянная личность! — с брезгливым сожалением говорила мне супруга одного из крупных служащих. — Даже досадно, что она когда-то титул такой носила! До чего дошла! С фельдшером спуталась! Разводили их потом — грязь, грязь какая!

Фельдшер — грязный комок сала, возбуждавший во всех отвращение. Ничего противней этого толстяка с эспаньолкой, отпущенной под губой, на которой красовалась какая-то злокачественная язва, я не видал на всем Сахалине.

— Вот экземплярчик! — показывал на него в лицо доктор. — Опять какую-нибудь малолетнюю приторговываешь?

— Есть экземплярчик! — расплывалось у фельдшера жирное, лоснящееся лицо.

Он практикует потихоньку, пользуется невежеством поселенцев, ворует лекарства, — и все, что зарабатывает таким способом, тратит на «штучки», «экземплярчики», «предметы», предпочитая «малолеточек-с».

Интеллигентная женщина скоро надоела развратнику фельдшеру.

— Забеременела я еще от него! — с дрожью отвращения вспоминает баронесса. — Господи, что тут пошло! Что заработаю, он тащит на покупку девчонок. В дом их таскать начал. Отлучишься из дому, придешь, он какие-нибудь мерзости уж делает. Во двор выйдешь, он там под навесом. Придет избитый весь, исколоченный… Выгнала я его. Не идет. «Моя, — кричит, — изба!» Начальству я на него жаловалась. Господи! Сколько

унижений! Хохочут все: «Ну что же, баронесса, вы с вашим фельдшером ссоритесь? Вы помирились бы! А? Он ведь человек интеллигентный!» Насилу развязали меня с ним.

Фельдшер ушел, баронесса осталась с ребенком от него.

Удивительно странное впечатление испытывал я, когда сиживал в гостях у этой каторжницы-баронессы, теперь уж поселенки.

Мы сидели в маленькой, узенькой комнатке, с чистой постелью, покрытой одеялом из серого арестантского сукна.

На окне стояла герань, на комоде под лампой была сшитая из лоскутков подставка. Это все-таки придавало маленькой темной комнатке какой-то уют. Было видно, что живет человек, привыкший к некоторому комфорту.

Разговаривая со мной, баронесса курила, гасила окурки об стол и оставляла их тут же, на столе, среди кучи пепла, плевала посреди пола, и от этого веяло каким-то бездомовьем, сахалинской оголтелостью, каторжным отсутствием женственности.

Когда в комнату входил работник-каторжник, ее помощник по булочной, она начинала говорить со мной по-французски. Французский язык у

нее чудный, красивый, элегантный. Тот чудный, красивый и элегантный литературный французский язык, которым говорят хорошо воспитанные русские люди. А когда мы переходили на русский язык, она говорила, сама того не замечая, на «каторжном» языке:

— Ведь согласитесь, на фарт идти я не могу… Заработаешь тяжким трудом, дрожишь: «шпанка» того и гляди пришьет.

Такое странное впечатление производило это чередование превосходного французского языка с каторжным жаргоном у этой женщины, которая лихорадочно хватается за свой титул «баронессы», потому что дрожит в ужасе от звания «каторжанки».

Я познакомился с баронессой в тяжкое для нее время.

Незадолго перед тем в селении Рыковском, где в это время жила баронесса, случилось «громкое происшествие», о котором я уже говорил[72], и баронесса дрожала, чтобы ее «не засыпали».

Однажды к ней явился молодой человек, бродяга Туманов, переведенный в Рыковское писарем полицейского управления, и отрекомендовался:

---

[72] Примечания: 72
См. первую часть, гл. «Смертная казнь».

— Князь такой-то.

— Он действительно князь, — уверяла меня баронесса, — не знаю, что заставило его отказаться от своего имени и стать бродягой, он об этом избегал говорить. Человек воспитанный, очень образованный, умный, только страшно нервный, до болезненности нервный…

Он попросил разрешения бывать. Баронесса разрешила, и Туманов каждый день, как кончится работа в канцелярии, приходил к ней.

Бог знает, было ли что между ними, но несомненно, что этих двух людей, одинаковых по образованию, по кругу, к которому они принадлежали, влекло друг к другу. У них были общие взгляды, общие интересы, даже нашлись общие знакомые «по Петербургу».

Баронесса говорит, что она:

— Отдыхала душой в этих беседах! Вдруг встретить здесь, на Сахалине, молодого человека, воспитанного, милого, — вы только подумайте!

А он говорил:

— Знаете, когда я говорю с вами, мне кажется, что ни каторги, ни бродяжничества нет, что мы с вами сидим где-нибудь в Петербурге…

Как вдруг однажды Туманов явился страшно расстроенный, вне себя. Ни за что ни про

что — злой после вчерашнего проигрыша в карты — чиновник Г. выругал его «подлецом и мерзавцем».

— Я этого так оставить не могу! — говорил, страшно волнуясь, Туманов. — Меня могут выдрать, потому что я бродяга! Но «мерзавцем и подлецом» меня называть не смеют! Я никогда «подлецом и мерзавцем» не был! Я потому и в каторге, что я не подлец и не мерзавец! Этого я оставить не могу!

— Таким я его никогда не видала! — говорит баронесса.

Молодой человек, вспыльчивый, горячий, решивший «так не оставить» начальнику оскорбление… на Сахалине… У баронессы «душа замерла»:

— Я уж и так из-за одного поплатилась. Довольно с меня!

Она сказала Туманову:

— Вы что-то задумали, оставьте меня. Уходите от меня, сейчас же уходите. Я не хочу ничего знать, не хочу погибать…

— Так и вы меня гоните? И вы?

— Уходите от меня, если вы честный, порядочный человек…

— Хорошо же…

Туманов ушел, а вечером все Рыковское было поднято на ноги: бродяга Туманов покушался на жизнь чиновника Г.

В то время участь Туманова еще была не решена, все господа служащие единогласно требовали «примерного наказания» Туманова, то есть повешения, — для «острастки распущенной каторги», — и баронесса Геймбрук просила, молила, нельзя ли что-нибудь сделать для Туманова.

— Я себя виню, себя. Может быть, это мои слова на него так подействовали. Действительно, в такую минуту почувствовать себя совсем одним! Но посудите, что ж я могла сделать? Человек собирается бог знает что сделать, как могла я с ним говорить? Ведь и я погибну! Да что я! Если бы я одна была, я бы о себе, может быть, и не подумала. Но мой ребенок, с ним что будет? Им разве я могу рисковать?

Этот ребенок от нелюбимого, отвратительного, презираемого человека — все, что есть в жизни у баронессы.

Она с дрожью отвращения вспоминает о беременности от фельдшера и безумно любит ребенка.

Пятилетнего, слабого, болезненного, золотушного мальчика, ради которого она работает

день-деньской не покладая рук, месит тесто, жарится у печки, сажая хлебы, сидит согнувшись, шьет за гроши платья женам чиновников, дает уроки французского языка детям священника.

Любит и без слез видеть не может своего ребенка.

— Они и его «бароном» прозвали. Издеваются. От чиновничьих детей его гонят, он должен играть со «шпанкой»…

Любит полной ужаса любовью.

— Ведь это будущий убийца растет! — с ужасом говорит она. — Вы только подумайте: наследственность-то какая. Себя я преступной натурой, конечно, не считаю. Какая я преступница! Но вы посмотрите на отца. Убийца, полусумасшедший, развратник. Ведь вы знаете, он тут со своим развратом в такую недавно историю влез, мне же пришлось его откупить: двадцать рублей последних дала, чтобы в тюрьму не сажали. Дала, потому что ребенок его все-таки «папой» при встречах зовет, так чтобы ребенка не дразнили: «тятька в тюрьме»… И потом, что может выйти из него здесь, на Сахалине! Что перед глазами? Ежедневные убийства, поголовный разврат, плети, каторга. Вот вы на игры их посмотрите, играют «в палачи», в повешенье, палач у них — герой,

бессрочный каторжник — герой. Вы спросите у десятилетнего мальчика, что такое тюрьма? «Место, где кормят!» Где лучше, в тюрьме или на воле? «Знамо в тюрьме, на поселении с голода подохнешь». Ведь все это мальчик с детства в себя впитывает. Тюрьма для него что-то обыденное, неизбежное, заурядное, карьера. Что из него выйдет? То же, что и из других! Убийца. Ведь я его на каторгу ращу, на каторгу! Убийцу будущего!.. Но пока, пока он маленький, в нем еще ничего этого нету, он ребенок, такой же, как и все…

И она при мне, в каком-то истерическом припадке, со слезами целовала своего мальчика, который явился домой плачущий, его только что отогнали от детей начальника округа и обругали бароном.

— Мама, не вели им ругаться бароном!

«Не вели»!

Уезжая из Рыковского, в свое последнее свидание с баронессой, когда она провожала меня до дверей, я решился спросить у нее:

— Ну а тот… с которым вы судились… о нем вы не имеете известий?

— Он в Сибири, кончил, как и я, свой срок, поселенцем. Очень бедствовал, писал, я послала ему денег, так, гроши, какие были. Очень круто

бедняге пришлась каторга. Недавно еще получила письмо. Болен, жалуется, просит послать немножко денег…

— И вы?

— Пошлю.

Я поцеловал ее руку и пошел.

— А? Откуда? От приятельницы, от «баронессы»! — встретил меня по дороге смотритель тюрьмы. — До мужчин уж больно охотница, подлая баба! С фельдшером путалась; Туманов, я знаю, к ней лясы точить шлялся. Я ведь все знаю — хе-хе! Она тут за фельдшера двадцать целковых, последних, чай, заплатила, в беду мил дружок попался. Она и Туманову в тюрьму потихоньку белый хлеб посылала. Да вы что думаете? Она и к прежнему своему приятелю все время деньги посылала. Я с почты знаю! Все они у нее на иждивении. Любительница мужчин, подлая! Трое у нее было! Распутная! Через то и в каторгу пошла, что распутная, через любовника!..

Ландсберг

I

Двадцать пять лет тому назад в Петербурге произошла трагедия, имевшая огромное значение для острова Сахалина. Блестящий гвардейский офицер-сапер Ландсберг, накануне женитьбы на богатой и знатной невесте, накануне большой и блестящей карьеры, зарезал с целью грабежа ростовщика Власова и его служанку.

Это событие произвело неописуемую сенсацию, и имя Ландсберга прогремело на всю Россию. Еще больший ужас этому убийству придавало одно трагическое qui pro quo[73].

Ландсберг был карьеристом. Он был человеком очень небогатым, тянулся изо всех сил и служил в гвардии, чтобы быть на виду и сделать карьеру. Старый чиновник, занимавшийся ростовщичеством, Власов, относился с большой симпатией к небогатому офицеру, старавшемуся выйти на «дорогу», и ссужал его деньгами. У Власова было много векселей Ландсберга. Когда карьера была

---

[73] Примечания: 73
Кто вместо кого *(лат.)*.

почти уж сделана и Ландсберг был объявлен женихом богатой и знатной невесты, Власов начал грозить ему:

— Вот я тебе к свадьбе сюрприз устрою. Такой сюрприз, какого и не ожидаешь.

Ландсберг испугался, что Власов предъявит ко взысканию его векселя, выставит его запутавшимся бедняком, желающим жениться для поправки обстоятельств, сорвет всю карьеру, и решил достать векселя у Власова. Он явился к Власову, услав старуху-служанку за квасом, зарезал бритвой старого ростовщика, затем, когда служанка вернулась, покончил и с ней и похитил свои векселя, лежавшие отдельной, приготовленной уж пачечкой.

Среди бумаг после покойного нашли заготовленное им письмо к Ландсбергу. В этом письме Власов желал всякого счастья своему протеже и в виде подарка на свадьбу посылал «прилагаемые при сем» все векселя.

Это и был «сюрприз», которым с улыбкой «грозил» старичок. Кроме того, в духовном завещании, составленном на всякий случай, Власов завещал все свое состояние… Ландсбергу.

Весь этот ужас произошел потому, что Ландсберг не понял Власова, по старческой привычке

любившего выражаться несколько иносказательно:

— Хе-хе!.. «Сюрпризец».

Из блестящего офицера с огромной карьерой впереди Ландсберг превратился в каторжника с бритой головой и долгими годами тюрьмы в перспективе.

Когда Ландсберга арестовали, его предупреждали:

— В комнате, где вы сейчас останетесь один, на столе лежит револьвер. Он заряжен… Того… Будьте поосторожнее.

Ландсберг холодно ответил:

— Не беспокойтесь. Я не застрелюсь.

И пошел в каторгу.

Тогда сахалинская колония еще только начиналась. Кучка забайкальцев, невежественных, беспомощных, ютилась в посту Дуэ, единственном тогда поселении на Сахалине, в маленьком ущелье, в трещине между скалами, быть может, самой скверной дыре, какая только существует на земном шаре, и с ужасом смотрели на непроходимую тайгу, которую им поручено было превратить в «цветущую колонию». Эта кучка забайкальцев стояла перед Сахалином, как ребенок перед ощетинившимся медведем. Как

подступиться? Для колонии прежде всего нужны дороги, а эти люди, родившиеся и выросшие в Забайкалье, никогда в глаза не видали даже шоссейных дорог и решительно не знали, как «все это делается».

Каждый их шаг терпел немедленно же крушение. Они «своим умом» строили пристань, пристань сносил первый же маленький шторм. Они «своим умом» начали рыть тоннель сквозь гору Жонкьер, без всяких приспособлений, без всяких знаний, кроме одного — что тоннель роется обыкновенно одновременно с обеих сторон, — и когда две роющие партии встретятся в горе, тоннель, значит, прорыт. Люди слепли, раздувая фитили, людей калечило при неумелых взрывах, но «обе роющие партии» в горе все не встречались… Они… разошлись в разные стороны! Ступив шаг в тайгу, господа забайкальцы сейчас же завязали и с ужасом должны были отступать назад. Они не знали даже, что дороги нужно окапывать канавами. Не окопанные канавами таежные дороги заплывали, превращались в болото.

В эту-то критическую минуту каторжный пароход и привез на Сахалин сапера.

Все, что сделано на Сахалине дельного и путно-

го в смысле дорог, устройства поселений, сделано Ландсбергом. И бог весть, какая бы судьба постигла сахалинскую колонию, если бы в Петербурге не разыгралось трагического qui pro quo с «угрозой» ростовщика.

Если сейчас смотритель тюрьмы, взобравшись на гору, хвастливо вынимает из кармана маленький барометр и с видом ученого начинает «по давлению воздуха определять высоту горы», это сведение занес на Сахалин Ландсберг. Кругом все его ученики. Все сведения, которые необходимы были для борьбы с непроходимой тайгой, занес сюда он. Ученики иногда не слушались своего «учителя из ссыльнокаторжных», делали «по-своему» и немедленно же завязали. Памятниками этого «поступанья по-своему» остались покинутые, утонувшие в болоте поселья, просеки, брошенные за ненадобностью, дороги, по которым надо восемь верст ехать три с половиной часа.

Все, что делалось «по-своему», приходилось бросать и возвращаться к планам Ландсберга. Те работы, которые предпринимал на Сахалине Ландсберг, показывают в нем ум недюжинный, знания большие и человека талантливого.

Ландсберг на Сахалине с первого же момента

обратил на себя особое внимание. Даже туда проникла весть о «знаменитом процессе», и забайкальцы не могли не заинтересоваться «вчерашним блестящим петербургским офицером, вращавшимся в высшем обществе».

Светский, образованный, на редкость умный, еще более ловкий карьерист по натуре, Ландсберг сразу головой выделился среди всего окружающего.

— Знаете, — рассказывают моряки, в те времена плававшие на Сахалин, — подходишь, бывало, к Дуэ. На пристани, натурально, стоят все тамошние служащие. И сразу, с первого взгляда, самый порядочный изо всех Ландсберг. Видна птица по полету.

Но самое главное — это, конечно, то, что он был сапер. Он построил им пристань, которая не рушилась, кое-как, но все-таки поправил злосчастный тоннель, и они имели возможность отправить в Петербург телеграмму об открытии кривого тоннеля, по которому никто не ездит, в котором только беглым удобно сидеть, который никому не нужен.

— Тоннель прорыт.

Дорога нужна — Ландсберг показывал, как это сделать.

Ландсберг сразу стал на Сахалине «барином» и получил от каторги эту кличку. Он распоряжался работами, командовал партиями рабочих, фактически был начальником, жил не в тюрьме, и ему говорили «вы» — почесть на Сахалине редкая.

Но это положение, которое Ландсберг сразу занял, было и трудным положением. Безграмотные всегда ненавидели грамотных. И сахалинских служащих глубоко возмущало «привилегированное положение ссыльнокаторжного».

— Словно ровня.

Не знаю, какие наказания приходилось переносить Ландсбергу, об этом с ним разговор поднимать было, конечно, неловко, но ему приходилось переживать трудные минуты. Вот один из случаев. Сахалинский служащий К. особенно возмущался «привилегированностью» Ландсберга.

— Я ему покажу «привилегированность»! — Это превратилось в пункт помешательства К.

Однажды он застал Ландсберга в кабинете одного из служащих. Сидели и разговаривали. Этого только К. и нужно было.

— Что? Как? Сидеть в присутствии начальства? Каторжнику? Заковать в кандалы! Посадить на неделю в карцер!

И Ландсберг в кандалах высидел неделю на хлебе и на воде, в темном карцере, а К. гордился:

— Каково я самому Ландсбергу задал!

С другой стороны, и каторгу возмущала «несправедливость».

— За то же сослан, что и мы. Может, еще хуже!

Каторга ненавидела «барина», «белоручку», «подлипалу», самозваное начальство, и Ландсбергу надо было держаться очень и очень настороже. При малейшем подозрении, что он «держит руку начальства», каторга его бы убила.

Тут уж ему помогла, быть может, светская ловкость. Он умел поддерживать отношения и с нашими и вашими. И начальство было довольно, и для каторги он оставался «товарищем», подчиняющимся ее законам. Ловкость, хитрость и изворотливость все время были в ходу и пускались в дело все долгое время каторги. На Сахалине известен, например, случай, когда Ландсберг спас жизнь одному из служащих. Каторга ненавидела этого служащего, решила его убить на дорожных работах, и Ландсбергу было приказано привести его в засаду.

Привести — рисковать головой. Ослушаться каторги — тоже рисковать головой.

Ландсберг придумал хитрую механику. Он по-

вез служащего в засаду, но по дороге, еще далеко от засады, экипаж «вдруг» сломался, и Ландсберг убедил начальство:

— Пешком все равно на работы опоздаем. Вернемся лучше обратно в пост.

И служащий был спасен, и приказание каторги не нарушено: вез человека, да не довез, не по своей воле. А на следующий день Ландсберг раскассировал зачинщиков по разным работам — разъединил, и о засаде не могло быть и речи.

Кончив каторгу и выйдя на поселение, Ландсберг завел лавочку, в которой продается все: дуги и гармоники, ситцы и деготь, кнутовища и конфеты.

Это какое-то уменье найтись всегда и во всех положениях. Превратившись в мелкого лавочника, блестящий гвардейский офицер сразу оказался великолепным мелким лавочником. Он повел дело отлично. Его лавочка росла и росла. Он заводил связи с торговыми фирмами.

И когда я поехал к Карлу Христофоровичу Ландсбергу, на мачте, около его хорошенького, чистенького домика развевался флаг пароходного общества: он представитель крупного страхового общества, у него контора транспортного общества, он агент пароходной компании.

Лавочка у него осталась — целый магазин! Но в ней торгуют приказчики, а он только наблюдает хозяйским оком.

За сигарой он беседовал со мной о компании каменноугольных копей и о компании для эксплуатации рыбных промыслов — двух крупных компаниях, которые он затевает.

Ландсберг кончил поселенчество и крестьянство. Теперь он мещанин города Владивостока, ездит от времени до времени за границу, в Японию, — мог бы, если бы захотел, вернуться в Россию, но живет на Сахалине, в комфортабельном домике, из окон которого открывается вид на пали кандальной тюрьмы…

Ландсберг женат на очень милой женщине, акушерке, приехавшей служить на Сахалин.

И трудно отыскать более нежную пару. Бог весть, нашел бы он в России такое же семейное счастье, какое отыскал на Сахалине.

Так странно смотреть на этих двух людей.

Словно крепко охватившие друг друга, спасшиеся после кораблекрушения.

II

В кают-компании парохода «Ярославль» было шумно и накурено. Пароход пришел в ночь, и те-

перь, ранним утром, кают-компания была полна служащими, явившимися принимать привезенных арестантов. Целая коллекция гоголевских типов! Капитан по очереди знакомил меня со всеми. И когда очередь дошла до сидевшего за столом, что-то очень весело и оживленно рассказывавшего человека, сказал:

— Карл Христофорович Ландсберг.

В поданной мне руке я почувствовал согнутый мизинец. И это прикосновение подействовало на меня, как электрический ток.

Этот мизинец был одной из улик против Ландсберга. Он порезал его, когда резал Власова.

— Я очень рад с вами познакомиться. Губернатор говорил мне, что вы прислали ему телеграмму.

Он говорил очень приятным голосом, в котором звучала любезность.

Высокий, красивый и представительный господин, в усах, с сединой в волосах, но моложавый. Ландсбергу теперь, вероятно, под пятьдесят, но на вид гораздо меньше. Он сохранил моложавое лицо и почти юношески стройную фигуру. Он — сама предупредительность. Быть может, он даже слишком предупредителен — в нем есть что-то заискивающее; он никогда не говорит иначе как

с любезнейшей улыбкой.

Но когда, пожимая друг другу руки, мы встретились глазами, мне показалось, что я словно нечаянно дотронулся до холодной стали.

Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, — у него играет только одно лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же, холодными, спокойными, стальными. И вы никак не отделаетесь от мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.

— Тяжелые глаза! — замечали и служащие всякий раз, как разговор заходил о Ландсберге.

— Вы на глаза-то посмотрите! — со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы. — Смотрит на тебя, и словно ты для него не человек.

Пароход привез Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсберг, обмениваясь любезными шуточками с господами служащими, очень ловко на пристани укладывал этот воздушный товар, словно подарки вез на именины. Такое странное впечатление производил этот торговец с красивыми, элегантными движениями.

Попрощавшись со всеми, он сел в собственный

экипаж и приказал кучеру:

— Пошел!

— Куда прикажете, барин? — спросил кучер из поселенцев.

— Домой!

Ландсберг еще раз с любезнейшей улыбкой раскланялся со всеми, крикнул начальнику округа:

— Так я вас жду сегодня вечерком. Новые ноты с пароходом пришли. Жена нам на пианино сыграет.

И экипаж поскакал.

— А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан! — сказал мне начальник округа. — У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите!

Ландсберг сохранил свой великолепный французский язык и давится, как все сахалинцы, на слове «каторга».

— Когда я был еще… рабочим! — говорит он, слегка краснеет и опускает глаза.

Мы с ним никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:

— Этот остров.

Ландсберг через двадцать пять лет тюрьмы и каторги пронес невредимыми свои изящные, «гостиные» манеры, но есть нечто поселенческое

в той торопливости, с которой он сдергивает с головы шляпу, если неожиданно слышит:

— Здравствуйте!

Эта особая манера снимать шляпу, приобретаемая только в каторге.

И по этой манере вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значит, столкновения.

Этому человеку, из окон которого «открывается вид» на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминание о своем «рабочем» времени.

Когда он касается этого времени, он волнуется, тяжело дышит и на лице его написана злость.

А когда он говорит о каторжанах, вы чувствуете в его тоне такое презрение, такую ненависть. Он говорит о них словно о скоте.

С этими негодяями не так следует обращаться. Их распустили теперь. Гуманничают.

И каторга, в свою очередь, презирает и ненавидит Ландсберга и выдумывает на его счет всякие страшные и гнусные легенды.

Служащие водят с ним знакомство, он один из интереснейших, богатейших, а благодаря добрым знакомствам, влиятельнейших людей на Сахалине; но в разговорах о Ландсберге они возмущаются:

— Пусть так! Пусть Ландсберг действительно единственный человек, которого Сахалин возродил к честной трудовой жизни. Но ведь нельзя же все-таки так! Такое уж спокойствие. Чувствует себя великолепно — словно не он, а другой кто-то сделал!

Так ли это? Один раз мне показалось, что зазвучало «нечто» в словах этого «человека, не помнящего прошлого».

Все стены уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увешаны портретами его детей, умерших от дифтерита. Об них и шла речь.

— И ведь никогда здесь, на этом острове, дифтерита не было… Вольноследующие занесли. Дети заболели и все умерли. Все. Словно наказание.

И, сказав это слово, Ландсберг остановился, лицо его стало багряным, он наклонил голову, и несколько минут длилось молчание.

Это были самые тяжелые минуты, которые мне приходилось провести в жизни.

— Что же это я забыл? Идем чай пить! — овладел собой и «весело» сказал Ландсберг, и мы пошли в столовую, где лакей из поселенцев, во фраке и перчатках, подавал нам чай.

Это был один-единственный раз, когда «нечто» словно поднялось со дна души. А часто Ландсберг

ставит собеседника прямо в неловкое положение. Это когда он говорит о «распущенности… рабочих».

— Здесь, на этом острове, бог знает что делается. Убийства с целью грабежа каждый день. Убийства с целью грабежа! И с такими господами еще церемонничают.

Иногда Ландсберг приводит действительно в недоумение.

— Не собираетесь в Россию? — спросил я Ландсберга.

— Хочется съездить, матушка-старушка у меня есть. Хочет меня перед смертью еще раз повидать. А совсем переезжать — нет. Тут займусь еще. Должен же я с этого острова что-нибудь взять. Недаром же я здесь столько лет пробыл.

Действительно, словно человек по делам сюда приехал. А «сделал» не он, а кто-то другой.

— Вот на что следует обратить внимание! — говорил мне в другой раз Ландсберг, и таким взволнованным я его никогда не видал. — Вот на что. На пожизненность наказания. Наказывайте человека как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек все, что ему приходится, и покончите с этим, верните все, что он имел. Не лишайте человека на всю

жизнь всех прав. Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка?

И в его тоне слышалось такое презрение к «сделавшему» когда-то «мальчишке».

Я смотрел на страшно взволнованного Ландсберга и думал: «Вот, значит, кто этот „другой“, который „сделал“».

Таков этот «знаменитый» человек.

Не случись двадцать пять лет тому назад трагического qui pro quo — кто знает, чем был бы теперь Карл Христофорович Ландсберг.

Если человек даже на Сахалине — и то сумел выйти в «люди».

«Дедушка русской каторги»

Милый, добрый, славный дедушка, спишь ты теперь в Рачковой заимке, на каторжном кладбище поста Александровского, под безымянным крестом, спишь тихим, вечным сном. Что грезится тебе там после твоей многострадальной жизни?

Матвей Васильевич Соколов — «дедушка русской каторги».

Старше его в каторге не было никого. Он отбыл:

— Пятьдесят лет чистой каторги.

Да предстояло еще:

— Мне, брат, три века жить надобно, — улыбаясь беззубым ртом, говорил Матвей Васильевич, — у меня, брат, три вечных приговора.

Человек, трижды приговоренный к бессрочной каторге, с бессрочной «испытуемостью».

Другого такого не было во всей каторге.

По закону такого страшного преступника должны в течение всей жизни держать в кандальной тюрьме и, если он куда идет, отправлять не иначе как в сопровождении часового с ружьем.

А Матвею Васильевичу Соколову разрешили

жить себе в столярной мастерской безо всякого надзора.

Он спал на верстаке, зиму и лето кутаясь в старый полушубок, дрожа своим старческим телом.

— Только водкой и дышу! Проснешься поутру — ни рук, ни ног нет, грудь заложит, дышать нечем. Выпьешь чайную чашечку водки — и опять человек! Я, ваше высокоблагородие, пьяница природный!

— Матвей Васильевич потому и работать не могут, что они лак пьют! — подшучивали другие каторжане, работавшие в столярной.

— Как так — лак?

— А это я, когда водчонки нет, — улыбался дедушка, — лак отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спирт. Я его водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Так по жилкам и побежит, и побежит огонечком этаким. В руках, ногах тепло сделается. В себя прихожу.

В богадельню Матвей Васильевич ни за что не хотел.

— Какой я богадельщик! Я человек мастеровой, я в мастерской буду работать!

Работать он по старости лет не мог. Так только «ковырялся».

Но столяр он был тонкий, превосходный. За

это его во всех тюрьмах все смотрители любили. Но за это же ему и больнее доставалось, когда он бегал. Этакий столяр сбежал — поневоле злость возьмет.

В то время как я его знал, он жил в мастерской уж на покое, его все величали не иначе как «дедушкой», или по имени-отчеству, к нему все относились с каким-то невольным почтением: уж очень много выстрадал этот человек.

Всему, что он знал, — мастерству, грамоте, — он выучился в каторге. Он ничего в жизни не видел, кроме каторги. И самое время для него делилось на два периода: «до эшафотов» и «после эшафотов».

Иначе он не умел определять время.

— Это еще до эшафотов было! Когда еще эшафотов не вводили! Эшафоты уж потом пошли! — определял он времена давно прошедшие.

— Это уж после эшафотов было! Когда эшафоты пошли! — определял он времена более близкие.

В каторгу он попал при крепостном праве.

— До эшафотов?

— Куда! Когда еще кнутом наказывали.

Это тоже для него «эра».

— Клейма уж потом ввели!

Это тоже определение времени.

Он был крепостным, из богатой торговой семьи, жившей в Ельце на оброке. В каторгу он был осужден за убийство девушки.

— Афимьей девушку-то звали. Красивая была Афимья. Да и я парень был хоть куда.

И Матвей Васильевич улыбался, вспоминая, какой он был смолоду.

— Видный был парень, пьяница я был, дурак был, озорник. У-ух! Мы и спутались. «Афимья, — говорю, — хошь за меня замуж?» — «Хочу!» — говорит. Потому ей лестно: и нравился, и из семьи богатой. Ну и спутались. По нашим местам это бывало: жених с невестой путаются.

— Да ты-то, дедушка, ее любил?

— Говорю, страсть как любил! Так любил — известно, дурак был. Попутались — надо венчаться. Тут батюшка с матушкой на дыбы. Потому у меня старшой брат женатый был тоже, как я. Он с женой со своей сначала путался, а потом женился. Батюшка с матушкой: «Ни за что! Что ж это? Второй сын на покрытке женится! Срам! Все сыновья на полюбовницах женятся! Ни за что!» Семья была богатая, гордая. Ни за что да ни за что. Я и так и сяк: «Не сметь!» Тут она видит, что свадьбе не быть, — меня от себя гнать зачала: «Больно, мол, ты мне нужен!» И зачала с другим

гулять. Мне, стало быть, назло. Пущай, мол, все видят! Потому наши-то семейные ее ославили: «С Матвеем, мол, путалась! А теперь, шкура, к нам в родню лезет!» Так нате, мол, вам, как мне ваш Матвей нужен! А я-то на стену, я-то на стену. Пью — с того и пить начал. Об Масленой дело-то было. По нашим местам парни с девками с гор катаются. Прихожу на гору, смотрю: она с другим с горы — порзь да порзь! Хмельной я был. Думаю: убью его, и ничего мне за это не будет! Ведь этакий дурак был! Этакое вдруг вздумал: человека убью, и ничего мне за это не будет!

И Матвей Васильевич качал головой и посмеивался над молодым человеком, удумавшим такую глупость.

— Пошел домой, взял ружье со стенки, прихожу, приложился вот этак, — Матвей Васильевич показывал, как он приложился, — «ну-у», Афимья-то не своим голосом закричала да и упала. Упала да и умерла. Думал-то в него, а попал в нее. Не разобрал с пьяных-то глаз. Тут мне лопатки и скрутили. Тут-то от меня все и отступились. И батюшка с матушкой, царство им небесное, и братья, и все родные. Семья-то была богатая, гордая семья, и этакий вдруг срам на всех нагнал. А??? Острожник! Оно бы, может, дать — так полегче

бы было, да они и руками и ногами: «Знать, — говорят, — острожника не хотим. Осрамил он нас на всю жизнь». Меня и присудили: кнутом десять ударов и в каторгу. В Москве уж наказывали. Тут я только Москву и видел, как на Конную везли. Хороший, должно быть, город — только мне в те поры не до того было. Посадили меня на телегу, спиной к лошади, и повезли. А кругом-то народу! А кругом-то народу! Мальчишки за телегой бегут, глядят, пальцами показывают. Не знаешь, куда и глядеть. Купцы из лавок выходят, смотрят. Деньги которые в телегу кидают. Палач со мной ехал в телеге, собирает. «Тебе, — говорит, — это!» Я кланяюсь. Так и привезли на Конную. День базарный, народищу — труба. Тогда еще эшафотов не было. Это уж потом эшафоты пошли, «срамить» зачали. А тогда еще не «срамили» — просто положат и отдерут. Положили меня, да как кнутом палач по голой спине стегнет! Много меня пороли: драли и плетьми, и палками, и розгами, и комлями, — а больнее кнута ничего не было!

И этот человек, принявший на своем веку тысячи плетей и палок и розог без числа и счета, — через пятьдесят лет содрогался, вспоминая десять ударов кнута. Что ж это было за наказанье!

— Думал, не жить! Чисто год пороли. А народ-то все — деньги сыплет, сыплет. Сняли меня с «кобылы», в гошпиталь положили, а потом вылежался, — в каторгу поэтапным порядком послали. Муторно мне в те поры пришлось. Водки бы. Да где ж ее достанешь? Мастерства не знал, заработать негде. Товарищ мне и говорит: «Хочешь, деньги будут? Какие хочешь, большие. Сами делать будем!» А мне только водки. Угощает он меня, мы деньги и делаем. Поймали нас — да к палкам. Его-то, как зачинщика, без помощи врача, а меня с помощью.

— Как так — без помощи врача?

— А так в те поры было. Ставят в два ряда солдат с палками, привяжут к такой тележечке и везут. А они-то палками по спине р-раз, р-раз! И возят, покеда все, к чему сужден, не получишь. Он уж мертвый лежит, а его все р-раз, р-раз! Потому без помощи врача. А ежели с помощью — так доктор рядом идет. Видит, что человек в беспамятство приходить стал, скажет: «Стойте!», спирту даст понюхать — и потом опять начнут. За руку возьмет, на часы посмотрит. «Можно, — скажет, — еще сотню!» А как увидит, что человек совсем плох, сейчас же приостанавливает, и человека в гошпиталь. Отлежится там человек, выздоровеет, его

опять на наказание поведут. Так до тех пор, пока всего своего не получишь. Товарищ, царство ему небесное, тот сразу, без помощи врача кончился. А меня, почитай, целый год драли, пока всего не выдали. Так год в гошпитале все и вылеживался. Вылежусь, опять дадут.

Затем палок, плетей и розог Матвей Васильевич получил неисчислимое количество:

— На траву я все ходил! — улыбаясь, говорил он.

— Как «на траву»?

— А так, зиму ничего, маячу в тюрьме. А придет весна, на траву и потянет. И бегу. Так кое-где лето шляюсь, в работниках служу. А осень придет — опять по тюрьме скучно станет. К товарищам иду. Сейчас мне и плети либо палки с прибавлением сроку.

Так этими отлучками «на траву» Матвей Васильевич и набил себе три бессрочных каторги.

— А по манифестам тебе сбавки не было?

— Какие же мне манифесты? У меня три бессрочных.

Все, что происходило в мире, неслось мимо этого человека, знавшего только тюрьму, плети, розги. Так он и жил: весной тоскуя по воле, осенью возвращаясь в тюрьму.

— Все-таки кормят!

Кроме бесчисленных побегов, за Матвеем Васильевичем никаких других преступлений не было. Человек он был честнейший: сами же служащие давали ему деньги — и иногда помногу денег — на покупку материалов, и никогда он не пользовался ни копейкой.

— А бегать — бегал. И окромя весны. И все через водку! Трезвый — ничего, а напьюсь — сейчас у меня первое: бежать. Сбегу, напьюсь — попадусь! Пьяница я, ваше высокоблагородие!

Через водку мы с Матвеем Васильевичем и поссорились.

Друзья мы с ним были большие. Сколько раз, изнуренный сахалинской «оголтелостью», сахалинской «отчаянностью», спрашивая себя: «Да есть ли мера человеческому страданию и человеческому падению?» — боясь сойти с ума от ужасов, которые творились вокруг, — я приходил к этому старику и «отходил душой» под его неторопливую старческую речь. Он все пережил, все перестрадал, и старый старик смотрел на все, вспоминал обо всем с добродушной улыбкой. Сколько раз, глядя на эту милую, кроткую улыбку человека, душа и тело которого половину столетия так мучилась, я спрашиваю себя: «Есть

ли мера благости и кротости и доброты души человеческой?»

Эта дружба поддерживалась маленькими услугами: каждое утро Матвей Васильевич ходил ко мне на кухню, и кухарка должна была поднести ему чайную чашку — непременно чашку, это была его мера — водки.

Спрашиваю как-то:

— Был дедушка?

— Никак нет-с, — отвечает кухарка. — Он уж несколько дней как не ходит!

Пошел справиться: уж не заболел ли. Матвей Васильевич нехотя и сухо со мной поздоровался.

— Да что с тобой, Матвей Васильевич? За что ты на меня сердишься?

— Что уж… Ничего уж…

— Да скажи, в чем дело?

— Что уж там! Ежели ты для меня, для старика, чайной чашечки водки пожалел, что же уж…

Оказывается, кухарка, глупая и злая баба, почему-то вдруг, вместо обычной «чашки водки», поднесла Матвею Васильевичу рюмку:

— Все пьют из рюмки, а ты что за принц такой! Много вас тут найдется чашками водку хлебать!

Матвей Васильевич отказался и ушел:

— Я всю жизнь чашечкой пил!

И решил, что это мне для него водки стало жаль.

— Матвей Васильевич, Богом тебе клянусь, что я не знал даже об этом! Да приходи ты, четверть тебе поставлю, стаканами хоть пей — на здоровье!

— Нет, что уж… Пожалел… Чашечку водки пожалел… А я из-за нее, из водки, всю жизнь на каторге маюсь… А ты мне чашечку пожалел…

И на глазах у старика были слезы. Он и смотреть на меня не хотел.

Почувствовав приближение смерти, Матвей Васильевич явился в Александрийский лазарет и спросил главного врача Л. В. Поддубского.

— Умирать к тебе пришел. Ты мне того… и глаза сам закрой, Леонид Васильевич!

— И полно тебе, старина! Ты еще «на траву» в этом году пойдешь!

— Нет, брат, «на траву» я больше не пойду.

— Да что ж у тебя болит, что? А?

— Нет, болеть ничего не болит. А только чувствую, смерть подходит. Ты уж меня того, положи к себе… И глаза сам закрой, Леонид Васильевич!

Желание старика исполнилось.

Окруженный попечениями, пролежав в лазарете два дня, он тихо и безболезненно скончался,

словно заснул, от старческой дряхлости. И при последних минутах его был, «глаза ему закрыл» Л. В. Поддубский.

Так умер «дедушка русской каторги».

Однажды доктор Н. С. Лобас дал Матвею Васильевичу бумаги, чернил, перьев:

— Дедушка, ты столько помнишь. Что бы тебе в свободное время сесть да и записать, что припомнишь. Свое жизнеописание.

— А что ж! С удовольствием! — согласился Матвей Васильевич и на следующий день принес назад бумагу, перья, чернила и четвертушку бумаги, с одной стороны которой было написано.

— Вот. Написал.

— Что?

— Жизнеописание.

И он подал четвертушку:

«Жизнеописание сс.-каторжного Матвея Васильева Соколова. Приговорен к трем бессрочным каторгам. Чистой каторги отбыл пятьдесят лет. Получил:

Кнута — десять ударов.

Плетей — столько-то тысяч.

Палок — столько-то тысяч.

Розог — не припомню сколько.

Сс.-каторжный *Матвей Соколов*».

— Все жизнеописание?
— Все.

Святотатец

Усталый, разбитый, измученный, пробирался я чрез тайгу с моим проводником, ссыльнокаторжным Бушаровым.

Бушаров стоит того, чтоб сказать о нем несколько слов. В ссоре его называют:

— Каин!

Он убил родного брата с целью грабежа. Убил при таких же точно условиях, как ехали мы теперь с ним: в глухом лесу. Убил потому, что у брата, как у меня, были деньги. Я взял Бушарова в проводники потому, что он, прежде чем остепениться, много раз бегал и знал сахалинскую тайгу как свои пять пальцев. За мной этот братоубийца, грабитель и бродяга «смотрел» так, словно я был стеклянный. Словно боялся, что я вот-вот разобьюсь вдребезги.

А приходилось трудно. По тундре, поросшей тайгою, только и пробраться, что выросшей в тайге сахалинской лошади. Приходилось прыгать через ямы, через стволы огромных упавших деревьев. Лошади осторожненько сначала пробивали копытом место, прежде чем на него ступить, пробирались по корням деревьев, высунувшим-

ся наружу, срывались, падали, увязали в топь по брюхо. Пар от лошадей валил. Ежеминутно приходилось бедных, измученных лошадей лупить нагайками, чтобы заставить выбраться из трясины. Только что вытащит задние ноги, глядь — сорвалась с корешка, провалилась в трясину передними. То летишь через голову, то через круп, то валишься вместе с лошадью.

— Поддержитесь, ваше высокоблагородие, поддержитесь! — подбадривал меня ехавший впереди Бушаров. — Скоро тут сторожка.

Прорубили сквозь тайгу просеку, поморили на этой нечеловеческой работе много народу, — а по просеке ни пройти ни проехать: на чем поедешь по тундре? Понаставили сторожек «охранять просеку», и хоть просека брошена, но все же в каждую сторожку, по старой памяти, назначают по два сторожа каторжан.

Было уж под вечер, когда мы добрались до просеки и до сторожки. В сторожке был только один сторож — старик. Другой ушел на несколько дней в пост за провиантом.

Я не помню, как добрался до лавки, лег и заснул как убитый. Проснулся я ранним утром. Старик стоял на коленях и шепотом молился на маленький, темненький образок, висевший в углу.

Перевирая и коверкая, он прочел «Богородицу», «Отче наш», «Царю небесный», из пятого в десятое «Верую» и начал молиться от себя.

— Покров Пресвятой Богородицы, помилуй нас! Успенье Божией Матери, помяни и заступи грехи наши! Казанская Матерь Божия, помилуй нас! Помяни, Господи, рабов Божьих (таких-то) за упокой! Помяни, Господи, рабов Божьих (таких-то), невем аще за упокой, аще во здравие! Помяни мя, Господи, егда приидеши во царствие Твое.

Положил долгий-долгий земной поклон. Затем поднялся, сказал:

— Аминь.

Перекрестился еще несколько раз и пошел.

— Здравствуй, дед!

— Здравствуй, ваше высокоблагородие.

Бушаров уж ждал меня с горячим медным чайником, который он всегда в экскурсиях возил с собой вместе с провизией и с завтраком: раскрытой баночкой… страсбургского паштета и коробкой сардин. В лавках колонизационного фонда, созданного для удовлетворения потребностей каторжан, поселенцев и мелких чиновников, ничего, кроме страсбургского паштета и сардинок, достать нельзя. Так это все разумно устроено.

И мы уселись около сторожки есть в тайге паш-

тет из гусиных печенок с трюфелями и сардины в деликатесном масле!

— Дед, выпей с нами чайку!

Старик постоял, постоял:

— Спасибо за ласку. Побалуюсь!

И как я их ни уговаривал сесть вместе со мной, не соглашались. Я сидел на крылечке, старик и Бушаров — поодаль. Иначе:

— Непорядок!

А порядок старик, видимо, любил. Выпив чашку, он выплескивал остатки в траву, переворачивал чашку кверху донышком, клал на донышко огрызок сахару и говорил:

— Благодарствую на угощении!

— Да ты бы, дед, еще выпил!

— Нет уже, благодарствую.

И только по третьему разу говорил:

— Ну, уж ежели такая ваша милость, налейте! Грех, а побалуюсь.

Сардины у деда вызвали улыбку.

— Безголовая рыбешка-то!

А паштета он попросил еще:

— Дако-сь замазки-то!

Чай он пил с жадностью:

— Давно не баловался. Почитай, полгода, как чайкю не пил!

Старик был хмурый, неразговорчивый, но угощение и чай развязали ему язык.

— Ты что же, дед, в пост-то когда ходишь?

— Нет. За пайком Михайло ходит. Он помоложе. А мне чего ходить? Чего там делать? Года два как не был.

— Так и живешь здесь, людей не видя?

— Какие же здесь люди? Так когда — ведмедь к сторожке забредет, отпугнем. Альбо которые шлющие…

— Бродяги то есть! — пояснил Бушаров.

— Они самые. Придет, отогреется, хлебушка попросит — дашь, переночует — дальше пойдет. А люди какие же!

— И не боязно, дед?

— Чего же бояться-то? Бога бояться надо, а людей нечего. Ни я людям ничего не сделал, ни люди мне. Чего ж мне их бояться?

Старик стал разговорчив и доверчив, теперь можно было ему предложить и самый щекотливый вопрос:

— А за что ты, дед, сюда попал? На Сахалин?

Старик в это время допил последнюю чашку чая, подъел с ладони все хлебные крошки и перекрестился три раза.

— За ограбление святых Божьих церквей.

Признаюсь, я ожидал всего, кроме этого.

— Как так?

— А так.

— Как же это ты так? Спьяна, что ли?

— Зачем спьяна. Тверезый. Я с молодых годов ничем больше и не занимался! Все по церквам. Церквей тридцать обобрал, может, и больше. А тут на тридцать первой Богу не угодил — и попался.

— Как же это так… Ведь преступление-то какое…

— Какое ж преступление?

Старик посмотрел на меня строго и серьезно:

— Я никого не обижал. Я у людей ничего не брал. Я брал у Бога. Да у Бога-то брал то, что Ему не нужно. Бог мне и отдавал, а как взял, видать, то, что Богу нужно, — Он меня и настиг.

— Как же так все-таки? Как, что Богу не нужно?

— Да ведь в церквах-то все какое? Жертвованное? А что ж ты думаешь, Богу-то всякая жертва угодна? Всякая?

Старик горячился:

— Другой мужик всю округу обдерет, нищими людей пустит, рубахи поснимает, да в церковь что пожертвует, думает, и свят! Угодна такая жертва

Господу? Нет, брат, ты от трудов праведных да с чистым сердцем Господу Богу принеси — вот это Ему жертва!

— Да ты-то почем знаешь, что Господу угодно, что нет?

— Этого нам знать не показано. А только по следствиям видать. Взял, ничего тебе за это не было — значит Бог тебе, что Ему не надоть, отдал. Всю жисть ничего не было. Какие дела с рук сходили, а тут и взял-то всего ничего, и споймали. Тронул, значит, что Богу Самому нужно, и постигнут. Значит, Богу кто от чистого сердца да от праведного труда принес — «жертва совершенная» была. А я у Бога ее взял. За это теперь и казнись. Справедливость и премудрость Божия.

Мы помолчали.

— Как же ты это делал? Церкви ломал?

— Случалось, и ломал! — неохотно проговорил старик. — Всяко бывало. Только я этого не люблю. Зачем храм Божий ломать? Нам этого не полагается. Страшно, да и застичь скорей могут. А так, с молитвой да тихохонько, оно и лучше. Останешься апосля авсенощной, спрячешься где-нибудь и замрешь. А как церкву запрут, и выйдешь. Пред престольными образами помолишься, чтоб Господь Бог просветил, не взял бы чего, что Ему

угодно. К образам приложишься и берешь, что по душе. А утром, к утрене церкви отворят, темно, все сонные, — незаметно и уйдешь.

— И так всю жизнь?

— И этак цельную жисть.

— Ну а этот образок, что в уголке висит, это тоже, может быть?

— Покров Пресвятой Богородицы-то? Говорю ж тебе, два года тому в посту был. Там, на кладбище, и взял. Со креста снял.

— Как же это так? И могилу, последнее упокоенье…

— А что ж там образу быть? На что ему под дождем-то мокнуть? Еще татарва возьмет горшки у печки покрывать. «Дощечка!» Им все дощечка! Народец! А тут образ в своем месте. Как порядок велит. Соблюдается.

— Ну а здесь ты что ж, оставил старое? Здешних церквей уж не трогаешь?

— А что в здешних церквах взять-то? Народ-то здесь какой? Не знаете? Нешто здешний народ о Боге думает? В церкву он что понесет! Да он на водку лучше пропьет! Бога здешний народ забыл, и их Господь Бог позабыл! У них Бог-то нищим останется, и они за это за самое голые ходят! Народ! Глаза бы мои их не видели! Оттого

и в пост-то не хожу, через народ через этот. Чтоб не видать их. Грех один.

И старый святотатец даже отплевывался, говоря о забывшем Бога народе.

— Чудной старик! — сказал Бушаров, когда мы ехали из сторожки. — Но только богобоязненный, страсть! Его все так и знают.

Аристократ каторги

— Извините, — сказал мне однажды Пазульский, — сегодня я не могу пойти к вам в контору поговорить. Нога болит. Вы не хотите ли, может быть, здесь поговорим?

— Здесь? Неудобно. При посторонних. Народу много!

— Эти? — Пазульский кивнул головой на каторжан. — Не извольте беспокоиться. Ребята, выйдите-ка во двор, мне с барином поговорить надо.

И все девятнадцать человек, содержавшихся в одном «номере» с Пазульским, — кто сидел в это время, кто лежал, кто играл в карты, — встали и, позвякивая кандалами, один за другим, гуськом, покорно вышли.

А среди них был Полуляхов; сахалинская знаменитость Митрофанов, только что пойманный после необычайно дерзкого побега; Мыльников-Прохоров, перерезавший на своем веку человек двадцать; двое из Владивостока, приговоренные к смертной казни и всего две недели тому назад помилованные на эшафоте; Шаров, отчаяннейшая башка в целом мире, совершивший прямо

невероятный побег: среди белого дня он спрыгнул с палей прямо на часового, вырвал у него ружье и бросился в тайгу; Школкин, ждавший себе смертной казни за убийство; Балданов, зарезавший поселенца за шестьдесять копеек; и другие.

И все эти люди часа три проходили по двору, пока Пазульскому угодно было беседовать со мною о разных предметах.

Я собирался ехать в Рыковское. Узнав об этом, Пазульский предложил мне:

— Хотите, я вам дам рекомендательные письма? Там, в тюрьме, есть люди, которые меня знают.

Он дал мне несколько записок, в которых просил принять меня хорошо, сообщал, что я человек «безопасный» и с начальством ничего общего не имею.

Рекомендация Пазульского сослужила больше службы, чем все распоряжения показать мне все, что я пожелаю видеть. Рекомендации Пазульского было довольно, чтоб я приобрел полное доверие тюрьмы.

Случай помог мне при первом же знакомстве приобрести расположение и даже заслужить признательность Пазульского.

Он спросил меня:

— Говорите ли вы по-английски?

Я отвечал, что да. И Пазульский вдруг заговорил на каком-то необычайно диком, неслыханном языке.

Про него можно было сказать, что он по-английски «говорит», как пишет.

Он выучился самоучкой и произносил каждую букву так, как она произносится по-французски.

Выходило черт знает что!

Минута была критическая.

Безграмотная каторга чрезвычайно ценит всякое знание.

Вся тюрьма воззрилась: ну-ка, действительно ли Пазульский и по-английски говорит? Не врет ли?

На карте стояли самолюбие и авторитет Пазульского.

Авторитет, купленный страшной, дорогою ценою.

Стоило мне улыбнуться, и все пошло бы насмарку. «Врет, хвастается!» Боящаяся и ненавидящая Пазульского за эту боязнь каторга расхохоталась бы над Пазульским. А это был бы конец.

Я призвал на помощь всю свою сообразительность. Рисовал в воображении буквы, которые произносил Пазульский, складывал из них слова,

угадывал, что он хочет сказать, и отвечал ему на том же варварском языке, произнося все буквы.

Так мы обменялись несколькими фразами.

Надо было видеть, с каким глубоким почтением слушала каторга этот разговор на неизвестном языке.

Затем, встретясь один на один, Пазульский спросил меня:

— Так я говорю по-английски?

— Откровенно говоря, Пазульский, вы совсем не умеете говорить. Вас никто не поймет.

— Я и сам это думал! А ведь сколько лет я учился этому проклятому языку в тюрьме! — вздохнул Пазульский, затем улыбнулся. — Спасибо вам за то, что меня тогда не выдали! Смеяться бы стали, а мне это не годится… Спасибо, что поддержали.

И он крепко несколько раз пожал мне руку.

В чем заключается это обаяние и эта власть Пазульского над каторгой?

Прежде всего — его все боятся потому, что он сам ничего не боится. И он это доказал!

Во-вторых, боятся его прогневить, чтобы Пазульский «чего не сказал». Это типичнейший из «Иванов», человек слова: что он сказал, то он и сделает, — он и это доказал.

Таков этот «человек с виселицы».

Пазульский теперь уже старик, лет шестидесяти. Удивительно бодрый и крепкий. Силы, говорят, он феноменальной. Черты лица у него удивительно правильные, красивые, и особенно замечательны глаза: серые, холодные, с властным взглядом, который трудно выдерживать. В нем как-то во всем чувствуется привычка повелевать. Красивые губы под полуседыми усами нет-нет да и подергиваются презрительной улыбкой.

Пазульский — поляк.

— Вероисповедания числюсь католического! — говорит он. — Но мне это все равно. Православное, католическое — я ни во что в это не верю.

— Значит, «там», по вашему мнению, Пазульский, ничего нет?

— Ничего!

— И души?

— Какая душа! Что человек помирает, что собака — все равно. Я видал.

А он действительно «видал».

— Я нарочно убивал собак, чтобы посмотреть. Никакой разницы. Смотрит на тебя, словно сказать хочет: «Только не мучай! Поскорее!» Живет — смерти боится. Умирает — боли боится. Это все тело. Боли боится и наслаждения хочет. Жизнь — это наслаждение. Только с наслажде-

нием и начинается жизнь. Разумная-то. А только необходимое, есть да пить, это уж человек будет даже не собака, даже не свинья, даже не крыса. Это уже будет вошь. Да и у той, небось, свои наслаждения есть! И она к наслаждению стремится. Ведь и собака и свинья, глядишь, на солнце ляжет, бок погреет, наслаждения от жизни хочет. А заприте собаку в комнату, дайте ей только необходимое — завоет. О наслаждении выть будет!

Такова «философия» Пазульского, до которой он дошел своим умом.

— У человека есть деньги, он и наслаждается: пьет тонкие вина, ест деликатные блюда, имеет красивых женщин. «У меня, — говорит, — есть деньги, через них я и наслаждаюсь. А у тебя нет денег, ты и не наслаждайся!» — «Хорошо, брат! Если все через деньги, то я возьму у тебя твои деньги и сам через них буду наслаждаться, чем мне на тебя-то смотреть!» Так уже все заведено.

Таково практическое применение «философии» Пазульского.

Пазульский — это громкое имя на нашем юге, на юго-западе и в Румынии. Его долго еще не забудут. Он был атаманом трех разбойничьих шаек и действительно «творил чудеса».

Его специальностью были грабежи. И в особен-

ности грабежи в помещичьих усадьбах. Убийства он всегда «терпеть не мог».

— За ненадобностью. Я беру то, что мне нужно. Деньги его. А жизнь его, на что она мне?

К убийцам с целью грабежа, например к Полуляхову, он относится с величайшим презрением.

— Сволочь! Намажут, намажут, а взять ничего не возьмут! Что не нужно, то у людей отнимут, а что нужно — того достать не сумеют. Дурачье! Наберут топоров, напьется еще, скотина, перед этим! «Валай, Ивашка, бей по холовам! Кроши, Ямеля, твоя няделя!» А зачем это им нужно? По головам-то!

— Да ведь дело такое, Пазульский! Говорят, нельзя им без «этого».

— Оттого, что дурачье! Потому и «нельзя». Зачем у человека ненужную мне вещь отнимать, жизнь, когда у него нужная мне вещь есть: страх.

— А не напугается?

— Ну, это как напугать!

О своем прошлом Пазульский не говорит. Это пахло бы хвастовством. А Пазульский не из тех людей, которые хвастаются.

Сведения о его прошлом мне пришлось собирать уже на юге России. Это были действительно

большие «предприятия». Наметив богатого помещика, Пазульский подсылал к нему кого-нибудь из своих. Тот нанимался в работники, жил, высматривал, выглядывал. И когда Пазульский с шайкой являлся на «дело», он был осведомлен обо всем: о складе жизни, привычках, расположении дома. Он бил без промаха: выбирал самый удобный час, когда ему никто помешать не мог.

Все роли были распределены, всякий знал свое дело. Одни вязали спящую дворню, другие караулили. Сам Пазульский брался за хозяев, никогда не доверял их никому из шайки: боялся, быть может, что потеряют терпение, не выдержат и убьют.

Он любил при этом страшную обстановку: револьвер, кинжал, маски. Отчасти, вероятно, потому, что так страха больше нагонишь, отчасти, быть может, потому, что в этом бандите есть любовь к романтическому и он умеет изо всего извлекать наслаждение.

— Надо все так сделать, чтобы и вспомнить потом приятно было! — как-то вскользь заметил он.

Его «слава» была так велика, что, говорят, при одном имени «Пазульский» люди сами отдавали деньги. Появились на юге даже лже-Пазульские.

— Но ведь случалось убивать? — спросил я как-то Пазульского в минуту более откровенной беседы.

Он поморщился:

— Случалось. Что ж! Если сам уж человек лезет! Его урезониваешь, а он лезет! Ну и… Да это дрянь такая, что и вспоминать нечего. Не всегда все делаешь, что хочешь. Во всяком деле неприятности есть. Что вспоминать! Это только корова жвачку пережевывает, отрыгнет да и жует. А человеку это противно! Не будем об этом!

Среди воровского и грабительского мира атаман Пазульский, конечно, имел огромное имя, и, когда он попал в Херсонскую тюрьму, нет ничего удивительного, что он командовал тюрьмой, как командует ею на Сахалине. Смотритель тюрьмы был человек новый, молодой, неопытный. Но он был человек добрый и к «знаменитости», попавшей в его тюрьму, отнесся очень мягко, внимательно и человечно. За это он понравился Пазульскому.

— Жаль мне его стало. Вижу, человек внове, чертей этих, арестантов, не знает, держать их не умеет. И начал я ему помогать. Советы давал, как их в подчинении держать, сам, бывало, на них прикрикнешь. И установился в тюрьме порядок:

ходят по струнке. Народ — трус!

Пазульский за это пользовался некоторыми льготами, имел хороший стол. Это привилегированное положение не понравилось помощнику смотрителя из бывших фельдшеров (удивительно, какая страсть у фельдшеров к этой должности). Помощник возревновал, стал наговаривать смотрителю на Пазульского. Слабохарактерный смотритель поддался влиянию помощника. Пазульского начали «сокращать», и, когда захотели «сравнять с арестантами», Пазульский поднял всю тюрьму и устроил бунт. Но бунт не удался, Пазульского схватили и поволокли под ворота.

Тут рассвирепевший помощник дал себе волю. Приказал колотить Пазульского на глазах у всей тюрьмы, смотревшей на это из окон.

Это было для Пазульского «хуже смерти».

Он только сказал помощнику:

— Вы зашли в ресторан пообедать, но не спросили, какая здесь цена.

Избитого до полусмерти Пазульского посадили в карцер, и, когда он, «битый», отсидев в карцере, сошел в общую арестантскую камеру, его первым словом было обещание убить помощника.

Вскоре Пазульский бежал. Прошло два года. Его снова поймали где-то в Крыму и препроводили

в Херсонскую тюрьму. Смотритель был тот же. Помощник тоже. Помощник уже давно забыл про все и даже встретил Пазульского по-приятельски:

— А! Пазульский! Привел Бог опять увидеться!

Пазульский ответил:

— Привел Бог. Это верно.

Однажды во время обхода камеры Пазульский обратился к помощнику-фельдшеру, шедшему за смотрителем:

— Будьте так добры, посмотрите мне горло, у меня что-то горло болит.

Они подошли к окну, чтобы лучше видеть. Тогда Пазульский быстро охватил его одной рукой за талию, прижал, а другой «провел ножом по горлу». В рукаве приготовлен был, даже не пикнул! Бросил его на пол и сказал: «Расплатился!»

Рассказывая это, Пазульский вздохнул с таким видом облегчения, словно он до сих пор еще испытывает чувство какого-то удовлетворения.

Убийство начальника — «за это веревка», и вот почему каторга со страхом смотрит на человека, который через два года сдержал «раз данное слово».

Пазульский был приговорен к повешению. Он сидел в тюрьме и ждал.

— Страшно?

— Томительно. «Скорей бы!» — думаешь. Ну, чего тянуть? Повесили бы — и к стороне.

Как и большинство, как почти все «настоящие преступники», он хотя и в Бога не верит, но суеверен.

— Снился мне сон: столб высокий-высокий. К чему бы, думаю? Значит, меня завтра повесят! Так и вышло. Приносят вечером чистое белье — значит утром казнь!

Пазульский отказался от духовника и на эшафоте всех поразил. Он оттолкнул палача.

— Не хотел, чтобы палач руками дотрагивался, противно было.

Взбежал на западню и сам на себя набросил петлю.

Пришлось кричать ему:

— Стой! Стой!

Ему прочли помилование.

— Тут уж замутилось у меня перед глазами, все поплыло, уплыло, — говорит Пазульский.

Смертная казнь была заменена каторгой без срока. Пазульского отправили в Сибирь; на одном из этапов он «сменился» с каким-то маловажным арестантом, проигравшимся в карты. Тот пошел под именем Пазульского, а Пазульский бежал и

вернулся на юг.

Но «подвиги» Пазульского, его «казнь» слишком нашумели на юге. Его узнали, поймали, обвинили.

— Всякая собака меня знала! Немудрено. Эта известность-то меня и погубила.

Пазульский был приговорен в Одессе к двенадцати годам «испытуемости», ста плетям и трем годам прикования к тачке.

Так он попал на Сахалин.

Он сидит в самом страшном номере Александровской кандальной тюрьмы. На табличке с фамилиями, висящей около двери этого номера, значится все:

— Без срока… Без срока… Без срока…

Тут собрана «головка» кандальной каторги.

И Пазульский держит всех этих людей в полной зависимости и нравственной, как человек, лишенный страха, и материальной: он занимается ростовщичеством.

Страшный этот старик. Он сидит в своем темном углу, словно огромный паук, который держит в своей паутине девятнадцать бьющихся, жалобно пищащих мух.

— Вот, — сказал он мне как-то, показывая на маленькие углубления: вдавленные места в дере-

ве на его месте, на нарах. — Знаете что это?

— Что?

— Это я пролежал!

Плебей

Если Пазульский — аристократ каторги, то Антонов по прозвищу Балдоха — презреннейший из ее плебеев.

Вся кандальная относится к нему с обидным пренебрежением.

И не то чтобы он сделал что-нибудь, с точки зрения каторги, предосудительное, а так, просто:

— Что это за человек! Ни богу свеча ни черту кочерга! Одно слово — Балдоха!

Специальностью Балдохи было душить.

Он передушил на своем веку…

— Постой! Сколько? — спрашивает сам себя Балдоха, загибает корявые пальцы и всегда сбивается в счете.

— Душ одиннадцать!

И никогда не видал денег больше десяти рублей.

Антонову-Балдохе пятьдесят четыре года, на вид под сорок, по уму немного.

Фигура у него удивительно нескладная, лицо корявое и вид нелепый.

Он родился в Москве, на Хитровке. Ни отца, ни матери не знал. Вырос в ночлежном доме.

Высшая радость жизни для него — портерная.

— А что, Балдоха, здорово бы теперь тебе в Москву?

— На Грачевку бы! В портерную! — улыбается во все лицо Балдоха. — Ах, город хороший! Сколько там портерных!

Когда он хочет рассказать что-нибудь необыкновенно величественное из своей прошлой жизни, он говорит:

— И спросил я себя, братцы вы мои, пива полдюжины!

Говорит он на своем особом языке: смеси Хитровки, каторги, языка нищих и языка арестантов.

Человек для него — «пассажир». Он не просит, а «по пассажиру стреляет». Не душит, а «баки заколачивает». Маленький воровский ломик у него — «гитара». Часы — или «луковица», или «подсолнух», глядя по тому, серебряные или золотые.

— Звездануть пассажира «гитарой» по становой жиле да «подсолнух» слямзить. Куда как хорошо!

— Дозвольте вас, ваше высокое благородие, подстрелить! — говорит он, прося гривенник.

Он, случалось, «брал» и «подсолнухи», и бриллианты, но он всю жизнь свою проходил в опорках:

«взяв» хорошую вещь, шел к покупщику краденого, и ему давали за вещь, стоящую сотни рублей.

— Рупь, много два!

Он сейчас же пропивал и наутро просыпался опять голодный, холодный, раздетый.

Он не то чтобы был пьяницей. Но он не привык к тому, чтобы у него была какая-нибудь собственность, и, когда товарищи «для работы» справляли ему чуйку синего сукна, сапоги с набором, картуз, он сейчас же, по окончании «дела», сбывал это и возвращался в «первобытное состояние».

Московские старожилы помнят еще знаменитую, свирепствовавшую когда-то в Замоскворечье шайку «замоскворецких башибузуков», как их прозвали.

Шайка держала москвичей в страхе и трепете. С прохожих по вечерам, в глухих переулках, срывали шапки, отрывали воротники у шуб, стаскивали часы. Обыкновенно прохожего в глухой местности настигал лихач, с лихача соскакивали двое, грабили прохожего, вскакивали в сани, лихач ударял по лошади, и поминай как звали.

Кроме этих наглых, открытых грабежей, беспрестанно случались убийства.

Душили богатых, одиноких людей, исключительно старообрядцев.

— Почему староверов? — спросил я у Балдохи, героя всех этих похождений.

— Столоверов-то? Потому «подводчик»-портерщик — столовер был. Он своих всех и знал.

В шайке этих «башибузуков» Балдоха был специалистом-душителем.

По большей части он нанимался сдельно: задушить — платье справить и десять рублей.

— Почему же это так? Ремесло это твое, что ли?

— Известно, рукомесло.

— Что же ты, учился ему, что ли?

— Известно, учился. Без науки ничего нельзя.

— Где же ты учился?

— А по портерным. Сидит какой выпивший около стенки. Сейчас его за машинку и об стену головой.

— Насмерть?

— Зачем насмерть! Я не вовсю. А так только, чтобы «пассажира» взять, чтобы и не пикнул. Не успел то есть.

— А другие-то что же, без тебя этого сделать не умели, что ли?

— Умели. Да с другими страшно. А со мной ничего. Говорю: пикнуть не успеет. Вы, может, слышали, в Орле такое дело было, бриллиантщика обобрали и мастера задушили? Мое было

дело. Меня в Орел нарочно возили. На всякий случай был взят. Думали днем сделать дело с «преступлением», а вышло вечером. Забрались это в магазин они, а я за дверью стою, за задней, караулю. Только идет вдруг мастер. Он при магазине жил. И ведь как! Перегородка, а за перегородкой другая квартира, а там белошвейки сидят, песни играют. Все от слова до слова слышно. Дохнет — услышат. Тут нужна рука! Отпер это он дверь, отворил только, я его за машинку взял и наземь положил. Хоть бы дохнул! Я его на пол сложил, а за перегородкой песни играют. Так ничего и не слыхали!

Говоря о своем «умении», Балдоха удивительно воодушевляется и однажды, показывая мне, как это надо проделывать, как-то моментально подставил мне сзади ногу, одной рукой обхватил за талию, а другую поднес к горлу.

Я не успел действительно мигнуть, как очутился, совершенно беспомощный, у него в руках.

Балдоха побледнел как полотно, весь затрясся, поставил меня на ноги и отскочил.

— Ваше высокоблагородие!.. Простите!.. Ей-богу, я вас не хотел… Так, в разговоре…

Он хотел броситься в ноги. Мне долго пришлось его успокаивать.

Он положительно «любил свое дело». Да, впрочем, это ведь единственное дело, которое он и знает. Единственный его ресурс. Когда его уже очень изведет каторга — у него есть только одно средство обороняться:

— Возьму за машинку, однова не дохнешь.

Кроме этого «своего дела», Балдоха знает еще грамоту. Он выучился в исправительном приюте.

— Она-то меня и сгубила!

«Башибузуки» были открыты благодаря Балдохе.

С товарищем он явился к одному одинокому старообрядцу-леснику будто бы покупать дрова.

Среди разговора Балдоха задушил старика, обыскали труп, переломали всё в квартире, — ничего не нашли.

На следующий день, читая в портерной газету, он прочел и про это убийство:

— «Деньги, что-то около тридцати тысяч, были спрятаны за голенищами у покойного и остались нетронуты».

Балдоха расхохотался.

— Чего хохочешь? — спросил портерщик.

— Да как же! Столовера какие-то вчерась в Сокольниках убили, везде денег шарили, а день-

ги-то за голенищем у его были!

«Убийство в Сокольниках» наделало страшного шума в Москве. Полиция была поставлена на ноги. От портерщика узнали про подозрительный смех Балдохи; забрали его, уличили.

— Но неужели ты так спокойно ходил на такие дела?

— А то еще как же? Так-то, известно, оно нескладно. Так я всегда перед «делом» стакан водки пил. Для полировки крови.

Как сносит он каторгу?

Как-то я спросил его что-то про тюрьму.

— Тюрьма? Ничаво тюрьма! Чисто ночлежный на Хитровке.

Отцеубийца

Маленькая, чрезвычайно опрятная каморка. У окна, в очках, старик портняжит и мурлыкает про себя что-то «духовное».

При нашем появлении — мы с доктором Лобасом обходили в посту Дуэ и дома «вольных», не живущих в тюрьме, каторжан, — он встал, поклонился чрезвычайно учтиво, не по-каторжному, и сказал:

— Милости прошу, Николай Степанович! Милости прошу, сударь!

Доктора Лобаса, которого вся каторга прямо-таки обожала за его доброе человечное отношение, он знал.

Мы сели и предложили и ему сесть.

— Нет, покорнейше благодарствую. Не извольте беспокоиться.

— Да садись, старик.

— Нет уж, не извольте беспокоиться. Благодарствую.

Старик он был необыкновенно благообразный, славный и симпатичный. Говорил тихо, необычайно как-то кротко, улыбался улыбкой немножко грустной, немножко виноватой.

— Поселенец, что ли?

— Никак нет-с. В поселенцы я выйти не могу. Я бессрочный. Меня по-настоящему и из испытуемой не должны выпускать.

Такое наказание полагается только за одно преступление.

— Да за что же ты?

— За родителя. Отцеубийство совершил.

— А давно на каторге?

— Пятнадцатый год.

— Да сколько же тебе лет?

— Шестьдесят один.

— Так что, когда ты это сделал, тебе было…

— Да уж под пятьдесят было.

— Отцу сколько было?

— Родителю за семьдесят.

Почти пятидесятилетний старик, убивающий семидесятилетнего отца. Что за необыкновенная стариковская трагедия?

— Как же так? За что же?

Старик потупился, помолчал, вздохнул и тихо сказал:

— И говорить-то срам. Да перед вами, Николай Степанович, молчать не стану. Издалека это пошло — еще с молодых годов. Вон откуда. Озорник был родитель мой. Грех мой великий, а не

каюсь. Как хотите, так меня и судите!

И он говорил это так степенно, кротко: что убил отца и не кается.

— Издавна, судари мои, началось, еще как меня поженили. Крестьянствовали мы, жили без бедности, работников даже имели. Женился я по сердцу. И Марья за меня по сердцу пошла. Марьей покойницу звали, царство ей небесное, вечный покой. Дом, говорю, богатый, зажили — лучше не надо. Марью в доме все взлюбили. Оно бы мне тогда вниманье обратить надоть. Родитель больно к Марье добр был. В город поедет — всем гостинец, а Марье особливо. Нехорошо это у нас по крестьянству, когда свекор к молодой снохе добер больно. Не полагается. Да нешто я что знал! Смотрел себе да радовался, что Марья так к дому пришлась, что любят. Только и мне в глаза кидаться начало. Уж больно родитель добер. Уж так добер, так добер! А старик он был строгий, ндравственный. Всех во как держал, пикнуть при нем не смели… Лежу я раз в риге, устал, отдохнуть днем лег, — только и слышу Марьин голос: «Нешто, батюшка, это возможно?» Мне через скважину-то, щель в стене была, видать. Выбегает на луговину Марья, а за ней родитель. Марья от него, а он за ней. Смеется. «Ан, — го-

ворит, — поймаю! Ан, — говорит, — поймаю!» Только Марья от него убежала, а он, пес, стоит так, смотрит ей вослед, посмеивается. «Так вот оно что!» — думаю. Тут мне в голову вступило, себя не помню. Пришел домой, Марью в клеть вызвал да за вожжи. «Ты что ж это, — говорю, — шкура? С родителем играешь?» А она в ноги да в слезы. «Он, — говорит, — Лешенька, ничего. Он так». Сказать то есть совестилась, с чем к ней пристает. Возил я ее вожжами, возил. К родителю пошел. «Так, мол, и так, батюшка. Выдели нас. Сами собой жить будем. Потому как я нынче, в риге лежамши, надумал…» Нарочно ему про ригу-то говорю. Насупился старик. «Мало чего, — говорит, — ты там, по ригам валямшись, щенок, надумаешь. Дом — полная чаша. Стану я из-за тебя этаку благодать рушить! Ишь, чего выдумал! Вон пошел с глаз моих, подлец!» И пошло тут и пошло. Придет Марья из поля — синяк на синяке. «Это кто тебя? — спрашиваю. «Батюшка», — разливается и плачет. Я к родителю: «Нельзя так, батюшка!» Он меня за волосья. Потому, говорю, хоть и большие были, а все как дети махонькие перед ним ходили. Он меня за волосья. «Ты, — говорит, — еще меня учить надумал! Все, — говорит, — вы лежебоки! И Марья твоя такая же. Добром да лаской

с вами ничего не поделаешь — так я ж вам себя покажу. Будете у меня работать!» А напрямки-то сказать ему: что, мол, отец, делаешь, язык не поворачивается — срамота, чужие люди здесь, работники. И пошла тут жизнь. Что каторга! Ничего, сударь мои, каторга не значит. Били же мы Марью, покойницу. Страдалица была, мученица! И родитель бьет: зачем от него бегает. И я с горя бью, все мне кажется, что она то есть виновата, сама к нему ластится. И этак-то двадцать годов! Бессрочная!

Старик отвернулся, утер слезы. Голос его дрожал и звенел.

— За Марью Господь Бог меня и наказал. За Марью я и несу свой крест и заслужил. И мучаюсь, как она, мученица, мучилась. До самой смерти, покойница, мне не признавалась. Стыдно было. «Это, — говорит, — Лешенька, ты так только думаешь. Ты, Лешенька, — говорит, — не думай, не мучь себя. Батюшка, он строгий, он только за работу взыскивает. Ты не думай». А какое там «не думай». У самой слезы в три ручья. Бью, себя не помню, а она хоть бы крикнула, нешто невинные так терпят? Слезами давится и свое только твердит: «Лешенька, не мучай себя, не думай!» Зимой в избе ночь лежишь — не спит родитель, слышу,

как не спит, ворочается, сопит. Сна на него нету. И я не сплю. И Марья не спит, дрожит вся. Извините — встанет, куда пойдет, слышу, и родитель с полатей тихонько слезает. Чисто за горло меня схватит. «Куда, — говорю, — батюшка?» — «А тебе, — говорит, — что? Ишь, полунощники, не спят, шляются! Еще избу зажгут. Пойтить поглядеть!» — «И я, мол, батюшка, с вами!» — «Лежи уж!» — говорит. Одначе иду. Колокол у нас в село везли. Так он дома остался, подсоблять не пошел: «Идите, — говорит, — вы подсобляйте, а у меня поясница что-то болит». Пошли, все глядят, посмеиваются. Потому дело ясное…

— Почему же дело ясное?

— Примета есть по крестьянству у нас. Как снохач помогать возьмется — колокол с места не сдвинешь. Пришел я с помочи домой. «Что ж, батюшка, — спрашиваю, — колокол везти не пошли? Нас только срамите!» Тут я только один раз ему про это и сказал. Темней ночи стал старик: «Ты, — говорит, — мне глупостей говорить не смей. А то возьму орясину да орясиной! Сказано, поясницу ломит». А какая там поясница! Просто боялся, чтоб народ от веревки не отогнал: «Федулыч, мол, отойди, не твое совсем дело». Потому, как мы навоз свой от людей ни хоронили — да

нешто от людей что ухоронишь? — все про наши дела знали. Срамота. А у меня уж сынок Николушка подрастает. Все понимает. И ведь что за старик был! Ведь уж, почитай, старуха Марья-то стала — так мы ее уходили. Краше в гроб кладут — ходит. А он все к ней. Так, покеда совсем в гроб не забили, грех-то и шел.

Старик едва сдерживался от слез. Долго молчал, пока собрался с силами продолжать.

— Могутный был старик. Смеялся когда: «Мне бы, говорит, опять жениться, и то впору». Померла Марья, повдовствовал я, и пришла пора Николушку женить. Невесту ему взяли из хорошего дома. Скромная была девушка, хорошая. И что ж вы думаете он задумал? Не пес?

Старик даже сплюнул с омерзением. Руки у него дрожали, голова ходуном ходила:

— Не пес? Смотрю — в город поехал, гостинцев всем навез, а Насте отдельно: «Это, — говорит, — тебе, умница. Почитай дедушку!» Смотрю — плачет Настя. «С чего?» — спрашиваю. «Так!» — говорит. А сама разливается. Смотрю, куда Настя, туда и он плетется. Вижу я, он и насчет Насти свое удумал. Страх и ужас, судари мои, меня взял. Голова кругом пошла. «Что же это, — думаю, — я всю жизнь промучился, теперь Николушке

моему так же мучиться? Когда ж этому конец будет?» Вижу, дальше да больше подбирается к Настюшке. Тут я Николушке и открылся: все ему и рассказал, что с его матерью было. Трясся Николушка, плакал. «Слухом-то, — говорит, — я про наш дом это слыхал. А только не верил». — «Теперь, — говорю, — нечего уж об этом тужить. Надо за Настюшкой следить!» Думали, думали: что делать? Хотели делиться. Куда тебе! «Ишь, — говорит, — что надумали! Я тебя, дармоеда, — это на Николушку-то, — кормил, поил, а ты этаку ко мне благодарность? Этаку работницу из дома уводить? Это я, — говорит, — знаю, чьи все штуки! Это он тебя, старый хрен, — это на меня-то, — учить. Все хочется по своей волюшке, своим умом пожить. Смотри, — говорит, — старик, не пришлось бы в кусочки под старость лет за твои штуки пойти, ежели не угомонишься! А на раздел нет моего благословения. Покеда не помру — дома не нарушу!» Видим, одно остается — следить, чтобы чего не случилось, не попустить. И пошли мы за ним везде следом. Жнитво было. Настюшка жала так отдельно, полосочку в яру. Небольшой этакий яр был, ложбиночка. Там она и жала. Прихожу я домой. «Где батюшка?» — спрашиваю. «Ушел!» — говорят. Так у меня и екнуло. Я к Ни-

колушке: «А ну-ка, мол, Николушка, пройдем к ярику. Неладно что-то, родитель из дому ушел». Побегли мы к ярику. Прибегаем, а он Настюшку-то борет. Волосья у нее растрепаны, рубаха — в одной рубахе у нас жнут, жарко, — рубаха разодрана. Отбивается Настюшка. А он ее цапает. Вырвалась от него, бежать бросилась, а он схватил, тут, на меже, валялась коряжина, да за ней с коряжиной. «Добром, — говорит, — лучше!» Тут мы и выбегли. «Стой!» — кричим. Увидал он нас, затрясся, озлился. «Вы, — кричит, — черти, тут что?» Свету я не взвидел: Настюшка стоит в драной рубахе — срамота! Подхожу: «Не дело, — говорю, — старик, надумал, не дело!» А он на меня: «А, — говорит, — опять ты, старый черт, меня учить? Всю жизнь учил, и теперь учить будешь? Вон, — говорит, — из моего дома! Пусть Николка с Настасьей остаются. А ты с глаз моих долой! Довольно мне тебя кормить, дармоеда!» — «Ну уж нет, — говорю, — старик, будет! Это тебе не Марья!» А сам все к нему ближе да ближе. Еще пуще взбесился: «Что ты, — кричит, — мне Марьей своей в глаза все тычешь? Велика невидаль! Потаскуха была твоя Марья. Со всей деревней путалась! Вон!» — кричит. Да коряжкой-то на меня и замахнулся. Не помню уж я, как случилось.

Выхватил коряжину у него из рук да по голове его. Он и присел. А я на него да за глотку. Помню только, что трясся весь. И уж так-то он мне был противен, так гадок. «Пришел, — говорю, — старик, твой час!» — «Алеша, — говорит, — не буду!» — «Раньше, — говорю, — старик, об этом бы подумать». Да и стиснул ему глотку… Стиснул — и держу. Держу и сам ничего не вижу, не понимаю. Уж тогда очнулся, Николушка меня за руку трясет: «Тятинька, — говорит, — вы дедушку задушили». — «Туда ему и дорога! — говорю. — Грешник». Так-то, господа, дело все было…

— Ну а присяжным, старик, ты все это рассказал?

— Нет, зачем же-с. Да я и не в сознании судился.

— Почему же не сознался, не рассказал всего?

— Да как вам сказать? Первое, что, мол, свидетелей не было. «Не я да не я». А второе — боялся Николушку с Настей запутать. Люди молодые, им жить, а мое дело стариковское. А потом… что ж этакий срам-то на люди выносить…

— Ну а сын твой никакого участия в этом не принимал?

— В этом, что я сделал? Нет-с. Видеть — видел, а убивал я один. Мне таить нечего. Теперь уж

все одно. Сказал бы, если б это было. Все равно. Они уж померли. Вскоре, как меня засудили, Николушка помер, а за ним и Настасья… Все свое отмаялись и померли, один только я остался и маюсь!.. — улыбнулся старик своей грустной и виноватой улыбкой. — Маюсь да за Марьину душу молюсь. Может, хоть там ей хорошо будет. А здесь что!.. Безответная была — мученица…

Шкандыба

Вечному каторжнику Шкандыбе шестьдесят четыре года. Это рослый, крепкий, здоровый старик.

Шкандыба — сахалинская знаменитость. Его все знают.

Шкандыба отбыл двадцать четыре года «чистой каторги» и ни разу не притронулся ни к какой работе.

— Вот те и приговор к каторжным работам! — похохатывает он.

Его драли месяцами каждый день, чтобы заставить работать. Ни за что!

Сколько плетей, сколько розог получил этот человек!

Когда он по моей просьбе разделся — нельзя было без содрогания смотреть на этот сплошной шрам. Все тело его словно выжжено каленым железом.

— Я весь человек поротый! — говорит сам про себя Шкандыба. — Булавки, брат, в непоротое место не запустишь: везде порото. Вы извольте посмотреть, я суконочкой потру. Где потереть прикажете?

Потрет суконкой там, где укажут, и на теле выступают крест-накрест полосы — следы розог.

— Человек клетчатый! Кожа с рисунком. Я кругом драный. С обеих сторон. Чисто вот пятачок фальшивый, что у нас для орлянки делают. С обеих сторон орел. Как ни брось, все орел будет! И с одной стороны орел, и с другой — орел. Так вот и я.

— Как же так с обеих сторон драный?

— А так-с. Господин смотритель на меня уж очень осерчал: зачем работать не хочу. «Так я ж тебя!» — говорит. Драл, драл, не по чем драть стало. «Перевернуть, — говорит, — его, подлеца, на лицевую сторону». Чудно́! По животу секли, по грудям секли, по ногам. Такого даже и дранья-то никто не выдумывал. Уморушка! «Шпанка», так та со смеху дохла, когда я этак-то на «кобыле» лежал. Необыкновенно.

— А работать все-таки не пошел?

— Нашли дурака!

Шкандыба по профессии мясник. В первый раз был приговорен на двенадцать лет за ограбление церкви и убийство. Затем бежал, попался и, в конце концов, «достукался до вечной каторги».

Сначала его отправили на Кару, на золотые прииски. Это были страшные времена. В разрезе,

где работали каторжане, всегда наготове стояла «кобыла». При каждом разрезе был свой палач, дежуривший весь день.

Шкандыбу привели на работу. Он решительно отказался.

— Что это? Землю копать? Не стану!

— Как не станешь?

— А так. Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Шкандыбе в первый день дали двадцать пять плетей.

Во второй — пятьдесят.

В третий — сто и чуть живого отнесли в лазарет.

Выздоровел, привели — опять то же:

— Земля меня не трогала, и я ее трогать не буду.

Опять принялись драть — опять отправили в лазарет.

Наконец устали, прямо-таки устали биться со Шкандыбой и отправили его на Сахалин.

На Сахалине Шкандыба прямо заявил:

— Работать не буду. И не заставляйте лучше.

— Ну так драть будем!

— С полным моим удовольствием. Ваше полное право. А работать вы меня заставить не можете.

Шкандыбу переводили из тюрьмы в тюрьму, от смотрителя к смотрителю, всякий раньше хвалился:

— Ну, у меня не то запоет!

И всякий потом опускал руки.

Один из самых «ретивых» смотрителей К. рассказывал мне:

— Да вы понятия иметь не можете, что это за человек. Взялся я за него. Каждый день тридцать розог. Да ведь каких! Порция. Прихожу утром на раскомандировку. «Кобыла» стоит, палач, розги. Вместо «здравствуйте!» — первый вопрос: «Шкандыба, на работу идешь?» — «Никак нет!» — «Драть!» Идет и ложится. До чего ведь, подлец, дошел. Только прихожу, еще спросить не успею, а он уже к «кобыле» идет и ложится. Плюнул!

Другой смотритель, тоже «ретивый», которому давали Шкандыбу на укрощение, говорил мне:

— Одно время думали, может, он какой особенный, к боли нечувствительный. Доктору давали исследовать. «Нет, — говорит, — ничего, чувствительный». Драть, значит, можно.

«Спектакли», которые ежедневно по утрам Шкандыба давал каторге, составляли развлечение для тюрьмы. Глядя на него, и другие «храбрились», «молодечествовали» и смелей

ложились на «кобылу».

Кроме того, каторга дерзила:

— Что вы, на самом деле, ко мне пристаете с работой? Вы вон подите, Шкандыбу заставьте работать! Небось, не заставите!

Шкандыба давал «заразительный пример».

Его просили уж работать хоть «для прилика»:

— Шкандыба, черт, хоть метлу возьми, двор подмети! Вот и вся тебе работа!

— Не желаю. Чего я буду мести? Не я насорил — не я и мести буду. Я что насорю — сам за собой приберу.

— Ну, не мети, черт с тобой! Хоть метлу-то в руки возьми!

— Зачем мне ее в руки брать? Она не маленькая. И одна в углу постоит. Ей не скучно: там другие метлы есть.

— Раз, впрочем, топор в руки взял! — смеется Шкандыба.

— Работать хотел?

— Нет, надзирателю голову отрубить надо было. Надзиратель такой был, Чижиков. Выслужиться хотел. «Я, — говорит, — его заставлю работать. Не беспокойтесь. Что его драть — процедура длинная! Я его и так, и кулаком по морде». Раз меня в рыло, два меня в рыло. Походя

бьет. «Дух, — говорит, — я из тебя вышибу!» — «Смотри, — говорю, — чтоб тебе кто в рыло не заехал!» — «Я, — говорит, — не опасаюсь!» — «Ну а я, — говорю, — опасаюсь!» Пошел, взял топор, хлясть его по шее. Напрочь хотел башку отрубить — вчистую. Тогда уж никто в рыло его не смажет.

— И что же, насмерть?

— Жалко, жив остался. Наискось махнул. А еще мясником был, туши рубил. Раз — и готово. А тут не сумел этакого пустого дела сделать. Топор сорвался, стало быть!

За это Шкандыбу приковали к стене и приговорили к вечной каторге.

— Сижу у стены прикованный: «Что, мол, взяли, работаю?»

Замечательно. Всё делали со Шкандыбой. Только одного не пришло никому в голову: освидетельствовать состояние его умственных способностей.

А странностей у Шкандыбы, и помимо упорного нежелания работать, много.

То он начинает вдруг петь во все горло. То разговаривает, разговаривает — вскочит и убежит как полоумный.

— Юродствует!

— Сумасшедшим прикидывается, чтобы не драли!

— Нагличает: «Вот, мол, все работают, а я песни орать буду».

Так решало тюремное сахалинское начальство, а когда на Сахалине появились действительно гуманные врачи, готовые взять под свою защиту больного, борьба со Шкандыбой была уже кончена: на него «плюнули» и зачислили богадельщиком, чтобы хоть как-нибудь оформить его «неработание».

А впрочем, бог его знает, можно ли признать Шкандыбу сумасшедшим. Ненормального, странного в нем много, но сумасшедший ли он?

В одну из бесед я спросил Шкандыбу:

— Скажи на милость, чего ж ты отказывался от работы?

— А потому, что несправедливо. Справедливости нет — вот и отказывался.

— Ну как же несправедливо. Ведь ты сам говоришь: церковь ограбил, человека убил?

— Верно!

— Присудили тебя к каторге.

— Справедливо. Не грабь, не убивай.

— Ну и работай!

— А работать не буду. Несправедливо.

— Да как же несправедливо?

— А так! Вон Ландсберг двух человек зарезал, а его заставляли работать? Нет, небось! Над нами же командиром был. Барин! Он инженер, им там, сипер какой-то, что ли, дороги строить умеет. Он не работает, он командует. А я работай! За что же, выходит, должен работать? За то, что человека убил? Нет! За то, что я дорог строить не умею. Так разве я в этом виноват? Виноват, что меня не учили? Нет, брат, каторга так каторга — для всех равна! А это нешто справедливость? Приведут арестантов: грамотный — в канцелярии сиди, писарем, своего же брата грабь. А неграмотный — в гору, уголь копай. За что ж он страдает? За то, что неграмотный! Нешто его в этом вина? Справедливо?

— Потому ты и не работал?

— Так точно!

— Ну а если бы «справедливость» была и всех бы одинаково заставляли работать, ты бы работал?

— А почему ж бы и нет? Знамо, работал бы. Как же не работать? Главное — справедливость. Я потому и Чижикову голову снести хотел. За несправедливость! Бей, где положено. Драть по закону положено — дери! Меня каждый день драли — я сло́ва не сказал: справедливо.

Потому — закон. А по морде бить в законе не показано — и не смей. Ты незаконничаешь, и я незаконничать буду. Ты меня в рыло — я тебя топором по шее. А что справедливо — я разве прекословлю? Сделай твое одолжение. Что хошь, только чтоб справедливо!

Так и отбыл Шкандыба свои двадцать четыре года «чистой каторги», не подчиняясь тому, чего не считал справедливым.

Наемные убийцы

Они неразлучны. Где маленький, тщедушный, вертлявый Милованов Карп, тут, глядишь, плетется и угрюмый, молчаливый Чернышов Анисим.

Они друг на дружку страшно злы.

Анисим зол на Карпа как на доносчика:

— Через его язык и в каторгу попали.

Карп упрекал Анисима в подлости:

— Языком-то, брат, вертеть, дядя Анисим, нечего. Ты языком-то, чисто хвостом, вертишь — и туды и сюды. «Знать, мол, ничего не знаю!» Ишь, тоже святой какой выискался. Нет, ты, брат, по чистой совести говори! Подлить-то нечего!

А держатся они всегда вместе, рядом спят и из одного котелка хлебают.

— Вместе суждены. Друг от дружки отставать нечего.

Я познакомился с ними на острове; они пришли с вновь прибывшей партией каторжан.

Их ввели в комнату, где происходил осмотр, и надзиратель приказал:

— Раздевайся!

Испугались оба страшно.

— Черед, брат, пришел, дядя Анисим! Раздевайся!.. Совсем, что ль, раздеваться-то надоть?

— Раздевайся, разувайся начисто.

Они в уголке торопливо разделись.

— Иди к столу!

Длинный как жердь, сухой как скелет, Чернышов Анисим зашагал к столу с самым несчастным видом. Лицо сморщилось — вот-вот навзрыд заплачет. Милованов Карп стоял перед столом вконец растерянный. Нижняя челюсть у него отвисла, в глазах был страх и ужас. Ноги дрожали и ходуном ходили. Дрожащими руками он почесывался.

— Куды ложиться-то? — спросил Милованов.

— Зачем ложиться?

— А драть?

— За что ж тебя драть?

— А так, мол… Драть… По положению…

Все расхохотались. Милованов смотрел с недоумением.

— Нет, брат, тебя драть не будут. Пока еще не за что. Вот сделаешь что, тогда выпорют!

— Покорнейше вас благодарю!

Все опять расхохотались. Оживший Милованов и сам засмеялся:

— Слышь, дядя Анисим, драть-то не будут?

Слышишь?

— Слышу! — отвечал Анисим таким равнодушным тоном, словно его нисколько это не интересовало.

Радость сделала Милованова болтливым. Он пришел в приятное нервное возбуждение, смеялся и готов был болтать теперь без умолку.

— За что суждены-то?

— По подозрению в убийстве! — отчеканил Милованов — обычный каторжный ответ. — Хозяина, стало быть, убили!

— С грабежом?

— Не! Зачем с грабежом! Бог миловал! Ничего не грабили. Так убили.

— За что же убили?

— За что убивают? Известно, за деньги! Такое уже положение, чтоб за деньги!

— Хозяйка нас запутала! — мрачно пояснил Анисим.

— Так точно. Денег дала! — подтвердил и Карп.

— Наняли вас, значит?

Карп посмотрел удивленно:

— Чего ж нас нанимать было? Мы и так в работниках жили!

— А как же, говоришь, деньги?

— Благодарить — благодарила. Это уж как

водится. А нанимать… нешто на такие дела нанимают?

Милованов даже расхохотался.

— Ты и убивал?

— Я самый!

— Ну а ты, Чернышов?

— Не в сознании он! — вставил Милованов.

— Знать я ничего про эти дела не знаю. И слухом не слыхал! Так, Карпушка все плетет!

Милованов завертелся.

— Ишь ты, сделай милость. Как что — так ты. А в ответ, сейчас Карпушку!

Милованов подмигнул нам на Чернышова.

— Хитрый мужик! Куда хитер! Две души при себе имеет. Одну про себя бережет. А другу-то про людей, на, поди: чистехонька! «Не я да не я!» Нет, брат, тут языком-то мести нечего. Уж раз как в каторгу попали — тут дело ясное! Стало быть, убили!

— Да как же дело-то вышло?

— Да как вышло! Очинно даже просто. Говорю — через бабу!

— В работниках жили! — вставил свое слово Анисим, словно все объяснил.

— За жалованье?

Милованов так и фыркнул:

— Какое жалованье? Кто нам с дядей Анисимом жалованье положит?

И действительно, парочка была убогая на редкость. Оба тщедушные, жалкие, слабосильные до последней степени, такие, про которых говорится: «плевком перешибешь». Головы у обоих на редкость маленькие, словно пучки какие-то торчат. Лица глупые, возбуждающие жалость. И как их Бог таких «не в пору вместе свел».

— Так, за-ради Христа, жили. Я-то шесть годов у хозяина выжил, а дядя Анисим через два года пришел. Верно говорю, дядя Анисим?

— Четыре года об вешнем Николе было. Это верно! — подтвердил Чернышов.

— Мельник хозяин-то был. Мельница была своя. Пришел я это к мельнице, да и сел. И сижу.

— Да ты куда ж шел?

— А так, никуды не шел. Куды мне итти? Шел, и шел, и сел.

— Да ты чем же занимался?

— Да ничем не занимался. Так. Иду, иду, — где в работники возьмут, за хлеб за соль, — живу. Прогонят — дальше пойду. Человек слабосильный! Сижу это. Мельник и увидал. «Чего, — говорит, — сидишь?» — «Так, мол, не будет ли милость, не возьмете ли в работники за Христа ради? Насто-

ящим-то то есть работником куды мне! А так, по дому, что поковырять могу». — «Живи!» — говорит. Смилостивился. Я и зачал жить. А потом и дядю Анисима встрел и привел.

— Знакомы вы, что ли, были?

— Нет, зачем знакомы! Так. Шел по дороге, смотрю, идет слабосильный человек, дохлый. «Куды, мол, дядя?» — «Никуды, мол. Без пристанища». — «Идем к нашему хозяину. Мужик добрый. Может, жить оставит!» Чисто дворняжка, — расхохотался сам над собой Милованов, — возьми одну дворняжку, она те сейчас и другую приведет! Хозяин и дядю Анисима взял: «Пущай живет, по мельнице там что ковыряется». Так мы оба и живем и ковыряемся! Когда одежину подарят, когда что.

— Дурно обращался, может, с вами хозяин? Злы на него были?

— Зачем? — даже испугался Милованов. — Для нас он был как ангел, дураком никогда не назовет! Добреющий был хозяин!

— Мужик был хороший! — мрачно подтвердил и Чернышов.

— Не надо лучше был человек. Это верно!

— А убили! Как же так?

— Опять-таки, говорю, через хозяйку. Хозяйка така попалась. Жена хозяинова. И такая-то баба!

Такая-то баба! Все в шерстяных платьях ходила. Платок не платок, рафинад-баба, просто мое почтенье. Верно, дядя Анисим?

— Баба как баба, — философски заметил Чернышов.

— Другой такой бабы, свет обойди, не найтить! Така баба! Вот она в каторгу придет, сами увидите. Сейчас это все узлом завяжет и развяжет. Чисто лиса. По снегу бежит и хвостом за собой след заметает. Сейчас на глазах тебе накрутит, навертит, и сейчас чисто! Прямо сказать надо, баба — староста. Король-баба. С барином, с помещиком путалась. И того закрутила. По скусу она ему пришлась, все ее в куфарки звал. Ну, ей и лестно. Как, бывало, муж отойдет, сейчас к барину. Становой еще к нему приедет, потому барин. Сладкие водки пьют, орехами щелкают. Страсть! Сколько раз нас с дядей Анисимом к барину посылала: «Дома, мол, ай нет? Муж в город едет». Верно показываю, дядя Анисим?

— Сколько разов до барина ходил. Это верно! — поддерживал дядя Анисим.

— То-то и оно-то!

— А муж не знал?

— Где ему! Говорю, король-баба была. Знал бы он, так не оставил. Он бы ей показал барство! —

засмеялся Милованов. — Мужик был твердый. Верно говорю, дядя Анисим? Что ж ты молчишь?

— Он бы ее поучил!

— Он бы ее так поучил! Этого-то она и боялась. Ей и боязно. Опять же и в куфарки к барину пойти лестно. Она и егозит, она и егозит. Что уж делать-то, не знает. И надумала!

— Постой, постой! А вы-то как же? Хозяин, говорите, благодетель был, а вы от жены к барину бегали? Никогда хозяину ничего не говорили?

Милованов посмотрел с удивлением:

— Нешто между мужем и женой встревать можно? Ихнее дело хозяйское, наше дело работницкое. Сказали — иди. Чай, тоже к дому-то привыкли. Собака и та к человеку привыкает!.. Вот она, хозяйка-то, и надумала. Позвала нас с дядей Анисимом в горницу, за стол посадила. Таково вежливо, по-хорошему: «Вы бы, — говорит, — дяденька Карп, еще откушали! Вы бы, дескать, дяденька Анисим, еще скушали». Ах, хитрая баба! Ах, хитрая! Пирогом угостила, водки по стаканчику поднесла и полштоф не убрала, на стол поставила, честь честью. «У меня, — говорит, — к вам, дяденька Анисим и дяденька Карп, дело есть. Беспременно хозяина моего надо убить!» У меня глаза на лоб и вылезли. «Как,

мол, убить? Почто?» — «А по то, — говорит, — что узнает он про барина, и мне живой не быть, и вас со двора по шее. Сдохнете с голода!» — «Это, мол, верно!» — «Вы уж, — говорит, — в моем деле помогите, а я вас не оставлю». И по поясочку нам подносит. «А по рубахе, — говорит, — за мной. Как вы мне все по-хорошему сделаете, и барин вас не забудет». Так и льстит, хвостом и метет. «А не согласны, мол, так я такого мужу про вас наговорю, палкой со двора сгонит». Баба льстивая, известно, — может. «А окромя того, — говорит, — как я к барину вхожа и с господином становым завсегда в кумпании, то можно вас и насчет пачпортов пощупать. Каки-таки у вас пачпорта просрочны и на каком основании имеете вы полное право жить?» Ишь, куда подпустила, ишь! Тоже вшей-то кормить в остроге никому неохота. Баба, знаем, могутная, со становым завсегда одна кумпанья, засудит! Что захочет, то с тобой и сделает. Пошли это мы с дядей Анисимом, мерекаем. «Как, мол, дядя Анисим. Ишь, какое дело!» — «Тебе, мол, виднее, дядя Карп, как и что».

— Ничего я про эти дела не знаю! — упрямо, словно дятел в то же место стукнул, отозвался Чернышов.

— «Не знаю!» А ружье-то кто приносил? Ты же

приносил! — огрызнулся Милованов. — Потужили мы с дядей Анисимом, потужили, хозяина жаль. Ну да ведь из такого-то дома уходить не хотца. Куда мы пойдем, такие-то? Кто нас возьмет? Да и к дому привыкли, уходить жаль. Собака, говорю, и та привыкает. Потужили, потужили, к хозяйке приходим: «Ладно, мол, сделаем! Ты уж потом, как знаешь!» — «Это уж, — говорит, — не ваша забота. Вы только застрелите, а потом на кого другого подумают. Я уж сделаю!» Известно, барин у ей, человек-деньга, опять же становой постоянно одна кумпанья. Что хотят, то и сделают. И решились.

— Так вы бы хозяину-то лучше сказали, какое дело затевается. Ведь «ангел был человек».

— Говорил! — махнул рукой Милованов. — Ничего не вышло. И внимания не взял. Мне хозяина-то было жалко. Удосужился, говорю: «Ты, мол, хозяин, поглядывай!» — «А, чего, — говорит, — мне поглядывать?» — «А так, мол, не вышло бы чего!» — «А чего?» — говорит. «А того, мол, поглядывать надоть!» — «Шел бы ты, — говорит, — дядя Карп, мешки из сарая носить, чем неизвестно что болтать, право!» Так и вниманья не взял. Я свое сделал, что полагается, я сказал, а уж там его было дело, как раздумать.

А напрямки-то нам тоже говорить не полагается. Мужнино — женино дело. Это уж сам разбери. Наше дело сказать. Так через себя и погиб человек! Пошел это после полдень: «Я, — говорит, — в сторожку заснуть пойду». В лесу это сторожка была. «Дома, — говорит, — от мух беспокойно». Я дядю Анисима и подтолкнул: «Да и нам, мол, зевать не приходится!» Пошел это дядя Анисим в горницу, принес ружьишко.

— Ничего я про это дело не знаю!

— Не приносил, скажешь, ружья? Ах, хитрая душа человек! Ах, хитрая! Эк, языком-то вертит! И туды и сюды, куды хочешь, повернет! Ах ты, прости господи! — покачал Милованов головой в высшей степени укоризненно. — Пошли мы с дядей Анисимом к сторожке. Подобрались это тихохонько. Боязно. А ну как встанет да нас лупить примется. «Посмотри, — говорю, — дядя Анисим, в дверочку!» — «Нет, — говорит, — уж ты, дядюшка Карп, смотри!» Совсем плохой мужик дядя Анисим. Так оплошал. Бечь хотел. «Ну, уж это нет, — говорю, — брат! Уж вместе шли, и будь при этом!» Дверка-то так приотворена, глянул в сторожку, дрыхнет хозяин, и таково дрыхнет, храпит, слюна вожжой, — поел человек, — мухи по всей роже так и ползают, а он хоть бы что! «В

самый, — думаю, — раз». Нацелился так на него ружьем-то, а руки-то у меня ходенем. Чисто курей крал! И ружье-то прыгает и прыгает. «Неладно, думаю, еще мимо дашь, только разбудишь. Ка-ак встанет он да пойдет нас же волтузить». Сильный был человек, что мы, такие-то, супротив него сделаем. Яблонька так росла, прислонился я к яблоньке. «Дай отдышусь», — думаю. А дядя Анисим и вовсе наземь присел, стоять не может. Отдышался, наставился, прямо в голову, приложился этак… пу-у-у!

И голый Милованов принял такую позу, был так жалок, так смешон в эту минуту, что все не смогли, расхохотались. Да и он сам расхохотался над собой.

— Пу-у-у! Хозяин-то и завизжал по-свинячьи и начал крутиться, чисто вьюн. А сам-то визжит. Принялся я вдругоряд ружьишко заряжать. Дядя Анисим меня за руку, а сам белый: «Не стреляй, — говорит, — ради Господа Бога! Убежим! Страшно!» — говорит. «Нет уж, мол, начато! Уж без того не уйду, не убивши». Зарядил опять, нацелился, раз! Тут уж хозяин и крутиться перестал. Только лежит, ойкает. Поойкал, поойкал и кончился. Мы с дядей Анисимом драла, да в поле, да рожью целиком, вбежали на межу, — да

ружье, — так, поправей межи-то деревцо было, — под деревцом ямочку выкопали, ружье-то и зарыли.

— Полевей межи дерево было! — заметил дядя Анисим.

— Ан, правее!

— Левей, говорю!

— Ан, поправее. Вот межа, вот деревцо, как стол, а вот отступя шага два…

И они вступили между собой в бесконечный спор: где было деревцо, правей межи или левей. Оба знали и помнили каждый кустик. Немного знали эти люди, но уж то, что знали, знали досконально.

Букашка так знает лист, на котором она выросла и живет.

Узенький кругозор у людей — вершка полтора в диаметре, — но зато уж в этом кружке они всякую пылинку наизусть знают и мало-помалу за целую гору считают.

— Спрятали ружье в ямочке, — продолжал Милованов, когда кончился его победой спор о деревце, — домой приходим. «Принимай, мол, нас, честная вдова!» Услыхала это хозяйка, ровно холстина сделалась, на скамейку так и села. «Разве вы, — говорит, — его уже порешили!» — «Так,

мол, точно. Прикончили». Залилась слезами. «Ах, — говорит, — зачем вы это сделали?» — «Ну уж, мол, теперь не воротишь. Теперь ты нас уважать должна!» — «Пожалуйте, — говорит, — к столу. Садитесь». Полштофчик нам поставила, из печки, что от обеда осталось, достала. Сидим, водку пьем.

— Да ты что ж, до водки, что ль, охоч?

— Зачем? Нет! А только так уж положено. С окончанием дела. Плачет хозяйка-то. Известно, жаль, муж. «Ты бы, мол, присела». Поднесли ей водочки. «Ты, мол, тоже с нами выпей. Что ж мы одни-то? Для кумпаньи». Дала она нам денег — три рубля бумажками, а на три четвертака медью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утром-то нас и взяли.

— Как же случилось?

— Из мужиков кто-то шел, в сторожку заглянул, а там мертвое тело. Он содом и поднял. Кто мертвое тело? Мельник. Сейчас на нас подозрение и сделали.

— Ну и что ж вы?

— Дядя Анисим не в сознаньи. А я вижу, стало быть, что все стало известно, и рассказал. Так и так, мол. Чего ж тут молчать? Известно, другого кого бы взяли, молчал бы. А раз меня самого

взяли, стало быть, все одно — молчи не молчи — подозрение. Хозяйка-то больно вертелась. К барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, из острога-то. Барин себе другую возьмет, баб много. Становому сулила три года в куфарках служить без жалованья. Да нет, брат, ничего не поделаешь. Уж больно, как я все рассказал, стало известно. Так стало известно, каждое слово всяк знает. Нас и осудили. Как же! Всех вместе судили. И хозяйку на одну скамейку посадили. А барин-то за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему обещалась в куфарки пойтить без жалованья. Все на меня пальцем тыкал: «Врет, — говорит, — все! Не верьте ему, господа председатели!» А я-то встаю да перекрестился: «Как, — говорю, — перед Истинным!» Мне и поверили. Да нас всех и в каторгу.

Через несколько дней захожу в тюрьму, в группе арестантов хохот. Что такое?

Милованов рассказывает, как он за три рубля семьдесят пять копеек своего «не хозяина, а ангела» убивал. И рассказывает всякий раз во всех мельчайших подробностях, посмеиваясь там, где речь идет о вещах, по его мнению, забавных, как хозяин «визжал по-свинячьему», рассказывает просто, спокойно, словно все это так и следует.

— Как же это так, Милованов? — начал я в виде опыта как-то стыдить его.

Милованов посмотрел на меня с удивлением:

— Да ведь мы, ваше высокоблагородие, люди слабосильные! Ежели б я сильный человек был, известно б ушел. Потому я везде могу. А что ж слабосильный сделать может. Его куда ткнут, он туда и идет. Слабосильный, одно слово!

— Нашли тоже с кем, ваше высокоблагородие, разговаривать! Нешто он что понимает? У него и ума-то и всего иного прочаго в умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое дело идет! — презрительно заметил про Милованова один каторжанин, сам убивший одну семью в шесть душ, другую — в пять. — Так, не человечишко даже, а четверть человека какая-то!

Самоубийца

— Опять бумаг не переписал, мерзавец? Опять? — кричал в канцелярии Рыковской тюрьмы смотритель К. на писаря-бродягу Иванова.

Он любил показать при мне свою строгость и умение «держать арестантов».

— На «кобыле» не лежал, гад? Разложу! Ты, брат, меня знаешь! Не знаешь — у других спроси. Ты у меня на «кобыле» жизнь проклянешь, мерзавец! Взял негодяя в канцелярию, а он… В кандальную запру, на парашу, в грязи сгниешь, гадина!

Бродяга Иванов, безусый, безбородый юноша, сидел с бледным лицом и синими дрожащими губами и писал.

— Нельзя иначе с этими мерзавцами! — пояснил мне К., когда мы шли из канцелярии. — Я их держать умею! Они меня знают, мои правила. Не скажу слова, а уж сказал, верно, будет сделано.

Вечером я пил в семье К. чай, как вдруг прибежал надзиратель:

— Самоубийство!

— Как? Что? Где?

— В канцелярии самоубийство. Писарь Иванов, бродяга, застрелился.

Мы с К. побежали в канцелярию. Иванова уж не было.

— В лазарет потащили!

Рядом с канцелярией, в маленькой надзирательской, пахло порохом, на лавке и на полу было немножко крови. На столе лежал револьвер.

— Чей револьвер?

— Мой! — с виноватым видом выступил один из надзирателей.

— Под суд тебя, мерзавца, отдам! Под суд! — затопал ногами К. — В последственное тебя сейчас посадить велю!

— Виноват, недоглядел!..

— Надзиратель, мерзавец! Револьверы по столам у него валяются!

— Только на минутку отлучился, а он в каморку зашел, да и бац.

— Всех под суд упеку, подлецы!

— Записку вот оставил! — доложил один из писарей.

На восьмушке бумаги карандашом было написано:

«Прошу в моей смерти никого не винить, стреляюсь по собственному желанию.

1. Во всем разочарован.

2. Меня не понимают.

3. Прошу написать такой-то (указан подробный адрес в Ревеле), что умираю, любя одну только ее.

4. Тела моего не вскрывать, а если хотите, подвергните кремации. Пожалуйста!

5. Прошу отслужить молебен Господу Богу, Которого не признаю разумом, но верю всей душой.

Бродяга *Иванов*».

— Мерзавец! — заключил К. — Пишите протокол.

— Жив, может быть, останется! — объявил пришедший доктор. — Пуля не задела сердце. А здóрово!

— Не мерзавец? — возмущался К. — А? Этакую штуку удрать! У надзирателя револьвер взять!.. Ты, тетеря, ежели ты мне еще будешь револьверы разбрасывать… В оба смотри! Ведь народ кругом. Пишите протокол, что, тайно похитив револьвер…

Он принялся диктовать протокол.

Писари в канцелярии были смущены, ходили как потерянные, надзиратели ругались:

— Чуть в беду из-за вас, из-за чертей, не попали!

Смотритель, когда доктор ему сказал, что Ива-

нов поправляется, крикнул:

— Знать про мерзавца не хочу!

И беспрестанно повторял:

— Скажите пожалуйста, какие нежности! Стреляться, мерзавец!

Доктор говорил мне, что писари каждый день ходят справляться в лазарет об Иванове.

— Мальчик-то, — говорят, — уж очень хороший.

Я увидел Иванова, когда он уж поправлялся. Доктор предложил мне:

— Зайдем!

— А я его обеспокою?

— Нет, ничего. Он будет рад. Я ему говорил, что вы о нем справляетесь. Он спросил: «Неужели?» Ему это было приятно. Зайдем.

Иванов лежал исхудалый, желтый, как воск, с белыми губами, с глубоко провалившимися, окруженными черной каймой глазами.

Я взял его худую, чуть теплую, маленькую руку.

— Здравствуйте, Иванов! Ну как? Поправляетесь?

— Благодарю вас! — тихим голосом заговорил он, пожимая мне руку. — Очень благодарю вас, что зашли!..

Я сел около.

— Вы, значит, меня не презираете? — спросил вдруг Иванов.

— Как? За что? Господь с вами!

— А тогда… в канцелярии… смотритель… «Подлец»… «Мерзавец»… «Гад»… Про «кобылу» говорил… Господи, при постороннем-то!

Иванов заволновался.

— Не волнуйтесь вы, не волнуйтесь… Ну за что ж я вас буду презирать? Скорее его.

— Его?

Иванов посмотрел на меня удивленно и недоверчиво.

— Ну конечно же, его! Он ругался над беззащитным.

— Его же? Его? — У Иванова было радостное лицо, на глазах слезы. — А я ведь… я… я не то думал… я уж думал, что уж, что ж я… Так уж меня… что ж я теперь… самыми последними словами… на «кобылу»!.. Какой же я человек.

Он заплакал.

— Иванов, перестаньте. Вредно вам! — уговаривали мы с доктором. — Не огорчайтесь пустяками!

— Ведь нет… ничего… это так… это не от горя…

Он плакал и бормотал:

— А я… я… хотя и мало учился… а книжки читал… сам читал… я человек все-таки образованный.

Бедняга, он и «кремацию» ввернул в предсмертную записку, вероятно, чтобы показать, что он человек образованный.

И лежал передо мной мальчик, самолюбивый, плакавший мальчик, а он в каторге.

— У мерзавца были? — встретился со мной у лазарета К. — Вот поправится, я в кандальную его за эти фокусы!

Оголтелые

— Ну не подлецы? Не подлецы? А? Ну что с этим народом делать? Ну что с ним делать? — взволнованно говорил старик-смотритель поселений в Рыковском.

— Да что случилось?

— Понимаете, опять двух человек убили. Хотите, идем вместе на следствие.

Дорóгой он рассказал подробности.

Два поселенца — «половинщики», жившие вместе «для совместного домообзаводства», то есть в одной хате, убили двоих зашедших к ним переночевать бродяг.

Убили, вероятно, ночью, когда те спали. А наутро разрубили трупы на части, затопили печку и хотели сжечь трупы.

— Хотя бы прятались, канальи! — возмущался смотритель поселений. — А то двери настежь, окна настежь, словно самое обыкновенное дело делают. Ведь вот до чего оголтелость дошла! Девчонка их и накрыла. Соседская девчонка. Зашла зачем-то к ним в хату. Смотрит, вся хата в кровище, а около печки какое-то месиво лежит, и они тут сидят, около печки, жгут. Не черти? Ну, за-

орала благим матом, соседи собрались! Тут их за занятием и накрыли. И не запирались, говорят.

В мертвецкой, посредине на столе, лежала груда мяса. Руки, ступни, мякоть, из которой торчали раздробленные кости. И пахло от этой груды свежей говядиной.

Этот говяжий запах, наполнявший мертвецкую, словно мясную лавку, был страшнее всего.

Между кусками выглядывало замазанное кровью лицо с раскрытым ртом.

— Другая голова вот здесь! — пояснил надзиратель, брезгливо указывая на какую-то мочалку, густо вымазанную в крови.

Голова лежала лицом вниз, это был затылок.

В дверь с ужасом и любопытством смотрели на груду мяса ребятишки.

— Ах, подлецы! Ах, подлецы! — качал головой смотритель поселений. — Пишите протокол! Идем на допрос.

В то время следователей на Сахалине не было, и следствие пребезграмотно вели господа служащие.

Перед канцелярией смотрителя поселений стояла толпа любопытных. В канцелярии стояли два поселенца средних лет, со связанными назад руками, с тупыми, равнодушными лицами. Оба

были с ног до головы вымазаны в крови.

— Ваше высокоблагородие, явите начальническую милость, отпустите домой! — взмолились они.

Смотритель поселений только дико посмотрел на них:

— Как домой?..

— Знамо, домой! Ведь что же это такое? Руки скрутили, сюда привели, дом росперт. Ведь тоже, чай, домообзаводство есть. Немного хоть, а есть. Старались — теперь разворуют. Дозвольте домой.

— Да вы ополоумели, что ли, черти?

— Ничего не ополоумели, дело говорим! Чего там!

— Молчать! Развязать им руки, вывести на двор, пусть хари-то хоть вымоют. Глядеть страшно. Вымазались, дьяволы!

— Вымажешься!

Через несколько минут их ввели обратно, умытых: хоть на лицах и руках-то не было крови.

— Пиши протокол допроса! — распорядился писарю смотритель поселений.

— Чего там допрос? Какой допрос? Пиши просто: убили. Все одно, не отвертишься, вертеться нечего. Там дом разворуют, а они допрос!

— С грабежом убийство?

— С грабежом! — презрительно фыркнул один из поселенцев. — Тоже грабеж! Сорок копеек взяли.

— Сколько при них найдено денег?

— Сорок четыре копейки! — отвечал надзиратель.

— Из-за сорока копеек загубили две души? — всплеснул руками смотритель поселений.

— А кто ж их знал, души-то эти самые, сколько при них денег? Пришли двое незнакомых людей, неведомо отколь. «Пусти переночевать», — просятся. По семитке заплатили. «А на постоялый нам, говорят, не расчет». Думали, фартовый какой народ, и пришили. А стали шарить, только сорок копеек и нашарили. Вот и весь грабеж. Отпусти, слышь, домой. Яви начальническую милость. Что ж, из-за сорока копеек дому, что ль, погибать? Все немного, а глядишь, на десяток рублей наберется! Растащат ведь!

— Отвести их пока в одиночку!

— Из-за сорока-то копеек в одиночку. Тьфу ты! Господи!

Поселенцы, видимо, «озоровали».

— Хучь четыре копейки-то отдайте! За ночлег ведь плачено!

— На казенный паек попали! — посмеивались в толпе другие поселенцы.

— А то что ж! С голоду, что ль, на воле пухнуть? — отвечал один из убийц.

Другой шел следом за ним и ругался:

— Ну, порядки!

— Ну-с, идем на место совершения преступления.

У избы, где было совершено убийство, стояли сторожа из поселенцев. Но вытащено было действительно все. В избе ни ложки, ни плошки. Все вычищено.

— Ох, достанется вам! — погрозился на сторожей смотритель поселений.

— Дозвольте объяснить — за что, ваше высокоблагородие? Помилте, нешто может что у поселенца существовать? Гол, да и только. Опять же, как спервоначалу народ сбежался, сторожей еще приставлено не было; известно, чужое добро, всяк норовит что стащить!

Избенка была маленькая, конечно, без всяких служб, покривившаяся, покосившаяся, наскоро сколоченная, как наскоро «для проформы» сколачиваются на Сахалине обязательные «домообзаводства».

Воняло, пол был липкий, сырой, на скамьях

были зеленые пятна. Всюду не высохшая еще кровь.

В углу маленькая печурка, около которой еще стояла лужа крови. Устье — крохотное.

— Ведь это им до вечера пришлось бы жечь! — сказал начальник поселений, заглядывая в печку.

— Так точно, ваше высокоблагородие, одну руку только обжечь успели. Так обуглилась еще только! — подтвердил надзиратель. — Беспременно бы весь день жгли.

— Не оголтелость, я вас спрашиваю? Не оголтелость? — в ужасе взывал смотритель поселений. — Пиши протокол осмотра!

Интеллигент

— Позвольте-с! Позвольте-с! Господин, позвольте-с, — догнал меня в Дербинском пьяный человек, оборванный, грязный до невероятия, с синяком под глазом, разбитой и опухшей губой. Шагов на пять от него разило перегаром. Он заградил мне дорогу.

— Господин писатель, позвольте-с. Потому как вы теперь материалов ищете и биографии ссыльнокаторжных пишете, так ведь мою биографию, плакать надо, ежели слушать. Вы нравственные обязательства, дозвольте вас спросить, признаете? Очень приятно! Но раз вы признаете нравственные обязательства, вы обязаны меня удостоить беседой и все прочее. Ведь это-с человеческий документ, так сказать, перед вами. Землемер. Мы ведь тоже что-нибудь понимаем. Парлэ ву франсэ? Вуй? И я. Я еще, может быть, когда вы клопом были, в народ ходил-с. И вдруг ссыльнокаторжный! Позвольте, каким манером? И всякий меня выпороть может. Справедливо-с?

— Да вы за что же сюда-то попали?

— Вот в этом-то и дело. Это вы и должны прочувствовать. «Не убий», — говорят. А что я должен

делать, если я свою жену, любимую, любимую, — он заколотил себя кулаком в грудь, и из глаз его полились пьяные слезы, — любимую, понимаете ли, жену с любовником на месте самого преступления застал. По французскому закону — «туэ-ля!» — и кончено дело. Позвольте-с, это на театре представляют, великий серцевед Шекспир и Отелло, венецианский мавр, и вся публика рукоплещет, а меня в каторгу. В каторгу? Где же справедливость, я вас спрашиваю? И вдруг меня сейчас на «кобылу»: зачем фальшивые ассигнации делаешь?

— Позвольте, да вас за что же сюда сослали: за убийство жены или за фальшивые ассигнации?

— В этом-то все и дело. Жена сначала, а ассигнации потом. Ассигнации — это уж с отчаяния. Позвольте-с! Как же мне ассигнации не делать? А позвольте вас спросить, с чего я водку буду пить, без ассигнаций ежели? Должен я водку пить при такой биографии или нет? Я должен водку беспременно пить, потому что у меня рука срывается. Вы понимаете, срывается! Сейчас я хочу веревку за гвоздь, и рука срывается.

— Да зачем же вам веревку за гвоздь?

— Удавиться. Я должен удавиться, и у меня рука срывается. Я говорю себе: «Подлец!» — и дол-

жен сейчас водку пить. Потому я в белой горячке должен быть. Вы понимаете белую горячку? Delirium tremens! Как интеллигентный человек! Потому сейчас самоанализ и все прочее. У меня самоанализ, а меня на «кобылу». Может мне смотритель сказать, что такое Бокль, и что такое цивилизация, и что такое Англия? Я «Историю цивилизации Англии» читал, а меня на «кобылу». Я Достоевским хотел быть! Достоевским! Я в каторге свою миссию видел. Да-с! Я записки хотел писать. И все разорвано. А почему разорвано? От смирения духом. Я сейчас себя посланником от ее величества госпожи цивилизации счел и в пароходном трюме безграмотному народу бесплатно прошения стал писать. И вдруг меня убить хотят! Потому что какой-то бродяга Иван, «обратник», им сейчас прошения к министру финансов и к петербургскому митрополиту о пересмотре дела пишет, а по рублю за прошение берет, а я отказываюсь, потому что глупо. Глупо и невежественно. «Ах, говорят, ты так-то. Ты народ губить? Куда следует прошения писать не хочешь? Иван к митрополиту, а ты не желаешь?» И Иван сейчас науськивает, потому что практику отбиваю. «Бей его! Бей насмерть! Он нарочно, куда следует, прошений не пишет. С начальством

заодно. Он себе в бумаги вписывает, и как водку пьем и как в карты играем, чтобы потом начальству все открыть». И вдруг мне ночью накрывают «темную» и хотят убить и записки мои рвут, и потом начальству говорят всем трюмом: «Он ворует». А пароходный капитан: «Я тебя выпорю!» — говорит. Позвольте-с! Вы можете знать, о чем я думаю? Я сейчас здесь, в трюме, сижу, мне «темную» делают, а мой оскорбитель на суде в перстнях является, и невеста в публике. И его сейчас дамы лорнируют. И он благородного рыцаря играет. «Ничего, — говорит, — подобного!» Разве можно в своих связях с порядочной женщиной признаваться? Бла-ародно! И вся публика говорит: «Бла-ародно!» Позвольте-с. И он сейчас свой очаг имеет, и жену, и неприкосновенным очаг считает. Свой-то, свой. А мой осквернил? И ничего? Его не в каторгу, а меня в каторгу? Справедливо-с? Году покойнице не вышло, и у него невеста. Год бы, подлец, подождал! Плачу-с! Плачу — и не стыжусь! И опять ложный донос напишу и стыдиться не буду. И опять! Что господин смотритель поселений вам жаловался, что я ложный донос на него написал? Верно! И опять напишу, потому что двадцать копеек. Желаете, вам ложный донос напишу? На кого желаете?

Двадцать копеек — и донос! И дерите! Дерите! Желаете драть — дерите!

Он начал расстегиваться.

— Постойте, постойте, бог с вами! Опомнитесь!

— Не желаете? Не надо. А может быть, господин, свободного состояния желаете? Так дерите! Не желаете? Упрашивать не буду, потому что лишенный всех прав состояния. Да вы образования меня лишить можете? Духа моего интеллигентного лишить можете? Разве он меня порет? Всех порет, кто во мне заключается. С Боклем, и со Спенсером, и с Шекспиром на «кобылу» ложусь, и с Боклем, и со Спенсером, и с Шекспиром меня смотритель порет! С Боклем! И вдруг предписание: «Переслать его с попутным быком в селенье Дербинское». И я с быком. Как я должен с быком разговаривать? Как с товарищем? Он, значит, скот, и я, значит, скот! Лишить прав можете, но ведь не до такой же степени! С быком. И на «кобылу» и розгами, розгами. Встала бы покойница, посмотрела бы. Ах, как бы ручками всплеснула! В перчаточках! «Ах, кель-оррэр, дерут его как сидорову козу. Ах, как просто!» Это у нее любимое слово было: «Просто». «Ах, — скажет, — это платье. Это просто как-то». Мужу изменять — а его дерут, дерут! А? Какому мужу? Ко дню ангела

браслет подарил.

Он вдруг заорал благим матом:

— Сапфиры! Брильянты! Голконда! Горел!

И заплакал.

— На службе завтракать бросил. Курить перестал. Год копил целый. Копейку на копейке. Все по частям в магазин носил: «Не продавайте!» Дома зимой в кителе ходил, чтобы сюртук не носился. По той же причине в комнатах снимал сапоги и ходил в туфлях. Казначею задолжал. И принес! В самый день ангела. Раньше встал и на цыпочках. И на ночном столике. Раскрыл и поставил. И штору отдернул, чтобы луч солнца. Игра! Сижу жду: что будет? Не дышу. И начала жмуриться, и глаза открыла, и вдруг крик: «А-а!»

Он схватился за голову, и на лице его отразилась мука жесточайшая.

— И в этом же браслете застал! И все кругом столько лет смеялись, только я один, дуралей, серьезный был. Ха-ха-ха! Так вот же вам! Я один хохотать буду, а вы все кругом будете в ужасе. И вдруг должен писать прошение за безграмотством поселенца такого-то; прошу выдать для нужды домообзаводства из казны корову и бабу. А! Корову и бабу. Бабу и корову. А я сотворил себе кумир. Что есть женщина? Генрих Гейне сказал:

«Бог создал ее в минуту вдохновенья!» Жрать не надо — чулочки ей шелковые, чтобы любовнику приятнее ноги целовать было. Женщине ведь непременно ноги целовать надо! На коленях перед ней! На полу! На земле перед ней! В прах! А тут корова и баба. Дайте мне двадцать копеек… Что такое? Рубль? Благородно. Понимаю. Истинно. Все, значит, как есть, понял: в каторгу — и рубль ему, и совесть чиста. Руку! Как интеллигент интеллигенту говорю: «Спасибо». Просто и кратко! «Спасибо».

Поэты-убийцы

I

Пащенко — это его бродяжеское имя — был ужасом всего Сахалина.

Когда Пащенко убили, этому обрадовалась прежде всего каторга.

За Пащенко числилось тридцать два убийства.

Он многократно бегал, и, когда его нужно было «уличать», сообщая из Одессы на Сахалин приметы Пащенко, написавшие начальники тюрем и надзиратели добавляли:

— Только не говорите Пащенко, что сведения сообщили мы.

Придет и убьет.

Таково было страшное обаяние его имени.

Среди всех кандальников Александровской тюрьмы Пащенко нашел себе только одного «человека по душе», такого же «тачечника», то есть приговоренного к прикованью к тачке, как и он, Широколобова.

Широколобов — второй ужас всего Сахалина и Восточной Сибири. Кандальные сторонились от него, как от «зверя».

Широколобов был сослан из Восточной Сибири за многочисленные убийства.

Широколобов — сын каторжных родителей, сосланных за убийства и поженившихся на каторге. На портрете перед вами тупое и действительно зверское лицо.

Он попался на убийстве вдовы-дьяконицы. Желая узнать, где спрятаны деньги, Широколобов пытал свою жертву. Отрезал ей уши, нос, медленно, по кусочкам, резал груди. Широколобова привезли на Сахалин на пароходе «Байкал» прикованным железным обручем, за пояс, к мачте.

Это был единственный человек, с которым нашел возможным подружиться в тюрьме Пащенко. Вместе они и отковались от тачек и совершили побег, разломав в тюрьме печку.

Они ушли в ближайший рудник и скрылись там. Каторжане и поселенцы должны были таскать им туда пищу.

Должны были, потому что иначе Пащенко и Широколобов вышли бы и натворили ужасов.

Но их местопребывание было открыто.

На дереве, около входа в одну из штолен, почему-то болталась тряпка. Это показалось странным начальству. Не примета ли? Была устроена облава, но предупрежденные Пащенко

и Широколобов ушли и перебрались в дальний Владимирский рудник.

Там они скрывались точно так же.

Однажды перед вечером надзиратель из бывших каторжан, кавказец Кононбеков, вышел с ружьем, как он говорит: «поохотиться, нет ли беглых».

Идя по горе, он услыхал внизу в кустах шорох. Это Пащенко и Широколобов вышли из горы.

Кононбеков приложился, выстрелил на шорох. В кустах раздался крик. Какая-то тень мелькнула из кустов.

Кононбеков бросился в кусты. Там лежал при последнем издыхании Пащенко. Пуля угодила ему в темя и пробила голову. Пащенко «подергался», как говорит Кононбеков, и умер. Широколобов бежал.

Все, что было найдено при Пащенко, это его «бродяжеская записная книжка», лежавшая в кармане и теперь залитая его кровью.

Потом эта книжка была передана мне.

Пащенко был высокий, статный, красивый мужик, лет сорока пяти, с большой окладистой бородой, спокойным, холодным, «строгим» взглядом серых глаз.

Все, что осталось от этого страшного челове-

ка, — книжка.

В нее безграмотными каракулями Пащенко вписывал то, что ему было нужно, что его интересовало, к чему лежала его душа, — все самое для него необходимое.

В ней заключается бродяжеский календарь с двадцать пятого августа, когда Пащенко ушел. Пащенко зачеркивал проходившие дни. Последним зачеркнуто было тридцатое сентября. Первого октября он был убит.

Затем идет:

— «Маршрут. От Сретенска Шилкино — 97 верст, Усть-Кара — 115» и т. д.

Затем идет несколько каких-то адресов:

— «Иван Васильевич Черкашев, на Новом базаре, лавочка; Никита Яковлевич Турецкий, угол Гусьевской и Зейской, собственный дом» и т. д.

Люди ли, у которых можно остановиться, или намеченные места, где можно «поработать».

Затем идут на первый взгляд странные, но в тюрьме очень необходимые сведения:

— «Посредством гипнотизма можно повелевать чужим умом, то есть мозгом».

— «Затменье солнца двадцать восьмого июля 1896 года».

Список всех министерств:

— «В России монастырей 497: мужских 269, женских 228».

— «Швеция и Норвегия — два государства, под влиянием одного короля. Занимает „Скандинавский“ полуостров. Пять миллионов жителей. Столица Швеции — город Стокгольм и Норвегии — „Христиания“».

Также описаны все европейские государства, какой город столичный и где сколько жителей.

Далее идут сведения о «китайской вере».

— «Фво, китайский бог, рождался 8000 раз по ихнему суеверию. Аканг-Белл — бог меньший, то есть малый бог, низшего неба. Чушь».

Сведения, казалось бы, бесполезные, но нужные, прямо необходимые для человека, который хочет играть «роль» в тюрьме.

Тюрьма, как и все русское простонародье, очень ценит «точное знание».

Именно точное.

— Сколько в Бельгии народу?

— Пять с половиной миллионов.

Именно «с половиной». Это-то и придает солидность знанию.

Народ — мечтатель, народ не утилитарист, народ наш, а с ним и тюрьма, с особым почтением относятся к знанию не чего-нибудь житейского,

повседневного, необходимого, а именно к знанию чего-нибудь совершенно не нужного, к жизни не применимого. И кажется, чем бесполезнее знание, тем большим оно пользуется почтением. Это-то и есть настоящая «мудрость».

Вращаясь среди каторжан, вы часто нарываетесь на такие вопросы:

— А сколько, ваше высокоблагородие, на свете огнедышащих гор, то есть волканов?

— Да тебе-то зачем?

— Так, знать желательно. Потому как вы ученый.

— Ей-богу, не знаю.

— Огнедышащих гор, то есть волканов, на свете 48.

Потом, один на один, вы можете сказать ему:

— Все-то ты, братец мой, врешь. Кто их все считал?

Но при тюрьме остерегитесь. Дайте ему торжествовать. На этом покоится уважение к нему тюрьмы, на его знаниях, и теперь, когда он даже ученого барина «зашиб», уважение к нему еще более вырастает. Не бросайте же его под ноги этим людям, которые, как и все, терпят, но не любят чужого превосходства.

Среди всех этих необходимых, чтобы играть в

тюрьме роль, сведений разбросаны стихи.

По словам каторжан, покойный Пащенко очень любил стишки и те, которые ему приходились по душе, записывал.

Что же это была за поэтическая душа, которая жила в человеке, совершившем тридцать два убийства?

Убийца любил только жалостные стихи. Полные грусти и жалоб.

Жалоб на судьбу, на несовершенства человеческой природы:

Подсеку ж я крылья
Дерзкому сомненью,
Прокляну усилья
К тайнам провиденья…
Ум наш не шагает
Мира за границу,
Наобум мешает
С былью небылицу.

Этот фаустовский мотив сменяется жалобою на несправедливость, царящую в мире:

Мелкие причины
Тешились людями,

Карлы – властелины
Двигали мирами.
Райские долины
Кровью обливались,
Неба властелины
В бездну низвергались.

Полные жалоб кольцовские стихи больше всего приходятся ему по сердцу, и он списывает их в книжку.

Как всякий «настоящий преступник», он жалуется на все и на вся, кроме себя, — и ему приходится особенно по душе такое стихотворение:

Вы вновь пришли, друзья и братья,
С мольбой: «Прости и позабудь»,
И вновь сжимается в объятья
От ласк отвыкнувшая грудь.
Но где же были вы в то время,
Когда я был и наг и бос,
Когда на слабых плечах бремя
Работы каторжной я нес?
Где были вы, когда печали,
Как злые коршуны во тьме,

На части сердце разрывали
В безлюдной, страшной тишине?
Где были вы, когда в смущенье
Я выступал на новый путь,
Когда нуждалась в ободренье,
Как нищий в хлебе, эта грудь?
Где были вы, когда чрез меру
Я настрадался от врагов
И, наконец, утратил веру
В святую братскую любовь?

Это стихотворение так понравилось Пащенко, что он и сам под ним подписался: поставил букву «Ф.» — инициал своей настоящей, не бродяжеской, фамилии.

И только одно бодрое стихотворение, дышащее презрением к людям, быть может, за это-то презрение и понравилось Пащенко:

Не бойся жизненных угроз.
Не надрывай напрасно груди,
Не проливай напрасно слез,
Их осмеют надменно люди.
Не бойся нужд, не бойся бед,
Не бойся тяжкой, скорбной доли,

Сноси людское зло и вред,
Не преклоняй своей ты воли,
Навстречу разных неудач, —
Борись с судьбой во что б ни стало.
Не падай духом и не плачь,
В унынье толку, друг мой, мало…

Такие стихи записаны в маленькой, залитой кровью, записной книжке человека, который любил поэзию и убил тридцать два человека.

Такие стихи отвечали мотивам, звучащим в его душе.

Такие стихи он читал и перечитывал, отдыхая от одних убийств и готовясь к другим.

Разве он не обладал поэтической душой?

II

Поэт-убийца. П-в — поэт-декадент. Хотя этот малограмотный человек, конечно, никогда и не слыхал о существовании на свете декадентов.

Среди массы стихотворений, переданных им мне, часто странных по форме, попадаются такие сравнения. Он пишет:

Куда бежишь и что найдешь ты в бледном сердце,

Когда багровые от крови мысли
Зелеными глазами поглядят?

С П-вым я познакомился на Сахалине, в сумасшедшем доме, где он содержится.

Он не то чтобы сумасшедший в общепринятом смысле слова. Он от природы таков: он болен moral insanity. Оставаясь на свободе, он совершал беспрестанно массу преступлений, всегда гнусных, скверных, часто говоривших об удивительной извращенности натуры.

П-ву лет под сорок.

Предмет его ненависти — прокурор, который обвинял его в первый раз.

Он не может хладнокровно вспомнить об этом прокуроре, не может ему простить выражения:

— Ломброзовский тип.

А между тем П-в мог бы служить прямо украшением известного атласа Ломброзо.

Торчащие уши — совершенно без мочек. Удивительно ярко выраженная асимметрия лица. Глаза различной величины и неровно посажены: один выше, другой ниже. Нос, губы — все это словно сдвинуто в сторону. Два совершенно различных профиля. Приплюснутый назад низкий лоб. Страшно широкоразвитый затылок.

Более яркой картины вырождения нельзя себе представить.

П-в плод кровосмешения. Он произошел от связи родных между собой брата и сестры.

Отец и мать были горькие пьяницы.

Первое преступление, за которое он попал на каторгу, — убийство товарища во время ссоры.

На Сахалине, кроме бесчисленных краж и преступлений на почве половой психопатии, П-в совершил убийство.

Он влюбился в дочь одного поселенца.

Но репутация П-ва на Сахалине была страшной и отвратительной.

— П-в идет! — это было страшно для поселенцев.

П-в появился в поселке — надо было ожидать гнусностей.

Поселенец, отец любимой девушки, конечно, отказал ему.

Тогда П-в подкараулил старика и убил его из засады.

От вечных побоев и наказаний, которым подвергался П-в, его спас только приезд на Сахалин психиатра.

Психиатр увидел в этом странном «неисправимом преступнике» несчастного вырождающегося,

нравственно и умственно больного, и взял его туда, где этому «ломброзовскому типу» место, в сумасшедший дом.

Для Ламброзо П-в, бывший матрос, был бы истинной находкой еще и потому, что он весь татуирован.

Тут я позволю себе, кстати, указать на ошибку, которую, по моему мнению, делает Ломброзо, говоря о склонности преступников к татуировке. Это, скорее, склонность моряков.

Среди моряков, многие из которых бывали на Востоке, где искусство татуировки доведено до совершенства, действительно есть страсть к татуировке. Я много встречал татуированных преступников на Сахалине, но все это были бывшие моряки. Нет ничего удивительного в ошибке Ломброзо: он наблюдал преступников в итальянских тюрьмах, а среди итальянцев моряков больше, чем среди какого бы то ни было народа. Если признать страсть к татуировке признаком «преступной натуры», тогда все флоты всех стран состоят почти сплошь из одних только преступных натур! Вернемся, однако, к П-ву.

Среди всех тех крупных и мелких преступлений и бесчинств, которые совершал П-в, он с особой страстью предавался тому же, чему предается и

в сумасшедшем доме. Писал стихи.

Его муза — мрачная и жестокая.

И сам П-в занимается поэзией мрачно. Он беспрестанно пишет стихи, а затем рвет их на мельчайшие клочки, чтоб никто потом собрать не мог, или жжет.

— Почему же?

— А так!

— Не нравятся они вам, что ли?

— Одни не нравятся. Не стильно как-то сказано. Хочется поздоровей, посильнее, покрепче сказать. А другие… Кто их читать-то будет? Смеяться еще будут. Пусть уж не знают, что в них написано.

Самолюбив П-в страшно, о стихах своих самого «поэтического», то есть высокого мнения.

И когда я сказал ему, что его стихи могут быть и напечатаны, расцвел и засыпал меня стихами.

— Здесь не перед кем говорить; что здесь? Каторга! Разве это люди?! — с невероятным презрением говорил П-в. — А там люди с понятием. Поймут мои мысли.

— Ну а если при этом напечатают и про все ваши деяния? — спросил его как-то доктор.

— Пусть, — отвечал П-в, — только бы стихи-то напечатали.

И этому бессознательному декаденту-поэту было бы, вероятно, очень приятно, если б он прочел в печати вот это стихотворение, которое он сам признает лучшим:

УБИЙЦА

Где ты найдешь, убийца исступленный,
Покой покрова милостивый крыл.
Когда стоишь собой приговоренный,
Что ты убил.
Повсюду тень убитого тобою,
Кого лишил ты жизни, дара сил,
Бредет в крови медлительной стопою,
Вопит: «Убил!»
Зачем ты в храме ищешь утешенья,
Тогда как он, который жил,
Рукой твоей он потерпел крушенье, —
И ты убил.
Пускай весь мир, прощая и с приветом,
Из жалости тебя, убийца, осенит.
Тебя разит, как пуля рикошетом:
«Тобой убит».
О сын греха! Ты! Трус, в крови залитой.

Да где же совесть? Не было иль спит?
Беги… Куда? Всяк путь, тебе закрытый,
«Убил!» – кричит.

III

«Paklin» — так, непременно «по-французски», подписывал стихи своим бродяжеским именем ссыльнокаторжный Паклин.

Paklin любит немножко порисоваться и самолюбив страшно.

— Я из-за своего самолюбия-то сколько вытерпел! — говорит и имеет право сказать он.

Паклин был прислан в Корсаковск тогда, когда там был начальник тюрьмы, не признававший непоротых арестантов.

— Я ночей не спал, дрожал при мысли одной: а вдруг меня выпорет! — говорит Паклин. — Случись это — несдобровать бы ни мне, ни ему. По этой коже плеть не ходила и, может, походит только один раз.

Он волнуется, он дрожит при одной мысли, все лицо его покрывается красными пятнами, глаза становятся злыми.

Чтоб избегнуть возможности порки, Паклин

добровольно вызвался относить тягчайшую из работ, от которой как от чумы бегут каторжане: предложил пойти сторожем на залив Терпения.

Бог знает, для чего существуют эти сторожевые посты в глухой тайге, на берегу холодного, бурного залива. Тайгу или море сторожат?

Жизнь на таком сторожевом посту — это одиночное заключение.

Даже беглые не заходят туда. Иногда только забредут айны, вымирающие дикари, аборигены Сахалина, зимой одетые в соболя, летом — в платье, сшитое из рыбьей кожи.

От этой «каторги» отказываются все каторжане: лучше уж пусть порют в тюрьме.

Три года выжил Паклин в этом добровольном одиночном заключении среди тайги, пока не сместили смотрителя тюрьмы. Тогда он вернулся в пост к людям, так и оставшись непоротым.

О преступлении Паклина я уже говорил (см. часть первую, очерк «Паклин»).

Теперь познакомимся с его произведениями.

— «Лежу на утесе» около маяка, в шестидесяти шагах от кладбища, и смотрю на гладь широкого моря. Все тихо, и грустно в груди, и душа моя томной думой полна…

Придут и здесь меня оставят, —

Враги мои, друзья мои! —
Крест надо мною не поставят,
Зароют здесь от вас вдали.
Никто ко мне уж не придет
Поплакать из родни с тоской,
На памятнике не прочтет, —
Ни сколько жил, ни кто такой…
И на курган забытый мой
Лишь соловей вспорхнет весной,
Лишь он нарушит мой покой,
Он восхищен весны красой,
Он будет петь, но не разрушит
Тех снов, могилы чем полны,
И песнь его уж не нарушит
Моей могильной тишины…

И там и здесь звучит та же сентиментальность, заменяющая чувство у жестоких натур.

— Такой я в те поры негодяй был! — говорил Паклин, рассказывая о прошлом.

О себе, тогдашнем себе, он отзывается не иначе как о «негодяе».

Три года, проведенные в одиночестве, среди природы, сильно изменили Паклина. В эти три

года он вел записки об айнах, которые иногда заходили к нему. Паклин приглядывался к их жизни, наблюдал, и чем больше наблюдал, тем человечнее и человечнее относился к бедным, судьбой обиженным дикарям.

«Прежде, — пишет он в своих наивных записках, — я смотрел на этих айнов как все: не люди. Подстрелить — взять у него соболей, да и все. Но как больше присмотрелся, вижу, что это вздор и невежество. Айны такие же люди, очень хорошо между собою живут. Честные и добрые, только очень бедные. И у них есть Бог, только неправильный, а о правильном им ведь никто не объяснял. А душа у них такая же и так же молиться хочет».

Теперь от прежнего гордого, заносчивого, нелюбимого даже каторгой за презрительный нрав и за гордость Паклина не осталось и следа.

— Теперь я тише воды ниже травы. Обидят — стерплю! — улыбаясь, говорил Паклин, и на его отталкивающем лице играет милая, добрая улыбка, — другой раз и не стерпел бы, да вспомнишь про жену и про детей, — ну и покоришься.

В Корсаковске, как я уже говорил, Паклин получил в сожительницы молодую, хорошенькую девушку, «скопческую богородицу», сосланную на Сахалин. Она народила ему детей. Паклин

превратился в нежного, любящего мужа и отца, отличного работящего хозяина.

Зажив «людской жизнью», по его выражению, Паклин стал вникать в людские горести и нужды, и в его стихах, которые он писал и пишет постоянно, зазвучали иные ноты. Реже стало попадаться «я», и в стихах зазвучали, так сказать, «гражданские мотивы».

Есть кусочек земли
Между синих морей,
Обитаем зверьми
И приют дикарей.
Над ним светит луна,
Солнце греет тепло,
И морская волна
Лижет берег его.
Не было, как сейчас,
Из Руси никого,
Называют у нас
Сахалином его.
Были видны одни
Лишь вершины хребтов,
А теперь поглядишь,

Сколько сел и портов!
И теперь, каждый год,
Лишь настанет весна,
«Ярославль» пароход
Уже тянет сюда
Осужденных навек,
Негодящий народ.
Сотен семь человек
Привезет пароход.
Проворчит капитан,
Не уронит слезу:
«Ждите, осенью вам
Я сестер привезу».
Обливаясь слезьми,
Остается народ.
Уж на берег свезли,
И ушел пароход.
А на пристани к нам
Уж конвой приступил.
Толстобрюхий Адам[74] *Окружной прикатил.*

---

[74] Примечания: 74
Тюремная кличка кого-то из служащих.

А за ним пешкурой
И смотритель идет.
Говорит окружной:

– Принимайте народ!
– Где же писарь? Скорей
Перекличку! – Сейчас!
– Ерофеев Андрей,
Черемушников Влас,
Разуваев Ерем!
Раздеваев Федот,
Растегаев Пахом!
По порядку идет.
Вот подходит один,
Говорит: «Эге, брат!
Ты, как видно, „Иван“,
У тебя волчий взгляд!
Ты бродяга?» – «Кто, я?»
– Говори, негодяй!
– Кто-де я?[75] *– Вишь, свинья!*
Эй, палач, разгибай!

---

[75] Примечания: 75
Обычная манера бродяг не отвечать на вопрос о звании.

Запорю! Водку пьешь?

– Никак нет, я не пью.

– Здесь бродяжить пойдешь,

В кандалы закую.

Мне покорен здесь всяк,

До небес высоко…

Вмиг узнаешь маяк…[76] *До царя далеко!*

Без вины дать бы сто[77]*,*

Наказать бы я мог!

Для меня вы ничто,

Я вам царь, я вам Бог.

— Ради бога, — просил меня Паклин, — напечатайте мои стихи. Пусть дойдет до людей стон заживо похороненного человека.

Таков Paklin.

IV

С бродягой Луговским я познакомился при

---

[76] Примечания: 76

Около маяка в посту на Корсаковском кладбище.

[77] Примечания: 77

Начальник округа имеет право дать без суда и следствия, по единоличному распоряжению, до ста розог и до тридцати плетей.

очень трагических обстоятельствах.

Он сидел в одиночке в кандальном отделении Онорской тюрьмы и думал: «Повесят или не повесят».

Накануне он, писарь тюремной канцелярии, в пьяном виде убежал, захватив револьвер и «давши клятву перед товарищами» застрелить бывшего смотрителя тюрьмы, приехавшего в Онор за вещами.

Всю ночь в смотрительской квартире, где остановился и бывший смотритель, не спали, ожидая выстрела в окно. Наутро Луговского поймали.

Шел спор. Бывший смотритель, раздраженный, разозленный, кричал:

— Вам хорошо говорить — не вас хотели убить. А у меня жена, дети. Вы этого не смеете так оставить! Я губернатору донесу. Каторга и так распущенна. Пусть его судят за то, что хотел меня убить. Надо дать каторге пример!

За такие деяния на Сахалине смертная казнь.

Новый начальник, более мягкий, уговаривал его не начинать дела:

— Это было просто пьяное бахвальство. Высидит за это в карцере — да и всё!

Эти споры тянулись двое суток.

Луговской знал о них, и, когда я заходил к нему

утешить и ободрить, он со слезами на глазах и со смертной тоской в голосе говорил:

— Один бы конец! Только скорей бы! Скорей с этого света!

Преступление, за которое Луговской попал в каторгу, это то же преступление, за покушение на которое мы так аплодируем Валентину в «Фаусте»[78].

Он убил обольстителя своей сестры.

Попав за это в среду профессиональных убийц, грабителей, людей-зверей, Луговской, по его словам, испугался и бежал…

Под бродяжеской фамилией Луговского его поймали, «водворили на заводские работы», то есть вновь на каторгу. И вот началось беспрерывное падение. У Луговского отличный почерк — каторга сначала заставляла его подделывать разные необходимые ей документы, затем он начал сам этим заниматься.

— До чего доходил! За рубль, за полтинник нанимался! — рыдал, вспоминая прошлое, Луговской. — Да что за полтинник! За шапку старую, рваную нанялся документ подделать — до того весь пропился!

---

[78] Примечания: 78

См. первую часть, очерк «Интеллигентные люди на каторге».

Он пил, за вино готов был на всё.

— А что оставалось делать? Таким я в каторгу пришел?

Он попадался. Его пороли розгами и плетьми.

И вот теперь этот «Валентин» валялся передо мной на нарах, бился, рыдал, распухший, образ человеческий потерявший от пьянства.

Бился и рыдал:

— Хоть бы поскорей с этого света! Довольно. Ничего на нем, кроме мучений, нет.

Победил в споре новый смотритель. Через два дня злость, вызванная пережитым страхом, у старого смотрителя улеглась, и он согласился на тот «поворот», который, в сущности, дело и имело: угрозы Луговского были признаны просто пьяным бахвальством, и наказание за них положено — неделя карцера. «Дела» решено было не возбуждать.

Радостную весть Луговскому принес я. Он сначала не верил, потом расплакался. Ослабел как-то весь. Сидел на нарах, блаженно улыбаясь, на него напала болтливость. Он говорил много-много, зарекался пить, рассказывал о своих страхах и, между прочим, сказал:

— А я было совсем с землей простился. Думал на воздухе висеть и стихи даже написал.

— А вы пишете стихи, Луговской?

Он конфузливо улыбнулся:

— Малодушествую. Одно мое утешение.

И, разговорившись о стихах, указал мне своего товарища, тоже писаря, трезвого, тихого и милого молодого человека:

— У Гриши возьмите мои стишки. У него тетрадочка. У него — и от себя прячу-с, чтоб в пьяном виде тетрадочку не растерзать. В пьяном виде я все крушить, рвать, ломать готов. В трезвом — я человек тихий, ничтожный, а в пьяном злость на меня нападает.

— Ну а теперь вы какие же стихи, Луговской, написали?

— Какие уж у меня стихи! — улыбнулся Луговской. — Смеяться только будете. Я ведь не доучился-с. Мне бы еще учиться надо, а меня на каторгу.

— Ну прочтите. Зачем смеяться?

Луговской достал из кармана лоскуток бумаги, на котором он огрызком карандаша написал стихи:

— Утром проснулся. О своих, которые там остались, о прежнем вспомнил, ну, написалось…

И он прочел.

Пришла пора, друзья, проститься

Мне с светом солнечных лучей
И с смертью рано помириться,
Как с морем мирится ручей.
Ручья конец в том бурном море,
И, волн седых его страшась,
Журчит и стонет в лютом горе
Он, с гор по камешкам струясь,
А мой конец в житейском море,
В глуши далеко от людей,
В стране суровой, на просторе,
Где суд свершают без судей…

Такое стихотворение написал в одиночной камере кандальной тюрьмы, ожидая петли, этот человек, ничего, кроме каторги, не видавший в жизни и писавший стихи.

В тетрадке, которую я взял почитать у его товарища, была вся его жизнь. Все, что он видел и чувствовал, складывалось в его голове в созвучия, часто убогие по форме, всегда дышавшие ужасом и скорбью.

Я приведу отрывок одного «письма из-за гроба», описывающего действительное происшествие, случившееся в 1887 году в Хабаровске, при казни каторжанина Легких, убившего на каре надзира-

теля — «нарядчика».

Но, невзирая на лишенья,
На трудность тягостных работ,
Нарядчик злой без сожаленья
Все больше угнетал народ.
Я не стерпел… Одно мгновенье…
Досужий час я улучил,
В минуту гнева, раздраженья
Того нарядчика убил.
И пала жертва моей мести,
Удар был верен и тяжел…
Пока неслися о том вести,
Я сам с признанием пришел.
И вот, друзья, в каюте темной
Еще с полгода я сидел,
Томясь, как прежде, думой черной,
На Божий свет уж не глядел.
Меня там судьи навещали,
Священник изредка бывал,
А что в награду обещали —
Об этом я заране знал.
Замком секретным застучали,

Приклады стукнули об пол,
И страшно, страшно прозвучали
Слова, чтоб к исповеди шел.
Священник встрел, благословляя
Меня как сына своего
И, добрым словом утешая,
Желал за гробом мне всего…
Затем палач рукой проворной
На шею петлю мне надел
И этой петлею позорной
Отправить к праотцам хотел.
Но тут судьба мне улыбнулась,
Веревка с треском порвалась,
На миг дыхание вернулось,
И жизнь тихонько подкралась.
Не рад я был, что грудь дышала,
Не рад был видеть белый свет,
Душа моя уже витала
Далеко – там, где жизни нет.
Я жаждал смерти, как лекарства,
Искал ее, как будто мать,
Чтобы скорей свои мытарства

Ей вместе с жизнью передать…

Такими картинами полна его тетрадь, как и его жизнь!

«Отхлопотавший» Луговского смотритель был страшно рад за него:

— Превосходнейший человек! Мягкий, тихий, кроткий. Только вот выпьет — в остервененье приходит. Да ему нельзя и не пить!

V

Нигде не пишут столько стихов, как в России. Спросите об этом у редакторов газет и журналов. Сколько они получают стихов, написанных по большей части безграмотно, каракулями. Нигде нет столько стихослагателей-самоучек.

Стихослагатель-самоучка из простонародья относится к своим стихам как к чему-то священному. Товарищи над ним подтрунивают, часто насмехаются, но втайне все-таки им гордятся:

— Вот, мол, какой в нашей артели, в нашем лабазе, в нашей лавке человек есть! Стихи писать может!

Сахалин — капля большого моря. И капля такова же, как море.

На Сахалине пишется страшная масса стихов.

Сборнички этих стихов, чисто-начисто переписанные, часто с очень фигурно разрисованной первой страницей, хранятся в тюрьмах, как что-то очень важное, очень ценное, у каторжан в «укладочках» — в маленьких сундуках, стоящих в головах на нарах, где хранятся чай, сахар, деньги, табак, портреты близких, у кого они есть, письма из дома.

Такую тетрадочку я получал на просмотр только тогда, когда тюрьма хорошо со мной знакомилась, когда я заслуживал ее расположение и полное доверие.

Тюрьма страшно интересовалась:

— Ну что?

И, слыша, что «стихи отличные, хоть сейчас печатать можно», тюрьма расцветала и гордилась:

— Вот какие у нас люди есть!

По форме это по большей части подражание Кольцову.

Вот истинный русский народный поэт. Грамотность сказывается. Каторга поет, как песни, массу кольцовских стихотворений. И когда человек хочет вылить свои думы и чувства, кольцовская форма и кольцовский дух оказываются самыми подходящими к его душе.

По содержанию это масса обращений «к ней», к

далекой «родне», к «друзьям и братьям», к своей «будущей могиле».

Страшная масса жалоб на судьбу, на людей, на окружающих, на несправедливость. Масса жалоб на утрату веры, надежды, любви. Почти никогда — самобичевание.

Это то же содержание, что и содержание всех разговоров всех каторжан.

Сахалин «создан» — и ради этого истрачена страшная уйма денег — для исправления преступников.

Девиз этого «мертвого острова»:

— Возрождать, а не убивать.

Если исправление и возрождение немыслимы без раскаяния, то Сахалин не исполняет, не может исполнять своего назначения.

Все, что делается кругом, так страшно, отвратительно и гнусно, что у преступника является только жалость к самому себе, убеждение в том, что он наказан свыше меры, и в сравнении с наказанием преступление его кажется ему маленьким и ничтожным. Чувство, совершенно противоположное раскаянию!

В его уме живет эта мысль, конечно не так только формулированная:

— Велика изобретательность человеческая по

части преступлений, но до сих пор еще не изобретено такого преступления, которое заслуживало бы такой каторги, как сахалинская.

И только жалобы слышатся и в стихах.

Замечательное дело. Среди невероятной массы сахалинских стихов нет ни одного, написанного на тему о побегах. Нет ни одной каторжной песни, написанной на эту тему. Старая, теперь совершенно забытая, острожная песня:

Звенит звонок. На счет сбирайся.
Ланцов задумал убежать.
С слезьми с друзьями он простился,
Проворно печку стал ломать.

Эта песня осталась единственной.

Я собрал, кажется, все, что написано в стихах на Сахалине, и напрасно искал:

— Нет ли чего про побеги?

Побег — это затаенная мечта каторжника, последняя надежда, единственное средство к избавлению, для тюрьмы «самая святая вещь», о побегах не только не пишут, о них не говорят.

Самая оживленная, задушевная, откровенная беседа в тюрьме моментально умолкает, как только вы упомянули о побегах.

Об этом можно только молчать.

Это слишком «священная» вещь, чтобы о ней говорить даже в стихах.

VI

Сахалинская каторга создала свою особую эпическую поэзию.

Это цикл «Онорских стихотворений», разбросанных по всем тюрьмам. «Илиады» Сахалина.

Это отголоски онорских работ, знаменитых, бессмысленных, бесцельных, нечеловеческих по трудности, сопровождавшихся ужасами, массой смертей, людоедством.

По большей части такие стихотворения носят название: «Отголоски ада».

Часто неуклюжие по форме, они полны страшных картин.

Я приведу вам отрывки такого «отголоска», принадлежащего поэту — многократному убийце, отбывавшему каторгу на онорских работах.

Это стихотворение написано левой рукой: работы были так тяжки и смерть в тундре так неизбежна, что автор этого стихотворения взял топор в левую руку, положил правую на пень и отрубил себе кисть руки, чтобы стать «не способным к работе» и быть отправленным обратно в тюрьму. Такая страшная форма «уклонения

от работ» практиковалась на онорской просеке нередко.

Вот отрывки из этих «отголосков ада». Картина при рубке тайги.

Там, наповал убит вершиной,
Лежит, в крови, убитый труп…
С ним поступают, как с скотиной,
Поднявши, в сторону несут.
Молитвы, бросив, не пропели…
На них с упреком посмотрел
Лишь ворон, каркнувший на ели,
На зов собратий полетел…

А вот другой отрывок, описывающий людоедство среди каторжных, случаи которого были констатированы на онорских работах официально:

И многие идут бродяжить,
Сманив товарищей своих.
А как устал, – кто с ним приляжет,
Того уж вечный сон постиг.
Убьют и тело вырезают.
Огонь разводят… и шашлык…

Его и им не поминают.
И не один уж так погиб.

Таких картин полны все «отголоски ада».

VII

Юмор — одна из основных черт русского народа.

«Не гаснет он и среди сахалинского житья-бытья, воспевая „злобы дня“».

Служащие презирают каторгу.

Каторга так же относится к служащим.

Пищей для юмора поэтов-каторжан являются разные «события» среди служащих.

Жизнь сахалинской «интеллигенции» полна вздоров, сплетен, кляуз, жалоб, доносов. Там все друг с другом на ножах, каждый готов другого утопить в ложке воды. И из всякого пустяка поднимается целая история.

История обязательно с жалобами, кляузами, часто с доносами, всегда с официальной перепиской.

Эта переписка в канцеляриях ведется писарями из каторжан же. И таким образом, каторга знает всегда все, что делается в канцеляриях, знает и потешается.

Из массы юмористических «злободневных» стихотворений я приведу для примера одно, описывающее «историю», наделавшую страшного шума на Сахалине.

«История» вышла из-за… курицы.

Курица, принадлежащая жене одного из служащих, пристала к курам, принадлежавшим жене священника.

Жена служащего и ее муж увидели в этом «злой умысел» и обратились к содействию полиции.

Полицейские явились во двор священника и отнесли «инкриминируемую курицу» на место постоянного жительства.

Священник в таких действиях полиции, конечно, усмотрел оскорбление для себя.

И пошли писать канцелярии.

Жалобы, отписки, переписки посыпались целой лавиной, волнуя весь служащий Сахалин.

Я сам слышал, как господа служащие по целым часам необычайно горячо обсуждали «вопрос о курице» и ждали больших последствий:

— Еще неизвестно, чем курица кончится!

Тюрьма немедленно воспела это в стихах. Вот отрывки.

Супруга служащего жалуется своему супругу:

Ах, мой милый, вот беда!

Я вчера курей смотрела;
И та курица, что пела,
Помнишь, часто петухом,
Ведь пропала! И грехом,
Как потом я разузнала,
Прямо к батюшке попала.
И теперь уж у попа
Куриц целая копа…

Служащий «обратился к содействию полиции», и та поспешает «водворить курицу на место жительства»:

Пот ручьем с них лил, катился,
И песок как вихорь вился
Из-под их дрожащих ног…
Знать, досталось на пирог!!!

Священник в это время выходит из дома и…

И лишь он ступил во двор,
Что же видит? О, позор!
Снявши фраки, сбросив сабли,
Руки вытянув, что грабли,
Полицейский с окружным
Словно пляшут перед ним!

И, нагнувшись до земли,

Ловят курицу они…

Чем кончится история, вы знаете:

Канцелярии пишут.

Служащие волнуются и ждут «от курицы последствий».

Тюрьма потешается, читает стихотворение поэта-каторжника.

А в курятнике, по словам стихотворения, происходит следующее:

А в тот миг на куросесте,

Сидя с курицами вместе,

Так беглянка говорила:

– И зачем меня родила

В белый свет старуха-мать!

Не дадут и погулять!

И что сделать я могу?

Чуть что выйдешь к петуху,

А глядишь – тут за тобой

Вся полиция толпой!

Так развлекают каторгу.

Преступники душевнобольные

В посту Александровском вы часто встретите на улице высокого мужчину, красавца и богатыря — настоящего Самсона. Длинные вьющиеся волосы до плеч. Всегда без шапки. На лбу перевязь из серебряного галуна. Таким же галуном обшит и арестантский халат. В руках высокий посох.

Он идет, разговаривая с самим собою. Выражение лица благородное и вдохновенное. С него смело можно писать пророка.

Это Регенов, бродяга, душевнобольной.

На вопрос:

— Кто вы такой?

Он отвечает:

— Сын человеческий.

— Почему же это так?

— Мой отец был крепостной. Его все звали «человек» да «человек». Отец был «человек» — значит я сын человеческий.

В те дни, когда Регенову не удается удирать из-под надзора в пост Александровский и приходится сидеть в психиатрической лечебнице, в селе Михайловском, он занимается целые дни тем, что пишет письма «к человечеству».

Первым вопросом его при знакомстве со мной было:

— Вы из-за моря приехали?

— Да.

— Скажите, да есть ли там человечество?

— Есть!

Регенов с недоумением пожал плечами:

— Странно! Я думал, что все померли. Пишу, пишу письма, чтобы водворили справедливость, — никакого ответа!

«Правды нет на свете» — это пункт помешательства Регенова.

— Оттого даже французский король пошел бродяжить! — поясняет он.

— Как так?

— Так! Нет нигде правды, он и сделался бродягой. Сказался чужим именем и бродяжит.

— Да вы это наверное знаете?

— Чего вернее!.. Скажите, во Франции есть король?

— Нет.

— Ну, так и есть. Ушел бродяжить. Разве без правды жить можно?

У Регенова в психиатрическом отделении отдельная комната. Подоконники убраны раковинами. На подоконник к нему слетаются голуби,

которых он кормит крошками. В комнате с ним живет и собака, с которой он иногда разговаривает часами:

— Бессловесное! Человечество говорит, что у тебя замечательный нюх. Отыщи, где правда. Шерш!

На голых стенах два украшения: скрипка, из которой Регенов время от времени, в минуту тоски, извлекает душу раздирающие звуки, «чтобы пробудить спящие сердца», и на почетном видном месте висит палочка с длинною ниткой.

На вопрос, что это, Регенов отвечает:

— Бич для человечества.

Регенов очень тих, кроток и послушен, с доктором он вежлив, предупредителен и любезен, но тюремное начальство ненавидит, считая его «вместилищем всяческой неправды».

Есть одна фраза, чтоб привести этого кроткого и добродушного человека моментально в неистовое бешенство. Стоит сказать:

— Я тебе Бог и царь!

Надо заметить, что для сахалинской мелкой тюремной администрации есть одно «непростительное» слово «закон», когда его произносит ссыльнокаторжный. В устах каторжанина это слово приводит их в неистовство.

— Это не по закону! — заявляет каторжник.

— Я тебе дам закон! — кричит вне себя мелкий сахалинский чинуша и топает ногами. — Я тебе покажу «закон»!

Зато у них есть любимое выражение:

— Я тебе Бог и царь!

Я слышал, как это кричали не только помощники смотрителей тюрем, но даже старшие надзиратели!

При словах «я тебе Бог и царь» глаза Регенова наливаются кровью, синие жилы вздуваются на побагровевшем лице, он вскакивает с воплем:

— Что? Что ты сказал?

И бывает страшен. При его колоссальной силе он действительно может бог знает чего наделать.

Другое слово, которое приводит Регенова в исступление, это:

— Терпи!

Он страшно волнуется даже при одном воспоминании об увещевателях, которые приходили увещевать его в тюрьмах.

— Ты ешь, пьешь, гуляешь, хорошо тебе говорить: «терпи».

Рассказывая мне об этих увещаниях, Регенов разволновался и так ударил кулаком по столу,

что от стола отлетел угол. Было жутко.

Регенов с восемнадцати лет по тюрьмам. До восемнадцати лет он, под своей настоящей фамилией Толмачев, служил в поварятах, а затем вдруг пришел к убеждению, что «правды нет на свете», и ушел, «как французский король», бродяжить. Регенов — его бродяжеское прозвище. Как бродяга, он попал на каторгу. Он никого не убил, никого не ограбил и на вопрос:

— Вот вы любите правду — правду и скажите: этих дел за вами нет?

Отвечает не то что с негодованием, а с изумлением:

— Да разве это можно? Разве это «правда»?

Но при колоссальной физической силе, водворяя правду, он натворил бог знает сколько буйств, нанес невероятное число оскорблений, «бунтовал» неисчислимое число раз. И сколько наказаний вынес этот строптивый, дерзкий, буйный арестант-бунтарь! Так прошло двадцать пять лет. Бегая с каторги, с поселений, принимая за побеги плети и розги, Регенов прошел всю Сибирь и добрался до Хабаровска. В Хабаровске он сидел в кабаке, когда туда вошел квартальный. Все сняли шапки, кроме Регенова.

— Ты почему не снимаешь шапки?

— А зачем я здесь перед тобой буду снимать шапку? В кабаке все равны. Все пьяницы.

— Да ты кто такой?

— Бродяга.

— Бродяга?! И смеешь еще разговаривать? Да знаешь ли ты, что я тебе «Бог и царь»?!

Угораздило квартального сказать эту фразу, «ходовую» не только на Сахалине, но и во всей Сибири. Что тут только наделал Регенов, бог его знает!

— Всё бил! — кратко поясняет он, вспоминая об этом случае.

Его взяли как бродягу, осудили на полтора года на каторгу и затем на поселенье за бродяжество, с телесным наказанием за побеги, и сослали на Сахалин.

На Сахалине, с его нравом и с его силой, он был сейчас же зачислен в число опаснейших каторжников. Он беспрестанно бегал из тюрьмы, и, когда Регенов, Коробейников и Заварин — теперь они все трое в психиатрическом отделении — появлялись где-нибудь на дороге, им навстречу посылали отряд.

— Регенов, Коробейников и Заварин идут из Рыковского! — Это была страшная весть, и, пока это трио не ловили, чиновники остерегались

ездить из Александровска в Рыковское.

Этот сумасшедший богатырь действительно может наводить ужас. Несколько лет тому назад он зашел в здание карантина, когда там была только что пригнанная партия ссыльнокаторжных женщин, ожидавшая, пока их разберут в сожительницы поселенцы. Регенову приглянулась одна из каторжанок, да и ей, видимо, понравился силач-красавец.

Регенов решил «начать жить по правде».

— Уне есть человеку едину быти.

Выгнал всех баб из карантинного сарая, выкинул все их вещи, оставил только понравившуюся ему каторжанку и объявил:

— Кто хоть близко подойдет к карантину — убью.

Сарай окружили стражей, но идти никто не решался.

И Регенов живой бы не дался, и у нападающих были бы человеческие жертвы.

Решили взять его измором. Несколько дней длилась осада, пока каторжанка, изнемогшая от голода, сама не сбежала, воспользовавшись сном своего сумасшедшего друга.

Тогда Регенов переколотил в карантине все окна, переломал все скамьи и нары и ушел, разо-

чарованный и разогорченный. О женщинах с тех пор он не желает даже слышать:

— Разве они могут по правде жить? Им бы только жрать!

В самый день моего отъезда с Сахалина ко мне, в посту Александровском, явился Регенов:

— Пришел проститься. Увидите человечество, скажите…

— Да вы спрашивались, Регенов, у доктора?

— Нет.

— Как же вы так? Опять поймают!

— Нет!

Регенов добродушно улыбнулся:

— Не беспокойтесь. Я на этот случай все телефонные столбы выворотил.

Селенье Михайловское соединено с постом Александровским телефоном.

— Шел по дороге да столбы и выворачивал, чтоб не могли сказать, что я ушел. Все до одного, и проволоки даже перервал.

Увы! Любитель правды не солгал: это была правда.

При таких деяниях Регенову приходилось плохо на Сахалине. И так длилось до 1897 года, когда на Сахалин впервые был командирован «не полагающийся по штату» психиатр, и впервые же

было устроено и психиатрическое отделение. Психиатр, едва посмотрев на «неисправимого» арестанта-бунтаря, сказал:

— Господа! Да ведь это сумасшедший.

И посадил его в свое отделение, которое быстро наполнилось: только в 1897 году в посту Александровском среди каторжан оказалось семьдесят три сумасшедших.

В психиатрическом отделении Регенов быстро успокоился, стал кроток и послушен и только иногда буйствует, входя в соприкосновение с тюремной администрацией.

— Уж его всячески стараюсь отдалить от всяких соприкосновений и столкновений! — говорил мне психиатр. — Многие и до сих пор не хотят понять, что он сумасшедший. А ему бы двадцать пять лет тому назад следовало здесь сидеть.

Когда я после беседы об увещаниях выходил из комнаты Регенова, ко мне подошел небольшого роста подслеповатый человек.

Близорукость вообще развивает подозрительность. Плохо видя, что кругом делается, близорукие всегда держатся немного настороже. Но этот уж был сама подозрительность, даже по внешности.

Он потихоньку сунул мне в руку бумажку, про-

бормотав:

— Прочтите и дайте законный ход!

И отошел.

— Помягшев! — тихо сказал мне доктор. — Вероятно, донос на меня!

Так и оказалось. Принимая меня за «заведующего всеми медицинскими частями», Помягшев обвинял всех докторов острова Сахалина «в повальном и систематическом отравлении больных ради корыстных выгод».

Каждый раз, как мне приходилось бывать в больнице, Помягшев крался за мной и высматривал откуда-нибудь из-за угла, как я беседую с доктором. А через несколько дней попал донос доктору уже на меня. Бумага адресована «господину сахалинскому генерал-губернатору», и в ней сообщалось, что «я, заведующий всеми медицинскими частями, из корыстных видов сошелся с докторами в целях дурного питания арестантов и присвоения себе причитающихся им денег».

Помягшев титулует себя таинственным репортером Горюновым и издает в психиатрическом отделении рукописный журнал с эпиграфом:

— «Cum Deo»[79].

---

[79] Примечания: 79

«С Богом» *(лат.).*

И под названием:

«Биографический журнал „Разрывные снаряды“, в поэмах, стихах, песнях и карикатурах, составляемый таинственным репортером-самоучкою Лаврентием Афанасьевичем Горюновым».

В журнал он вписывает сентенции:

— «Из слабых людей составилось сильное человечество».

И там вы встретите сатирические стишки, вроде следующих:

Одесский адвокат Куперник
Всех Плевак соперник,
Любит он крупные делишки,
Которые учиняют грязные людишки.
Три тысячи в час, три тысячи в час,
Крайне жалея, что мало таких у нас.

Но это «смесь» — главное содержание журнала — доносы, где он сообщает, что, «имея тончайший и незвучный, но для меня достаточный слух, такого-то числа услыхал то-то». Идут обвинения докторов, администрации, надзирателей, арестантов во всяческих «преступлениях и неправдах».

Весь день, с утра до ночи, Помягшев проводит

в том, что сочиняет доносы и жалобы, в которых просит «вчинить к такому-то иск и сослать на каторгу».

Это и привело Помягшева на Сахалин.

Он — мещанин одного из поволжских городов, имел домишко, заболел и начал вчинять ко всем иски и писать на всех доносы, добиваясь правды.

Это одна из самых назойливых и нестерпимых маний, очень распространенная, но мало кем в житейском кругу за болезнь признаваемая, — мания сутяжничества.

О такой мало кто и слышал!

Заболев сутяжническим помешательством, Помягшев, конечно, просудил все, что у него было, по своим нелепым искам восстановил доносами против себя все и вся и, придя в полное отчаяние, что «правды нет», решил обратить на себя «внимание правительства». Он поджег свой дом, чтобы на суде рассказать «всю правду и гласно обнародовать все свои обвинения».

Но конечно, когда на суде он начал молоть разный вздор, не идущий к делу, его остановили. Поджог был доказан — и Помягшев попал на Сахалин.

Временами он впадает в манию преследования. Его охватывает ужас. Все кругом ему кажутся

«агентами сатаны — и он сам находится во власти того же господина сатаны». По временам ему кажется, наоборот, что на него возложена специальная миссия, «водворить правду», он впадает в манию величия и пишет распоряжения, в которых приказывает «всем властям острова Сахалин съехаться в шесть часов утра и ждать, пока я, таинственный репортер, не дам троекратного сигнала». Эти «приказы», которые он передает «по начальству», как и доносы, полны отборнейшей ругани.

Понятно, что Помягшеву досталась трудная каторга. Доносчика и сутягу ненавидели арестанты и не переваривало тюремное начальство. Он всех и вся заваливал доносами и жалобами. Его била смертным боем каторга и «исправляли тюремные власти».

Так длилось тоже до 97-го года, когда приехавший на Сахалин психиатр наконец взял его в психиатрическое отделение.

— Да это больной.

— В сахалинских тюрьмах вообще немало больных манией сутяжничества, — говорил мне психиатр, — преступлений, совершаемых для того, чтоб «обратить на себя внимание» и таким путем «добиться правды», вообще гораздо боль-

ше, чем думают.

Мне лично много приходилось видеть на Сахалине арестантов, всем надоедающих самыми нелепыми, неосновательными жалобами и доносами, тратящих последние гроши, чтобы нанять знающего арестанта для составления такой жалобы. Самая нелепость, фантастичность жалоб говорит за то, что это душевнобольные.

— Вот не угодно ли-с, — воскликнул Помягшев, когда мы с доктором вошли в одну из палат, — не угодно ли-с!

Жестом, полным негодования, он указал на больного, который моментально закрылся одеялом с головой, лишь только мы появились.

— Не угодно ли-с! Почему человек прячется? Что здесь скрыто? Какая тайна? Не надо на это обратить внимание? Не нужно раскрыть? Так здесь обращают внимание на правду?!

И, подергиваясь от негодования, Помягшев убежал — вероятно, писать донос.

«Тайна» лежала, притаившись, под одеялом.

Это — Юшпанич, крестьянин Вятской губернии. Поистине, живая трагедия. Он ушел из дома на золотые прииски — на обратной дороге его обокрали: украли деньги и паспорт. Это так повлияло на несчастного, что он помешался. У него

явился бред преследования. Ему казалось, что его, Юшпанича, ищут, чтобы убить и ограбить. Он решил лучше переменить фамилию и назвался вымышленным именем. Его арестовали как беспаспортного бродягу и сослали. Он пробыл на Сахалине три года. Здесь, почувствовав доверие к доктору, он открыл свое настоящее имя. Пошло расследование, но несчастному уже не вернуться на родину.

Бред преследования продолжает его мучить. При появлении в палате нового лица он спешит закрыться одеялом.

— Начнут опять опознавать, снимать карточки. Мучение.

Только после долгих уговоров доктора он согласился наполовину открыть лицо.

Ему страстно хотелось бы вернуться на родину. Он тоскует по своим. Но о своем «деле» — о признании его тем, кто он есть, — говорить избегает:

— Сколько тянется! Сколько тянется!

— Вы, может быть, хотите рассказать господину о вашем деле? — спросил его доктор.

— Нет! Нет! Лучше не говорить, чтоб не растравлять.

И Юшпанич снова юркнул под одеяло.

— Действительно, ужасный случай. Но кому на

суде, не психиатру, придет в голову, что этот бродяга, упорно не желающий открыть свое звание, в сущности, страдает манией преследования! — пожал плечами психиатр. — У нас, как видите, слишком мала больница для душевнобольных. И вы встретите их у нас, на Сахалине, много в тюрьмах и на свободе.

За завтраком у доктора я познакомился с бывшим офицером З-вым.

— Очень интересный субъект! — обратил на него мое внимание доктор.

З-в сослан на каторгу за убийство своего денщика. Он подозревал свою жену и денщика в том, что они хотят его убить «при помощи гипнотизма».

— Я уже чувствовал-таки! — объяснил он.

Он и на суде что-то толковал про гипнотизм и электричество, а по дороге на Сахалин, еще на пароходе, сумасшествие выяснилось окончательно.

Он рассылал офицерам парохода свою рукописную карточку:

«К своей мерке меня… „на“ + всепрощение мое = трансцендентально верно. Ваш слуга Н. Д. З-в.»

И ежедневно подавал капитану парохода докладные записки о сделанных им открытиях и изобретениях с просьбой выдать ему поскорее

миллион.

Прежняя мания преследования сменилась бредом величия.

Он ни одного дня не был в тюрьме — его прямо с парохода поместили в больницу, — до того было ясно его помешательство.

Теперь он тихий и безопасный больной, гуляет на свободе, надоедает сахалинскому начальству, являясь поздравлять каждое воскресенье с праздником:

— По обязанности службы.

Он понемногу впадает в полное слабоумие — своим прошлым интересуется мало и о гипнотизме отзывается с усмешкой.

— Это мне казалось! — с приятнейшей улыбкой объяснил он мне. — Я и на суде говорил, что сделал «то» под влиянием электрических токов! Но это пустяки.

Теперь он «изобретатель машины Парадоксон» и страдает любовным бредом. Он уверен, что в него влюблены дочери и жены всех чиновников, «назначают ему свидания», «делают при встрече тайные условные знаки», но скрывают от других свои чувства, боясь преследований.

Ввиду этого он пишет им всем по очереди письма:

— «Милая Аня! В дополнение прежних обещаний, прибавляю 175 000 руб. вам от меня. Примите сегодня к себе возлюбленного мирового гения-олимпийца З-ва, меня. Немедленно поместите в доме своем меня квартирантом. Изобретатель машин „Парадоксон“ Н. Д. З-в.

P. S. Пришлите за мной лошадь».

Этот «колоссальный успех у женщин», о котором он с удовольствием рассказывает, заставляет его внимательно следить за своей наружностью и тщательно расчесывать свои рыженькие бачки.

— По-своему этот «изобретатель», пожалуй, даже счастлив, — говорил мне психиатр, — но… дело-то в том, что он начал изобретать свою машину «Парадоксон» еще до убийства!

Вот некоторые из скорбных теней преступников-душевнобольных, которые восстают в моей памяти.

Если эти строки подскажут читателю мысль, что врачу должно быть больше отведено места на суде, я буду считать свою задачу исполненной.

Сахалинское Монте-Карло

На большом дворе на травке греются на солнышке слепые безногие калеки. Кутаясь в рванье, дрожа старческим, избитым, истерзанным телом, бродят «клейменые»; на левой щеке буква «К», на лбу «Т», на правой щеке «С».

Из открытых форточек слышны удушающий, затяжной кашель, старческая ругань, сквернословие, возгласы:

— Бардадым!

— Шеперка.

— Братское окошко![80]

— Атанда[81].

Это сахалинское «Монте-Карло» — как зовут господа служащие. Каторжная богадельня в селении Дербинском. Она населена нищими, шулерами и ростовщиками.

Начальство туда не заглядывает.

— Ну их к черту! — говорил мне смотритель, довольно интеллигентный человек. — Это остат-

---

[80] Примечания: 80
Двойка.

[81] Примечания: 81
Атанде.

ки от «Мертвого дома». Пусть догнивают!

Священник пробовал ходить, но бросил.

— Невозможно-с! — говорил мне дербинский батюшка, священник из бурят. — Ходил к ним со святой водой, руганью встречают, сквернословием, издевательствами. Тут священное поешь, а рядом на нарах непотребные слова, хохот, каждое твое слово подхватывают, переиначивают, кощунствуют, смеются. «Ишь, — кричат, — долгогривый, гнусить сюда пришел, только играть мешаешь. Вон убирайся!» И ходить бросил. Посрамление-с.

Всякая сахалинская тюрьма — игорный дом. Но Дербинская богадельня славится и в соседних округах. «Поиграть в богадельню» приезжают и приходят поселенцы с дальних поселений.

Когда предвидится хорошая пожива, старики-ростовщики складываются и выставляют «хороший, большой банк» — рублей в сто пятьдесят, в двести. Старики-игроки, метчики, мечут наверняка. Понтирующий плутует как может.

В Дербинской богадельне случаются большие проигрыши.

При мне приехавший поиграть поселенец проиграл все, что было, лошадь, телегу, платье с себя, получил «сменку», какое-то рванье, и вышел

нищим.

Грязь и вонь в камерах, где помещается по сорок, по пятьдесят стариков, невообразимая.

Старики жалуются:

— Мыло, что на нас полагается, себе берут. Бельишка нашего не стирают!

Белье, никогда не стиранное, расползающееся на теле, носится до тех пор, пока эти землистого цвета истлевшие лохмотья не свалятся окончательно.

Нары, на которых лежат больные, неопрятные, пропитаны грязью. Кучи лохмотьев кишат насекомыми.

В этом смрадном «номере», на нарах у майданщика, и режутся в «стос».

Старики стеной стоят вокруг играющих.

Весь «номер» заинтересован в игре.

Стремщик стоит у дверей и, если есть какая-нибудь опасность, говорит:

— Вода!

А когда приближается начальство:

— Шесть!

В Дербинской богадельне начальство не бывает никогда. И стремщику, собственно говоря, делать нечего. Но уж такой порядок: «как играть — так к двери ставить», да и к тому же «надо дать бедно-

му старику что-нибудь заработать».

Стремщик знал уже, что я не «вода» и не «шесть», и пропустил меня свободно.

— Игра?

— Страсть!

На нарах у майданщика, из татар, были налицо все «отцы», ростовщики богадельни. Сидели, поджавши ноги, и во все глаза следили за банкометом и за понтирующим.

Игра шла крупная. «Один на один». Другие с мелким «понтом» и не приступались.

Метал бродяга Иван Пройди Свет. Старый каторжник, со шрамами на щеках и на лбу. Это он вырезал у себя «клейменые буквы». Игрок метки удивительной:

— Первая по всей богадельне метка!

В обыкновенное время он, дряхлый довольно, когда-то, видно, богатырь, сидит себе на солнышке и греет свои старые «ломаные» кости. Развалина, подумаешь. Но за картами он перерождается. За картами он «строг». Зорок поразительно. В руках никакой дрожи — машина. Дергает неуловимо. Мечет твердо, с расстановкой, со стуком, отчетливо кладя карту в карту.

Он метал на маленьком, чистеньком местечке на нарах майданщика. Метал спокойно, молча,

именно как машина.

— Бита!.. Дана!.. — это кричали уже старики, стоявшие стеной вокруг.

До денег не притрагивался. Деньги тащили к себе или выплачивали старики-«отцы». Он был нанят только метать.

Поселенец, продувавший уже лошадь, дергался. Лицо у него шло пятнами. То бледнел, а то краснел с ушами.

Выдергивал из своей колоды карту, ставил под нее куш и смотрел, на что он поставил, только тогда, когда открывали «сoники».

Смотрел мельком, сбоку, чтобы не показать карты другим. А кругом шел «телеграф». Старики подсматривали карту и обменивались условными, незаметными знаками. То кто-нибудь почешет переносицу, то глаз, то поищется в бороде. Пройди Свет все кругом видел, примечал и по знакам узнавал, какая у поселенца карта.

Поселенец время от времени, как разозленный волк, оглядывался на стариков. И это было страшно. Поселенец играл с ножом в голенище, чтобы, если придется, кого «пришить». Старики стояли тоже с ножами, у кого в сапоге, у кого за пазухой, чтобы «в случае чего» пустить их в дело. Иначе в тюрьме не играют.

Пройди Свет, открыв «сонники», останавливался и ждал.

— Дальше! — говорил поселенец.

Пройди Свет метал еще абцуг и останавливался.

— Дальше!

Пройди Свет не двигался.

— Три сбоку! — злобно говорил поселенец.

Пройди Свет метал до семерки.

— Не та!

Пройди Свет метал до восьмерки.

— Дальше!

Пройди Свет клал битую шестерку.

Поселенец со злобой бросал на пол измятую карту, переступал с ноги на ногу, бледнел, краснел, плевал на руку, тасовал свою колоду, вырывал из середины карту, резал Пройди Свету колоду и объявлял:

— Куш под картой!

Пройди Свет открывал «сонники».

Так тихо, почти безмолвно, шла игра. Человек спускал с себя все до нитки.

Коротенькие перерывы делались, когда поселенец торговался за телегу, за серебряные глухие часы, за пиджак, картуз, штаны и жилетку, за сапоги.

Поселенец ругал нецензурными словами «отцов», отцы ругали нецензурными словами поселенца. И вещи шли почти задаром.

— Ведь в гроб, черти, с собой не возьмете!

— Молчи, пока не «пришили»!

— На саван вам, подлецам! Давайте!

Ему выдавались деньги.

Пройди Свет сидел все это время спокойный, равнодушный, словно не видя, что вокруг него происходило. Совсем машина, которую остановили.

— Пройди Свет, мечи!

И машина начинала работать.

— Поле! — в последний раз крикнул поселенец.

Пройди Свет следующим же абцугом открыл битого туза.

— Будя! — сказали в один голос «отцы».

Старики расступились.

— Вот сюды, сюды иди!

Поселенец молча прошел в уголок, молча скинул с себя все, до шерстяной вязаной рубахи и до нижней рубахи включительно.

Когда он снимал сапоги, из правого голенища выпал нож и словно провалился сквозь землю: его моментально подобрали.

Поселенец оделся в «ризы» — какую-то рвань, — нахлобучил на голову драный арестантский серый картуз и молча вышел. На ходу он шатался. Идя по двору, жадно дышал свежим, чистым воздухом. Ноги у него заплетались, как у пьяного. Выйдя из ворот, он повернул куда-то и зашагал, вряд ли понимая, куда он идет, зачем. Видно было только, что шатается человек все сильнее и сильнее, да какая-то встречная поселенка, поравнявшись с ним, с испугом шарахнулась в сторону и долго потом глядела вслед быстро шедшему, шатавшемуся на ногах человеку.

А на дворе богадельни «отцы» усаживались в телегу и ехали сбывать лошадь.

Когда нет посторонней наживы, старики «режутся» между собой, отыгрывая друг у друга тряпье, последние гроши.

Какие странные и страшные фигуры есть среди этих людей, вся жизнь которых прошла среди розог, плетей, тюрем, каторги, побегов и погонь.

Вот слепой старик-бродяга… Борис Годунов.

— Почему ты Борис Годунов?

— Так смотритель один прозвал. Еще в молодых годах. Сошлись нас в тюрьме двое Борисов бродяг. «Будь, говорит, ты по этому случаю Борис Годунов». Для отлички.

— А кто был этот Борис Годунов-то, которым тебя назвали?

— А кто ж его знает!

За что был сослан Борис Годунов первоначально на каторгу, он «никому не открывается». В Сибири, уже беглым, он был знаменит как «охотник на людей»: грабил и резал богомолок.

Об этом времени старик вспоминать любит, и, когда вспоминает, по губам его ползет широкая, чувственная улыбка.

— Много их, богомолочек-то, по трактам ходит. Живился. Заведешься в такой местности, караулишь. Сидишь за кустом, поджидаешь. Идет богомолочка к угодникам, другая бывает такая, что хоть бы и сейчас…

Старик смеется:

— Выпорхнешь из кустов да за глотку. Ну, пользуешься около нее, да пером (нож) либо по дыхалу проведешь, либо в бок кольнешь. Готово. Пошаришь. С деньжонками богомолочки-то ходят. Свои угодникам на свечки несет, из деревни за упокой родителей дадено. С деньжонками. Хлебца у нее в котомочке возьмешь, пожуешь, — вот я и сыт.

— И где же все это, на дороге?

— Зачем на дороге — в кустах. Возьмешь только

на дороге. А потом за ноги, куда подальше в тайгу оттащишь. Нельзя близко оставлять, смердить богомолка будет — живо на след нападут. Пойдет слух, что в таких-то местах такой завелся; ходить опасаться будут. Это все по весне делалось да по осени, когда отожнутся. Тут бабы к угодникам и ходят.

— А лето?

— Лето гуляешь. Богомолкины деньги есть. А зиму спервоначала тоже гуляешь, а потом в работниках где живешь, альбо поймаешься, в тюрьме бродягой сидишь. А весна — опять по кустам пошел… По карциям-то (карцерам) сидя, я и ослеп — от темноты да от вони.

И слепой, он страшный картежник. Занимается ростовщичеством и из «отцов» один из самых безжалостных. Держит около себя в черном теле старика и через него же в карты играет.

— Обманывают, небось, старика Годунова? — спрашивал я.

— Да, поди, обмани его! Он каждую карту на ощупь узнает.

Рядом с ним гроза всей богадельни — Мариан Пищатовский. Пищатовскому всего лет сорок пять. Он приземист, скуласт, широкогруд страшно, настоящий Геркулес. Казенное белье ему

всегда узко, и сквозь рукава обрисовываются мускулы необыкновенных размеров. Силен он баснословно. Тих и кроток, как овца. Но он эпилептик, и, когда начинается с ним припадок, все в ужасе бегут от него.

Благодаря своей болезни, он и в каторге.

По словам Пищатовского, всегда он страдал головокружением и «потом ничего не помнил». Попав в военную службу, он страшно тосковал по родине, тут «с ним это самое делалось». Однажды, «сам не помнит как», он избил унтер-офицера. Здесь, в каторге, он однажды бросился на конвойного. Конвойный ударил его штыком в живот. У Пищатовского прямо страшный шрам на животе, и доктора понять не могут, как он остался жив. Пищатовский согнул ружье.

— Я в те поры, — говорит, — страх какой сильный бываю!

В каторге Пищатовскому приходилось ужасно. В припадках он все крошил вокруг себя, и арестанты, — «одно против меня средство», говорит он, — накидывались на Пищатовского скопом и били его, пока не станет как мертвый.

Так тянулась его поистине «каторга», пока Пищатовскому не помог трагикомический случай.

Тюрьму, где он содержался, посетило одно из

начальствующих лиц. Когда Пищатовский в здравом уме и твердой памяти, он, как я уже говорил, тих и кроток, как овца. И наивен он, как ребенок. Честен притом удивительно, ни в каких мошеннических проделках в тюрьме участия не принимает, а потому совершенно нищий. Пищатовскому и пришла в голову наивная мысль: «Попрошу-ка я у доброго человека на чаек, на сахарок».

Он подошел к начальствующему лицу, поклонился и заявил:

— А ведь я вас подстрелить хочу…

Разумеется, тот от Пищатовского в сторону:

— В кандалы его! Заковать!

Пищатовский глядел, ничего не понимая:

— Чего это он?

Дело в том, что «подстрелить» на арестантском языке значит попросить милостыню.

Пищатовский и до сих пор дивится этому происшествию.

— Да он подумал, что ты его убить хочешь.

— Как же убить, коли я говорю: «подстрелить»? Убить — это называется «пришить».

Пищатовского заковали в ручные и ножные кандалы и посадили в темный карцер. Тут с ним сделался припадок, и врачи объявили:

— Да как же его заковывать и в карцере держать? Ведь он эпилептик!

Пищатовского отправили в богадельню. О своих припадках он и говорить боится:

— Еще сделается!

По словам богадельщиков, никому спать не дает: по ночам вскакивает и ругается диким голосом.

Лицо у него доброе и несчастное. Язык весь искусан. Выражение лица такое, словно он боится, что вот-вот с ним что-то страшное случится. Подпускать его близко боятся: а вдруг!

— Он всех нас тут перебьет! — говорят старики.

— Чисто от чумы, от меня все бегут! — жаловался чуть не со слезами Мариан. — А ведь я смирный. Разве я кому что делаю? Я смирный.

Это всеобщее отчуждение, видимо, страшно тяготит и мучит несчастного Пищатовского.

Самые интересные из богадельщиков, или «богодулов», как их зовут на Сахалине, конечно, клейменые.

Их уж мало. Это призрак страшной старины. Древняя история каторги. Когда еще клеймили: палач делал особым прибором на щеках и на лбу насечки: «К», «Т», «С» и затирал насеченные места

черной краской.

— Сначала струп делался, а потом, как струп отваливался, буквы черные.

Из черных они от времени стали синими, и действительно страшно видеть эти буквы на лице человеческом. У некоторых вместо букв шрамы: вырезано или выжжено каленым железом.

— Зачем же это делали? Для бегов?

— Нет, для каких бегов? Все одно, увидят шрам на лбу да на щеках — значит клейма были, вырезал. А так резали, альбо железом жгли, чтоб букв не было. Что ж это! Образа и подобия лишаешься! Друг на дружку глядеть было страшно. Чисто не люди.

История их всех удивительно однообразна.

Вот Казимир Крупов, семидесятилетний старик. Сослан был еще в николаевские времена, за убийство, на десять лет. Пробыл на Каре девять лет, не выдержал, бежал. Поймали, прибавили пятнадцать лет срока. Видя, что «все одно погибать приходится», — через два года снова бежал. Поймали — каторга без срока. Еще в 1892 году работал в руднике.

— Жизнь чисто нитка! — говорит он. — Никак не свяжешь. Ты ее как связать хочешь, а она тебе рвется, а она тебе рвется. Все мы тут на нитке

живем.

Вот Дудкин Трофим, шестьдесят семь лет от роду, сорок один год на каторге. Еще из военных поселенцев Херсонской губернии. Был осужден на пятнадцать лет каторги за грабеж и убийство. Пришел на Кару, не выдержал, бежал; поймали, прибавили еще пятнадцать лет каторги. Еще бежал, еще пятнадцать лет прибавили. Шесть раз бегал — каторга без срока.

— Да она все одно бессрочна была. Сорок пять годов — нешто тут срок есть?

Вот совсем развалина, Матвей Кирдейко, виленский мещанин, восемьдесят три года. На каторгу пришел еще в 1858 году. Осужден был на двенадцать лет за убийство и грабеж. Затем через два-три года бежал с Кары, получил «прибавку срока», еще бежал, еще прибавка. В конце концов, без срока.

— А много ль раз бегал-то, дедушка?

— Разов пять, а может, и больше. Нешто теперь вспомнишь? Забыл я уже всё. Из откеда я и из каких. Знаю только, что бессрочный.

Вот Вральцев, семидесятилетний старик, из крестьян, Саратовской губернии. Пришел на каторгу на пятнадцать лет, а отбыл уже тридцать и еще должен отбывать без срока. Тоже за побеги.

— Мяли больно шибко, я и бегал! — говорил он. — Теперича мять будет, в богадельню бросили. Да и мять-то больше нечего. Мят, мят, да и брошен.

И такова история всех. Осужден сравнительно на недолгий срок, но бежал и «пошли плюсы». При входе в «номер» тюрьмы на Сахалине не редкость встретить на табличке арестантов:

— Такой-то 6 л. + 10 + 15 + 15 + 20…

Есть каторжники, которым «сроку» более девяноста лет и которые первоначально были осуждены на шесть, на восемь лет, то есть за сравнительно не тягчайшие преступления. Мы тут очень точно отмериваем: шесть, семь, восемь лет каторги. А там, среди невыносимых условий, люди бегут от ужаса и из краткосрочных каторжан превращаются в бессрочных. Такова история всех почти долгосрочных сахалинских каторжан.

Безногие, безрукие, калеки — это живая новейшая история каторги. История тяжелых, непосильных работ и наказаний.

Вот этот отморозил себе обе ноги в тайге во время бегов, и ему их отняли. Этот таким же образом лишился рук.

— Как же так? Зимой в тайге?

— Ваше высокоблагородие, в тюрьмах житья

не было.

Что там ни говори о «страсти» каторжан к побегам, но хороша должна быть жизнь, если люди бегут от нее зимою в тайгу.

Масса «поморозившихся» на работах, на вытаске бревен из тайги.

— Одежду нашу знаете. Какая это одежда? Нешто она греет? Пошлют из тайги бревна таскать, и морозишься.

А потом — отнятые руки и ноги.

Много, наконец, нарочно себя изувечивших.

— Это у тебя что? Тоже отняли, поморозил ногу?

— Нет, это я сам. Валили дерево, я ногу и подставил. Раздробило, и отняли.

Или:

— Сам себе я руку. Положил праву руку на пенек, а левой топором как дерну — и отрубил.

— Да зачем? С чего?

— От «уроков» да от наказаний.

Господа сахалинские служащие объясняют это «ленью» каторжан. Но вряд ли от одной лени люди будут отрубать себе руки и нарочно ломать ноги. Кроме каторги, нигде о такой лени никто не слыхивал.

— Дадут «урок» не по силам, не выполнил —

драть и в наказанье хлеба уменьшат. Назавтра еще пуще бессилеешь, опять драть да хлеба уменьшать. Приходишь совсем в слабость. Никогда «урока» не выполняешь. Дерут, дерут голодного-то. В отчаяние придешь, либо ногу под тележку али под дерево, либо руку прочь.

Вот где писать историю телесных наказаний на каторге.

— Меня смотритель Л. на самый Светлый праздник драл, в ночь, под утро, когда разговляться надоть было. «Вот, — говорит, — тебе и разговенье». Там «Христос воскрес» поют, а меня на «кобыле» порют.

Что ж удивительного, что люди, как все священники на Сахалине жалуются, «отстают от религии»?

— Мне тридцать пять розог цельный день давали!

— Как так?

— А так. Драли в канцелярии. Смотритель сидит и делами занимается. А я на «кобыле» лежу, и палач при мне. Смотритель попишет, попишет, скажет: «Дай!» Розга. Потом опять писать примется. Обедать домой уходил, а я все лежал. Так цельный день и прошел.

Смотритель К., производивший эту экзекуцию,

сам говорит, что это так:

— Это моя система. А то что: отодрался, да и к стороне. Это их не берет. Нет, а ты целый день полежи, помучайся!

Разве не истязание? В каком законе определено что-нибудь подобное?

— Меня так взодрали, два месяца потом на карачках, на коленках, на локтях стоял, лечь не мог. Цельный месяц после порки все из себя заносы вытаскивал. Гнил.

— Я и посейчас гнию!

И действительно гниют.

Такие наказания были в Александровской тюрьме, когда в соседней камере драли, один арестант под нары залез и там себе от страха горло перерезал. Обезумел человек. Так страшно было.

И это тоже факт.

А старики, слушая эти рассказы более молодого каторжного поколения, только усмехаются:

— Это еще что! Какая каторга! Вот на Каре в разгильдеевские времена было, вот это драли. Мясо клочьями летело.

И они показывают страшные шрамы действительно от вырванных кусков мяса.

— А это что за каторга!

И древние старики рассказывают о страшных

церемониях «посвящения в каторжные», практиковавшегося встарь.

В этой ужасной, смрадной богадельне, где все дышит ужасом, спят не иначе как с ножами под подушкой или под тряпьем, заменяющим подушку. Боятся — обокрадут.

Старики у стариков вечно ночью воруют.

— Вешают мало! Вешать их надо! — жалуются ростовщики, «отцы». — Ни одну ночь спокойно не проспишь. Все сговариваются старики, все сговариваются: «Пришьем его, как заснет».

Если в камере умирает какой-нибудь старик, остальные кидаются, обирают все до нитки, — так что труп находят совсем голым. Это уж обычай.

И старики, обобравшие уже помногу покойников, жаловались:

— А денег помногу никак не найдешь!

— Уж покойников двадцать этак-то раздевал! — жаловался мне один старик. — Хоть бы что! Прячут, черти! Уж я всегда держусь в камере, где «отцы» есть. Место себе на нарах сколько разов в таких камерах покупал, из последнего тратился. Все думаешь, вот какой помрет, воспользуемся. Занедужится ему — ждешь, ночи не спишь. Затихнет ночью, подойдешь — нет, еще дышит. «Что, — говорит, — ждешь, Афанасьич?» Смеются

которые из них. Просто измаешься с ними, ночей не спамши. А день-то деньской боишься: а ну-ка его в околоток от нас унесут. Хоть мы про таких и не сказываем. Лучше, чтобы у нас в камере померли. Наконец кончится человек. Тут уж как ему совсем кончаться, почитай весь номер не спит, караулят сидят. И день-деньской из камеры не выходят, и по ночам не ложатся. Кинемся это к нему — так, тряпье, да денег рублей двадцать — больше и не находили. А ведь есть которые по сотельной имеют. Прячут, хитрые черти! Так и околеет — никому не достанется.

Прятать деньги старики уходят куда-нибудь в поле, потихоньку, чтоб никто не подсмотрел. В то лето, когда я был, в богадельне повесился один старик — «отец», кто-то проследил, куда он спрятал деньги, и, когда старик пришел однажды, ямка была разрыта. Он не выдержал и удавился, быть может, за несколько месяцев до смерти, которая и так бы все равно пришла.

Так живут эти люди, пока их не стащат в околоток, а потом на кладбище.

Околоток — это нечто вроде лазарета. Но только «нечто». Врачей на Сахалине мало — и в Дербинскую богадельню врачи заезжают из соседнего селения. В обыкновенное же время в околотке

глава и хозяин так называемый перевязчик, из каторжан, слегка подученный фельдшерскому делу.

Околоток Дербинской богадельни — это место страданий, последних вздохов и разврата.

Околоток — небольшая комната, где лежит человек двадцать больных и ожидающих последнего часа. Вместе с мужчинами здесь лежат и две старухи: Афимья и одноглазая Анютка.

Целый день в околотке ругань между Афимьей и ее «содержателем», слепым паралитиком.

— Спокою от них нет! — жаловались старики, близкие уж совсем к смертному часу.

— А вы сдыхайте, черти старые! — кричал слепой паралитик. — Только койки зря занимаете, подлецы! Сдыхать пора. А живой о живом и думает.

У него отнялись ноги, а руками он вокруг себя так и шарит, так и шарит.

— Афимья! Афимья! Где ты?

— Здесь я. Чего ты? Эк, провал тебя не возьмет!

— Не смей уходить. Куда ты? Опять к Левонтию пошла? — чуть не плачущим голосом блажит старик. — Ах, глаза мои не видят! Видел бы! «Пришить» вас мало! Ах, шкура! Со всеми-то путается!

— Из-за нее только и в околотке лежу! — жаловался он мне на Афимью. — Такая подлая старуха! Ни на минуту оставить нельзя. Рупь ведь в неделю она мне стоит, рупь ей плачу, да чай каждый день со мной пьет, да булку белую завсегда ест, да молоко пьет! А благодарности ни на эстолько! Все к Левонтию бегает. Ведь сдыхает, пес, а все на чужую бабу зарится. Афимья-я-я!..

— Да здесь я. Не ори, чисто зарезанный!

Старика перевязчик держит в околотке охотно. Старик, — по-каторжному «богатый», из «отцов», — платит ему «по полтинничку» за гофманские капли, которые перевязчик выдает ему за «возбуждающее».

А пятидесятивосьмилетняя Афимья составляет конкуренцию кривой пятидесятишестилетней Анютке. Анютка слепа на один глаз. Другой у нее болит, и она нарочно его себе растравляет, чтобы остаться в околотке.

Перевязчик, который за это пользуется ее благосклонностью, держит ее в околотке.

— Вот доктору скажу, глаз себе травишь! — кричит, ругаясь с ней, Афимья.

— Куды ж я, слепая-то, пойду? — огрызается Анютка. — Смотри, как бы я не сказала, как ты коленко у себя расколупываешь, зажить не даешь!

Специальность Анютки, как и Афимьи, торговля своим старым телом.

Какая ужасная, мерзкая, гнусная старость!

Словно куча навоза, догнивает на солнце каторжная Дербинская богадельня, — эти отвратительные, страшные, жалкие, несчастные, так много страдавшие люди.

Вклейка



Заключенные на пароходе добровольческого флота. *1903*



Мыс Жонкиер.
Конец XIX века



Пристань в Александровском посту.
Конец XIX — начало XX века



Александровский пост. Николаевская улица.
Конец XIX — начало XX века



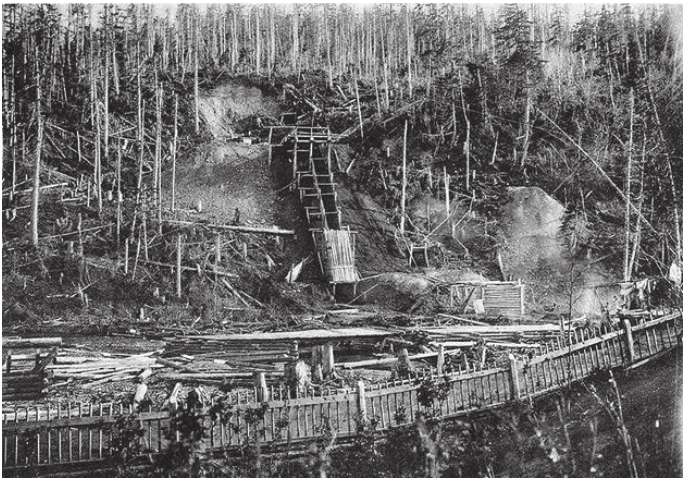
Александровская тюрьма.
Конец XIX века



Кандальная тюрьма в Александровском.
Конец XIX — начало XX века



Партия арестантов.
Конец XIX — начало XX века



Владимирский рудник «Товарищества Голике и Вильборг».

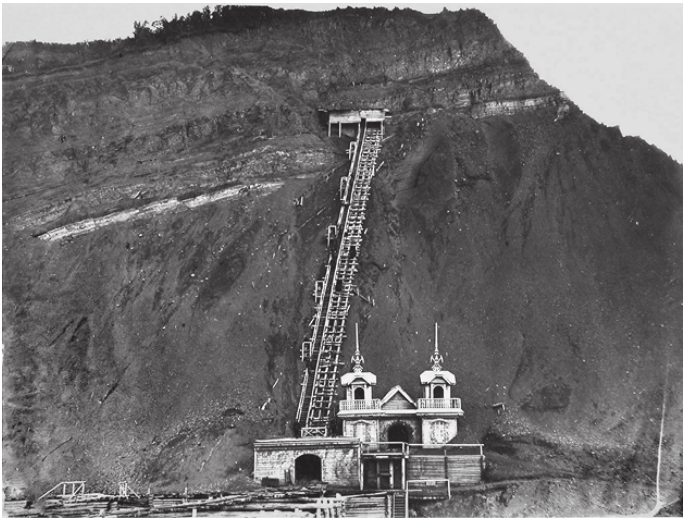
Между 1898 и 1904



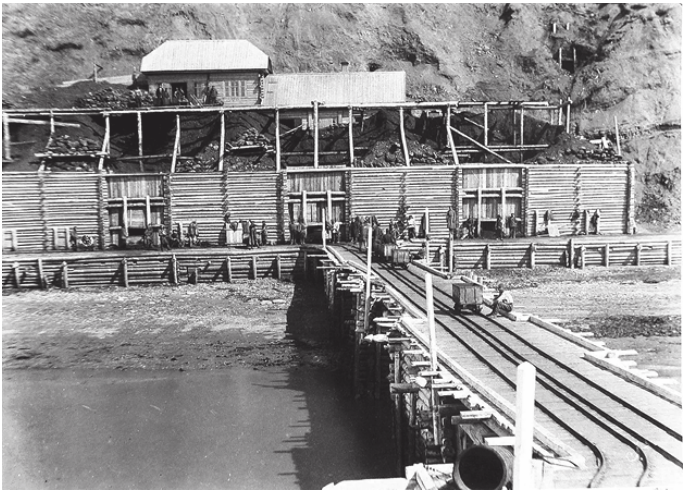
Рабочие у входа в сахалинские рудники.
Конец XIX — начало XX века



Работы на рудниках.
Конец XIX — начало XX века



Старый рудник в Дуэ.
Конец XIX — начало XX века



Вид новых угольных складов и части морской пристани.

Конец XIX — начало XX века



Группа каторжников у входа в шахту.
Конец XIX — начало XX века





Арестантские работы.
Конец XIX — начало XX века



Заключенный в кандалах и с тачкой.
Конец XIX века



Поселенцы.
Конец XIX — начало XX века



Освящение воды.
Конец XIX — начало XX века



Поселенцы. Торговля на базаре.
Конец XIX — начало XX века



Зимняя почта. Александровский пост.
Конец XIX — начало XX века



Доктора Р. А. Погаевский, Л. В. Поддубский и Н. С. Лобас. *1903*



Больничная палата в Александровском. *1903*



Ссыльнокаторжные «богадельщики» в селе Дербинском.

Конец XIX — начало XX века